

АЛЕКСАНДР  
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ  
КОЛЕСО

ОКТЯБРЬ  
ШЕСТНАДЦАТОГО  
КНИГА 2

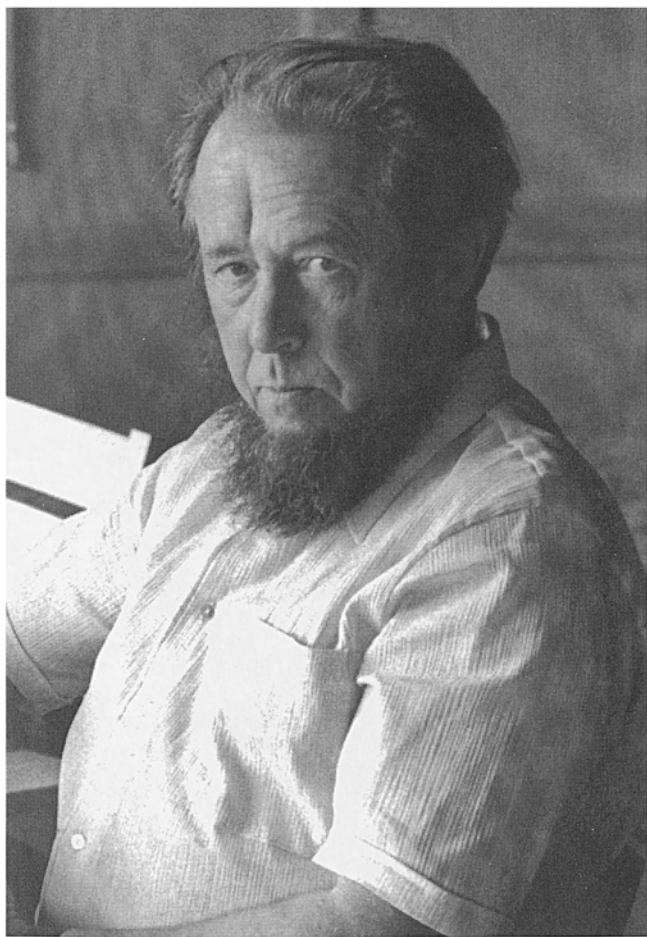
АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ОКТЯБРЬ  
ШЕСТНАДЦАТОГО  
КНИГА 2

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Штерненберг (нагорье Цюриха) 1974

АЛЕКСАНДР  
СОЛЖЕНИЦЫН

АЛЕКСАНДР

# СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ



АЛЕКСАНДР

# СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

## КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ

В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

КНИГА 2



МОСКВА 2007

ББК 84Р7-4

С60

*редактор-составитель*  
Наталия Солженицына

*дизайн, макет*  
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0228-6  
ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий)

© А. И. Солженицын, 2007  
© Н. Д. Солженицына, составление, краткие  
    пояснения, 2007  
© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2007  
© «Время», 2007

# КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ  
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ



**УЗЕЛ II**

**ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО**

**14 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ СТ. СТ.**

**КНИГА 2**



Двадцать пятого октября после полудня, ещё раз заглянувши в Главный Штаб на последнее додольце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести наконец с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до Караванной, последний раз.

Как будто светлым, звонким, победно-успокоенным веществом он налит был весь, не на костях держалось его тело, а — распором этого вещества. Как будто он ни в чём, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался, набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звнящем состоянии жизни, как незапамятно когда, как может быть никогда, как думать было невозможно неделю назад.

У Ольды на стене висел ещё и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал сейчас себя и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что из него извлекаются звуки, он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблещен. А вот звук — гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно — женщины в нём.

Восемь дней он пробыл в Петрограде, кончал девятый — а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка, — так и не встретился ни с кем серьёзно. Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить.

Он упрекал себя разумом, а телом — был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасти положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц, — и как же он мог отклонить, если судьба придви-

нула такое? Он был бедняк без этого, он просто — жизни бы так и не узнал без этих восьми дней.

Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонировал Гучкову несколько раз и просил передать, и даже сегодня днём брал телефон, но не застал опять: в городе, воротится вероятно вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых, Ольда, отобравшая его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Всё сложнее намного, чем он думал с налёту, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять.

Из Румынии вылетев как снаряд — в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость.

Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречных военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя Полицейский мост, он таким косым зрением увидел мощного военного в папаше, генерал-майорские погоны, — и острый взмах руки сам собой отдался ещё прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нём — Свечина!!

Ответил и тот сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав.

Вообще-то Воротынцев читал в «Русском инвалиде» и знал, что Свечин — уже генерал-майор, помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина, — и теперь моргнул от неожиданности.

Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии.

— Е-горий?

— Ваше превосходительство!

— Ну уж! — приобнял. — Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение: генерал — это достаточно поглупевший полковник?

— Хорошо, что ты не забыл. Ещё не отказываешься?

— Хотя по себе не замечаю, — сильными губами улыбался Свечин, — но отказываться было бы неблагоприятно. Впрочем, — коснулся золотого эфеса воротынцевской шашки, — разве это хуже?

Сказал для вежливости, так не думал?

Да Воротынцев не завидовал — ни когда первый раз прочёл в списках, ни когда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни — зависти и обиды, вероятно от высокой уверенности в себе. И никогда за два года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвёл и правду насытил.



А всё-таки и в «Инвалиде» кольнуло, и сейчас кольнуло...

— Или это не ты? Вас — двое, что ли? Ты же в Ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать.

— Так и вас — двое? Я тебе в полк писал, а ты — в Петербурге?

Удачная встреча! Воротынцев не знал, насколько серьёзно истолковать свечинское письмо, полученное перед самым отъездом, и — заезжать ли в Ставку на обратном пути.

— Уже уезжаю. Сегодня ночью.

— А я — через три часа. Жаль, что не вместе.

В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу.

— А приехал когда? Вот и встретились! — порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть Воротынцев: за Ольдой когда ж бы им?

В чёрных глазах Свечина просверкнуло холодное:

— Сегодня утром.

Не понял:

— Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь?

— Я... — с жестоким пожимом больших губ, — приезжал только порвать с женой.

В толк не взять:

— С утра — и до вечера?

— И дня много, — жестоко, небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева.

За это время они произвольно повернули — так, как шёл Свечин, перешли Мойку, постояли, перешли Невский к Деловому клубу, постояли. И, как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой.

Весь день провисело тяжёлое небо, особенно тёмное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель.

— Понимаешь, — хмуро объяснил Свечин. — Несколько месяцев назад я узнал, что жена прибивается к распутинской компании. Я её — предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не семьдесят семь раз, а только один. Особенно женщину.

— Почему же к женщине строже всего? — с беззаботностью возразил Воротынцев.

— К ним-то? — настаивал Свечин. — Никак иначе. Иначе пропадёшь. Можешь денщика простить до десяти раз. Можно вольно-

определяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина — или понимает с первого предупреждения или безнадежна.

Станный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом, при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще, после Ольды — что могло бы ему не понравиться? Всё отлично, всё кстати, даже дождь.

— Но что ж именно случилось?

— Ничего. Только чай приезжал пить Старец. В моей квартире — пил чай!! — длинные губы Свечина перевилились как жгуты. Это был признак бешенства, за то звали его, ещё при яркой черноте глаз, Сумасшедший Мулла. Однако в служебных делах никогда он это бешенство не проявлял.

— Ну — чай, слушай! Простое гостеприимство! — всё веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев. — Да наверно ж и другие гости были, духовные разговоры вели.

— Молиться — церковь есть, — сурово отклонял Свечин, безчувственно к шутке. — Нужны обязательно старцы — езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если шестеро баб надевают прозрачные платья и трутся около здорового мужика...

— Ну, не по шестеро!

— Да по двенадцать! Рассказывают: в баню с ним ходят, графини-княгини, вот такие же жёны, по очереди мочалкой его трут.

— Ну, не все. Ну, не всякий же раз, — легко возражал Воротынцев.

Вот как. Бредём все разумно по набережной, а в сторону на шаг оступись и — бултых.

— Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что *моей* жене там не место, она должна знать своего хозяина. Даже если там только чёрные сухарики принимают в душистые платочки да выпрашивают грязное гришкино бельё поносить. Пили чай за моим столом, была предупреждена, — достаточно.

— Но что она сама говорит?

— Не знаю. Это не имеет значения. — Сложил губы как для свиста. — Я, видишь ли, не застал её дома. А ждать не стал, мне завтра в Ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, всё остальное — ей.

Поразился Воротынцев: чтобы так — не в кавалерийской атаке, а — кончать семью?

— Сыновья — оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.

А дождь усилился, да крупноватый, мочил им папахи, шинели. Они прошлись вдоль Мойки, воротились к Кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари.

— Так ты куда сейчас?

— Да куда. Пообедать.

— Так вместе? Хочешь, пойдём к моей сестре?

— Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом.

Пошли по Кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задёнутых, тепло освещённых изнутри. Завернули на Большую Морскую, к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошёл их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба. Сошёл молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и чёрной шляпке, не покрывавшей всех волос, она спрыгнула, тонкая, лёгкая, пошатнулась, и спутник придержал её, как обнял. Они вошли перед офицерами — и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы.

Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и шашки. А те двое — у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платье до щиколоток, а без шляпки — избыток длинных волос, назад двумя каскадами. Спутник назвал её Ликоней.

Казалось — уж Георгий был переполнен, а нет, — появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил. А сейчас, встретясь с ней глазами, не счёл неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то своё.

— Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч?

— Вернёмся — многого не узнаем, — мрачно отозвался Свечин.

Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник её — с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напояженный, с уверенно-ленивыми манерами. Надменно окинул он выших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором — как гардеробщиков, не больше отпуская им интереса.

— Это во время войны, сопляк такой. Погонять бы его по ходам сообщения, в три погибели.

— Да-а, — бормотал Свечин. — Читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков Северянина да Вертинского. Чтó тут пока растёт — нам неизвестно.

Первый этаж ресторана был длинная зала в коврах, в теплоцветных шёлковых занавесах на больших трёхарочных окнах, верхний свет несильный, а на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да: сидели дамы, переблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума, и ещё на помосте, за занавеской, мастерили для них какое-то зрелище.

Воротынцев никогда не был любителем ресторанов — по многолетней денежной стеснённости, но и принципиально: любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия — пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал.

Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и, уже в объёме сложного соединения многих съестных запахов, невообразимых для фронтовика, пождать пока поднесут меню, а раньше того что же? — закурить.

Случай так случай! — хорошо открывалось поговорить с другом — нестеснённо, обобщённо. Хотя в Петрограде ото всех разговоров Воротынцев скорей растрясся, чем собрался.

И Свечин расположился удобно, потянуть время до поезда, и с удовольствием поджигал трубку. Ни по чему было не угадать, что в этот самый час, или около, его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за семьсот вёрст, читает гильотинную записку.

Поразительно, как это смог он круто так, и как собой владеет.

Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно: хоть и не виделись два года и почти не переписывались, но только назвать — и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца.

Если *Шампань*, так это не родина шампанского, а участок, где всё прошлое лето обещали союзники начать наступление в вызволение нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем безснарядном гибельном отходе — и снарядов тоже не прислали нам. А когда у нас всё кончилось, то они без пользы выпустили три миллиона своих в этой самой Шампани.

Да что союзники сделали за весь Пятнадцатый год? А английская пехота — много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут.

Или: кавказскую армию зачем гоним в ненужное, безнадежное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатыри и чудеса, взят Эрзерум! — а применить ничего нельзя, всё зря.

Но выручает союзников под Салониками. Но выгодно для Англии в Месопотамии.

Ничего не надо объяснять, только называть. Сентябрьский ли измолот гвардии под Свинюхами-Корытницей (названия — как прилеплены, по достоинству операции). Или мартовское бессмысленное наступление у Нарочь-Дрисвяты — без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись — и распутица, окопы залиты водой по колено, артиллерия и обоз не передвигаются.

— А всё только — выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники б не решились. — Воротынцеву уже всё к одному цветку, отчаянному.

Но Свечин из Ставки может быть и справедливей:

— Это — измолотные бои. Французы под Верденом тоже, может быть, за двести тысяч потеряли.

Воротынцеву всё равно не по нраву:

— Они хоть — с шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверно...

— Тысяч семьдесят.

— Вот! И — ни звука. Вот так мы умираем.

Свечин-то много знает, не всё сразу вытянешь.

Орудия нам присылают — на тебе, убоже, что самому не гоже. От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины — не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук — не дают. Их формула: потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем.

Да это что! — а людей!.. Уже вскоре после самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас четыре корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах — и с марта этого года они безсовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат, на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц.

Воротынцев не то что высвистнул, а — выдохнул как пар паровозный: во-о-он за чем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили-таки русский экспедиционный корпус! Дичей этого корпуса выдумать нельзя: чтобы сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях как колониальные сенегалцы.

— Ну, ни за что б я не дал этого корпуса! — бурлил Воротынцев. — Значит, воевать до последней капли крови, только русской? Ну нет у Государя твёрдости, ну нету!

И по Свечину пошарил взглядом, как он насчёт Государя? Не должен бы измениться.

— А куда ж денешься? — со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый, гололицый Свечин, обстриженные маленькие чёрные усики под большим носом. — Алексеев поторговался с Государем, с французами, но 6 бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная: поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все свои силы, то не нам должны добавить оружия, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт. — Усмехнулся: — Как модный поэт читает по эстрадам: «Лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже».

А взгляд Воротынцева, мимо свечинского плеча, пришёлся на ту пару, севшую через три стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами, спиной сюда. А Ликоня сидела очень удобно для наблюдения, в три четверти.

И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда б он был весь тут, вонзаясь, — а вот какое-то новое остаточное внимание появилось в нём, не уходило из глаза, из мысли: о чём они там могут разговаривать? чем живут? И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? — но что-то востромчивое от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказываются, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как частица всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый безкорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...

— Так и выражаются откровенно: вы нам — солдат, тогда мы вам — оружия. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют как ростовщики: за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг — ничего. И вот истощилась валюта — и не можем делать военных заказов, сокращаем.

Свечин морщил крупный жёсткий нос, как от дурноватого запаха.

Даже не в долг?! Ну, как бы ты ни был предостережён, как бы ни ждал дурного — а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц — и за каждую железку тут же золото на кон? Нет, этого западного торга нам никогда не понять! И куда же мы отдаём?

— У Головина-то мы ещё восемь лет назад говорили: развивать военное производство, чтоб ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы и умная Дума пожалели именно золота. А теперь — отвезли его всё.

Воротынцев страдательным голосом:

— Ком-мерсанты! Мы для них — не товарищи по несчастью, а удобная дубина? Франция — просто купила нас. Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно?

И под такие вопросы — только одно лицо всегда выставлялось перед ним, со своим стеснённо-равнодушным выражением. Ведь он — всё это знает! Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твёрдо: мол, иначе выйдем из войны?

— Мы — вообще одни, никто с нами искренно, — выливал Воротынцев свою настоявшуюся горечь. — И что когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили Крымскую войну! А Японскую?

Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии два броненосца с британским экипажем, продала три десятка вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем, на их угле Того вёл все сражения. А у Франции было с Англией «сердечное согласие» — а с нами само собой тянулся союз против Германии, но никакой поддержки нам — как это? Где ж наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплёвываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую, реакционную

Россию. В прошлом году Ллойд Джордж публично злорадствовал нашим отступлениям и потерям.

— Их друзья американцы — к нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзники?!

Возобновлялись их обычные прежние друг с другом роли: роль Воротынцева — произносить горячие разоблачения, роль Свечина — с угрюмой насмешливостью напоминать безнадёжные факты, но побольше молчать и равномерно служить.

— Или Балканы? — не унимался Воротынцев. — Стоило нам для болгар брать Плевну, мёрзнуть на Шипке? Вся идея возглавить славянство — ложная, вместе и с Константинополем! Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию — а нам что? это — английская забота. Да и для сербов — чего мы добились? Третий год воюем за Сербию и Черногорию — и что? Они стёрты с лица земли. И мы — шатаемся. Миллионы — в земле, два миллиона в плену, если не больше, да крепости сокрушены, области отданы — всё для союзников! Почему Англия могла перебросить войска на материк через год — а мы должны были в две недели выложиться? А после Самсонова — можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать кадровую армию? И румын в союзники нам навязали французы!

Свечин и спорил и не спорил, усмехался попышливо, дымом:

— И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны.

— И всё — из-за проклятого константинопольского миража! — сек Воротынцев. — Как будто нам дуракам наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь, чем мы думаем? И что за тупая жадность — почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен! И Достоевский туда же. И от самых крайних правых и до кадетов, даже до Шингарёва, — жизни им нет без Константинополя!

В меню стояли цены непостижимо высокие. Но и — выбор. Не слишком по карману... А что ж тут пить? Генеральские звёзды надо ж обмыть? Не может быть, чтобы водки не устроили, небось как-нибудь тайно...

Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий.



Свечин когда и согласен, так посмеивается, Свечин свои заборцы знает. Он — критик особенный, к нему привыкнуть. Вот он знал о союзниках горше Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал. Знай ругай, а служи в своём загоне.

— Кстати, знаешь: Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать.

— Да что ты! И он бывает такой умница? И что ж?

— А ничего ж. Чем у нас может кончиться?.. А по-твоему что ж, надо было союзничать с немцами?

— Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал: ну всё, погибли две империи, российская и германская. Я тогда ещё этого не оценил. Не говорю союзничать — но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хоть в Девятьсот Седьмом.

— Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилия.

— Но для этого не непременно воевать! У нас это проговорить невозможно — сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться — но при этом с Германией не мирись! Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасти Францию. Но раньше того: мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность — только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин.

Но свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал:

— Да и Германия во время Японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтоб задушить торговым договором, брали зерно задаром. А старое вспоминать — так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил: «Дорога в Константинополь ведёт через Берлин»? Всегда смотрели немцы на Россию как на навоз для удобрения.

Это правда, что ни вспомнишь — то унижение. Ну, и русская политика.

— В общем — были пути уклониться от этой войны. И надо было.

— Нет. Раз Германия твёрдо решила с нами воевать — без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовало бы позор за позором. Чтобы против Германии мочь ровно сто-

ять — нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III и принял. А иначе б мы остались один на один.

— Ну и что? Что ж, у нас спина хрупче, чем у Германии? Ну не-ет! Ещё одна Отечественная война? Так вот тогда б наш народ и стал — заедино и до последнего, не как сейчас. А стань в положение Германии, разве она не одна? Кто у них по сути союзник? Да никто. А стоят — против всего мира, я-те дам! Они стоят одни — так мы, гигантская страна, не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? — он нас не касается, зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет — то только по несознанию своей силы. Если б мы понимали себя — никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы — тем сильнее, чем твёрже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок Турецкой войны: мы воевали, умирали, а другие, в нейтральности, пальцем не пошевели, направили как хотели. И в эту войну нам бы всего только — не мешаться, деритесь, а мы ни при чём, да два года мирно постоять, — так не было бы силы, сравнимой с нашей.

— Ну, Егорий, что о том говорить, чего не жарить, не варить. Правильно, неправильно, но историю не переделаешь, что уж ты так горячишься?

— А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше! — не гнулся Воротынцев.

— Как же? — уже заранее высмеивал Свечин.

— А-а... — менять весь наш взгляд на веденье этой войны. Перестать пробивать стену лбом, не считаясь с жертвами.

— Вот тебя не поставили вместо Алексева! И как бы ты это делал?

— Я бы? — Готов, но замаялся. — Ну, по крайней мере Шестнадцатый год *продремал* бы, никуда бы не лез.

Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили — и те непойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холёными руками. Кто-то раскланялся — свадьба не свадьба, юбилей? выгодная сделка? — отдёргнулась занавеска, а за нею —

подвешено какое-то колесо. И двое служителей стали быстро поджигать его в разных местах. И отскочили тут же.

Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, всё сплошней занимаясь огнём по диску, в три цвета: серебристый

из центра, голубой по большему кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг, только во вращении. Закружившийся, заверченный флаг.

Ах, как забавно! Ах, как весело придумано! — смеялись, хвалили, аплодировали мародёры.

Но пиротехники не рассчитали: поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба, а объёмлющий красный — несколько. Так и вертелся налитым ободом.

Красным.

Алым.

Багряным.

Огненным.

Докручивался, рассыпая искры.

Не так, а где-то что-то подобное... ?

Да! Мельница горела в Уздау...

## 39

Водку подали им в нарзанной бутылке. Изобретателен бес. Как это может быть? Да платят полиции взятки, вот те и не замечают.

А уж это — причуда посетителей-офицеров, что они к нарзану заказали солёную закуску.

А на какой-то стол принесли толстый чайник с «белым чаем». Устраиваются.

Ну что ж, начали?

По стопке, по стопке — с отвычки грело и разбирало веселовато.

За эти полчаса со Свечиным Воротынцева уже покидала та самодовольная победность, распиравшая его тело, дозвуки гонга в нём уже не стали звучать, — возвращалось тело в свою обычную жизнь — и дремавший ум просветлялся.

Войну — надо вести иначе. Не надеяться, что она вот к лету кончится, а — менять весь её характер.

Свечин согласен: менять методы ведения войны. Как мы застыли в окопных линиях — из этого вырваться непросто, можно и десять лет просидеть. И вот есть идея, которую в Ставке никто не слушает: не стараться толкаться целыми фронтами, а форми-

ровать хорошо подготовленные, отлично снабжённые ударные группы, все — на копытах и на колёсах. Прорвать фронт хоть узко, хоть на несколько часов, — и бросить такую группу глубоким рейдом! Такой войны немец не выдержит, это будет почище партизан в Отечественную. А ответить тем же он нам не может, потому что наши рейды у нашего населения найдут помощь, а он — не найдёт.

Нет. Вот теперь-то, обжевав места неразногласные, и раздралось их понимание от разноты опыта за два года.

— Не в приёмах, Андреич. Уже не в оперативных приёмах. Я тебе говорю: менять весь её характер!

Из штаба Верховного видно не то, что из полковой землянки. Кто засиделся в штабе, тот забывает чувствовать погибших. Им — можно ноли при числах подсчитывать. Но...

— Ты оглянись, ты ощути — сколько мы уже народа нашего перебили? Уж офицеров — и лучших, и средних, всех перебили, давай вспоминать. И сколько уже таких полков, как 1-й Сибирский, где ни одного не осталось? Вместо кадровых — прапорщики «с идеями». А главную массу наших унтеров мы погубили в Четырнадцатом году. Сейчас русских уже побито больше, чем когда-нибудь в нашей истории, в любых войнах. И льётся именно и почти исключительно — русская кровь. Кавказцев — мы не призываем, ладно. Туркестанцы не захотели идти даже на тыловые работы — мы согласились, хорошо.

— А инородцами много не навоюешь. В пехотную службу они пойдут неохотно, они — кавалеристы, а по нынешней войне кавалерию надо как можно уменьшать, знаешь сам. А такого упорства в бою, как у русских, — ни у кого нет.

— Кто тянет, того и погоняй, да? Что мы делаем! — ратников гоним, беззащитные бороды. Своими руками гоним Россию на смерть. Если других щадим — почему же своих не щадим? Мы проигрываем больше, чем войну, — народ! Это невероятно, что мы выкачали из страны миллионов сколько? тринадцать? и продолжаем качать дальше, уже мальчиков 19-летних. А в окопах всё равно не сидит и три миллиона — а где остальные? И лошадей сгоняем, разоряем тыл — зачем? У немцев был перерыв в войнах сорок три года, а у нас — всего девять. Но кто же воюет умелее?

— Со всей их умелостью они сейчас лошадей кормят суррогатом из соломы и древесины. Конечно, организация. Но они зады-

хаются без людей, без продуктов, без материалов — и наш фронт, наоборот, представляется им грознейшей силой.

— Да? А наш тыл? Нам с фронта ещё очень мало видно. — Он сказал «нам с фронта» из вежливости, понимая, что у Свечина в Ставке слишком взнесенная и неугнетённая точка зрения. — Мы с позиций только и смотрим вперёд, на неприятеля. А поездишь — наслушаешься... «Надо бить немца сперва внутреннего!» «Не умеете воевать — кончайте!» Рабочие уже бунтуют и захватывают запасные части.

— Ну уж! Страсти-мордасти.

Да! Вот за эти дни в Петрограде. Очень серьёзные волнения на Выборгской стороне. Полиция... А соседний запасной 181-й полк... Чуть передайся через мосты — и во всём Петрограде...

Ну уж!

Когда не случилось — так всегда «ну уж!». А когда случится, так: иначе быть не могло.

А мародёры там, в глубине зала, шумно веселились, в хохоте взрывались. И все, конечно, имеют законное право не воевать, сорить деньги и праздновать в ресторане Кюба даже по будним дням.

Насчёт Выборгской не очень поверил Свечин. Впрочем, десять дней назад и Воротынцев, — из армии как можно в это поверить?

— Где и мукі даже не стало хватать. Сейчас как бы не опаснее, чем летом Пятнадцатого. В прошлом году, как мы ни отступали, но сыт и крепок был тыл.

— А как уж мы так отступали? — рассердился Свечин. — За Москву, как в Отечественную? До Полтавы, как Пётр? Даже не до Днепра, как от поляков бывало не раз. А мы — всего лишь на краю Польши стоим. Ну потеряли Польшу, Галицию, часть Лифляндии...

(Польшу, Галицию, Лифляндию, — но оставалась Олья. Имея Олью, уже не чувствуешь себя в столь побитой армии.)

— Тебе бы поотступать самому с венгерской равнины — попятиться задом на Карпаты.

— В Пятнадцатом страшно показалось оттого, что без снарядов. Ну, отошли на 500 вёрст, а ни одной армии, ни одного корпуса не дали окружить. А сейчас снарядов — завались, и с каждым месяцем больше. И армия — прочна, и тверда, и исполняет свой долг, не знаю случаев неподчинения. Ты невольно поддаёшься — от румынских впечатлений. А кроме: Германия и Австрия уже ни-

где не способны на большое наступление и переходят к обороне. И обречены на истощение, к ним силы ниоткуда не подходят. Пленные немцы стали — упавшего духа.

Увеличенно крупная, а по слабости волос всегда стриженная под машинку, голова Свечина была не кругло-овальная, как у всех людей, а с выпирающими несимметричными буграми, как бы знаками упорства. Волосы скудные, а голова — непробиваемая.

— Мы, напротив, войну уже неотвратимо выиграли, — пёр он своими буграми. — Ничего, хоть эти чёртовы доблестные союзнички где выиграют — всё равно война наша. Пойми: центральные державы изготавливают в сутки 600 тысяч снарядов, а Соглашение — 800, это ж когда-то всё равно перевесит.

Но лишь всего один такой снаряд — да в гущу нашего окопа...

Воротынцева пригнуло к столу — к Свечину, через стол навстречу. Устойчивый наклон, как ходят в атаку. И твёрдо, и глухо:

— Наш к о р е н ь выбит, Андреич! За эти 27 месяцев выбит наш корень. Не считай союзников снаряды, поезжай посмотри наши полки. Это — уже не те полки, какие шагали по Пруссии, тогда у Самсонова. Нам — армию подменили, Андреич! Никакая победа нам не заменит убитой России! Мы сейчас — добиваем тело народа. Не считай союзников снаряды, да и наши, — народу обещали войну в три месяца, народ выдохся, народ хочет только замирения! Настроение солдат такое: затеяли баре войну и убивают мужиков. Если Россия подменится, станет другая Россия, — зачем нам победа?

Пахнуло на Свечина.

Но не убедило, даже изумило:

— Так тебе что — уже и победа не нужна??

— Я просто — вижу, как оно есть, — отдышивался Воротынцев после выпаленного. — Такую логику мы уже помним: «претерпевый до конца, спасен будет», да? Если мы не уничтожимся, вот это и будет победа, после всех глупостей. Нам победа в Европе ничего не даёт, что она нам даёт? Ещё земли захватывать? Опять Константинополь?

Но Свечин смотрел с недоумением. Нет, этого он не принимал:

— Так что ты предлагаешь? Теперь высказывать из войны, что ли? Сепаратный мир? Но если Россия отделится теперь от союзников, она и окажется в побеждённых. Преждевременный мир привёл бы Россию к беде. Даже к революции.

— Как раз наоборот! — спокойно выставил Воротынцев.

Но так прямо — сепаратный мир — он не хотел или ещё не готов был сказать.

А Свечин:

— Знаешь, я соглашусь: может быть и умно было в эту войну не вступать. Но уж вступили — надо кончать её, а не метаться. Война сорванная, наспех законченная — грозит ещё худшими последствиями, чем нынешнее напряжение. Да как это, ну как это выйти из войны — и без ущерба для России?

— А продолжать и тянуть её — не худший ущерб, чем выскокить? Практически это можно обсудить. Один из вариантов, говорю, задремать.

— А что скажут союзники?

— Да не о союзниках мы должны думать, а о спасении своего народа! Это — интеллигентская, кадетская фраза: что России будет несмыаемый позор, если она расстроит единство с союзниками. А эти союзники довольно на нас покатались, хватит. Да все войны всегда они вели для своей выгоды, а только мы болваны без толку суёмся... Я иногда думаю, правда, что нас хитро впутали в эту войну: союзники нуждались осадить Германию, — а хорошо это сделать русскими руками: заодно и Россия крахнет внутри, раз она даже Японской не выдержала. Они выиграют — они и победу захватят, мы — лишь бы им выволочили. Так пусть они свою победу берут, а нам нужно только не уничтожиться, перестать терять людей. Бывает болезнь, бывает усталость, когда дальше — ни шагу нельзя?

Из сходного знания они делали разные выводы. Эта страстность разногласий между сходными — она и досадна, когда всплывает, но она ж и плодovита всегда.

Да нет же, нет, как раз наоборот! — убеждал Свечин:

— Самый важный год в войне и будет Девятьсот Семнадцатый, и именно после всех жертв тут и нельзя ослабить напряжения сил. Мы даже вынуждены *увеличить* армию — теперь, когда фронт растянулся до Чёрного моря. Сейчас белобилетников переосвидетельствуют — ждём от этого 600 тысяч. Да ратников 2-го разряда — ещё 150 тысяч. Да очередной призыв. И с этими ресурсами...

*Ресурсами, Боже.*

— Да нельзя больше испытывать народное терпение, пойми!

— Да ты стал выражаться, как народник, а не как офицер генерального штаба! — смеялся Свечин чёрными сочными очами.

— Нет, как доктор. Как доктор, приложивший ухо к груди, — и услышал смертные хрипы. Поверь! Не пустое говорю. Знаю.

До этой минуты Воротынцев высказал всё, что хотел, не смягчая, — и сколько бы Свечин ни возражал — но сказано, и между ними легло. Однако продолжать дальше, — а *решения, пути* — он не мог предложить. Он только знал, он чувствовал, что — надо действовать!! И вот такая встреча! Куда естественней! — умён, силен, быстр, доверие полное, теперь и фигура — генерал в самом сердце Ставки. Не намного мельче и Гучкова. Во всей поездке такой встречи не было и не будет.

Но Свечин — служака. Он может всё понимать, а содействовать — не будет:

— Тут в Петербурге все взбеленились, будто мы войну проигрываем. И с чего это взяли? И друг друга настрёкивают. И, конечно, Гучков туда же, в первых рядах. Что за дерьмовое письмо его Алексееву, читал? Придрался — не к существу, чтобы только правительство выбранный и шума поднять побольше. Раздул, раздул — и распространять, дамский приём, истерика, как у всех тут. А что в письме доказано? Ничего. Очередной столичный экзерсис.

Вот повернулось: сам же Свечин и налетел на центральную фигуру, и Воротынцев опешил его защитить. Там, в Румынии, это письмо сослужило ему переполняющей каплей, подожгло его нетерпение — оттого ли, что мы так бываем готовы слишком? А сейчас подумал: правда, что за форма?

А Свечин доламывал:

— Гучкову как раз стыдно не разобраться: он и военным себя считает, и на фронт заглядывал, и снабжение как будто знает, или даже занимается. Хотя его эти военно-промышленные комитеты неизвестно что больше: помогают снабжению или путают, нельзя иметь столько хозяев. Да и все же только рвутся на фронт — агитировать генералов да раздавать офицерам ротаторные речи.

Тут подали им уху, немного умеряя и отвлекая обоих. А водка их уже была при конце. Не давая остывать, накинулись на уху.

Немного подсправясь, опять усмехнулся чернобровый безбродый башибузок:

— А видел бы ты, чего это Алексееву стоило, — он с тех пор заболел, не выздоравливает. Ведь он, как истинно-русский человек, больше всего на свете боится начальства. А тут — Государь мог подумать, что Алексеев и действительно состоит с Гучковым в переписке!



Сразу мысли: а сам Свечин — разве не боится начальства? И, если уж до конца: как он сегодня к Государю? Это — ключ.

— Ну и так, как он, работать, тоже заболеешь. Ведь он через свою единую голову не только всё армейское, но уже и всё гражданское: заготовки провианта, фуража, металлический голод, топливо, даже милитаризацию заводов. Он по-прежнему: помощников себе не ищет и хорошего штаба никогда не создаст. Половина Ставки — вообще бездельники. Один у него советчик был Борисов, нечёсанный, немытый, дух запазушный, и тот не работал. Алексееву нужны только исполнители, вроде дурака Пустовойтенки, лишь бы бумаги вели в порядке, а не совалились! Старик даже не желает смотреть оперативные планы нашего отдела: мол, если решение должен принимать один человек, то он один должен и планы составлять. Сам! Предложишь ему что-нибудь вроде рейдов — только отмахивается, поменьше нам этих новинок, увольте!

— Ну, хоть и в одиночку, а решения, я смотрю, он принимает неплохие. Если, ты говоришь, он — за мир с Турцией. И, если я правильно слышал, он и с Румынией не хотел вязаться, а отдать предпочтение северной части фронта. Да ведь как ему, наверно, его величество ещё подпорчивает?

Пристально на Свечина.

Тот, над ухой, размеренно:

— А союзные дипломаты? А царица? И даже Распутин, свинья, передаёт Алексееву советы.

Не добавил глазами больше сказанного, но — всё понимает, конечно. А сворачивает на своё:

— Но и нельзя же все задачи армии и страны пропускать через одну голову. Это как раз свойство человека, одарённого не щедро. У нас — бранить принято Государя, сколько угодно правительство, только не нашего старика, он стал как признанное достояние России. А между нами поближе: разве он достойный Главнокомандующий великой армии?..

Вот именно. Только не он — Главнокомандующий. Верховный с ним по соседству — спит, гуляет, обедает с генералами и дипломатами, слушает охотничьи истории, посещает кинематограф.

— Ну конечно, после Янушкевича и Данилова — на Алексеева можно молиться. Но вот это и есть та лопата, которую ставят вместо иконы.

Тут — как не присоединиться:

— Это, Андреич, и есть тоска десятилетий бездарности. Даже когда искренно хотят поставить даровитого человека — уже не способны найти его. И ставят, по наследству, со своей печатью ограниченности. А соваться в такую войну — надо быть твёрдой властью, иначе бы и не соваться. Тот же и тыл — выдержал бы и вчетверо, как в Германии выдерживает, — если была бы твёрдая рука.

Свечин как не слышит:

— Да я о нём — и не плохо. Не корыстен, не честолюбив, разумно понимает дело. Да и не отвергнет правильного решения, если только оно лежит на привычной плоскости и в умеренных пределах. И спать не ляжет, пока всех распоряжений из головы не выдаст. Только стал над Россией возвышаться как монумент безценного опыта. Но я к чему веду: сейчас старик серьёзно заболел. И видно надолго, и видно в отпуск уйдёт.

— Да что ты? Чем же?

— Что-то с почками. И температура всё время. Это — злословие, что перепуг от письма Гучкова. А старик здорово подался. Но к чему я опять веду: что перед Алексеевым невозможно было и заикнуться, что вот такого и такого делового человека взять бы в Ставку. Скажет: спать поменьше надо, и сами справимся. Но теперь, если он надолго уйдёт, — неизбежно в Ставку будут брать новых людей. Ты сейчас здесь — в отпуск? или по какому делу?

Сердце стукнуло:

— Дней через пять думаю быть в полку.

— И сгниёшь за мамалыгу, — твёрдо уложил Свечин твёрдую руку на воротынцевскую. Деловито, как опасаясь дружеской благодарности: — Ты не думай, что я о тебе эти два года забывал. Но была не та обстановка. В штаб великого князя тебе, ты понимаешь, возврата не было.

Да замечательно бы! Если хотеть участвовать в каких-то кардинальных центральных изменениях — так Ставка и лучшее место.

— Там, левей вас, сейчас две новых армии формируют до устья Дуная.

— Когда? Не было.

— Вот, с 17-го числа. И пиханут тебя туда из Девятой, ещё дальше, ещё грязней, ног не выберешь. Там уже передвигают. До каких пор тебе околачиваться по окраинам?

Это и была одна из болей: уж полком бы — ладно, но зачем на таком чёртовом краю? На Дунай? — значит, против Болгарии? Это

и значит — ползти за византийской мечтой. Когда фронт стоит на Двине — обидно умирать за Константинополь.

— А пока старика не будет — я могу попробовать быстро забрать тебя в Ставку. — И якобы уговорчиво: — Полковых командиров мы ещё наберём. Но ты — стратег, где твоё место?

Уговаривать ли его, что он стратег? С какой клички он и начинал юнкерскую жизнь! Только несколько академистов и знают по-настоящему, что может Воротынцев. Никому проронить нельзя, но даже пост командующего армией он не считал бы для себя чрезмерным. Ставка, Ставка! — и ему нужна, и он ей.

Однако:

— Но есть приказ брать в штабы только офицеров третьего разряда, полуинвалидов?

Как командир действующего полка Воротынцев истово ненавидел раздутость штабов в русской армии. Как полковой командир он вполне был бы доволен и переводом хотя бы на Северный фронт.

— То в штабы, а то в Ставку, — с дружеской грубостью отбросил Свечин. — Да и в штабах сидят здоровые, не выковыришь. Не дури, Егор, не брыкайся. Скажи, куда тебе вызов послать, — в два три дня вышлю. А то — так заезжай в Ставку сейчас, на обратной дороге?

— Всё — так, Андреич, — обдумывался Воротынцев. — Это — очень хорошо...

Но если уже этого касалось — имел ли он право, благородно ли было скрыть от Свечина свой сегодняшний образ мыслей и свои смутные планы, которые хотя и замыслом ещё нельзя назвать, а всё же... Свечин должен знать, кого рекомендует. А и — назвать это всё очень трудно, это ещё всё нужно обсуждать. Но мысли мятежны, это — несогласие с тем упёрто загипнотизированным ведением войны, как ведёт или плывёт Государь. Мысли — мятежны, на чей взгляд они — к спасению России, но чуть сдвинь акценты — их можно назвать и государственной изменой?..

И ведь не один Воротынцев так думает: это носится в воздухе, так думают и другие, конечно.

Не Свечин?

— Всё так, Андреич. Но я говорю тебе: в разорении — дела обще-государственные. И поэтому требуется от нас нечто большее, чем простая служба в Ставке.

Вглядывался в башибузука.

Тот — доедал рыбу, осмотрительно к костям.

Воротынцев переклонился вперёд, опираясь о столик, собирая на большеглазого, большеухого, упрямого — весь душевный напор, с которым вылетел из Румынии. От нескольких фраз, построенных правильно или неправильно...

А над их головами:

— О-о-о! Да тут сегодня, я вижу, собираются младотурки?

Вскинулись — стоял подле них Александр Иванович Гучков!!

Тёмно-серый скюртук, чёрный галстук на стоячем крахмальном воротничке. Улыбался, и даже что-то мило-застенчивое в улыбке было. Приветливо поглядывал через пенсне.

Воротынцев радостно вскочил:

— Александр Иваныч! Вот чудо!

Свечин поднялся сдержанно.

Ответное пожатие Гучкова было слабоватое. И весь он выглядел не бодро, хотя добирал тем, что голову держал назад.

— Какое ж чудо?

— Да вот — встретили вас!

— Я у Кюба — нередко. Больше чудо, что тут — вы. И вдвоём.

— Я ведь... звонил вам, искал вас!

— Мне передавали.

Серьёзно-печальное выражение выкатистых глаз. Под глазами и в щеках — отёки. В набрякшем лице — тяжесть.

Хоть и видно, а:

— Как себя чувствуете?

Плечи покатые. Весь в линиях ненапряжённых, усталых. В скруглённом бобрике, виски зачёсаны назад, в скруглённой бородке, бакенбардах — седина.

— Да как! Хворь и поросёнка не красит.

Штатская одежда, спокойная благообразность, неторопливость, даже осторожные движения. Средний интеллигентный купец, на избыток денег может быть собирающий картинную галерею или содержащий пансион для одарённых детей. Не вполне достаточного и роста, рыхловат, комнатная фигура.

А кто же — из первых задир и дуэлянтов России? А кто же вдохновитель младотурок? кто это устроил в 3-й Думе небывалый кружок из думцев и молодых военных?

Средний образованный купеческий посетитель ресторана Кюба. А между тем — душа Москвы. Человек, которого боится царь!

Неугасимо ненавидит царица! Однако и сам коронованный славой — и оттого недоступный для кары.

— Судари мои, — подсмеялся он, — но вы так беседуете, с конца зала видно, что составляете заговор. И что тут у вас за обед? Если вы с досугом — у меня кабинет заказан, поднимемся? Ко мне, правда, должны прийти, но я успею протелефонировать и отодвину.

Лучше и придумать было нельзя. Свечин с Воротынцевым переглянулись.

Если дома ты оставил последнюю разрубающую записку и только ждёшь отхода поезда...

Если ты и ехал в Петербург увидеть этого человека...

Гучков пригласил их к лестнице на второй этаж.

Он не то чтобы хромал, но тяжела была его стопа, раненная в бурскую войну, а теперь скрытая в высоком ботинке на особом каблуке.

## 40

В ресторанном кабинете — совсем как дома: вся домашняя непринуждённость, но и свобода от дам, мужской деловой разговор, и ни ушей, ни глаз посторонних. А ещё удивительней, по сравнению с надоевшей окопной едой да и с офицерской столовой в Ставке, — то, что здесь предлагалось. На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шутовская рябиновка — она существовала, оказывается! она не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был — нереальный.

Пока Гучков ходил к телефону, Свечин оценил:

— А он — не лицемер. Деньги есть, торговые связи есть, зачем притворяться?

Хотя внизу они уже вычерпали уху — а вот когда оскалился в них настоящий солдатский аппетит, который и три обеда проглотит.

Гучков, воротясь, заметил выражения друзей и добавок веселости в них. Усмехнулся:

— Что ж, судари мои, Россия-то не обедняла, в России всё есть, только не на своих местах. Правительство с перевозками не справляется, а мы — пока справляемся. Кому чего соблаговолите? А впрочем, я человек больной и неповоротливый, давайте-ка по-дружески, распоряжайтесь сами. Виктор Андреич! Георгий Михалыч!

Не забыл. А сколько уже не виделись.

Не понуждая уговаривать себя дальше, пошёл Свечин к бочонку, вынул из льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры.

— Что там за взрыв на «Марии»? Отчего? — сразу спросил Гучков у Свечина.

— А что, напечатали в газетах? — шевельнул бровищами Свечин.

— Да, в сегодняшних.

Друзья и не видели.

— Это случилось ещё 7 октября, — вставил Воротынцев. — Мне в дороге рассказывали.

— Ну вот, а мы, обыватели, узнаём только из газет, — поморщился Гучков, и это недовольство как нельзя лучше шло сейчас к его лицу.

А Свечин смотрел жестоко:

— Ничего не выяснено. Причина неизвестна. И броненосец потерян. И пятьсот моряков.

— Но странно совпало, — предупредил Воротынцев, — именно в те дни, когда немцы наступали на Констанцу.

— Но есть и продолжение, — черно сказал Свечин. — Только что произошёл крупный взрыв на пароходе в архангельском порту, ещё не напечатали? А там — склад взрывчатых, и могло распространиться на весь порт.

— Ого!

— Да это что ж, единая шайка работает? Что ж, мы так безпомощны? — ужаснулся Воротынцев. Вдруг представил ещё стену этих невидимых опасностей от тайных врагов, о чём на фронте не думаешь, как же ещё с этими бороться?

— С этим правительством! — фыркнул Гучков. — На что оно способно?..

Показалось Воротынцеву верно: с *этим* бороться неспособно наше правительство, да ещё заклёванное.

Сели за одной половиной стола — Гучков на торце, друзья по обе стороны, три прибора оставляя для отсроченных гостей.

Наливал Свечин Воротынцеву и себе, а хозяину — спросясь.

— Губы помочить, — печально отвечал Гучков.

— Да-а, за вашей болезнью мы следили, — с участием кивал Воротынцев. — Вся Россия следила, Александр Иваныч. На Новый год было страшно за вас — в пятьдесят четыре года?!.. Миловал Бог.

Те бюллетени о смертельной болезни в газетах утренних и вечерних дали Гучкову отведать необыкновенного тепла, принять этот голос не партий, но самой России, эту лавину неожиданных писем из разных концов страны, от незнакомых людей: живи, Гучков! твоё дело нам нужно! (Потёк и такой слух, что его отравила распутинская банда.) В провале немощи испытал он свою высшую силу: в покорной подначальственной стране, не имея ни чина, ни власти, ни солдат, в облаке чёрных анонимок справа и слева («удавись добровольно, пока мы тебя не убрали»), под полицейским надзором и в болезнях, — единственный и особенный человек на всю Россию, он заставил бояться себя императорскую чету и сменных министров!

Прилив сочувствия ото всей общественной России сразу — это, может быть, и спасло его на одре. Но когда при каждой встрече каждый с жалостливыми глазами спрашивает тебя о болезни — даже и досадно это сочувствие стойко-здоровых людей, кто болезни может лишь вообразить со стороны, удивляясь им. А если болезней у тебя ещё и не одна, но несколько их, как в насмешку, накинута на твоё неутомимое тело, будто вериги под европейским костюмом, и пока ты грустно улыбаешься в ответ на сочувствия — они, звено за звеном, сжимают и гнут тебя круче, чем ненависть династии или распря с кадетами?

— Весной ещё долечивался в Крыму, — кивнул. — Такой радости доставить Алисе не хочу.

Он зримо гордился, как он насолил императрице.

Гучков в глазах Воротынцева был редкий на Руси характер: он соединял в себе те две смелости, которые обе сразу почти никогда не даются русским: природную им военную смелость и непривычную гражданскую. (Правда, и за собой Воротынцев такое соединение знал.) Да только так и можно сдвигать наши глыбы. И — собран волею был Гучков. Но смутнее с его взглядами: и сшибался

с кадетами, и как-то сливался с ними. Давно не виделись — и Гучков мог сильно измениться за эти годы.

Неторопливым мягким голосом, через пенсне на Воротынцева внимательно:

— Полком? Где вы теперь?

— Да хуже не придумаешь, на самом левом фланге Девятой, — нахмурился Воротынцев. За дни поездки отвык, будто это где-то там, а не у нас.

Малыми бережными движениями покачал Гучков.

— Не скажите. Есть и хуже.

— Где же?

— Кавказский. Вот еду сейчас. Приватно пишут мне: косит тиф. Медицинской помощи не достаёт. С провиантом и фуражом — плохо. — И с большим значением: — А — почему всё? Почему именно на них не хватает?

Не бралось в ум. Почему — особенное почему?

А Гучков так и выдавливал особенное значение, остро отблескивало пенсне:

— Не догадываетесь? Кому это месть?

Только тут наконец невразумительно передалась Воротынцеву мысль: Николаю Николаевичу? — царица? Неужели уж от неё так прямо зависит? И неужели такое возможно представить: из-за одного великого князя мстить всему Кавказскому фронту? всем солдатам? Нет! это был наговор, чрезмерность. Гучков в своей ненависти к императрице тоже меру терял.

Неприятно.

А Гучков ещё настаивал всем видом:

— Вот поеду, сам посмотрю. Дай Бог, чтобы преувеличивали.

И взял маринованный грибок, ел осторожно.

Кажется — довольно полон? Нет, отёчен. Всё ещё нездоров, сильно подорвался. Это нездоровье смущало: может быть и сил у него уже нет?

А положение исключительное: центр общественной жизни, с Главнокомандующими фронтов запросто, с начальником штаба Верховного — запросто. Если что-то предпринимать — кому бы, как не ему! Но если болен?

— Да! — вспомнил Воротынцев. — Я Москву проезжал — там про вас упорный слух, что вы арестованы.

Гучков улыбнулся, как будто довольный:

— За письмо Алексееву? А вы читали?



Воротынцев подтвердил, однако уже и без восторга. А Свечин — только кивнул безволосым булыжником головы. Он распоряжался, ещё к бочонку вставал, пил и рябиновку, ел много, сильной хваткой.

Да и Воротынцев. Распускались фронтовые кости. Медлительная тающая соленость сёмги. Как хорошо. А через пяток дней — снова шлёпать по мокрым окопам, толкать людей — опять на безнадёжность. *Думает* что-нибудь Гучков? Не думает?..

А тот сплёл кисти на подъёме заметного-таки животика, пожаловался:

— Вот такая теперь жизнь. Напишешь официальному лицу письмо. Ну, натурально, покажешь одному-двум знакомым, имею я право? Например Родзянке — уж кто престолу преданней? он из преданности хоть и Царское Село сожжёт, если нужно для охраны царской чести. А вот — разгласилось, запорхало, сперва по Думе, там и по России, читают и в Самаре, и в Нижнем. А уж в Москве и в Питере — только что на стенах не развешивают. — Улыбался слабо-лукаво, но от печали всего лица его улыбка не радовала. — Вот и вашу тогда тираду в Ставке — вы бы в своё время записали, показали бы трём друзьям...

Воротынцева и поскребла манера, как Гучков был доволен этой разгласкою, но и приятно было, что вспомнил о его подвиге. Однако никогда б не пришло ему в голову такое, это у них — газетная ухватка.

— Да какое б я имел право? Военная тайна.

— Вот тайной нас и душат, — с оттенком боли, может быть и телесной, вздыхал Гучков. — Государственной тайной. А между тем тогда — ещё не поздно было всё спасти. Ещё верили все — во всё, и Россия была готова всё одним плечом поднять.

А теперь — неужели поздно?.. Коронованный народным доверием должен знать время каждому действию и каждому слову, когда его произнести на всю Россию.

— А хорошо вы их тогда почистили за всех нас. Не жалеете?

— Нисколько. Никогда, — быстрым глазом метнул Воротынцев.

Правда не жалел. Правда.

Свечин держал губы косовато.

Тут вошёл метрдотель уточнить у Гучкова о винах: подавать ли Шато Ляфит к паштету из гусиной печени, Пишон Лонгвиль к баранине по-нивернуазски? Это явно относилось уже к следующему

обеду, не их, уж слишком причудливо для фронтового вкуса, то был обед другого класса.

Гучков произносил фразы по смыслу энергичные, а тоном усталым:

— Вот нас тайна и довела, что оставались без снарядов. Я в Четырнадцатом предупреждал — в Думе верить не хотели. Так что справедливо хочет Россия гласности наконец.

Свечин кинул:

— Уж если в России вам гласности мало — не знаю, какую вам гласность.

— А что же? Достаточно? — изумился Гучков.

— А что же — мало? — прокатал и Свечин глазищами, каким никогда не понадобится очков, и пенсне бы посадить — смехота. — Газеты распущены, как ни в какой Франции и ни в какой Англии во время войны. И вполне безответственно. Дутые известия, никем не проверенные, и всегда подрывные. Врут, что мы безокнечно отстали и разоружены, даже не замечают нашего промышленного чуда. На правительство — сплошная брань. Какой номер ни развернёшь — хуже нет, как в нашей стране, и глупее нет наших министров, и всё проиграно, и нет спасенья иного, как передать власть кадетам и Земгору. Это не свобода слова, а просто понос. И всю Россию будоражат, и армию. И все газеты — левые.

Это он верно порубывал, но зачем с таким раздражением к Александру Ивановичу? Кажется, Свечина что-то раздражило ещё с самого гучковского прихода — то ли шутка о заговоре, ещё в нижнем зале, то ли о младотурках, упоминания которых Свечин не любил. Порубывал, не сдерживаясь:

— С вашими младшими братьями кадетами очень гордитесь, как всё колеблете и раскачиваете. Смотрите, на голову бы не свалилось.

Гучков не обиделся, но развёл пальцами, ища у Воротынцева справедливости. Уж если ему братья — кадеты, с кем он одиннадцать лет непрерывно сражается... Он знал о предмете слишком многотрудно, чтобы переговаривать плоско. Не по рангу ему было оправдываться перед этими офицерами и походило бы на злословие сказать о Милюкове, что у того нет мужества убеждений и прямодушия действий, что он всё провалит, к чему прикоснётся. Или о 4-й Думе, что она не способна ни сотрудничать с правительством, как 3-я, ни как следует поссориться с ним: поглянется, будто он от обиды, что самого не выбрали. (Да не всегда и сам усле-

дишь за собой: прошлой осенью может быть именно то, что его не выбрали от московского общества даже и в предполагаемую делегацию к царю, что он так пошатнулся в своей же Москве, — может быть и толкнуло его на мятежные шаги и на конспирацию.) Год назад, да чуть ли не сегодня же, 25 октября, предлагал Гучков этим младшим братьям объединиться и вместе идти на последний разрыв с властью, — где там! Их желание стать правительством превышает их готовность рисковать собой. Прошушукались год по частным квартирам, чтобы только сохранить Прогрессивный блок.

Вот какой жест был у Гучкова: он козырьком ладони пригоразживал лоб, как бы от лишнего света, от верхней лампы, то ли сосредоточиваясь, — упирался локтем в стол и так сидел.

Но в этой позе энергичный Гучков выглядел потерянное тех кадетов. Оттого ли, что в своей неукладистой деятельности уже столько раз расширялся о стену?

А Свечин раскраснелся со всей крепостью дюжего подвыпившего человека и не проявлял жалости:

— И они и вы Россию раскачиваете, неизвестно кто больше. Все — патриоты, все — за победу, и безопасно для себя. И эти письма — очень не к добру бывают.

Вдвоём со Свечиным уже налаживался разговор! — так Гучков перебил. Теперь втроём могло начаться самое интересное! — так Свечин выбрыкивал. Однако его резкостью ещё приосветилось Воротынцеву в письме: сходство с кадетскими газетами, да. Верно, как бы соревнование, кто крикнет громче.

Он замялся, смутился, не удержал Свечина от его тона. А ещё оттого ли, что они пили, а Гучков нет, — создалась разница температур и громкостей. И без надобности громко Свечин:

— Так и Сухомлинов. Ну конечно он дурак, и мотылёк, и не место ему в военных министрах, но вы уж настолько ничего не жалели, чтоб его сшибить, вы в бою всё забываете, только б ударить крепче.

— Это есть, — слабо улыбнулся Гучков.

— И саму Россию! И при чём этот Мясоедов, никакой не шпион? Чтобы только сбить министра — во время войны играть шпионажем вокруг военного министерства? Как это можно?

— Он — доказанный шпион, — построжал, похолодел Гучков.

Воротынцев перехватил, что Свечин распаляется и тут спорить. Сам он — подробностей о мясоедовском деле не знал, в газе-

тах читал глухо, смутно, — но только не дать сейчас разломаться всему разговору!

— Важней всего, — остановил он Свечина, — не кого Гучков разоблачает, а что Гучков реально сделал для армии.

Но Свечин, всегда скептически выдержанный, уж если распадется, то как никто, не обуздаешь:

— Да и с военно-промышленными комитетами меньше бы вы цацкались, Александр Иванович. Всё конвенты завариваете.

Гучков отнял козырёк ладони задетым жестом:

— А кто же «промышленное чудо» вам делает, если не промышленные комитеты? Своим участием в них — я горжусь.

— А почему за всё дерёте в двадорога? Почему казённая пушка стоит 7 тысяч, а ваша 12? Всей общественностью проталкиваете через министерство высокие цены. И строите заводы, где и не нужны, только бы казённые погубить. А железнодорожными планами 1922 года — зачем ваше дело заниматься? А социал-демократы зачем там сидят при вас? Неужели о победе радеют? А не вынохивают, как всё взорвать?

— Рабочая группа? В том и замысел, что лучше пусть они около меня сидят помощниками и консультантами, чем по улицам с красными флагами. Что же делать, если власть... Я знаю эту власть: правительство и само ни к чему не способно, и не желает протянутой ему помощи. При этой власти, если не вмешаться нам, — победа будет невозможна.

Что он хотел сказать — «не вмешаться»? Или — только о промышленном комитете? Воротынцев зорко следил, хотел проникнуть, ничего не пропустить. Но опять его скребануло — а! цель — победа! Но «всё для победы» ещё не значит — для России. А если, по гучковскому же письму, война так безнадежно организована — как же сметь её продолжать?

— Да вы садьте на место правительства — ещё вззоете! — Уже и стул был Свечину неподвижен, он закачался на задних ножках. — Что б за правительство, грош бы ему цена, если б оно вам во всём уступало? — хоть там самые реакционные министры сиди, хоть самые либеральные. Если министры — то и должны управлять они, а не парламентские ораторы и не промышленные комитеты. А у вас каждый самовольный съезд — только чтоб давить на правительство и давай четырёххвостку! Ниспровергать власть — это у вас выполнение «гражданского долга перед Родиной».

Как круглый сильный камень свалится, скатится под самые ноги и перешибает путь, так и Свечин сегодня перешибал всю желанную, задуманную встречу с Гучковым. И осадить его было трудно, потому что разогналса, пьянея, и потому что, чёрт, во многом прав. Хотя и: правительство действительно бездарно, вот в чём ужас.

Но, как бы не замечая его резкости, Гучков отвечал выдержанно:

— Однако и организованной общественности, если она состоит на службе родине, естественно требовать себе и политических прав.

Свечин с разгорячённой мрачностью качался на задних ножках стула:

— Да просто почувствовали, что власть без опоры, — и все лезут захватывать. Ослабла власть — значит и хватай за горло. Во время войны — немедленно менять им государственный строй, во как! С ума посходили!

Свечин отвечал Гучкову — а так получалось, что — Воротынцеву? Чего Воротынцев ещё не высказал, ещё не предположил вслух — а Свечин уже отвечал?

Да не строй менять, а... А что именно менять? При неизменном, допустим, монархе — а правительство новое, — что ж, из кадетов? Не для них же стараться. Вот это главное бы тут обсуждать, а разговор сбивался. Так удачно исправленные обстоятельства встречи с Гучковым нельзя было дать упустить, нельзя разойтись впустую! Но положение Гучкова было несравненно, и это ему решать, заговаривать или не заговаривать о *таком*.

Гучков укрепил пенсне при выкатистых глазах:

— Но выиграть войну с этим бездарным правительством — действительно невозможно!

Ну конечно он *думал*! У такого человека не могло не зреть в голове что-то переворотное!

— Чем же выиграть? — Свечин с раскачки пристукнул передними ножками стула о пол, как зубами, — тем, что искры по соломенным крышам бросать?

Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Сразу запахи — ах! Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватали ещё отвычной ледовой водки. Хор-р-рошо!

Это всё — примиряло. Свечин перестал качаться.

Гучков тоже, с удовольствием нездорового, потягивал горячий бульон.

— Нет, конечно, — говорил он, когда лакей вышел. — Я именно против всякого поджога. Как раз этого и не понимают кадеты: что революционную мысль нельзя швырять в массу.

Вот это Воротынцеву очень нравилось: Гучков не ждёт сотрясения пассивно, как кадеты, но хочет активно их предотвратить. Вот на это он и надеялся с Гучковым.

Свечин — примирительней:

— Чего-то они, Александр Иванович, не понимают, а что-то лучше вас. Я по себе скажу, что иногда мы сами не отдаём себе отчёта, а проводим чужие мысли. Просто незаметно находимся в их влиянии. Вам кажется — вы развиваете независимую смелую там программу, — а на самом деле примитивно идёте по какому-нибудь масонскому замыслу. Вы сами, честно говоря, хотя всё равно не скажете, — не масон?

Шутил — а и не шутил, досматривал.

Но вид у Гучкова был откровенный, лоб ясный. Также усмехнулся:

— Честно говоря, мне лично не предлагали, или когда-то не серьёзно. Хотя чувствую, что кто-то где-то зачем-то вступает. Но я б никогда не вступил. Я — монархист, и уже поэтому не мог бы быть масоном. Масонство — это моральная нечистота: смотреть людям в глаза и обманывать их. Немужественная игра. Хочешь действовать — действуй прямо, открыто, а зачем по закоулкам, в масках? Мне кажется, историю можно делать и объяснить без масонских тайн. Добиться сдвигов в ней — прямыми, ясными действиями.

Прекрасно сказано! Воротынцеву очень понравилось. А если уж — Гучкову не предлагали, то все эти неопределённо-смутно страшные масоны сразу теряли в объёме, сжимались в уголок.

А у Свечина была манера, выпив и в круту своих, становиться особенно перёчным и жёстким, высказываться гораздо дерзей, чем он разрешал себе на службе:

— Всё равно, Александр Иванович, не радуйтесь. Вы и безо всякого вступления, совсем невольно и безсознательно можете отстаивать не масонскую линию, так еврейскую. Вам кажется, что вы самостоятельны, а вы...

— Я-а-а?

— Да-а-а! У евреев такая хватка есть: ни одного важного узла действий, ни одной важной личности не упустят, чтобы не пытаться её направить. Уж чего там Распутин, а вошёл во влияние — и его обсели. А уж вас!.. Ну, проверьте, в вашем отношении к правительству какая с ними разница? А им просто — наплевать на русскую судьбу.

Гучков поставил твёрдо локти на стол.

— Как раз тут одна из границ между кадетами и нами.

— Да какая же? — задирает Свечин.

— А вот. Для кадетов еврейский вопрос — почти первый политический вопрос. Он и партийную программу у них открывает. Кадетов послушать, так главная цель войны — это еврейское равноправие, а не существование самой России, чтоб устояла она вообще. Тут все кадеты как в одной капле. В трёх Думах они не давали провести крестьянского равноправия без еврейского, так и утопили! Кадеты в голову не вберут, что эти два равноправия для России всё-таки не равно спешны. Не равно задолжены. А мы...

— А вы с ними не меньше нóситесь! — большой ладонью отмахнулся Свечин. — Все адвокаты — евреи. В Думе в журналистских ложах одни евреи сидят. Если они так угнетены, как же им доверено выражать и внедрять общественное мнение России? Нескольких хилых правых газет издаются на тёмные деньги, а вся либеральная пресса — на светлые деньги? Откуда эти деньги? Да еврейские! Вот — и направляют газеты. Посмотрите, кто издаёт. Черта оседлости второй год не существует, все города и столицы ими переполнены. С этого года и университеты есть — где шестьдесят процентов евреев, где восемьдесят. И торговлю им распахнули, вся торговля через них. Завод князя Путятина! — кстати, плохие шрапнели, — а это выпускает Рабинович, заплатил Путятину за имя. И сколько таких заводов у вашего промышленного комитета? А еврейские сахарозаводчики гонят русский сахар тайком в Германию! Где, к чёрту, загнаны? Они — пружина напряжённая. Она вот-вот отдаст — и удар будет страшен!

Гучков удерживал невозбуждённый тон, поднял останавливающий палец:

— Пружина отдаёт, если на неё слишком жать. А не надо жать.

— Вот-вот, — опять покачивался на стуле, опять качался на своём упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. — Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и пра-

вительство и Государя — а о них вы посмеете вслух промолвить хоть осьмушку того? Да никогда! А почему? Вот это и называется — страх иудейский! Загнаны! Они нам ещё на голову сядут! Этот избранный народ на чью палубу всходил — тот корабль бортами черпал. Так и Россию погубят.

— Нет!! Нет! — вмешался тут Воротынцев. — Так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда — то сами и виноваты. — Досадно, вся редкая встреча поворачивалась вхолостую и кончится ничем. — Я много лет замечаю: еврейский вопрос — это такой колючий, растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя, и решить нельзя, и никто не остаётся равнодушным. А между тем...

Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытее в болезни и печали, но и глубже:

— Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаёшься и не можешь не признать, что он — самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, — улыбнулся Гучков. — Так вот, кадеты поддались, и всё это приняли. Но и вы, Виктор Андренч, поддаётесь с другой стороны.

Нельзя уже было проще оторвать их от спора, как подкатить скорей к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрее проговаривая:

— По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или: евреи — это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрёк разложится на всех. Или: это — сплошь тёмные, злые заговорщики, которых как единое целое можно только ненавидеть, и подозрительно, когда любят хоть отдельных из них. И всякая попытка ввести оговорку, не сплошь нежно любить или не сплошь страстно ненавидеть, отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посередине? Вот я считаю, что я стою прочно посередине. Я — решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллек-



туальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.

— Значит — послабить? — громогласил Свечин с непоколебимой жёсткостью. — Так сразу они на голову и сядут! Вот в этом и секрет, понимаешь? — они не могут и никогда не согласятся по-равному. Как только им послабишь — сразу на голову!

— Мне кажется, — сосредоточился Гучков, разглядывая свою пенсне как самую большую загадку, — и я тоже занимаю среднюю позицию. Я... и мои некоторые единомышленники... мы понимаем вот как. Евреи — нам посланы. Не во всякой стране их шесть миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Распутятся ли когда или нет — не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб — «иллюминациями», надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, тёмные мужики не понимают, что делают, Россия жжёт и громит сама себя, — а для депутата русского парламента... Ну, что о покойном... Затем, я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны, признаюсь, что и я их, в общем, больше — не люблю. Но: они — нам посланы. И поскольку государство — наше, мы должны это переплетение решить приемлемо для всех. В Европе? — с ними обращались жёстче, чем у нас. Черта оседлости? — когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависит — от международных еврейских денег. И в периодической печати они всемогущи, да. И художественная, и театральная критика — в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений. И тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять.

— Вы и не заметите, — горели чёрные глаза Свечина по обе стороны крупного, сильного носа, — как всё уступите. Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расширение власти. Так вы — и бросаете искры по крышам, Александр Иванович.

Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке всё так же держа витиеватый зацем неразгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть не от света, а от громкого собеседника. И как бы ещё проверял сам с собой:

— Но не можем мы отказаться от Освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули...

И Воротынцев:

— Ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность: евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важнее еврейского. Ехал я две тысячи вёрст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы...

Чтобы?

Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые, неживлённые карие глаза с выкатом, пожалуй тоже нездоровым, но самый взгляд — взгляд бойца.

Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел.

...Чтобы?..

Да такие, как Воротынцев, — неужели ж ему не нужны?

Хотя закралось теперь: а под *то* — понимает Гучков то или не то?..

...Чтобы?

Да господа, да неужели же мы, такие решительные, умные, энергичные люди, — и не сумеем ничего придумать? не сможем спасти дела?..

Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью.

Гучков не стал его есть. А приятелям — отрезали, и они приложились ругнуться.

Пока лакей был — помолчали, но и когда вышел — что-то разговор не возобновлялся. Свечин вдруг замолчал так же круто и безповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков очевидно берёт аппетит на следующий обед, или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино — и тоже молчал. Воротынцев — не мог говорить прямо, но надо было поддерживать в том направлении:

— А интересно, Александр Иванович: Алексеев — ответил вам на ваше письмо?

Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу:

— Нет. Но. За него ответил Штюрмер.

— Как так?

— От имени Верховного запретил мне въезд в Действующую армию. Даже к санитарным поездкам. Ну, тем более, конечно,

в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. — Щурился. — Без армии я — что?

Не удержался Свечин, и тут поперёк:

— А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, и вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооружённых сил, что ваша дрянная, слякотная, жалкая власть гниёт на корню, — и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они ж вот вам на Кавказский не препятствуют...

Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался:

— Предупредил Штюрмер и о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции — наверно, ни за какими бомбистами никогда... По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовём кличками. Не удивлюсь, Георгий Михалыч, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведётся реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим паккардом гнали филёры на лихаче и теперь у подъезда дежурят.

— Ну, Алексею тоже досталось, не думайте, — упрямился Свечин. — И с Государем у него, конечно, было объяснение.

— Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? — грустно, через силу улыбался Гучков.

— Наверно. Примерно. И Алексеев, надо думать, отрёкся от вас.

Гучков поднял брови. Опустил. Узнавая. Что ж, политическая борьба — она такая и есть.

— И заболел во многом от этого.

— Ну не совсем так, ты говорил!

— Про болезнь я слышал, — кивал Гучков.

— И теперь, наверно, уйдёт в длительный отпуск, лечиться.

— В отпуск? — насторожился Гучков. И сразу: — И кто же вместо него? — С нескрываемым значением, неспроста.

Да, в самом деле: кто же? Ещё бы не важно.

Свечин любезно:

— Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолопа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие: Головин или Рузский.

Головина?.. Неужели подымут? Нашего?..

Гучков насадил пенсне. Оно заблестело повеселей:

— Головин — это бы замечательно.

Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору: замечательно? А — для чего? В каком смысле?

— Корпусами смело будет двигать, — предсказал. — А сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас, генкварт Девятой. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.

— И надолго это? — спрашивал Гучков очень заинтересованно. — А вы, Георгий Михалыч, в этом случае как? Не попытаетесь вернуться в Ставку?

Догадался... Воротынцев энергично потёр щётку бороды, выражая глазами больше, чем словами:

— Во-первых, захочет ли Головин? И — он ли ещё будет? Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих — нужен ли я там, Александр Иванович? Т а м ли я нужен? Как это правильно понять?

И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.

— Рузский? — перебирал тот как своих подчинённых. — Вяловат. И слишком эгоист. А — кто ещё может быть?

Покинуло Гучкова бездейственно-грустное, гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел. Сосредоточился.

— Да что ж вы не курите, господа? Вероятно ведь курить хотите.

А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть. Задымили, Свечин трубку. Развалились.

Гучков тщательно прошёл тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, по верху бороды. Отложил.

Поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая, по небольшому пространству, несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел.

Снова сел. Руки собрал в замок перед собой.

— Господа. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях? Возьму с вас слово чести?

Да, конечно, разумеется.

И — чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт. Седина у него только чуть прорисовалась — по переду бобрика и по краям бороды.

— Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, что ещё не упущено... совершить.

Так! дождался Воротынцев часа своего! Не опоздал. Был здесь. Гучков больше на него и смотрел.

С сознанием своей славы и власти в этой стране.

И с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его через всю жизнь.

— Я хотел бы обсудить с вами: что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час родину направляет режим фаворитови шутов? Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым всё дано, но с которых и спросится историй?

## 41'

(Александр Гучков)

Фёдор Гучков, дед Александра, был крепостным дворовым человеком малоярославецкой помещицы. В конце позапрошлого века, тринадцати лет, он попал в Москву и был отдан учеником в суконную лавку за 20 копеек в месяц (гривенник помещику, гривенник ему). Женился на крепостной, выкупил себя и семью, устроил в Преображенском шерстяную фабрику с английскими станками. В семье считалось, что мысль поджигать Москву с подходом Наполеона принадлежала ему. Всё горело — но он всё возобновил и расширил. Однако ещё при жизни оставил фабрику и торговое дело сыновьям, а сам был сослан в Петрозаводск за упрямое старообрядчество. Сын его Иван, полюбив замужнюю француженку Корали Вагез, переодевался кучером, чтобы проникнуть в её квартиру на кухню, — и так увлёк её, увёз от мужа и женился, всем этим порывая со старообрядством. От того брака было четверо сыновей, среди них и Александр. Хотя и этот не вовсе выбился из плоти московского купечества, состоял членом банковских и акционерных правлений и директоров (впрочем, не был богат, наследство уступил брату Фёдору, и отец не считал его хозяином), — жизнь Александра сложилась необыкновенно для его рода и окружения, лишний раз убеждая, что наш характер и есть наша судьба.

Уже гимназистом он испытал немалые общественные страсти. В семье его, как бывшей крепостной, было поклонение Александру II — и после выстрела Засулич Саша Гучков в школе заступился за правительство: стрелявшая подняла руку на доверенное лицо Государя! Соученики побили его за это. Но вскоре же понял он и сам неотвратимую прелесть террора: от позора Берлинского конгресса, английского флота в Босфоре, Саша решил своей рукой убить Дизраэли за антирусскую политику, во имя чести России. Купил револьвер, учился стрелять, готовил

деньги на побег в Англию — и восторгался счастьем пережить казнь за Россию. Но доверился брату, брат выдал отцу — и всё разрушилось. (Через тридцать лет главою нашей думской делегации в Лондоне остановился перед памятником лорду Биконсфилду: «А ведь ты мог погибнуть от моей руки!»)

Окончив московскую гимназию с золотой медалью, затем и московский университет «кандидатом» (то есть тоже с отличием), он ещё пять лет ездил в Германию доканчивать там образование, слушать семинарии философские и экономические, и притом написал несколько работ — об общественном землевладении, о страховании, о хозяйственной жизни древнего Новгорода, и доискивался (как бессознательно предчувствуем мы сами себя): участвовала ли Екатерина в государственном заговоре Мировича? В 23 года Гучков сдал в гренадерском полку экзамен на прапорщика, и это не было простым отбытием повинности университетским человеком, как и в 26 лет не случайно было избрание почётным мировым судьёй Москвы, в 31 — членом московской городской управы: гражданская и военная деятельность пересеклись и переплелись на жизни Гучкова — парламентского оратора, государственного человека, армейского застойника, солдата, отличного стрелка.

Можно понять, что очень рано и с болью он осознал распространённое русское интеллигентское свойство — не шибко любить *делать* дело, больше о нём разговаривать, спорить, а если уж и взялся, так не доделывать до конца, прощать себе и другим оставшиеся вершки. Может быть от крепкой крестьянско-купеческой натуры ощутил в себе Александр Гучков способность и волю: делать и доделывать. И в то время, как бывший его университетский товарищ Павел Милюков всё больше сладости находил в диспутах и лекциях, Гучкова из библиотек и аудиторий срывало к студенческим дуэлям в Германии, к бою, и к делу. Никогда не свидетель, везде — участник, и даже сорвиголова.

Услышав о голоде в России, покидал он берлинский университет — и кидался в нижегородскую глушь: стать волостным писарем и кормить деревню. Резали турки армян — Гучков кидался туда. Опасна охранная стража на сооружаемой Маньчжурской железной дороге — Гучков, покинув муниципальную деятельность в Москве, уже там, служит офицером и даже ищет боевых столкновений. Отсюда *близко* Тибет — и он странствует к заветным местам его. Его мучит поиск грандиозного. Началась далёкая романтическая бурская война, кто-то волнуется над газетными депешами, кто-то поёт «Трансвааль в огне» — Александр Гучков с братом Фёдором уже добровольцами среди буров, и даже храбрые буры удивляются его самообладанию в бою: под картечью он остаётся распутывать постромки зарядного ящика, высвобождая мулов из гибели. За все эти годы не раз приходится ему писать прощальные письма родителям на случай своей неизбежной смерти. В бурской войне едва не потеряна нога, осталась хромота на всю жизнь; с 26 лет уже мучает его грудная жаба. Но вспыхивает восстание македонских четников про-

тив турок — и вот уже Гучков едет добровольцем туда. Лишь на 41-м году безпокойный этот человек женится. 42 года ему — и он уходит на Японскую войну, хотя не с винтовкой, а уполномоченным Красного Креста и московской управы (впрочем, не минует его и короткий японский плен).

И может, ещё и на том не унялся бы он отзываться на дальние мировые события, если бы самые главные события (тогда ещё никто не прозревал, что — всемирные) не заклокотали бы в самом сердце России. И всё, что делал Гучков до сих пор, загорался и кидался пособлять, — оказалось лишь брожением молодым, лишь подготовкою мужа к событиям государственным. Теперь-то пришлось попробовать, что сдюжит он для России.

Уже довольно было имя его известно, и по Москве заметный был он человек. Воротясь из Маньчжурии весной 1905, узнал он, что от московской городской думы избран на майское земское совещание. Там уже всё более выдвигались не собственно земцы: Петрункевич, Милоков, Родичев, братья Долгоруковы. Совещание поразило приезжего накалом своей революционности. Хотя и избиралась депутация к царю посоветовать ему конституцию, но многие жаждали, чтоб отказано было в приёме, и можно было бы неогляднее разворачивать революцию. Умеренная шиповская группа, и в ней Гучков, осталась в порицаемом меньшинстве. Но Гучкову, не избранному в депутацию, как раз во время съезда пришло личное приглашение в Петергоф к Государю (наслышанному о деятельности Гучкова в Красном Кресте и о спорах с Миллюковым). Был принят, беседовал целый вечер, при встрече милостиво присутствовала государыня (далеко не предвидя в этом купчике своего будущего лютого врага). Это было сразу после Цусимы и ещё до приёма земской депутации. Гучков, как он понимал себя и самодержца, дал советы мужественного, бывалого человека — человеку засидевшемуся, отгороженному от жизни и робкому: не дать внутренней слабости одолеть Россию, ни в коем случае не идти на перемирие с Японией, где игра внешних держав решит русскую судьбу; но, уж ввязавшись, продолжать стоять против Японии, а в России быстро, без сложных выборов, собрать Земский Собор — от дворянства, крестьянства и горожан, явиться туда самому и выступить смело, что в прошлом было много сделано ошибок, они не повторятся, но сейчас не время реформ, а время — окончить эту войну, при единстве страны не может Россия проиграть Японии — и не проиграет! В Земском Соборе будет почерпнуто недостающих сил, это передастся и армии, она воспрянет духом, передастся и Японии, все расчёты которой — на общественный развал в России. И несколько раз Государь в раздумьи повторял: «Да, вы правы. Вы совершенно правы». (И в тех же днях советчику противоположному — что Земский Собор только усилит революционное движение, продолжение войны грозит России гибелью, и надо немедленно заключать мир во что бы то ни стало — Государь согласно повторял: «Вы совершенно правы. Именно так надо поступить».)

Обласканный Гучков в то лето был позван и на узкое петергофское совещание по выработке проекта Думы. Все там предлагали выборы сложно-сословные, чтоб не упустить руководства, только Шипов и Гучков — общенациональные (но — ступенчатые, по степени достоверной известности кандидатов избирателям, отнюдь не прямые).

Если открыть Верховной власти разумный путь — отчего б она не пошла этим путём? Нет! Безмыслие и бездарно ту войну начав — бездарно и невыгодно спешили только вытянуть ноги из проклятой Азии. Внутри России вместо смелых шагов всё лето перебивались малыми, трусливыми и опозданными, а когда помнилось, что вода уже под горло — выбросили сумбурный Манифест 17 октября. Манифест был вырван не потому, что у власти не было физической силы (она — была, и проявлена через два месяца при подавлении московского вооружённого восстания), — но коснеющая царская воля испытывала перерывы уверенности, и в такие перерывы от неё бралось всё, что угодно.

Осудили Манифест правые, осудили и левые. Настроение общества было: царь задрожал? уступает? — так вырвать большее, а взятое — ничто! (Когда в ноябре Гучков предложил земскому съезду осудить насилия и убийства как средства политической борьбы — «конституционное» большинство съезда отказалось принять такую фразу!) Кадеты отказались войти и в «полуобщественный» кабинет Витте.

Отказались и приглашённые к тому Шипов, Гучков, орловский предводитель Стахович, князь Евгений Трубецкой, ибо сочли, что зовут их для показа, перемешать со старыми администраторами, но не реально обновить политику. Шипов же настаивал, что они — меньшинство, а большинство — левые, и именно их надо звать, чтобы общество поддерживало правительство.

Однако за совместные поездки из Москвы в Петербург и обратно, то на консультации о законосовещательной Думе, то на переговоры о вхождении в кабинет, Шипов, Гучков и Стахович в долгих беседах обнаружили и утвердили основания новой партии.

Вослед Манифесту сразу заплодилось много партий, тем мельче, чем их больше. Шиповская группа этой проблеме партийной группировки была застигнута врасплох: она вообще ведь была против всякой политической борьбы. Теперь и конституционное устройство и партии приходилось принимать как неизбежное зло, всё равно уже введенное волею монарха. Не оставалось другого пути, как принять и свою долю тяготы в новом устройстве. С другой стороны, единственное практическое расхождение с земским большинством — конституция, первенство правового начала, всё равно уже было введено, так что практически Шипову ничто не мешало бы вступить и в партию кадетов. Но разделяла, как он говорил, чуждость кадетов основам народного русского духа.

А Гучков и был за конституционную монархию, именно такую, как обещал Манифест, с ответственностью правительства перед монархом, а не партиями. Он не одобрял наступательного настроения



левых земцев, кадетской требовательности парламентаризма ради парламентаризма. Для него Манифест был хорош как он есть, и только опасался Гучков, как бы власть не стала выкрадывать его по частям назад.

И согласились Шипов и Гучков, что пришло время политически объединить всех тех, кто хочет осуществить Манифест — утвердить новый государственный порядок, но при сохранении авторитета монарха; кто одинаково отвергает и застой и революционные потрясения, у кого есть это ощущение исторической глубины, вековой устойчивости, которую надо сохранить в её новом развитии. А для того создать не партию, но союз партий — чтоб избиратели не группировались мелко, разномыслием по частным вопросам лишь усиливая партийную рознь, но — единомысля в основном. Первый такой союз — не против правительства, но в поддержку его.

В начале ноября 1905 шестнадцать основателей объявили о «Союзе 17 октября», приглашавшем в себя мелкие партии с сохранением их программ. Не могли войти только: сторонники неограниченного самодержавия и сторонники демократической республики. Среди главных положений программы нового Союза были: все гражданские права и неприкосновенности; уравнивание крестьян в правах с другими сословиями; признание государственных и удельных земель фондом земельной нужды; допустимость и принудительность отчуждения частных земель, но при справедливом вознаграждении и в исключительных случаях; для рабочих — страхование, ограничение рабочего дня и даже свобода стачек, но при условии, чтобы не страдала жизнь прочего населения и государственные интересы; прогрессивный прямой налог (чем богаче, тем больше платит) и понижение косвенных.

Устроители «Союза 17 октября» торопили скорейший созыв Думы — в мечте, что тогда и начнётся тесное единение монарха с народом. А между тем быстробегущие недели накатывали на Россию сотрясения и испытания: пьяный мятеж в Кронштадте, флотский мятеж в Севастополе, волнения в губерниях, убийства, террор, паралич всей Сибири, вооружённое восстание в Москве, а в ответ — «режим чрезвычайной охраны» вместо «незыблемых основ гражданских свобод», обещанных Манифестом: левые крути и правительство, как бы наперехват, друг друга выпереживая, сшибали и топтали тот злополучный Манифест. И «Союзу 17 октября», всю свою деятельность полагавшему от Манифеста, приходилось спорить о своём заветном ещё прежде, чем Союз учредился вполне.

Эту среднюю сложную миротворную линию устроители объясняли так:

Ш и п о в: Кому дорого мирное преобразование государственного строя, должен с появлением Манифеста признать революционное движение в стране законченным и доброжелательными усилиями содействовать проведению новых начал. Мы отмежёвываемся и от левых, и от

правых партий. От правых, потому что они селятся сохранить старый приказный строй, приведший нас к Цусиме. От левых, потому что весь русский народ привержен идее монархизма, а не деспотизма олигархии или массы. Монарх — выше всех политических партий, и свобода и право каждого гражданина наиболее обеспечены при конституционной монархии. В отличие от левых партий мы считаем, что человек должен быть не только свободным, но и проникнут нравственным идеалом.

Здесь председатель ЦК «Союза 17 октября» сильно приподнял, приписывая свою высокую программу разношерстному соединению, составившему Союз. Для Шипова задачи нового Союза совпадали с его давней мечтой:

устранять из политической борьбы раздражение, предвзятую подозрительность, взаимное недоверие; политическую борьбу сводить по возможности к доброжелательному выяснению спорных вопросов, к установлению соглашений, приемлемых для спорящих сторон.

Гучков: Мы не можем относиться отрицательно к тому, что создано старой Россией. И монархическое начало тоже должно быть перенесено обновлённым в новую Россию.

В Охотничьем клубе на Воздвиженке, где триста прекрасно одетых людей слушали уверенных ораторов, съезд *октябристов* как будто мог торжествовать: сложная средняя линия общественного развития была ясно выражена в речах и неоспоренно принималась аудиторией. Но когда вскоре начались выборы в Думу — мелкие партии и их кандидаты легко откалывались от «Союза 17 октября», вступали в любые безпринципные блоки, лишь бы быть избранными. И собранная сила Союза оказалась трухой. А общество, всё более обозлённое и убеждённое, что никакие соглашения с *этой властью* невозможны, не отдавало голосов странным проповедникам какой-то средней линии и соглашения. И на выборах в Первую Думу в начале 1906 года октябристы потерпели сокрушительное поражение, даже сами Шипов и Гучков не были избраны. И как будто зря они эти месяцы силились воплотить свои высокие принципы в послушное политическое тело.

То был кризис для обоих, но, при разнице возраста всего в 11 лет, для Шипова — переломивший его общественную деятельность на нисходящую ветвь, для Гучкова — взмывший его жизнь по восходящей. Не хочется сказать, что от поражения, но от сошедшихся нескольких причин на том они и разошлись, и даже отчуждились. Вскоре после неудачных выборов Шипов уступил Гучкову пост председателя «Союза 17 октября». Была в их расхождении смена эпох, но было и то, что по законам собственной жизни мы должны, отыграв своё, не задерживаться на сцене. Шипова это настигло в пятьдесят пять лет, счастливы те, кого настигает в семьдесят, а иные и в тридцать отжаты.

На этих обзорных страницах мы так много занимаемся Дмитрием Шиповым не потому, что он повлиял на ход русской истории, но именно потому, что с началом самых жестоких сотрясательных лет не повлиялнисколько. Его умеряющие благотворные действия прежних тихих лет, принесшие и успех его медленным основательным замыслам, и всероссийское влияние ему самому, — с началом общественной тряски сменяются чередой поражений, честных самоотказов и полным задвигом в бездействие, отбросом в безсилие. Именно потому мы так внимательны к урокам Шипова, что за четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счёты, или был бы лукав, или корыстен, или славолюбив, — нет! он своим спокойным, обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 — и поста премьер-министра. И — все его советы оказались непринятыми. И — ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, — странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда — отказ...

Урок Шипова напряжённо дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно нравственное действие в истории? Или — какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитой гибкой политической жизнью, — много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных *интересов и сил*, а — из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль.

Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым, и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, — так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершён загиб, ему самому незаметный. Ещё год назад он считал для России конституцию губительным путём. Затем из послушания монаршей воле стал проводником Манифеста 17 октября — твёрже самого Государя. Теперь же, когда победа — едва, на перевесе — оставалась за властью, Шипов, не замечая, всё более принимал сторону кадетов:

Власть должна отказаться от борьбы с обществом.

В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц, или грозили убийством (брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков *официально* постановил — *убить*), однако Шипов не прибавлял: «и общество должно отказаться от борьбы с властью». Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы «не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни», и склонял-

ся отдать последнюю в волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике.

Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встречались Шипов со Столыпиным летом 1906, обговаривая, как вместе создать правительство, — но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу — душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбуждённого, сбивчивого, оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам.

А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишён хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а *сделать* в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасти — ему не по силам.

Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, не избираемый в Думу, всё более вышибленный и устранённый даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства и из московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслёзная плёнка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешает видеть. Дописывая мемуары осенью 1918, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории, подобная кровавая катастрофа никогда не повторится, окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма, религиозное сознание победило, особенно в Соединённых Штатах; русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалёком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савинков, уже перешедший в христианство.

И такой конец Шипова заставляет усумниться, насколько отчётливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906 согласился бы возглавить русское правительство? (Это — не символическое представление: в тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Г. Е. Львов. В 1917 тот показал, чего стоила вся линия.) Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской Думы? — богоносцу ничто не повредит, он всё равно подымется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную неправоту правоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели постигаемые только интуицией.

Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова, в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли: от первой же встречи, почти мгновенно, всё той же нашей спасительной интуицией, Гучкову без оговорок полюбился его твёрдый, уверенный, мужественный ровесник Столыпин. В наших схождениях-расхождениях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убеждениями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определённым взглядом на всякий предмет, прямизной в высказываниях и —

В нём русское было центром всего.

Сам Гучков, к сорока пяти годам из своих передражных поездок и войн придя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь — перенявши от Шипова руль «Союза 17 октября» в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым: благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу.

А для меня, напротив, всегда большое удовольствие — хорошенько *накласть* своим противникам!

Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы — до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию кадетской Думе, пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар — хотя б в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтобы кадеты хоть поперхнулись.

Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину, — войти в его первый кабинет Гучков не решился: это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове, за несколько недель до взрыва, Столыпин предложил ему пост министра торговли-промышленности, и программу правительства Гучков одобрял, — а ставил и ставил встречные условия, кого ещё *из общества* непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны.

В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и Государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свеаборге, а тут — дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе. Тоже звал в министерство. Но, по всему, не отдавал себе отчёта в серьёзности положения. Монарх — как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало

так тяжело на душе, что и сказать нельзя. Петергофские впечатления совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идём навстречу ещё более тяжёлым потрясениям. Но вместе с тем и примирительное чувство, что *невинных нет*, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости. До боли жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц, целые классы, весь строй, —

писал Гучков жене по свежим впечатлениям петергофской аудиенции. Вся загадка и всё бессилие сгущались в этом странном вежливом Государе, который только и находился спросить солдата — в каком он полку

служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста — что он, старший или младший брат однофамильца-моряка?

Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрёл против сшибающего течения. Когда в августе 1906 были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении:

Революция добивается не реформ (проведение их почитает обязанностью и правительство), но разрушения самой государственности и монархии,

а всё общество, разумеется, негодовало на суды, — Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением:

Твёрдая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идёт междоусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов — жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой: только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей ещё не было у власти у нас.

И через год:

Если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину.

Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твёрдо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни — те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьётся вся остальная жизнь.

Не сразу этот путь пробился: общество жаждало левизны и революции, во 2-ю Думу октябристы так же не попали, как и в 1-ю. Но весной 1907 Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете — чтобы побиться за Думу, собирать октябристов под проклятья и угрозы слева.

Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности «Союза 17 октября»? или только теперь и начинались, как уверенно вёл Гучков:

Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осуждённого уклада к новому.

Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться

только под предводительством сильной царской власти. Конституция (1906) просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных тёмных влияний, —

но не для того, чтобы кинуть её

в распоряжение политических партий и их центральных комитетов! Мы — против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности мы решительно стали на сторону власти, сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги.

Сам тот Манифест 17 октября сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя — был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 более спокойного развития к парламентскому состоянию?

Тот государственный переворот, который был совершён нашим монархом, как раз и являлся установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная лояльная работа Третьей Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынута ядовитое жало, столько времени расправлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдёт в созидание.

Так и случилось. Именно с 1907 в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и всё более заметной фигурой общества становился инженер.

Осенью 1907 октябристы прошли сплочённой группой в Третью Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устройства России. Две первых Думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество, — сумеет ли Третья формировать государственный путь страны?

Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, — это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя Совета министров Столыпина: их сотрудничество — не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели, кто лучше её поймёт: при единомыслии — спор и состязание. Одно из первых выступлений Гучкова (май 1908) было: отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию — отказать ей в броненосцах! Иначе

как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародно имена лиц, виновных в катастрофе.

Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде.

С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю Японскую несчастную войну:

Главной виновницей наших неудач была не армия, виновники — наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны; в долгие мирные годы не озабочилось правильной постановкой дела обороны; когда появилась опасность — не отдало отчёта в серьёзности положения. Предполагалось, что это — далёкая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идёт не о Южной Маньчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны, и дух армии был ещё бодр — правительство потеряло веру в себя, в свой народ, и заключило тот мир, который надолго похоронил наше международное положение.

Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач — наше общество, так до конца и осталось в своём ослеплении. Общество оказалось несколько не прозорливее правительства, они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И всё, что лилось отсюда в армию, — наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, всё это отнимало последнюю бодрость, остаток веры в себя и в успех. Наше общество действовало во всё время войны деморализующе на нашу армию. (Справа: «Правильно!») А в конце войны оно ещё усугубило свою ошибку.

Впрочем, и в армии

канцелярия заполнила всё, подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в Крымской, и в Турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором всё слабое и ничтожное всплывает наверх, а всё талантливое и смелое отбрасывается.

Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но — каждую речь улучшить что-то в отечестве, и особенно — в армии, которой он посвятил свою деятельность. То — за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то — за увеличение содержания офицерам, сословию, презренному обществом, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты отечества за всех за них проявить высший воинский дух.

Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклады содержания офицеров



и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого Освободительного движения несколько устроили своё материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище, офицерские жёны несут самую чёрную работу, офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далёких окраинах ведут существование прямо не достойное человека. Безпросветность жизни армейского офицера... Невозможность даже под конец жизни обезпечить свою семью.

Тогда как в армии должна быть только одна привилегия — образования, военных знаний и таланта (аплодируют, но не справа),

в ней — незаслуженные, неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей.

Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережётся чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчинёнными, издевательствами, унижениями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке — из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии — куда-нибудь, землемерами, экзекуторами, бухгалтерами. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела, или лица, ни на какую другую службу не годные.

А реформы входят в военное ведомство слишком робко.

И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция, на какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?

Ещё в 1908 Гучков понимал и называл:

Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает.

И — о благовременном переносе заводов от возможного Западного фронта. (До отступления 1915 так и не сдвинулось ничто.) И — о слабости, дряхлости наших крепостей. (Так и оставлены.)

В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор:

Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел:

когда же он внесёт законопроект о расширении свободы печати.

Ибо не улучшить нам военного ведомства и особенно легендарного интендантского, пока не будет выслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр (Редигер) решил-ся на безпримерную ревизию над интендантским ведомством.

Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос: известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить: «мне известны гораздо большие злоупотребления». (Смех в центре и слева.) А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям: для вороватых интендантов мы готовы дойти до военно-полевых судов. (Рукоплескания в центре и справа.) Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования. (Слева шум.) И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий. (Бурные рукоплескания. Пуришкевич: «Молодчина, Гучков!»)

В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил думскую комиссию государственной обороны (не допуская туда ни социалистов, ни кадетов), министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи и с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели и повышение окладов офицерству. *Наверху* были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатий армии и вмешивается не в своё. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами, и Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтоб никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить возможно быстрее, чтобы не прервали, атаковал великих князей:

Совет Государственной Обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обезсилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. («Браво!» Рукоплескания.) Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией («Браво! Верно!»), которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен ещё сказать: должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части — великий князь Пётр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений — великий князь

Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица, по своему положению фактически *безответственные*. («Браво! Браво!») Назвать это своим именем — наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше безсилие. («Верно! Верно!») Прав был депутат Пуришкевич: мы больше не можем позволить себе поражений! Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но *будет тем ядовитым укусом, который сведёт в могилу нашу родину!* (Рукоплескания. «Верно!») И если мы требуем от страны тяжёлых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам и потребовать только всего: отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия! (Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа.) Этой жертвы вы вправе от них ждать.

Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена. Спрашивал Милюков в кулуарах:

— Александр Иванович! Что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят!

— Нет, армия и народ — с нами, не решатся!

А Николай II Столыпину: «Он мог бы это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны». Однако в частном разговоре ответ — улыбка и «вы совершенно правы», и всё остаётся на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей подорван. Но и до 1917 они оставались на подобных местах. А Совет Обороны был распущен, к облегчению.

Терял Гучков бывшее расположение Государя. А хотел совсем не этого. В начале 1909 при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию:

При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо, — и за этот ответ Государь отрёшил военного министра и назначил на долгие годы... — Сухомлинова. Этот — был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову ещё немало разоблачать и Сухомлинова.

Вспоминал Ш и н г а р ё в:

Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас — скандал, удаление на пятнадцать заседаний.

А его — слушали.

Впрочем, правые — неспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от Верховной власти к Думе. В правых газетах и с думской же трибуны Гучков был обвинён

в «младотуречестве», в «раскрытии ран» нашей обороны, подрыве доверия, выносе сора из избы. Гучков отвечал:

Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили: это — неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами, — скорее те, кто держат их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много пострадали, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул: «Нужна вера, вы вселяете безверие». Но есть хуже, чем безверие, — это ложная вера. И мы будем разрушать её везде, где найдём. «Хлопчатобумажный патриотизм», сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. Эти господа не могут мне простить, что я — купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я им ещё добавлю: я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством. (Рукоплескания.) И в моём «хлопчатобумажном патриотизме» вы, может быть, найдёте отзвук другого патриотизма — чернозёмного, мужицкого, который знает цену таким барчукам, как вы.

И разве Гучков не выдержал исходной программы «Союза 17 октября»? Пора Третьей Думы представлялась ему

небывалой с 60-х годов картиной русской жизни: власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизились. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств. Благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера, накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещавшая обновление во всех областях нашей жизни.

О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти! Уже весной 1909, чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону — убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью:

Конституции грозит опасность со стороны правых групп, отставных бюрократов, при новом строе оставшихся не у дел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вёл борьбу с революцией — правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ, и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того как революция отлагалась, поднимали головы со своей короткой памятью те, кто неискренно терпел Манифест как легкомысленную уступку.

Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной распилой как будто исчезнувшие, — они теперь выползают из всех старых гнойников и захватывают позиции.

А ещё

Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти. Тут он беспощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось тёмное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование.

(Всё же в ту весну Столыпин устоял: ещё недостаточно прискучил Государю и как будто ещё не опасно затмевал его.)

Особенности центра — с такою же силой Гучков разоблачал и левых:

Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружён в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую, бессмысленную злобу?.. Последние годы, отмеченные Освободительным Движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов! Припомните, чем оно закончилось? (Слева: «Оно — не кончилось!») ...Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками, он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. И если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм перекопался в противоположный лагерь; надо признать, что те городовые, солдаты, те генералы, губернаторы и министры, кто в течении многих лет мужественно выставляли на своём посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, — они и являются истинными героями! (Рукоплескания центра и справа.)

И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан *всею* Думой — это оздоровило бы нравственное сознание страны,

прекратило бы или ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины.

Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если бы осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, неправильно скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли.

Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несём.

Были и позже случаи противостоять левым — всё о терроре. В конце 1909 на Астраханской улице в Петербурге, в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбою начальник петербургского Охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты внесли шумный, кривой запрос о полицейской провокации: что квартира была полицейскою фабрикою бомб. — Но зачем полиции фабрика бомб, да ещё тайная? производить взрывы? — возражал центр. — Нет, подкидывать бомбы перед обысками, — изобретали левые.

Так накалено было в думских крылах — всегда доказывать правоту своих, всегда доказывать виновность тех, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо-цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева (такое возможно было в консервативной Думе!),  
кому кадетская фракция верит больше, чем председателю  
Совета министров,

но упустил, очевидно неумышленно, — язвит Гучков, — как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке (Петрове-Воскресенском), произведшем взрыв, что он был

агентом революции, палачом революционного трибунала,  
командированным в стан охраны двойником.

А это даёт повод Гучкову высказать, что часто

в полицию являются представители революционных партий с предложениями услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга «всё дозволено в политической борьбе» дошли до лозунга «всё дозволено во всех областях жизни». Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошёл, а теперь наступил период *разбойный*. Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период *Освободительного движения*, что каждая так называемая политическая экспроприация — грабёж, чтобы достать средства для революции, сопровождалась всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали: произошла политическая экспроприация.

И, обращаясь к левым:

Если вы будете разоблачать действительно провокационные приёмы полиции — вы всегда найдёте нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией — то нет, слуга покорный!

Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева и справа, то поддерживаемый, то бранимый, — но в вере, что твёрдо ведёт средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания; в надежде, что наконец и власть и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований.

В этом — особенность парламентского центра:

В Думе есть группы, нисколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши *товарищи* твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет и нужна великая катастрофа;

правые грозят, что Дума к ней и ведёт; власть презрительно смотрит на Думу — нечего с ней считаться; но

разочаруются те и другие, и Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость.

Кто же больше *центра* заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра: прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых — и так двигаться вперёд, и так отстаивать страну.

*Вместе с левыми* Гучков: то (1908) поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора: он осмелился требовать запрещённые цензурой книги печатывать и *даже* сдавать властям!

то (1909) — за свободу публичного старообрядческого проповедания (все социалисты были конечно *за*, но эту свободу запрещала православная Церковь);

то — против *произвола* над присяжными поверенными (адвокатов, передававших заключённым недозволенные вещи, — министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы, каково!);

то (1910):

Потребность в системе успокоения прошла. Не видим прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление гражданских свобод. Мы ждём!

то (1912) — за расследование Ленского расстрела, где царили условия кабалы, к счастью давно отошедшие в предание для большей части русской промышленности, а начальство было в панике, обезумев от личного страха;

то, по телеграмме Короленко, заступиться и спасти политического смертника.

И всё это, особенность центра, не создаёт ему никаких политических союзников.

Мы и в стране и в Думе чувствуем себя несколько изолированными, —

звучит у Гучкова усталая нота. Лучше бы ни от кого не зависеть, ни с кем не блокироваться; плодотворны парламенты с центром самостоятельным, слабы парламенты с центром непрочным. Тут могут быть та-

кие неожиданности: объединение правых и левых против центра. И в каком стечении: фракция октябристов предлагает начать думскую сессию (1912) с двух вопросов, важнейших для крестьянской России: порядка на земле и порядка в суде — землеустройства и восстановления выборного местного суда, независимого от администрации. Правое крыло Думы, разумеется, против. Но левое-то будет — за? Как бы не так, социал-демократы — против, ибо *это ничего не даёт* (им). Но — кадеты? но — цвет русской интеллигенции? Кадеты — тоже против: гораздо первой и важней вопрос *о неприкосновенности личности!*

И октябристскому центру не хватает голосов...

Господа, мы имеем перед собою чёрно-красный блок, это то, что составляет проклятье нашей русской жизни. (Смех справа и слева, рукоплескания в центре.) И никогда ещё этот блок не выступал с таким цинизмом. Да, с противниками бывает нужно сосчитаться, но не нужно брать почвой для счётов живое народное тело. Мы доведём законопроект до крушения и оставим население на долгие годы без правосудия.

Ну и что ж. Ну и пусть.

С марта 1910 Гучков предпочёл избраться председателем Думы — чтобы, по ритуалу, бывать на докладах у Государя: он очень рассчитывал оказать прямое личное влияние, даже повернуть ход России.

Вы меня простите, Ваше Величество, я сделал своей специальностью говорить вам только тяжёлые вещи. Я знаю, вы окружены людьми, которые сообщают вам лишь приятное.

И был интересен Государю, иногда очень увлекал его. Цель Гучкова была — разбить лёд между Думой и Государем. Тот внимательно выслушивал (впрочем, эти пассивные состояния всегда у него выглядели правдоподобно), но часто и высказывался живо. Подозревал Гучков и так, что иные воли стояли за Государем — за задними дверьми или в угнетённом сознании монарха, — таились, шептались, сплетались симпатии и антипатии, влияния, капризы и выски шмыгающих теней — «придворный шёпот». Ещё было и шесть лет между ними — и с этой возрастной ступеньки тоже смотрел Гучков сожалеюще на приятный взрак царя, однако лишённый устремления.

Вместе со Столыпиным разделял Гучков эту трагическую роль: отстаивать монархию вопреки монарху, авторитет власти против носителей власти.

Моя жизнь принадлежит Государю, но совесть ему не принадлежит, и я буду продолжать бороться.

Сухоминов забавлял Государя придумкою новых армейских форм (Государь любил их, как ребёнок, он завял бы, если бы вся армия была одета одинаково), избегал утомлять скучными докладами, скрывал недостатки. И более всего тормозил смену высшего командования на боевое. В аудиенциях Гучков жаловался Государю, что все реформы армии



замедлены, не развивается военная промышленность, технические улучшения ведутся за счёт иностранных заказов. А в глазах Государя читал и так: сводите счёты с министром?

Гучков был неумест, всегда — вызов, и даже в год председательства не мог удержаться — пережил одну из многих своих дуэлей, с октябристом же графом Уваровым, покидал Думу, чтоб отбыть 4-месячное наказание в крепости — но высочайшим повелением прощено, не отсидел и месяца. (Среди гучковских дуэлей должна была быть одна и с Милоковым, за думское оскорбление.)

А потом Гучков сорвался: после очень тёплого приёма поделился успехами и надеждами с коллегами в Думе чуть пошире — попало в газеты, и мнения Государя тоже, — и следующий раз царь встретил Гучкова холодно, не садясь. Не прощая. Конечно навсегда.

И такие же порывы и дёрганья не давали плавно течь сотрудничеству Гучкова со Столыпиным. А когда тот в марте 1911 провёл западное земство роспуском Думы и Совета на три дня — Гучков испытал потребность сильно отдёрнуться, чтобы видели все, что он — не соучастник. Бросил председательство в Думе, теперь ему только тягостное, когда он разошёлся с Царём, и с направлением Красного Креста поехал смотреть чуму в Маньчжурии (подальше, чтобы не возвратили). Вздвигая себя, он придумал объяснить Столыпину, удивлённому, зачем такая непомерная резкость:

Вы знаете, как я дорожил вашей победой, как мне были ненавистны ваши враги. Но шаг, который вы делаете, — роковой, не только для вас лично (я знаю, вы к этому равнодушны), а и для той обновлённой России, которая вам так дорога и которая вашими же усилиями стала выходить из хаоса.

Из Маньчжурии Гучков вернулся в августе, за несколько дней до убийства Столыпина. Тут его достиг слух, что финские националисты готовят на Столыпина покушение (возможно, было и такое), — и он успел дать знать Курлову в Киев, не самому Петру Аркадьевичу, чтобы не тревожить его.

В сентябре, в экстренном поезде, с полусотнею октябристов, Гучков ехал в Киев на похороны.

Раскаивался ли он, что на последнем пути не поддержал Столыпина? — теперь, в чём мог, он принимал на себя задачу убитого. ЦК октябристов обвинял кадетов в подготовке общественного настроения, облегчившего убийство. В 40-й день от смерти октябристы внесли в Думе запрос:

Революционные партии и враги России, объединившись, исполнили свою давнишнюю угрозу отомстить тому, кто когда-то подавил революцию.

И Гучков, поддерживая запрос:

Это была жизнь за царя и за родину, и смерть за царя и за родину... Поколение, к которому я принадлежу, роди-

лось под выстрел Каракозова. Кровавая и грязная волна террора прокатилась по нашему отечеству, унося с собой Царя-Освободителя. Террор затормозил и тормозит поступательный ход реформ; террор давал оружие в руки реакции; террор своим кровавым туманом окутал зарю русской свободы, это свежо у всех в памяти (справа и в центре: «Браво!», слева: «Сказки для маленьких детей!»); а теперь террор устранил и того, кто более всех содействовал укреплению у нас народного представительства.

Вокруг язвы, съедавшей живой организм русского народа, копошились черви. Они сделали себе из нашего недуга источник здоровья. (Слева: «Охранники!») Для этой банды существовали только соображения карьеры, расчёты корысти. (Справа и в центре: «Браво!») Это были крупные бандиты (слева: «Правильно!»), «жадной толпой стоящие», но с подкладкой мелких мошенников. И когда они увидели, что им наступили на хвост, стали обстригать их когти и проверять ресторанные счета, — они своими действиями и попустительством дали произойти убийству председателя Совета министров...

Запрос называл по именам всех четырёх — Курлова, Спиридовича, Веригина, Кулябку, а Гучков с трибуны ещё добавлял подробностей о них — взятничество, вскрытие денежных писем.

Заколдованный проклятый круг, в котором бьётся правительство. Власть в плену у своих слуг. Змея, которой вы наступите на голову (Пуришкевич: «Мы с вами никогда не будем!»), ужалит смельчака, и кое для кого это может быть смертельный укус на прощание. *Если виновных лиц вы удалите с пенсией, а в общем всё останется по-старому, — вы обречённые.* Другой путь — полная реорганизация политической полиции. Хватит ли у вас решимости?

Нет, конечно, не хватило. Обречённые всё оставили по-старому.

А в змее-то Гучков понимал и Распутина, доставался и тот Гучкову в тяжёлое наследство. Но тут была опасность многослойная: нельзя было распахнуть передо всем народом России, что дело касается самого самодержца, — хотя именно ему Гучков не мог простить и себя и пренебрежённого Столыпина. Гучков искал помощи министров. Не нашёл. Тогда в январе 1912 в гучковской газете «Голос Москвы» напечаталась статья, избличавшая хлыстовство Распутина. Номер был, разумеется, конфискован, редактор привлечён к суду. Это давало октябристам право запроса:

Доколе Святейший Синод будет безмолвствовать и бездействовать, наблюдая, как разыгрывает трагикомедию проходимец, хлыст, эротоман, шарлатан Григорий Распутин? Почему молчат епископы, архипастыри? Почему всем газе-

там в Петербурге и Москве предъявлено требование ничего не печатать о Распутине?

И Гучков, поддерживая свой запрос мести:

Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим народным святыням. Безмолвствуют иерархи, бездействует государственная власть. И тогда патриотический долг прессы и народного представительства — дать исход общественному негодованию.

А вслед, при обсуждении сметы Святейшего Синода:

Я никогда ещё не вступал на эту трибуну с таким тяжёлым чувством. Нужно душевное настроение, мне не свойственное, и склад души, мне чуждый, чтобы сосредоточить внимание на страховании церковного имущества, уравнинии епископских окладов, даже на приготовительных шагах к созыву поместного собора, когда всё это тускнеет, а хочется кричать, *что церковь в опасности и в опасности государство!*.. Этот изувер-сектант или проходимец-плут, эта странная фигура в освещении XX столетия (слева: «Электи-ри-чество и пар!»), — какими путями захватил этот человек такое влияние, пред которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? (Слева: «Целуйте ручки!») Вдумайтесь только, кто же хозяйничает на верхах? Кто вертит ту ось, которая тащит за собою смену направлений и смену лиц, падение одних, возвышение других? (Марков 2-й: «Бабы сплетни!») За спиной Григория Распутина — целая банда, пёстрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары. Антрепренёры старца! Это они суфлируют ему то, что он шепчет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. Никакая революционная и антицерковная пропаганда за годы не могла бы сделать того, что Распутиным достигается в несколько дней. И со своей точки зрения прав социал-демократ Гегечкори, сказавший: «Распутин полезен». Да, для друзей Гегечкори даже тем полезнее, чем распутнее! И в эту страшную минуту, среди отчаяния и смятения одних, злорадства других, — где же власть? власть церкви и власть государства? А где были вы, обер-прокурор Святейшего Синода? Когда у нас проходили законы о гарантиях религиозных свобод, о праве перейти из одного вероисповедания в другое, о старообрядческих общинах, чтобы исправить вековую неправду, — мы вас видели среди противников. А язву, разъедающую сердцевину народной души, — вы проглядели!

Я замечал, что достижения больших жизненных благ менее всего склонны ими поступиться. Знаю: не всегда можно требовать героизма. Но есть этический минимум,

обязательный для носителя власти. Есть моменты, когда *служить* означает другое, чем *прислуживаться*. Когда гражданский подвиг становится обязанностью. Под годами 1911—1912 русским летописцем будет записано: «В эти годы при обер-прокуроре Святейшего Синода Владимире Карловиче Саблере православная церковь дошла до неслыханного унижения»!

После этой-то речи и было промолвлено императрицей: «Гучкова мало повесить!» Он стал уже не политическим, а личным врагом императорской четы. Он и сам именно так понимал.

Чем резче он выступал, тем жесточе становился впредь, и всё менее разборчив в средствах. В начале 1912 он распространял по обществу гектографированные копии писем императрицы и великих княжён к Распутину, добытых через монаха Илиодора (и часть оказалась подделкой). И тогда же тайный гучковский информатор, на основании какого-то прочтённого им служебного письма к Сухомлинову, вывел и донёс Гучкову, что в военном министерстве служит — и близок к министру — германский шпион Мясоедов, к тому же бывший жандармский офицер, к тому же ныне поставленный для наблюдения за политической крамолой в армии. (Такое наблюдение уже давно отсутствовало, осведомители были сняты, то была частная и недавняя попытка министра.) Нельзя было придумать более дразнящего сочетания и лучшего места для удара: в случае успеха свергался военный министр (к посту которого Гучков особенно ревновал) и ставился свой Поливанов. И Гучков не замедлил с ударами: три сенсационных газетных статьи (в двух суворинских и гучковской) — «Шпионаж и сыск», «Кто заведует в России контрразведкой?», и заявление Гучкова в Комитете Государственной Обороны. Небывалое в истории России обвинение военного министерства! Эффект усилился тем, что привлекались симпатии общества: жандармский офицер! политический надзор! и шпионство! — вот каковы они! Общество отзывно заволновалось, требовало открытия секретов военного министерства. Уже слухи понесли, что Поливанов заменит Сухомлинова. Но и Гучков кроме слухов ничего не мог основательно выложить на допросе у прокурора, и те поливановские данные оказались несерьёзными. (Впрочем, и до конца жизни Гучков этого не признал.) Но и Сухомлинов трусливо медлил с опровержениями. Тогда подполковник Мясоедов на трибуне бегов ударил издателя Бориса Суворина хлыстом по лицу, а Гучкова вызвал на дуэль. О, к этому Гучков был готов всегда! Они стрелялись на Крестовском острове — и Гучков появился в Думе с подбинтованной рукой, под бурю думских аплодисментов. (А в Мясоедова он не стрелял, но тот от скандала ушёл в отставку.)

Гремели речи по стране, и казалось — всё от них менялось в государстве.

А не менялось — ничего. Безчувственной стеной всё так же высилась Верховная Власть — и брало отчаяние, что нет таких сил — про-

бить в ней окна для света и сквозняка. Да полно, был ли тот Манифест, или только оставил память о поспешливой царской трусости? И сама партия октябристов — была ли (скоро «партией потерянной грамоты» назовёт её вождь правых Щегловитов)? Как будто — была, если составляла устойчивый центр 3-й Думы. Но при выборах в 4-ю, осенью 1912 года, партия потерпела поражение, атакуемая и слева и справа (особенность центра), для левых — партия помещиков и крупной буржуазии, для правых — октябри-христопродавцы. Потерпела поражение — и уже надо было усилиться фантазией и твёрдостью голоса, чтоб утверждать, что партия — есть. И больше всего тех усилий выпадало опять на Гучкова, истерзанного на предвыборных митингах (сравнительно с устойчивым думским положением, митинги-ухаживания за избирателями были ему унизительны), а после того — сенсация на всю Россию! — забаллотированного и своею Москвою, уже больше — не любимца, не кумира Москвы, переменчивая публика пошла перебирать дальше.

Ни правые, ни левые не простили ему его выступлений, его средней линии. Самой трудной линии общественного развития.

Ещё вчера ты считал свою партию и себя — Россией. И вдруг вы оказались совсем не Россия. Пробоина жестока, а понимание происшедшего долго не приходит. Человек никогда не постигает сразу смысла происшедшего с ним. Но когда измененья эти к успеху, к победе, — мы всё же разбираемся в них быстрее. Трудней различить, что жизнь от вершинного плоскогорья сломалась книзу, и это непоправимо, и хотя б ещё тридцать лет суждено ей тянуться, а только уже книзу и книзу.

Это поражение настигло Гучкова всего в 50 лет. Обезкураженный, он не понял и не принял приговора. Он верил ещё в свои силы — сам повернуть судьбу и свою, и партии. Испытанное средство: он уехал на балканскую войну, там пробыл год. Он год осмысливал происшедшее — и понял как знак: изменить линию борьбы.

В сентябре 1913 в Киеве на открытии памятника Столыпину Гучков возложил венок и молча до земли поклонился. Своему убитому ровеснику, единомышленнику и сопернику он понимал верность, как понимал, умерший снова бы удивился. В ноябре, непримиримый и неломимый, Гучков стянул конференцию своих расползающихся октябристов и представил им и стране — полный поворот своей деятельности:

Наша программа, осуждённая в Пятом году как слишком умеренная и отсталая, была естественным оптимизмом эпохи, лозунгом примирения. Это был торжественный договор между исторической властью и русским обществом, договор о взаимной лояльности. И русскому обществу не было бы оправдания, если бы в момент грозной опасности для государства оно отказало бы власти в поддержке.

Но борьба, в которой изнемог такой исполн, как Столыпин, оказалась уж совсем не по плечу его преемникам. Удержаться у власти можно только ценой самоупражнения

ния. Манифест 17 октября формально не отменён, но — искляло государственное творчество: ни широкого плана, ни общей воли, глубокий паралич. Общественные симпатии и доверие, бережно накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от неё. Власть не способна внушить даже и страха. Даже то злое, что она творит, — часто без разума, рефлекторными движениями. Правительственный курс ведёт нас к неизбежной тяжёлой катастрофе. Но ошибутся те, кто рассчитывает, что на развалинах повергнутого строя воцарится порядок. В тех стихиях я не вижу устойчивых элементов. Не рискуем ли мы попасть в полосу длительной анархии, распада государства? *Не переживём ли мы опять Смутное Время*, но в более опасной внешней обстановке?

Примирить власть и общество не удалось. Неоправданной ошибкой было бы теперь продолжать разорванный властью договор.

История ли, действительно, поворачивается вокруг нас? Или мы сами бессознательно предпринимаем эти крутые повороты, руководимые отчаянием, что именно мы выброшены? Но когда это всё скажется и свяжется словами — выглядит как будто стройно. За что Гучков осуждал и ненавидел кадетов всего 6 лет назад, теперь оказывалось верно для октябристов, хотя строй государственный не изменился. Октябристы становились в затылок кадетам. Потерянный Гучков поворачивал на 180° и прекрасно доказывал, что это повернулись крутые стены карусели.

Когда-то, в дни народного безумия, мы, октябристы, подняли наш голос против эксцессов радикализма, — теперь, во дни безумия власти, мы должны сделать предостережение власти. Перед грядущей катастрофой мы должны сделать последнюю попытку образумить власть. Дойдёт ли наш крик предостережения до высот, где решаются судьбы России? Заразим ли мы власть нашей мучительной тревогой? Выведем ли её из состояния сомнамбулизма? Пусть не убаюкиваются внешними признаками спокойствия. Никогда ещё революционные организации не были в таком разгроме и безсиллии, и никогда ещё русское общество не было так глубоко революционизировано — действиями самой власти.

Так повернул Гучков, но поворачивать-то ему было некого, кроме думской фракции октябристов, в которую сам он уже не входил. И правое крыло октябристов и центр откололись. Только двадцатка левых октябристов поддержала Гучкова и назвалась *прогрессистами*.

Поворачивать было — некого. Россия — не поворачивалась. А сам Гучков проводил время более всего — в комиссии по переустройству водоснабжения Петербурга.

Может быть, действительно, он горячился и двигался суетней именно оттого, что был выкинут сам?

Ещё полный сил — и лишённый их приложения, такой же знаменитый на всю Россию — и вдруг никому не нужный, в отчаянии наблюдал Гучков малодушие политики не только внутренней, но и внешней. Не умели остаться с Германией в дружбе, как это нужно было им и нам, — но и стать супротив не умели как следует. Один мог быть смысл будущей войны — выбиваться к Константинополю, но именно Балканы, особенно Болгарию, отвратили от себя и потеряли в последние годы. У себя на петербургской квартире Гучков устраивал тайное свидание болгарского генерала и сербского посланника — мирить славянские страны. Инерция почти векового направления панславистской политики была так сильна над русскими умами, даже над реющим Достоевским, — Гучкову ли было выбиться из неё и понять, что благо России лежит только в её внутреннем развитии, а не во внешнем? У каждого времени есть свой потолок понимания, и Гучкову так же невозможно было отказать от константинопольской мечты, как и Милюкову, и всему Прогрессивному блоку. Уже после сараевского выстрела Гучков горячился, безпокоился, что Россия не вступит в войну, и писал министру иностранных дел Сазонову:

Вот та — последняя ли? — ступень унижения, до которой мы фатально докатили благодаря малодушию Государя... Я когда-то верил в вас, желая видеть на вас отражение хоть некоторых отблесков великой русской души Столыпина. Теперь я надеюсь, что переполнится же чаша терпения русского народа, и стряхнёт он вас от себя, сколько вас ни есть.

(О, исполнится! И даже — через меру...)

Первый день войны Гучков увидел таким:

Что-то будет. Начинается расплата.

Война застала его на лечении, в Ессентуках. Он вырвался с первым же воинским поездом. На фронт! — но никакого не оставлено было ему места кроме Красного Креста, где он все годы продолжал состоять и помогал хорошо. Гучков успел под Сольдау, где стужалась катастрофа Второй армии. И с той же Второй армией — рок номера? повторный рок людей, оставшихся в ней же? а верней безпросветная бездарность генерала Ю. Данилова («чёрного») — к ноябрю 1914 был снова почти в полном кольце под Лодзью. Сохранялся ещё узкий коридор, судьба которого решалась. Но эвакуация раненых была отрезана прежде того, и Гучков принял решение остаться с ними, отстаивать их перед немцами и разделить их судьбу. Последним коридором, посылая с князем Волконским требования помощи, он писал:

Образовалась свалка раненых не менее 12 тысяч, и при самых скудных средствах помощи. Нужда ужасающая: и в персонале, и в перевязочных материалах, в топливе, в хлебе. Крепкий я человек, но и то трудно выдержать.

Сегодня, 9 ноября, по-видимому критический день, и только чудо может спасти нашу армию. А с её судьбой связана судьба кампании, да и России. А всему виной та банда мерзавцев, которая засела наверху.

Всё же — разжали клещи, и Вторую армию в этот раз спасли. И в правительство, и в Думу Гучков писал ещё с фронта, вскоре и сам приехал в Петроград. С рассказом обошёл влиятельных министров. Каменная стена. Добился приёма у дворцового коменданта Воейкова: раскройте глаза Государю! снимите Сухомлинова скорей, не будет военного снабжения! (Понимал ли он, скорей не понимал, что срыв военного снабжения — общая черта всех воюющих сторон, но уж больно хорош был момент — ударить по Сухомлинову!) Безполезно. Группе думцев — кадетам, центру и правым, он рисовал положение как уже безнадежное. Никто и верить не хотел: чудит Гучков, как всегда, скандальной славы ищет. Все ещё были в очаровании своего июльского (1914) национального единения, а значит русская победа была обеспечена.

Только в начале 1915 проняло Петроград, что на фронте плохо. Тут нанесла судьба удачный реванш: уже не Гучков — другие обвинили Мясоедова в шпионаже, и он был казнён мгновенно. Не пропали прежние усилия Гучкова, и укрепился его престиж, и окончательно пал сухомлинковский. Надо было отдать Галицию и Польшу, чтобы правительство и корона достаточно перепугались, общество бы закипело, и Сухомлинов был бы наконец заменён Поливановым.

Во всей этой войне ощущая себя самым нужным России человеком, верней бы всего — военным министром, Гучков метался избыточно-лишним, никуда не пристроенным, русская судьба! Всё более так начинала понимать, что правительство не сдрогнет, не сдвинется к лучшему, с лета Гучков удачно возглавил «военно-промышленные комитеты» для технического снабжения армии (кажется верно рассчитав, что на этом поле может опередить правительство). Теперь и военным министром стал доверенный Поливанов, теперь Гучков мог рассчитывать знать все подробности из первых рук и влиять изнутри правительства. Но уже разогнанный в скорости — нет, не в затылок кадетам! — ныне, напротив, опережая их в резкости, Гучков на сентябрьских съездах 1915 предлагал распушенным думцам — внепарламентские способы борьбы! И — опять был жестоко отброшен, не выбран даже в депутацию от тех съездов. Прогрессивный же блок, разумно сохраняя себя, ожидал нового созыва Думы.

Теперь всё развитие прохода раньше кадетов (сидя на карусели лошадкою раньше?), беспокойный Гучков ранее кадетов метался разорвать легальные отношения с проклятой пораженческой властью, а в 1916, ранее же кадетов, ужаснулся тому, к чему призывал сам:

Наши способы борьбы обоюдоостры и при повышенном настроении народных, особенно рабочих, масс могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может предвидеть, ни локализовать.



Когда власть окончательно недоступна убеждению, а открытая общественная борьба с нею грозит сжечь и взорвать всю Россию, — то что же? что же? что же одно остаётся, как не скрытый, малочисленный энергичный дворцовый переворот???

К осени 1916 года замыслы и воля Гучкова всё более уставлялись только в это одно: в дворцовый переворот.

## 42

Если упускать такой случай, как сегодня, то и никогда никакого заговора не составишь. А если разговаривать, то тоже не намёками. Насторожило, правда, раздражение Свечина. Но в его порядочности сомнений не было, что не проболтает. Зато испугалось сопротивление Свечина открытой восприимчивостью Воротынцева. Был он тот благодарный, втягивающий слушатель, в глаза которого глядя, хорошо рассказывать:

— Месяц назад состоялось тут некое неофициальное совещание разных... мыслителей. Кадетов больше. На частной квартире, как теперь вся общественная жизнь идёт. Был там и я. Больше — слушал. Проверял все возможные точки зрения. Вот, давайте ещё раз проверим и с вами, что они говорят.

Все они соглашались, что власть держится — ни на чём, только толкни. Что события неминуемо разворачиваются к большому народному размаху, то есть — к революции. Но никто не вызывает охраняющего движения — протянуть руку и остановить этот размах. Размышляют только: а когда ударит — то что случится? Может ли дать отпор правительство — презренное, безвольное, в самом себе не уверенное? Нет. В этом согласны все. И тогда рассматривают два варианта. Первый: что беспомощное правительство, начав по-настоящему тонуть, кликнет о помощи к общественным кругам, к законодательным учреждениям.

— ...Ну, считайте, к Милюкову и Прогрессивному блоку. А этого только и надо! И общественные круги так и быть согласны помочь гибнущему правительству, так и быть не уклонятся от ответственности и примут бразды. При сохранении монархии, на это у них ума хватает. Но может быть с заменой Государя, ещё как они там решат. Вариант второй: власть упирается до последнего, не просветляется и в минуту гибели, что, кстати, больше на неё похоже.

Ждущий взгляд Воротынцева затемнился.

А Гучков дал себе отвлечься:

— Человеческая природа. Из-за этого и все катаклизмы истории. Ну кажется: поймите сами. Ну кажется: уйдите сами, сколько раз уже вам намекали, говорили, толкали, — нет!! Без нудящей силы, по своему разуму, и на уступки? Ни за что!

Подумал, исправился:

— В Европе иначе. А у нас: пока святым кулаком по окаянной шее не наладили — ни за что не уйдут. Один раз с Манифестом уступили — и локти себе искусали, и своровали подло назад.

Свечин покуривал себе. Не проявлял прежнего сопротивления, но и прежнего внимания.

— Итак, по второму варианту, власть безславно падает, не позвав на помощь цензовые круги. Стихия на короткое время торжествует. Что же цензовые круги? Не присоединяясь к стихии, спокойно ждут своего момента. После радостной анархии и уличных торжеств, дескать, придёт неизбежный момент организации новой власти — и вот тут-то, мол, наступит черёд людей государственного опыта, которых неизбежно *пригласят* управлять страной, — ведь кто ж, кроме них, на то способен?.. Так что, в обоих вариантах, н а м — только спокойно сидеть и ждать, когда пригласят, а? — Усмехнулся Гучков, проверяя на собеседниках. Воротынцев тоже усмехнулся, Свечин вполне безразличен. — Милюков уверен, лотерея безпроигрышная: уступит ли власть сама или её сшибет революция, — хоть министры, хоть анархисты, хоть союзники, все неизбежно придут и поклонятся кадетам.

Вертикальное отзывчивое лицо Воротынцева искосилось.

— Что? — спросил Гучков.

— Александр Иванович, откуда такая уверенность в революции? Откуда она нам? Ни с какой стороны.

— О-о-о, вы заблуждаетесь. Я считал революцию неизбежной уже весной Четырнадцатого. Но война отменила.

— Не думаю. В солдатских головах — такой мысли совсем нет. (Хотя вот на днях же на Выборгской...)

А свечинское грубое, носатое лицо побезчувствовало, никакого выражения.

— Они мечтают, — развивал Гучков, — это будет, как в приличной Франции, в 48-м году. Но и во Франции революции не бывали друг на друга похожи. Только тем похожи, что лучше б не было вовсе никаких.

Крутил треугольник салфетки.

— А я им сказал: господа! Тот, кто *делает* революцию, тот её и возглавит, тот и сядет во власть. Глубоко вы ошибаетесь, что какие-то одни силы выполняют чёрную работу революции, а других позовут управлять новой Россией. Если мы допустим, чтобы нашего монарха свергали ре-во-лю-ци-о-неры, — пишите пропало! готовьте шеи для гильотины! Надо — не моргать, не ушами хлопать в ожидании милой революции, а: нашим разумом, нашей волей — революцию *остановить*! Или — обойти.

И выставил косо перед собой недлинную руку с крепко зажатой салфеткой как поводом невидимого коня. Недлинную руку, однако умеющую держать оружие. Однако немало и пострелявшую.

Быстрые глаза Воротынцева всё вбирали, без перебива. Свечин обдумывался, как чёрно-лысый истукан в фимиаме.

Салфетку — к груди прижал Гучков, сердечным признанием:

— Если уж так безнадежно допустили мы Россию — так наше дело, высших классов и общества, и найти для неё несотрясательный выход. Если сдвинется масса — рухнет и государство, рухнет и вся Россия. Революция — это провал фронта. Надо во что бы то ни стало удержать глыбу, чтоб она не двинулась.

Э т о-то было несомненно? Не между кадетами если. Кто и что мог тут возразить?

Глыбу удержать? Воротынцев брался плечо подставить. Ну, не один, человек двадцать таких. Попробуем?

— Ведь если только эту даже *мысль* — о возможности сотрясения, свержения, да обратить в толпу? — ведь её потом...

Покосился на Свечина. Искры по крышам? Ну что ж, виноват. Иногда вместе с кадетами увлекался, по задору выдразнивал на общественную поверхность, чего и не хотел. Ещё год назад тянул их на открытый бой. Свойство сердца — оно само выколачивается из груди. Но зато теперь понимает твёрдо.

Если дать толпе *подняться*... (Ворвутся и сюда, в отдельный кабинет Кюба, в наш быт налаженный.) Потом — её на место не загонишь. Охлос не должен участвовать в политике, он должен получать только готовое. В этом разумный урок всей истории.

Гучков ждал возражений? Не было их.

Чья же задача — не дать пожару охватить Россию? Кто же должен переспеть, предупредить стихийные силы, если не мы — руководящие круги её, деятельные и сильные люди? Это — долг наш. И даже — политический расчёт.

До сих пор — разговор как разговор, которыми насыщена Россия, между знакомыми или случайными встречаемыми, в гостиных даже великокняжеских, между гвардейцами, или думцами, или земскими гласными, или пассажирами 1-го класса, или пациентами кисловодского курорта. Но ещё несколько ломких переступов, нематериальных слов, даже тона, неуловимого для записи, — и вместо тугих воротничков рубашки или кителя — вдруг щеко-тание мыльной петли на шее. Стены уютного кабинета расплываются в казематные петропавловские.

А слова — кажется, всё те же, ну несколько невесомых переступов:

— И если ничьи уговоры уже не действуют на высшую власть. И если личные свойства характеров... тех людей... на ком больше всего скопилось вины перед Россией... м-м-м... не дают надежды включить их в здоровую политическую комбинацию... ?

Косился на Свечина. Загадочно-супротивное так-таки таилось в нём. А как бы Свечин пригодился, в Ставке! Да что уж играть на-мёками? Негромко, безповоротно:

— Государя, неразлучного со своей ведьмой, надо заставить покинуть престол. Дворцовый переворот — единственное спасение России.

Сказано. В карих глазах — безстрашие.

И — на Свечина.

И Воротынцев, навстречу выдвинутый.

И — тоже неясен. И вслед за Гучковым — на Свечина тоже: как?..

Молчание тех великих минут, когда уже крутятся неслышно зачинательные оси истории, ещё не передав своего вращения на большие главные валы.

Но толстокожий Свечин как не чувствовал ни этой высоты, ни значенья минут. Рот большой искривил на пол-лица в улыбке не улыбке, а как тот хохол на базаре у воза с горшками, кому цену предложили лядашую:

— Да з глузду вы зйихалы, панове... Во время войны — госу-дарственный переворот? Да всё ж поползёт, развалится.

А Воротынцев — не принял этого тона. Воротынцев раздумчи-во:

— В тебе всегда служба и служба. Так и заслужишься в тупик, смотри... А тут... тут...

Что?

Нет, никак не понимая, зачем над ним шутят, сколько ж ему за горшок дают, Свечин на Воротынцева голову поставил бодливо, мясистые губы вывернул:

— Александр Иваныч хочет спасти от революции, а сам накликает хуже. Если государственное управление сгнило, как Александр Иваныч с друзьями уже десять лет заклинает...

— Пять, — исправил чётко Гучков.

— ... так мы бы третий год не воевали в такой войне, уже бы развалились.

Пять лет! Отдуманно отсек Гучков, понимай: от убийства Столыпина? Да, от того дня и стало ясно, что этого монарха исправить невозможно и помогать ему — тоже впустую. И сегодня, когда Курлов, злодей, — потайной министр внутренних дел, позади Протопопова, и скользкий Спиридович, все причастные гадины и все покрывшие, — вьются наверху... Всё вернулось.

Вибрирующая минута. Покачиваются весы — и как же понять их правильно? Мягкое изменение власти для спасения России от сотрясения — а если другое сотрясение? Спасать Россию — ценой того, чтобы свергать царя?!? Прямо-таки — свергать?..

Всё качалось, и только несомненное Воротынцев сказал Свечину:

— Ты в Ставке — цифры считаешь, ты людей обречённых не видишь, не чувствуешь.

— При чём тут? — челюсти стянул Свечин.

— При том! — задрожало в Воротынцеве заряженное, зато-лоченное двадцатью шестью месяцами, и он сам себя этим подкреплял. — Что правительство, которое может слать подданных на гибель ни во имя чего, просто рукавом небрежным невежды как посуду чайную целые дивизии смахивать — и в черепки!.. Что подданные действительно становятся... свободны от обязательств.

Но остужаясь. Несчастное свойство речи перед мыслью: всегда скажешь грубей, не точно.

И Сумасшедший Мулла — продрогнул, продрогнул, тоже от чего-то удержался. Крупные губы жгутами вия:

— Так ты... где же ты монархист?

Воротынцев протёр напряжённый лоб.

— Не путайте монархизм и легитимизм, — поспешил на помощь Гучков. — Против монархии ни один разумный человек и не возражает.

(Хотя черт его знает, этого Гучкова, он, может, и республиканец?)

— Надо исходить из положения России, а не отвлечённого принципа монархии. Когда монархию саму можно спасти, только отстранив монарха, — так вот я именно в этом и монархист. Нельзя быть монархистом более верным, чем участвуя в таком перевороте. Строй монархический не только останется, но укрепитя. Это будет именно монархический переворот.

Более не отзывался Свечин. Ровно, жёстко смотрел. Между двумя.

— А вот кстати, — вспомнил ему Гучков. — Как раз к вашим убеждениям, если они настойчивы. Вот ещё почему надо поторопиться с дворцовым переворотом вместо революции: чтобы всё совершить исключительно русскими руками. Обойтись не только без плебса, но и без еврейства. Тогда и развитие страны будет русское.

Аргумент?

Свечин — не углубился выражением. Сидел, обдумывался опять. В конце концов и отдыхал же — после обеда, выпивки, перед дорогой.

Может быть, и весь разговор не следовало при нём начинать?.. Но то было заманчиво, что он в Ставке.

Зато Воротынцев глядел неприкровоенно, отважно, ожидая: что же дальше? Не ошибся глаз Гучкова, не подвела память, какой это был всегда офицер. Присягу обнимал — не как гарнизонный ротный. Таких пять полковников да пятнадцать капитанов и нужно было.

Тут разные планы обдумывались. Кроме редких наездов на фронты, которые трудно подловить и использовать, царь бывает теперь только в Царском Селе и в Ставке. В Царском — крупное сопротивление и, значит, кровопролитие. В Ставке — невозможно без участия или хотя бы попустительства высшего командования.

Но теперь все эти слои разговора уже не следовало приподнимать?

Хотя... Всё мирней выглядел отдыхающий сытый Свечин. Пил нарзан. Поворачивал невозмутимый хохол с базара со всеми своими горшками.

А для Воротынцева — надо было говорить дальше.

— Итак, надо не будоражить большого количества солдат. Как можно меньше их. В этом отношении дело должно вестись уже, чем у декабристов.

А ступая вослед т е м, как же совсем не ощутить лёгкого этого верёвочного щекотанья на шее? На шее, какую уже наметила, излюбила, назвала императрица.

На языке заговорщиков — лёгкий дворцовый переворот, на языке власти — тяжелая государственная измена.

Сходное заметив или только ожидая заметить на собеседнике, Гучков улыбнулся с опытным, старым знанием:

— Риск есть в каждой борьбе. Но его обычно преувеличивают.

Сам же он без риска — слабел и рыхлел.

— Открытое обращение к солдатам, разъяснение им всех целей — это уже может тянуть за собой массовую революцию. Но — немногих, но какую-то одну-две воинские части в последний момент повести за собой, может быть, вывести на площадь для демонстрации, — вот в этом надо быть уверенным.

И как раз в этом отношении тип Воротынцева подходил Гучкову: это из тех был офицеров, кто в нужную минуту коротко и сильно увлечёт солдат, сказавши, а то и без речи.

Ему-то Гучков и должен был бы сейчас открыть почти весь замысел: какую именно воинскую часть ему пришлось бы вести, для этого в какое место надо б уже сейчас переводиться по службе. Это — третья возможность, не Ставка и не Царское, а в промежутке. Государь, тяготясь скучною Ставкой и постоянно стремясь в покойный семейный круг, часто снует между Ставкой и Царским, всегда одной и тою же дорогой, да ещё примедляя поезд ночами, чтобы стук не мешал ему спать. Вот и было лучшее решение: взять императора почти беззащитного — в дороге, ночью, взять при помощи расположенных рядом железнодорожных или запасных малых частей. Части эти уже изучал Гучков, уже подбирал там надёжных офицеров. (Но пока малоудачно.)

Однако при Свечине теперь — как же?..

Свечин сидел как отсутствовал. Отсутствовал настолько, чтоб его не понять. И присутствовал настолько, чтобы мешать.

И тогда — об общем:

— Чтó мы совершенно отклоняем — это вариант «11 марта». — И на поднятые брови: — Ну, когда Павла удушили. Убийство монарха — ни в коем случае. Новая власть не должна стать на крови.

Ну ещё бы! А верней, Воротынцев ещё и подумать не успел отяжелительно. Переворот? ещё нужно взвесить, а убийство — и думать не может.

— Да если наследует сын или брат — он и не переступит через кровь. Так что добиться надо — внезапно, быстро, малой группой — только отречения. В пользу брата или сына. Манифест готовится заранее, лишь подписать. Английский король ради военных успехов охотно примет двоюродного брата в гости...

Вот — и споткнулся, и похолодел Воротынцев: ради военных успехов?.. Он сказал — «ради военных успехов»? Класть и дальше мужиков? И это — чисто русский переворот? Так это — англо-французский переворот?

Ну конечно, и раньше понимал Воротынцев, что Гучков — за войну, за войну, — но и России же предан как! И для спасенья её — неужели не переубедится?..

Но вымолвить ему тут, сейчас — о замирении, о перемирии, о выходе из войны — было никак невозможно! Не по мундиру...

А карие глаза Гучкова так оживились за блесками пенсне, не заметил:

— Как можно меньше жертв в охране, в перестрелке. Да произойди завтра такой переворот — и тут же его с восторгом будет приветствовать вся Россия. Вся армия! Всё офицерство!

Укоризненно на Свечина: ведь ты же завтра, башибузук, так же будешь восторгаться. А участвовать — увольте?

Свечин мрачно:

— Насчёт восторга — смотрите, не просвистите. А если — не отречётся?

— Не представляю. По его характеру — очень легко. Сразу сдаст.

— А если всё-таки не уступит?

Гучков вздохнул. Покачал шнурком пенсне. Да, здесь было некое слабое место, указывали ему уже.

— Нет. Крови ни в коем случае не проливать.

Повёл Свечин могучими бровями:

— Тогда останется вам самоповеситься.

— Сразу уступит! — твёрдо смотрел через пенсне, твёрдо выговаривал Гучков. — Да что вы, господа! Да надо же психологически его представлять. Он министра увольняет и то боится ему объявить в лицо: поблагодарит, обласкает, завтра увидимся, а вослед записку: увольняю. Да смотрите по всему его царствованию!.. Да — как он бабы боится! Если от неё в отлучке — подпишет, что б ему ни дали.



Смотрел на Воротынцева, ища одобрения. Что ему в полковнике нравилось — явная свобода отношения к *этому* царствующему, без дрожи почтения. Так и видел он этого полковника, быстро идущего вагонным коридором расставлять посты в тамбурах.

Но взгляд Воротынцева почему-то уклонился.

Хорошо бы Свечин догадался уйти. Нет, сидел. Покуривал, попивал. (Принесли кофе с ликёрами.)

Мало что оставалось, допустимое вслух. Что к наследнику зато не будет общественного презрения, как сейчас. Регентом — Михаил? Или регентский совет? А — кто в нём? Щепетильно оттенял Гучков, что себе не ищет власти:

— Боюсь, что такого единственного, providенциального человека в России нет сейчас. Регентский совет, коллектив. Вернуть хороших министров — Кривошеина, Самарина, Щербатова...

Не сто ходов рассчитывать вперёд. Прежде — само дело.

Действие! — было всегда ножом, отдающим близким Гучкову от неблизких, от болтунов. Дело же — было ещё неясно и в собственной его голове. Он и на Кавказский фронт ехал сейчас не без мысли потолковать там с Николаем Николаевичем: нащупать, к а к он, если... Раньше для связи с военными Гучков использовал свою работу в Красном Кресте. Теперь, не имея доступа на главные фронты, он мог ловить офицеров только в отпусках, в командировках. Уже не в одной компании он говорил вот так, как сегодня, и все — скорее сочувствуют, а участвовать — молодые офицеры ещё идут, более высокие уклоняются — из лояльности? из страха? Пока никого старше ротмистра у него не было. Кто у него, считалось, твёрдо в заговоре состоял — кадет-политикан Некрасов да избалованный миллионер Терещенко, ни на какое военное дело сами не способные. Неужели же нет в России людей?

Но сегодня, кажется, он не зря время потерял — нашёл?

А пока — вслух что-то же надо говорить. Да, кстати:

— Очень жалею, прошлой зимой приезжал генерал Крымов в Петербург, но как раз в разгар моей болезни. Виделся он тут... не со мной. Пока он воевал на Северном фронте — я на юге лечился. Вернулся я на север — его отправили на юг. Вы там его не встречали, Георгий Михалыч?

— Видел. Мельком, правда.

— Он там близко от вас?

— Вы эту историю с ним не знаете?

Не знал Гучков. Воротынцев стал рассказывать, с облегчением:

— Был Крымов начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, создавал его. Потом стал командовать в нём Уссурийской конной дивизией. Тут корпусной был ранен, и назначили Рерберга. С Рербергом сразу у них не пошло, да ведь с Крымовым и не всякий, вы знаете... Крымов чинопочитания не признаёт, он и Командующего армией может послать... В июле Рерберг загнал его уссурийцев на Карпаты, там дожди, дорог никаких, подвоза нет, и операции никакой нет, и отходить не разрешают. И тогда Крымов самовольно отвёл дивизию на 25 вёрст назад и рапортом доложил: ввиду неспособности выполнять задание, прошу от начальствования дивизией меня отрешить. И заварились!.. Всё-таки не сняли...

— Кремень! — посмеивался, восхищался Гучков.

Крымов?.. Сейчас, когда Воротынцев весело и сочувственно рассказал историю этого насупленного своенравца, вспомнились ему сутки под Уздау... Крымов? Полон неожиданностей. И может быть... Как угадать? Мы и сами своих не видим?

Впрочем, последний раз, осенью, Крымов показался Воротынцеву не тот, что в дерзкой карпатской истории, не тот, что с Артамоновым тогда управился, и не тот, чьей волей и умом отстоялся 4-й Сибирский корпус на ляоянских позициях, когда другие не выстоявали. Впечатление: не убит, но — истратился Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ноги не тягают. Этой осенью и сам Воротынцев уже подходил к такому пределу. Отсроченному, излеченному вот этой поездкой.

Подвижная кисть Воротынцева улеглась на скатерти — и на её обветренную негладость Гучков с симпатией наложил мягкую ладонь:

— Вот что, Георгий Михалыч. Действительно, надо подумать, не перевестись ли вам? Поближе, сюда... Надо обсудить.

Не хотел понять Свечин — не уходил. Ну что ж...

— Я на Фурштадтской живу, на углу Воскресенского. Вы не пожалуете ко мне? Тут ещё будут... кое-кто... Послезавтра. Я хотел бы вас познакомить.

Да ведь он этого — и искал от Гучкова? Он для этого и ехал?

Но светлый ожидающий взгляд Воротынцева словно перебило, стал не тот. Упорность его ослабла. Как будто очнулся, или удивился. И из своей яркой напряжённости как-то ссылаясь:

— Два дня?.. К сожалению, Александр Иванович, никак не могу. Я и так просрочил...

А рука лежала под рукой Гучкова.

— Ну, это пустяки, — соображал тот. — Состряпаем вам отсрочку. Кто у вас командир корпуса? Всего два дня, а потом поедете. В такую даль не хочется вас сразу отпускать.

Нет, не стало прежнего Воротынцева, уже воображённого Гучковым, как он взносит лёгкую ногу на подножку царского вагона. А на лице, закаленном от ветров и морозов, на бритых щеках, открытых висках и лбу проступал беззащитно багрянец — бурый, до цвета коричневого кителя.

Рукою под рукой задёргавшись неловко, отняв, с поиском, будто лгать собирался или обходил ложь:

— Я... непременно должен сегодня ночью уехать в Москву... И как раз завтра-послезавтра пробить там... У меня уже и билет...

Он это выбормотал трудно, в густой краске, стыдась, извиняясь.

— Ну что такое, батенька, билет? Сдадите. Телеграфируйте, что на два дня позже, — добродушно не понимал Гучков, как это серьёзно.

К а к серьёзно.

— А если дня через четыре я снова приеду? — темнился лбом, искал Воротынцев.

— Через три-четыре дня тех людей не будет. И я уеду.

Отрезано. И врать не выдумашь. И правду сказать — провалиться сквозь землю: день рождения разгневанной жены! — шлагбаум! канат под горло! — никак не отодвинуть.

И не соврать уже.

— Вы знаете...

Стыдней, чем пройтись бы голому перед ними двумя!.. Искказились губы, глаза опустил, потух.

— ...День рождения жены... А у нас...

Что — у нас?! Разве этот весь обряд передать? Китайский колокольчик? И всю обиду? Да ещё бы всё можно, если б эту неделю подробные нежные письма писал, а теперь бы, мол, заболел...

— ...Твёрдо обещал... А теперь в обрез...

Пока женщина была одна — не мешала она, можно было и устроиться. Это оттого, что стало их две — и сразу заклинились, и — вот, не осталось места.

Но что он связан по ногам — он не знал до этой самой минуты.

Какой позор! Непереживаемый, небывалый. Хоть бы краску отобрать со щёк, ведь не уходила, выдавала.

Поднял глаза...

Свечин — с насмешкой, но весёлой, явно дружественной:

— Э-э-э! — вскричал, вытаскивая часы, — да ведь я на поезд опаздываю. Господа, простите! Александр Иваныч, покорнейше благодарю! — Трубку совал в карман, шашка в гардеробе, так радостно собирался, будто этих минут только и ждал, что ж раньше на часы не посмотрел? — Егор? Тебе не время? Не идёшь?

Обнял его, поцеловал. Гучкову крепко-крепко потряс. Выско-чил.

Меньше позора, но горечи больше: вдвоём наконец с Гучковым — задуманным, исканным, найденным и упускаемым вот. Небывалое чувство, за сорок лет не помнил: взялся прыгнуть — не прыгнул, шёл вперёд — завернул.

И завернул больше, чем мог назвать. Или чем сам успел понять.

Но почему в таком замысле два ближайших несчастных дня могут иметь всё значение?

Ясноокий полковник воззрился на печального, больного вож-дя:

— Александр Иваныч! Но я — через любое короткое время! В любое место!

Он бросал своё место в строю русской обороны? Он только завтра должен был поспеть ко дню рождения жены...

Гучков рассматривал отдала своё снятое пенсне, держал его пальцами обеих рук.

Нашёл человека... Проговорили два часа. Боевой полковник, полный энергии и умеющий всё это, и не солдафон, а в порыве к общерусским проблемам, и кажется единомышленник, и уже рuka на эфесе, вскочить — и мчаться...

И — именины жены?..

За все те месяцы, что Гучков толковал о заговоре, с кем ясней, с кем мутней (и сам-то ещё представляя мутно, и сам-то ещё до конца не уверенный, что уже действительно решился, что вот — начинает, вот — сделает), — из первых офицеров, в ком увидел решимость, отлитую больше, может быть, чем в самом себе, едва ли не первый раз ощутил замысел уже при корнях волос, —

и из-за бабьего каприза?..

Нет. Тут — что-то ещё.

Отчего, отчего нет в России людей?

— Александр Иванович! Но я — на Юго-Западном, хотите, Крымова сейчас найду?

Ну, разве что Крымова. Поручение, которого другому не дашь.

— В каком объёме я должен ему сказать? Где и как вам увидеться?

Теперь-то, без Свечина, можно было открыто. Теперь-то можно было и добавить, и назвать... Но — хрустнуло в Гучкове тоже. Не просто — устал, не просто подходило время для отложенных гостей, другого серьёзного разговора. А на шестом десятке трудно сразу схватываться, сразу отходить.

Всё же — ещё поговорили. Насколько возможно в принципе? Среди кого искать? О чём-то условились. Куда, каким языком написать. Разошлись, кажется, и не на пустом.

Как и с другими, впрочем...

После ухода Воротынцева ещё оставалось время до гостей. Гучков снял сюртук, лёг на диван. Закрыл лицо.

Опять споткнулся — и утёк короткий прилив бодрости. Так просто казалось — застичь на маленькой станции царский поезд, положить перед слабым венценосцем готовый манифест — и судьба России, и судьба всего мира потекут иначе... Но где взять этих пятерых полковников, способных оторваться ото всего тёплого и живого?

И — не презрение испытал Гучков к Воротынцеву, с чем тот ушёл. На презренье мы лихи в юности, сами ещё ничего не переживши. А растёт жизненный опыт, и презренье — уже не чувство мудрого. Долго был и Гучков твёрд поступью, свободен в выборе, неуязвим, неотклоним, и проходная женская череда, напиткивая воинственную душу, не ослабляла, не отравляла его.

А — оступился. А при всём ясном разуме — дурно женился, ведомый чужою, подсказанной мыслью. Имел глаза, имел опыт, понимал женщин — а женился опрометчиво и бездарно. Теперь по себе самому он знал, как может женщина измотать, издёргать, задушить самого сильного мужчину. Не приготовительные свои годы, но высшие и боевые, с сорока до пятидесяти пяти, Гучков прожил с женщиной чужой души, не способной ни оценить этих лет, ни помочь в них, а только вытрачивал и вытрачивал на неё дорогие силы. От постоянного семейного разорения — тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь.

Как бывает сокрыто от истории, неправдоподобно для историков, крупные общественные шаги иногда зависят от мелких личных обстоятельств: вдобавок к обиде на царя не будь очередного разрыва с Машей (каждый раз кажется — окончательного, и никогда не окончательного), Гучков ещё может быть не вскипел бы, не хлопнул бы думской дверью, не рванулся в Маньчжурию, на чужую эпидемию. А так — не оказался близ Столыпина в его последние, загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она. Но тогда жгло, беременило, душило — урваться куда-нибудь подальше.

А в другие поры — веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное — когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим.

Так что Гучков не осудил сегодня Воротынцева слишком строго. Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть — ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться.

Смерть — вот и пришла месяц назад, только не к отцу и не к матери, но к их мальчику старшему Лёве, чёрной крышкою и накрыв эти годы болезненного их напряжения. (И если б знал, что из трёх детей суждено ему, — как бы берёг! как бы ласкал раньше!)

Смерть сына — это и есть смерть отца, только заживо. Смерть сына — это *оттуда* положенная тебе на плечо рука напоминания.

Ощущение потери баланса: как будто прежде слишком брал перёд, закачивался — и вот теперь назад откидывает.

Опасная шаткость. Она у Столыпина появилась в последний год перед гибелью.

Больно ударило сегодня в упреках Свечина, что сам Гучков и раскачивает постройку, сам и поджигает. А где ж найти баланс? Отдаёшься публичности — раскачивает. Согласен молчать — всё гложет.

Ощущенье, что твой зенит — позади. Ощущение смены эпох, как когда-то и он отодвинул Шипова. У России — дальний размах, у нашей отдельной жизни — короткий. Отдежурил своё — и под лавку. Шипову было тогда пятьдесят пять. И Гучкову сейчас — пятьдесят пятый.

Вот и он, главный заговорщик, почему не мог подождать Воротынцева три-четыре дня? Потому что до Кавказского фронта ему

ещё надо было в Кисловодске — лечиться. Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость.

Уже четыре года он так барахтался — выше сил. От той пробоины 912-го года, от выворота этой морды — общественной неблагодарности, от измен — он и не оправлялся никогда.

Сколько ещё ожидало таких проб, как сегодня, оставляющих мёртвую усталость? И как же справиться — в месяцы? Ведь не готовится он, а только принципы выясняет, только всё принципы.

Толк о заговоре был — год, а заговора — не было.

\*\*\*\*\*

*ЭХ, И ЧЁРТ ТЕБЯ ПОНЁС, НЕ ПОДМАЗАВШИ КОЛЁС!*

\*\*\*\*\*

Ульяновы жили точно посередине между кантональной и городской библиотеками, а до Центральштелле социальной литературы было лишь чуть подальше, и куда ни иди — среднего ходу пять-семь минут. Все библиотеки открывались в девять, но сегодня толкнуло уйти из дому минут за сорок: глупо, унижительно убежать от этого лохматого оборванца, племянника Землячки, себя же побережь — не вскипятиться от его нахальных разговоров и тем не испортить себе целого дня.

Объективно говоря, такие фигуры в революционной эмиграции неизбежны — эти неопрятные юноши с блуждающими глазами, недоразвитые, а с апломбом по каждому вопросу, чтобы только иметь мнение. Они вечно голодны, без гроша, брали бы вот зарабатывать перепиской, в Цюрихе совершенно некого посадить за переписку, сколько тревоги с копией пропавшего «Империализ-

ма», — так нет, у них ни грамоты, ни почерка, а стремятся сразу и только в редакторы! Их постоянная мысль — как бы бесплатно где-нибудь поесть. А и это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка, улупит два яйца да ещё четыре бутерброда. От обедов его твёрдо отстранили, так стал являться по ранним утрам, всегда под ничтожным предлогом, вернуть или взять книгу, газету, а с расчётом к завтраку. (Сейчас, уходя, сказал Наде: ни в коем случае не кормить, скорей отвыкнет!) Да хоть если бы скромно поел и уходил, нет, считает нужным *отблагодарить* — фонтаном надёрганных идейек, выяснять *принципиальные* вопросы, и всё с нападением и многозначством.

От таких визитов, от этой улыбочки знания и превосходства у сопляка Владимир Ильич с утра делался больным. Вообще всякая неожиданная бытовая неурядица, а особенно несвоевременный незванный гость, безцельная потеря времени — больше всего изводили и выбивали из рабочего состояния. Обидней всего безцельно тратить нервы и силу доводов не на конференции, не в брошюре, не в споре с важным партийным противником, а просто так, на губошлёпа, который и не думает серьёзно того, что говорит. Эмигранты считают свои пятаки, а битый день проваландаться — для них не потеря. А Ленин — заболел от одного потерянного часа! И даже встреча, разговор, дело, которые потом осознаются как важные и нужные, — в момент их внезапности, если не были заранее предвидены, вызывают раздражение.

Но есть этика эмиграции, и ты беззащитен против таких посетителей, ты не можешь просто указать им на дверь или не пустить: среди эмигрантов сразу закрутится сплетня и сильно повредит твоей репутации, ты моментально будешь обвинён в заносчивости, в барстве, в патрицианстве, вождизме, диктатуре... Эмиграция — это злое гнездо, которое всё время шевелится и шипит. И вот приходится этих нахалов, каждого, кто только изволил выехать из России (а из Сибири ничего не стоит бежать, и все бегут за границу, а тут их содержи за счёт партии), не только принимать, но ещё и придумывать им дело. И, смотришь, такая скотина через год действительно становится сотрудником журнала, хотя б тот и вышел всего один раз.

Так же вот и Женечка Бош, природная интриганка, — отчего в Россию не едет, ведь собиралась? А здесь ей дела никакого нет, но она выдумывать будет, и чтоб ей выдумывали. Страшное эмигрантское бедствие — выдумывать дело для эмигрантов.



Конечно, начнись революция — в её широком разливе каждому из этих мальчишек и девчёнок найдётся дело, и даже каждый станет незаменим, и будет их не хватать. Но пока революции нет, тесно, скудно, — мальчишки эти невыносимы.

Изматывающее состояние. Уже сколько? Девять лет, как бежали из России от поражения? Шестнадцать от несчастной первой стычки с Плехановым? Двадцать один от неумелого петербургского завала? Это изводящее состояние, когда вытягивает все жилы к действию, когда сдвигал бы горы или континенты, столько накопилось, напряглось, а применения силам нет, нет приложения от концов пальцев и к людям, не подчиняются партии, толпы и континенты, но разнохарактерно и безтолково толкутся и кружатся, не зная куда, — а ты один знаешь! — но зря вся твоя энергия, и замыслы зря, перегорают все силы на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в кегель-клубе. Да хорошо — хоть их, а когда раньше на собрания являлись два швейцарца, два немца, один поляк, один еврей, один русский и сидели анекдоты рассказывали, — швах, пигмейство, бросать эту игру!

Уже спустясь на набережную Лиммат, можно было считать, что племянничек по дороге не встретился, теперь — не застал. И постепенно уходило защитное предупредительное раздражение.

Серые, но разорванные, с беловатыми боками тучи давали дню холодный строгий свет.

Большими цельными стёклами выставлялись на набережную сплошь витрины с наглым показом на сукнах и бархатах всех изделий безделья — ювелирные, парфюмерные, галантерейные, бельевые, — не знала республика лакеев, как вызывней выставить свою роскошь, не тронутую войной.

С отвращением отходя от этих золотых, атласных и кружевных выворачиваний, — он ненавидел и вещи эти, но ещё больше — людей, кто эти вещи любит, — Ленин выждал, пока трамвай пройдёт, перед самым трамваем собака перебежала, уцелела, — перешёл набережную и пошёл вдоль реки.

У Фраумюнстерского моста переждал автомобиль, дрожки, велосипедиста с длинной корзиной за плечами — и прямо же перед ним была городская библиотека, и сейчас бы туда и зайти, да закрыто.

Дальше — обходить, между библиотекой и водой прохода нет: здание её, бывшей церкви Вассеркирхе, за то и названо бы-

ло так, что выдвинуто в воду. Ещё 400 лет назад решительный Цвингли отобрал её у попов и передал в гражданское пользование.

Вот и сам он стоял впереди реквизированной церкви, на чёрном мраморе в несколько постаментов, со вздёрнутым носом, с книгой и мечом, упёртым между ног. Всегда на него Ленин покашивался с одобрением. Правда, книга та — библия, а всё-таки для XVI века превосходная решимость, сегодняшним социалистам бы подзаныть. Отличное сочетание: книга — и меч. Книга, продолженная мечом.

Клаузевиц: война — это политика, где перо сменено наконец на меч. Всякая политика ведёт к войне, и только в этом её ценность.

В холодный воздух утра от реки ещё доливалась влажность. Говорят, никогда не замерзает. Как-то соединилось: Россия — зима, эмиграция — всегдашняя беззимность. Переклонился через решётку. Здесь, в расширенном устье, у обоих берегов, наставлено было лодок — мачтовых, безмачтовых, с кабинами или под брезентом, в несколько рядов. Мачты — покачивались.

Кескула жалуется: кто-то из близких к ЦК просто украл деньги, выданные печатать брошюру. Пришлось второй раз давать. Безобразие!

Вода — тёмная, но вполне прозрачная. И видны серые камни дна.

Три стороны войны по Клаузевицу: действия рассудка достаются правительству, свободная духовная деятельность — полководцам, ненависть — народу.

На аккуратных квадратных камешках набережного тротуара — густо кленовые листья (нарочно не сметают). А на каком-то дереве задержались колючие шишечки-плоды.

Всё дорожает безумно, скоро жить будет не на что. И бумага первая как дорожает! А Шляпников совершенно не умеет потребовать, вырвать денег — от Горького, от Бонча. Надо клещами вытаскивать. Пусть платят, и побольше.

Всю жизнь выручала мама, из семейного фонда, — в зарубежных поездках, в Петербурге, сколько б ни перетратился, о заработке думать не надо было, в тюрьме мог жить на правильном питании, обойти этапы, не знать пересыльных тюрем, из эмиграции в любую минуту попросить — как чудом всегда умела прислать. Но с этого лета — мамы нет, уже никогда не попросишь.

Стая чёрных уток с белыми головками качалась, качалась — вдруг разом взлетела, расплескивая, — перелетела над самой водой — опустилась. И — опять собралась. И поплыли смирно назад.

Но хотя как будто Клаузевиц и разъяснил самые общие законы всех войн, а вот нельзя понять закона войны, которая идёт. И закона войны, которую надо начать.

Как бы хоть шведам займа не отдавать? Это — Шляпников должен бы Брантингу намекнуть: представитель России, ему удобней.

Профессиональный революционер должен быть освобождён от обязанности думать, на что жить. Партийная касса должна намного вперёд гарантировать партийную «диету» для главных членов ЦК.

С большого моста сыпали бургерши уткам хлебное крошево. Утки быстро стягивались, и ещё другие: зеленоголовые, с жёлтыми носами. И сизые.

Чтобы печатали в «Летописи» — надо раскалывать блок махистов с окистами. Там, вокруг Горького, интриганы работают против нас.

А две-три утки перепархивают над самой водой, друг за дружкой гоняются, крыльями и лапами воду бурлят.

Ждать от Горького денег — и ещё унижительно просить этого телёнка архибезхарактерного, чтоб извинил за выпады против Каутского, угождать ему и выбрасывать — да самые важные и самые сладкие удары во всей книге!

Что хорошо бы — на лодке погрести, погонять. Ни разу не собрались, а ведь говорили. Теперь уж — до весны. В горах — карбканьем и ходьбой, в Цюрихе — прошагиванием улиц только и разгонял, успокаивал Ленин это потягивание в себе неприменённых жил. Но оставалось в плечевом поясе, и вот его бы — греблей.

Ещё эта пропажа рукописи «Империализма», посланной летом, очень-очень тревожила. Самое загадочное, что в ответственном почтовом ведомстве нельзя найти концов — как кануло! Английская цензура дошла до дикости, французская стала безстыдна, и не удивляться, если «Империализм» обратил на себя внимание, и автор его — уже не рядовой эмигрант, каких тут тысячи и на кого полиция внимания не обращает. Может, уже и следят. Может, и сейчас посматривают, на набережной. А — чем он тут держит-

ся? Да по первому (ну, по второму) жесту русского или французского послов могут ему учинить военный суд или высылку из Швейцарии, за нарушение нейтралитета. Одну только речь в кегель-клубе послушать, с соседнего стола.

Он тянулся, плёлся вдоль решётки, над самой водой, по течению, в вытертом котелке, истёртом пальто, как скуднейший цюрихский обыватель, с сумкой клеёнчатой, в какой носят провизию (а у него — тетради, конспекты, вырезки). И, дойдя до большого моста, терпеливо пропускал богатый чей-то фазтон, и медленные четырёхлошадные грузовые возы, и однолошадную конку в три больших зеркальных окна, с кучером в униформе на передней площадке.

Оттого приходится черняки опасные сжигать, важные документы хранить у респектабельных швейцарцев, опять подписываться каким-нибудь Фреем, а в письмах между Цюрихом — Берном — Женевой порой пользоваться и химией. Это в нейтральной стране! Как у себя под жандармами... А переписанный второй раз «Империализм» заделывать в переплёт книги, чтобы дошёл.

Пересек большой мост. Вышел к озеру, на широко вымощенную набережную, опять с несметенным насыпом кленовых побуревших листьев.

От озера ещё шире несло водяным, свеже-холодным.

Тут плавали лебеди — белые и сизые. Не плавали — скульптурно сидели на воде. А то, на мелководьи, ныряли по одному: клювом в глубине доставали что-то, а лапами барахтались, и белый задок торчал вверх. Потом долго отряхали змеиные шеи.

Слева за спиной, из-за оперного театра, выступало бледное солнце. Но оно было холодное, свет не грел.

А — успокоение от этой воды. От простора. Отступает от груди сжатие. Когда отступает, отпускает — только тут и замечаешь: в каком же сжатии и гонке постоянно живёшь.

Просторное озеро. В разных местах рыбаки стоят на якорях. Во весь тот берег и налево, сколько озеро уходит, — продолговатая, пологая лесистая Ютлиберг. Кое-где на ней — белые пятна: был лёгкий снег наверху и задержался, не стоял.

Просторное озеро, напоминает Женевское.

Свежий плеск Женевского озера — на всю жизнь останется. Там пережито самое тяжёлое крушение жизни: разбился кумир.

С каким ещё молодым восторгом и даже влюблённостью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от не-

го корону признания. И, посылая дружбу свою вперёд, в письме из Мюнхена — тому, «Волгину», — в первый раз придумал подписаться «Ленин». Всего-то нужно было — не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.

Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, — везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газеты-организатора, совместно раздувать революцию! Дико вспомнить — ещё верил во всеобщее объединение с экономистами, и защищал даже Каутского от Плеханова — анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты — заодно, и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везём — мы, молодые, продолжаем их.

А натолкнулись — на задний расчёт: как удержать власть и командовать. Решительно безразличны оказались Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России — ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил, и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя — каменным революционером. И преподавал урок преимущества в расколе: кто требует раскола — у того линия всегда твёрже.

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац — сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожжённые, униженные, — и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, — а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце.

С той горькой ночи Владимир Ульянов переродился. Только с той ночи и стал как он есть, стал истинным собой.

Строго наученный в тот раз, на всю жизнь усвоил Ленин: никому никогда не верить, ни к кому никогда ни мазка сентиментальности.

Кто-то рядом стал чайкам бросать — и они взлетали с воды, жадно, нетерпеливо кидались, делали круги, хватали на лету, крикали, дрались — и уже лезли сюда, на парашет, чуть не в лицо, и к соседям тоже.

Отмахнулся от одной. Пошёл дальше.

Как прицепчива память к случайным совпадениям, к сентиментальным воспоминаниям. То самое Женевское озеро разделя-

ло их, только оно, ещё незнакомых, когда он, входя в силу, принимал делегатов II съезда и каждого старался изучить, прощупать, захватить себе в поддержку, а она — рожала пятого ребёнка, уже от младшего мужа, — и впервые читала незнакомого Ильина «Развитие капитализма», ещё ничего не предполагая.

И — пять лет ещё прошло, они всё не познакомились, хотя она в Женеве бывала не раз. И в той же Женеве на незабываемой «Даме с камелиями» пронзила его тоска — первое сомнение о своей жизни. А у неё в Давосе как раз в эти дни умирал муж. И всего через несколько месяцев, в Париже, — она пришла.

Здесь изрядно холодный замечался ветер, и от него шла хмуrowатая рябь.

Поставил сумку около набережной решётки, поднял воротник, и стоял так, носом в озеро. Совсем уже холодно. Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября. А Инесса всё сидела на даче в Зёренберге и мёрзла там, чтобы простудиться. Или сердить его.

Или наказать.

Даже пропускала ожидаемые сроки писем. Лишала вестей о себе. Не ответит раз, опоздает второй. И уж так выбираешь выражения: конечно, если у вас нет охоты отвечать... или есть охота не отвечать... я надоедать вопросами не буду...

Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь — не мог, здесь — не было высоты. Он мог только — скрывать за шутками смущение. Просить.

Научиться бы выдерживать встречное молчание. Ждать, пока ответит. Но это — труднее всего: именно когда не видишься — особенная потребность писать, делиться! Да и дела же требуют.

Просто бы вот сейчас, не дожидаясь её ответа, написать ей несколько необидчивых ласковых строк. (Ласковых — нельзя, крылышка ласки нельзя показать, письма военного времени все подцензурные, пишешь, как перед полицейским, за казённым столом. Нельзя дать оружия против себя.)

Да, он — зависел от её наказаний. Инесса была единственный человек на земле, от кого он — чувствовал, признавал свою зависимость. Наименьшую, когда жгла очередная схватка. Наибольшую — когда они бывали вместе.

Нет — когда не бывали...

Всё, что он в жизни ел, пил, надевал, и всякий кров и обиход — всё это было совсем не для него, хоть даже и не нужно, а лишь как

средство поддерживать себя для дела. И летние месячные отдыхи, и горные прогулки, в Карпатах или от Зёренберга на Ротгорн, альпийский вид глазам или на Цюрихберге плитка шоколада, съеденная на откосе вразтяжку, или присланные мамой волжские балыки — не были баловством, просто удовольствием для тела, а — способом привести себя в лучшее мозговое рабочее состояние. Здоровье — сила революционера.

И только встречи с Инессой, когда и деловые, — получались будто просто для него, просто для счастливо-безмысленного, лёгкого, весёлого, мычащего какого-то состояния, хотя б и в сторону отвлекали, и сил лишали, и рассеивали.

Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, — и соразмерно отвечал им: так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса, хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла б и приблизиться, — но существовала как будто для него одного, просто для него, существо для существа.

Спорили с ней о «свободе любви», — и уж какую ясную непробиваемую логическую сетку выставил он против её неопределённостей — не проскользнёшь? Что там! Как эта тёмная вода из озёрного недра свободно вливается и проливается через рыбацью сеть, так и Инесса со своим пониманием «свободной любви» никак нигде не задерживалась классовым анализом: была остановлена — и проходила свободно, была опровергнута — и непобедима.

Тем и сотрясла она его когда-то, что в мире измеренном, оцененном, закономерном — велела ему переступить и идти за ней, в этом самом мире, а как будто в другом, никогда и не предположенном, и он шёл неуверенным и восхищённым первоклассником, боясь потерять её ведущую руку — и ребячески благодарный ей, до синеватых жилок на тонкой ступне, собачье благодарный ей за то, что она это всё ему открыла — и длила, пока милость её была.

Как раз с того направления, с юго-запада, из Зёренберга, через морщь осеннего озера, в посвистывании даже ноябрьского ветра — разве вот не прилетало к нему помахивание её милости? колебание прищуренных век? узкий просвет зубов?

Зачем наказывала? Зачем не спускалась в Кларан, в тепло? В Зёренберге в прошлом году снег выпал в начале октября. Очень холодно.

Над крышей театра с рассыпанной по ней мифологией, фигурами трубатыми и крылатыми, вдруг проступило солнце в полную силу — такое холодное здесь, и оранжеватое там, на вершине Ютлиберг, куда уже набежало оно, а внизу там, где громоздились здания и зеленовато-серый купол с колокольней, оставалось пасмурно.

Счастливые дни — лонжюмовские, брюссельские, копенгагенские, краковские... Да и в Берне. Счастливые годы. Семь лет.

Пяти минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, — с Инессой он проводил и по многу часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень: когда всё без исключения доверяешь ей, когда хочется ей всё рассказывать — больше, чем любому мужчине. Живость отклика её и живость совета! — как не хватает их эти полгода. С апреля. С Кинтале...

Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда.

Из Берна уехать было необходимо: там доминировало влияние Гримма, никогда бы не собрать круга единомышленников. Это был правильный отъезд. Но, уезжая, отчего бы можно было подумать, что больше они не будут встречаться?

В Кинтале это было незаметно. В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!

Единственный человек, которого обидеть непоправимо: можно потерять навсегда. Это соотношение, не пережитое ни с кем, ставит даже в смешные положения. Считаться с её несчастной страстью писать теоретические статьи. В критике их не говорить прямо, как думаешь, а выражаться очень осторожно, иногда и лгать: что ж я могу иметь против помещения твоей статьи? я, конечно, за, — а уж потом подставлять внешнюю причину, которая помешала. Упрёки ей и даже политические поправки сводить по мягкости почти до похвал. Терпеть её самовольство с переводами: она вдруг не переводит ленинский текст, но — исправляет смысл! но — цензурирует даже: какая мысль ей не нравится — выбрасывает! Кому ж это можно позволить? А её — только мягко, предупредительно упрекнуть. В предупредительности к ней — заискивать. Написал ей длиннее обычного — сразу оговориться: я, кажется, наболтал с три короба?..

Но даже и заискивание перед ней — не унижение. Ничто не унижение перед ней.

Она вót как может наказывать: не писать. Не отвечать.



А если упрётся, что чего-нибудь не сделает, — не уговоришь.

Отошёл белый пароход от пристани и нагнал сюда волны. На волнах раскачивались два немёрзнувших белых лебедя, изогнутые шеями застыло, как навсегда.

Холодно. Взял сумку, пошёл дальше вдоль решётки.

Насколько подле Инессы он даже волю свою вывихивал, настолько в отдалении мог достичь почти полной от неё свободы.

В строго точном свете переменного пасмурно-солнечного осеннего утра над холодным озером.

Сколько помнил себя, столько знал он в себе существование защитной пружины. От неудач, от потерянного времени, от проявленной слабости — она сжимается, сжимается, — и вдруг отдаёт, швыряет в деятельность с такою силой, которой ничто уже сопротивляться не может.

Сэкономив на бездельных нежностях, не даёшь застаиваться делу.

В отдалении — к нему возвращалась осмотрительность. Осмотрительность не разрешала ко всем напряжениям его жизни добавить ещё. Соединиться с Инессой навсегда? — не была бы жизнь, а суматоха. Слишком она разнообразна, отдельна, отвлекательна. Да ещё ведь и дети её, совсем чужая жизнь. Ещё на этих детей уклонять, удлинять свой путь — он никак бы не мог, права не имел.

Жить с Надей — наилучший вариант, и он его правильно нашёл когда-то. Была Якубова и живей, и лицом милей — но не помогала бы так никогда. Мало сказать единомышленница, Надя и по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала никогда иначе, чем он. Она знала, как весь мир тербит, треплет, раздражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но смягчала, берегла, принимала на себя. На всякий его излом и вспышку она оказывалась той же по излому, но — встречной формы, но — мягко. И как переимчива! Был Радек мерзавцем — она была с ним суха и каменна, на порог не пускала, если являлся под предлогом; стал Радек отличным партийным товарищем, дружным союзником — и как же приветлива и радостна с ним. Она не готовится к этому, не вырабатывает, тогда б и ошибиться можно, — но чувствует за Ильича с постоянной верностью. Жизнь с нею не требует перетраты нервов.

Инесса и небережлива, что тоже не пустяк, не умеет вести разумного скромного образа жизни, чудачествует нередко. Вдруг возьмёт да модно оденется. Надя же — в методичности, в бережливости не имеет равных. Она действительно нутром понимает, убе-

ждать её не надо, что каждый лишний свободный франк — это лишняя длительность мысли и работы. А ещё, что так редко для женщины, никогда не пробалтывается, не хвастает, не выносит из дому ни словечка, о чём предупреждено ей не говорить. Да и сама верно знает, где молчать.

И перед всем этим было бы непристойно революционеру стесняться на людях, что жена некрасива, или ума невыдающегося, или старше его на год. Для внешнего успеха требуется наименьшее внутреннее разделение, наименьшее отвлечение в сторону, наибольшая плотность усилий, ведущих к цели. Для существования Ленина как политической личности союз с Крупской вполне достаточен и разумен.

Правда, всё втроём, втроём — в лесу ли бернском, сойдясь из соседних улиц; на горных прогулках у Зёренберга по альпийские розы или грибы (только в дальние спальные хижины иногда с Инессой вдвоём); у пансиона в тени над книжками сидя — он и Надя, а Инесса — у рояля часами; или на тёплом горном откосе на пнях — он и Надя постоянно с книгами, а Инесса — просто изогнувшись, нежась на весеннем солнце, как девчёнка среди старших; наконец, и долгие те часы, когда он рассказывал обоим женщинам о своих идеях, планах, будущих статьях, — сколько раз приходилось вбирать в один взгляд несравнимое и даже удивиться, не поверить неправдоподобности, невозможности: чтобы так держалось годами, — а ведь держалось! Если кому писала Надя длинные подробные дружеские письма — то именно Инессе. Если о ком говорила всем окружающим, всем товарищам с неутомимою похвалой — то об Инессе. И только в письмах Володиной матери (уж на-дина-то видела всё), в письмах свекрови, описывая весь их с Володей быт и все прогулки, — единственно в этих письмах писала так, будто они всегда вдвоём. Очень тактично.

А тут и умерли матери одна за другой: Елизавета Васильевна — после инфлюэнцы прошлой весной в Берне, Мария Александровна — этим летом в Петербурге. В горный пансион их, около Флюмса, почта была — выючными осликами, и так с опозданием принесли телеграмму о смерти — как раз во вторую годовщину войны, в день Швейцарского Союза — один из безчисленных суматошных здешних праздников, когда на всех вершинах зажигают костры, пускают ракеты и стреляют. Сидели вечером, смотрели на эти костры, под эти салюты и проводили мать. Да пожалуй и легче так, когда издали.

Если обоим под пятьдесят. И вот умирают матери обе, от чего становитесь вы ещё старей. Дружней. И — революционеры оба. То, пожалуй, и...

Наискось по озеру, как раз оттуда, со стороны Зёренберга, шла моторная лодка — быстро, вскинув нос, распахивая воду, за собой покидая треугольное поле пены и металлическим стуком разбивая тишину.

Что-то в ней было! — неслась и распахивала, оттуда прямо сюда неслась и распахивала, разрезала, и нос выставляла безжалостный — прервала размышления, ход мысли резким стуком — и мысль перескочила — и через весь социальный анализ, через все аргументы — просто-просто-просто, как не виделось до сих пор почему-то:

так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить, — отчего ж её не осуществлять?..

Все-все пункты буржуазно-пролетарских отношений он осмотрел, предвидел и перечислил ей, — и только одно вот это упустил: если после Кинталя они не виделись — а так близко! — и она полгода не едет, и его не зовёт, и вот уже почти не пишет —

так она это лето... с кем-нибудь?..

Почему ж он всё время представлял, никак иначе не думал, что она — одна?..

По эту сторону ещё было солнце блеклое, но с той стороны через Ютлиберг переваливали, переваливали быстро густые сизые тучи — и пёрли вниз туманом. Быстро заволакивало гору, склон, колокольню и подбиралось к тому берегу Цюриха.

Да как же просто... ? И почему он — все стороны охватил, обдумал — только не эту?..

Да быть не может! Товарищ и друг! Как славно бились в Кинтале с центристами?..

За холодную решётку схватился руками — через решётку, через озеро, через Ютлиберг, через все-все горы, какие по дороге, — завывать: Инесса! Не оставляй! И-несса!..

Написать, сейчас, не стыдась унижения, что-нибудь — только вызвать ответ. Да ведь и почта открыта, прежде библиотечного часа, — ах, не догадался! почта открыта с восьми, надо было пойти и написать! А теперь уже поздно.

А теперь уже поздно: лупили, лупили в колокола как бешеные, как дурные! — по всему городу будто железо ремонтировали. Долбили колокола Фраумюнстера над почтамтом, долбал двойной

Гросс-Мюнстер, выше вывесок на всех этажах Бельвю, — да сколько ещё церквей по Цюриху!

Туман и туча с той стороны озера накатились уже и на эту сторону, стало пасмурно.

Закоченевшими пальцами вытащил из жилетного кармана часы — ну да, раз колотят в свои вёдра — значит, девять, десятый. И на почтамте не был, и время упустил, и зашёл далеко — теперь и самым гонким ходом он намного опаздывал к открытию кантональной. Плохо начал день. Хотел хорошо, начал плохо.

Ладно уж, письмо потом, надо работать.

Пошёл как покатил — широкий, невысокий, почти не уворачиваясь от встречных. Городская была вот она, рядом, можно и сюда, но журналы и книги к сегодняшней работе отложены в кантональной. Гнал и гнал по мерзкой буржуазной набережной, где выпахивались из дверей гастрономические и кондитерские запахи, щекотать пресыщенных, где изворачивались предложить двадцать первый вид ветчины и сто первый сорт печенья. Мелькали витрины шоколадов, табачков, сервизов, часов, античности... На этой чистенькой набережной так трудно вообразить будущую толпу с топорами и факелами, дробящую эти стёкла вдребезг.

А — надо!

Всё тут слишком устоялось и вжилось — дома, двери, звонки, запоры на дверях.

А — надо!

Колотили в колокола со всех концов города — бешено и мертво.

## 44

С почти пролетарской решимостью и здесь размахнулся Цвингли: на Церингер-плац Проповедническую церковь рассек пополам между шпилей, показывая нам пример, и вот в половине её — который век библиотека. Доставляло особенное удовольствие, что обе главные библиотеки Цюриха торжествовали над религией.

Вошёл в тишину. Девять узких окон с угло-овальными верхами подымались на высоту пяти-шести этажей. Ещё выше, в недостижимой высоте, угло-овальные стрелы сводов сходились по нескольку в узлы.

Но вся эта высота пропадала почти впустую: только два этажа деревянных хоров прилеплены были по стенам. В простенках же и между книжных шкафов навешаны были многочисленные тёмные портреты — в камзолах и жабо надутые городские советники и бургомистры, ни разглядывать их, ни подписи прочесть никогда не оставалось времени.

Ещё из тяжёлых дверей Ленин увидел, что его любимое место на хорах у центрального окна и ещё другое удобное — оба уже заняты. Опоздал. Нескладно начался день.

Расписался в книге посетителей — а дежурно-улыбчивый библиотекарь в очках, недоумевая, никак не мог найти одной из трёх отложенных стопок.

Одна мелкая досада, наворачиваясь на другую, могут украсть часы работы.

Удача или неудача рабочего дня зависит иногда от мельчайших мелочей, как начнёшь. Вот — опоздал. А у них до перерыва и полдня нет, всего три часа, и их теперь нет.

«Империализм» был уже давно отработан по двадцати тетрадям, и написан, и потерян, и переписан — а ещё стопку на ту же тему Ленин брал. Как будто нужно было что-то ещё. А будто и не нужно. Все выводы книги были Ленину ясны ещё и прежде двадцати тетрадей. Последнее время так обострилось в нём предвидение — он видел выводы своих книг исключительно рано, ещё не садясь их писать.

Самые сладкие удары во всей книге по Каутскому — и снять их? Мерзкий, гнусный святочный дед! Более гадкого, подлого лицемера не бывало во всей мировой социал-демократии!

Стопка не находилась — по Персии. Он уже начал делать выписки по Персии. Восточное направление ни у кого не продумано, а его надо готовить.

Ладно, по Каутскому удары не пропадут — в другом месте где-нибудь вставим.

А ещё он готовил, писал подробные важные тезисы для швейцарских левых — методически исправлять, чего не добились на съезде. Но это удобнее было в Центральштелле, а не здесь.

Да нет, она всё время помогает и переводит. Вот спустится в Кларан — может, приедет. Почему надо думать плохо? Это неправильная была мысль.

А ещё пришёл он с ощущением недоделанности, недосмотренности статьи против разоружения. Она уже написана (и в сумке

тут была), но что-то царапало по памяти. Все главные мысли были на месте: разоружение — требование отчаяния; разоружение — это отречение от всякой мысли о революции; тот не социалист, кто ждёт социализма помимо революции и диктатуры; в будущей гражданской войне у нас будут воевать и женщины и дети с 13 лет. Всё верно, но оставалось чувство, что где-то есть не вполне защищённые фразы. А надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя — ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены — чтоб никто не мог выбрать уязвимую.

Итак, можно было (и даже он начал) просматривать. Да вот и сразу, написано в пылу: «Мы поддерживаем применение насилия массой». Накинутся! Пристроить: «...массой — против её угнетателей».

Впрочем, это можно и не в библиотеке, время уходит.

Стал смотреть тезисы для левых швейцарцев. Тут ещё много было работы. Нужно детально-детально им всё разжевать: листовки — кому разносить по домам? беднейшим крестьянам и батракам. Какие сельхозучастки подлежат принудительному отчуждению? Скажем, свыше 15 гектар. После какого срока пребывания требовать для иностранца швейцарского подданства? Скажем — через три месяца, и важно, чтобы безо всякой уплаты. Что значит «революционно высокие ставки налогов»? Общие слова, надо составить им конкретную таблицу: на имущество свыше 20 тысяч франков, свыше 50 тысяч — какой процент? И как облагать гостей пансионеров? Тоже написать им конкретную шкалу, ведь ни у кого никогда не доходят руки до конкретности: если платит 5 франков в день — это наш брат, один процент, а если платит 10 франков — с этого сразу 20 процентов...

А из груди так и поднимается, стоит изжогой последняя подлость Гримма и Грёйлиха. Ах, поганные оппортунисты, подлеишие мерзавцы, ну подождите, мы вас пристегнём к позорному столбу!

Что-то всё раздражения лезли, сбивали. Так бывает: им дашь разойтись — и невозможно сосредоточиться, невозможно работать по системе, даже на стуле усидеть.

А ещё не улёгся, сколько сил отобрал и до сих пор мешает работать этот исступлённый недоспоренный спор с «японцами». Уже было написано несколько статей и две дюжины писем, и конфликт как будто преодолен — а вот не подавлен до конца!

Никогда не удаётся все усилия собрать только в одном главном направлении, всегда открываются противники на побочных, сейчас как будто бы совсем неважных, но неважных не бывает, наступит момент, когда и эти побочные направления станут главными, — и приходится теперь же оборачиваться и с полной энергией огрызаться на эти побочные укусы. Не «японцы» одни (Пятаков со своей Бошихой, с тех пор как бежали из Сибири через Японию), с ними и Бухарин. Не имея ни капли мозгов, доводили себя вместе с Радеком до групповой глупости, до верха глупизма — то на «империалистическом экономизме», то на самоопределении наций, то на демократии. Все эти молодые поросята, новое партийное поколение, очень самодовольны, самоуверенны и готовы брать руководство хоть сегодня, а срываются и срываются на любом повороте любого вопроса, ни у кого нет готовной гибкости — на этих поворотах мгновенно, предусмотрительно тормозить, иногда брать где влево, а где вправо, заранее предвидя, куда угрожает ссунуть извилистая дорога революции.

Да! Вообще всегда говорили марксисты, что нациям предстоит отмереть и не надо никаких «самоопределений». Но! — сейчас мы вошли в сложную обстановку. И! надо пока допустить «самоопределение», чтоб иметь союзников. А поросята — не успевают повернуться.

Так и с демократией. Бухарин открыто пишет: в период взятия власти придётся отказаться от демократии. А — нельзя так писать ни в коем случае! Да, конечно придётся, — но надо считать и говорить, что социалистическая революция невозможна без борьбы за демократию, и поросьятам это надо зарубить на розовом носу. Но, конечно, не терять из виду: в конкретной обстановке, в известном смысле, для известного периода. А наступит и такой период, что всякие демократические цели способны только затормозить социалистическую революцию. (Это — подчеркнуть двумя чертами!) Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо брать банки — а нас позовут: подожди, сначала узаконь республику!?..

Разъяснял им Ленин по многу страниц — нет, воротили носы прочь! А пришлось так долго возиться с такими склочниками и интриганами потому, что у «японцев» были деньги на журнал, без них не начали бы «Коммуниста». Но и союз с ними имел смысл лишь пока у Ленина было большинство в редакции, а дать равенство глупцам? — никогда! к дьяволу! идиотизм и порча всей рабо-

ты! лучше ошельмовать дурачков перед всем светом. Не хотели мирного исхода — набьём вам морду!

С Бухариным не довёл до публичности, объяснился в письмах. А перед его отъездом такая злость взяла — не ответил ему. Теперь в Америку поехал — небось обиделся.

В глубине признаться — он очень умён. Но раздражает постоянным сопротивлением.

Всякая оппозиция всегда раздражает, особенно — в теоретических вопросах, от которых — претензии на руководство.

Но уж Радека, Радека, говённую душу, было очень полезно высечь для общей наглядности. Верх подлости Радека в том, что он исподтишка натравливал поросят, а сам прятался за циммервальдскую левую. (Да и в Кинтале пытался поссорить Ленина со всеми левыми, а с Розой и поссорил.) Радек держится в политике как наглый, нахальный тышкинский торгаш, исконная политика швали и сволочи! За то, как он выпер Ленина и Зиновьева из редакции «Vorbote», — вообще бьют по морде или отворачиваются. Кто прощает такие вещи в политике — того считают дурачком или негодяем.

В данном случае правильно было — отвернуться. Тем более, что разногласия с Радеком — не всеобщие, а только в русско-польских делах. А по делам швейцарским Радеку выхода нет, как идти против Гримма, он вынужден примкнуть союзником, да каким!

Но в этой истории сподличал и Зиновьев, предлагал уступить «японцам». Так шатаются все, нельзя на самых близких положить-ся.

Чтобы покончить эти все бухаринские выверты — необходимо было перенести спор также и в саму Россию и добить «японцев» на русской почве. Об этом велено Шляпникову. Но Шляпников и сам путаник, особенно его Коллонтайша. (Кстати, не забыть: хорошо бы подsunуть её на скандинавскую конференцию нейтралов, ну, хотя бы переводчицей при делегате, — и так вынюхать планы нейтралов.)

Да сколько их, псевдосоциалистических путаников во всех странах, и воюющих, и нейтральных, и у нас. А разве лучше Троцкий с его благоглупостями — «ни победителей, ни побеждённых»? Вздор какой. Нет, это сбор дешёвой популярности, а ты попробуй, чтоб царизм был всё-таки побеждён, не дай ему вырваться из этой свалки! Нельзя быть «против всякой войны», социалист перестаёт быть социалистом.



Где сейчас Шляпников — неизвестно: ещё ли в Стокгольме? или уже в Россию поехал? До Швеции письма проходят с оказиями, через Кескулу и его людей, — а дальше Швеции? Там вообще темнота, регулярности никакой. У Шляпникова на всё вечные задержки, в Россию ездит редко, каждый раз подолгу, очень неповоротливый. А скажешь ему — обижается. А если б не ездил — так и никого нет. Так что для придания важности пришлось кооптировать его в ЦК.

Тут подошёл к столу Ленина библиотекарь и, шёпотом извиняясь и прикланиваясь в извинение, положил ему стопку о Персии.

Спасибо! Каких-нибудь полчаса до перерыва, так теперь Персия! А что ж, взяться и за неё?

Конечно, до ЦК Шляпников никак не дорос, по развитию не Малиновский. Но место его — занял, от звания «член ЦК», «председатель Русского Бюро» голова кружится, вошёл во вкус. То лезет в международные переговоры с социалистами, оттирая Литвинова. То с дурацкими советами чуть не в каждом письме: почему не переезжаете в Швецию? Самоуверен надоедно, а отрезать нельзя, реальное действующее лицо, приходится отвечать ему, и даже по форме с почтением.

Что-то плохо вработывался. Слишком кипел мозг, не мог сосредоточиться, не уходил в медлительную феодальную персидскую экономику.

Ах, Малиновский, Малиновский! Несостоявшийся русский Бебель. Как работал! Как обращался с массами! Что это был за тип, за лицо! — самозарождённый рабочий вожак, собранный символ российского пролетариата. Именно такого рабочего вождя и не хватало Ленину в партии — под правую руку, в дополнение, чтоб идеи приводить в массовое действие. За то и любил его Ленин, что так он влился на предназначенное место, и всегда с такой готовностью, никогда не оспаривая, — но как ярко и сильно выполнял! По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое — несколько краж, но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него — Ленин только утверждался в доверии: представить его провокатором? — невозможно! Какие зажигательные речи произносил в Думе, как маневренно раскололся с меньшевиками во фракции. Не только самого его с радостью включил Ленин в ЦК, но довольно было Малиновскому кого-нибудь посоветовать, там Сталина, —

включал и того. Когда жили в Поронине, не было из России приятнее гостя, чем Малиновский. Кроме последней страшной майской ночи, когда вдруг появился он после своего самовольного внезапного ухода из Думы, — но ведь появился же, не сбежал! И целую ночь это объяснение шло. Сотрясающее открытие. Но: *доказать* против Малиновского всё равно никто ничего не может. Кто может поверить этой глупой версии, что охранка сама сочла «неудобным» иметь осведомителя в лучших думских ораторах — и велела ему уйти? Вздор какой, что ж охранка — глупая, сама против себя?.. Собрали с Кубой и Зиновьевым как бы партийный суд — и оправдали Романа Малиновского: он — политически честен. А Дан и Мартов — грязные клеветники, пусть обвиняют за подписями.

О, ему ещё можно придать большую будущность. При поронинском захвате был интернирован австрийцами — но сговорились, освободили его, для политической работы с русскими военнопленными. Среди военнопленных он продуктивно используется. И он себя ещё оправдывает.

А помощника такого у Ленина уже не будет... Шляпников? не-ет.

А тут — перерыв наседали. И когда они проголодываться успевают, швейцарцы, в 12 часов уже подавай им обедать?

Впрочем, замечал Ленин, что сегодняшний библиотечкарь не всегда ходит обедать. Подошёл к нему, спросил. Не пойдёт. А нельзя в перерыв остаться? Можно.

Вот это удача. Не столько того обеда, сколько рассеяния. На пустой желудок лучше работается. И лишний час.

Теперь можно было заниматься не торопясь. А даже вот что лучше — сейчас уже запастись газетами. Экономя деньги, Ленин ни одной не покупал и не подписывался, да их тридцать-сорок надо читать, все «Arbeiter-» и все «Stimme».

Набрал какие есть, принёс на стол.

Чтение газет — из главных ежедневных работ, это вход в жизнь мира. Чтение газет настраивает к ответственности, к упорству и к бою, даёт живое ощущение врагов. Рассыпанные по всему миру социалисты, социал-патриоты и центристы, не говоря уже о всех буржуазных ослах, все как будто сталпливаются вокруг тебя в читальном зале, и размахивают руками, гудят, кричат каждый своё, а ты выхватываешь — и отражаешь, замечаешь слабые места — и тут же бьёшь по ним. Читать газеты — значит и конспек-

тировать их. По аналогии, по ассоциации, по противоположности, по несоединимости и вовсе по непонятной связи высекаются и высекаются искры мыслей, разлетаются под углами вправо, влево, на отдельные бумажки, в линейчатые строки тетрадей и на свободные поля, и каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы ткать ей там и ждать своего часа, иную — в конспект, иную — сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли — для выяснения самому себе, другие — для спора, укола, удара, третьи — как лучшая форма разжевать и архиразжевать для глупеньких, четвёртые — для теоретической спевки, особенно с теми, кто удалён, и даже в России.

Вандервельде и Брантинг, Гюисманс и Жуо, Плеханов и Потресов, Ледебур и Гаазе, Бауэр и Бернштейн, два Адлера, даже Паннекук и Роланд Гольст — всех их Ленин ощущал как своих достигаемых раздражающих оппонентов, где б они ни гнездились — в Голландии, Англии, Франции, Скандинавии, Австрии или Петербурге, — ощущал их на дистанции видимости, на слышимости голоса, он связан был с ними со всеми единым пульсирующим нервным узлом — во сне и в бодрствовании, за чтением, за едой и на прогулке.

А читателей — уже и не было, уже, оказывается, наступил перерыв. Библиотекарь ушёл за стеклянную дверь в глубину хранилища. Лампочки на всех столах погасли, храм-читальня грандиозно высылся в полусерости и гробовой тишине. И, пользуясь необычным этим случаем, ещё и ещё разряжаясь от избыточной нагрузки нервов, Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь — от входной двери под деревянной галлереей до двух поперечных каменных длинных ступенек, перед бывшим алтарём. Получалось шагов пятьдесят, не перерогороженных ни полками, ни столами.

Вся проходка его бывала на улицах и в горах, а жил он всегда в комнатках тесных, маленьких, не расходишься. Теперь в этом быстром, настигающем хождении, шагом охотника, расталкивая, расталкивая Гильфердингов, Мартовых, Грёйлихов, Лонге, Прессманов и Чхеидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, осекая, ставя на место и рассеивая их, именно в этом колебании обезумевшего маятника — он отбивался, отбивался от врагов.

Освобождался от врагов.

И всё больше был готов к методической работе.

И пришёл момент — на полупроходке ощутилось: довольно!

И сел работать.

Неправильная эта мысль об Инессе. Нет оснований так думать.

Нет! Не за тем столом сидел. Теперь это всё — книги, газеты, тетради — перенести на хоры, за свой привычный стол. В два приёма пришлось нести.

Слегка поскрипывали ступени в готической серой тишине.

И что-то вдруг устал-устал. Как свалился в свой стул.

В голове как-то...

А голода от пропущенного обеда не ощущал никакого. Ему — можно было и мало есть, в нём энергия вырабатывалась почти и без еды.

У самого окна, без лампы пока. Но день сумрачный.

Читал газеты. Читал — об общем военном положении. И было безрадостно.

Ну, не так плохо, как в августе, страшный момент, когда внезапно выступила свежая Румыния, гигантски укрепив союзников, и казалось — теперь Россия вывернется. Но нашлась в Германии сила разбить и Румынию как бы мимоходом, это изумительно, этого нельзя было предсказать два месяца назад. А тем не менее, также вопреки всем предвидениям, Германия не выигрывала целой европейской войны. На Западном фронте закупорилось прочно и безнадежно. И на Восточном — вот поразительно, и на Восточном никакой победы не принёс Шестнадцатый год. Год назад был царизм уже сотрясён, уже почти повергнут, — а вот опять стоял и не уступил ничего! Величайшая надежда, величайшая победа — растеклась, расплылась, ушла.

В одном местечке, всего в одном местечке головы, около левого виска, образовалась как бы пустота. Плохо. Перевозбудился.

И все народы даже от третьего года такой кровавой войны — не видно, чтобы просыпались. Но, как всегда, безнадежнее всех — русский народ. Именно он нёс главные обильные потери, именно русские тела штабелями наваливались против немецкой организации и техники. О Восточном фронте вообще пишут невнятно, неточно, корреспондентов там нет, знают мало и интересуются мало, да пресса Антанты и стыдится такого союзника, стараются меньше писать, но часто приводят цифры потерь. Эти цифры русских потерь всякий раз находил и ногтем отмечал Ленин — с удивлением и удовольствием. Чем крупнее были цифры, тем радостней: все

эти убитые, раненые и пленные вываливались, как колья из самодержавного частокола, и ослабляли монархию. Но и эти же цифры приводили в отчаянье, что нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует. Любую пакость, любую мерзость он слопаёт и будет благодарить и почитать родного благодетеля.

Или свет зажечь? Как будто буквы поплыли.

Невоспламеняемые русские дрова! Отошли в историю лучшие костры — соляные, холерные, медные, разинский, пугачёвский. Разве только на захват соседнего поместья, всем видимого и известного, а то ведь никакой пролетариат и никакие профессиональные революционеры никогда не раскачают чёрную мужицкую массу. Развращённая, расслабленная православием, она как будто потеряла страсть к топору и огню. Если уж *такую* войну перенести и не взбунтоваться — куда годен этот народ?

Проиграно. Не будет в России революции.

Закрыв глаза ладонями и сидел так.

Внутри — как будто обвисало. То ли от усталости, то ли от тоски.

Читатели уже собираются. Стулом двинули. Книга упала. Лампочки зажигают.

А может случиться и ещё хуже: царизм уже выбирается из капкана? Через с е п а р а т н ы й м и р?? (Подчеркнуть тремя чертами.) И Германии, когда она не может выиграть войны на двух фронтах, — что остаётся?

Вот — страшно. Вот — не может быть хуже чего. Тогда проиграно — всё. И мировая революция. И революция в России. И — вся жизнь Ленина, все усилия двух десятилетий.

Такое сообщение — о подготовке сепаратного мира, о тайных переговорах, уже *официально* идущих между Германией и Россией, и что в главном обе державы уже столкнулись — недавно напечатала газета Гримма «Бернер тагвахт». Подпись была — К.Р. Не надо спрашивать плута Радека, чтоб догадаться, что это — он. (Но как мог Гримма убедить!) И, достаточно зная его шипучую находчивость, можно догадаться, что он не подслушал разговора дипломатов, не подглядел тайных бумаг и даже слушка такого не подхватил нигде, а залежавшись на полдня в постели, газеты на одеяле, газеты под одеялом и книги под кроватью, он иногда сочиняет что-нибудь такое «от нашего собственного корреспондента» из Норвегии или Аргентины.

Но не в том дело, как родилось именно это сообщение. И не в том, что русский посол в Берне опровергает — а что же ему иначе?.. Дело — в пронзительной верности: для царя это *действительно верный выход*! Именно так и надо бы ему!

И поэтому надо — ударить! Ещё ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми!

Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если б сколько-нибудь были разумны, — а начали! а — сделали нам такой подарок!

Так что, может быть, и сейчас ещё можно их напугать разглаской — и отвратить?

Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму.

А всё равно уже: в России ничего не сделать. Кто там читает «Социал-Демократа»? А за Милюковыми и Шингарёвыми все следят. В России слышно — одних кадетов. И вон как встречали делегацию их на Западе. Царь додумается, потеснится немножко, уступит министерства Гучкову да кадетам — и уж тогда их совсем не возьмёшь, не пробьёшь.

И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге? Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько он не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амикошонства, этих трактирных слёз раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур. Ленин был — струна, Ленин был — стрела. Ленин с первого полувзгляда оценивал дело, обстоятельства и верное и даже единственное средство к цели. И что ж его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими, потрудясь больше. С Россией — двадцать лет конкретных революционных связей? Ну, только вот они. Но сейчас, после создания циммервальдской левой, он уже достаточно известен в мировой социалистической сфере и может перешагнуть туда. Социализм — безнационален. Вот уехал Троцкий в Америку — правильный выбор. И туда же Бухарин. Наверно и надо, в Америку.

Нет, что-то сегодня не то в нём самом. Не так день начался, не так завертелся. Как будто тело его, самый корпус, грудь не успевали за быстрой головной проработкой — и у левого виска была пустотка, и какое-то дупло усталости проявилось в нутре — и вся оболочка тела как будто стала оседать по дуплу.

Многое сошлось сразу, и вдруг он ощутил, что не вытянет сегодня хорошего рабочего дня, но катится под гору раздёрганный, неудачный, даже тоскливый.

Вообще, политик — это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность — к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор — но даже у него раза два в год выдавались дни, когда этот напор опадал — до уныния, до изнеможения, до прострации. И такие дни уже до вечера нельзя исправить, только раньше лечь и крепко спать.

Кажется, отлично владел Ленин своей головой, своей волей — но против этих накатов безнадёжности был безсилен даже он. Безусловная истина, твёрдая перспектива, проверенная расстановка сил — вдруг начинало всё оплывать, сереть, сползать, всё оборачивалось к нему серым тупым задом.

А внутри сидящая, вечно сторожащая болезнь вдруг выпирала улами, как камень из мешка.

К виску выпирала.

Да. Всегда он шёл путём неприятия компромиссов, несглаживания разногласий — и так создавал побеждающую силу. Уверен был, предчувствовал, что — побеждающую. Что важно сохранить как угодно малую группу и из кого угодно, но — централизованную строго. Примиренчество и объединенчество уже давно показали себя как гибель рабочей партии. Примиряться — с разоруженцами? примиряться с нашесловцами? примиряться с русскими каутскианцами? с мерзавцами из меньшевицкого ОК? идти в лакеи к социал-шовинистам? обниматься с социалистическими Иванушками? Нет, к чёрту! — малое меньшинство, но твёрдое, верное, своё!

Однако постепенно он оказывался почти в одиночестве, преданный и покинутый, — а всяческие объединенцы или разоруженцы, ликвидаторы или оборонцы, шовинисты или безгосударственники, помойные литераторы и вся паршивая перемётная обывательская сволочь — все собирались где-то там тесным комом. И до

того иногда доходило его меньшинство, что и вовсе никого вокруг уже не оставалось, как в тоскливом одиноком 908-м, после всех поражений, — тоже здесь, в Швейцарии, самый страшный тяжёлый год. Интеллигенция панически покидала большевицкие ряды — тем лучше, по крайней мере партия освобождалась от мелкобуржуазной нечисти. Среди этой мерзкой интеллигентщины Ленин чувствовал себя особенно унижительно, ничтожно, потерянно, отчаяние было ощутить себя утопающим в их болоте, идиотство было бы походить на них. Каждым жестом и словом, даже ругательствами, — только бы не походить на них!.. Но уж совсем никого не оставалось, уж до того дошло, что хоть десять-пятнадцать сторонников надо было задержать, оставить! — и для этого одного, в охоте за пятнадцатью большевиками, чтоб не отдать их махистам, гонять за материалами в Лондон и писать триста страниц философского труда, которого и не прочёл никто, но Богданова — опозорил! сбил с руководства! И потом сырой осенью всё ходить, ходить зябко вдоль Женевского озера и бодро повторять, что мы не упали духом и идём к победе.

И вот с умнейшими, как Троцкий и Бухарин, не находится общего языка. И в немногих, кто остался вблизи, как Зиновьев, тоже нельзя быть уверенным вперёд дальше месяца — так слабы его нервы, так непрочны убеждения. (Да никаких убеждений у Гришки нет.)

Сила — не создалась. Весь его курс, 23 года непрерывных боевых кампаний — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма, вся эта твёрдая судьба под градом ненависти — к чему привела его, кроме изоляции? Он по инерции продолжал свою линию — разрывов, клеймлений, отмежеваний, но сам утомлённо понимал, что на том и завяз, что настоящего успеха — уже никогда не будет.

Одиночество.

И даже рассказать, поделиться, свой голос послушать — вот, не с кем...

Ну, день... Всё вываливалось и отвращалось, бесплодно просиживал часы.

Стопки книг, стопки газет... А за годы эмиграции — целые колонны бумаг, кип, дестей, — прочитанных, просмотренных, исписанных...

Когда он был молод — носилось свежее ощущение близкой революции, простота и краткость ожидаемого к ней пути. Он всем



повторял: «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции!» Счастливое ожидание!

Но вот последние девять лет, после второй эмиграции, — чем же наполнены, набиты, напрессованы? Одними бумагами, конвертами, пакетами, бандеролями, перепиской рутинной, срочной — сколько же, сколько времени уходит на одни письма (да и франков на марки, но это из партийной кассы)? Почти вся жизнь, половина каждого дня — в этих нескончаемых письмах, никто не живёт рядом, единомышленники рассеяны по всем ветрам, и надо издали держать их, стягивать, управлять ими, давать советы, расспрашивать, просить, благодарить, согласовывать резолюции (это — с друзьями, а всё ж это время не прекращать острейшей борьбы с толпами врагов!), — и именно сегодняшнее, се-часовое письмо всегда кажется самым срочным и важным (а через день иногда — и пустым, и опоздавшим, и ошибочным). Обсылаться проектами статей, корректурами, возражениями, поправками, рецензиями, конспектами, тезисами, чтением и выписками из газет, целыми повозками газет, иногда выпусками своих журналов, по несколько номеров, не дальше, — и никакого настоящего дела, и не поверить и не представить, что через мир, заваленный ворохом бумаг и бандеролей, способно пробиться общественное движение — к заветной задуманной государственной власти, и там понадобятся от тебя качества иные, чем эту дюжину лет в читальных залах.

Кончал он свой сорок седьмой год — жизни нервной, однообразной, всё чернилами, чернилами по бумаге, в однодневных, однедельных вспышках вражды и союзов, споров и соглашений — архиважных, архитактичных, архиискусных — и всё с политиками настолько мельче себя, и всё в бездонную бочку, без задержки, без памяти, без результата. Всё дело его подвижной, поворотной, переносной жизни билось, билось и упиралось в непроходимый хлам.

И вот — обвисали руки, и спина не держалась, и кажется — всё, выдохся весь до последнего.

А болезнь — грузнела внутри, иногда расхаживала и скребла. Она звука не подавала, она в спор не вступала, а сильнее её — не было оппонента.

Беда, вошедшая навсегда.

Единственно, к чему он был призван — повлиять на ход истории, — не было ему дано.

И все его несравненные способности (теперь-то оцененные и всеми в партии, но сам он знал их ещё верней и выше), вся его находчивость, проницательность, хватка ума, всё его бесполезно ясное понимание мировых событий — не могли ему принести не только политической победы, но даже положения хоть члена парламента игрушечной страны, как Гримму. Или даже — успешного адвоката (впрочем, адвокат — отвратительно, в Самаре он проиграл все суды). Или хотя бы журналиста.

От того, что он родился в проклятой России.

Но, со своим обычаем честно выполнять самую кропотливую работу, он всё ещё пытался сегодня составлять свои подробные учительные тезисы швейцарским левым циммервальдистам. По дороговизне, по невыносимому экономическому положению масс. Какой установить предельный максимум жалования для служащих и чиновников. И как следить за партийными органами печати. И как выживать из партии реформистов-грютлианцев...

Нет! Не строилась работа... Ушла полнота из рассчитанного расписания, и осталось душно. Голова заболела. Дышалось плохо. Противно стало даже смотреть на бумаги. К утру должен был приступ миновать, но сейчас такое ко всему отвращение, что хоть на пол лечь.

И — преступно не досидев рабочего дня (впрочем, не так уж много и оставалось), он через силу скидывал тетради, рукописи в свою провизионную сумку, собирал, захлопывал книги, стягивал газеты в пачку, что ставил на полки, что понёс библиотекарю, осторожно ногами по ступенькам, чтоб не грохнуться с этой кипой.

У двери натянул тяжёлое пальто, насадил котелок как попало, побрёл.

Каждый день одна и та же дорога не задавала задачи ни ногам, ни глазам: шло само.

К сумеркам было, и ещё туман. В окнах магазинов и ресторанов уже горело электричество.

По узкому переулку катили широкую бочку, за ней — тачку. Не обойдёшь.

Легко, легко не выбраться из этой стиснутой, маленькой, закишей, мещанской Швейцарии, так тут и кончить жизнь при кегель-клубе.

У гастронома, видно через окно, никелированная машинка равномерной подачей резала ровные пластинки привлекатель-

ной ветчины. И видами мясного завалена была витрина. Бакалейщик, самодовольный по-швейцарски, вышел на порог своего заведения и одному прохожему за другим — знакомым, незнакомым? — отвешивал своё бесплатное «грётци!». На третьем году войны магазины оставались навязчиво изобильны, только сильно подпрыгнули все цены от подводных лодок. А буржуа стояли и ещё перебирали.

По холоду хоть не стали выставлять столиков из кафе на тротуары — а то сидят, на прохожих глазами лупают, а ты их обходи чертыхаясь. И во всё своё эмигрантское время ненавидел Ленин кафе — эти обкуренные гнёзда словоизвержения, где заседало 9/10 революционного словоблудия. А за войну, тут близко военная граница, натянуло в Цюрих ещё новой мутной публики, из-за них комнаты подорожали, авантюристы, дельцы, спекулянты, студенты-дезертиры и болтуны-интеллигенты, философскими манифестами и художественными протестами якобы бунтующие, сами не зная против чего. И все — по кафе.

Да такая же благополучная, наверно, и Америка. Везде верхушка рабочего класса предпочитает богатеть и не делать революции. Ни там, ни здесь никому не нужен был его динамит, его взмах топоринный.

Способный весь мир раскроить, взорвать и перестроить — он слишком рано родился, только себе на муку.

Середина Шпигельгассе — сильно горбатая, на своей отдельной горке. От себя, в какую сторону ни иди, — размашисто вниз. К себе, откуда ни возвращайся, — круто вверх. Когда разогнан или бодр — не замечаешь. Но сейчас еле-еле тащился. Не шёл, а ногами заскребал.

Узкая крутая лестница старого дома с многолетними запахами. Уже темно, а лампы не зажгли, на ощупь ногой.

Третий этаж. Всеязычный галдёж, тяжёлые запахи квартиры.

И своя комната, как тюремная камера на двоих. Две кровати, стол, стулья. Печка чугунная, в стенку труба. Нетопленая (а пора бы). Перевернутый ящик из-под книг как посудный столик (из-за вечных переездов не покупали мебели).

При последнем дневном свете Надя ещё писала за столом. Обернулась. Удивилась.

Но, привыкшая к этому свету, разглядела жёлто-бурую кожу на шестидесятилетнем лице Ильича, тяжёлый мёртвый взгляд — и не спросила, отчего так рано.

Уж знала она у него приход этих упадков до прострации — иногда на дни, а то — на несколько недель. Когда он слишком выработывался в возбуждении, или когда в борьбе надламывалось даже его железное тело. После II съезда был такой упадок нервный, после Шаг-Два-Шага, после V съезда, — да не раз.

Котелок утомлял голову, старое пальто утомляло плечи. С трудом их с себя сдирал... Надя помогла снять... Потасил по комнате ноги и сумку с тетрадами.

Нашёл силы посмотреть, что Надя писала, к глазам поднёс. Расходы.

Набирался, набирался столбик цифр удручающий.

В 908-м хоть и мрачно было, хоть и одиноко, так денег завалилось, после тифлисского экса. Счёт в «Лионском кредите». С тоски ходили в концерты по вечерам, ездили в Ниццу в отпуск, путешествовали, гостиницы, извозчики, в Париже сняли тысячефранковую квартиру, зеркало над камином.

Сел на кровать.

Сел — и осел, уменьшился. И в пружинах утоп, и голова утопла в плечи, совсем не осталось шеи: оттяжка темени — на спине, подбородок — на груди.

И одной рукой, впереди себя, держался за край стола.

Один глаз был полузакрит. А рот полуоткрыт. С губы торчала безформенная шерстинка крупноволосых усов. И нос придавленным своим передом выставлен вперёд.

Так сидел. Минуту. Другую. Третью.

— Ляжешь? Раздеть? — своим мягко-деревянным голосом спрашивала Надя.

Молчал.

— Ты что ж в обед не пришёл? Зазанимался?

Кивнул, с усилием.

— Сейчас будешь? — Но голос её не обещал густого плотоядства, так никогда и не научилась готовить.

То ли было в Шушенском! И натоплено, и наварено, и нажарено, на неделю баран, разносолов кадушки, дупеля, тетерева на столе, молоком залейся, и до блеска всё вымыто девчёнкой-прилугой.

Уж совсем облысел купол Ильича, только и оставались волосы задние, тоже негустые. (Ещё попортили и сами в 902-м: на врача денег пожалели, по совету русского медика недоучившегося сыпь на голове йодом лечили, и посыпались волосы.)

Надя переступила ближе. Тихо, осторожно пригладила.

Несколько глубоких, длинных морщин пролегли через весь, весь лоб его, вдоль.

Ильич вздохнул толчками тяжёлыми — как в оглоблях, с силой некабинетного человека. И, нисколько не подымая голову из утопления, не видя жену, а — перед собой, над столом, заморенно-заморенно:

— Кончится война — уедем в Америку.

Да он ли это?

— А циммервальдская левая как же? А новый Интернационал? — стояла печальной распустьёхой.

Вздохнул Ильич. Глухо, хрипло, без силы в голосе:

— В России ясно к чему идёт. К кадетскому правительству. Царь — с кадетами сговорится. И будет пошное, нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет. И — никаких надежд революционерам. Мы — уже не доживём.

А что? И уехать. Она приглаживала его дальние редкие волосы.

Тут — постучала хозяйка: кто-то к ним пришёл, спрашивает.

Ну, только! Ну, нашли время! Надя и не советуясь пошла — отказать и выгнать.

А вернулась в недоумении:

— Володя! Скларц! Из Берлина...

Из Берлина?..

Да кто угодно, только б вылезти из этого болота!

\*\*\*\*\*

*ПО МНЕ ХОТЬ ПЁС, ЛИШЬ БЫ ЯЙЦА НЁС*

\*\*\*\*\*

## 45

В канун Казанской, в пятницу, бабы варили и пекли не разгибаясь, щёки не остывали от жара. И с соседних деревень — из Волхонщины, Изобильной, Торчков, Бредихина и даже с Журавлиного-Вершинского, на рысаках и разодетые съезжались родственники к родственникам на престол. Третий год продирали, продёргивали их волость — а до чего ж ещё многолюдна была! Мужики середовые ещё все дома, и славные здешние кони не перевелись резвостью и статями, и начищенная выездная сбруя сверкала и звенела, а на мужиках — пары и тройки суконные, достанные из сундуков, сапоги со скрипом, худых — ни на ком. А уж бабы в церковь — во всех цветах да сборочках, нык и в польтах касторового сукна, на матери — турецкая шаль, Катёна — в высоких ботинках-румынках, на шнуровке.

С синекустовских отрубов приехала к Благодарёвым в дом и адрианова жена Анфиса с тремя ребятишками. Как и гостья, а и по хозяйству пособляла, к Благодарёвым так гости и текли, на служивого смотреть. И всем бы Анфиса ничего баба, и как будто родня, а зависть свою не перегораживает, да оно и правда обидно: Адриан два раза раненый был — а креста нет, Сенька ни разу — а два креста.

Так ведь как сложится, Сенька что ж? Сеньке и самому неловко. И, как бы исправиться, от приезда ломило его руки на работу, будто он все эти годы пушечного хобота не ворочал, снарядов не вбрасывал в казённую часть, земли не капывал, — вся та работа не в счёт, как не деланная, а вот сейчас-то бы и приложиться впервые! — так дни не такие, приехал под праздники кряду на три дня, на пир да на добрые люди, — и ходи от стола к столу, показывайся.

Праздники шли косяком. В субботу — Казанская, престол. В канун перед им волостное правление и повсегда флаг вывешивало: восшествие императора, тоже-ть на престол. А в этом году накладалась на престол и Дмитровская суббота, поминовение родителей. Следом — воскресенье, второй день престола, с молебнами по домам, и вовсю гуляли, лишь к вечеру разъезжались. А на по-

недельник — Всех Скорбящих Радости, и опять в церкви служба, и опять на весь день праздник, уж теперь середь своих, каменных.

Так каждое утро, студёной водой от вчерашней гульбы голову проняв, шли Благодарёвы к заутрене и к обедне, дома оставивши то мать, то Катёну, а то Феньку одну с малы́ми.

По звону — со всех каменных холмов, изо всех домов шли, спускались и к церкви подымались разодетые сельчане — бабы в шёлковых головных и наплечных платках, алых и синих, в полусачках и даже в шубейках, кому будет жарко — в притворе повесить можно. Даже мужики в цветном, старухи в праздничном чёрном, даже мальчики — и те в сапогах, выбирая где суше, — пройти, показаться, куда ж и одеться?

Перед отцом Михаилом был и долг у Арсения вечный: ведь и его б, как Адриана и как сестёр, не отпустил бы отец на ученье, не было достатка, и тогда ещё такого уряда не было — учиться. Уже слал отец Сеньку подпаском, да проведаль отец Михаил, и внушил Елисею и дал десять пудов ржи, чтобы только сынишка в церковную школу пошёл. (Земской тогда ещё в Каменке не было.) То ещё был отец Михаил старший, нынешнему отец, кто взрослых прихожан ма́лушками звал, покойный теперь, — а вместо него сын заступил, опять же отец Михаил Молчанов, и службы служил с той же строгостью, по воскресеньям обедня боле двух часов, и требы с тем же старанием, и такой же тихий был, так же шли к нему спросить-рассудить по совести, только уж малушками взрослых не звал. И в саду всё с лопатой и с ножницами, продолжая и в том отцовское, и домик сиренью обрастил пуще.

Прежде читал у него Арсений часы и пел в хоре — и сейчас, узнав о приезде, прислал отец Михаил наказать, чтоб на праздники прямо в хор выходил, а на Казанскую бы причастился. И кубить третий год не вырван был Арсений, не выхвачен как волчьим укусом, не таскался между взрывов и пожаров, не хоронился в окопах и в воронках от прострела и сам не посылал немцам такого ж гостинца, — тут всё та ж была церковь издетская, свое-свойская, и иконы всё те на местах и ставники со свечами, и те ж перильца у клироса, и в той же ризе отец Михаил перед теми же резными воротами. И хотя доставалось Арсению и на войне постоять на молебнах и панихидах против алтаря составного рамчатого, и на тот же распев служба, а там будто ненастоящая, как вся та жизнь военная ненастоящая, привыкнешь — не замечаешь, а только в своё село воротясь — очнёшься. И вот опять выпевал

Арсений голосом вольным, немеренным. И со своими сельскими слушал глас ко празднику:

*Не умолчим николи, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? кто же бы сохранил доныне свободны?*

Поётся ли иль возглашается нараспев, понятны ли кряду слова или со смыслом тёмным, за каждым ли следишь или относишься мыслью и под пение задумываешься о своём, хоть бы вот — что после войны будет, как заживём с Катёной хорошо, — а те молитвенные слова всё одно воздымают тебя над жизнью колотьбенной, как и сам этот храм, ни с чьею лучшей избой не сравнимый, в наряде, однако, смиренном, — каждому открыт, каждого ждёт и всех равняет. И хотя, у престольной службы стоя, всегда знают, что едва спустя начнётся общая гульба, пьянка, и конские бега, и торги, и драки — до войны молодых парней стенка на стенку, там и разъярённых взрослых мужиков, — а тут напомяно тебе, что всё это — муть и пена, а все мы — мир, одного Бога дети, и негожо нам друг на друга злобиться. Все стоят смирно, до времени головы гнут, у кого и гордые, и задиристые, и когда на колени надо — так все на колени, а если кто в мыслях лишь о жизни обыденной и попросил у Бога здоровья детям, скотинке аль помощи в задумке своей по хозяйству, так и тоже правильно, нету тут злого. Захленись ты, чтоб тебя разорвало и убило! — такого тут не попросят.

*Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице: Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: Твои бо есмы раби, да не постыдимся.*

Чуть если повернуться Арсению больше, то можно краем увидеть на левой, бабьей, стороне, в тесноте престольной, как стоит и молится Катёна. Такая тихоня проворная, чистенькая, так исто-во глядит на Богородицу да быстро кладёт поклоны поясные, вниз легко и вверх легко, лишь платочек взлетает хвостиком. И по виду её свято-весёлому, по готовности к поклонам, никогда не сказать и в думке не представить, чтобы были у неё когда-то грешные мысли прежде, в той же баньке или до ней, или чтоб сейчас она таила их на будущее.

Пел что положено с хором Арсений, а про себя хвалил: слава Тебе, Господи, какую жёнку Ты мне послал, — и видом, и справой, и норовом хороша ты, моя жёнка, лучше не надо!

А потом валил народ из церкви, с холма рассыпаясь, — к угощениям. Кроме праздников, в Каменке раньше никогда хмельного



не пили, иначе ты не мужик и не хозяин. С войны отняли и казёнку — однако без хмельного не остались: брагу, пиво и всегда варили, а тут научились из зерна гнать перегон, ещё крепче водки, — на воздым подымает, такое весельство. Теперь громахонов, скажи, семь появилось в Каменке, и такую взяли моду: выставлять их на скамьях перед воротами или в раскрытом окне, для общей забавы, вперебой гармошкам. А перед пожарной, где земля хорошо утолочена, молодёжь танцевала. И песни пели во всё горло, чтоб аж дралось, с холма на холм.

А после престольного веселья всегда дрались парни, от разных деревень, вовлекая и взрослых мужиков. Ныне — веселья заметно поменьше, а драки, напротив, и без престола. В сём году драка была чуть не насмерть между пьяными рекрутами, нашими и волхонскими, не дождутся вишь немца, еле разняли урядник со стражником, пускали и воду из пожарной машины. И ещё развелось — озорство крайнее, какого раньше не слыхивали. Восемнадцатилетний Мишка Руль, сын почтенного отца, собрал компанию парней и шkodили зло, как никогда не ведено: воровали домашнюю птицу, затыкали трубы печные, и мужицкие сады обламывали — дело нестаточное, яблоки грабастать принято было всегда лишь у помещика. И ни на чём как след не пойманы, и отец с Мишкой Рулём ничего поделать не мог, ждал армии.

Эти три дня смешались, не разделить: из избы в избу, от угостья к угостью — и где кого видал? где чего набуздались? — мясо да рыбу, печево да студни. Ходил Арсений, потряхивал двумя Егорьями, с шинели на рубаху их перецепив, и который раз охоче рассказывал, за что дали, и как вообще воюют, и какие германцы, и о солдатской славной службе кричал через рёв, через гармонь, через стол наискось: «Знай службу, плюй в ружьё, да не мочи дула!» Аль: «Не что солдату и без шубы деется, идёт да греется!» Но хотя и ещё такое было присловье — «солдат в отпуску — рубаха из порток», а сам затянутый ходил, да рядом с таким становитым батькой живот распустил и погорбиться — страм. И чего б ни спросили Сеньку, через гул крича, или за грудь трясая, или руку на плечо, — на всё он ответ давал уверенный, когда и знал и не знал: и — правда ль, что немец уже не бонбы кидает, а прям огнём рыгает? и — правда ль, что за хранцузов чёрные черти воюют, прям таки во плоти, и не скрываются? И — зачем же с немцем так люто воевать, коли они — крещённый народ, вроде нас? другое дело — с турками, с японцами...?

Ну, и пето было во всю глотку.

Так и толкались эти дни, всё в стенах, и, только переходя из избы в избу или выйдя голову обветрить на сырой холодок, видел Арсений небо за тучками, порой растянутыми до полотна, солнышком просвеченного, и видел раскинутое своё село: от одной горки, где стоял помещичий давыдовский дом и откуда главный порядок спускался к мосту через ручей, — и дальше от моста, от плужниковского кирпичного дома наверх, на другую горку, туда, за увал, к новому спуску, уже к Савале, и новому холму на Князев лес, — аль вбок, на холм, где храм, дом и сад поповский, кладбище, приходская школа, где Арсений учился, земская школа, больница, лошадиная лечебница да роща. И ещё с холмов распахнут был вид на просторные луга к Савале, как она обходила село дальнею дугой, на хутора кое-где отступя, и как большак, петлянув, уходил на станцию Ржакса. И на это всё поглядя, да представив за Савалою, там где-то, и свой уже будущий хутор выросшим, — опять к столу, яства пересменились, зовут томлёные кравайцы в сливки кунать аль черепельники заливать чаем.

А потом праздничный обед сном золотили.

Эти ж дни нашёлся досуг и Савостейку к себе приручать — ребёнка рази ж минуешь не потрогав? К отцовским рукам Савоська ещё не идёт, прячется за мать да за бабу, «деда» уж говорит и за усы его охотно тягает, а «тятю» не понимает. Но за три недели ещё ка-ак привыкнет. До того свою кровь чуял в нём Арсений, не просто знал, что — его ребёнок, от своей жены, но коли б и скрыли от него, солгали бы, что дитя чужое, всё равно он кровно бы разыскал, отличил, что это — его капелька. И малыш тоже вот-вот почувует, уж так на отца глаза вылупляет, уж и приникал разок, тихо так приникал.

Да что Савостейка — Проська из зыбки, отца завидев, соску покидает и смотрит за ним, смотрит.

Глаза у Проськи — как небо в вешний день.

Сегодня, Всех Скорбящих, опять были у обедни, но покороче. После сказал батюшка проповедь, согласно ко дню, что скорбящие — все мы, что никого скорби не обходят, и ещё горшие не обойдут, но скорби должны нас не разъединять, а объединять перед Богом, объединять пуце удач, радостей и праздников.

А когда расходились от обедни, то невдали от паперти подошёл к Елисею и Арсению — сам Плужников, видный мужчина со смоляным чубом, в поддёвке дорогого тёмно-синего сукна, в лаковых

сапогах с жёсткими негармошчатыми голенищами, — и пригласил отца и сына к себе на обед через два часа.

Почёт георгиевскому кавалеру! И отцу не мене. Плужников не по достатку, не по возрасту, а по мирскому счёту был как бы первый мужик в волости — и достиг того в немногие годы уже после смуты. Раньше было и не предвидеть, как он в гору пойдёт: он скорее был баламут, сред тех был нескольких мужиков, кого помещик Василь Васильич да дьяконов сын Алёшка Херсонский в кустах подговаривали против царя. Сам-то Василь Васильич во Францию ушёл, а с их волости и двух соседних собрали семёрку мужиков, сослали в Олонецкую губернию, среди их и Плужникова. Да не за то одно, а какую-то он связь имел с е-серами из Тамбова. А ещё тогда ж он был староста товарищества, и собрали деньги, землю покупать, — а перед самым банком будто е-серы сменили им на фальшивые? До того точно никто не доведен, но Плужников два года в ссылке пробыл. А воротился — не узнать: как и был — остался мужичий вожак, а — разумный. Поставил кирпичный дом, хозяйство поднял, две сотни ульев, докупил земли да затеял крестьянское кредитное товарищество, открыл мужикам эту выгоду и простор: не хлопотать, не выискивать покупателя своему товару, самим далеко не ездить, а всё выправит товарищество, и тебе же ссуду даст, хорошо! — такого сроду не было. В годы перед войной своими делами, суждениями и мирскими обсоветами заслужил Плужников, лишь недавно за сорок переступя, звание «батьки», но не как прозвище уличное, то отлипло, а так и чли его Григорием Наумовичем. Как жожака зазнали его и далеко шире волости.

Хотя Плужников и постоянно уваживал старшего Благодарёва то словом, поклоном, то делом каким по кредитному обществу, однако за стол друг ко другу они не хаживали, и понял Елисей Никифорович, что зовёт его Плужников больше ради сына. Но и в этом состояла не обида, а почёт, ибо верно говорят: не гордись отцом, гордись сыном-молодцом: отца себе не выбираешь, не возвращаешь, а сын — от начала до конца твоё племя, твой плод, по нему и осудишься, по нему и охвалишься.

И степенно головою кивнув-поклонясь, Елисей Никифорович принял приглашение за себя и за сына.

Удатная голова у старика и на шее как молодой. Взгляд с годами покойный, а до того пронимчив, что даже Плужников принял его без знакомого своего превосходства над мужиками. Он-то приглашал, да, ради сына, фигурой на селе становился сын, двойной

Георгий, и грамотен, и орёл, Плужников уже жил близостью послевоенного деревенского устройства, где многое мнилось ему обновить и расширить, и такие орлы ещё как пригодятся. Однако ж вот и отец как хорош. Ох, велика ещё наша деревенская сила, не выбита и двухлетней войною. Плужников усвоил за собой обязанность сплачивать всю эту силу.

А рядом стоял, поджидал Плужникова — в суконной тройке с часовой серебряной цепочкой от кармана — свой сельский торговец, уважаемый человек, купец-тысячник Евпатий Бруякин, а по наружности так ничего важного, умылся и вытерся. Но между ними уже начат был важный и даже ошеломительный разговор — и теперь предстояло продолжить. Бруякин открыл Плужникову своё решение, ещё никому не объявленное: свернуть и прекратить всякую торговлю! Плужников встретил резко несогласно. Это в голову не убиралось: чтоб свой купец, и ни за так, на гладком месте, бросил торговлю? Сейчас у Плужникова дома ещё городской гость сидел, надо идти, и они с Бруякиным, чтобы договорить, пошли в беседу, у всех на виду, медленным праздничным шагом по сухому косогору и потом крюком мимо земской больницы.

Торговать начал ещё отец Евпатия — Гаврила, а Евпатий — с 8 лет, под рукой отца, сперва — в разъездах. Уже с 13 лет имел амбарные права, хотя записанные на отца, с 16 — на себя, потом и бакалейно-галантерейные права, — и с тех пор вот уже 30 лет, и вся волость знала, что у Сати (по-уличному) есть — всё. Лавка его была на главной улице Каменки, и подъезд к ней усыпан речной галькой. Снаружи сбоку соштабелёваны брёвна, плахи, столбы, жердинник, тёс, тут же нанятые рабочие пилили вдоль. Перед входом стояли весы до 10 пудов и керосиновая бочка с насосом. Толстые наружные двери и ставни закладывались железными накладками с болтами в пробой, а когда заперты были только остеклённые двери, то пришедший дёргал звонок за верёвку, и кто ни то из семьи спускался со второго этажа их полукаменника обслужить. В большом помещении лавки густо было запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дёгтем, олифой, ящики с колёсной мазью, мелом, известью, гляди не споткнись на полу о ящики с подковами и гвоздями всех размеров, у стен — коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дути. Расписная деревянная посуда. На полках — ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без

поливы, — корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше — эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Перейди на другую сторону — бочки с селёдкой и солёной рыбой, ящики с сушёной и копчёной воблой. На возвышении в три ступеньки (чтоб легче снимать к весам и в телегу) — рогожные кули с солью, мешки с мукой, манкой, сахаром, и сахар в конических головах, обёрнутых синей бумагой и шпагатом, — всех размеров от полной головы и до осьмушки. Там и пилёный сахар в коробочках, но его не берут, он тает легко. В откосных ящиках — пряники, жамки, конфеты, леденцы, ирис, шоколадки в золотистой бумаге монетками в «рубль» и в «полтинник», прессованный изюм, финики, винные ягоды, сушёные сливы. (А летом — арбузы, дыни и виноград.) И другая бакалея. И папиросы — «Шуры-муры», «Дядя Костя» и «Козьма Крючков», и машинки для набивки, табак листовой, сечёная махорка, курительная бумага, писчая бумага, тетради, химические и цветные карандаши, грифельные доски.

Но больше-то всего любил Сатя торговать красным товаром — ситцем, сатином, даже батистом и шёлком: этот товар давал ему дело и сближение с бабами, которых он страсть любил, тем более, чем сам был невиден. С этим товаром он выезжал и на все окружные ярмарки, на двух подводах. Этот товар занимал видные полки в его лавке. И полки же были забиты драпом, плюшем, шевиеотом. И сукном для штанов, пиджаков, костюмов. И шальями шерстяными и пуховыми, оренбургскими и пензенскими. И головными платками, и разноцветными лентами. С верхних полок доставали товар с лесенки, а то даже только ухватом. А на прилавке лежали приотвёрнутые рулоны клеёнок. А под стёклами — пуговицы ста сортов, кружева, булавки, приколки, вязальные спицы, гребни, расчёски. А ещё на подставке строились валенки, чёсанки, бурки, чёрные, серые, белые, даже и с красной и зелёной вышивкой. И резиновые сверкающие галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное, чем Бруякин не торговал, — кожаной обувью. Но продавал заготовки.

И этакую тридцатилетнюю заведенность, этакую махину и богатство, и удобство села — и прикрыть, закрыть, уничтожить? Разом и свою жизнь прикрыть — и обезличить Каменку? Да — зачем же? И куда это всё поденется?

Плужников так и взялся против. Но убеждён, что отговорит Евпатия, прихватит его замысел в начале.

У Евпатия Бруякина лицо было мягкое, даже услужливое, ни в чём по своему не прорезанное, — в чём бы тут и перебору держаться? Чуть-чуть бородашка, чуть-чуть усишки. Вид его был всегда такой, что слушает охотно, готов учиться, готов исполнить. А нет, глаза смекущие, плутовитые, знали себе своё.

— Э-эх, Григорий Наумыч, — вздыхал он, многими ночами отдуманно. — Спроси птицу, откуда знает про непогоду вперёд? Почему загодя прячется? А иначе бы сплошь гибла. Так и я. Вот чую.

— Да из чего чуешь? Почему я не чую? Где это видно? — внушал ему Плужников властно, как привык. — Что, с товарами похужело?

— Пока ещё не видно, — соглашался Евпатий. А в глазах — тоска уколами. — Однако — чую. Как в Пятом году Анохина разграбили, Солововых. И опять на то поворачивает.

— Да никак не на то! — сердился Плужников, с ним поди поспорь. — Дело вертается к мужицкому развороту. После войны-то, гляди, мы и заварим дело!

— Ох, не-е... Ох, не-е, Григорий Наумыч. Не прошибись. Торг любит волю. А не будет её.

— Воли не будет?? Да откуда ты берёшь? не будет? Именно к нашей воле идёт! — посверкивал смоляный Плужников.

— О-о-ох, не прошибись, Григорий Наумыч. Худое время пошло.

— Так тем боле — миру послужить? Свой купец — весь народ укрепляет.

— Торг — дружбы не знает, — разводил Евпатий руки — однако уцепчивые, ловкие руки, с сильными пальцами. — Затворяй ворота, пока улица пуста.

Плужников так и брал взглядом насквозь. И — недоуменно. Кто-то из них двоих шибко промахивался. Плужников не привык, чтобы — он.

— И что же, кто же место подхватит? — уже соображал он действительно. — Кооперация?

Только чуть усмехнулся Бруякин под мягкими белобрысыми усишками:

— Без хозяина товар сирота.

— А ты сам — что делать будешь?

— Да хоть земли прикуплю, запашку увеличу.

Он хозяйство полевое и без того не бросал.

— Ну, погоди, не решай, подумаем! А куда — товар? Да куда же всё? Да как же Каменка будет? Да не может быть!

Разговор прекратили, — уже подошли к дому Плужникова — к восьмиоконному, крытому железом кирпичному пятистенку с выступными кирпичными наличниками, вдоль ручья, поперёк улицы, у самого моста.

Хотел Бруякин к себе возвращаться, но зазвал Плужников зайти потолковать с приезжим городским — это Зяблицкий был, прежде по земству, а уж сколько-то лет по кооперации, а теперь ещё и уполномоченный по закупкам. Он ехал в Каменку по делу, в понедельник с утра, никаких Всех Скорбящих не знал, и что престол ещё не кончился, — и вот вместо дела попал к браге да к стерляжке.

Агаша и тёща хлопотали в избе, и детишки там, а мужчины прошли прямо в горницу.

Приезжий сидел-скупал, тут обрадовался. Был он в городской паре, с дюже белым воротничком, и светленько глядел через очёчки. Щупел, с шейкой тонкой:

— Анатоль Сергеич...

Ну и Бруякин приосаниться умеет:

— Евпатий Гаврилыч.

А Плужников с усмешкой:

— Вот, поговори с ним, он и тебя в кооперацию втянет.

Горница была аршин семь на семь, с тремя окнами к улице, с тремя к ручью, и даже в тёмный день и через цветы на подоконниках и кружевные занавески — светла. Пол — из двенадцативершковых досок, ни горбинки, ни щёлки, покрашен вгладь, а стены — по-городскому штукатурены и белены. И обставлена была горница тоже по-городскому: ни единой скамьи, гардероб дубовый, горка с лучшей посудой, высокое зеркало в резной раме, смотришь хоть в целый рост, кровать — из никелированных трубок (а по-деревенски — свисает кружевной подзор ручной работы, покрывала одно из-под другого, по две подушки в головах и в ногах). И стол — не в красном углу (и самого красного угла нет), а выдвинут на середину, под шитой бордовой скатертью, и вокруг него гнутые стулья. Ещё — диван жёсткий, с изрезною спинкой, граммофон из угла трубу наставил, и подле него — кресло.

Плужников говорил: старое хвали, да со двора гони.

Зяблицкий и видел в таких, как Плужников, — вход в деревню для интеллигенции и для разумных идей. Он уже второй де-

сяток лет служил то земским статистиком и экономистом, то вот кооператором, тем самым «третьим элементом», ненавистным правительству за революционерство, но и презренным для решительных революционеров за то, что избрали кочку «малых дел»: какие-то кредиты, погашенные или просроченные, какие-то товары, проданные или купленные без наживы, вскоре затем однако съеденные или изношенные, — разве могли рассматриваться как достойная альтернатива огромным всечеловеческим встряхам и перерождениям, мгновенному огненнокрылому спасению всего человечества сразу? И многие вожди общественного мнения, и передовые писатели тоже высмеивали увязчивость и безперспективность скромного болотца «малых дел». Правда, были и такие старейшие революционеры, как Чайковский, кто верно учил, что интеллигенту нет другого доверчивого входа в деревню, как через мелкую кооперацию. И с упорством и мужеством устаивали земские интеллигенты между гонениями от правительства и презрением от передовой молодёжи, терпеливо гнулись и работали — чтобы в последние предвоенные годы со скромным торжеством дожждаться уверенного роста и даже расцвета терпеливой своей деятельности, дожждаться, чтоб увлечь сельчан. И часом награды для Яблицкого было всегда — свои заветные мнения излагать вот таким развитым деревенским собеседникам, как эти. Плужников не остановился на кредитном товариществе, а зазывал в село зимами агрономических лекторов, а искал устроить прокатную станцию сельскохозяйственных машин и постоянный агрономический пункт. Вот в союзе с такими-то людьми, верил Яблицкий, и можно преобразовать деревню, а значит и всю Россию.

— Но должен я возразить вам, Григорий Наумович, господа, что такие практические деятели, как вы, понимают кооперацию уже её истинного значения. Кооперация — это не только торговый механизм, не только средство произвести экономию, получить выгоду. Кооперация — это широкое движение, определяемое идеалами человека. Она прежде всего — сила воспитательная. Выборный кооператор — это как бы первый маленький народный министр. Народ дал ему указания — и народ же спросит с него отчёта. Кооперация приучает массы отвоёвывать свои правовые интересы в условиях неправового государства. Это — самостоятельный путь к свободе.

И — с надеждой оборачивал гладковолосую голову к ширококостной плужниковской, с чёрным бородыным окладом. А тот:



— Всегда я за кооперацию, кто ж, как не я. Но всю мужицкую Россию кооперацией не вытянуть, не та лошадка.

Ах, огорчался Зяблицкий, когда и с этой стороны руку его отталкивали. И горячей:

— Кооперация должна выдвинуть собственную крестьянскую интеллигенцию. Она должна перерабатывать привычки и личности, продолжать усилия народной школы. Это мысль нашего основоположника Роберта Оуэна. Всякий общественный строй имеет выбор укрепиться и держаться или на лучших людях общества, или на отребьи. Так вот кооперация должна помочь первому исходу...

Станный взгляд был у этого Бруякина — как будто не перекорный, а и — не смотрящий. Не раз такой взгляд встречал Зяблицкий у мужиков и отчаивался: не проглядишь их и не проймёшь. А Плужников поднахмурился:

— Так-то оно так. А всё ж по первому нужна нам кооперация — от города застою иметь. А городские через неё лезут нас воспитывать. А мы — сами по себе. Мы — сами воспитаемся, как нам надо.

— Так — именно сами! сами! — пальцы тонкие пять на пять сложив и голосом уговорным Зяблицкий. — И я же это... А пока — как же вы можете отказываться от городской помощи?

— *Помощи?* — волковато поглядел Плужников. И Бруякину: — Да нешто сроду когда мы видали от города помощь? А не обдираловку одну? Город — не друг нам. Город — в р а г!

И Бруякин со своим неперекорным, несморящим взглядом опять же оказывался согласен.

Зяблицкий так испугался, даже всплеснулся, откинулся:

— Григорий Наумович, да умоляю вас! Как вы можете так противопоставлять? Да вы почитайте газеты, посмотрите думские прения, что говорят на съездах Земгора...

И тяжёл как будто Плужников, а взбросчив. Без рук, одними ногами кресло из-под себя отодвинул, встал:

— Не ждёт Мартын  
Чужих полтин,  
Стоит Мартын  
За свой алтын!

Приходит крестьянству своё слово сказать. Читал я ваши думские прения! Нам ваши споры, как надо министров назначать, — невняты. Ваша Дума еле слышна самым грамотным и только раз-

дражает. Нам бы вот — земство волостное, да! Газеты ваши, Земгор — читаю! Пишут: *обуздать* надо деревню, забогатела деревня, — вот что пишут, сукины сыны! Сунуть деревне твёрдые цены понижее!

Его тёмно-карие глаза горели под чубом, плечи развернулись, а кулак — как молот.

И — пошёл по просторной горнице, сапогами лаковыми скрипя, брюки-галифе, витым шнуром туго опоясан по жаркой шёлковой рубаше с вышивкой. На поворотах ладен. От окна:

— Забогатела? Да, у всех — бумажки, в кредитное товарищество вклады несут охотно, а лежат эти деньги — что на них потом подымешь? Разве хозяйство на них потом восставишь? Забогатела? Полтора целковых за рожь? Два тридцать за пшеницу? А сапоги, — хлоп себя по голенищу, — до войны семь рублей стоили, а сейчас — четверть сотни? Стало быть, семнадцать пудов ржи?

Замкнутый Бруякин, согнувшись и сведя руки на коленях, сидел смирно.

А Плужников — от печи, от кафельной глади, с росту:

— Потому что город — совесть потерял! Или не имел её никогда. Кто первый начал? Город! Сахара кто не дал? Город! Тогда мы яйца придержали. Да хлеб в России — стал дешевле, он не в десять раз подорожал, как всё городское. Нас обдирают — и на нас же зубами лязгают?

Зяблицкий ворочался на стуле как на еже, вослед переходам Плужникова, упрашивая:

— Но Григорий Наумыч! Но нельзя же такие крайние выводы!.. Нельзя же говорить, что город деревне — враг!

Воротился Плужников к столу и кулаком легонечко пристукнул:

— Именно — враг! — И ваза призвенела. — Да вот вы, милый дружок, хороший человек, а приехали к нам тоже ведь насчёт хлебushка? — *запасы учесть*? Конечно, для zemства, по-дружески, не для отобрания. А там губернатор приказ расклеит — отбирать, так вы и отбирать прикатите?

Зяблицкий взмолился:

— Да что вы, Григорий Наумыч, да что вы! Вы слишком ожесточились. Кто ж это осмелится — силою хлеб из амбаров отбирать?!

И правда, в голову даже невступно: кровнорожденный — и силой отымать? Да неужто мужики дадут?!

И этот хилой, нежный, шейка петушина — ему ли хлеб у деревни отымать? Смешно.

И Плужников — ходом, уже от двери:

— А я скажу вам: армию мы, конечно, кормить согласны. А — город? да спекулянтов, да банки? — нет! не согласны! В русских городах ныне кого только не собралось — все западные губернии тут толкнутся, ничего не робят — и всех корми, тамбовский мужик? Врёте! Вот поедете — передайте: хлеба мы так просто из рук не выпустим! Поимейте: мужик, что рогатина, как упрётся — так и стоит. Армии мы хлеб конечно дадим, а Петербургу — не дадим!!

Тут вошла Агаша — во всём праздничном, как в церкви была, лишь передник накинув, тоже цветистый чистенький, и в тех же литых галошах новеньких поверх туфель. Несла она полотняную скатерть, на стол накрывать, но и с известием:

— Евпатий Гаврилыч, сынок за тобой пришёл, кличет, гости к вам приехали.

Ну, значит, идти. Да он тут всё и молчал, как и нет его. А — за всем услеживал.

А у бабы своё соображение:

— Коля, Коля, а поди-ка сюда! — позвала паренька из сеней.

Вошёл, стеснясь, 14-летний Коля, тёмно-русая голова вся в дыбистых завитках, для своего возраста крупен.

— Во кавалер хорош, и непричёсанный! — объявила Агаша. — А знаешь ты, Евпатий Гаврилыч, что он у тебя уже со взрослыми бабами спознался?

И Коля сразу залился краской, выдавая правду.

— Гляди, — одобрила Агаша, — всё же к стыду чулый.

А Евпатий посмотрел смышлёным быстрым взглядом на него, на неё, сказал только:

— Да ну?

Как и не доверяя. Но и не к спору.

Коля пылал, не отходил.

— А ты не доведомлен? — как обрадовалась Агаша, для баб слаще нет игры. — А пусть он тебе сам расскажет. Видели люди, как ходит.

— Ну, это исправить можно, — усмехнулся Бруякин. — К лавке лицом, по заду дубцом, вот тебе и под венцом.

Пошли.

Ну, бабы язвы! — напугался, рассердился Коля. И всё доглядят, подсматрывают, и на всё языки отточены. Уж так таились — как про-

сочилось? Аж захолонул он, ждал, как отец сейчас обрушится, и уж не знал — отвориться или признаваться. Да хоть бы матке не говорил. Матка у Коли неродная, но лучше родной. Стыдно.

Но вышли — отец ни слова. Очень Коля удивился. Шли рядом, нога к ноге, — и ни слова. Или дома всё грянет? и правда дубцом? Ещё хуже. Теперь-то, после Маруси-солдатки, Коля Сатич переходил как бы во взрослые мужчины. Но против отца и против дубца — всё ещё был безсилен.

А отец — молчал, вот диво. Пронозистей того, что Агаша открыла, — и быть не может. А отец — не распахивал гнева.

У отца — своя думка была. Он ещё переверял своё решение — кончать торговлю. Это был — крушой поворот всей жизни, как бы измена и отцу, и себе, перебив родового дела. И ничто не показывало явно, что надо кончать: нестача товаров, того-другого? — наладится, как война кончится. Но какое-то внутреннее сжатие предупреждало Брюякина о неведомой тревоге, и даже так маячило, что ещё успеет ли он свернуться? Свернуться тоже нужен год, и два. А какие-то лучшие товары, не знающие порчи, оставить в запас на разживу, до доброго времени. Припрятать поглубже. И разговор с Плужниковым и даже с этим приезжим только убеждал его, неведомым образом, что жизнь — вся будет меняться, и прежняя вольная торговля кончилась.

А про мальчишку — да, это новость была ему, не знал. В четырнадцать лет? — рано. Но впрочем, узнавал в младшем сыне свою кровь (старший не таков, а отец, Гаврила, тоже был пристрастен, чинил бабам прялки, оттачивал веретёна — редко за деньги, а больше по любви). Имя Евпатий — и значило «чувствительный». Он и сам близ этого возраста стал шарить по бабам. И с той поры по последнюю — не переставал их любить, и при первой жене, и при второй, любил дарить им тайком красного товару, и не зря, любил свадьбы, ярмарочные балы, подпаивать женщин, сам спиртного ни капли не пил, и шутить с ними, пьяненькими. А Колька в четырнадцать? Здорово. Ну пусть, скорей мужиком станет, скорей и помощником, хотя уже и с десяти он боронил, жал, косил.

А Колька шёл, не чуя земли под подошвами — но и смелая: молчал отец!

Марусе-смуглянке двадцать два года, сама она с тамбовского Порохового, а вышла замуж в Каменку. От мужа её год были вести с войны, потом не стало. Знать, томилась, как все солдатки.

И — сама наметила мальчика, и через подругу и подругиного парня — сама позвала. Могла ведь и старшего парня выбрать — а захотела его. И так впервые Коля Сатич опознал, что чем-то он особенный. Знать-то всё он знал с семи лет, с девочками играли в женитьбы, но только от Маруси — впервые отведал! Избёнка её была на краю села, к Савале, — и туда он пробирался к ней скрытно, выколачиваясь сердцем, — и полностью отдавался в её страстную власть. Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без усталости теребила, и всячески наслаждалась. Глаза её горели угольками, губы — кирпичного цвета, а в щеках — багровый румянец. Отесала мальчика и научила адским шалостям.

И стал Коля Сатич чувствовать себя взрослым. И хотя никто в селе не знал, вот первый раз прорвалось от Агаши, — а заметил он, что как будто и девки в нём что-то почували, — и он тоже теперь их как насквозь видел, и иначе себя с ними вёл, ласково. Замутилась его голова, и захотелось ему лихой, заблудной дороги. Как сказала ему Маруся, смеясь рассыпчато: «Ах, Коленька, это первое счастье, коли в глазах стыда нет. У тебя — тоже». Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки.

И первое, чего он теперь добивался, — прильнуть к озорной компании парней, старше его на два и на четыре года, была такая, — во главе их Мишка Руль, первый дикий озорник, драчун и герой. Отец Руля пытался ещё драть его, но Мишка отбил: «Если ещё наскочишь — зарежу». Чтобы войти в эту компанию, Коля уже воровал из отцовской лавки — папиросы ребятам, а другой товар менял на самогон и ставил парням бутылки. И с завистью и подбострастием слушал об их озорствах, уже учинённых или готовимых. Руль шутил надо всеми, кто ему замечал, или грозил укоротить. А теперь они издумывали, как бы разыграть, развередить попа. Разинув рот, слушали парни рассказы Руля о его похождениях:

— А не помните, как у Мокея Лихванцева племенной жеребец срывался? А никто не знает, ведь это я. А зачем? А он много уставлять хотел по селу порядка, и решил я ему отомстить на его Липушке, а заодно и с Липушкой погреться.

Парни только ахали дерзости замысла: да как же всё умудрить?

— Подметил я, как они с Липой в баню пошли, уже смеркалось, покрался к нему во двор и жеребца на волю выпустил. А потом через дом стучу и его племяншке, Лушке: беги к дяде в баню, его жеребец в луга сорвался! А сам из-за кустов вблизи смотрю: оделся Мокей, побег жеребца искать, ну это на два часа верных. Не торопясь вхожу в ихний предбанник, раздеваюсь, — Липушка за дверью плещется, думает, муж вернулся. Вхожу: «Это я, Руль, не бойся». Плешка горит, увидела — ахнула, и на полók от меня карабкается: «Убирайся! я тебя кипятком оболью!» Я ей грожу: «Если плеснёшь — я твою голову сейчас в котёл суну, там и останешься!» — «Убирайся! Мокею скажу!» — «Когда уйду — говори. А пока — слезай сюда, Липушка, на пол». — «Я тебя расцарапаю!» — «Да я тебя тогда раздеру!» И ташу её с полки, а мягкая, братцы! вот бабы мягкие бывают. Отбивается. «Если будешь барахтаться — я сам Мокею скажу, что это ты подговорила меня жеребца выпустить!» — «Ай, — стонет, — беда мне, пропала я, что ты наделал, изверг? Ну, грех — на тебе». — «На мне, говорю, на мне». И — распустилась, подалась.

Парни только завывали: ну, молодец! Ну, и нам бы так!

Колька изнывал от зависти, от лихости, от ревности.

А Руль поучал:

— Вот так, ребята, когда женитесь — своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится. Нестойкие они. И ведь — не сказала Мокею, нет.

## 46

В шитой рубахе и пузырчатых брюках, как офицерские, встретил Плужников Благодарёвых на переднем крыльце, пожал руку ещё раз отцу, ещё раз сыну, повёл в долгие сени. Тут они раздевались перед дверью в горницу, и сюда ж из избяной двери вышла им поклониться — Агафья бы Анастасьевна, коли б не попросту Агаша, не многим-то старше Катёны, на одни поседки с ней ходили. За ней и детишки из избы выглядели. Но хозяин приглашал гостей в горницу.

Там знакомили с приезжим гостем, городским, ручку мягкую бережно подавал:

— Анатоль Сергеич...

Благодарёвы пока на диван, Плужников к им кресло развернул, сел нога за ногу, и городской сел. А Агаша другою дверью, прямо из избы, носила на стол: забрякала блескавыми ложками, высыпала вилок с костяными чёрно-белыми ручками, городских ножей с посверком, расставила поставки тяжёлые глазированные, стакашки да рюмки, несла кувшины, графины и на вытянутом блюде залом, и кажись заливную стерлядь, и другое холодное, и помидорное, и грибы всех видов, сыр самоделковый, — как на дюжину человек. И уж кажется — едено, едено эти дни, некуда больше и толкать, а глаз между разговором всё замечает сам, и легчает беседа, раскладывает к хозяину.

Агаша — в праздничном голубом сарафане-суконнике с белыми тонкими рубашечными рукавами врасфуфыр. Туга, крепка, и в руках не перетончена. Ходит с подносами полными — спины не скривит, и не склонит головы с толстыми соломенными косами, закрученными вкрут лба, быстро ходит — а не спешит-семенит, быстро ходит — а в галошиках неслышно.

Плужников — приветливо и в открытую: де, таких молодцов, как Арсений, побольше бы нам в Каменку, война не безконечная, а вот окончится — и все головы, и все руки, и весь тот нагляд, что в дальних странах добывается, — нам пригодится тут. Что, мол, после войны не прежняя жизнь и не по-старому пойдёт, а как после смертной болезни сдюжавший человек весь наскрозь новеет, и многое ему по-новому видится и по-новому он делает, — так и нам достанется.

Зорко смотрел на него Благодарёв-старший, такая у него поглядка зоркая, из-под пшеничных бровей, сроду: что на Байкале видел далёкий парус, что в поле за сто саженьей мышь, а в комнате от избытка зрения прищуривался, чтоб лишнего не видеть. Или проглядывая, то ли человек думает, что говорит.

То. Основательно обмыслил Плужников жизнь, не только какую работу с утра зачинать. Думал он — за мир.

А — война как? — порасспросить хотел он Арсения. Деловито: с оружием как? со снарядами? правда ль, что теперь хватает всего? А — людей? Роты, батареи — полны ли?

Да переполнёхоньки. В пехотных окопах дюже и дюже толкаются, одной миной пятерых накрывает. Но, правда, нашего русского люда сильно повыбило, гонят на замен инородцев, иноверцев.

А что солдаты думают? О чём меж собой говорят?

О чём же говорят? Наши беседы и пересказывать ни к ляду: кто где давеча был при обстреле, при газах, как кого цапануло; да про бабу свою — не сбалует ли; да про хозяйство — как его там тянут без работников; да как лошадей немцы куют не по-нашенски; да как белорусы...

Правильно. Ну, а — обо *всей* войне? о мире? Есть ли мочь довоевать до концу?

Да вот, немцы в штабах одолеют. Каб измены у нас не было...

А — есть ли она?

Да так, природно рассудить, так может и нету. А больно уж обидно, ежели есть. Вот и на Гришку клепают.

На Гришку оба Благодарёва сердиты: ведь из мужиков, как же он-то? Вот так на нашего брата надейся. Пусты мужика наверх — захленётся тут же, своих забудет, и хуже всякого барина станет. Что ж, до такой выси добраться, саму, может, и царицу покрыл, — и за мужика не заступиться? Тут тебе твёрдые цены суют, тут гвоздя не достанешь, не то что косы, — а он там пирует-разливается?

— Да это всё бабий вздор, — отмахивался Плужников. Он до корня искал. Гришка-то Гришкой, но не согласен Григорий Наумович, что на мужика надежи нет. *Только* на мужика! *именно* на него! Мужиков — только мужики сами и выручат, сами себя! — и по-ра к тому просыпаться.

В том месяце, в ноябре, какой-то, вишь, *съезд сельских хозяев* будет в Петербурге, так может хоть там какой прояснится толк.

А Григорий Наумыча туда не зовут?

— Да вот не знаю, жду. Из Тамбова билет сулили, пришлют ли.

Ну, и к столу! Каждому своя сторона, Арсений — супротив Плужникова, отец — супротив того гостёчка. Манер городской: перед каждым тарелка и большая, и малая, а ложки в яства на блюдах встроены, значит смекай, где берег, где край, не черпай сразу к роту, а перегрузку делай на свою тарелку (то ж на то, лишь размазывать да студить), из отложенного ешь, а на новый раз приглашения жди — мол, берите, пожалуйста, что ж вы смотрите? Этот манер господский Арсений видал у офицеров, знал, а вот батька бы маху не дал. А ничего, батька как по льду пошёл: лишнего не подвинется, осторожною, а глазами наперёд глядь, глядь. Однако забота как верёвками рот и голову вяжет.

А хозяин в руки — большой кувшин с сурёнкою, и полил, полил по поставкам — густую, коричневую, маслянистую брагу, и пошла брага в пену, только подхватывай.



— Ну, для почину выпить по чину. Агаша, ступай сюда! За нашего воина георгиевского! Чтобы славно довоевывал да целый возвращался — к деткам, к жене, к родителям и к нам ко всем. Много повыбило — а молодцы нам нужны!

Поставки глухо устукиваются, по-гончарному. Не хлебная брага, медовая. Не пожалела Агаша трудов, за много дней готовила. Обопьёшься. И крепость ни-ча-во.

Агаша так и не присела — стоя выпила с сидящими мужиками и — поклонилась Арсению. Как старшему... А ведь равно гуляли когда-то. Во как война поворачивает.

Пошла-а брага по крови. И сил избыток, и почёта избыток, а куда эти руки, куда головы — сам Арсений ещё не понимает. Ну, куда-то приснадобятся.

А городской гость, к столу-то сел, не перекрестясь, теперь на Благодарёвых смотрел через очки светленько и, перемежая с пустым ротом для речи, скусно так спрашивал:

— А как, господа, вы относитесь к кооперации?

Арсений помалкивал. Наворотили, наворотили на его молодой памяти — кооперация, мобилизация, тилигенция, революция, реквизиция, — только успевай продираться, как в еловом подсаде.

А отец — лучше тут натёртый, сразу и взялся:

— Да как? Ни бороны, ни плуга не починить, даже подковать нечем. Ось подмазать — нечем. А уж лобогрейку или веялку ни за какую цену не достать.

Приезжий выглядит как ребёнок, ещё не битый, не тасканный, одного добра от жизни ждёт.

А Агаша сновала тихо — в избу к печё и назад, ещё стол подснарядить, инде на ходу приговорит кушать, а так чтобы мужскому разговору не мешать. А тут про цены услышала — и сорвалась, на городского, как он единый виноват:

— А сахар — полтора целковых за фунт, такое видано? Аршин ситца стоил 12 копеек, а щас 90! То и обидно, что городские вертят призывом цены, гдей-то там товары прячут.

Горяча Агашка. То мужней брови не пропустит движенья, то схватилась, её только выпусти, так и режет.

Посмеивается Плужников, как будто нравно ему. Чёрную бороду положил на крепкий свод рук и загудел, объясняя Арсению:

— Кооперация — это товарищество. И — кредитное, как у нас. И ссудо-сберегательное.

— Так-к... артель стало быть? — уяснял Арсений. Много сразу зацепить — быстро хорошо не бывает.

Городской — зубки белые кажет, и ещё сладчей и довольней, как бы и строгий взор Благодарёва-отца умягчить, да и сына вниманием не обходя:

— Артель, да, только — уездная, губернская, даже всероссийская.

Григорий Наумович — попроще:

— Будь бы у нас сейчас сильная, единая кооперация — знали бы мы, где закупить дёшево, хоть и в Нижнем, хоть и в Москве. И спекулянтам делать бы нечего. А каким товаром обменялись бы и артель с артелью, наша, Понзари, Пановы Кусты. Артель может и военному ведомству прямо от себя поставлять — и уполномоченному тоже-ть бы делать нечего. Артель может и запасы по своей местности учесть, чего уполномоченные никогда не добьются.

На уполномоченных отозвался Елисей Никифорович едва не стоном:

— В эту зиму скот забирали — так в самый тёл. И по глыбко-му снегу отгоняли. И телился скот по дорогам. Зарезали. А соли не достало — и в оттепель туши погибли.

И с кем бы то говорить? противу кого спорить? С Плужниковым они выказывались не врозь, а зүёк этот несмыслённый — во-все и не зарьялый, кусочками малыми всё режа да режа, ест, устё-бывает, — по городам-то, грит, не разгуляешься. С него очки, сорочку крахмальную снять, обстричь по-нашему, по-деревенски, так и не мужик станет, а — парень хилой. И — не купец он городской, своего товару фабричного не готовляет, он кубыть с задумшевностью сюда пришёл. Однако не за хлебцем ли заглёдывает?

Спорить нёпротив кого, а занялся Елисей Никифорович на разговор всем сердцем. Из груди так и выносило, и Елисей смотрел грозно, остро, глазами слишком дальними для горницы, смотрел на городского вольными дальними глазами, поймёт ли:

— А начаё ж мы хлеб должны задаром отдавать? Болтуны городские ошатели, без ума уставили цены эти твёрдые, а мы — хлебушек отдай? Что деревня городу отдаёт — на то такса, а обратной таксы почему нет? Ежли скажете — война, и давайте нуметь по-братски, — а и что ж? Мы, мужики, не противляемся по-братски: берите хлеб хоть и весь без денег, но и нам же товары без денег дайте! Как покупали мы раньше: пуд железа за два пуда хлеба, ко-

су за пуд хлеба, — так и дайте! Твёрдые, не твёрдые, лишь бы нам спинushку гнуть не впустую! Крестьяне своё тягло потянут, пока ноги переступают. А этак ведь — печёнки отбиваются!

Отвык Арсений ото всяких этих цен, что почём — у него соображения не стало, из памяти вынесло: в армии всё достаётся бесплатно, и на побывке всё бесплатно. Что тут говорилось ими тремя, даже отцом родным, — ото всего он отбился. И туло его, и голова — там, на позиции, ещё сюда не вернулись, тут он — гость перекатный. Сидел да помалкивал, ел-наворачивал да молчал. А у мужиков-то надсажено.

А Агаша тихо сновала по гладкому, крепко сбитому полу, не пристукнув, не пришлёпнув, ещё поднесла пирог горячий с капустой и с яйцами, подкладывала, уносила опорожненное, почти слова от неё больше не слышали.

А Плужников подливал браги, кому наливки, настойки, вот они стоят. Глазами меть на одного, меть на другого: так! так! А Елисей понёс как в гору рысак, грудь поднапрягши:

— Какие это деньга — бумажки в руках? Это — не богатства! Наши богатства — когда хлеб в амбаре, скот в хлеву и поля засеяны. А то вот весна накатит — обсеемся ли? Коли, не дай Бог, до весны в армию ещё призывать мужиков станут — так работать кому?

Городской до того разгорячился, есть-пить покинул, в пирожной корке вертит вилокoю как сверлом, возражать желает.

А Агаша, как ходила без звуку, так теперь, не звукнув, стул приставила на тот бок, где сидит городской, места много он не занимает, — через угол от мужа, по правую руку его. И села достойно. Стакашек пригубила. И слушала.

И Плужников как раньше бровью не нахмурился ни на одно её движение, ни знаком её не осек, так и теперь присесту её не подивился: не проронила своего дела смышлёная баба — сиди и в мужской беседе. Своя жена — своя краса.

Поглядывал Арсений — и себе учился.

Когда Агашке было не боле восемнадцати, а уж тогда была фигурна и справна, — выцелил, выхватил её Плужников, незадолго возвращенный из Олонецкой губернии, прежде того овдовевший. Так что женился он лишь малость поране Сеньки, а превышал Агашу годков боле чем на двадцать, и старшая дочка Плужникова от первой жены вышла замуж прежде Агаши. А сидели супруги вот рядом, и по всей одёжке, по всей осанке — не дочка ему, а полная

жена, хоть на подпору, хоть и на замену. Плужников был мужик до того ядрёный и подхватистый — отчего ему с молодой женой не жить? — не сробеет. А каково на дому — таково самому.

Городской, может сам и неповинный, свой кусок пирога вовсе развертел, развалил, и вилку покинул:

— Нет, скажите вы мне, Григорий Наумыч, как же вы это представляете, что Петербургу хлеба не дадите? И почему именно Петербургу?

Агаша ему поросятинки, хренок подвинула.

Плужников подлил ему. И полегчил:

— Да это, конечно, только говорится — хлеба не дадим. Пока крестьянин всё на войну отдаёт, Анатолий Сергеевич, сами знаете: Тамбовская губерния всегда вывозила с десятины по пятнадцать пудов, а сейчас — по двадцать пять, и кооперативы в этом помогли немало. А скота по нашему уезду взяли тридцать тысяч голов. Из четырёх голов брали пару, не разбирали, племенной или молочный. Это у нас не различали, а у помещиков племенной не трогают вовсе.

У городского — уже не такой горевой взгляд:

— Но это ж и правильно: лучшие экземпляры, лучшие породы...

— Правильно как будто. А вот пишут газеты: в нашем уезде граф Орлов-Давыдов, ещё и член вашей Государственной Думы...

— Нашей, Григорий Наумыч, — жалобно гость спрашивает, — нашей с вами вместе...

— ...схоронил 240 голов скота, теперь открыли — и привлекли управляющего. Будто — граф не знал. Нет, уж если «всё для войны», так и давайте со всех, а что ж — с мужика да с мужика? Привыкли к нашему терпению.

Город! В городе, вот ездил Плужников, несодавна воротился, — молодых ещё сколько, толпа праздная! Заведующих, особоуполномоченных — внаутруску, и все от воинской повинности польгочены. Разве крестьяне слепые, не видят? И все эти рты безнадобные кормят. По базарам военнопленные тягаются — вереницами, вот бы в поле поработали славно! Так помещикам ещё присылают помощь, а нам разве когда? — редким бабам одиноким, у кого пятеро детей. Да в трактире, вон, бегаёт один. И в городе за работу деньги шальные стали платить, чернорабочий — пятёрку в день выколачивает, так стали и наши девки в город ухлёстывать. Всякий легче желает...

И опять Елисей:

— Скот, лошадей сдаём, упряжь, повозки — и всё ниже цены. И на нас подводную повинность кладут опять. Нет, неравно разложено. Деревню облупают, а в город тащат.

И Плужников опять:

— Дума ваша не кололась бы на левых да на правых, не искали б, как друг друга шпынять да переголосовать, а каждый депутат — будь себе от своей одной местности, и как твоя местность велит, какую нужду ты своими глазами видал — вот ту и говори. А на партии разделяться, да всё для своей партии тянуть — это только Россию разделять, людей морочить.

Во как? А сам-то раньше не в е-серах был? В одном перье всю жизнь не переходишь. Елисей наслушался, да и от себя:

— Дума должна царю помогать. А царь жизнь устраивает.

И ещё Плужников:

— От такой Думы мы, мужики, правды не дождёмся. Да и вообще от Города правды не дождёмся.

Загоревал-загоревал, просто поник Зяблицкий. Загоревал, будто жена у него сбежала. Голову свесил, рукою подпёр, как бы очки не свалились. А может схмелел: брага-то наша крепкая, а в городе сей день не разопьёшься.

— А где же — ваша правда? — тонко так.

Плужников, костью широкий, а и мяса немало, и пил, как не пил ни глотка, трезво и твёрдо глядит, глазища сочные, борода смоляная — однако и не цыган, много таких танбовских.

— Вот именно: где ж наша мужицкая правда?? Немало я об том думал. Волость наша? — она не наша. Волостной старшина — не вожак наш, а только знает приказы исполнять — урядника, станового, исправника. С него да с волостного правления начальство лишь требует да требует. Об том и писарские перья скрипят, за что им платят, кстати, грош. И куда ж наши волостные и земские сборы ухают? И на волостные сходы стоняют нас не для нашего какого кровного дела, а — для ихнего, нам подчас и неухватного. Не допущены мы ни до какого распоряжения. Стоим да переминаемся, не так ли, Елисей Никифoryч?

— Так, так, — остро глядел, одобрял Благодарёв-старший.

А может Плужников к этому съезду сельских хозяев думы свои просвежал:

— Земство? Так разве ж это наше земство, если наши выборные — только кандидаты, на милостивый отбор земского началь-

ника. Да на ту же команду во время войны и земство потянуло. Что они нам из уезда шлют? — только наряды: на скот, на лошадей, на подводы. И вы вот, Анатолий Сергеевич, вам не в укор, вы хороший человек и к нам сочувственны, я знаю — сроду вы хлебом не занимались, а разогнали вас всех на хлеб, запасы учитывать, так?..

У городского гостя олёчки вот спадут, смотреть не может.

— А земства волостного, чтоб не господа, а сами мы собирались да решали, как вот в кредитном обществе, как в кооперации, — такого нам не позволяют. А позволяют — так вывернут наврощь волостного правления, не вольней.

— Всю жисть воли нет! — только махнул рукой Елисей.

Как вывалил из груди за всю-то, всю-то жизнь — вот это малое слово.

Переждал Плужников, глазами обводя. Агаша вмиг подхватила: может, надо что? упустила?

Нет. Легонько ласково руку на руку ей положил на миг.

Так и взялась Агаша румянцем, открытой мужней лаской горда. И головой подвозвысилась, а и хочет показать, что ни в чём не бывало.

— Община? — отряхнулся Плужников бычьей головой. — Так и полста лет её ладили, поворачивали, нет. Не та телега, чтоб от ноне да ещё на тысячу вёрст. Спасибо, Столыпин вызволил. Так — враз его убили. Кто? За что? Поди найди, там их целая сплотка, видать, была. Нашу жизнь он поднял, а помещиков лишил дешёвой силы — вот и убили. А царя Освободителя кто убил? Крестьяне никак не могли. А помещики: опять же даровой силы лишил, да менять своих рабов на гончих. Вот так, и город нам враг, и помещик нам враг.

И Елисей — со строгой вескостью:

— Благую царёву волю — извращают. Не исполняют.

Не гоголем Плужников, подпёр тяжкую голову обеими руками:

— Падает духом деревня. Мужиков наших на фронте бьют да бьют. Забивают нас мобилизации, реквизиции, твёрдые цены. Город там — свои съезды устраивает, совещания, комитеты, партии, — а у деревни ничего такого нет. И кто ж о нас подумает? Анатолий Сергеевич вот, с друзьями? Не обижайтесь, Анатолий Сергеевич, только сил у вас — гораздо немного, чтобы нас потянуть.

— Так ведь вот, так ведь вот, Григорий Наумович, господа, — Зяблицкий кживу ворачивался, и в улыбке поправился, и на каждого, и на каждого смотрел, как в гости приглашал, и на Арсения,

даже и на Агашу: — Так ведь мы уже с вами достигли согласия, как много поможет вашей жизни кооперация.

— Да эт не то, — отвёл Плужников. — От кооперации мы не отказываемся, зачем же? Ещё будем после войны артелью дорогие машины покупать, не избежать, серпом да цепом дальше не обойдётся. После войны рабочие руки уже никогда не будут так свободны, как прежде.

Вот эт Елисею Благодарёву не так в голову ложится: почему уж после войны круто всё переменится? Помним войны — не менялось.

— От Турецкой, конечно, не менялось. А уж от Японской — ой переменялось, разве деревню за десять лет узнать? Сколько земли докупили? Сколько настроились? Оделись как?

Оно верно.

— А после этой войны — ещё круче повернется. Та к о й войны Россия сколько стояла — не вела. Я ж говорю: как от смертной болезни встанет государство другим. И нам — смышлять надо, и к тому готовиться.

И — на Арсения устависто поглядел.

Да в том — Арсений себя лишним не чувствовал. Ноги от хмеля теплели, ослабели, а при руках — силушка вся. На чтой-то и я тут пригожусь, надоть учиться слушать да понимать.

Плужников выпрямился в стуле, дёрнул рубаху ко спине под жгутовым поясом. Был он на столько же моложе Благодарёва-отца, на сколько старше сына, как раз посередине, что говорится — средней мужик: и ума от жизни уже набрался, и сил ещё не теривал.

— А что такое есть наше крестьянское сословие? Как его содержат? Чуть кто возвысится через образование или служебную выслугу — переводится в личного почётного гражданина, но и — потерял право на надел, и из крестьянства ушёл. Каждого, кто чего добьётся, — мы теряем. А кто лишён прав состояния и по отбытии уголовного наказания — того включают к нам. Чтобы получалось из нас — быдло. И мы несём повинности, на других не разложенные. И подчиняемся особым отдельным властям. Через земских начальников — опять же дворянам. — И подбоченился, крепко, да взятист, да умён. — В о л ю ту, говорят, нам пятьдесят лет назад дали, — а что ж мы её не берём??

Вдруг Елисей пробаснул, прокашлянулся, как и сын никогда не слышал:

— Брал. Не далась.

Когда ж эт ты, батя, я не знаю?..

Вживе на него Плужников метнул:

— И надо — б р а т ь. Как денег никому насильно в руки не сучат — так и воли. Была бы честь предложена. Подмоги нам не подступит. Ни от Петербурга, ни от Москвы. Ни от города, ни от помещика. Ни от эсеров. Потому что эсеры, как к мужику ни подлаживайся, а мысли у них не мужицкие, только в тон поют. А мы? А мы всё дремлем, ждём распоряжений от начальства. А они нам — бумаги да бумаги шлют. И никто не крикнет: Э-э-эй, Россия! — взял Плужников голосину, в горнице не поместилось, а стены бы не держи, так и до Князева леса, — берись са-ма-а-а!!

У Агаши губы раскрылись, зубы жемчужные, загляделась на мужа.

Зяблицкий сперва откинулся даже, испугаешься этакого рёву. Но Плужников — ничего дале. И Зяблицкий набрался перёку:

— Оч-чень, оч-чень вы меня огорчили сегодня, Григорий Наумович. Дума вам не нравится. Земгор не нравится. И партии. И кооперация слаба. Критиковать всегда легко. А что вы можете предложить положительного?

Плужников голосом больше не баловал. Руки в боки, пальцы за поясом, сказал:

— Ясно одно: чиновники, начальники, город, рабочие — пусть себе сами, как хотят. Равноправия мы ихнего не ищем, не спрашиваем, и они нас тоже пускай покинут...

Эх, бабья доля! — и вникнуть охота, и на столе замерло: отъедено, отпито, дальше не идёт, надо на чай менять. Поднялась, смекнула, что схватить, унесла.

— ...А вот по округе нашей кто живёт — те и возьмём в руки свои. И будем сами по себе. Волость? — сама управится. Уезд? — без города уездного, сам! И даже по губернии, без городов, — отчего б не иметь крестьянскую власть? Жить по себе, а город как хочет, мы не мешаемся. Почему ж не сами собой мы должны управлять, а кто-то нами? Кому власть и рассуждение? Кому хошь, только не крестьянам. Что ж мы — пеньки лесные вовсе? Грибы в деревне растут, а их и в городе знают!

Очами сочными лучил.

Эх, леший бы тя облобачил, во как задумал! — и наш деревенский.

А Елисей Никифорыч зорко, строго смотрел, а не рассиялся. Прямо, ровно в стуле сидел — и ни слова.



А Зяблицкий повеселел, и ручкой маленькой замахал, и так это завыстилал, довольный:

— Вот у вас и типичная крестьянская утопия! Ей — пятьсот лет, и нигде никогда, ни в Европе, ни в Азии, она не осуществилась. Ну, подумайте сами, Григорий Наумович, — как это вы мыслите себе организационно? В рамках современного государства, при единстве государственных задач, хотя б вот войны с внешними врагами, при единой экономике, административной и транспортной системе, — какая может быть отдельная крестьянская власть? У-топия, вы понимаете?

— Какая — это пока неизвестно, — отряхнул головой Плужников, жалости не принимая. — Какая — думать надо. Такой большой стране — многостроительство нужно. Среди того многостроительства уместится и крестьянское самоуправление.

Вот в это упёрся. И — верно. Что ж мы, пеньки?.. Это Арсений понимал чутко. Из того что-то будет, где-кося пробьётся?

Но отец никак не радовался. Поглядел на хозяина хмуровато. А тот ещё:

— Да мы и теперь не обезлюдели, у нас ещё сил и о такую войну — сколько у нас ещё мужиков с головой и руками? — хоть сейчас на рассуд, на совет собирай! Крыжников Парамон. Фролагин Аксён. Да Кузьма Ополовников. Да Мокей Лихванцев. А, Елисей Никифорович?

Арсений уж заметил по батьке, что ему — не в лад, не так. Но ни выскочить, ни дёрнуться отец никогда не спешил. И — степенно, головою стойкой не крутя:

— Среди нашего брата тоже дураков немало. Среди господ есть — так а среди нас? А когда в Девятьсот Пятом году помещиков грабили, — ведь и по двадцать десятин сверх надела кто имел — и всё равно грабили. У Давыдова и щас, кому не совестно, самоволкою берут дрова, сено. На его лугах скот пасём. Он не огораживается — так мы и на голову? Нашему брату волю дай — ого-го-го-о!..

И ещё подумав, и Плужников не успел отозваться, Елисей присудил гулковато:

— Зашаталась вера у людей, вот что. Управлением не поправишь.

А гостёк городской до своего добирается:

— Ну хорошо, допустим, формы будут найдены. А какими путями вы предполагали бы это достичь?

Плужников, всё руки в боки:

— Путиами? Да бомбы под губернаторов подкладывать не будем. Нет. Путиами? Кому это открыто вперёд, тот выше людей. А как-то оно, смотришь, и само повернётся, только тогда момент не упускать.

А Агаша тем временем уже и самовар принесла, и плюшки сдобные и хворосты, и разливала по стаканам наваристый, тёмный чай.

А Зяблицкий всё веселел:

— На таких надеждах нельзя строить реальных расчётов. Путей реальных — вы не имеете, Григорий Наумыч. И я рад, что это — не бомбы. И обернитесь вы к первому пути — живой кооперативной деятельности, в самом расширительном смысле!

Кстати было чайку попить, рыбку да убоинку залить, и сахар стоял на столе, колотый крепкий рафинад, и печево всякое. Но постучали с крыльца.

Сходила Агаша, воротилась и вполголоса:

— Панюшкин, писарь. К тебе.

Замаялся Плужников. Выйти?

— Ну что ж, зови.

Вошёл Семён Панюшкин — без верхнего, в плисовом коротком пиджачке, чистый, подобранный, как всегда. До волостного писаря своими стараниями, ничьими, за много лет поднялся: летом — скотину пас, зимой учился. За разумливость — возвышен.

А ростом и телом — с Зяблицкого. Волосы — примажены, приглажены, скромн, начальника из себя не дмит. Поклонился. С праздничком. Его — к столу. Замаялся. Видать, хотел с Григорием Наумовичем наособицу.

— А что, секрет? — готов был Плужников и в избу перейти.

Вздыхнул писарь, хранитель тайн, первый их сообщник.

— Да нет, какой уж. Всё равно объявлять. Но вам — хотел первому.

Никакой Плужников не начальник. Но — *батька*. И пришёл писарь ему доложить первому. По уважению.

Усадили его, чаю ему внакладку, плюшку слоистую.

Долго не тянул, открыл — из внутреннего кармана бумагу вынул. Только что привезли.

Указом от 23 октября объявляется призыв ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет, и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва — завтра, 25 октября.

Во-о-о ка-ак!.. Да круто ка-ак!

Сегодня-то уже день к концу, выгулянный. Ещё час-другой, и опустится на деревню тьма спасенная. И хоть заголосят по избам, и долго не будут гасить, кто керосиновую лампу, кто слепушок, кто жирник, — а до утра уже никого не тронут, до утра — ещё не загружать черезплечные белые сумки с продуктами, не запрягать — с провожатыми бабами в Сампур, к воинскому начальнику. Ночь — наша. Ещё одну ночку горевую с жёнкой переспать. Да ей — не спать, ей — ту сумку шить. Ночь — наша, однако печь растевать? Да нет, у всех напечено.

Вот как она входит, война, — клином железным и прямо в грудь. Третий год идёт — и как-то уже вместились в жизнь, вроде и устоялась. Кого убили — те убиты и уже схоронены. Вот вроде и праздники гуляли, прибасни, гармонь, — а развернётся бумага из писарского кармана — да на всю улицу!

Вот уж и начала свой развёт, у Плужникова на столе.

К о г о же?

По сорок лет отшибают, самый сок мужичий. С сорока одного пока не трогают.

Стал Плужников прочитывать имена. Какие быстрее, какие обмышляя. Написаны-то были имя-отчество-фамилия да год, а во-круг проступало: кто ж у него в семье останется? сколько детей? да как с хозяйством?

Чисто брил воинский начальник — мельника забирал! Мельника, вот тебе. А кто ж его заменит? Что же, жернова останавливать? Ведь это наука.

Афоньку Пинюгая берут. Для Каменки не так потеря велика, а всё же: тресту конопельную ему сдавали, и заботы нет — верёвки он тростит, а там разочтёмся. А теперь — каждому самому? Не займёмся.

Па-шёл и Нисифор Стремоух! Не усидел.

А Шныру? Кубыть возраста они одного. И Шныру берут, да.

А Дербу? Дербу — нет, перед ним год обрезан.

Но вот что — кузнеца берут! Кузьму Ополовникова!!

— Да что! — из Елисея вырвалось как огнём. — Ума у них нет?

— По возрасту.

— Дык не один же возраст соразмеривать, кошки в дубошки! Плуги-ти кто ж нам направит? Коней ковать — кто? Что ж нам, всем селом? Думают они?

До того эта дурость вздербила Елисея — встал. И заходил по горнице. Ну, что вот делать? Отдавать Кузьму Ополовникова — кажется, как сына родного. (Да он и родня был, Домахе троюродный.)

— Сенька! — закричал, кубыть тот виноватый. — Ты ж говорил, у вас народу полно?

— Да плечо о плечо в окопах сидят.

— И кузнецы?

— И кузнецов в бригаде хватает. Можем одного вам.

Их с Катёною кровать, спинки во многих завитках изощрённых, тем Кузьмою и кована, хоть и вшестером ложись и хоть медведь пляши, не покупная, как вот у Плужниковых. Этот Кузьма, по прозвищу Стукоток, весёлый да работной, повсегда в щетине, вчера за столом сидели рядом — редкий случай, щека чистая. Подсмеивался над ним Сенька, что надо бы воевать, — а без мысли той, без зависти.

Да никому Сенька не завидовал, кто войны избег. Переменок тут всё равно не устроишь, всем идти — легче не будет, а уж кому выпало.

Кузнеца — как не жаль? Кузнец — первейший, не у всех такой.

— А Лыву так и не берут?

Лыву — нет, не берут.

Лыва — Вася Таракин, моложе Арсения, и на действительную идти ему выходило как раз в Четырнадцатом году. А тут война. В первый же новобранческий призыв его и позвали. Пошёл он со всеми, но ближе месяца назад воротился. Что так? Ослобонили, нуметь. Да что ж, у тебя рук-ног нет? какая хворь? Никакая. Сказал я, что людей убивать не буду.

Вот тебе!.. Коли б его по мирному времени призвали и он бы отрёкся тогда — было более б с делом схоже. А то до войны молчал, не казался, а когда всем на войну — он в сторону. Не понравилось это Каменке. Не по-мирски: все идут — и ты иди, чем ты особенный? До того времени ничего дурного за Васькой Таракиным не замечали: старшим он был из шести детей, в 14 его лет умер отец, стал Васька и землю пахать и портняжить, вослед за отцом. Потом сестра подросла — мужа в дом взяла, и как уже кормильца не единственного — призвали Ваську. Конечно, в сочувствие можно войти, много ртов, — так и у всех немало, так и никому на войну расположения нет, но уж коль всех, так всех, — а чем ты выкрасовы-

ваешься? А он, вишь, с портняжеством прихватил — книжки читать, малые такие, по две, по три копейки. И вот, говорит, граф Толстой открыл мне глаза на идею Иисуса Христа. Все мы живём по воле Отца нашей жизни, и, кроме Его, никто лишит жизни не смеет.

Так и устроился Лыва — не пошёл на войну. И ещё дважды его призывали — и каждый раз ворочался вскорости. Так-то можно примоститься блаженненько, войну пересидеть, это б каждый мог!.. «Тогда ведь и поросёнка заколоть нельзя? и барана? Тоже-ть живое, от Отца нашей жизни», — ему дед Баюня. Признал Васька, перестал скотину колоть и мясо есть. Ну да зять егонный колет, семья не без мяса.

А теперь во как: и вовсе даже Лыву не призывали. На покой покинули.

Помрачился Плужников над списком, отнаться не мог. Кого он тут называл давеча — Парамона ли Крыжникова, Кузьму Ополовникова да Мокея Лихванцева — силу деревни замечали вот. Недалёк уж был и он сам до метёлки, лишь несколько годов оставалось, ещё один такой набор. И кому же было — волю крестьянскую брать? через кого деревне на ноги становиться? Уносили в зубах как волки ягнят, и сколько ещё придут, через полгода или через месяц, и кого ни выхватят — отдай, Каменка!

И — некому крикнуть, что неразумно до такого края деревню испивать. Сходы собирать? депутатов слать к становому? Чем могла деревня противиться? где себя выявить?..

А Елисей с сыном — про родственников домахиных и дальних, и из соседних деревень, смекали — кого захватывают. Не чаи было распивать — идти домой, оборвался праздник.

А писарь Семён ещё подбавил, писарь ведь больше бумаг, наперёд знает: на днях, мол, будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне, а распубликуют ноне.

Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?

Этак что ж — и Зиновья Скоропаса?

И Тевондина Лёксу?

Эких каких!

Ну, и Мишку Руля, стало быть. Пусть повоюет.

Уходить пора.

Агаша:

— Елисей Никифорыч! Сеня! Чайку же! Чайку!

Отец ей:

— Благодарим, Агаша, славно угощала. Но знаешь, гостей ко времени проводить — как с поля убраться.

Оборвался праздник.

За то время, что сидели они у Плужникова, — и схолодало, и притемнело, и ветер покрепчал. Посерёд улицы развороченную грязь густило, подмораживало, а утолоченные тропы вдоль домов и вовсе схватило. И пыль, и мелкие камушки ветер подхватывал, нёс, швырял, заметал вдоль села.

И сказал Елисей о хозяине:

— Нужный мужик. Однако, Сенька, вот замечай: в которой посудине дёготь бывал — уже и огнём не выжжешь.

Там и сям калитки, двери хлопали от ветра сильней. Или — люди бегали из дому в дом, новость несли — и оттого крепче стучали.

Дурная весть на месте не лежит и не сочтётся помалу — так и несёт её по деревне, как этим ветром. Хоть двум, хоть одному шепнул же что Семён ещё до Плужникова — вот и понесло, и избы знают уже, и где-то воют уже. А где ещё только угадывают — нашего как?

Завтра это всё прорвётся, и задвигется, и потянется по почтовому тракту в Сампур, под бабье голошенье, под песни достопротяжные, да под скрип колёс.

Нету жизни. Не дают устояться.

Такая погода — тучно, заморозно, да с ветром заметающим — ко снегу бывает.

— Ежели ляжет снег на мёрзлую землю — в луга поедем, Сенька.

\*\*\*\*\*

*Собирай-ко-тёшь, ребята,  
Кто к военной службе гож!  
Зададим мы немцу перцу.  
Пропадёт он ни за грош!*

(«Биржевые Ведомости»)

## 47

С кем угодно можно установить прочную тайную связь, никогда не встречаясь прямо, если составить цепочку из постоянных посредников — двух, а лучше трёх. Твой посредник встречается кроме тебя ещё с двадцатью человеками, и только один из них — следующий в цепи; тот встречается ещё с двадцатью — уже четырьеста возможностей, это проследить не может никакая полиция и никакой Бурцев.

У сверхосторожного Ленина существовало таких несколько линий.

Прошлым летом, после встречи с Парвусом в Берне, Ленин отпустил к нему Ганецкого в Скандинавию — директором его торгово-революционной конторы. Так развернул своё коммерческое призвание неутомимый, изыскливый Ганецкий, и так установилась прямая неостывающая связь с Парвусом. Однако провисла линия между Копенгагеном и Цюрихом — и посредником определили Скларца, берлинского коммерсанта, тоже пайщика парвусовской конторы, который свободно мог ездить и в Данию, и в Швейцарию. Но условлено было, что, когда приедет в Цюрих, всё по тому же правилу промежуточных звеньев, он не должен встречаться с Лениным сам, а здесь подошёл Дору Долину, подружку Бронского. И то, что вот пришёл прямо на квартиру сам, значило или нарушение конспиративной дисциплины, или чрезвычайные обстоятельства.

Как же некстати! Не только — сил, но даже не было ясного соображения в голове, но даже перебои в груди. И отказывать поздно: уже всё равно пришёл, видели его на улице, на лестнице, в квартире.

Навстречу Скларцу подняться надо было не с кровати, надо было ослабевшими ногами подать вверх одуплевшее тело, как будто через целый колодец — туда, наверх. И лишь там высунутой головой увидеть этого маленького энергичного еврея из югозападных.

Однако с большим самозначением, всё богаче одетого, и пальто такое, и шляпа (на единственный обеденно-письменный стол положил, нахал, а впрочем куда её деть тут?), и в руке — коммиво-

яжерский лёгкий баул из кожи крокодиловой или бегемотовой, как её.

Спасибо хоть без этих церемонийных немецких «Wie geht's?», без натянутой улыбки радости от встречи. Деловито поклонился, протянул маленькую ручку с важностью. Огляделся насчёт безопасности, свидетелей. А уже — и Надя вышла, никого.

Почему же всё-таки — прямо, сам?

А — вот. Из глубокого внутреннего кармана — конверт.

Богатой, бледно-зелёной бумаги, с гербом продавленным. И толстый, пузатый.

Как не стесняется Парвус и в мелочах показывать богатство! Вот — конверт. А приезжал в Цюрих — останавливался в самом дорогом «Бор-о-ляке». В Берне по дешёвой студенческой столовой (обед — 65 раппенов) шёл, ища Ленина, — и пыхал самой дорогой сигарой.

И с этим человеком начинали когда-то в Мюнхене «Искру»!..

Ну так что́, что письмо? Нельзя было через Дору? Эти визиты-мелькания приходится объяснять товарищам.

Сklarц даже удивляется, как это плохо воспитан господин Ульянов. *Дела* — так не делаются. Сказано: уничтожить, не уходя.

И показывает пальцем: мол, цирк — и к конверту.

Удивил! Мы иначе и не делаем. Уж мы-то в жизни сожгли!..

Значит, читать. Ситуация для подпольщика привычная. Ленин и сам должен обезопасить, чтобы его ответное письмо не сохранилось после прочтения. Такой один клочок бумажки может быть смертелен для целой жизни политического деятеля.

Ни ножа, ни ножниц под рукой, стол голый. А Надя на кухне. Оторвав уголок, Ленин всунул толстый указательный и повёл как разрезным ножом. Рвалось с лохматыми краями в одну и в другую сторону, как собака зубами, — и чёрт с вами, вот так вашему богатству! Насколько приятней держать в руках самый дешёвый конверт, писать — на самой дешёвой бумаге.

Вынул. Оттого и толстый, что бумага — ещё богаче и толще. И написано — с размашистыми прописными буквами, разведенными строчками, да с одной стороны. Вот так-то дела и не делаются. Уже забыл, как «Искру» посылали в Россию — на сверхтонкой бумаге.

Внимание. Стянуть нервы, прояснить головой (так и не ел ничего после утреннего чая). Вникнуть.



Сklarц — не хочет мешать, нет, он не развязен. Не болтая, пальто не снимая, идёт к тому стулу у окна. И только шляпу мягкую серую, с фигурно продавленной тульей, оставил на столе.

Да свой баул не донёс до окна, опустил посередине комнаты на пол.

Вежливо-то вежливо, но в пасмурный день как раз и читать бы там, у окна. А Сklarц уже занял тот стул, достал из кармана мятый иллюстрированный журнал, развернул важно.

А тут, что ж, лампу зажечь? Спичек не видно. И Надя на кухне.

Ба, лампа уже горит! Сбоку шляпы — стоит и горит малым прикрученным фитилём. Надя? Как будто не зажигала. Разве когда чиркнул Сklarц? Так он же... ? Странно.

Толстая веленевая бумага с гербами. А всего — три страницы. И — строчка на четвёртой, пустая четвёртая.

И ничего не было особенного — враждебного, властного или наглого — в почерке Парвуса, и вполне безлична подпись — «д-р Гельфанд».

Но из письма как током была в горячающие руки, вливалась в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса. Дальше локтей не пуская её, Ленин обронул письмо на стол, как тяжёлое. И сам опустил на кровать, еле держа.

За двадцать лет своей жизни-борьбы переиспытал Ленин все виды противников — высокомерно-ироничных, язвительных, хитрых, подлых, упорных, стойких, уж там не считая риторично-захлбчивых, донкихотствующих, вялых, ненаходчивых, слезливых и всякого дерьма. И с некоторыми возился по многу лет, и не всех сбил с ног, не всех уложил наповал, но всегда ощущал неизмеримое превосходство своего ясного видения обстановки, своей хватки и способности в конце концов перевалить любого.

И только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него как против врага.

А Парвус и не был противником почти ни дня, он был естественным союзником, он много раз за жизнь предлагал, навязывал, настаивал себя в союзники, и год назад особенно, и вот, конечно, сейчас.

Но и союза этого почти никогда Ленин принять не мог.

Читал. Ходили глаза по строчкам, но почему-то смысл никак не вкладывался в голову. Плохое состояние.

Всех социал-демократов мира знал Ленин или каким ключом отомкнуть, или на какую полку поставить, — только Парвус не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал. Парвус не укладывался ни в какую классификацию. Он никогда не был ни в большевиках, ни в меньшевиках (и даже наивно пытался мирить их). Он был русский революционер, но в девятнадцать лет приехал в Европу из Одессы — и сразу избрал западный путь, стать чисто западным социалистом, в Россию уже не возвращаясь, и шутил: «Ищу родину там, где можно приобрести её за небольшие деньги». Однако за небольшие он её не приобрёл, и 25 лет проболтался по Европе Агасфером, нигде не получив гражданства. И только в этом году получил германское — но слишком большой ценой.

Случайно коснулись глаза на скларцев баул — тяжёлый, набитый, как он его таскает? Сам маленький, зачем?

А вот что, света мало, потому и не читается. Подвинул лампу к самому письму.

Тут в конце два отдельных пункта ясны. Две жалобы. Одна — на Бухарина-Пятакова за их чересчур усердное следствие о немецкой сети в Швеции, нельзя же распускать дураков-мальчишек, надо сдерживать. И вторая — на Шляпникова: очень своеволен, сотрудничать не хочет, отбивается, а в Петербурге нашим силам нужно единство. Пусть не отвергает наших представителей, напишите ему.

Он назвался *Parvus* — малый, но был неоспоримо крупен, стал — из первых публицистов германской социал-демократии (был работоспособен не меньше Ленина). Он писал блестящие марксистские статьи, вызывая восторг Бебеля, Каутского, Либкнехта, Розы и Ленина (как он громил Бернштейна!), и подчинил себе молодого Троцкого. Вдруг — покидал свои газеты, завоёванные публицистическими постами, уезжал, бежал, то начинал торговать пьесами Горького (и обокрал его), то опускался в ничтожество. У него был острый дальний взгляд, он первый, ещё в XIX веке, начал борьбу за 8-часовой рабочий день, провозгласил всеобщую стачку как главный метод борьбы пролетариата, — но едва предложения его превращались в движения, находили сторонников — он не организовывал их, а отлипал, отпадал: он умел быть только первым и единственным на своём пути.

Всё письмо прочёл до конца, а не воспринял даже, на каком оно языке — на немецком или на русском? На обоих, фразы — так, фразы — так. Где на русском — с орфографическими ошибками.

И многое в Парвусе противоречило. Отчаянный революционер, не дрожала рука разваливать Империи, — и страстный торговец, дрожала рука отсчитывать деньги. Ходил в обуви рваной, протёртых брюках, но ещё в Мюнхене в 901-м, когда Ленин скрывался у него на квартире безпаспортным, твердил: надо разбогатеть! деньги — это величайшая сила! Ещё в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти, — и уехал на Запад, лишь раз возвращался нелегально, спутником немецкого врача, напечатал: «Голодающая Россия, путевые впечатления». А сам между тем разбросал по России всю будущую сеть им же придуманной «Искры». И как будто же ушёл в германскую социал-демократию. Но едва началась Японская война, почти не замеченная в женевской эмиграции, — Парвус первый объявил: «Кровавая заря великих событий!»

Света мало. Фитиль выкручивал — а он только калился и коптил. А-а, пустая, керосина нет, не налила.

И в том же 904-м предсказал: промышленные государства дойдут до *мировой* войны! Парвус всегда высказывал, — нет, по грузности тела его, выступал, — предсказать раньше всех и дальше всех. Иногда очень верно, как то, что промышленность взорвёт национальные границы. Или: что в будущем неразлучны станут война — и революция, а война мировая — и революция мировая. И об империализме он, по сути, успел сказать всё раньше Ленина. А иногда — чушь какую-нибудь: что вся Европа ослабнет и зажмётся в тисках между сверхдержавами Америкой и Россией: что Россия — новая Америка, ей только не хватает школ и свободы. То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно. Или неосмотрительно ляпал, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы. Но, и в удачах и в неудачах, всегда необычностью своей позиции и массивностью своей слоноподобной фигуры он загораживал половину социал-демократического горизонта и, как-то оказывалось, всегда загораживал Ленину — не всю дорогу, не весь истинный путь, но половину его, так что нельзя было обойти Парвуса не столкнувшись. Он был — не противник, он всегда был союзник, но такой, что, смотри, не обомнёт ли тебе бока. Он был единственный на Земле несравненный соперник — и чаще всего успешливый, всегда впереди. Никак не

враг, всегда с протянутой рукой союзника — а руку принять не было возможно.

Что за баул? Величиной как будто со свинью.

Да между ними многое пошло бы иначе, если бы не Девяťсот Пятый. Во всей революции Пятого года не участвовал Ленин и не сделал ничего — исключительно из-за Парвуса: тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь, — и отнял всякую волю идти и всякую инициативу. Едва прогремело Кровавое Воскресенье, Парвус тут же объявил: создавать *рабочее правительство*! Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения перехватила дыхание даже у Ленина: не могло решаться уж так быстро и просто! И он возражал Парвусу во «Вперёде», что лозунг — опасный, несвоевременный, нужно — в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил. А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули её женевской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов: в России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неорганизованно, и пролетариату даже не остаётся ничего другого, как принять руководство революцией. А те социал-демократы, кто удалялся от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту.

Но вся женевская эмиграция осталась на месте, коснея, как будто чтобы сбылось над ней это пророчество, и только Троцкий кинулся в Киев, потом в Финляндию, всё ближе для прыжка, а Парвус ринулся по первому сигналу всеобщей октябрьской стачки, какую опять-таки он и предсказывал ещё в прошлом веке. Не большевики и не меньшевики, они оба были свободны от всякой дисциплины и дерзко действовали вдвоём.

С большую свинью. Напрягся, перегородил комнату. А Скларц у окна как будто уменьшился?

Ну что ж, чего не выразишь печатно и не скажешь на самой узкой конференции: да, я тогда ошибся. И вера в себя, и политическая зрелость, и оценка обстановки приходят не сразу, лишь с возрастом, с опытом. (Хотя и Парвус только на год старше.) Да, я тогда ошибся, не всё видел, и дерзости не хватило. (Но даже близким сторонникам так нельзя говорить, чтоб не лишить их веры в вождя.) Да как было не ошибиться? Тянулись месяцы, месяцы того смутного года, всё бродило, погромыхивало вокруг, а настоящая революция не раздражалась. И ехать было всё ещё нельзя, и отсюда, из Женевы, разбирало негодование: что́ они там, олу-

хи, не поворачиваются, что они революции как следует не начинают? И — писал, писал, посылал в Россию: нужна бешеная энергия и ещё раз энергия! о бомбах полгода болтаете — ни одной не сделали! пусть немедленно вооружается каждый, кто как может — кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога! И пусть отряды не ждут, никакого отдельного военного обучения не будет. Пусть каждый отряд начинает учиться сам — хотя бы на избиении городских! А другой пусть убьёт шпика! А третий взорвёт полицейский участок! Четвёртый — нападёт на банк! Эти нападения, конечно, могут выродиться в крайность, но ничего! — десятки жертв окупятся с лихвой, зато мы получим сотни опытных бойцов!..

Нет, не бралось усталым умом несвоевременное письмо, не понималось. Читал — и не понимал.

...Казалось, так ясно: кастет! палка! тряпка с керосином! лопата! пироксилиновая шашка! колющая проволока! гвозди (против кавалерии)! — это всё оружие, и какое! А отбилсл случайно отдельный казак — напасть на него и отнять шашку! Забираться на верхние этажи — и осыпать войско камнями! и обливать кипятком! Держать на верхних этажах кислоты для обливания полицейских!

А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто приехали в Петербург, просто объявили и собрали новую форму управления: Совет Рабочих Депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее правительство! — и вот уже заседало! И всего-то приехали на каких-нибудь две недели раньше остальных — а всё захватили. Председателем Совета был подставной Носарь, главным оратором и любимцем — Троцкий, а изобретатель Совета Парвус управлял из тени. Захватили слабенькую «Русскую газету» — однокопеечную, вседоступную, народную по тону, и на какие-то деньги стал тираж её полмиллиона, и идеи двух друзей полились в народ. Учись!

Скларц у окна в своём стуле сидел всё дальше, всё мельче, как птица с опущенным носом, в иллюстрированный журнал.

Тогда, в свои последние женевские дни, Ленин писал, писал пером торопливым — всю теорию и практику революции, как он находил её в библиотеках по лучшим французским источникам. И гнал, и гнал в Россию письма: по сколько человек надо создавать боевые группы (от трёх до тридцати); как связываться с боевыми партийными комитетами; как избирать лучшие места для

уличных боёв; где складывать бомбы и камни. Надо узнавать оружейные магазины и распорядок работы в казённых учреждениях, банках, заводить знакомства, которые могут помочь проникнуть и захватить... Начинать нападения при благоприятных условиях — не только право, но прямая обязанность всякого революционера! Прекрасное боевое крещение — борьба с черносотенцами: избивать их, убивать, взрывать их штаб-квартиры!..

И, нагоняя последнее своё письмо, сам поехал в Россию. А там — ничего похожего. Никаких боевых групп не создают, не запасают ни кислот, ни бомб, ни камней. Но даже буржуазная публика приезжает послушать заседания Совета Депутатов. И Троцкий на трибуне взвизгивает, изгибается и самосжигается. И, будто для этой открытой жизни и родясь, они с Парвусом блещут по всему Петербургу — в редакциях, в политических салонах, всюду приглашены и везде приняты под аплодисменты. И даже создавалась какая-то фракция «парвусистов». И не то чтобы тряпку обмачивать в керосин и красться за углом здания — но Парвус готовил собрание своих сочинений или закупал билеты на сатирическое театральное представление и рассылал своим друзьям. Хороша тебе революция, если вечерами не чеканка патрулей по пустынным тротуарам, но распахиваются театральные подъезды...

Пробежаться бы до окна и назад — так пятнистый раздутый баул стоял как сундук, не пройдёшь. Да и сил нет в ногах.

В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом как боком слона. Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня — и висла его голова. И лозунги Парвуса повторялись и читались, правильные вполне: после победы революции пролетариат не должен выпустить оружия из рук — но готовиться к гражданской войне! своих союзников-либералов рассматривать как врагов! Отличные лозунги, и уже не с чем выступить с трибуны Совета самому. Всё шло почти как надо, и даже настолько хорошо, что вождю большевиков не оставалось места. Вся жизнь его была спланирована к подполью, и уже трудно было пересилиться, подняться на открытый свет. Он не поехал и на московское восстание, уж там восставали по его ли женевским инструкциям, или не по его. Упала уверенность в себе — и Ленин как продремал и пропратался всю революцию: просидел в Куоккале — 60 вёрст от Петербурга, а Финляндия, не схватят, Крупская же ездила каждый день в Петербург собирать новости. Даже сам понять не мог: всю

жизнь только и готовился к революции, а пришла — изменили силы, отлили.

А тут ещё Парвус выдвинул из тени (он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам) и подсунул Совету безымянно, как бы его, Совета, резолюцию — Финансовый Манифест. Под видом заскорузло-стихийных требований неграмотных масс — программу опытного умного финансиста: единый удар по всем экономическим устоям российского государства, чтоб рухнуло проклятое разом! Не откажешь — величайший, поучительный революционный документ! (Но и правительство поняло и через день арестовало весь петербургский Совет. Случайно Парвус не был на заседании, уцелел, и тут же создал второй Совет, другого состава. Пришли арестовывать второй — а Парвус снова не попал.)

Керосина в лампе не было — а горела уже час, не уменьшая света.

Надо было годам пройти, чтобы рёбра, подмятые Парвусом, выправились, вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса, как этот слонобегемот опрометчиво ломил по чаще, и обломки прокалывали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с пухлыми блондинками — и наконец открыто поддерживал немецкий империализм: откровенно высказывался в печати, в докладах, и явно поехал в Берлин.

Шляпа позади лампы — качнулась, показав атласную подкладку.

Да нет, лежала спокойно, как оставил её Скларц.

Через Христию Раковского из Румынии, через Давида Рязанова из Вены уже доходили до Ленина слухи, что Парвус везёт ему *интересные предложения*, так развязно не скрывался он. Но слава открытого союзника кайзера опередила Парвуса, пока он вёз эти предложения, пока кутил по пути в Цюрихе. Все привыкли бедствовать годами, а тут прежний товарищ явился восточным пашой, поражая эмигрантское воображение, раздавая, впрочем, и пожертвования. И когда нашёл он Ленина в бернской столовой, втиснулся непомерным животом к столу и при десятке товарищей открыто заявил, что им надо беседовать, — Ленин, без обдумывания, без колебания, в секунду ответил резкими отталкивающими словами. Парвус хотел разговаривать как вояжёр мирного време-

ни, приехав из воюющей Германии?? (и Ленин хотел! и Ленин хотел!) — так Ленин просил его *убраться вон!* (Верно! Только так!)

На бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую — хляп!

Но увидеться — надо было! Не бумагами же всё переписываться, какая-нибудь да попадёт к врагам. И Ленин шепнул Зифельду, а тот нагнал толстяка, по какому адресу ему идти. (А Зифельду Ленин потом сказал: нет, отправил акулу ни с чем.) И в спартанской комнатке Ульяновых толстозадый Парвус с бриллиантовыми запонками на высунутых ослепительных манжетах, сидел тогда на кровати рядом и не помещался, и наваливался, толкал Ленина к подушке и к спинке железной.

Тр-ресь!! — распёрло наконец баул — и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с бриллиантовыми запонками, — и, разминая ноги, ступнул, ступнул сюда ближе.

Стоял — натуральный, во плоти — с непотягаемым пузом, удлинённо-купольная голова, мясисто-бульдोजья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно.

Да ведь и правда! — давно же надо поговорить. Всё мельком, всё некогда, или в отрыве, или в противоположности, и так трудно встретиться, следят враги, следят друзья, нужна тайна глубочайшая! Но уж если пробрался, какие тут письма, пришёл момент критический, поговорить накоротке:

— Израиль Лазаревич! Я удивляюсь, куда вы растратили свой необыкновенный ум? Зачем всё так публично? Зачем вы поставили себя в такое уязвимое положение? Ведь вы же сами закрываете все пути сотрудничества.

Ни — «здравствуйте», ни — руки не протянул (и хорошо, потому что и у Ленина не было сейчас сил подняться и поздороваться, рука как в параличе, и «здравствуйте» тоже горло не брало), — а просто плюхнулся, да не на стул, а на кровать же, впритыску, неуклюжей тяжестью навалившись, боком вытесняя Ленина по кровати.

И, наставляя прямо к лицу бледно-выпуклые глаза, речью неясной, не оратора, но собеседника ироничного:

— Удивляюсь и я, Владимир Ильич: вы всё агитацией да протестами заняты? Что за побрянушки? — конференции какие-то, то тридцать дам в Народном доме, то дюжина дезертиров?



И толкал безцеремонно по кровати, нависал болезненно раздутой головой:

— С каких пор вы вместе с теми, кто хочет мир изменить пером рондо? Ну что за дети все эти социалисты с их негодованием. Но вы-то! Если серьёзно *делать* — неужели же прятаться по закоулкам, скрывать, на какой ты воюющей стороне?

Хоть горлом речь не выходила, но прояснела голова, как от крепкого чая. И без языка было всё взаимопонятно.

Ну конечно же, это был не жалкий Каутский — демонстрировать «за мир», а в войну не вмешиваться.

— Мы же оба не рассматриваем войну с точки зрения сестры милосердия. Жертвы, кровь и страдания неизбежны. Но был бы нужный результат.

Ну, конечно же, Парвус был основательно прав: надо, чтобы Россия была разбита, а для этого надо, чтобы Германия победила, и надо искать поддержки у неё, — всё так! Но — только до этого пункта. А дальше — Парвус зарвался. Увлёкшись своими успехами, он оступается, это не первый раз.

— Израиль Лазаревич, если у социалиста что-нибудь реально имеется, то это — революционная честь. Чести — мы не можем терять, мы тогда всё теряем. Говоря между нами, по расположению наших с вами позиций — ну, конечно, союз. И конечно, мы ещё очень понадобится и поможем друг другу. Но по вашей теперь политической одиозности... Один какой-нибудь Бурцев найдётся — и всё погребло. Так что придётся допустить между нами публичные разногласия, газетную полемику. Ну, не настойчивую... спорадически так, иногда... Так что если... — Ленин никогда не смягчал и в глаза, жёстче сказать, крепче будет, — ...если там, например... морально опустившийся подхалим Гинденбурга... ренегат, грязный лакей... Поймите сами, вы же не оставляете другого выхода...

— Да смешно, да пожалуйста, — горькая усмешка перерезала одутловатое лицо Парвуса. — Вот я весной в Берлине получил миллион марок, из того миллиона сразу перевёл Раковскому, Троцкому с Мартовым, да и вам в Швейцарию, не получали? Ах, не вникали? Проверьте, проверьте у своего кассира, если не растратил... И Троцкий деньги принял — а от меня уже и отрёкся публично: «политический фальстаф»... Написал мне живому — некролог. Я ничего не говорю, это можно, конечно, я понимаю.

И застыло-стеклянно смотрел из-под поднятых редковолосых бровей.

Разошлись они с Троцким раньше, на перманентной революции. А любил он его как младшего брата.

Но на Ленина — он очень надеялся, и толкал, толкал его по кровати своею массивной рыхлостью, заставляя двигаться к подушке, уже локтем ощущать спинку сзади.

— А ваши лозунги голые не лопнут без денег, а? Нужно д е н ь г и в руках иметь — и будет власть! А чем вы будете власть захватывать? — вот неприятный вопрос. Да хотя позвольте, в 904-м на III съезд и на «Вперёд» вы же, кажется, приняли деньги, очень похожие на японские, — ничего, пошли? А я теперь — лакей Гинденбурга? — пытался смеяться.

Всё было — точно как прошлый раз, или это и было — прошлый раз?.. — в комнате бернской мещанки? или в комнате цюрихского сапожника? или — ни в какой комнате? Как будто всё это говорилось уже раз, и вот по второму. Ни стола, ни Скларца — а только кровать железная швейцарская массивная с ними могучими двумя — плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим разрешения от них двоих, с ногами свешенными, — неслась по тёмному кругу, опять. И ровно столько было невидимого света, чтобы видеть собеседника, и ровно столько звука, чтобы слышать его:

— Ничего, это можно... Я понимаю...

Он — презирал мир. Тамошний, далеко внизу, под кроватью.

— А по-моему, если *войну превращать в гражданскую* — так любой союзник хорош. Ну, у вас сейчас с к о л ь к о? — издевался. — Не спрашиваю, не принято. А у меня, — не у меня, а для дела, — вот, миллион весной получил, этим летом ещё пять миллионов получаю. И будет ещё не раз. Как?

Вместе с Парвусом они всегда презирали эмиграцию за призрачность, за недельность, за интеллигентскую слюнтявость, всё слова, слова. А деньги — это не слова. Да.

Душила Ленина его самоуверенность. И восхищала реальность силы.

Вытаращивал бледные глаза, похлопывал губой с неровными усами:

— П л а н ! Я составил единый великий план. Я представил его германскому правительству. И на этот план, если хотите, я получу и двадцать миллионов! Но главное место в этом плане я отвёл — для в а с . А вы...

Дышал болотным дыханием, близко в лицо:

— А вы?.. ждать?.. А я...

Этот купол — не меньше ленинского, пол-лица — голый лоб, полголовы — темя со слабыми волосами. И — беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:

— А я — назначаю русскую революцию на 9 января будущего года!!!

## 48

Как рождаются простые и великие планы? Подсознательным вынашиванием мыслей, когда ещё никуда определённо не предназначаешь их. Потом элементы давно известные, может быть и не тебе одному, вдруг проступают дружно к центру и именно в твоей голове соединяются в единый план — и до того же простой и ясный, что удивляться надо, как он не сложился ни у кого прежде.

Как не сложился прежде у германского Генерального штаба, хотя ему-то и думать бы первому?

Правда, у них не хватало понимания России. И от осени 14-го года, после Марны, осознав неудачу быстрой победы, они до осени 15-го всё надеялись на сепаратный мир с Россией, тыкались попытками контактов, никак не думали, что Романовы всё отвергнут. Это их и отвлекло.

А Парвус, отъединённый от главных событий, отброшенный в бронзово-голубой Константинополь, достигнув жажданного богатства, а с ним — всех вообразимых телесных нег на Востоке, умеющем насытить мужской дух и мужские желания, в стороне от великой битвы («в социалистическом резерве», как советовал ему Троцкий) и обеспеченный никогда не узнать последствий этой битвы, — ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении ни на миг не покидал своего поиска, рождённого в дальней юности тут же, на черноморском берегу, по диагонали.

Он не покидал его, ещё когда ехал на Балканы, где книги его читались шире, чем Маркса и Энгельса. Не забывал, когда кормился в константинопольских притонах и собирал портовых голодранцев на первомайскую демонстрацию. Тем более не забывал, возвышаясь при младотурках, обратив свой финансовый гений из топора, подрубавшего русский ствол, в лопату садовника, подпитывающего турецкий. Не ошеломился, не забыл и от миллионов, так

наплывно, и для всех таинственно, понесших его. Не забывал, основывая банки, торгуя с Одессой-мамой и с мачехой Германией. Он как хлыстом был протянут от сараевского выстрела: обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты! что — попадётся старый глупый медведь! Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно её предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории! самую первую колесницу социализма! Пока там, по всей Европе, бушевала социал-демократия вокруг военных кредитов — Парвус ни речи не произнёс, Парвус ни строчки не напечатал, он не тратил времени, минуты не ждали, он сновал своими тайными ходами, убеждая стамбульских правителей, что только на стороне Германии вырвется Турция из нескончаемых своих капитуляций, он спешил доставать оборудование и запасные части для турецких железных дорог и мельничного дела, снабдить зерном турецкие города, обезпечить, чтобы Турция осенью не просто объявила войну, но как можно скорее могла бы начать реальные боевые действия на Кавказе. (И такие же заботы нагоняли его с Болгарией, он успел подготовить к войне и её.) Лишь после этих существенных свершений мог позволить себе Парвус откинуться в заброшенную любимую публицистику, в балканскую прессу, с лозунгом: «За демократию! против царизма!».

Это надо было объяснить, обосновать, чтоб убедить как можно многих, — и неотупевшее перо легко разбрызгивало искры: не надо ставить вопроса о «виновниках войны» и «кто напал», мировой империализм десятилетиями готовил эту схватку, и кто-то должен был напасть, неважно. Не надо искать этих пустых причин, но надо думать социалистически: как *нам*, мировому пролетариату, использовать войну, значит: на чьей стороне сражаться? У Германии — самая мощная в мире социал-демократия, Германия — твердыня социализма и поэтому для Германии эта война — оборонительная. Если социализм будет разгромлен в Германии — он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма — военное укрепление Германии. А то, что царизм на стороне Антанты, ещё более открывает нам, где истинный враг социализма: значит, победа Антанты принесёт новое подавление всему миру. Итак, рабочие партии всего мира должны воевать *против русского царизма*. А советовать пролетариату принять нейтралитет (Троцкий) — значит самоисключиться из истории, революционный кретинизм. Итак, задача мирового социализма — уничтожа-

ющий разгром России и революция в ней! Если Россия не будет децентрализована и демократизована — опасность грозит всему миру. А Германия несёт главную тяжесть борьбы против московитского империализма, и революционное движение в ней должно на время прекратиться. А потом победа в войне принесёт и классовые завоевания пролетариату. *Победа Германии — победа социализма!*

На эту публикацию первые приехали к Парвусу посовещаться — «Союз вызволения Украины» из Вены (среди них были знакомые по «искровским» временам), потом армянские, грузинские националисты, — всем борцам против России открывались двери его константинопольского дома.

Так напряжённый поиск Парвуса магнитно притягивал опыт других, а сопоставленный этот опыт, социалистов и националистов, стянутый во взрывную точку, рождал и План. До сих пор болтали социалистические программы всё об автономии — нет! Только разрывом и расчленением России можно было свалить абсолютизм, дать нациям сразу — и свободу, и социализм.

Пока проваливались первые экспедиционные группы украинцев и кавказцев (второпях набрали и хвастунов и авантюристов, конспиративная затея вдруг разгласилась в эмигрантской прессе, и Энвер-паша остановил экспедиции), в раздутой ёмкой голове Парвуса досовершалось магнитное соединение железных элементов в единый План. Как любит механика треугольные скрепы за их устойчивость к деформациям, так элементам националистическим и социалистическим не хватало третьего союзника — германского правительства: цели всех троих ближайшие — совпали!

Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, — сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, в январе приоткрыть его германскому послу, получить гостеприимный вызов в Берлин, на личном свидании поразить верхушку министерства (19 лет эта страна не кинула ему простого гражданства, закрывала его редакции, гоняла из города в город, могла выдать русской охранке, — теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие), в марте Пятнадцатого представить окончательный подробный меморандум и получить первый миллион марок аванса.

План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия Центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей. (Он знал этого Быка — но и обух достойный готовил ему.) Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неутраченной постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единоподчиненный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке. Опыт революции 1905 года (уж автор-то знал её! и в глазах имперского правительства гарантией солидности советчика то и было, что он — не прибуланный коммерсант, но Отец Первой Революции) позволяет видеть, что все симптомы повторяются, все данные для революции сохранились, и даже, в условиях Мировой войны, она потечёт ещё быстрее, но если умело её толкнуть, воздействием извне ускорить катастрофу. Центрами *социального* восстания будут подготовлены Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы в Петербурге и кораблестроение в Николаеве (на юге России у автора особо прочные связи). Назначается дата, уже есть такая наболелая в России: годовщина Кровавого Воскресенья, сперва только — для однодневной забастовки в память погибших, для одноразовой уличной манифестации: 8-часовой рабочий день, демократическая республика, — но когда будут разгонять, то оказать сопротивление, прольётся хотя бы малая кровь — и огонь побежит, побежит по всем бикфордовым шнурам! Однодневные стачки сливаются во всеобщую забастовку «за свободу и мир!». Листовки на главных заводах — и к тому времени уже подготовленное оружие в Петербурге и в Москве! В 24 часа будет приведено в действие сто тысяч человек! К забастовке тотчас присоединяются железнодорожники (подготовлены будут и они), останавливается всякое движение на линиях Петербург — Москва, Петербург — Варшава, Москва — Варшава и на югозападных. Для всеобщности и дружности взрываются некоторые мосты и на сибирской магистрали, для чего послать туда экспедицию из опытных агентов. О Сибири отдельная часть плана: дислоцированные там войска чрезвычайно слабы, города под влиянием сыльных настроены революционно. Это облегчает устройство диверсий, а когда уже беспорядки начнутся — произвести массовое перемещение сыльных в Петербург,

чтобы впрыснуть в столицу тысячи действенных агитаторов, успеть захватить пропагандой миллионы русских рекрутов. Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок (их печатанье нетрудно развернуть, например, в Швейцарии). Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских и указывает на социальную революцию как выход из войны. Остриё пропаганды будет направлено в действующую армию. (Рисовалось и восстание в Черноморском флоте. Проезжая Болгарию, уже Парвус завязал связи с одесскими моряками. Он сильно подзревал всегда, что «Потёмкина» взбудили японцы. Во всяком случае можно будет взорвать один-два броненосца.) Опытные агенты посылаются также и — поджечь нефтяные промыслы в Баку, что не представляет трудности при их слабой охране. Динамика социальной революции должна быть усилена и финансово: с немецких самолётов разбрасывать русскому населению фальшивые рубли, одновременно — пустить в международное обращение, в Петербург и в Москву банкноты с одними и теми же номерами и сериями, — подорвать международный курс рубля и создать панику в столицах.

Со всеми их Клаузевицами, Мольтке-старшим и Мольке-младшим, со всей их самоуверенной стратегией и надменной чёткостью штабов — никогда не вырастали узкие прусские лбы до такого размаха! до такого замысла!!

Никогда не имела Германия такого советчика по России, по всем слабостям её. (Настолько никогда не имела, что даже и теперь оценить не могла.)

И это же — далеко не всё! Одновременно начнётся революция национальная. Главный рычаг — украинское движение, без украинской подпоры быстро опрокинется русское здание набок. Украинское движение перебросится дальше на кубанских казаков, а может, заколеблются и донские. Естественно сотрудничество и с наиболее созревшими, почти уже свободными финнами: легко посылать им оружие, а через них — в Россию. Польша — всегда за пять минут до антирусского восстания и только ждёт сигнала. Между восставшими Польшей и Финляндией всколыхнётся и Прибалтийский край. (По другому варианту предусмотрел Парвус, что остзейские губернии охотно присоединяются к Германии.) Националисты Грузии и Армении — уже и сегодня в реальном и денежном сотрудничестве с правительствами Центральных держав. Кав-

каз — раздроблен, и возбудить его будет трудней, но посредством Турции, через мусульманскую агитацию, подыдем его на газават, священную войну. И в том окружении вряд ли терские казаки захотят класть головы за царя, а не отделиться тоже.

И централизованная Россия — рухнет навсегда! Внутренняя борьба сотрясёт Россию до основания! Крестьяне станут силой отбирать землю у помещиков. Солдаты толпами побегут из окопов обеспечивать свою долю в земельном разделе. (Восстанут против офицеров, перестреляют генералов! — но эту часть перспективы прикрыть, она может вызвать у пруссаков неприятные предчувствия.)

Однако (захватывая дыхание) — и это не всё! и это — не всё! Сотряси Россию разрушительной пропагандой *изнутри* — обложить её и *извне* враждебностью мировой прессы! Антицарскую кампанию поднимут социалистические газеты разных стран — однако, захватывая слева направо, эта травля увлечёт затем и либеральную, то есть подавляющую прессу всего мира! Газетный крестовый поход на царя! И особенно важно при этом — захватить общественное мнение Соединённых Штатов. А разоблачением царизма будет одновременно демаскирована и подорвана вся Антанта!

Вот что предложил Парвус Германии: вместо безнадёжной пехотно-артиллерийской мясорубки — одним только впрыскиванием денег, без немецких жертв — в несколько месяцев из Антанты вырывался многолюднейший член её! Ещё бы не схватилось германское правительство за эту программу!

Да в этом Парвус не сомневался. Он тревожился, как примут её другие в Берлине: социалисты. Как примет его проект мачеха-партия, которой идеи его и всегда были слишком глубоки, чтобы применить их для массовой агитации, слишком залётны вперёд, чтобы казаться реальными даже вождям; партия, где колотился он 19 лет, рассыпая идеи, — и не получил никогда ни единого партийного поста, ни на одном съезде не имел права голосовать. Короткое время он был в ней героем — вернувшись из Сибири, и все зачитывались его мемуарами «В русской Бастилии». Затем измазался он в несчастном горьковском деле, и тайная партийная комиссия обрекла его на изгнание — и пятно не отмылось даже теперь, 5-летней отлучкой. Но главное — необъяснимое легендарное, в один год, обогащение, которого по ограниченности не могут простить люди, а *соци* — особенно. (Странная психология: будь это же богатство наследственным — никто б и не укорил нико-



гда.) За одно богатство должны были его возненавидеть и отвергнуть — но нашли для возмущения более благородный повод: он стал пособником империалистов! Уж конечно там Клара и Либкнехт, но — Роза! когда-то близкая женщина (впрочем, и в близости стыдилась — его наружности? — всегда скрывала связь), — и Роза показала ему на дверь. Бебель за это время умер, Каутский и Бернштейн — отъединялись, слабели, новое же самодовольное руководство искало слабостей в позиции перекатного социалиста: а как поведёт себя пруссаческое правительство после победы? а почему оно от русской революции смягчится и подобрееет к социализму? а не накроет оно заодно и демократию Англии и Франции?..

И в возражениях этих — истина была, и сомнения — лежали там, — но никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их. Никто, почти никто в Европе не мог перескочить и увидеть: что ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России! всё остальное — второстепенно.

А социалисты Антанты уже поднимали против Парвуса разоблачительную кампанию.

Острота социалистических упрёков ему отравляла всю радость успеха, хотя большинство социалистов Европы не были ни люди науки, ни люди реального дела. Они не могли подняться ни на высоту обзора, ни смекнуть живой поворот действия по живому повороту дела. Это были уже — чиновники от социализма, заклиненные в коридорах догм, как в гробах: они даже не ходили, не ползали по этим коридорам, но — лежали вдоль них и не смели представить себе никакого поворота. Первые же открытые призывы Парвуса помогать Германии вызвали у них девственный ужас. Как хорошо бы им просидеть войну в невинной нейтральности и отделяться моральным негодованием — на войну и на тех, кто смелость имеет вмешаться в неё!..

Но — решительна для Плана была роль социалистов русских, и им отводилась в Плане существенная разработка, представленная германскому правительству. Они все раздроблены, рассеяны на мелкие группы, безсильны — а ни одну из них нельзя упустить, всех использовать. Для этого надо привести их к единству — устроить объединительный конгресс, удобно в Женеве. Одни группы, как Бунд, Спилка, поляки, финны, безусловно поддержат План. Но нельзя создать единства, не помилив большевиков и меньше-

виков. А всё это будет зависеть — от вождя большевиков, живущего сейчас в Швейцарии.

Тут могли быть разные трудности, и даже та, что часть русских социалистов окажется патриотами и не захочет раздела русского царства. Но была и нищета их: скудные эти эмигранты десятилетиями нуждались в деньгах: и для обычной простой жизни, что-то класть в рот, а заработать они не умели никогда; и для своих непрерывных поездок и съездов, и для своих нескончаемых брошюрных-журнальных-газетных писаний. Не устоят они перед протянутым набитым кошельком. Уж если крепкие легальные западные партии и профсоюзы всегда податливы на денежную поддержку, скажем, для своих трудящихся, всё равно, — кому в мире не хочется жить сытей, теплей, просторней? (Незаметная тихая помощь скромно живущим вождям тоже очень укрепляет с ними дружбу.) Как могут отказаться эмигранты?

Однако, едучи в Швейцарию, более всего предсмаковал Парвус успех от встречи с Лениным. Давно состарилось их мюнхенское сотрудничество, годами не виделись они, — но зоркий глаз Парвуса никогда не упускал этого единственного неповторимого социалиста Европы — совершенно непредвзятого, свободного от предрассудков, от чистоплутства, в любом повороте дела готового принять любой нужный метод, приносящий успех: единственного жестокого реалиста, никогда не увлечённого иллюзиями, второго реалиста в социализме после Парвуса. Чего не хватало Ленину — это широты. Дикая, нетерпимая узость раскольника гнала попусту его огромную энергию — на дробление, отмежевание, мелкое шавканье, перебранку, драчку, газетные уколы, изводила его в ничтожной борьбе, в кипах исписанной бумаги. Эта узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе, оставляла ему только русскую судьбу, но, значит, и делала незаменимым для действий в России. Сейчас!

Сейчас, когда младший сподвижник Троцкий, сердца кусок, отрёкся навсегда, когда Троцкому изменила жизненная сила и точность взгляда, — как призывно вспыхивала Парвусу жестокая ленинская звезда из Швейцарии: независимо, он высказывал всё то же: что не надо искать, кто первый напал; что царизм — твердыня реакции и должен быть сокрушён первым; что... По оттенкам побочных замечаний, потерявшихся в придаточных предложениях и незаметных более никому, Парвус видел, что Ленин не изменился ни в своей нетребовательности, ни в своей требовательности,

что он не переживет взять в союзники хоть и Вильгельма, хоть и сатану, — только бы сокрушить царя. Оттого уже заранее слал Парвус ему вести об *интересных предложениях*: что союз заключится — сомнений не было. Лишь вот эти несчастные придуманные разногласия с меньшевиками, где Ленин был особенно глупо-непреклонен. Но и миллионы марок в поддержку — весили же что-то? В меморандуме германскому правительству Парвус прямо назвал Ленина с его подпольной организацией по всей России — как свою главную опору. Взять Ленина своей правой рукой, как в ту революцию Троцкого, — был верный успех.

На верный успех и ехал Парвус тогда в Берн, и шёл по столовой с сигарой во рту, и был удивлён шумным отказом, но потом оценил разумность приёма. И теперь на скудной кровати теснил, теснил легковатого Ленина — своими пудами:

— Да вам к а п и т а л нужен! Чем вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос.

Эт-т-то-то Ленин понимал прекрасно! Что на одних голых идеях не прошагаешь, что революцию нельзя делать без силы, а в наше время начальная сила — деньги, а уже из денег рождаются другие виды силы — организация, оружие и люди, способные этим оружием убивать, — всё верно, кто ж возразит!

Со своей безподобной схватчивостью ума, без нужды на обдумывание, со своими мгновенными переменами в лице, вот уже усмешка соучастника обещающего, безо всякого задора отступая, прикартавливая:

— Почему — неприятный? Когда к деньгам относятся партийно — партии это приятно. Неприятно, когда из денег делают оружие *против* партии.

— Ну да впрочем, у вас же там что-то сочится, — дружелюбно усмешливо вспоминал Парвус, — на что-то же «Социал-Демократ» выпускаете. Или, — фальстафовский живот его подрагивал от смеха, — или вы, положим, швейцарским налоговым агентам пишете, что, наоборот, живёте гонорами с «Социал-Демократа»?..

Усмешка — часто была у Ленина, улыбка — очень редко, — вместо того он прищурился, ещё пряча, пряча природой запрятанные глаза. И осторожно выбирал слова:

— Филантропические фонды всегда откуда-нибудь идут. Принимать благотворительность — вполне партийно, отчего же?

(Да денег не так уж скудно, можно бы всем жить посвободнее, как по безстыдству и делают некоторые, через кого течёт. До не-

приличия швыряет деньгами Багоцкий, и никто не возьмётся проверить австрийские деньги у Цивина. Но тут — нельзя давить, можно всё испортить. Уж как течёт.)

Глазу не на чем остановиться — ни на обтрёпанном ленинском пиджаке, ни на латаном воротнике, ни на скатерти протёртой, ни в голой комнате, где вместо книжной этажерки — два ящика один на другой. Но Парвус — ничуть перед ним не стыдился своих бриллиантов, ни — шевиота, ни английских ботинок: всё это ленинское нищенствование — игра, партийная линия, чтоб задавать тон, служить примером, «вождь без упрёка». В этой задуманной, много лет исполняемой роли — в ней-то и ограниченность, и убогость мышления. Но она — поправима, и Ленину тоже можно будет придать размах.

(А — нет! а — нет! По внутреннему протесту, по противоположности вело Ленина — самому, во всяком случае и всегда отгородиться от всякого доступного близкого избытка. Достаток — другое дело, достаток — разумен, но избыток — начало разложения, и Парвус на этом попался. Деньги пусть текут и миллионами, но — на революцию, а самому — держаться в границах необходимого, самому считать даже раппены и гордиться этим. Совсем не для маскировки и лишь отчасти для примера другим, кого нельзя заставить.)

Быстрым взглядом искоса, снизу вверх, Ленин не враждебно, не обиженно:

— Израиль Лазаревич! Ваша вечная вера во всевластие денег — вас и подвела. Поймите, подвела.

(То ли при малых тратах — как в замкнутой комнате, как при полной секретности: ничего не утекает, твёрже себя чувствуешь, никогда не распустишься, всё сковано и связано. А богатство — подобно распушенной болтовне. Нет! Дисциплина во всём, и в том тоже. Только в ограничениях развивается и движется настоящий напор. И даже: залог за то, чтобы жить в Швейцарии, основа безопасности и всей деятельности, 1200 франков, — есть, но: нет! не платить! — хлопотать — писать — подавать заявления о несостоятельности — просить персонального снижения в 10 раз — тратить золотое время на проходки к полицей-президенту, и даже вместе с Карлом Моором, у кого свой бумажник в кармане раздутый и только руку протянуть, ассигнацию вытянуть. И получив наконец снижение до трёхсот — уплатить только сто и ещё потом долго торговаться, а переехавши в Цюрих — и во-

все не платить, но писать и просить, и переписываться с Берном: ту сотенку перевести в здешний кантон. Это умел Ленин: сжиматься — умел. Только сжатый — дышал хорошо.)

Смысл каждой беседы: себя без надобности не открыв — собеседника понять, понять до дна.

Колким прошупывающим взглядом, с усмешкой скептической:

— Ну — зачем вам собственное богатство? Ну скажите! Ну объясните.

Вопрос ребёнка. Из тех «почему», на которые даже отвечать смешно. Да для того, чтобы всякое «хочу» переходило в «сделано». Вероятно, такое же ощущение, как у богатыря — от игры и силы своих мускулов. Утверждение себя на земле. Смысл жизни.

Вдохнул:

— Да это просто человечески: любить быть богатым. Неужели вы не понимаете, Владимир Ильич?

И — посмотрел. И вдруг в этой плешатё, и старой коже на висках, и уж слишком заострённом, уж слишком напряжённом изломе бровей заподозрил: а — не понимает, не притворяется. Всепронизывающий взгляд, а сбоку — совсем не видит.

Помягче ему:

— Ну как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, как приятно иметь полный слух — вот так же и богатство...

Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение — стать богатым? Это была — врождённая потребность, а порывы торговли, гешефта, не упустить возникающую в поле зрения прибыль, были не планомерным программным, а почти биологическим действием его, происходящим почти бессознательно — и безошибочно! Это был — инстинкт его: всегда ощущать, как вокруг происходит экономическая жизнь и где возникают в ней диспропорции, несоответствия, разрывы, так сами и просящие, кричащие — вложить туда руку и вынуть оттуда прибыль. Это было настолько его существом, что все свои разнообразные финансовые дела, теперь уже раскинутые на десять европейских стран, он вёл без единой бухгалтерской книги, весь подвижный дебет-кредит — в одной голове.

(Ну, в конце концов, личное богатство — это *Privat-sache*, частное дело, верно. Но глаза бурлили и добывали: вообще ли он — социалист? Вот догадка: 25 лет социалистической публицистики — а социалист ли он?..)

Но если ближе к предмету разговора:

— Я же говорю вам! богатство — это власть! Пролетариат к чему стремится — к власти? Имя — у меня было двадцать пять лет, и побольше вашего, и оно ничего мне не дало. А богатство — открывает все пути. Да хоть вот и эти переговоры. Какое же правительство поверит нищему — и даст ему миллионы на проект? А богатый — себе не возьмёт, у него свои миллионы.

Несоразмерная, несимметричная голова доверчиво свисала набок, и дружелюбно, мирно смотрели на Ленина безцветные философские глаза:

— Не теряйте момента, Владимир Ильич. Такие предложения жизнь подносит — один только раз.

Да, это понятно. Ещё в первые дни войны, испытав непривычное удобство — благоприятствующее, подхватывающее крыло (тогда — австрийское), во мгновение перенесшее, куда заказано (не было к Швейцарии пассажирского движения — понёс семью Ульяновых воинский эшелон), захвачен был Ленин открытием такого преимущества: не зависать, не плавать среди слов и понятий, слов и понятий, но раз навсегда покончить с беспомощным зябким эмигрантством, прильнуть и соединиться с движением настоящих материальных сил. Как всегда и во всём — и в этом Парвус опять его опередил.

— Чтобы сделать революцию — нужны большие деньги, — убеждал Парвус, налегши плечом на плечо, дружески. — Но чтобы, к власти придя, удержаться — ещё бóльшие деньги понадобятся.

С другого конца — а поражало верностью.

По высшему центру своей мысли Парвус был несомненно прав.

Но по высшему центру мысли своей — несомненно прав был Ленин.

— Вы подумайте, если соединить мои возможности — и ваши. И при такой поддержке! При вашем несравненном таланте к революции! — сколько ж можно околачиваться по этим дырам эмигрантским? Сколько ж можно: ждать революцию где-то там впереди, а когда она уже вот пришла, за плечо берёт — не узнать?..

Э, нет! Ничем! Ничем — ни совместной радостью, ни жаркой надеждой, ни уж, конечно, лестью, нельзя было на пелену ослабить зоркость ленинского взгляда! Самая узенькая трещина расхождений замечалась им прежде и больше, чем массивы сдвинутых платформ. Пусть — отодвинутый, пусть — неудачник, но во всех удачах Парвуса, и в пророчествах Парвуса постоянно зная: нет, не

так! или: нет, не полностью так! А хоть я — ничего не достиг, а правота у меня!

Да Парвусу — смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натошак, и ванну принять, и с женщинами поужинать, когда ревматизм не куёт к одру:

— Так и дальше думаете — деньги через налётчиков добывать? Теперь — «Лионский кредит» будете грабить? Так вас же в Каледонию сошлют, товарищи! На галеры!

Смех одолел.

В несогласии тонко шевельнулись брови Ленина. Но взгляд испытующий — безпристрастно смотрит на проблему.

Налетать на банки ещё прежде законной всеобщей экспроприации капиталов — теоретически здесь никакой ошибки нет, это — как бы взять займы у самих же себя из будущего. А практически — ну, как удастся. В чём за революционные годы большевики несомненно успели — именно в эсках. Начинали с налётов на билетные кассы, на поезда. А уж первые 200 тысяч из Грузии преобразили жизнь партии. А если бы в 907-м взяли в Берлине в банке Мендельсона 15 миллионов (Камо по пути арестовали, сорвалось) — так о-о-о! Метод рискованный, но очень эффективный, и во всяком случае не марает партию, как связь с иностранными штабами.

— Марает? Попасться боитесь? — тоже в щёлки сдвинул глаза, нарочно, стыдит, презирает и поучает Парвус. — А я вам скажу из верного опыта: на больших... предприятиях — никогда не попадётся. А вот кто на маленьких жмётся — вот тот и попадаетеся.

Толстокож! Что говорят — ему наплевать, прёт по миру тумбами-стопами, давит.

Косит у Ленина правый глаз. Сердится.

Парвус — в сочувствии. Он студенистыми руками берёт Ленина за обе руки, неприятная манера, он говорит как глубокий друг (с ним когда-то чуть не стали на «ты»):

— Владимир Ильич, не упускайте анализировать! Надо же проанализировать: отчего вы уже проиграли одну революцию? Не от ваших ли собственных недостатков? Это важно на будущее. Смотрите не проиграйте вторую.

Да какая же наглая самоуверенность! Какого чёрта лезет в учителя? Опять себя навязывает в новые вожди? Уже ослеп от самолюбования.

Вырвал руки! И — с усмешкой, с прорезающей своей усмешкой при вздёрнутых бровях, в издевательской естественной сти-

хии усмешки, когда краснеет радостно в глазах, наслаждённый торжествующей издёвкой:

— Израиль Лазаревич! Вы бы больше недостатки анализировали — свои. Ту революцию я не проигрывал, потому что я её не вёл. А проиграли её — *вы*! Как же вы сорвались?

И ещё тут — ничего не сказано, ещё остановиться можно. Но всё задыхание от этой туши, давившей рёбра столько лет, но сама стихия издёвки прорывает дальше нужного (и что у него, кроме честолюбия? кроме жажды власти? кроме богатства?):

— А в Петропавловке — что вы так быстро упали духом, от одиночки, от сырости? Что за жалость над своим трупом? Что за патетический дешёвый дневничок на вкус немецкого филистера? Да бред об амнистии! Да без пяти минут жалоба царю? Да разве это похоже на вождя революции?

А сам? — маленький, плешатый, остробровый, остроглазый, с движеньями ёрзкими, суетливыми?

Но кроме них двоих — никому не оставалось быть.

Парвус никогда не краснел, как будто не было в нём той приливающей жидкости красной, а — водозеленистая, и такая же кожа. И — никак бы ему сейчас не гневаться, но когда Ленин выпячивался в издевательскую насмешку и ещё подрагивал при этом, и ещё подрагивал — бросало забыть обо всех его достоинствах! И неразумно отбросить:

— Можно подумать — вы дрались на баррикадах! Можно подумать — вы хоть один раз прошли в уличной демонстрации, когда ждали нагайки! Я, по крайней мере, бежал со ссыльного этапа! А вам — зачем бежать, если вы по ложному свидетельству вместо севера Сибири получили сибирскую Италию?

(Да тут чего только не вырвется: хорошо вам призывать к войне, из нейтральной Швейцарии да всю жизнь без воинской повинности!)

Если вот такое оскорбление выслушать публично — то надо политически убивать, шельмовать до уничтожения. Когда не публично — можно разные решения принять. Может быть, допустить и сочувственность в этой критике. Может быть, и сам забрал острее нужного, такая дискуссионная привычка.

Ах, неразумно было так говорить! Не за тем ехал в Швейцарию, чтобы ссориться.

Парвус — очень может быть полезен, занял исключительные позиции, зачем же ссориться с ним?



Ленин — основа всего Плана. Если он отшатнётся — кто же будет революцию делать?

И — опять усмешка ленинская, но совсем другая, не кусачая, а — пронизательнейшая между умнейшими в мире людьми, и руку на плечо, и полушёпотом:

— А знаете? А хотите знать вашу главную ошибку Пятого года? Из-за чего проигралась революция?

Со встречной самоотверженностью учёного, готовый любой тяжкий укор признать:

— Финансовый Манифест? Поторопился?

Между сдвинутыми их головами — покачал Ленин, покачал пальцем, и улыбнулся, как калмык на астраханском базаре, хваля арбуз:

— Не-ет! Финансовый Манифест — гениальный! Но ваши Советы...

— Мои Советы — объединяли весь рабочий класс, а не дробили его, как социал-демократы. Мои Советы уже постепенно становились властью. И если б мы добились тогда 8-часового рабочего дня, только его одного! — в подражание нам начались бы восстания по всей Европе — и вот вам *перманентная революция*!

Ленин хитро, щёлками глаз смотрел, как самолюбие Парвуса само себя выгораживало, и не торопился перебивать. Ещё эта проклятая путаная перманентная революция всех их троих рассорила: в разные годы, как по карусели, друг другу в затылок, они занимали её положение, а выйдя из тени её — настаивали, что двое других неправы. Двое других всегда были или ещё, или уже несогласны.

— Да нет! — отмахивался Ленин заговорщицким шёпотом и всё с тем же хитро-добродушным азиатским оскалом. — Вы же сами так верно писали тогда: непрекращаемая гражданская война! пролетариат не должен выпускать из рук оружия! — а где же было ваше *оружие*?

Парвус насупился. Никому не нравится вспоминать свои промахи.

Всё так же держась за плечо собеседника, приклонясь, со щёлками глаз и пронизанием (он много думал об этом! да больше всего об этом и думал он!), и в расположении теперь поделиться:

— Не надо было ждать никакого Национального Собрания, ещё другого, помимо Советов. Собрали Петербургский Совет — вот вам и Национальное классовое собрание. А надо было...

Ещё доверительней, вперёд как на конус, как в фокус, всем острым лицом, и взглядом, и мыслью, и словами:

— А надо было со второго дня завести при Совете — вооружённую карающую организацию. И вот — это было бы ваше оружие!

И — замолчал, в свой конус упёртый. Уже больше ничто не казалось ему столь важно. Парвусу обидно:

— Ну раз вы так знаете хорошо — вот и делайте.

Особенность кабинетного мыслителя, мечтателя — он думал годами, и вот открыл, и вот ничто не казалось ему и через десять лет сравнимо по важности. Разрушительное эмигрантство, далёкое от действия, от истинных сил! — жалкая участь. Вся энергия лет и лет ушла на раздоры, на споры, на расколы, на грызню — и вот распахивал ему Парвус всемирное поле боя! — а он сидел на кровати сжатым сусликом и усмехался в конус.

Второй по силе ум европейского социализма — погибал в эмигрантской дыре. Надо было спасать его — для него же самого.

Для дела.

Для Плана.

— Да вы — п л а н понимаете мой? Вы — План мой принимаете?!?

Пробить это его окостенение: он задремал? он коркой покрылся? он ничего не воспринимает.

Ещё придвинулся — и вплотную к уху, должен же вобрать:

— Владимир Ильич! Вы — в союз наш вступаете?

Как глухонемой. Глаз — не прочтёшь. Язык не отвечает.

Рукой повиснув на его плече:

— Владимир Ильич! Пришёл ваш час! Пришло время вашему подполью — работать и победить! У вас не было сил, то есть не было денег, — теперь я волью вам, сколько угодно. Открывайте трубы, по которым лить! В каких городах — кому платить деньги, назовите. Кто будет принимать листовки, литературу? Оружие перевозить трудней — но повезём и оружие. И как будем осуществлять центральное руководство? Отсюда, из Швейцарии, удивляюсь, как вы справляетесь? Хотите, я перевезу вас в Стокгольм? это очень просто...

Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь!

Вывернул из-под него плечи.

## 49

Прекрасно он всё слышал и всё понимал. Но заслонка недоверия и отчуждения перегородила грудь Ленина для откровенности.

Довольно он уже ему о Девятьсот Пятом годе раскрыл.

Ещё бы мог он не оценить этого Плана, кто же бы другой тогда мог оценить? Великолепная, твёрдая программа! Удары — осуществимы, избранные средства — верны, привлечённые силы — реальны.

Теперь уже можно было признать: такого третьего сильного ума, такого третьего пронизывающего взгляда — не было больше в Интернационале, только их два.

Так пятикратно осмотрительным надо было быть. В политических переговорах на самом даже гладком месте — подозревай! ищи западни.

Что ж, Парвус — опять впереди? Нет, теоретически, в общем виде, Ленин это самое и сформулировал ещё в начале войны. В общем виде — Ленин так и хотел, того и добивался. Но у Парвуса поражали деловые конкретности. Финансист.

Против этой грандиозной программы Ленин не мог выдвинуть ни довода неверности, ни довода нежелания.

Всё так. По простому расчёту — главный враг моего врага — первым союзником во всём мире оказывалось правительство кайзера. В допустимости такого союза Ленин и не колебался ни мига: последний дурак, кто пренебрегает серьёзными средствами в серьёзной борьбе.

Союз — да. Но выше союза — осторожность. Осторожность — не как предупредительная мера, но как условие всего действия. Без архи-архи-осторожности — и к чёрту весь ваш союз, и к чёрту весь ваш план! Нельзя же давать ахать и плевать хору социал-демократических бабушек по всей Европе. Подпускал и Ленин в пользу Германии осторожно, что, там, Франция — республика рантье, её не жалко. Но он всегда знал меру, где не договорить и сколько запасных выходов оставить. А Парвус — афишированно кинулся и безвозвратно потерял политическое лицо.

Вот когда Ленин понял слабость его и своё превосходство. Парвус всегда успевал выйти на открытие первым и топал впереди, загораживая дорогу. Но у него не хватало выдержки на дальний бег: он не мог вести Совет депутатов больше двух месяцев, убеждать немецких *соци* больше двадцати лет, — срывался, отваливался. А Ленин чувствовал в себе выдержку — на вечный бег, никогда не сорвать дыхания, бежать, сколько помнил себя, — и до гроба, и в гроб свалиться, никуда не добежав. А — не сорваться.

Союз — да, охотно, пожалуйста. Но в этом союзе быть переборчивой невестой, а не настойчивым женихом. Пусть ищут — тебя. Держаться так, чтоб и при слабости иметь позицию преимущественную, независимую. Даже кое-что такое Ленин уже и сделал в Берне, в прошлом году. Конечно, он не пошёл стучаться к немецкому послу Ромбергу, как Парвус в Константинополе. Но Ленин разглашал свои тезисы, отлично зная, чьим ушам они могут понравиться, — и тезисы до ушей дошли. И Ромберг сам прислал к нему революционного эстонца Кескулу на переговоры, узнать намерения. Что ж, оставаясь в пределах своей истинной программы — свержение царизма, сепаратный мир с Германией, отделение наций, отказ от проливов, — допустимо было чуть-чуть и подмазать: не изменяя себе, не искажая линию, можно было пообещать Ромбергу и вторжение русской революционной армии в Индию. Измены принципам тут не было: ведь надо же штурмовать британский империализм, и кому ж ещё другому? когда-нибудь и вторгнемся. Но, конечно, была уступка, подачка, извив, колёса затягивали, однако случай не опасный. Да и Кескула был со взглядом и повадками волчьими, характером и деловитостью куда посильней размазанных российских с-д — но и тут не чувствовал Ленин опасности: Эстонию так и так отпускать, как и все народы, из российской тюрьмы, искривления линии не было: каждый использовал другого, не отступаясь. Вставили в цепочку Артура Зифельда и Моисея Харитонов, Кескула уехал в Скандинавию и очень-очень там помог, особенно в издательской деятельности, добывал деньги на наши брошюры, помог наладить связь со Шляпниковым, а значит — и с Россией.

Во всём этом не было грандиозности парвусовского плана, но малая, тихая верность — была. А зато политическое лицо — чистое.

И всё чаще в Парвусе — нетерпение. Уже видя, что разговор идёт не так, он кандидата своего упускает, — с горечью, с презрением (а это помочь не может):

— Значит — и вы?.. Как все? Бойтесь носик замазать? Ждёте? А он так надеялся на Ленина! — уж *этот-то*, думал, с ним!

И, вытягивая последние доводы, волновался, потерял своё миллионерское самодовольство:

— Владимир Ильич. Не отставайте от времени. Кому бы кому, но вам это непростительно. Неужели вы не видите, не поняли: эпоха революционеров с пачкой нелегалщины или с самодельной бомбой — отошла безвозвратно. Такие — ничего уже сделать не могут. Новый тип революционера — это гигант, как с вами мы. Он взвешивает миллионами — людей, рублей, и ему должны быть доступны те рычаги, какими государства переворачиваются и ставятся. А к тем рычагам дойти нелегко, вот приходится попасть и в шовинисты.

Тоже верно. Верно. Но...

(Можно бы спросить: а что заплатит русская революция за немецкую помощь? Не спросил, избежал, только выхватил для себя, для памяти. Было бы наивно ожидать бесплатно.)

Но... Вступая в союз, прежде всего не доверяй союзнику. На зыби дипломатических игр — в каждом союзнике прежде всего подозревай обманщика.

Ленин нисколько не дремал — он взвешивал. Если кто дремал — только не он, может быть Парвус в берлинских переговорах? Ленин вот открыл глаза и насылал допытчивую тревогу. И допрашивал, как достукивался в барабан:

— Да разве захочет правительство Вильгельма свергать русскую монархию? Зачем это им? Им нужен только мир с Россией. А с русской монархией они будут охотно и дальше жить и дружить. И все наши забастовки им только нужны, чтоб напугать царя и вынудить к миру, не больше.

Да Па-арвусу ли надо объяснять! Это вид у него такой — богатый, упитанный, холёная эспаньолка с оплывшего двойного подбородка. А если сказать откровенно (а когда-то же, кому-то же и откровенно), тень сепаратного мира замучала все его переговоры с германским правительством. Русско-германский мир был бы могилой всего Великого Замысла. Всё время это подозрение, что немцы вот уже и деньги платят на революцию, а в душе только и думают о сепаратном мире с царём, кого-то невидимого посылают на контакты. Глухо, тайно такие попытки роются, и надо о них догадываться — и вовремя высмеять, опрокинуть: да царь уже и не в *состоянии* заключить мир! если он вдрут и заключит

с вами мир — то тогда власть в России может перенять сильное национальное правое правительство, которое не посчитается с обязательствами царя, — и вы только усилите их позиции!.. Втолковать пруссакам: нет уж, нет, *реальный* мир с Германией может подписать только правительство социалистическое. Дайте же «миру» быть первым лозунгом революции, первой заботой нового правительства! Ему будет и легче идти на уступки: потому что оно не виновно в войне. От такого правительства Германия получит значительно *больше*...

Он уже *видел* тот договор, и готов был бы сам его подписать, обгоняя время.

И перехватил вспышку ленинского взгляда, что и он — *видел*.

Всех подробностей не скажешь (не надо!): там есть разные направления у немцев. Большинство-то склоняется, что Англия — главный враг, и готовы к миру с Россией. И, по несчастью, даже статс-секретарь Ягов, пруссак из пруссаков, хотя считает натиск славянства большей опасностью, чем Англия, но ему, видите ли, неприятен план разложить Россию революцией. (Этого совсем объяснить нельзя, выверты аристократической традиции, скептическая интеллектуальная расслабленность, он не скрывает безгласности к дипломатии агентов, доверенных лиц и маклеров. Что таков — глава министерства иностранных дел, конечно задерживает очень.)

Но при своём изысканном уродстве Парвус умеет и покорять людей. И германский посол в Копенгагене граф Брокдорф-Рантцау — это уже взятый человек, очарованный несравненностью парвусовского ума.

Всеми аргументами против катастрофы сепаратного мира! Напряжённо убеждать: революция в России неизбежна, брожение пошло уже по всей стране, оно уже и в армии, затронуло и офицерство, а образованное общество всё кипит, что ж говорить о рабочих, и даже о военной промышленности, — довольно бросить спичку, и всё взорвётся! Вот можно даже назначить точную дату — и выполнить её!

Но головастый, лбастый, маленький, юркий, усмешка почти не стирается с губ, а убеждённый, кажется, ещё меньше Ягова, безжалостно:

— Так соглашения у вас там — и нет? Недоговорённость? Видимость?

Всевечное преимущество того, кто не действует: переспрашивать, быть недовольным, указывать недостатки.

Гребущими движениями обеих рук, как бы мешку туловища не опрокинуться назад, выравнивается Парвус:

— Не на бумаге с гербами, конечно! Оно всё в динамике! — и надо в каждый момент видеть все контуры и направлять его.

Направлять даже и стратегические удары. Объяснять, уговаривать, напряжённо советовать: только не наступление на Петербург! Этим бы создался патриотический подъём, Россия бы объединилась, а революция заглохла. Но и — никаких военных успехов не давать царю, и особенно важно не допустить до Дарданелл, то было бы непоправимое укрепление его престижа. А самый верный удар — на южном фланге: через союзную Украину, отнять донецкий уголь — и Россия кончена.

А ещё они боятся, как бы это землетрясение да не отдалось в Берлине. И ещё приходится убеждать, что русская революция не перекинется в Германию.

— Как это? как это? — дёрнулся маленький, всё же и поталкивая брюхатого, всё ж отвоёвывая себе место на кровати. — Да вы что?! Вы — примирились, что революция ограничится одной Россией? Вы — и в самом деле так думаете? — остро, колко, допытчиво, исследовательски досматривал, проверял, нет, уже и с возмущением, как привык он ради принципа никогда не сдерживаться в оценках: — Так это ж — предательство!

(Нет, Парвус — не социалист, он кто-то другой!)

Никуда не вылезая из Швейцарии, никакого дела нигде не коснувшись, маленький вот атаковал, порицал:

— Вот и куцо! Вот и не хватает предвидения! Да разве может революция устоять в одной стране?

Ну да, это всё была та самая *перманентная*, та заклятая безконечная карусель, на которой обречены они были втроём кружиться, кружиться, всё меняя места и разя друг друга попрёками вчерашними или завтрашними, и никто никогда не прав.

Парвус — и не хочет германской революции? Он к ней — и не стремится? Ну, не серьёзно же пишут о нём, что он стал немецким патриотом?

Но Парвус — уже не мальчик, на той карусели кружиться. Революционер нового типа, революционер-миллионер, финансист-индустриалист, может себе позволить выражаться и откровеннее:

— Мировая революция сейчас недостижима, а социалистический переворот в России — достижим. Именно против царизма должны сплотиться все рабочие партии мира!

Откровеннее — не значит откровенно. Деликатная проблема, её нельзя открыто выразить в публичной дискуссии социалистических кругов. Но вот и с глазу на глаз единомышленнику не каждому скажешь.

Этот шароголовый, перекатчивый, колкий — почти неуловим. Почти никогда нельзя предсказать его лозунга — удивит. И совсем никогда не узнать, что он думает. *Особых задач социализма в России — он не понимает?*

Даже с Брокдорфом эту проблему легче обсуждать. (Парвус вообще заметил, что с дипломатами всё обсуждать и прямее и проще, чем с социалистами.)

И остаётся только настаивать по поверхности:

— Любым путём уничтожить сейчас — именно царизм, надо думать об этом только!

И — к главному: как уничтожить? Весь смысл приезда и весь смысл этого разговора в том и есть: какие столичные, какие провинциальные подпольные организации согласен Ленин поставить сейчас на подготовку восстания? Кто и где эти люди в их железной связи и в их непобедимой готовности? Знал же Парвус, кого рекомендовал германскому правительству как самого неистового русского революционера! Знал, за каким союзником теперь приехал! Десятилетиями казалось: безумный раскольник! Он отметал всех союзников, раздроблял все силы, не хотел слышать о партии профессоров, не хотел слышать о плавном экономическом развитии, всегда — подполье! только — подполье! партия профессиональных революционеров! В мирную эпоху это казалось дико — и Парвусу, и всем, — но вот, при войне, прорисовалось наконец, какой же он запасливый догадливый умница! Но вот когда наконец пришла пора использовать его могучую тренированную скрытую армию! Вот когда наконец пригодится, что она есть. В расчёте на неё и составлен План.

Однако Ленина так не собьёшь, не повернёшь, он — своё видит и своё настойчиво ведёт:

— И как вы так примитивно переносите революционную ситуацию Пятого года на ситуацию нынешнюю?

Ну, это же ясно: война — разрушительней, длительней, изнурение и горечь масс — несравнимы, революционные организа-



ции — сильней, либералы — и те сильнее, а царизм нисколько не укрепился.

А Ленин всё — своё, его глаза как будто не прямо смотрят, а — по кривым линиям заворачивают.

— Хорошо. Но как вы отсюда так смело назначаете дату начала?

— Ну, Владимир Ильич, ну какую-то же надо назначить — как цель, для единства действий. Ну предложите другую. Но 9 января — наилучшая, символическая, все помнят, и многие даже без нашего сигнала начнут. Легче на улицу выйдут. А — лишь бы первые вышли, а там — пойдёт!!

Что-то жмётся, жмётся Ленин. Ну, понятно: излюбленное подполье открыть — значит отдать. Неохотно.

Уже то, что Парвус так горячо настаивает, — показывает, что хочет тебя использовать.

— Так как же, Владимир Ильич? Пришло время действовать!

(О, понятен ваш план! Вы выступите сейчас объединителем всех партийных группировок плюс ваша финансовая сила плюс ваш теоретический талант, и вот вы — вождь единой партии и Второй революции? Снова?)

Но — из глаз невычитываемых, но с губ непрощевельнувших, но через лысоту непроницаемого котла — с прониканием тоже нерядовым вырвал Парвус ленинские мысли, развернул, прочёл и ответил с бокового захода:

— Почему и предлагаю я вам ехать в Стокгольм: чтоб вы сами руководили от начала и до конца. Вы можете мне никого не называть, ничего не открывать, — только берите деньги, листовки, оружие — и посылайте! Я, — вздохнул Парвус с ослаблением, измотаешься ж в этих политических переговорах, — я, Владимир Ильич, — не тот, что десять лет назад. Я — в Россию не поеду. Я — считаю себя немцем теперь.

(Тем подозрительней. А что ж он всё — о России?)

— Мне только нужно, чтоб выполнен был План.

...Только, может быть, и План — мы понимаем неодинаково?..

Ртутно-неуловимый, ни в руки, ни в аргументы:

— Это значит — как и вы, открыто измараться о германский генштаб? Революционер-интернационалист этого себе позволить не может.

Раза два ещё загребя, загребя обеими руками, туловище привалил:

— Да не марайтесь! Не надо! Эту грязь — я беру, я взял на себя. А вам — даю чистые миллионы. Только — подайте мне трубы, по которым их лить. Только сплетём наши подземные, подводные, тайные нити — и мы в о р в ё м Вторую русскую революцию!! А??

И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, — безцветным концентрированным умом — проникал, хотел понять: отчего же — отказ?

Но в ленинские глаза, бурящие, выкапывающие, нельзя было войти, как нельзя войти в шило.

Двумя шильцами и с усмешечкой косенькой — недоверчивой, угадливой и опровержительной — встретил Ленин такой заман:

— И для этого, вы сказали, — шелестел его голос ехидно, — примирительная конференция в Женеве? Будем примиряться? С меньшевичками? — И откинулся, как отброшенный, ещё б и дальше, да спинка кровати держала: — Да вы что?!? Что значит — *примиряться? Уступить меньшевикам???* — Встряхами головы как бил, как бодал: — Ник-когда! Низ-за-что! С меньшевиками? Да пусть лучше царизм стоит ещё тысячу лет, но меньшевикам — не уступлю ни миллиметра!

Да он вообще — социалист ли?!..

А Ленин ещё доканчивал молча удары головой. Добивал кого-то. Договаривал что-то — со всею яростной мимикой, но — беззвучно.

Нич-чего Парвус понять не мог. Всё-таки ехал — такого не ждал. Великий, неутомимый и самый крайний революционер, при самой лучшей ситуации, при всех высланных ему услугах, — и не хотел делать революцию??..

Уже теряя надежду, уже так просто:

— Но для чего же тогда двадцать лет этих теоретических сражений, разграничений? Где же ваша последовательность? Вы готовили подполье? Вот ему лучшее применение, другого такого не наступит во всю вашу жизнь! Что же вы, роль играли?

— Будем ли упрекаться в непоследовательности? Вы тоже говорили: кучка не может принести революцию массе. А сейчас?

Свесился, свесился Парвус, подбородком с головы, головою — с шеи, шеей — с туловища, руки между колен:

— Да-а-а-а... Ну что ж... Хорошо... Плохо... Времени осталось мало... Значит, буду создавать собственную организацию.

Просчитался Ленин! Пожалеет когда-нибудь.

— Хоть уступите мне кого-нибудь? Нашего общего друга? (Рвать мостов не надо, ссориться не надо, Парвус ещё ого как пригодится.)

— Кого это?

— Ганецкого.

— Берите.

— Чудновский, Урицкий — у меня уже там. Бухарина?..

— Не-ет, Бухарин — натура не та.

— А — сами вы?

Да, ведь Ленин уже ясно выразился: если очень-очень-очень скрыто.

— Так. А — в Скандинавию? Быстро перевезу.

Шильца-глаза:

— Нет. Нет, нет!

Тяжело-тяжело мешку себя таскать. Тяжело вздохнул, от души:

— Да-а-а... А ещё была всей жизни моей мечта, и вот теперь по средствам доступно: выпускать свой собственный социалистический журнал. — Силился гордо закинуть одутловатую голову, повторить отважного, горячего, с кого пошло: — «К о л о к о л»!

Ух-хнула, бух-хнула кровать их четырьмя ножками, опустясь на сапожников пол.

## 50

Удачливый подпольщик — не тот, кто прячется под полом, как мышь, избегает света и общественного движения. Удачливый находчивый подпольщик — самый деятельный участник всеобщей естественной жизни с её слабостями и страстями, он — на виду, в жизненном кипении, и занят чем-то понятным для всех, и допустимо ему тратить на эту повседневную деятельность большую часть времени и сил, — а главная тайная деятельность его течёт рядом, и тем успешней, чем она органичнее связана с открытой повседневной. В этом высшая простота: тайное дело делать в простой связи с открытым.

Так это понимая (у Парвуса невелик был опыт подполья — несколько месяцев 1905 года, после разгрома Совета рабочих депутатов и до ареста, потом после ухода из ссылки и до ухода за границу), а ещё более понимая, что естественно заниматься челове-

ку именно тем, к чему его влечёт, в чём его призвание и дарование, — Парвус после отказа Ленина в мае 1915 предоставить своё подполье для Плана и берясь теперь за всё один, придумал, да даже не придумал, а как дыхание это к нему пришло: что он и его сотрудники будут заниматься в первую очередь и главным образом коммерцией — а революция будет к ней пристёгнута.

И тем же летом он создал в нейтральной Дании, сохранившей первую привилегию свободного западного государства свободно торговать, — Импортно-Экспортное бюро, которому и естественно было теперь начать торговлю с фирмами любого другого государства — Германии, России, Англии, Швеции или Нидерландов, брать где что выгодно, и продавать куда выгодно. Коммерческим директором этого предприятия Парвуса тотчас и стал, с согласия Ленина, Ганецкий. Соединение двух таких огненных коммерсантов есть не удвоение коммерческой мощи, но умножение её. А затем к ним примкнул и третий, мало чем уступающий двум первым, — Георг Скларц (нельзя сказать, чтобы нанесла его судьба-случайность, но был он дружелюбно прислан на сотрудничество от разведки германского Генерального штаба). Этот Скларц (после войны много прогремевший в Германии, даже и в судебных процессах, где ещё и артистом выдающимся выявил себя) оказался самый наинужный третий к ним двоим — тоже гений коммерции, находчивый, сообразительный, молча и быстро готовый к любому поручению и любому обороту дела, изо всякого выйти успешливым. (А за собою он вёл и ещё двух братьев Скларцев: Вольдемара, который стал работать непосредственно в их торгово-революционной конторе, и Генриха, — тот под псевдонимом Пундик уже вёл в Копенгагене с Романовичем и Догопольским тайное бюро, ловя для германского генштаба незаконный экспорт из Германии.) Задуманное соединение хозяйственной и политической деятельности быстро оправдывало себя: гешефт работал на политику, а политика создавала льготы для гешефта. Поддержкой германских военных властей деятельность парвусовской конторы облегалась и делалась ещё более доходной.

Едва возникнув, Импортно-Экспортное бюро за несколько месяцев расцвело и покупало, продавало и перевозило, не ища себе скрупулёзной специализации, — медь, хром, никель, резину, из России в Германию особенно — зерно и продукты, из Германии в Россию особенно — технические приборы, химикалии, лекарства, а были в ассортименте и чулки, и противозачаточные средства,

и сальварсан, икра и коньяк, и подержанные автомобили (в России удалось договориться, чтоб они не подлежали далее у покупателей военной мобилизации). В западной торговле много и других подобных контор толкалось рядом локтями, но в торговле с Россией, на главном для себя направлении, контора Парвуса заняла монопольное положение. Часть товаров везлась открыто, по легальным экспортным лицензиям, другая — по фальшивым декларациям или даже контрабандой, это требовало изобретательности в упаковке и погрузке, кому-то приходилось попадаться и отвечать, — но во всём этом и вертелись Ганецкий со Скларцем, позволяя Парвусу покойно оставаться в излюбленной им тени и вести большую политику.

Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и по России, и назад. Но высшая гениальность была в отправке денег: кажется, неосуществимая задача — беспрепятственно и быстро переливать деньги германского правительства в русские революционные руки — осуществлялась торговой конторой с лёгкостью: она везла в Россию лишь *товары*, только товары, но — с избытком против закупленного в ней, а выручка сотрудничающих фирм вроде Фабиан Клингсланд по общепринятому порядку поступала в банк (Сибирский банк в Петербурге), а там дальше было внутреннее дело конторы — забирать её из России или нет, даже для России *выгоднее*, чтобы деньги оставались в ней. А в Петербурге адвокат-большевик «Меч» Козловский и лица от Ганецкого в любое время любую сумму вынимали и передавали в революционные руки.

Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтобы вести войну, давал деньги выбить её из этой войны!

Тем же своим настойчивым методом соединения тайного и явного Парвус набирал и революционных сотрудников конторы. Для этого он создал в Копенгагене ещё одно подсобное учреждение — Институт по изучению последствий войны, и для набора сотрудников его открыто и много встречался, знакомился, беседовал с социалистами. И всякий раз, когда кандидат проявлял желание и способность нырнуть в глубину — он нырял и становился тайным. А если оказывался неспособным или неподатливым — ничто ему не разъяснялось, и разговор был натурален, и можно было оставить его легальным сотрудником легального Института: Институт тоже не был фикцией, он тоже отвечал прилегающей страсти Пар-

вуса к теоретическим экономическим исследованиям, как и издаваемый в Германии, хорошо оплаченный «Колокол» удовлетворял его социалистическую страсть. (Очень рвался в этот Институт — Бухарин, и действительно, не было для него лучшего места, а для такого института — лучшего сотрудника, но — прав был Ленин: Бухарин слишком прост, как уже показал в Швеции. И уж вовсе слаб Шляпников, чтобы работать в контакте с Ганецким.)

Всё это Парвус решил блистательно — ибо всё это было в его природной стихии. Куда трудней пришлось дальше: кому же передавать в России те деньги? и как вызвать революцию в огромной стране дюжиной торговых агентов да несколькими западными социалистами вроде Крузе? Легче всего было в Петербурге, много связей, тут и Козловский безподозренно мог вести адвокатский приём и вербовать нужных из заводской среды, тут и действовала рьяная группа *межрайонцев*, к объединению меньшевиков и большевиков, как раз исконное направление Парвуса, и через их единомышленника Урицкого был в эту группу действенный вход. Несмотря на раскол социалистических сил в Петербурге, там у Парвуса сколотился хороший актив, вне большевиков и меньшевиков. Но хотя и верно замечено, что революции в государствах совершаются одними лишь столицами, — для надёжности первичного толчка такой обширной стране непременно нужны были волнения и в провинции. А собственные живые связи были у Парвуса только в Одессе, и из Одессы в Николаев. Всю эту немую косную необъятную Россию нечем было поднимать: несколько агентов, даже денег не жалея, в несколько оставшихся месяцев не могли создать сети. А Ленин свою готовую — предательски скрыл.

Но отлично понимал Парвус, но помнил по Пятому году и: как волнения рождаются. Для забастовки, для возбуждения, для выхода на улицу не только не требуется согласное решение большинства, но даже и одной четверти массы, но даже и одну десятую избыточно подготавливать. Одиночный резкий выкрик из толпы, один оратор на проходной, два-три молодца, поднявших кулаки или палки, бывают вполне достаточны, чтобы дать импульс целой заводской смене не идти по цехам или выйти на улицу. А ещё оставались — осуждающие власть разговоры с соседями, передача пугающих слухов (такой слух, как электрический разряд, ударяет дальше без усилий), а ещё оставался разброс листовок по заводским уборным, по курилкам, под станками, — для всех этих первых толчков на пятидесятитысячный завод довольно и пяти человек, а таких

пять человек всегда можно если не по убеждениям найти, то купить в соседнем трактире: кто из трактирных попрошаек не хочет привольных денег?

И — отдельных заводских толчков было бы недостаточно в обстановке иной, но на втором году войны, уже проглотившей столько, при внезапно подступившем голоде, при поражениях армии, при всеобщем брожении и после уже одной испытанной этим поколением революции — таких нескольких толчков достаточно, убеждён был Парвус, чтобы породить сползание лавины. Его стратегия была — лавина от нескольких снежков. Без помощи Ленина за оставшиеся месяцы он не мог успеть больше. Но и в самой дате — 9 января — уже таился рок для царизма: даже безо всяких агентов и без единого уплаченного рубля — этот день не мог пройти спокойно. Но хорошо было — подтолкнуть его.

И так, безраздельно очаровав графа Брокдорфа-Рантцау, едва не диктуя ему его копенгагенские донесения в министерство иностранных дел, Парвус уверенно обещал русскую революцию — на 9 января Шестнадцатого года.

Он — надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далёких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько яро, что простительно ему было ошибиться в порыве.

Но не было это простительно перед германским правительством, а особенно — перед статс-секретарём Готлибом фон Яговым. И всегда — иронист, презиравший этого социалистического грязного миллионера, Ягов теперь заключил, что Парвус надувал германскую империю, никакой революции реально не готовил, а взятые миллионы скорее всего положил себе в карман. По правилам разведок за такие расходы не спрашивается бухгалтерский отчёт. Но далее в Шестнадцатом году из министерства иностранных дел Парвусу не заплатили более ни пфеннига.

Это — не было поражение полное, и даже внешне — совсем не поражение. Импортно-Экспортное бюро продолжало вращаться и обогащаться. На замену министерству иностранных дел сочувственно влился германский Генштаб. Институт по изучению — что-то собирал и изучал. Парвус деятельно вмешался в снабжение Дании дешёвым углем, привлёк датские профсоюзы, сошёлся на равных с вождями датских, а затем и немецких социалистов. Он получил наконец немецкое гражданство, которого искал и просил

с 1891 года, — и теперь при первых же послевоенных выборах несомненно выходил бы в лидеры социалистического парламентского крыла. Его «Колокол» продолжал выпускаться, зовя Германию к патриотическому социализму. Его собственное избыточное богатство росло, капиталы были вложены пакетами акций почти во всех нейтральных странах и уж конечно в исходных своих Турции и Болгарии. В аристократическом квартале Копенгагена его особняк был обставлен диковинностями нувориша, охранялся лютыми собаками, а на выезд ему подавался элегантный «адлер». И даже влияние на графа Брокдорфа ему удалось сохранить ненарушенным — этому постоянному собеседнику впечатать в сознание всю сложность революционной задачи и всю механику затруднений. И через Брокдорфа, сколько позволял такт, — мешать возобновившимся германским поискам сепаратного мира с Россией.

И казалось бы: вереница успехов на прямом пути этого человека могла бы вполне насытить его. Но нет! — таинственным образом беспокойство так и не выполненной задачи — хотя в ту страну он никогда уже не собирался возвращаться — томило и тянуло его. И в долгих ужинах с прусским аристократом он варьировал и пояснял в применении к немецкому взгляду эту свою скорей уже не программу теперь, но — политическое завещание, но — зыбкий очерк будущего. Как революция, едва начавшись, должна набирать свой размах подобно Великой Французской — судебным преследованием и казнью царя: только такая первичная жертва открывает революции безграничность! Как должен быть расsvобождён крестьянам самовольный раздел поместий — и только этим откроется полный размах анархии. А когда анархия достигнет своего высшего взлёта и широчайшего разлития — именно в этот момент Германия военным вмешательством могла бы при самых ничтожных потерях и самых огромных выгодах навсегда освободиться от глыбной восточной опасности: потопить её флот, отобрать её вооружения, скрыть укрепления, навсегда запретить армию, промышленность военную, а то и, лучше, всякую, ослабить её отсечением всего, что только можно отсечь, — и оставить её выкатанной гладкой доской, пусть забудет десять веков своих мерзостей и начинает свою историю снова!

Парvus никогда не забывал зла.

Но сегодня не видел, что мог бы сделать ещё.

А имперское правительство позорно искало сепаратного мира с этой неуничтоженной державой.



А здоровье статс-секретаря фон Ягова всё подтачивалось, всё подтачивалось — и поздней осенью Шестнадцатого года он счастливо ушёл в отставку, уступая пост деятельному Циммерману, не перенявшему от своего предшественника устарелого пренебрежения к тайным доверенным лицам и политическим маклерам.

И — взмыли новые планы действовать! И — естественно поднялся старый укор Ленину: что же он!! что же он??..

---

Кровать — ударила четырьмя ножками о сапожников пол, — и Парвуса выдавило, поставило на ноги-тумбы. И он, тяжело разминаясь, переступил, неся мешок своего изнеженного тела. Обошёл, сел по ту сторону стола, не брезгуя измазать белоснежные манжеты о нечистую клеёнку Ульяновых.

И усмехался — уже не как сильному, уже не как равному, но жалковатому норному зверьку:

— Н-ну?.. Так говорите: Циммервальд?.. Кинталь?.. И хорошо голосуют левые?.. А что же сделала великая партия за два года у себя на родине?.. Почему — ни пузыря на российской поверхности?

Ленин так и сидел на кровати, утанывая, и клонила тяжёлая голова без ответа.

— Вы же говорили — денег вам не надо?

Ленин отвечал потеряннно, еле слышно:

— Мы — так никогда не говорили, Израиль Лазаревич. Деньги — оч-чень нужны. Чертовски нужны.

— Да я же предлагал! А вы отказались!

Ленин — с пересыхающим усилием:

— Почему — отказались? От разумной нетребовательной помощи — мы никогда не отказываемся. И даже охотно...

— В детские игры вы тут играете, в Швейцарии, — хотела бы туша торжествовать, да торжества не было: Россия не проигрывала войны, Германия не выигрывала, их общий главный союзник сдавал.

Ленин еле выводил фразы из горла:

— А за крупные игры надо крупно платить и самим.

У него был — больной взгляд. Открыл глаза доступней обычного — глаза больные, и как будто чтоб от этой боли отвлечься, лишь для этого, но, по болезни, и без напора:

— Да ведь и ваша революция, Израиль Лазаревич, — тоже тютю, мыльный пузырь... Да и наивно было ждать другого.

Заколыхался возмущённый Парвус, и огонь фитиля, повторяя его дыхание, закачался, запрыгал, закоптил:

— Да сорок пять тысяч бастовало в Петербурге! А ну-ка, подняли б вы отсюда ещё своих сорок пять?!

Не давал Ленину возразить, что в тех сорока пяти — и его были.

— ...Путиловский у меня по сроку сбился — а молодчина, как забурлил! А вот Невская застава меня подвела — что ж вы её не подняли? В Николаеве — я прекрасную разыграл стачку — 10 тысяч! и с условиями — невыполнимыми, обеспечено было восстание! — так тоже на четыре дня опоздало. Отсюда не так легко там к одному дню стянуть. А Москва вообще не шелохнулась? Что же ваш московский комитет?!..

(Хотел бы Ленин сам это знать!)

А Парвус — разошёлся, хвастался, как богатством, на пальцах загибал:

— Екатеринославский Металлургический — я поднял! И тульский Меднопрокатный! И тульский Патронный!..

Все эти стачки, действительно, прогрохнули в январе, не 9-го, но — кто их там поднял, кто их там вёл? Отсюда не видно, не доказать, и каждый себе приписывает, меньшевики тоже.

— Совсем немного оставалось — где же *ваши* были? Межрайонцы мне помогли беззаветно, огневые ребята, да кучка их. А вы с меньшевиками — всё мячики перекидываете? Может — листовками вашими, не моими, Россия завалена, а?.. А «Императрицу Марию» я взорвал — не заметили? — громыхал, глаза вычудились. — Броненосец на Чёрном море — не заметили??!

Руки белые холёные подкинул — вот этими руками броненосец взорвал!

— Почему ж не хотели вы соединиться, Владимир Ильич? Где же *ваши* стачки? Где же *ваши* восстания? На каких заводах вы можете обеспечить забастовку в назначенный день?.. С какими национальными организациями вы работаете?..

Неужели не понимает?.. Со всем его умом? Так это удача, хороша маскировка, значит и дальше так держаться.

Почему не соединились!.. Конечно, как-то можно было бы заманивировать меньшевиков. И как-то можно было бы разделить руководство (хотя вот это, вот это, вот это больней и невозможней всего!). А...

А... ограничено умение каждого. Ленин — писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. Произносил речи. Агитировал молодых левых. Всеевропейски сек оппортунистов. Он, кажется, досконально успел узнать вопросы промышленный, аграрный, стачечный, профсоюзный. Теперь, после Клаузевица, и военный. Он понимал теперь, что такое война и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить кому угодно.

И только одного он не мог — *сделать*. Только не мог он — взорвать броненосца.

— Но даже и сейчас не потеряно, Владимир Ильич! — утешал, подбодрял Парвус через стол. Он вынул часы золотые из жилетного кармана, кивнул им одобрительно. — Революцию — переносим на 9 января Семнадцатого года! Но только уж — вместе! Но в этот раз — вместе?

Ну почему — не вместе?? Не понимал проницательный Парвус.

А — не из чего было кроить разговор. А — не из чего было ответить. В позиции, скрываясь, почти ничтожной — в какой там союз можно было вступать или не вступать? Надо было только достойно утаить своё безсилие: что никакой действующей организации у Ленина в России нет, никакого подполья — нет. Если что есть — оно там шевелится само, неподвластно ему и в неподвластные сроки. Что там есть — он просто не знает, у него нет безпербойной связи с Россией, нет возможности послать распоряжение или получить ответ. Он рад бывает, если единственный Шляпников перекинет через границу пачку «Социал-Демократов». Была в Петербурге сестра Аня, кой-что делала потихоньку, переписывались с нею шифром, химическими чернилами, дальним передаточным крюком, — тоже оборвалось. Какие там ещё национальности поднимать? — тут бы партии своей сохранить хоть кусочек...

А Парвус, из скрипящего стула вывешиваясь в обе стороны, ещё великодушно:

— А как там ваши сотрудники русскую границу пересекают? Неужели — своими ногами да в лодочке? Да это же старьё, девятнадцатый век, это забывать надо! Пожалуйста, сделаем им хорошие документы, будут ездить первым классом, как мои...

Парвус может и уродлив, но, там, для женщин или на трибуну выйти. А глаза его безцветные, водянистые — неотвратимо умны, уж это Ленин мог оценить.

Только бы — уйти от них. Только бы не догадался.

Что именно *делать* — Ленин не мог. Всё остальное — умел. Но только не мог: приблизить *тот* момент и сделать его.

А Парвус со своими миллионами, вероятно оружием в портах, со своей конспирацией, уже надёжно угнездясь в каких-то заводах, — схлопывал белые пухлые руки, однако умеющие делать, и допытывался:

— Да чего же вы ждёте, Владимир Ильич? Почему сигнала не даётё? До каких же пор ждать?

А Ленин ждал — чтобы случилось что-нибудь. Чтобы какая-нибудь попутная материальная волна перекинула бы его челночёрк — в уже сделанное.

Как на посмешку, все ленинские идеи, на которые он жизнь уложил, вот не могли изменить ни хода войны, ни превратить её в гражданскую, ни вынудить Россию проиграть.

Челночёрк лежал на песке как детская игрушка, а волны не было...

А письмо на дорогой зеленоватой бумаге лежало и спрашивало: так что же, Владимир Ильич? Участие *ваших* — будет или нет? Ваши явочные адреса? Ваши приёмщики оружия?.. Что у вас есть реально, скажите?

*Что есть* — Ленин как раз и не мог ответить, потому что: не было ничего. Швейцария была на одной планете, Россия на другой. У него было... Крохотная группа, называемая партией, и не все учтены, кто в неё входит, может и откололись. У него было... Что Делать, Шаг-Два-Шага, Две Тактики. Эмпириокритицизм. Имперализм. У него была — голова, чтобы в любой момент дать централизованной организации — решение, каждому революционеру — подробную инструкцию, массам — захватывающие лозунги. А больше не было ничего и сегодня, как полтора года назад. И потому — из военной предусмотрительности и из простой гордости — не мог он обнажить своё слабое место Парвусу и сегодня, как полтора года назад.

А Парвус — нависал через стол, с насмешливо-рыбьими глазами, со лбом, не меньше накатистым, чем у Ленина, и ждал, и требовал ответа.

Он так хорошо перехватил инициативу: спрашивать, спрашивать, тогда не надо объяснять самому. Но у него тоже были причины — почему он молчал полтора года, а именно теперь обратился?

Избегая нависшего недоуменного взгляда из-под вскинутых безволосых бровей, Ленин катал и катал шар головы по письму,

ища, как благовиднее отказать в помощи, а не потерять союзника, как скрыть свою тайну и угадать тайну его. Обходя, что было в письме, и ища, чего в письме не было.

Встречную слабость, как всякую трещинку, выхватывал Ленин прежде всего.

Не было: почему обращается Парвус снова так настойчиво? Значит — сил не хватило? А может — и денег? Ослабела агентура? А может, немецкое правительство не так уж и платит? Ох, тяжела эта служба, когда увязла лапа...

Как хорошо быть независимым! Э-э, мы ещё не так слабы, мы не последние по слабости.

Правая рука с карандашом привычно шла по письму, размечая для ответа — чертами прямыми, волнистыми, хвостиками, вопросительными, восклицательными... А левая быстро-быстро потирала лбину, и лбина набирала аргументы.

Упрекал Троцкий своего бывшего наставника в легкомыслии, нестойкости, и что покидает друзей в беде, — это всё сентиментальная чушь. Это всё недостатки простительные и не мешали бы союзу. Если бы не делал Парвус грубых ошибок политических. Нельзя было так бросаться на мираж революции, открывая себя публично. Нельзя было делать из «Колокола» — клоаку немецкого шовинизма. Вывалялся бегемотина в гинденбурговской грязи — и погибла репутация! И — погиб для социализма навсегда.

А — жаль. А — какой был социалист!

(Погиб — но ссориться всё-таки не надо. Ещё — ой-ой как может Парвус помочь.)

От самой бумаги, от обреза стола Ленин осмелело поднял голову — посмотреть на своего неутомимого соперника. Контуры головы его, и без того безформенной, рыхлых плеч — расплывались и колебались.

Колебались — как качались от горя. Что даже с Лениным не умел он объясниться начистоту.

И, потеряв черты лица, уже больше как облако синеватое — печально оттягивался, клонился, переходил, перетекал в окно.

Но пока ещё было не совсем поздно, Ленин выкрикнул вдогонку, без торжества, но для истины:

— Дать связать себя в политике? Ни за что! Вот в чём вы ошиблись, Израиль Лазаревич! Взять от других нужное? — да! Но себе связать руки? — нет!! Союз с кем-нибудь нелепо понимать так, чтобы связали руки нам!

Утянуло всё дымом, не оставив осадком ни Скларца, ни баула. И шляпа опоздавшая сорвалась со стола — и швырнулась во след.

Оказался Ленин дальновиднее! Пусть он не делал никакой революции, пусть он был беспомощен и безрук, но знал он свою правоту, не сбивался: идеи долговечнее всяких миллионов, без миллионов можно и перетерпеть. Ничего, ничего, и эти конференции с дамами и с дезертирами — они тоже все оправдаются. С алым знаменем Интернационала можно и ещё 30 лет переждать.

Сохранял он главное сокровище — честь социалиста.

Нет, рано сдаваться! И рано бросать Швейцарию. Ещё несколько месяцев настойчивой работы — и можно будет швейцарскую партию расколоть.

А тогда вскоре — начать здесь революцию!

И отсюда зажжётся — всеевропейская!

## ДОКУМЕНТЫ — 2

Его Величеству

Царское Село, 25 окт.

(по-английски)

Мой родной ангел, снова мы расстаёмся!.. Видеть тебя в домашней обстановке после шестимесячного отсутствия — спасибо за эту тихую радость!..

Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания, тревоги, заботы. Но Бог всё делает к лучшему, а потому я хочу верить, что будет к лучшему. Их войска не захотят сражаться против нас, начнутся бунты, революция, что угодно, — это моё личное мнение, спрошу нашего Друга, что Он думает.

Мне не нравится, что Николаша едет в Ставку. Как бы он не натворил бед со своими приверженцами! Не позволяй ему заезжать куда бы то ни было, пусть он прямо возвращается на Кавказ, иначе революционная партия опять станет его чествовать. Его уже стали понемногу забывать.

У меня очень тяжело на сердце. Но душой я постоянно с тобой и горячо люблю тебя.

Навеки, милый, светик мой, твоя старая

*Жёнушка*

Ея Величеству

Могилёв, 26 окт.

(по-английски)

Моя безценная, любимая душка!

От всего моего старого любящего сердца благодарю тебя за твоё дорогое письмо. Нам обоим так взгрустнулось, когда поезд тронулся. Помолвившись с Бэби, я немного поиграл в домино. Легли рано...

Убежала кошка Алексея и спряталась под большой кучей досок. Мы надели пальто и пошли искать её. Матрос сразу нашёл её при помощи электрического фонаря, но много времени отняло заставить эту дрянь выйти, она не слушалась Бэби.

Ах, сокровище моё, любовь моя! Как я тоскую по тебе! Такое это было подлинное счастье — эти шесть дней дома!

Храни Господь тебя и девочек.

Навеки, Солнышко моё, твой весь, старый

*Ники*

## 51

Та дивная лёгкость, с какой Воротынцев проплавал эти девять петербургских дней, — на обратном поездном пути всё более оставляла его. К Москве погасла его победность, и он всё больше накачивался табачным дымом.

И на московскую платформу ступил как бы отерплыми ногами. С большим беспокойством. Со смутной тяжестью.

Отчего уж такая тяжесть? Случиться дурное — ничто бы не должно, значит это беспокойство не было предчувствие дурного. И ко дню рождения Алины он тоже ведь не опоздал — как раз в канун, вечером. Правда, уже поздним.

А вот ещё, оказывается, какая тягота открылась и надвигалась — притворяться. Улыбкой, глазами, словами изображать так, будто ничего в Петербурге не произошло, простая естественная задержка.

Москва была худо освещена, сэкономили фонарный свет, местами совсем темновато, только яркими колесницами прокатывали трамваи, да иные витрины щедро лучились.

Казалось — и на улицах разлита какая-то тревога.

Извозчик быстро гнал, как всегда с офицером. И не замедлять же его.

Знать она всё же никак не могла. Ну, задержался, ну, так-овы военные дела. Можно объяснить, разрядить. Но ко дню рождения — успел.

Ноги, такие лёгкие на Песочной набережной, на Аптекарском острове, теперь гириями вытягивали по лестнице, к себе на третий этаж.

Алина вышла к нему в переднюю, как встав от сильной головной боли. Или вообще больная.

— Что с тобой? — встревожился Георгий, ещё с порога, в шинели, не обняв, только привзвывая за лёгкие локотки. Её болезни и боли всегда отдавались ему как свои, колко.

Она повела бровями над бледным лицом:

— Тебе, по-моему, это лучше меня известно?

И смотрела пронизательно. Такая мертвенность, такая окончательность, переи́денность за все возможные рубежи была в ней, что...

Он поспешил пригнуться к ней и поцеловать. В бровь и попал. В ухо ещё.

Нет, знать она ниоткуда не могла, и догадаться не по чему, — но ударило ощущение, что она в с ё з н а е т, хоть уже и не скрывай. Однако нельзя было отдаваться этому чувству ни в слове, ни во взгляде.

— Ты — больна? — с беспокойством спрашивал он, это всё вместе. Никогда ему не было перед ней так неловко, виновато и заодно так жаль её.

Она закинула голову, долго молча посмотрела на него как на потерянного, сощури́в глаза. Сказала:

— Из-за тебя.

И, не дожидаясь, пока он шашку снимет, разденется, — ушла.

— Так ведь я же приехал, успел! — оправдательно крикнул Георгий. — Я же — успел!

Не отвечала.

Он быстро разделся, шинель кое-как на колок — и быстро пошёл за ней вослед.

В большой красивой коробке из-под шоколада (она собирала красивые коробки, потом находила им применение) Алина, стоя



у комода, перебирала, искала какую-то мелочь, полуспиной к нему. К нему — беззащитным изгибом шеи под свежезавитыми кудрящимися волосами. И обиженным плечом.

Георгию было так весело и пьяно эти дни — как же ни разу ему не передалось, что ей — так плохо? И правда, почему ж не мог он хоть раз собраться прилично ей написать? — ведь она же просила писать каждый день и ждала так.

Не пожалел её ни разу. Вот этой беззащитной шейки.

Всё же предполагая не худшее, взяв за плечи её не сильно, чтоб она не вывернулась плечами, он повторял сзади:

— Ну, Алиночка, не сердись. Не огорчайся. Прости.

Она полуобернулась, посмотрела со скорбью, ответила раздельно:

— Ты — о п о з о р и л меня!

Георгий вздрогнул, так это отчётливо пришлось: знала!

Медленно отвернула голову. Опять стояла затылком.

Знала!?? Да — откуда??

Но плеч не вырывала.

Раз не вырывала — всё-таки, значит, нет!

Но ничего другого такого страшного быть не могло.

Он стоял и смотрел на её затылок, на тонкое вырезанное ухо, у неё красивые были уши.

Иногда возникало так, неожиданно для него: по невнимательности, по неуклюжести, по торопливости он делал ей больно, оказывался виноват, сам того не заметив. И не было лучшего способа перейти от расстроенного существования к безпрепятственному, как попросить прощения. А сегодня он был виноват — не на одно прощение. Просить прощения — это был обряд между ними, всегда успешный. Или уж привести сильный отвлекающий довод, к сильным доводам Алина была прислушлива.

Но для того хоть положение надо понять. Бормотал:

— Ну, Алиночка, я же приехал вовремя.

— Вовремя?? — обожглась она, покинула коробку, резко повернулась к нему: — Это называется вовремя? После трёх телеграмм! Четырёх писем! — ещё, наверно, и не дошли.

Глаза Алины загорелись — и лицо сразу посвежело, стало не вялым, не больным, — удивительно быстро у неё лицо менялось! Ну, хоть здорова! Опоздал, только-то?

Держал её за плечи, перед собой, уверенней.

Десять дней вместо четырёх, да. Но — головотяпы в Главном штабе, отделились от Действующей армии и как будто дела им нет. (Мало, где ж — неделя?) И в министерстве... Сперва обещали, тянули. (Ещё мало.) Да и Свечин задержал: дал телеграмму, что едет в Петроград, и был смысл его дожждаться. Выяснить, есть ли возможности со Ставкой. (Может, Ставка её хоть чуть порадует? Нисколько. И это ещё она не сообразила, что из-за Ставки придёт-ся сейчас и уехать раньше.)

Георгий говорил горячо и старался честно, прямо смотреть ей в глаза, не увиливать. Это — первый раз ему так досталось, невыносимо. И чувствовал, что краснеет, заметно покраснел. Ну, всё! Догадалась...

Уголки глаз её сжались — усмешкой? подозрением?

— Я тебе телеграфировала приехать — к а к?

— Не позже как за день.

— А — ты?

— Я — за день и приехал.

— Это называется — за день?! Вечером накануне — это за день?

Она — раненая была, она остро страдала, бедняжка, но — о-о-о! — с Георгия снималось шеломящее первое впечатление, что она всё узнала. Если обида только в задержке перед днём рождения — это мы как-нибудь исправим. День рождения — это мы перестои́м.

— Я так понял: «за день» — значит не в тот день... Прости! — Он поднял её невесомые, тонкие кисти, приложился к одной, и к другой.

Да, день рождения — высший, светлый день (именины не так, она не любила свою святую), но в их годовом кругу и ещё с полдюжины высших, светлых, ритуально-священных, целый частокол. И он же не пропустил!

Она горько усмехнулась:

— Приехал!.. Спасибо! Когда уже гости отменены.

Нет, всё оказывалось не так страшно.

— Ну, не поздно — с утра позвать их опять?..

Она смотрела горестно-осветлёнными глазами, с истончающим, незащитным слоем — взглядом, испытующим самую душу его:

— Не поздно? Ты думаешь?.. А письмами — ты не мог подкрепить свою Жемчужинку? Почему — письма были такие короткие, небрежные?

Да! Простое благоразумие: написал бы — и всем бы легче. В этом он несомненно был виноват. Но тем расположенней и просил прощения.

Однако: просил — не слишком руками, не притягивая больше и не целуя: оттого, что она *не знает*, — теперь качнуло его: что ведь подкатывает ко сну, что неизбежно сейчас — ложиться. А — дико вдруг, противочувственно, противоестественно показалось.

А — час поздний, он оч-чень устал, он вида этого себе ещё добавил.

Но — не оказалось и нужно. Алина гордо подняла голову — не больную, не измученную, и глаза в глаза сказала, как отпечатала:

— День рождения — ты мне испортил. И — какой!

Отвернулась, вынув бока из его ослабевших касаний, просила щёлкающими шажками по паркету, ушла в спальню и слышно повернула дверной приготовленный ключ.

Всё опять омрачилось, испорченное, запутанное, — на завтра.

Но — и облегчилось: о, как привольно, как свободно спать одному! и совсем не надо притворяться! И как выспаться можно здорово.

Хотел бы поужинать — полезть в буфет? на кухню пойти? — нет, безопасней лечь скорей да свет потушить тоже, чтоб не переигрывать разговора.

Последнюю папиросу — в темноте.

Отчасти этот день рождения и очень кстати подкатил. Позорно было так отвечать Гучкову, но, может быть, обидней было бы ему услышать, что не о солдатах русских полковник думает. Да как можно было и ждать, что он думает о чём-нибудь, кроме блистательной победы? И куда ж бы Гучков его завёл?

Да разве к *этому* Георгий шёл? Неужели?

Очень легко ошибиться в тех, с кем думаешь будто заодно.

Такой же откол и с Шингарёвым...

Да даже ещё и не вчера у Кюба, а только в обратном поезде окончательно понял Воротынцев эту ловушку: и Государь безпредельно предан союзникам за счёт русской крови, и кадетская оппозиция, и заговорщики, — тем же союзникам, той же ценой.

Помнилось — совпало, и тут же разошлось.

Он не нашёл, куда себя применить.

А тут теперь ещё: как же с Алиной дальше?..

И до чего противно лгать лицом, руками. И — подло к ней.

Выдержать это долго будет невозможно. Надо улизнуть да съездить в Ставку.

Её страдания за эту неделю не подлежали такому простому прощению. Не просто памятный день, не просто праздник, но — символ, что мы вместе.

После того вечера у Мумы, когда Георгий, почти ничего и не сказав, не сделав, неожиданно так всем понравился, и Сусанна и другие заказывали видеть его на обратном пути ещё, Алина и придумала: широко собрать гостей на свой день рождения, и уж тут он им нараскажется вдоволь. И уже объявлено было всем.

Но когда он замолчал, оборвал, растоптал — да разве бы она ждала пассивно эту неделю? Да в её характере — ринуться, броситься и прояснить! На второй день его опоздания она уже взяла билет в Петроград — и настигла бы его там, и он не так бы извинялся! Но вдруг — занемогла, озноб, насморк, голова, лежала без аппетита, и уходили последние дни уверенности. И осталось, из гордости, отменить гостей самой, придумать, что они решили отметить день уединённо, не в Москве. И теперь возобновлять не то что было поздно, а — невозможно.

За войну бесконечно огрубел Жорж и одичал. Это ещё и в прошлом году открылось, когда она ездила к нему в Буковину. Там тоже день рожденья — да какой? круглый, тридцатый! — уныло прошёл. Забыл муж, как это было у них лелеемо, излюблено, все семейные годовщины: день объяснения, день первого поцелуя, день обручения, день свадьбы. Он отупел, а её женская долгая задача — смягчать его и возвращать в человеческое состояние.

Была интересная лекция одного музыковеда, он объяснял: в том и верен психологической правде Пушкин, что Германн у него ничего не ощущает, кроме карт, Лиза для него — только ключ в дом. А братья Чайковские добавили любовь к Лизе, и это совсем неправдоподобно, и так развалился ясный сюжет.

Может быть, Жорж и есть — пушкинский Германн, только карты у него — топографические?

Можно и так, конечно, принять, что ничего особенного не произошло. Он непростительно задерживался, но всё-таки вернулся, всё-таки накануне.

Да разве Алина хотела ссор, объяснений? Она любила гармонию в семейных отношениях, любила стройность созданного ею порядка, быта, внешней жизни. Но для этого надо уверенно чувствовать, постоянно знать, что ты — ценима.

## 52

Именно утреннее солнце попадало к ним в два окна из-за Москва-реки. Последние дни были пасмурные, холодные, да и вся эта осень ненастна, — а вот в алинин день рождения с утра выглянуло солнышко. Добрый признак! Символ! Надо снимать с сердца тяжесть. Всё бы плохое закончилось вчера, а сегодня быть бы одному хорошему, Алина не хотела быть злопамятной.

Вышла из спальни — одетая по шее, в высоком воротничке.

И Георгий уже был подбрит, одет по форме, при портупее, и сидел ждал в гостиной. Когда хочет нравиться — он очень мил бывает, откуда-то и галантность появляется. Встал — и навстречу шёл, улыбаясь добро. И нёс — подарок.

Поцеловал, обнял нежно.

Подарок — невесть какой, не что-нибудь задолго готовленное, а сейчас в Петербурге купленный — растяжной фигурный золотой браслетик. В милом футлярчике.

Сам и на руку ей надел.

От ссор, от обид — продолженья хорошего не бывает. Обижаться и не хотелось, хотелось света на сердце. Какой есть, какой имеет быть, — что ж на него обижаться.

Скоро звала его завтракать китайским колокольчиком.

Тихо, уютненько завтракали. Вот светило солнышко — Алина уже и рада, как птичка. Твой единственный, особенный день. Надо сегодня быть весёлой и счастливой.

— Но, Жорж, ведь я всем объявила, что мы с тобой сегодня в отъезде. Теперь никак нельзя оставаться, надо уехать.

Подвинул бровями. Не очень хотел.

— Уж теперь соберём гостей в другой день.

По лбу у него пробежала хмурь.

— Медведь! Тебе бы только за письменным столом сидеть. Сам виноват, что опоздал. Да и погода! Поедем за город!

— А — куда?

Стали перебирать. Хотела бы Алина так, чтобы там гостиница была или пансион, можно было бы и переночевать.

— А может — в С\*? Вот находка! На озеро, в С\*!

— Ну, какое там озеро? Пруд.

— Ты его раньше озером называл!

Согласились.

Но как ни живенько подхватились, собрались, а из дому выходили — солнце уже замутнилось. И дальше натягивало, натягивало серого опять.

Однако наперекор погоде, наперекор потере гостей и весёлого вечера — решила Алина не дуться, не обижаться, чтобы было всё равно хорошо! Должен он и жену почувствовать когда-то, ведь на войне опять зачерствеет.

Но ехали в дачном поезде — задул резковатый ветер, стал протягивать тучки быстро-быстро — серые, тёмные, дождевые.

Чтобы отвлечься, предложила Алина такую игру: вспоминать все именины их обоих, все годовщины венчания, Рождества и Новые года: в каком месте, при каких обстоятельствах, с кем праздновались.

Вспоминали, но больше Алина. Жорж как-то пассивно. И, заметила она, ещё раньше с утра и сейчас, что время от времени он тяжело-тяжело вздыхал.

— Ты почему так вздыхаешь?

Он удивился:

— Разве? Я не заметил.

— Очень тяжело. Ты так — после Восточной Пруссии, сколько в Москве тогда побыл — вот так всё вздыхал.

Удивился, покрутил головой.

Пожалела его. Лечила его рукой к руке:

— Неприятностей много? Неудачно съездил?

Хмурился:

— Д-да, в общем... да... Неудачно.

Задумывала Алина — покататься по озеру на лодке. Куда там! — и лодки все на берегу, перевёрнуты, без вёсел, и мрак такой на небе, на воду не захочешь.

А так хотелось необычайного чего-то!

Только с пансионом повезло: не закрыт, свободен и кормят. Номеров было много, выбрали на втором этаже хороший угловой, одно окно на еловый лес, а из другого и озеро видно. И тепло в номере. И горничная из коридора снова затопила голландскую печь,

дрова здесь вольные, не как в городе. Остаёмся ночевать, браво! Уютненько будет!

А устроились, согрелись — гулять?

Пошли гулять.

Надумала Алина собрать букет из осенних листьев, из разных осенних красотей. Но красных листьев нигде не нашлось. Да и чисто жёлтых, почти. Всё какое-то бурье, старье, да хвойные ветки с шишечками.

Красота не складывалась.

Да и нельзя ничего весело делать, если не оба полной душой. Если ты порываешься как дитя, а твой спутник — как строгая, скучная бонна — не хочет подпрыгнуть, на дерево залезть, и тебе не даёт. Простила его — не ценит, не осветилось, какая-то тягость.

И — вздыхает. Откуда эта привычка вернулась? Уж ради сегодняшнего дня мог бы и сдержаться.

А погода всё портилась: ветер крепчал, натягивал туч — густо, серо, сплошно. Алина озябла и в меховом воротнике, задрожала. Вот тут муж обнял её крепко. И они возвратились в пансион.

— Так может быть — здесь роля есть? Я бы тебе играла, играла!

Оказалось: есть пианино. Но — совсем расстроенное, резало уши. Так обидно стало Алине, она вспыхнула и резко выговорила хозяйке:

— Но как вы можете держать инструмент в таком состоянии? Зачем тогда и держать? Тоже мне пансион!

Судьбу расстроенного пианино она чувствовала как на себе, как судьбу пренебрежённого живого существа. Так же вот и она оказывалась сегодня...

Исключительный день, задуманный во что бы то ни стало весёлым, — разваливался.

Да разве ты одна — можешь его создать? Это нужно вместе, дружненько. Но Жорж был мрачен и мрачен. Сам же всё испортил, сам перевернул, его простили — и вот как?

Налетали вихревые дожди — не обильные, короткие, но — в переменных направлениях, как виделось по множеству быстрых косых капель, всё более явных, потому что переходили в крупу или в снежинки. И когда такой дождеснег, ещё подвешиваемый толчками ветра, сек и насыпал, то, казалось, ненастье не рассеется теперь и неделю.

Оставалось обедать. Спустились в залец. Выбор был небольшой, но заказанное за час — приготовили. Принесли портвейна.

Жорж стал произносить тост, для неё. Вот тут недоставало сверкающего стола, человек бы десяти, как она уже приглашала. Но даже и оставшись вдвоём, но даже и в этом полутёмном зале — можно было сказать и возвышенной, и сердечной. Даже для неё одной, едва ли не на ухо — почему так затруднённо говорил, так неумело, как никогда, — слова как обваливались, фразы разваливались, он просто совсем разучился. Размазал — не сказал ясно ни об их любви, ни — о будущем, ни — чего же, собственно, он ей сегодня желает.

Вместо радости — защемило сердце.

И обед оказался — какая-то кислятина, совсем не именинный. Рисовый гарнир — липкий, чем-то бурым полит, — а вместе с тем и сухой.

— Где это мы читали? — спросила Алина. — Что в Китае подозреваемому преступнику дают есть сухой рис? И так как от волнения он лишается слюны, то есть не может — и тем считается доказанной его виновность?

Этот несъедобный, вязкий, бурый гарнир, так и оставленный холмиком на тарелке, вдруг разбух перед её глазами как символ развороченного, погубленного именинного дня, и даже чего-то большего. И теперь если в какой-нибудь год вспоминать именинные дни — так и будут всегда вставать эти вихри чёрные за окном и этот бурый гарнир.

Слёзы наполнили глаза Алины. Но она удержалась.

А муж — как будто и не заметил. Курил.

За окнами крутило крупой, навевало волнами. Стало так темно, что к сладкому внесли лампы.

И — в их комнате уже стояла зажжённая. А ведь ещё не ночь — ещё весь длинный-длинный вечер впереди!

Маленькая квадратная комнатка: две кровати, две тумбочки, шкаф, комод да туалетный столик. Тоска какая! А в городе бы сейчас!.. Вернуться?.. Ну, в такую бурю и тьму.

Если бы был инструмент! целый бы вечер тебе играла, играла!

Да, да! — это он горячо поддержал, это он всегда любит. Свою сухость смягчать музыкой.

Ну, ч-чем заняться?!



Ах, торопились, не догадались: взять с собой калёных орешков. Она бы легла, он бы рядом сел и колол: ядрышко тебе, ядрышко мне, а если плохое, то не в очередь.

Да дома — многое можно придумать, и у каждого есть свои занятия, а здесь — вместе и безо всего — что придумать?

Нашёл Георгий гвоздь — повесил шашку посредине стены, не в шкафу. Ходил потеряннo, в окно уставлялся лбом.

Села Алина перед зеркалом. Для именинницы — уныло выглядела она.

— Ну вот, по твоей милости такой у нас день рождения. И в насмешку хуже не устроить.

Стоял, упершись лбом в тёмное стекло.

Плакать захотелось. Стягивала силы, чтоб не расплакаться.

Сел на кровать, руки сложа. Молчал. Опять вздыхал.

— Ну ты-то! — взорвалась Алина, — ты-то почему такой мрачный? И что ты всё время вздыхаешь, будто похоронил кого-то?

Через зеркало увидела тёмное выражение его глаз — и вдруг почему-то страшно испугалась, вскочила от зеркала, закричала как не своя:

— Что-о? Что??

А он — не удивился её крику, — и это было ещё страшней. Отвернул взгляд, рукой упёрся в кроватную спинку, и так сидел с повешенной головой.

И — шашка, одна посреди нагой стены, висела над ними, как будто чем угрожала.

Алина поколебалась: может быть, не надо спрашивать ни о чём, искать объяснения? Но и с этими похоронными вздохами, в этой законопаченной комнатухе — как же тут выжить до утра?

— Жорж! Что случилось? — со страхом и ненастойчиво спрашивала Алина. — Почему ты не смотришь на меня? Смотри!

Он — посмотрел. Как будто всё в нём болело, и губы не складывались в речь. И голос глухой-глухой, с переломами:

— Я... ты знаешь... я... ну, как тебе сказать...

Незапомненно давно у Георгия не выдавалось такого безталанного дня. Каждое движение, каждое слово — с усилием. Как бы ему хотелось — завтра же и прочь, на поезд, в Могилёв! — нет, он должен был теперь заглаживать своё опоздание, испорченный

праздник. И — ещё теперь жить в Москве. И о Ставке не посмел заикнуться.

Это первый раз в жизни досталось ему с женой — изображать чего не чувствуешь. Всему как параличному — праздновать. Языком выговаривать чего не было ни в груди, ни в голове.

Да один бы день — можно, но — *всегда* теперь?..

Невыволакиваемо.

Но было и совестно, и — жаль Алину. Он — искренне хотел быть сегодня добрым и внимательным. Но — мёртвый весь.

Жаль было её, а особенно остро стало жаль, когда она чуть не расплакалась над этим бурым рисом, не шедшим в горло, — неужели она не была достойна лучшего дня рождения?

Видел, что всё сползает и губится, — и ничего не мог исправить. Не было сил исправить свой вид, свой тон. (Мёртвый-то мёртвый — а в самой глубокой точке груди, уже не во всю грудь, — держал, сохранял Ольду, она тут в нём вилась.)

Хоть бы отсюда в Москву вырваться вечером! — так нет, дождёмся славной погодочки.

Заперты в квадратной комнатухе, обречены быть вдвоём, вдвоём.

Такой мёртвый, что именно притворяться — труднее всего. Да и как же теперь — всю жизнь прятаться? Ведь от Ольды он ни за что не откажется — и значит, всю жизнь вот так?

Да — спину бы разогнуть! Насколько бы благородней — сказать сразу, самому, и никогда больше не таиться!

Проскочила в голове эта вагонная история: как тамбовская Зинаида заставляла своего инженера с первого же раза — всё сказать жене! И как, ещё в вагоне, когда к Георгию ни с какой стороны не относилось, ему показалось правильно.

Что значит «принято»? В таких положениях извечно принято непременно лгать. А — почему? А насколько душе просторней: сказать правду — и распрямиться. Человек человеку — неужели не может сказать правду?

Так подошёл он всем чувством — но не решился бы. Если б уехали в город — обошлось бы. А когда их заперла тут непогода ещё прежде вечера, да Алина сама наступила с вопросами, а он представил, как неизбежно им сейчас вместе лечь...

Непроговариваемо языком это было, слов не найдёшь, — а ещё выступило: а *ей*-то всё это — за что?.. Уж она-то была не виновата — а разбивалось об неё.

А — сказал.

Никакого нового выражения как будто не появилось в глазах Алины — ни «дальше, дальше!», ни «молчи, не хочу!». Только больше раскрылись — и принимали. Живые осмысленные серые глаза, привычные к пониманию.

Полнообъемно и он смотрел на жену (косым зрением ещё видел и свою шашку на стене).

Она не вскрикнула. Не исказилась. Даже не сморщила лба.

Улыбка! Улыбка недоумения растянула ей губы:

— То есть ты... ? То есть она тебя... ?

Что Алина не вскочила, не вскричала, не взбуйствовала — так пронзило Георгия, так расположило к ней, куда и девалось отчуждение этих суток! Он пересел к ней рядом, на её кровать, и разглаживал край волос на виске:

— Но это не значит, что я тебя разлюбил... Это — совсем не значит.

Боже, неужели так тихо обойдётся? Неужели так просто можно объясняться с разумными женщинами?

Алина мягко склонилась, склонилась — и головой на подушку.

Его рука и туда доставала. Он гладил ей плечо. Свежезавитые волосы. Новая, новая нежность к жене заливала его. Благодарность, что она может понять. Что за женщина! В каких высоких отношениях можно быть!

Нежное примирение как бы застигло их тут — и осенило.

Она заплакала. Но — тихо, покорно. Без взрыда, без упрёков.

— И неужели именно Петербург? — вдруг по-детски, тоненько пожаловалась Алина, первые её слова. — Город, где мы так хорошо с тобой жили? С которым столько связано?

В смягчающей тишине такое наступило облегчение сразу, такое облегчение — вседушевное, всетелесное, будто именно вот этой женщины, лежащей тут, он десять лет добивался, добивался, и наконец... Как опять любил её! Этой мёртвости его вчерашней, сегодняшней — как не бывало.

— Тебе — очень хорошо было с ней? — спросила Алина даже не шёпотом, а дыханием.

— Очень, — честно, просто ответил Георгий.

— Т а к — или вообще?

— Да и... вообще. Ярко.

Алина долго молча лежала, закрыв глаза. Пересев ещё ближе, он нежно гладил ей висок, задевая резное ушко, гладкую молодую кожу щеки.

Она — тонкая родилась. Тонкая.

Так тихо было у них, что через двойные стёкла слышались все завыванья там, снаружи, шорох крупы, ударяемой в окна.

— А что — вообще? — прошептала Алина, не открывая глаз. — Она играет на рояле?

— Нет, — смирно, тихо отвечал Георгий. — Но очень интересно толкует музыку, разбирается тонко. Вообще умная, широко образованная. — И незачем было больше, но его несло говорить об Ольде: — Сложная. Духовно-напряжённая. Не склоняется перед господствующими мнениями. У неё такие глубокие, самостоятельные взгляды на историю, на общество...

Этими открытыми похвалами он и себя защищал, оправдывал. Алина любит умных людей, а Олда так блистательна! — не восхититься ею не может даже и женщина. Как легко, как ласково можно было бы жить на земле, если б люди немного больше понимали, принимали, уступали взаимно.

— Кто ж она? — так же тихо, ласково спросила Алина, уже открыв глаза, но не ища его взгляда.

Вот не думал Георгий. Не ожидал, что при начале же разговора будет прямо спрошено — к т о? Не ожидал, но и от Алины ж он не ожидал такого смирения, такого честного желания понять. А уж если начал — рано или поздно всё равно назвать, почему не сейчас? Даже музыка была в том: назвать это имя вслух.

Но почему-то не выговаривалось. Что-то остановило.

Алина с подушки — глубоким, отплакавшим, спокойным взглядом изучала его.

Он опустил глаза.

Кажется, отвела взгляд. Щекой на подушке беззвучно лежала.

И сам додумывая, и вслух:

— Алочка! Я и мысли такой не имею, чтобы с тобой... расстаться... Я не... Но и... Мне по сути...

Он задумчиво гладил завиток на её затылке.

Она опять подняла голову. Никакого следа слез! — она ничуть не плакала сегодня! Гордое лицо её горело. Глаза были напряжены, полусмежены:

— Скажи, а Вера — знает?

Он удержался, чтобы не вздрогнуть. Совсем неожиданный вопрос. Веренька знает, понимает, конечно, хотя об этом прямо ничего не говорено. Знает! — но! укол в сердце: вот *этого* Алине говорить нельзя! Ах, не успел насладиться правдивостью — и вот уже надо отречься и лгать, да быстро, да правдоподобно под допытчивым взглядом:

— Нет, что ты! — уверенно, твёрдо. — Конечно нет!

Да раз прямо не говорено — так и не знает, верно. *Не такую* правду сказал — уж в этой-то маленькой можно поверить?

Поверила?

Даже вспотел. Вот попал. Вот так и поживи по правде.

Медленно села.

Сухо, строго:

— Что ж. Лучше — это. Лучше это, чем чёрствость, как я приписывала тебе.

Раздельно:

— Я — за тебя — рада.

А тишина была во всём пансионе — глубинная. Оттопились все печи, не стукали кочерги, чутунно отзвонили закрываемые заслонки. Не шаркали по коридору.

Тем яснее слышалось, как струйка воды ударяет по жестяному заоконнику. Значит, и таяло тут же.

И опять, сухо:

— Выйди, пока я лягу.

Он удивился.

Со взглядом женщины знающей и много старше него, она объяснила совсем не гневно, даже дружески:

— Я была с тобой, как с собой. Больше — уж так не будет.

## 53

Она чувствовала себя совсем ребёнком: навалилось горе вдруг такое большое и безпощадное, что детских рук не хватает — поднять его, из-под него выбраться. Она так хотела хорошего! — славненькой, светленькой, ровной, уютной жизни, — а горе свалилось и всё раздавило.

И особенно — эта сторона, о которой хотелось бы никогда ни с кем даже не говорить, — стыдно, низменно и не нужно, — и вот

так безжалостно оно вламывалось теперь. Не давая оставаться в высшей сфере жизни.

Слёзы лились мягко и много.

А — к а к надо было? А — ч т о надо было? Этого нигде не узнать. И никому не сознаешься, что не знаешь.

Но она была низвержена. Она перестала быть Несравненной! Она перестала быть Единственной!

Лились слезы по ушедшей милой жизни, которая уже теперь никак не могла восстановиться прежняя. Даже утреннего сегодняшнего — такого сдержанного, скромного кусочка счастья — уже нельзя вернуть.

С чего день начался — и чем кончился! Да уже вчера было всё разгромлено, но Алина не догадалась. Она так старалась сегодня с утра стать весёленькой, простить его, уже разбитую чашку стянуть ниточками — и пить из неё праздничный напиток. Всю жизнь она хлопотала, устраивала любовь — и сегодня так же. Как крыльшками рвалась она к озеру, в лес...

Но откуда это в нём нашлось? Ведь у него так атрофированы чувства, разве в нём есть способность Большой любви?

Слезы лились — и снаружи плакало небо. Безутешно плакало, хлестало по окнам.

Она перестала быть — Жемчужинкой! Она перестала быть — Полевой Росиночкой!

И это неизбежно увидят и поймут другие, разве это можно скрыть?! На его измене откроется всем, что она — уже не «лучшая из лучших жён».

Он даже не понимает — что он разрушил! Как он ещё пожалеет! Как он не найдёт замены прежнему!

Вера — уже конечно знает, Жорж солгал! Вера конечно видала что-нибудь или отлично догадалась, этого нельзя не заметить.

И поползёт по Петербургу, перекинется в Москву, дойдёт и до мамы собственной, до борисоглебских, — эт-того нельзя перенести! Оказаться брошенной??? Да разве это унижение можно пережить?

И что же т а м — огонь? пламя? Тогда ему и препятствовать невозможно. Тогда препятствовать — у неё нет сил.

Тогда самой остаётся только — уйти?

Из жизни уйти?..

О, как тогда нестерпимо, щемяще станет ему! Это можно представить со справедливым чувством! Вот когда он раскается, пожалеет!

Он — не ценил то, что у него было!

Зачем сказал? Если лёгкая, переходящая измена — за-чем сказал?! Говорится же: Святая Ложь! Надо было промолчать, пережить молча.

Нет, хорошо, что сказал: это и значит, что впервые. Другие мужа легко и просто изменяют, а он — никогда, за столько лет — никогда.

Всё-таки, Жемчужинка — не рядовая!

Но если — уже ничего нельзя спасти? Если он — потерян навсегда?

Через полкомнаты он лежал на своей кровати, не шевелясь, ни разу тяжко не вздохнув, как эти сутки. (По ней вздыхал? Или перед объяснением?) Но не мог же он спать! После *такого* — не мог же он спать?!

Стал таким чужим — и таким вдруг близким, как никогда ещё не был. Ближайшего часа, вот этой ночи она не могла пережить без него, она умерла бы!

Лежал так близко, а не выказывал никакого движения — пере-лечь к ней, погладить, спросить — чем помочь.

Ранил насмерть — и не шёл помочь.

Лежал так близко — а уже не свой. Совсем рядом — а позвать было нельзя.

Она вздрагивала крупными вздрагами.

Никогда подобно не растерзывало её. Эта смесь недоступности и близости, оттолкнутости и притяжения, утерянности и ещё полной возможности вернуть! — эта смесь в темноте как будто начала светиться багрово, проступала калёным излучением через комнату — жгла грудь и выжгла всякие мысли другие, а только вытягивало — стон! Сто-о-о-он!!!

...Как хорошо он придумал: сразу и открыться. Сразу и впредь заслужил себе право на открытость. Эту мертвенность, скорузившую его на возврате в Москву, — как сдуло. С полным облегчением, даже в радостном состоянии, Георгий вытянулся в кровати, заснул.

И проснулся — нескоро. Нет, ещё во сне услышал этот громкий стон, протяжный, на всю комнату, — и сразу, во сне, узнал: это Ольда кричала, это ольдин крик иступления радости, так отдающий гордостью в грудь ему!

Проснулся — от раздирающего стона, в коридор его должно было быть слышно. И, ещё не видя в слабой комнатной серости, различил, что это — кричащий стон Алины, никогда такой не слышанный стон её! Этот стон вытягивала не радость приобретения — а были они равнозвучны!

Окликнул — стонала всё так же, не снижая, не отзываясь. Приподнялся, ещё окликнул, испуганней, — Алину всё протягивал стон!

Георгий сбросил ноги. Перешёл к ней. Наклонился. Спрашивал.

Из окон слабый был свет, а вот что: дождь утих, за облаками сказывалась луна — и можно было различить, как Алина лежит на спине и сотрясается.

Лекарства? Выпить что-нибудь? Схватило сердце от страха, от жалости — бедняжечка! что я сделал с тобой?!

Низко наклонясь, спрашивал — и в отчаянном стоне, в мучительных всхлипах расслышал шёпот:

— Приди ко мне!.. Приди!..

Он не сразу поверил, что так понял. Ведь он — осквернён?

Но — да, так просила она, с ищущей мукой голоса.

Он лёг к ней. Лицо у неё было обильно мокро, а вся она — как из огня выхваченная. Он не помнил её такой, за все годы не помнил.

Скоро она умолкла.

И бережно обнятая им — заснула.

В бережности и нежности друг ко другу они и начали следующий день. Как будто не плохое, а что-то очень хорошее произошло между ними вчера, и они были застигнуты теперь нежным согласием. Кажется, и всегда они жили хорошо, но в этом медленном протяжном дне перешлась какая-то новая ступень близости, даже простоты, — небывалая.



Как-то сразу стало ясно, что они сегодня не возвращаются в Москву, останутся здесь ещё. Алина двигалась так плавно, смотрела так рассеянно, что, кажется, само перемещение поездом или лошадьми могло бы расколоть её.

Дождя больше не было. Проглядывала и голубизна. Потом затгивало. Опять немного солнца.

Долго гуляли, медленно, осторожно — будто чтоб Алину ни на каком корне не тряхнуло. Гуляли позднеосенним лесом. Дуб ещё доранивал свои последние истемневшие листья, а настланное под ногами было и буро, и коричнево, и ещё желто.

Всякой женщины лицо быстро-переменчиво, и алинино тоже бывало всегда, — но такого полного преобразования Георгий не видел, не верил глазам. Алина взмолодилась, похорошела, понежелела, и возвышенным светом засветились её серые глаза — выше, чем грустные: омягчённые.

Она стала просто неотразимой.

Он сказал ей это.

Восхищаясь неожиданно возникшим этим свечением, Георгий лелеял Алину, нежно водил её, укутывал, чтоб не продуло. Ни взрыва, ни ссоры, ни упрёков, даже взглядами! — вот женщина! Какова же, значит, сила её любви, не оцененная им прежде! Именно эту неожиданную возвышенную Алину не только было сочувственно жаль, но благодарность испытывал он к ней, какое-то новое влюбление, давно отхлынувшую, а вот затопляющую нежность, — и естественно было теперь найти для неё много времени, которого он раньше не находил, — и водить её медленным шагом, и холить, и греть.

Раз для него она способна на такое.

Весь мир замер. Никаких событий в мире не было, и ничто никуда не могло звать полковника Воротынцева, а только одно простиралось по поднебесной: чтоб это всё благополучно обошлось. Ни в чём не уступив Ольду, он должен был поддерживать Алину сейчас.

Улыбка тонкая, какую земные существа, кажется, не владеют. Глаза нежно отречённые на лице, враз похудевшем, враз помолодевшим, освобождённом от власти суетных забот.

Георгий просто не верил, что видел. Покорность? Неужели возможно?.. Кажется, и всегда Георгий был нежен к Алине, но не так, как сегодня! Красива она и все годы сохранялась, но никогда — такой духовной красотой.

— Ты стала неотразимой! — повторил.

Он — говорил что-нибудь иногда, а она — почти не отвечала. Вот так светилась — и улыбалась мечтательно. Она весь день не искала и не поддерживала разговоров. Он — начинал, покидал.

Долго гуляли. Долго обедали. А там уж и день к концу, невелик.

Она попросила, чтобы вечером он читал ей вслух. Что-нибудь из книг её любимых. Пошёл к хозяйке, достал «Джен Эйр». Алина обрадовалась. И вечером, часа три подряд, она лежала, а он сидел на кровати рядом и читал.

Тут речь шла о чувствах самых возвышенных. Это — женщина с благородными чувствами написала для женщин с благородными чувствами ещё об одной такой же женщине, когда хочется оценить высоту чувств другого и самой проявить благородство, — и хотя Георгию было порядочно странно сидеть вот так и вслух читать сентиментальную историю, — но он и понимал, что, несмотря на несходство их сюжетов, это всё получилось к месту, и — надо читать, и — надо поддерживать эти чувства благородства и жертвы.

Но — раз, другой, и к концу заметил, что сама-то Алина ничего не слышала.

А была довольна. Что он сидел и читал ей.

И в темноте, обок с ним, не спала долго. Вдруг сказала, самое длинное за весь день:

— Знаешь... Людей, с ранней юности, больше всего должны были бы учить не чистописанию. Не арифметике. Не рукоделию. Не закону Божьему. А — любви...

— Как это — учить любви?..

— Вот — как-то. Если это не заложено в нас от рождения — надо учить.

Думал — заснула. Нет. Обняла его за шею:

— Если б с моей первой ночи ты был другой — я бы тоже чувствовала иначе. Всегда.

Занедоумел уже засыпавший Георгий: при чём тут первая ночь? десять лет назад?

— Я сама поняла только сегодня.

Ту первую ночь — усилия нужны были вспомнить. Но Алина, с новой степенью дружелюбия между ними, как отстранясь, напоминала ему всё, ту комнату, как падал сумеречный последний

свет, как он вышел, она без него разделась, лежала испуганная, а он...

М-м-может быть, может быть... Не убедила, но тронула живой болью воспоминания, тронул поиск её — делиться с ним доверчиво. Удивительнее всего: никогда между ними не названное, и было бы прежде странно, а сейчас — очень просто. Эта крайняя откровенность разговора необычайно степлила их: будто до сих пор вся их совместная жизнь была притворство, а вот — впервые всё по-настоящему, как быть бы с первой минуты.

Но уж завтра-то надо было ехать, пересидели! Для Воротынцева это был — 17-й день как из полка! Всю службу он так служил, что один день просрочки был ему заёжист, перед самим собой. А теперь ещё ему — в Ставку! И — сколько ж это навернётся, как успеть?

Но Алина — ни о каком отъезде не думала. Даже не понимала, о чём это. Всё то же замороженное, блаженно-отречённое выражение было на её лице, и такая же она была хрупкая, что нельзя торопить, растрясывать — разобьёшь.

Вот так так. И откладывать отъезд не хотелось — и невозможно жену не пожалеть. Совсем не легко далась ей новость... Да ведь и правда: ронять, швырять, растрачивать дни он начал в Петрограде. Главное-то время он прожёт с Ольдой. Сползать — только начин. Теперь и Алину надо поберечь.

Опять долго завтракали. С той же размеренностью пошли гулять. Ночь была морозная, и пруд у закраин даже чуть схватило ледком. Держалось холодно, ветрено, а солнечно.

Алина улыбалась погоде. Была в её улыбке — жалостливость и была — несамостоятельность. Как будто внушённая, чужая улыбка.

Касалась его нежно и что-нибудь показывала: вмерзший листик, позднюю птичку.

Сердце Георгия стеснилось: ведь это всё — наделал он.

Предполагал настаивать к обеду уехать — и сил не нашёл. Она хотела остаться — но и имела же право.

Какая-то благотельная душевная работа происходила в ней.

Днём разогрелось, славная осень. Гуляли — всё так же почти молча. Он начинал то и это — она редко отвечала. Жмурилась на солнце. Но благодушно. И не спорила, куда идти или вернуться в пансион, шла в его руке, как плыла по течению.

И в этом их молчании и в этой её смиренности Георгий всё больше утверждался, что никогда не покинет её.

Всё требовало движений, решений, — а Воротынцев должен был бездействовать в этом дурацком пансионе. Не мог остаться ещё на одну встречу с Гучковым, заливался краской, спешил к семейному обряду, — и чтоб заточиться здесь?

Но — не Алина начала. Начал — он. И надо быть ответственным.

Затяжка дней и откладка отъезда — похожи, как с Ольдой в Петербурге, только в чувствах других.

Так и протёк ещё один полный день — их странного, вывороченного, воротившегося медового месяца.

К вечеру не подмораживало, а опять натягивало туч.

Всё время молчали — свобода бы думать. Но даже об Ольде, внутри-внутри него ещё певшей благодарностью и счастьем, — не оставалось простора думать. Не думалось свободно.

Как же, правда, будет с Ольдой?

За обедом Алина рассеянно улыбалась. Но что-то, нет, это не была возвышенная примирённость, как казалось ему вчера. Очень острые углы губ.

А вечером опять настаивала слушать гимназическую «Джен Эйр». И хотя понимал Георгий, что слушать она опять не будет — но не избежать ему читать вслух.

Он читал — и сам уже не понимал. Беспокойство теряемого времени разрывало его. И беспокойство за Алину. С тревогой и страхом посматривал он за странной, блаженной её улыбкой.

И чувствовал, как прикован к этой женщине.

Что ж он наделал?..

\*\*\*\*\*

*ЛАДИЛ МУЖИК В ЛАДОГУ, А ПОПАЛ В ТИХВИН*

\*\*\*\*\*

## 55

А наверно, сколько уж теперь ни встречай людей, даже самых замечательных, но друг твоей юности несравним, второго такого близкого нельзя себе создать. Уже то одно, что: кому пересказывать будешь все подробности прошлого? А твой друг знает их и даже делил, и при внезапном толчке воспоминания — у обоих сразу брови вздрагивают, и смех — взалив, в сотрясенье. (Раньше так...) Или: как нас в училище? —

Выш-ше головку! Нож-жку твёрже!

Здесь вам нэ-ун-н-иверситет!

Впрочем, от училища меньше всего воспоминаний, и на какое, правда, идиотство время ушло? Грубые портупей-юнkers. Тренировка в отдаче чести, вместо того чтоб над учебниками больше посидеть. Укладка платья перед сном — высота не больше 5 дюймов, ширина — 8, а то ночью разбудят перекладывать. Зубрёжка уставов, ненужных к войне. (А самому нужному боевому — никто не учил, да там ещё не знали.)

А вот идея! Помнишь, в Румянцевской мы сидели (в большом зале, в углу, где шкаф с энциклопедиями), проглядывали Владимира Соловьёва — теократическое государство как реальная форма Царства Божьего? И так, в общем, и не добились: разве Царство Божие — это некий идеал вполне земного устройства, к которому допустимо искать реальные общественные пути? Разве это — не в преображённом мире, с другими законами плоти или безплотия, и к человеческой истории никакого отношения уже, собственно, не имеет? Так вот представь, мне сейчас наш бригадный священник дал прочесть статью Евгения Трубецкого, мы её пропустили в своё время... (Это — ещё не сказано, непременно скажется при встрече.)

И даже всё военное за последние полтора года, что пережито порознь, кому ж ещё так расскажется и вложится, как другу юности. Пережили порознь, а поймётся одинаково. Сколько разных дорог исколешено, в разные стереотрубы смотрено, а взгляд — единый. Кончится война, будем живы — не может быть, чтоб мы не вместе что-то... Но мы и сейчас, до всякого конца войны умеем

встречаться! Через столик, врытый в землю под сосной, а то на иглах, раскинувши плащ на двоих и оба ничком, а глазами сойдясь, — ну кто ещё на свете так понимает друг друга! Несколько часов проговорить — а какое душевное омовение. Кажется, дороже, чем повидать бы любимую женщину. (Бы любимую, нет её ни у тебя, ни у меня...)

Ещё в артиллерийском училище, сидя рядом на уроке топографии, узнав систему обозначения всех карт в единых мировых координатах, они придумали такую замечательную штуку: как можно одной латинской буквой и шестью цифрами указать единственный на материке верстовый квадрат. А если ещё и седьмую цифру добавить, то — одна девятая квадрата, сто семьдесят сажений на сто семьдесят, уж так точно, никакого труда найти. Друг друга найти! — в том и затея: эти цифры умело и невинно расположить в письме между текстом, и никакая военная цензура не догадается, что я зашифровал тебе малый квадрат, где стоит моя батарея, а уж название частей и открыто пишется, известно. (Да и квадрат открыто укажи — так тоже не заметят. Просто предосторожность.) Конечно, если один будет под Вильной, а другой на Карпатах, то хитрость ничему не поможет. Ну, а если мы окажемся рядом, вёрст за 20, за 30, и будем друг о друге знать, — так сможем когда-то и съездить?!

И действительно. Хотя кончили они отделение тяжёлой артиллерии, но таких вакансий не было (артиллерии такой почти не было), и разбросали их по дивизиям. Сперва — далеко, а потом Костю приблизили, подтянули, и в этом мае, после тёплого короткого весеннего дождика, когда солнце уже выглянуло, и паром, и запахами земля отдавала дождик воздуху назад, — в белорусской деревеньке, обременённой постоем многих военных, спросил Саня подпоручика Гулая — у одного офицера, у другого, а пока искал, уже Коте передали, и он ускоренно-гонко шёл по улице, первый завидев друга, — и бегом кинулись оба подпоручика и обнялись, хоча: вот какие хитрые! вот ведь как придумали!

А в августе Котя приезжал сюда, к Дряговцу, прямо к этому месту.

И сегодня ему совсем не надо сверяться с картой: уже и землянку точно знал. У сосенки невдали остановил своего коня, соскочил, поводья перекинул вестовому, сам зашагал ходовито, — а Саня с другой стороны совсем. Во как! — неожиданный праздник на несколько часов.

Обнялись. Жёсткое объятие. Да и посиленел же Котя, поперёк рёбер хватает, я те дам. (Наверно — и Саня, за собой не замечаешь.) Губы как мускульные стали. Ещё колче малые подстриженные усики.

Обнялись, но — уже ни следа подхватистой хохотливой горячности. Ну-ка, ну-ка... Чем ты ещё переменялся? Щёки ввалились, ещё посуровел? — нет, даже кажется купол головы изменился, форма висков. Что с тобой? Это — за два месяца всего?

Нет, друг, всего — за два дня.

Как будто голова кверху скошена острей. И глаза подрагивающими веками сжимаются-разжимаются, как для выстрела.

— Да что такое?..

— Рас-ска-жу...

Держа за плечи: переночуешь? С тем и ехал. Хорош-шо!

— С конями распорядишься, вестового устроишь?

— Ну, ещё бы. Цыж! Сквородку картошки! И — *неприкосновенного*, ладно?

Саню одолевает суета принять гостя. А пока ходил распоряжаться, — в землянке, от внутреннего толчка, сменил свою гимнастёрку с георгиевским крестом на простую, пустую. Что-то подсказало в настроеньи. Котя — смелый, Котя — воинственной Сани, ну не попался ему такой случай. И хотя вы оба знаете, что не от подвига зависит, а — кому как повезёт, хорошо ли составлена наградная бумага, и на тот ли стол она ляжет, и в тот ли момент, и могут с мечами дать, кто и боя не нюхал, и могут совсем обойти, а всё равно: чтоб не налетело помешной тенью. Сانه и гордо в новинку, как мальчику, а вдуматься: бессмысленно. И несправедливо, что у друга — только анненский красный темляк на шашке да Станислав.

А дело уже к вечеру. Саня предложил до ужина, пока светло, пройтись, прошлый раз не успели, уговаривались на этот раз — посмотреть, как у гренадеров поставлены противозаэропланные орудия: свои плотники сколотили поворотный помост на осевом болте, перекосили лафет, а под хобот вырыли круговую канаву. Странно, но стало им теперь это всё интересно, как раньше — философские сладкие книги, все эти стереотрубы и буссоли вошли в их жизнь и в разговоры.

Котя не возразил, пошёл. А как будто машинально. Запахнулись против ветра, ещё под тучками разорванными, красными и фиолетовыми с западных краёв, — растягивает, будет холодать. Уже и сейчас земля стыла, подмерзала в неровную колоть.

Прошлый раз Котя сам говорил: уж воевать — так воевать, надо всё и знать. Рассказывал, какие у них, в 35-м корпусе, тумбы из железнодорожных шпал и один правильный справляется крутить: самолёты отпугивали, хотя прямых попаданий не бывало. И Саня сегодня, как извиняясь за гренадеров:

— Конечно, теперь, рассказывают, есть противоаэропланная батарея на бронированных автомобилях. Вот — такую бы, а у нас пока кустарщина.

Котя молчал.

Саня ещё жаловался: у немцев авиация с артиллерией согласована, корректировщики огонь переносят, привязные шары, фотографическая съёмка, а у нас аэропланы портятся, шаров не дают, связи не хватает. А какую разведку и совершат, нам не дают результатов сразу.

Шли позади Дряговца, спотыкаясь о колоть, Котя очнулся, остановился:

— Да что мы — дети? дурачки? Дело — к зиме. Если можно в тепле сидеть — какой солдат по холоду прётся?

Пошли назад. Где-то, собираясь на ужин, солдаты допевали вечернюю молитву.

И не ходили — а устали. И не говорилось. Не тот был Котя, не такой. Правда, в тепло скорей.

Раздевайся. Чернеги сегодня не будет, койка свободная. А Устимович придёт — он нам не помеха.

Для тех разговоров, какие в письмах не помещаются. Для которых и сквозной ночи мало.

Но теперь досмотрелся — Коти не узнать. Не рассеянность, не машинальность, а какое-то постороннее зрение. И растерянность, раньше никак не было в нём. И хотя радоваться тут нечему — а Сане как будто поблизился друг в этом своём новом печальном настроении.

Ещё то, что Котя стриётся под машинку, никакой причёски носить не хочет, придаёт ему полусолдатский, особо отчаянный грубый вид.

Уставился с поднятыми бровями:

— Чего стоим?

Сели.

— Что вы тут о нашем бое слышали, Скрóботовском?

— Ах, так это у вас гудело? И опять у Скрóботова, где летом? Мы — ничего толком...



— Ну конечно, — горько усмехнулся Котя твёрдой губой, до половины бритой. — У нас, если бой неудачен — то надо его замать и от начальства скрыть, и от соседей. Но стрельбу-то вы слышали?

— Да гудело, сильно справа. Когда же, подожди, позавчера?..

— И поза-позавчера. Я — еле жив остался, брат, вот что. Не знаю, как остался.

Теперь Саня окончательно и разглядел: о т т у д а вернулся Константин. И так уже прочно т а м побывал, что и радости нет вернуться. Настроение, когда перегорело сердце. Ногу за ногу заложил, верхнее колено обнял сплетенными ладонями, и мимо друга, мимо стола, в пол куда-то, опущенно смотрел.

На этом скроботовском участке, прошлый раз Котя и рассказывал, в июле наши затевали наступление всего Западного фронта, тремя корпусами. Пытались рвать немецкое расположение у деревни Скроботово. И ведь как было: уже взяли две линии немецких окопов, вдруг необъяснимое приказание отойти. А когда немцы укрепились — послали снова их брать, но уже кукиш. А справа 46-я дивизия вместо демонстрации глубоко прошла, и окопалась, так никто её не поддержал, пришлось ей отступить. И так — под Скроботовым прорвать не прорвали, ничего не взяли, но заняли ложину и по ней подобрались к немецкой позиции вплотную, и там залегли. Ну, так вплотную, как только возможно, как в приказах требуют сближаться, но нигде не сближаются. И начальству — жаль бросить, велели в свои хорошие траншеи не возвращаться, окапываться в 30 шагах от противника. А место мокрое, не накопаешься, так натащили ночью бруствер из трупов, их было в изобилии, и присыпали землёй, вот и позиция, — и месяц сидели в зловонии и с трупными мухами, уже приняхались, землянки наполовину вкопаны, наполовину обложены мешками с землёй. Место гиблое, по десятку, по два покойников вытаскивала 81-я дивизия каждую ночь. Но особенно гиблое — у правого окопа, где сел батальон подполковника Купрюхина: окоп — под самой горкой, занятой немцами, несколько десятков шагов — вообще никакого прикрытия, и ещё немцы сверху спускают на них нечистоты. Просил командир полка покинуть этот окоп, ведь немцы в атаку могут просто соскочить сверху, — командир корпуса генерал Парчевский ответил: «Русский принцип — ни шагу назад!» Купрюхин — маленький, лысый, невзрачный, — а дельный. Так и остался там сидеть, укреплял что мог. С артиллерийского наблюдатель-

ного, с горки Лапина, видно было, как, уже в окопе не находя спасения, там накапывали себе пехотинцы лисьи норы в откосах ложины и туда засовывались по пояс и больше, а ноги хоть изрешети. И кого убивало, так и оставались в готовых полутробах, за ноги их вытаскивали. А то и нет.

А всё это *сближение* было — глупее глупого. Потому что: если не собираешься наступать, то не надо и подбираться. Только облегчаешь контратаку. Так и вышло. При такой близости теряли немало и немцы, хотя они в окопах и реже сидят, счёт на людей у них другой. Теряли—и терпенья у них не хватило. И решили они сбить нас и добыть себе рубеж попокойней.

Самое обидное и даже ужасное в нынешнем бою то, что мы были *предупреждены!* Ночью на нашу сторону перешёл немецкий солдат, интересно: не поляк и не эльзасец, а чистый немец! — спасался? устал? И предупредил, что утром будет атака. А она даже не утром началась, а в полдень, — и всё равно, это ничем нам не помогло. С полуночи до полудня мы не нашли, как перестроиться, как подготовиться, — и те же были потери, и то же отступление, как если б не узнали загодя.

Да и что и как исправлять, если наши пороки — это воздух наш, это мы сами? Немцы воюют с тяжёлой артиллерией, а русские — с Богом. Если исключительно для удобства написания приказов разграничение дивизий ведут по урочищам, но стыки не укрепляют никакими резервами, так что по урочищу гуляй к нам в тыл хоть батальонной колонной? Если наши сапёры строят узлы обороны не в тайных местах, а на горках, чтоб отбиваться легче, — так их под склонами обходи безопасно, и всё? Если третий год войны — а мы не можем стальных касок солдатам на головы надеть, сколько из-за этого лишних убитых? Если противогазных масок Зелинского присылают в обрез, точно по штатному составу, и кто потерял, убыл, остался лежать, — заменяющему маски нет. Если у нас набивают окопы гуще двух винтовок на сажень, так что самим стрелять неудобно? Набивают — будто нарочно, чтоб немецкие снаряды не впустую падали.

Да может Скроботовский бой и не стоит разбора вне 35-го корпуса, он, во всяком случае, не событие для Западного фронта, а тем более — для всей Европейской войны. Но для того, кто там полз, по крови и по мясу, и уже не надеялся выползти, — тому Скроботовский бой разделил всю жизнь чертой: до этого боя и после.

Немцы стянули и повернули артиллерию с нескольких участков и ещё, оказывается, готовили газовую атаку во фланг, с Колдычевского озера. Но ветер взялся устойчиво за русских, и газовую баллонную атаку пришлось им отменить.

Саня и так уже слушал со страданием, даже покачивался. А ещё и газы! — сдавливал голову руками. Всё-таки в удушающих газах есть что-то демоническое, дьявольское, не земная борьба. Если уж газами травим — то мы уже не люди. Да и вид нелюдской, особенно ночью, при вспышках: белые резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, зелёные хоботы.

А разве немецкие огнемёты — людской: передний — с огневою кишкой, а задний согнулся под резервуаром?

Но у немцев и неудача с ветром была предусмотрена. Они тогда начали наступление совсем необычно: химическими снарядами обстреливать наши тылы, где мы никак не ожидали, и особенно много погибло лошадей. (Не было сейчас в землянке Чернеги!) И оттуда, из нашего тыла, ветром тянуло газ на наше расположение. И по нашей батарее били химическими два часа подряд, газ не уходит, все в масках задыхаются, команд не слышно, штабс-капитан Клементьев сорвал свою маску, командовал громко, отравился. А по нашим передним позициям стали густо бить шрапнелью, осколочными, фугасными. Батальон Купрюхина расстреляли сверху, и прыгнули в их окоп. За несколько часов, чередуя с обстрелом, провели семь атак, два батальона с огнемётами, — и забрали всю горку Лапина, и «рощу кривую», и «Австро-Венгерский окоп», как у нас называется. И это всё пришлось на Солигаличский полк. А в контратаку послали Окский.

А наша артиллерийская бригада не рассчитала: вначале была сильно, а потом хватились, что снарядов мало, из-за отравленья лошадей подвоз упал, — и Окскому полку поддержка огнём была слабая, сэкономили. Оттого полк до конца дня только отдельными ротами подымался на перебежки, а не сделал ничего. Да и какие у нас меры вести в атаку? Это от солдат зависит — пойдут? не пойдут? до последнего момента не знаешь. Дружно бросаются, когда наверняка. А то за командиром роты — десяток нижних чинов, не больше. Да и какая атака от части, уже измотанной сидением и пораженьем? Так и день прошёл.

Ночью соседняя 55-я дивизия взяла скроботовский господский двор. А на другое утро полковник Русаковский сам повёл Окский

полк, получил пулю в живот, насмерть, но Австро-Венгерский окоп отобрали.

Отобрали — и набили его людьми. И там их — нас! — целый день молотили снарядами. И больше некуда было поставить наблюдательный пункт, как туда же, в Австро-Венгерский. И послан был подпоручик Гулай. Поставить действительно было некуда, если хотеть просматривать неприятеля, но при временном кабеле, всё время перебитом, все часы он был перебит, сращивать не успевали, а в земле постоянного нет, — от наблюдателя польза козломолочная: сносились записками, бегунок пробивался по ходу сообщения, прерванному, обмелевшему, и носил на батарею записки. Вот такая стрельба. А сидеть в окопе пришлось — на полное вымочивание. А потом — потом немцы пошли в атаку.

Изогнулся угол сомкнутых котиных губ: хорошо — успел Котя взять винтовку убитого. А здоровый немец — прыгнул рядом. Но Константин заколол его первый. Колоть? — совсем было нетрудно, как в масло. А вот вытащить, вытащить! — думал, не вытащу. Ведь колено штыка — оно не пускает, и чем глубже ты загнал, по неумению, — и ты с заколотым, он ещё глаз не закрыл, — как что-то одно, не отделаться от него. И в окопе ж не развернуться. А штык нужен скорей! — вот ещё другой наскочит.

Саня со страхом смотрел на ожесточившееся лицо друга. (Не мне бы так убить!..) К крови привыкли, но — это... Ведь ты — первый раз?.. (А он отвлекал его пустяками...)

— Да, друг, — медленно кивал Котя новым куполом стриженной головы. — Кто раз вернулся из рукопашной...

А вылезали из окопа — на карачках, по раненым и мёртвым. Вот это последнее и заполнило котину память: как через трупы и раненых — на карачках по окопу. А некоторые, кажется, и не раненые ложатся: пусть приходит, кто хочет, только бы в атаку больше не идти. А на повороте окопа, на дне, не проходит пулемёт, и там его разбирают на части, а кто сзади ползут — ждут. А потом в один ход сообщения с двух сторон окопа лезут и друг друга отталкивают. А кто живой остался в окопе — не выиграл: залили их из огнёмётов, и под чёрным дымом сгорали они там, и удушливый газ тянуло по всей местности.

— Страшно??..

— Ты знаешь, отчаянье, когда уже всё равно, убьют тебя или нет. Уже как бы принял смерть и ничего не страшно. И ничего не хочется.

На том бой и кончился: к вечеру отдали Австро-Венгерский окоп и укрепляли новую линию — от Левого Газового окопа и до господского двора. И может ещё какой другой смысл имел этот бой для наблюдателей соседних, а для поручика Гулая вот только этот: как просидели полдня жертвами, ничего не сделав, и лишь чудом спаслись немногие. А недочлись за два дня — тысяча двести пятьдесят три человека. Это — по 81-й дивизии только. Генерала Парчевского самого бы туда посадить. И — всех, кто это Скроботово устроил!

Так и разделилась Европейская всемирная война: до этого полудня и после этого полудня. После — начиналось только сейчас. Ещё не вполне очнувшись, Котя и приехал к Сане.

И какое ж первое утешение на войне, и то одним лишь офицерам, из лавочки бригадного собрания или от врача во фляжке (солдатам всю войну не выдают ни глотка): выпьем? Выпьем, пока есть. И картошка уже не шкварчит, стынет. Упрощение всех мировых вопросов — полстакана жидкости, так похожей на воду. И утешает.

Саня и своё мог рассказать, здесь тоже были события. 18 октября был поиск Московского Гренадерского. Затеяли поиск из-за того, что у немцев целый полк ушёл в Румынию, стало обидно: нас за людей не считают? И просто днём пробили снарядами несколько проходов в проволочных заграждениях — и днём же пошли. И тоже неудача: во-первых, проходы не чисто проделали, пришлось пехоте проволоку дорезать. Во-вторых, немецкие пулемёты не смолкли, видимо — сидели в блиндированных постройках. Кое-где ворвались в немецкие окопы, а несколько рот москвичей залегли в болоте под самой проволокой — и уже дали им приказ отходить поодиночке, а подняться нельзя, огонь даже сильнее, и так до темноты. Вот такой и поиск: взяли одного раненого немца и один пулемёт. А гренадеров — убито 18, ранено 203, из них 147 оставались лежать ещё на сутки, до следующей темноты, потом выносили их.

Из двух боёв ещё и не скажешь, какой нелепей. Но не состоялись рассказы, потому что Саня не был на участке Московского в тот день и не лежал в болоте, а Котя вернулся с того света, не увидевшись с ним больше никогда. Да Саня и не порывался рассказывать о гренадерских новостях: с Котей-то он и ждал от них отвлечься. А уж нет так нет, — послушать Котю, чтобы было ему помягче.

И Константин — выговаривался. После сидения в Австро-Венгерском окопе возникло в нём какое-то резкое знание — и о ближ-

нем, и о дальнем, и о войне, и обо всём мире, чего не было в нём раньше. Раньше он, наоборот, не любил говорить об общем ходе дел, называл это политикой, а только — о своей бригаде, о своём полку, ближее. Новое резкое знание не добавляло ему радости, горечь одну, но вот он как будто стал *знать*.

Что генералы и Ставка нашего горя не делят — и нет им дела ни до чего. А какие есть толковые — что ж они там думают и смотрят? Что офицеры многие ловчат, и героизм стало очень расчётливое: как бы Георгия получить без лишнего риска. (Как хорошо, что гимнастёрку сменил.) А шестинедельные прапоры — вообще не офицеры. И вся армия уже не та, которую мы с тобой ещё застали в прошлом году.

Новое особенное движение появилось у Коти: резкий косой отмах ладонью, всё время правой, как если б он шашкой коротко отрубивал, отрубивал всё ненужное, неправильное, неуместное.

Косо было махнуто, но Саня не мог так легко принять. Побережней, чтоб не перечить, не обидеть, а всё-таки он поражён был, что Котя как будто не главным уязвлён:

— Костенька... Как бы это сказать... В каком-то смысле — терпеть поражение легче, чем побеждать... То есть: страшно умирать в мясорубке беспомощной жертвой... и — жить хочется! Да когда ещё и не жил совсем, как мы! Но когда сам цел, а других убиваешь — всё равно жить не хочется... А?

Саня смотрел на друга с надеждой. Эта мысль была страдательная, запутанная, никто её в армии не понимает, но друг библиотечных юных сидений — должен был понять?

А Котя, с обострившейся, ожесточившейся силой выражения, посмотрел — очумело, как с трудом проталкиваясь через свою ли ещё контуженность скроботовским боем или санино явное завирание. И с досадой:

— А-а, — отмахнулся ладонью косо, — до-сто-евщина!

И — опять в эту позу: нога за ногу, колено обнял сплетенными ладонями, и мимо Сани, мимо стола — в пол, безнадежно упрямо:

— Сами мы с тобой дураки. Какой леший нас добровольно тянул на войну в первые же дни? Прекрасно бы мы сейчас уже кончили Московский университет, теперь бы и в училище! Вот это и обидней всего: сами полезли. Что уклониться было нельзя, повременить нельзя — глупости это всё. Сами себе придумали...

А это вспоминал он как бы санины тогдашние доводы. Что Саня — и тащил их обоих.

Да пожалуй, так оно и было, да. Котя не имел духа укорить прямо, а получалось — так. И требовало от Сани нового теперь обоснования, оправдания: *з а ч е м ж е... ?*

А в голове — шумок от выпитого с непривычки, и то ли смягчает он горечь, то ли даже урезчает? Всё говоримое сегодня между ними ложится, ложится зарубками, трещинами, всё непоправимее отделяя глупое студенческое прошлое от безнадежного будущего.

Саня — этого не ждал. Он даже не чувствовал в себе такого отделения. Даже наоборот: лежишь долгой ночью, не спишь, — и стержень прежней жизни как будто высветливается в темноте, даже как будто продолжается.

А вот — не найдёшься возразить. В потоке человечества почему-то одним дано проявить себя долгой, богатой жизнью. А кому-то — и умереть рано, ничего своего не добавив, только всё в намерениях и мечтах.

— Котенька, ну что делать... Не смеем мы поставлять свою жизнь выше общего смысла. Думаю, для Бога и такая рано отошедшая душа со своим невыполненным — ничуть не менее ценна, и не потеряно её место.

Котя посмотрел с недоумением, будто на слабоумного:

— Как-то знаешь — о Боге... не хочется говорить серьёзно.

Сжал-разжал веки, стрельнул:

— Г д е это — место души отошедшей, не добитой пулей? Должен я поверить этой басне, во Второе Пришествие — что когда-нибудь во плоти восстанут все умершие, воскреснут в индивидуальности Сципион Африканский, Людовик Шестнадцатый и я, Константин Гулай? Чушь такая...

Доковыривали вилками остывшую картошку.

— Ну не так упрощённо... Но и: душа, конечно, не может быть убита пулей...

Константин фыркнул и отвечать не стал.

Тут пришёл Устимович, пригибая затылок под жердевым по толком, — неуклюжий, нелепый, на вид старый, с крупным носом, крупными ушами, всегда замученный невыносимой воинской дисциплиной, ещё больше, чем войной, а ещё ж и разлукою с семьёй, — во всякий момент военного бодрствования затрёпанно-замученный прапорщик Устимович. Вошёл — познакомились. Присел он помочь им картошку доестъ да и глотнуть, что осталось.

Хотел Саня в самом начале, но так и не успел предупредить Котю о *газовом коменданте* — быть к нему снисходительным, не посмеиваться над ним, не выказать презрения, какое бывает у талантливых молодых людей к пожилым нескладным неудачникам: оторвали человека от семьи, от учительства, артиллерии не научили, стрелять не умеет, пушек не знает, да всего-то и несколько месяцев, как на войне.

Не успел предупредить, однако всё потекло очень гладко. Своим домашним голосом со сладким захрипом стал Устимович задавать Коте вопросы, и Котя, не потеряв суровости и свежести переживания, снова, снова, всё снова рассказал теперь и Устимовичу. Это — надо было ему: выговорить, выговорить несколько раз, и тем — отделиться, избыть. И Устимович слушал хорошо, ахал, кряхтел, сочувствовал, — страшно было представить и его беззащитное крупное тело в том мелком окопе, устланном трупами. А когда они друг ко другу сдвинулись через угол стола, Саня вдруг обнаружил, что они даже в чём-то и похожи, хотя Устимовичу изрядно за сорок, а Коте вдвое меньше, Устимович — густочерно-волосый и с вытянутой головой, а Котя — ближе к русому, и стриженная голова раздана в теменах, в скулах. Но одинаково жёстко-мрачный налёт на их лицах, безнадёжность. У Устимовича так — с первого дня, как пришёл.

И никто из них не научился весело воевать, как Чернега.

Настаивал Котя, вполне верно, что необходимо погибнуть в настоящем деле, оказав влияние на ход событий, но обидно погибнуть в безтолочи, никчемушно, в беспомощном месиве. Отчаяние охватывает, не малодушие, — от бесполезности, оттого что сидишь как овца.

А впрочем — уверен был Константин, никогда ещё так отчётливо не высказывал: смерть человека предписана и не оставит его нигде, и избежать судьбы нельзя.

— Штабс-капитан Сазонцев в одном батальоне с начала войны, всё время на передней линии — и ни разу не царапнуло. И воин отличный. И пожалел его начальник дивизии, взял в штаб. В первый же вечер недалеко разорвался снаряд, Сазонцев открыл дверь землянки — посмотреть, где разорвался, — и тут же убит осколком второго.

Устимович кивал, не удивлялся.

— Или был у нас в батарее вольноопределяющийся Тиличев, с самым тяжёлым пороком сердца, обречён. Напросился к коман-



диру ещё в Четырнадцатом, взяли его незаконно. Как воевал! — лез под самую смерть, «мне всё равно умирать, лучше, чем вам». И везде уцелел. А вот недавно — лежал на траве, подошёл чужой поручик: как пройти к землянке командира батальона? Тиличеев: «Рассказать трудно, давайте я вас провожу». Неловко вскочил, сделал два шага — и упал мёртвый.

Устимович — так и думал, он и уверен был.

— Орудийный фейерверкер Денисов. Никогда не боялся, стоял под шрапнелью, не гнулся. Вдруг один раз — как полоумный, бросился скрыться в окоп с запасом снарядов, и далеко бежать. Лёг — и прямо туда снаряд! Что бы было тут, на нас всех! Но снаряд — не разорвался. А Денисова — контузил насмерть. Не-ет, от судьбы не уйдёшь!

Устимович — так, так.

Саня — не мог не возразить:

— Ну что ты уж говоришь! Ну нельзя так. А — где наша свобода воли? Тогда вообще ничего не остаётся от человечества.

Однако пошёл у них разговор так, что к Сане они уже и меньше поворачивались. Устимович рассказал про неудачный поиск гренадеров — и Котя снова выслушал. А тут — чай стали пить, как-то потеплей, поживей, к чаю было у них и печенье в жестяных банках. Сперва ещё о Государственной Думе, что болтают много красивого, но помощи от них нет, помощи — не в банях-поездах, а другой, существенной, — и Котя опять стал косо рубить ладонью:

— Всех этих Милюковых, Маклаковых, Пуришкевичей, Марковых я бы посадил в наш Австро-Венгерский окоп на полдня, пусть отведают «победоносного конца»! А если живыми выберутся — потом могут на трибуне распинаться, пожалуйста!

Устимович — вполне соглашался. Уж ему-то чужей этой войны и придумать было нельзя. Ему бы война хоть завтра кончась полным поражением — только бы домой отпустили.

При чае прокашлялся много раз Устимович, голос его ещё потеплел. Что-то понёс про школу безсвязное, как трудно объяснять неразумникам, — и перешёл на солдат, что сухари жуют и на ходу, и сидя, и лёжа, пока не уснут, и никакого запаса не умеют откладывать.

А Сане стало грустно. Так пошёл разговор, будто Котя приехал не к нему, а к Устимовичу. Немногие часы были для встречи, стольким хотелось обменяться, а тут, пожалуй, и уйди — они не заметят.

Действительно, допили чай — Устимович предложил новому человеку сыграть в шестьдесят шесть или хоть в железку. (Чернега играл несерьёзно, забавлялся, а Саня — вида карт не выносил.) Предложил, и по сегодняшней похожести с Устимовичем можно было подумать, что Котя согласится. А он — ничуть. Он — как очнулся вдруг, вытащил карманные часы, потом посмотрел на Санию. И как будто шелухой посыпался, посыпался с него этот нагар жестокости, которым лицо его было покрыто весь вечер, — глянули на Саню прежние дружеские, мало сказать там — карие, с желтинками, но — единственные такие, хоть всё лицо закрой, — единственные глаза! Размыслительные.

Да разве мог он за карты сесть! — ведь это вид пьянства.

И Саня повёл его пройти перед сном.

Теперь, когда Котя выговорился, — хорошо, что дважды полностью, — теперь он молчал, шагал и молчал. И стал позёвывать. Той зевотой, какой возвращаются к покою.

Темно было, но и звёздно. Очищено небо. А за Голубовщиной кусок неба — светло-багровый, уже луна всходила. Каждый день на час позже, она забирает восходом всё левей и левей. Когда долго живёшь на одном месте, хорошо привыкает глаз, за какими деревьями ждать восхода луны предполной, полной или ущербной. В хорошую погоду в затишные вечера Саня любил выходить и гулять — тут, около батареи, или в сторону Голубовщины. Эти подлунные одинокие прогулки молодили, очищали мысли, высоко...

Можно было и сегодня при лунном заливе хоть до полуночи гулять по отвердевшей земле, наговариваться. Но Котя, сильно ошеломлённый, сильно устал — вызёвывался, вызёвывался.

И так жалко его было.

Немного начал: вот насчёт этого духовного бремени, что на войну мы пошли добровольно. Всё время подавливает, ты прав. А очень убедительно объясняет наш бригадный священник... Что войне логически противостоит безвоенное состояние, а вовсе не мир. Миру же противостоит — зло мирового сознания...

Делал паузы, давая Коте влиться, возразить или согласиться. Но Котя молчал. Загребал сапогами на каждом шаге — тоже похоже на Устимовича, раньше никогда так. И молчал.

Поэтому война — не худшее из насилий... И поэтому мы с тобой, пойдя на войну, не такой уж тяжкий взяли грех... Не так уж и ошиблись.

Нет, не вызвался Котя вместе сложить и проверить эту лестницу аргументов. Отозвался даже раздражённо:

— Да не грех, а — ж и з н ь мы тут отдадим! Кинули — кому? для какого собачества?.. Читали мы с тобой, перечитали всю эту мировую философию, — куда она ведёт, скажи? Чепухой занимались. Слово — вообще никуда не ведёт, ничего не даёт. А только — дело. Слово — испытало полное всемирное банкротство. И все гуманитаристы, и твой Толстой, и все эти Достоевские — бол-ту-ны.

Резко, остро, обрубисто: бол-ту-ны.

И не стало можно дальше говорить.

Поднялась луна над Голубовщиной, полила своим вечно загадочным светом, вечно тянущим душу, — всю бы ночь проговорить. А не складывалось.

Пробрели ещё немного молча — пошли спать.

Устимович уже разлёгся в недюжинную длину на своём земляном колебимом ложе и, конечно, на спине, чтобы храпеть. Время сна — только и было вольное время Устимовича на войне.

Положил Саня Котю на своей нижней койке, сам забрался на чернегину верхнюю.

Увидел ли Котя, что Саня так расстроен, но перед тем, как тот, уже в кальсонах, шагал лампочку задуть, — смягчил, засмеялся по-старому добродушно:

— Слушай, а помнишь того чудака Звездочёта, с которым мы в пивной были? Так вот здесь, в имении, библиотека осталась порядочная, хозяин был — читатель. И там нашего Звездочёта книжечка, представь... Статьи разные, Общественный идеал, Как воспитывать добро... Полистал я, полистал — э-э-эх, все они нестреляные...

Лежал Котя ровно на спине, на двух подушках:

— Зачем — *воспитывать добро*? Нонсенс. Если оно в людской натуре есть, так и без воспитания скажется. А если оно в людской натуре не содержится — так незачем его и придумывать.

Таким Саня его и задул. И полез наверх.

А всё ж — это был уже другой тон.

И слыша в темноте, что Котя не спит, и с раскаянием, что может не так что сказал, и в желании хоть сейчас полушёпотом выбраться в достойный разговор, Саня свесился в темноте:

— Нельзя рубить как топором: или есть добро, или нет. Оно — и есть, и нет. Оно — и в природе нашей, и не в нашей природе.

К нему именно надо развиваться. А в чём же ином смысл нашего земного существования?

Котя не отзывался. Но и не спал.

— Я вот тебе начал про статью Трубецкого — о споре Толстого и Владимира Соловьёва, как понимать Царство Божие. Очень поучительно. Некоторые тонкости христианства, в Евангелии они лишь просвечиваются, прямо не называются, а в повседневном обращении теряют их совсем. Например: кесарю — кесарево. Так ли надо понять, что Христос одобряет Римскую империю и вообще государство? Нет, конечно! Но он знает, что людям ещё долго-долго без государства жить нельзя. Что государство со всеми его недостатками, судами, войнами и стражниками — всё-таки меньшее зло, чем хаос. Но подступит время — и всякое государство должно уйти с Земли, уступая высшему строю — Царству Божьему. Только тут сам Трубецкой уходит от проблемы. Потому что если положить надежды на преображение мира Вторым Пришествием, то и неважно, будем ли мы к нему постепенно развиваться: нам ведь в него не переходить постепенно...

Отозвался Котя, не выдержал:

— Бросай ты, Санька, все эти бредни, какое ещё Царствие Божье? Можно было об этом лепетать в студенчестве, пока мы были щенки и войны не видели. А теперь третий год вся Европа друга месит в крови и мясе, травит газами, плюёт огнём, — неужели похоже на приближение Царства Божьего? Смотри, н а схлопают раньше, нас с тобой!

\*\*\*\*\*

*Многоуважаемая ..... (фрау, фройляйн) ..... !*

*К большому своему сожалению комендатура лагеря Альтдамм должна сообщить Вам, что Ваш ..... (муж, отец, сын, брат, жених) ..., военнопленный ..... (фамилия, имя) ....., родившийся ...-ля 18... года, скончался .....-ря 1916 года в местном лазарете от ..... и был похоронен на местном кладбище со всеми христианскими обрядами.*

*Комендант, подполковник .....*

*г. Альтдамм, ....-ря 1916*

## 56

Так и заснули Саня и Котя, с недоумением друг ко другу. А проснулись — начало дня, бодрость, знакомое дружеское пофыркивание, до пояса голые выскочили наружу, а там — заморозок, солнце восходит, ледяной водой из кружек поливали друг другу спины. И недоумения уже не оставалось, да и времени на него, — звали дела, распорядок. И в конце концов, если голову не суждено сохранить, так что же её и натуживать? А-а, всё разберётся, быть бы живу.

Цыж принёс гречневую кашу — упаренную, выдержанную, зёрнышко к зёрнышку и пропитанную сальным духом. Дружно загребали деревянными ложками.

Тут прибежал телефонист командира батареи и предупредил господ офицеров, что звонили из штаба бригады — какая-то комиссия к ним едет, чтобы подготовиться. А — в чём подготовиться? Не знаю. Да тебе-то кто велел? Старший телефонист. Смеялись.

Рассказал Котя в лицах, как приехал капитан-генштабист и гонял при младших старого полковника вопросами: как тот будет газовую атаку отражать? как — если что?.. И сам сиял скромностью. А старый, честный полковник в три пота изошёл: в боевой обстановке всегда он знал, что делать, а вот перед этим хлыщом в сверкающих ремнях... Смешно-смешно, но кого Котя не любил, это генштабистов: воображают чёрт-те что, боги войны, как будто можно теорию этой неразберихи понять, знать и направлять. Да кто что может заранее предсказать, если поведение роты зависит от того, как один солдат споткнётся?

Нет, не дали спокойно чаю допить — вызывает господ офицеров капитан Сохацкий! Коть, ты не уезжай, мы быстро!.. Нет, братцы, вас сейчас замотают, желаю удачи! Где там мой вестовой, кони?..

Так и расстались не толком, не проводил Саня Котю, обнялись наспех, не объяснились о вчерашнем — да и что ж тут? Всякое между ними бывало...

Капитан Сохацкий, старший офицер батареи, ещё рослей их батарейного командира, длинноногий, как артиллерийский измеритель, в пехотные окопы хоть и не ходи, наблещенный от сапог до

кокарды, ждал их у высокого пня, ногу одну вознес на пень, как другим недоступно, нервно перебирал темляк шашки и озираясь, озираясь тревожно по батарейному расположению, будто ждал атаки вражеской цепи. Так. Он вызвал их насчёт комиссии, а подполковник Бойе, к сожалению, в командировке, в ответственные минуты всегда вот так... Известно только, что: один генерал, один полковник, и что — *теоретики*, но какие теоретики, не сказано. Боже мой, и надо же было именно с 3-й батареи начать!

При утреннем низком белом, уже полужимнем солнце тревожно оглядывал Сохацкий беспорядочно спящую батарею, лишь на днях переодетую в зимнюю форму, ещё не всё подогнано, и старался угадать, какие беспорядки можно заметить и исправить в полчаса? И так, смятенно озираясь поверх голов, он даже не заметил, что перед ним стоят не три взводных командира, а только два.

— Да где же Чернега (трах-тарарах)? Почему по подъёму не явился? Ну, оборву я его сладкую жизнь!

Привычка, усиделись, улежались, ползёт дисциплина, как тесто. Пока спокойные дни — незаметно, а вот тревога...

Устимович старательно накатывал большие валики чёрных бровей и по возможности не горбился перед капитаном, вот и всё, чем он мог быть полезен.

Батарейцы в солдатских папах с отворотными боками, в телогрейках и ватных шароварах сновали своей обычной жизнью, но зорко чувствовали переполох у начальства, а он не мог тут же не опрокинуться и на нижних чинов.

— Заговородный! — длинным жестом завернул капитан семенившего мимо подпрапорщика, фельдфебеля их батареи. Обычно при передках или обозе, а сейчас оказался здесь хлопотливый пригорбленный хохол, всегда по делу, как у себя бы в хозяйстве, пристроился к офицерскому обсуждению.

Бывали у них комиссии — интендантские, санитарные (а цель каждой комиссии — побывать «под огнём» и потом получить награды), но что значил «теоретический» генерал — поневоле брал озноб. Хозяйственная часть, которою больше занимался капитан, отпадала? Хотя и в снабжении своя теория есть... Но что бы ни было, а — внешний вид, комплект, строй, состояние оружия, состояние землянок — никогда не лишние, при любой комиссии.

Что казалось естественным в ежедневной проходке мимо орудейных позиций, мимо землянок — всё вопияло теперь, что распущено, разбросано, не на местах, не в порядке, а резче всего — вид

солдат! По-человечески невозможно было Сане каждый день останавливать и пилить Хомуёвникова, что воротник у него всегда перекошен, полуподнят, недостёгнут, и пояс — наискосок, а не поперёк туловища, и шапка не сидит прямо и плотно, а сбоку насажена и вот свалится. А у Сарафанова пояс распушен, как у беременной бабы, перетянуть боится брюхо. А Улезько и Гормотун вообще себя на военной службе не чувствуют: взятые из соседних сёл в обход воинского начальника, *тутёшние*, они в армии как не сами служат, а постояльцев обслуживают, любят о местном сказки тачать, историю каждой яблони («На цо пан сажае? детей нет». — «А до нас люди были? и по за нами бендзе»), — они и за год не привыкли, что двинется армия, на восток ли, на запад, и им тоже отрываться от своих мурованных будынков и аистовых гнёзд. Да Сане и самому противно такое педанство: ну пусть не затянуто, перекошено, пока можно — пусть люди вольней поживут. А гордым, как Пенхержевский, или образованным, как Бару, замечание сделать просто неловко: у Бару на шинели — университетский значок, а всё обмундирование — временная и горестная декорация при значке; и взять руки по швам даже вежливо его не попросишь, его глаза открыто напоминают подпоручику не о равенстве даже, о превосходстве.

Но двадцать минут ещё есть, р-разойдись!

Лаженицына капитан задержал:

— А скорей всего — правила стрельбы. Тогда никому как вам. Будет повод — я вас укажу, пододвину, а нет — выдвигайтесь сами, берите инициативу!

А может быть — материальная часть? Вкопка пушек? Укрытия для расчётов? Маскировка? Погребов для снарядов? А может быть — противогазовая защита? Прапорщик Устимович, ко мне!

Ах нет, вот он, вот он, негодник! — виноватый, плутоватый, ещё не совсем прочуханный, но очень сытый и довольный, от своей Густавы катил к ним шаром Чернега. И поднял руку доложить с неискренним раскаянием.

А ведь он-то и схватится сейчас всех приготовить! В офицеры перейдя, Чернега из унтеров как и не ушёл — так с ним солдаты слиты.

Поворачиваться надо было, как перед боем. Саня кинулся к своему взводу. Вмиг изменился самый взгляд его, и всё стало видеться непримиримей, вся неидеальность его батареи! А оставалось — четверть часа! Ещё можно было успеть пришить пуговицу на по-

гоне у расхлябанного Жгря, убрать сушимые перед землянками котелки, какие-то запасные консервные банки, обжились тут, снять портянки стиранные, сохнувшие на суках, — но уж пешеходных дорожек (по которым никто и не ходит) не посыпать свежим песком, — а что в самих землянках развешено, разложено? да сухи ли матрасы или отсырели? а если осмотр нижних рубаш навыворот и у кого-нибудь в подмышечном шву *найду*! тогда какой позор 3-му взводу?

Но не успел подпоручик объяснить собранным фейерверкерам, что им проверять и исправлять (а сам, обгоняющей заботой — а у передков что? хорошо ли лошади почищены? сегодня сухо, не должно быть зашлёпа), — как уж гнал за ним вестовой капитана: господ офицеров — к старшему офицеру снова спешно!

И вприбавку, придерживая планшетку на боку, кинулся Лаженицын к капитану Сохацкому, туда ж катил и шар-Чернега, и ступал измученным длинным шагом Устимович.

Снова длинной ногою на пне, о своё высокое колено опираясь, и ещё нервнее теребя темляк шашки, капитан Сохацкий дал очередное прояснение, новую телефонограмму из штаба: *зачем* едет комиссия, узнать не удалось, но сообщали состав: петербургский генерал из ГАУ, ставочный полковник из Упарта, а ещё — свой генерал, инаркор.

Переводя с быстроговорки русских штабов, уставших третий год безконечно вымалывать длинные неповоротливые названия: генерал-лейтенант Забудский — из Главного Артиллерийского Управления, полковник — из Управления при полевом генерал-инспекторе артиллерии, а свой генерал — инспектор артиллерии корпуса (и вёз с собой бригадного артиллерийского техника).

Это уже кое-что объясняло. Значит, пренебрежён будет внешний вид, разбросанные предметы, сухость матрасов, кухня и баня. Проверка будет наверняка не типа «вшей давим, Бога славим». Скорей всего и не тактика, потому что инаркор не отвечает за тактику артиллерии, а только за технику, как и ГАУ. Значит, отпадают, не грозят: конский состав, связь с пехотой, сигнализация, маскировка, обкопка позиций, противогазовые средства... А вот: состояние орудий? расход снарядов? содержание боеприпасов? что ещё? что ещё?

— Трубки? взрыватели? эффект поражения? — искал, помогал капитану Лаженицын.



Ни предвидеть, ни исправить было уже невозможно! Цель комиссии оставалась тайной, и даже тайной зловещей, раз они сумели утаить её и перед штабом бригады, переночевавши.

То есть в общем виде цель комиссии была совершенно ясна: найти какие-то неисправности и придаться к ним. Оттого была совершенно ясна и обратная цель офицеров 3-й батареи: все возможные неисправности всеми средствами скрыть. Цель была: чтобы комиссия уехала и оставила их в покое. И к этому капитан Сохацкий не должен был призывать взводных, они и так прекрасно понимали. Незадача была в другом: что самые хитрые комиссии стараются обходить старших и даже младших офицеров, а промахи ловить у унтер-офицеров и нижних чинов.

— Пододвигайте смышлёных! Угадывайте, что именно надо, и таких пододвигайте. Тут очень легко спутать, не с той стороны козыри подкинуть. Ба! А почему вы все без шашек, господа офицеры?!

Но как раз бежал телефонист, с сообщением, что построение производить без личного оружия. (И капитан Сохацкий сам поспешно отстёгивал свою шашку.) И даже — вообще не строить, потому что в батарее ничего о комиссии не знают.

Итак, все должны были ходить как бы по своим утренним, до начала занятий, делам. (Спотыкаясь, каждый выполнял последние приказания унтера.) С неестественной свободой разошлись и командиры взводов.

Но уже через две минуты Сохацкий, прогуливаясь, увидел внезапно для себя подъезжающую комиссию: она не поместилась в одном автомобиле, и ещё сзади скакали верхами инаркор и бригадный адъютант. (От фольварка Узмошья не было и трёх вёрст до их батареи, тут ходили пешком или катали на дрожках, лёгкая прогулка, автомобиль подали для важности.)

Капитан Сохацкий, радостно изумлённый, вподбежку бросился встречать приезжих, но ещё прежде, чем поднял правую руку для отдания чести и рапорта, махнул-дрягнул левой рукой, и фельдфебель не пропустил этого движения, и трубач заиграл сигнал построения — и весь состав батареи при полной для себя неожиданности чрезвычайно мгновенно и в довольно приличном внешнем виде построился повзводно в две шеренги позади линии своих орудий, замаскированных свежими сосновыми ветками.

Инаркор и бриг-адъютант лихо прыгнули с коней (подбегнуто было принять у них поводья), а комиссия стала с неудобством вытягивать ноги из автомобиля.

Петербургский генерал разочаровал: не во фронте и нескладно он принял рапорт капитана, внезапно снял фуражку и носовым платком вытер лоб и темя (обнаружилась узкая голова с замороженным лбом и залысинами далеко наверх). Не было в нём не только важного генеральского, но даже устойчиво-офицерского: шинель не сливалась с фигурой, а висела на нём, и усы были мало-заметные, так что лицо казалось голо.

Зато полковник из Упарта был высоченный красавец с двумя холёными отдельными зеркально ровными бородами, отходившими от вертикали каждая на 45 градусов, а друг от друга — на 90. Со своей высоты взирал он на всех подавительно-проницательно, что все тут мошенники, приготовились его обманывать, но он их сейчас разоблачит.

А ещё был штабс-капитан — молодой, подвижный, устоять не мог, куда-то порывался.

И ещё был тихенький поручик. Этот сразу достал большой блокнот и приготовился записывать.

Вот от этого блокнота очень падало сердце.

Генерал побрёл, полковник зашагал, штабс-капитан заподпрыгивал в сторону батареи, — и все остальные за ними. И осмеливаясь, по долгу, их обогнать, капитан Сохацкий забежал вперёд, командовал батарее тонко-высоко: «Смир-рна! равнение на...! господа офи...» — и ещё раз напряжённо отрапортовал петербургскому генералу.

Генерал даже и рукой замахал, стеснённый такой ненужностью. Из кармана вынул, надел пенсне, невнимательно оглядел строй, более внимательно — первую пушку первого (чернегиного) взвода и обернулся к свите:

— Э-э... стало быть, с какого времени они непрерывно в боях?

Инаркор наклонился к нему и шепнул.

— Да вольно, вольно, конечно! — улыбнулся генерал строю, прямо солдатам, минуя батарейного командира. — Вольно, голубчики.

Капитан Сохацкий подал «вольно!» и прислушался, ещё вытягиваясь, о чём толковали в свите.

Пока так все стояли на своих местах — подвижный штабс-капитан уже отскочил от них, вспрыгнул на сошку первого ору-

дия, снял чехол, открыл казённую часть, пригнулся и заглядывал в ствол орудия, на просвет.

О чём бы там ни толковали в свите, несомненно стало, что комиссию интересуют именно орудия. (Да хорошо ль почистили каналы последний раз?..)

Комиссия там и сгрудилась, куда подошли близ 1-го взвода, капитан Сохацкий как-то виновато отвечал на вопросы (и в большой блокнот уже сразу записывалось), а младших офицеров не подозвали. Ещё Чернеге поблизости должно было быть слышно, а Лаженицыну к 3-му — ничего.

А штабс-капитан тем временем перелез с первого орудия на второе и заглядывал в него.

Солдаты заметили, что офицеры взволнованы, и сами были многие неспокойны (от комиссий никто никогда добра не ждёт). Самоотверженный Жгарь стоял в первой шеренге вылуپленно, всё равно смирно. На беду в первую же шеренгу почему-то попал Сарафанов, с распущенным-таки ремнём. Позади него лениво-иронично стоял Бару, тяжестью на одну ногу. И из задней же шеренги в черно-блестящих глазах Бейнаровича сверкало открытое удовольствие, что офицеры влипли в неприятность.

Вдруг полутораростовый, двухбородый красавец-полковник отделился от комиссии и крупными шагами пошёл сюда, на левый фланг — так быстро, что Лаженицын заметался, не надо ли опять «смирно» подать, но вовремя вспомнил, что при общем строе и при высшем начальстве нельзя.

Однако породистый полковник совсем и не заметил, был ли тут какой офицер при взводе. Замедляя шаг, он умными, очень зоркими глазами осматривал, осматривал солдатские лица, и остановился именно против Жгаря — во всё значение своего роста, звания и положения остановился против ничтожного, замуторенного нижнего чина — и ласково спросил:

— Скажи, братец, вот когда стреляют из пушки, — бывает ствол такой горячий, чтоб дотронуться нельзя?

Никогда во всю жизнь со Жгарём один на один не разговаривал полковник, да ещё такой барин! Жгарь вытянулся, вылупилсья, голову закинул, а выговорил — из последних сил:

— Так точно!

— Ну, как горячий? — ещё мягче, успокоительнее спрашивал коварный полковник. — Если шапку на ствол положить — задымится?

А у Жгаря ещё и речь была невнятная от рождения, даже когда не волновался, его понимать — привычку надо иметь. Выпалил от-вет — не понял полковник. Но опять же — к нему, терпеливо. И то-гда понял:

— Никак нет, шапку на пушку — не велено класть!

— Ну, а если всё-таки положить? — улыбнулся полковник.

— Никак нет, строго не велено! — теперь уж упёрся Жгарь, как если б неоднократно был такой приказ по батарее.

Лаженицын быстро думал, ловил поймать — в чём же смысл?

А Бейнарович, стоя более чем «вольно», ещё более переняв и всю вольность момента, из задней шеренги злорадно посмотрел на своего подпоручика и так же вольно придумал сам выступить:

— Загорится!

Полковник оглянулся, нашёл, кто поддержал:

— Когда сразу подряд много стреляете?

— Ну да!

— А сколько от выстрела до выстрела?

Бейнарович не нашёлся, так он не был готов, от и до.

Полковник вёл глазами дальше, да кажется на Бару. И — ему конечно, увидя на шинели университетский значок:

— Сколько делаете выстрелов в минуту, когда густая стрельба?

Ему, конечно, но Бару, поскольку его по фамилии не назвали, сделал вид, что это не к нему, стоял безучастно, тяжесть на одну ногу и глаза в сторону.

А Сарафанов, наискосок от него, понял так, на беду, что это его спрашивают. Встрепенулся, закинул подбородок, как подстреленный, и залопотал жалостно:

— Никак нет, ваше высокоблагородие, не можем знать минуту!

— Не знаешь — минуту? — удивился полковник.

Сарафанов держался против настойчивого барина:

— Минуту — никак не знаем, ваше высокоблагородие!

А и в самом деле — откуда же знать им *минуту*? Часов не носившим сроду, откуда им знать господскую какую-то минуту?

И цену её.

Проницательный полковник ещё повёл взглядом по шеренгам, остановился на чёрном кругленьком Мотеле Каце с услужливыми глазами.

— Скажите вы, бомбардир.

Кац, польщённый вниманием и стараясь не уронить доверия, и сколько можно подтягиваясь:

— Выстрела три-четыре, ваше высокоблагородие.

— А не больше?? — поощрял его, удивлялся, настаивал полковник.

А дотошный штабс-капитан уже лазил тут, за спинами 3-го взвода.

Кац был природный дипломат, и так искал ответить, чтобы всем было хорошо — и самому Кацу, и этому полковнику, и своему подпоручику, и всей батарее. Он успел взглянуть и на подпоручика, но не получил указания.

— Н-ну... м-может быть... и пять.

— Только пять? — совсем недоволен был полковник. — А когда команда «ураганный огонь!»?

— Н-ну... тогда... конечно... больше, — постепенно уступал Кац.

— А бывает такая команда — «ураганный огонь»? Или — «барабанный»? — спрашивал полковник уже не Каца одного, уже весь строй. И даже нависал над ними, явно настаивал, что так надо ответить. — Десять выстрелов в минуту — бывает?

— Бывает! — решительно победно крикнул Бейнарович.

Ответы не ответы, но мычание по строю раздалось. А всё же ясно не подтвердил больше никто.

Как будто ничего зазорного для батареи, если много стреляет, а на всякий случай — не отвечать: от начальства всё равно добра не может быть.

Подпоручик с опозданием начал подозревать ловушку полковника и готовился возразить, вместе с тем и робел, как перебить его, будет ли это по уставу.

Но тут от первого взвода донёсся сильный, не по-военному, а природно и насмешливо сильный голос Чернеги. Что он сказал — Саня пропустил, но там в ответ раздался взрыв смеха главной группы, и сразу же петербургский генерал позвал некомандным доброжелательным голосом:

— Господа офицеры, пожалуйста сюда!

Проницательный полковник недоволен был, он ещё хотел тут поспрашивать. Но пришлось идти.

И с шестой уже пушки соскочил проворный штабс-капитан.

— Нет, — досмеивался инаркор после Чернеги, — такой команды — ураганный, барабанный, у нас в корпусе никогда не бывало.

Досмеивался, а тем самым объяснял офицерам, чего держаться: оказывается, ураганный — гордость артиллеристов, уже не гордость, а почему-то порок.

А ненастоящий генерал, в пенсне и с перекирвленными плечами, нестрого оглядел подошедших к нему командиров взводов и спросил доверительно:

— Скажите, господа... Вот вы постоянно наблюдаете за своими разрывами... — Задержался на лице Лаженицына: — Скажите, поручик... Приходится ли вам замечать, что реальная дальность выстрела по сравнению с расчётной медленно, но неизменно падает? И вам приходится эмпирически, сверх расчётных данных, ещё набавлять прицел?

Так это было тонко, умно спрошено, такой взгляд чуть прищуренный, будто через экзаменационный стол, — теплом обдало санино сердце. Как не бывало этой войны, и этих пушек, хотя о них-то и шло, этих военных одежек на генерале и на нём, а — опытный профессор проверял наблюдательность студента, и студент во всю меру своих способностей хотел помочь установить истину:

— Вы знаете — да! — поразился Саня, поразился сам себе, что раньше не свёл эти отдельные случаи воедино, даже с командиром батареи о них не поговорил. — Да, такое явление я замечал...

Гулко одобрительно кашлянул за его головой двубородый полковник.

И в блокнот записалось.

А инаркор очень удивился, поднял брови.

Но прежде него сбок Сани загудел Чернега:

— Разрешить доложить, ваше превосходительство? Никогда такого не наблюдал! Обыкновенный разброс, когда дальше, когда ближе. От ветра, от разного.

Так напористо он говорил, самым голосом отталкивая санины размазнёвые рассуждения, и естественно было верить именно ему: вероятно, он-то и не сходил с наблюдательного пункта, а подпоручик бывал там редко.

Без противоречия и удивления записалось и это в блокнот.

А Устимович и вида не делал, что бывал на наблюдательных. Стоял — как трудился стоянием, молчанием и покорностью судьбе.

Генерал-профессор покосился на его великовозрастную обречённость, на литое шаровое лицо Чернеги с хитрыми белыми тол-

стыми усами и на санину застенчивость опять. И — ещё так повернул ему экзамен:

— А как могли бы вы оценить, поручик, этот систематический недолёт в проценте к общей дальности? Сколько это может грубо составить?

Саня с полным старанием хотел ответить, он сам очень заинтересовался. Но тут надо было подумать. Тут надо было представить какие-то памятные случаи, по какому месту он рассчитал прицел и куда пришёлся разрыв. А потом карту достать, померить измерителем, — вот тогда можно сосчитать и процент.

А пока он задумался, это выглядело как неспособность ответить, и инакор снисходительно объяснил петербургскому генералу:

— К сожалению, ваше превосходительство, все младшие офицеры, которых вы видите здесь, не кадровые, командира батареи тоже нет, а для оценки таких наблюдений нужна большая опытность. И привычка — за каждым разрывом очень тщательно следить.

И — сожалеительно пожал губы.

— Так поедомте, где мы найдём кадровых! — согласился двубородый.

Хотел генерал-профессор всё-таки ещё спросить, но уже создалось движение — уходить. Оборачивались. Блокнот закрылся.

Саня не видел Чернеги позади своего плеча — он только видел, как симпатичный усталый профессор, чуть заметно улыбнувшись срезанному студенту, не мог, однако, исправить его оценку и тоже вынужден был — как и все, как и все — уходить. Нервный штабс-капитан на ходу остро доказывал двубородому полковнику, а бригадный техник пытался ему возражать.

Три минуты дохнуло академической аудиторией — сюда, на орудийную ископанную, опалённую землю позади Дряговца, — и весь этот аромат забытый, не армейский, рассеивался в холодном осеннем воздухе.

Но какая-то же цель и какой-то замысел скрывались за этим приездом и этими вопросами! Третья батарея Гренадерской бригады воевала попросту, не предполагая ещё какого-то скрытого смысла своих действий, над которым головы ломали в Ставке и в Петербурге.

И Саню — как потянуло вслед генерал-профессору, пока тот ещё не ушёл. Кажется, Чернега цапнул его за локоть, не пуская, но Саня, не оборачиваясь, вырвался — и поступил к уходящему:

— Ваше превосходительство, простите! Но не могу ли я быть полезен? Я бы наблюдал... Объясните, пожалуйста, в чём тут смысл?

Профессор охотно задержался — и позади группы они пошли вдвое вровень, отставая от быстрых. И профессор, сутулясь, пояснял:

— Понимаете, злоупотребление скорострельностью приводит к преждевременному износу и расстрелу канала ствола. Теоретически допустимая скорострельность нашей пушки, как вы знаете, до 10 выстрелов в минуту. Однако — это запас для исключительной боевой обстановки, а оптимальный режим сохранности орудия — один-два в минуту, и тогда орудие выдерживает до 10 тысяч выстрелов. Но некоторые войсковые начальники, малосведущие в артиллерии, варварски требуют непрерывной интенсивной стрельбы по многу часов — лишь бы был звуковой эффект, грохот орудий, была бы ободрена и пошла вперёд пехота, — а что на этом орудия разгораются до красного накала и изнашиваются вдвое быстрее, об этом не заботятся. А офицерский личный состав за время войны сильно упал в квалификации, — но этого подпоручика профессор под руку чуть придержал, передавая касанием, что его-то не относит к тем, — и не замечают потери дальности и потери меткости. Тратятся и снаряды без толку, и сами пушки через 4 тысячи выстрелов приходится снимать на перестроение. А резерва пушек у нас тоже ведь нет.

Вот когда прояснилось! Нет, не одной глупой канцелярщиной занимаются в верхних штабах!

Уже инакор и бригадный адъютант были в сёдлах, уже в автомобиль уселись, и только распахнутая дверца и капитан Сохацкий подле неё ждали генерала, — а генерал остановился с подпоручиком.

— Так что ж, выходит, если и снарядов много — стрелять надо бережно?

— Нисколько не беречь, когда этим сохраняются людские жизни. Но — никогда не стрелять для оглушительности. «Ураганный огонь» — это потеря хладнокровия, беспокойное состояние духа артиллерийских начальников.

И — подал подпоручику пожать свою мягкую, слабую руку.

Саня возвращался задумчиво, не замечая, что Чернега уже распустил самовольно весь строй батареи и тупал к нему навстречу по подмороженной, твёрдой земле. Сблизились.



— У, тюха-Санюха, — толкнул его Чернега кулаком под ребро. — Что мелешь — думаешь? На меня бы обернулся, по мне б догадался.

— А что? — удивился Саня. — Это действительно так, дальность падает.

— А то! — бочковатой грудью напирал Чернега. — Пушки отберут, а взамен — винтовки, в пехоту пока? Нас-то без пушек — куда пока? Ты подумал?

Вот удивительно, не слышал Чернега профессорских объяснений, и оговорки, что пушечной замены нет, — а догадался.

— Откуда ж ты догадался?

Улыбнулся Чернега из-под толстых щёк, улыбнулся от избытка силы, здоровья, смекалки и сожаления, что не всем она дана:

— Перед начальством всегда смекай — где берег, где край.

## ДОКУМЕНТЫ — 3

### ЛИСТОВКА В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Октябрь 1916

### ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ!

Гибнет вера в правду и разум. Гибнут надежды на прекрасную свободную жизнь. И о ужас! В этом торжестве смерти интеллигенция занимает первое место, как обручённые на званом пиру.

Как обрадовались русские реакционеры, когда все их грехи умные головы свалили на Германию. Войну «за благо народа» превратили в неслыханное околпачивание и обирание народа до нитки. Товарищи студенты! Что же вы молчите? Довольно тешить себя мыслью, что вы — цвет народных надежд. В эти роковые минуты стыдно руководителям, учителям народа заниматься самоутешением, будто тасканием дров на спине, разгрузкой вагонов вы оказываете народу великую услугу. Народ столетиями ждал освободителей от тяжёлых оков, что они помогут расправить окоченевшие члены и укажут путь к светлой и радостной жизни. И вот они пришли в трагические минуты, согнули свои спины и начали таскать дрова, а тысячелетних рабов тем обрекли на убой. Пришли и с восторгом восприняли лозунг: «Всё для победы!» — и ничего для свободы...

Но народу не нужна та победа, которая превращает учителей народа во выучных животных. Товарищи студенты! Вы учились учить народ. Укажите же ему путь спасения: мир и созыв Учредительного Собрания. Организуйте же народ от тьмы могильной к солнцу!

## 57

А с утра настаивалась тягость, тяжеление самого воздуха в их дуооконном угловом номере на втором этаже. В одном окне — барахтали ветвями густые тёмные ели, в другом — хмурая осень, качанье голых веток, и от ночного сильного дождя — взбухший пруд.

Глаза Алины совсем переменились — такие твёрдо-блестящие, что стало даже не по себе встречаться с ними. Она поднялась не убитая, не хрупкая, ничего не просящая, очень самостоятельная. Молча, в отчуждённой строгости, долго причёсывалась перед зеркалом.

Георгий совсем теперь сбился и не знал, как себя вести, как смотреть, как разговаривать. Потерян был ворожительный тон этих двух дней, а новый не определился. Проще всего — скорей в Москву, да в Могилёв, а постепенно, со временем, всё уложится. Только вот эти часы до отъезда как-то надо было...

Но Алина объявила от зеркала, что они остаются здесь ещё на день.

Не просила — объявила.

Дико! Оставаться было и совершенно незачем, и делать абсолютно нечего, даже и гулять по такой погоде. А говорить? — всё переговорено, при таких отношениях Георгию было нестерпимо задерживаться и в Москве, да сколько уже уткло, 18-й день в отлучке из полка, а ещё...

Да как осмелиться сказать ей про Могилёв?..

Но с таким уверенным значением, с таким сухо-блестящим выражением Алина объявила, что Георгию — виновному же, преступному же, мотавшему с Ольдою дни без счёта, — как было не уступить? Перед ним сидело живое страдание — из-за него, из-за любви к нему, вызванное им, — а он бы теперь заикался ей о службе?

Итак, приходилось начинать длинный, пустой, бессмысленный день.

Закурил.

Пошли завтракать.

Чего Воротынцев никогда не делал — взял к завтраку вина. И чего Алина никогда не делала — стала пить. То — позавчера? — именинную рюмку заглотнула, морщась, — а сегодня свободно опрокинула, недобро блестя глазами:

— Умирать — так с музыкой!

Его брови вскинулись. Это было только расхожее выражение, конечно. Никакого буквального смысла она не вложила? Нет, сама прислушалась, как это прозвучало. И:

— Мне теперь легко стало думать о смерти. Ты когда-то писал с фронта что-то в этом роде.

Ого! Георгия заохлодило.

А она сама налила из графина, выпила вторую.

И — опять к тому же, как оса летит впиться, но — тоном лёгким, с вызовом:

— Скажи, а можно — я кончу с собой? Ты не будешь возражать? Вам будет хорошо.

Это был только дерзкий вызов, конечно. Но:

— Алина, — с трудом продохнул Георгий, — ты...

Да-а, объяснение набухло за ночь, как этот пруд, и пошло подтапливать. Нет, не кончилось так просто.

Опять потянулась за графином. Он накрыл её бокал ладонью. Она взяла пустой, свободный — и налила, переплеснув на пол.

— Теперь — надо! — с упрямым блеском в глазах. — Теперь — буду!

А омлета — не ела.

— Так ты говоришь: ярко?

Он не понял. Не сразу.

Сощурилась:

— Скажи, всё-таки, объясни: *чем именно* она тебя так обво- рожила, что ты в несколько дней сгорел? Чем так притянула?

Он встретил её грозный блеск — и опустил глаза.

Алина выговаривала с готовностью, с заботливостью:

— Сложная, духовно-напряжённая, не склоняется перед господствующими мнениями, это и заметно. А — что ещё? Скажи.

Да ещё сколько можно было сказать.

Молчал. Опустил голову.

— Да она просто чудо! Да кто ж она?

Добирал последние, неуследимые крошки омлета.

— Фу-у, как ты боишься её назвать! Отчего ты такой трус? И она такая?

Вино быстро действовало. Алина невидимо переступала задержки, вот уже говорила громче нужного, почти на весь зал.

— Пойдём в номер, — стал тихо уговаривать он. — Пойдём.

— Ну как же! — ещё громче выпечатывала Алина. — Ты же наслаждаешься похвалами ей! Ты же вон какие восторги выставляешь! Я хотела бы видеть, познакомиться и восхищаться тоже!

С трудом повёл. Твёрдо за локоть.

— Не нужна? — громко говорила она на лестнице. — Сослужила — и отменена? Думал — как от дурочки отделаться? — И в верхнем коридоре: — За все мои жертвы? За верность? Вот *так*?

Ввёл её в номер, отпустил руку. Сел. Она рванулась назад, спиной вжалась в дверь и, нахмуренно-красивая, вниз смотрела на него:

— А что ты мне дал? За всю жизнь — что?? Да я могла бы!.. — взбросила пианистическую гибкую руку, — та-ко-йе!.. — С провооротом сожаления опустила.

Что б ни сказала она теперь, что б ни выкрикнула, — но всё начал он. Поделом. Ей — больно. Ей...

Нет, стала спокойнее. Совершенно трезво. Впиваясь глазами, словами:

— Объясни. Ты — что имеешь в виду? Пожалуйста, смотри на меня. Ты — что имел в виду, так её хваля? Что ты — от неё не откажешься? Смотри на меня! Ты от неё — не отказываешься, да? То есть ты хочешь — *втроём*, что ли?..

Трудность была, что ответить нечего. Он — ничего не имел в виду, он ничего и не готовил. Он хвалил — потому что... Потому что надеялся, что...

— Ну, как сказать... Вы — настолько из разных областей жизни... непересекающихся...

— Что можно *совмещать*? — перехватила она.

Да нет, он хотел... Да почему он должен вот сейчас так прямо и найтись и ответить?

Как сжато сердце, и ничего не понятно, что происходит. Вчера, позавчера было светло, и вдруг — безвыходность.

А-а... Ещё войну переплыть... Ещё буду ли жив.

Но истощился и порыв Алины. Она ослабела. Дошагнула до стула, опустилась как-то боком к спинке, одну руку плетью завесила за спинку, и голову на то плечо. Смотрела на него уже не гневно, — печально.

Смотрела. Смотрела.

И — тихо, внятно, примирительно:

— Вот так. Учили бы, как учат всему другому. Даже за счёт математики.

И с ласковой болью:

— Тебе-то — первому надо было.

Так поворачивала, что он не с этой поездки был виноват перед ней, а — давно, давно? Это трудно понималось и даже возмущало его:

— Почему ты так уверена? У тебя были годы с тех пор.

— У тебя были годы!

Что-то слишком премудрое начиналось, не для мужского ума. Но хоть небуйное. Кто виноват, кто прав... Вздохнул:

— Любовью должны заниматься женщины. — Закурил, затянулся. — Вам там открыто глубже, вы и понимаете. Мы — воюем, работаем, а вы там — анализируйте...

С ксловатой улыбкой превосходства она пожалела его, себя, весь свет.

И жалко было её, всё время — так жалко!

Но и — стеснённо, душно. Сузился, уплощился мир. Вот так теперь сидеть — и из пустого в порожнее, из пустого в порожнее?

Ясно было только одно: что сегодня они опять никуда не едут.

— Знаешь, я пойду на полчаса пройдуся? Один, ты не иди, там резкий ветер, простудишься. Мне — только голову проветрить.

Ничего не возразила. И без постоянного обряда (уходя ли на час — в щёчку или в лобик) — ушёл.

Дождя не было. В неровных толчках остервенелого сырого ветра, запахнясь в испытанную шинель, испытанно придерживая шашку на боку, Воротынцев почувствовал себя сразу легче. Толчками, охапками выдувал из него ветер всю эту вязкость, всю эту нескладицу, которую сам же он и завёл. В сквозящем холоде, как будто обречённый ему по воинскому приказу, Воротынцев несколько не зяб, а легко шагал по дорожке — в огиб пруда и наверх, в сосновый бор на гряде. Как ни горько разлажено было в Румынии последнее время, но и легче б ему сейчас же перенестись туда — в грязную, блохатую местность за Кымполунгом, и шагать вот так, по приказу, выбирать рубеж и обдумывать бой.

Если б заранее мог представить Георгий, что это объяснение так начнёт раскачиваться, и он завязнет, заквасится тут, — да ни-почём бы не начал.

Не привык Воротынцев такие вопросы разбирать, и не привык быть сам для себя предметом рассмотрения. Сколько он жил, сколько действовал — внутри него не бывало разлада и сомнений: все трения, все противоречия — во внешнем мире, куда и врезался он как снаряд.

А что эта Зинаида имела в виду, зачем заставила инженера признаваться? Что ж, инженерова жена меньше всколыхнулась? Думала Зинаида на этом — инженера себе отрезать?

А, да ну вас! Когда замораживают голову на мелких бабьих вопросах — отделись, уйди! Быстро-быстро, по холоду, против ветра, левой, правой, левой, правой, — и крепчаешь, и возвращается к тебе смысл.

Пошёл он «на полчаса», давно бы пора возвращаться. И «на часик» — так пора бы. А он — дальше.

Дорога по раменью обогнула целый лес — и вышла к станции. Вот как! Казалось, заперт в пансионе, как в бутылке, совсем замлел, — а тут!..

И едва взяв пустой телеграфный бланк, ещё не надписав и адреса — Могилёв, Ставка, генералу Свечину, — уже был снова воин.

А текст: *телеграммой московскую квартиру вызови срочно официально Егор.*

А то ведь и из Москвы не вырвешься, уже похоже.

Круто-быстро назад. И с опозданием вспомнил: а что ж бы Ольде?.. Почему же ей не послал?

Ещё привычки нет. Ощущения нет, что теперь — всеми телеграфами, всеми почтами они связаны, что Ольга — есть у него! (Впрочем, в последний петроградский вечер он успел позвонить ей, что заедет в Могилёв, можно туда написать.)

Ольда — есть, а как будто и затмилась. За эти четыре дня — далеко, глухо отступила. Уже нет того горячего тока в середине груди, как она оплескивает... Уже надо усилие, чтобы ярко вспомнить.

Он весь — новый был с ней. А от него требуют — быть прежним.

Весь продутый от затхлости, от тяжести, возвращался Георгий терпеливый, наклонный как можно мягче, любовней разговаривать с Алиной.

Но на первом этаже хозяйка, которую разбранила Алина за расстроенный инструмент, предупредила:

— С вашей женой плохо!

И — сразу ударила ему забытая утренняя её угроза!! То-то! то-то отпустила его так легко!

Он метнулся вверх, перепрыгивая ступеньки, — по коридору вихрем — дверь номера распахнута — горничная от кровати Алины:

— Уже лучше.

Алина лежала навзничь, бледная, одетая, только ворот рассвобождён, одна рука на грелке, другая на грелке, и грелка же под ступнями.

Был — сердечный приступ. Через два номера нашёлся доктор, он смотрел. Теперь ничего, проходит.

И горничная уходила.

Обронив папаху, на колени перед кроватью жены опустился Воротынцев:

— Линочка! Что с тобой? Как случилось?

И ласково гладил — по руке, по плечу, по лбу.

Бледность безкровия была в ней. И говорила она ещё плохо:

— Ты не подумай, что я что-нибудь... Само так схватило... Пошли мурашки по плечам, по рукам, стали кисти неметь... Я начала писать тебе вон... И не могла кончить, свалилась...

На столике лежала записка — гостиничный случайный листок, недоточенным двоящимся карандашом — и что за буквы! Изуродованные, перегнутые, как корчась каждая от боли, самая малая черта еле выписывалась немеющей рукой, не угадать алининого гордо-разбросчивого почерка:

«Жоржик, мне очень плохо. Ты не подумай, что я са...»

Думала, что умирает. И скорей писала ему, чтобы он не подумал...

Ненаглядная моя! Трогательная моя!..

Шинель — с плеч, и опять к ней, присел на обрез кровати:

— Тебе — лекарство дали? — (Кивнула. Детски-удовлетворённое выражение.) — Теперь лучше? — (Кивнула. Что за ней ухаживают, внимательны к ней.) — Бедная ты моя!

Гладил волосы ей, убирая со лба:

— Я никогда тебя не оставлю, ты не думай! Я — и не собирался тебя покидать.

Такая сжатость! Такая жалость! Такая теплота: дружок ты мой бедный, чуть я тебя не погубил!

Алина лежала с размягчёнными глазами и, кажется, даже счастливая.

## 58

И потом была она опять светла. И послушлива вернуться в город. В мягком рассеянии возвращалась.

Но при подъезде к вокзалу — затемнилась. Предупредила:

— Не хочу домой! Домой — не могу!!

И даже озноб стал её беречь. Хмурые косые перебеги показались по её лбу и щекам.

Она боялась удара перейти через порог своей обыденной квартиры? Через повседневный порог ей невозможно было перенести своё нынешнее уравновешенное, так трудно давшееся состояние: что-то должно было крахнуть. Контраст обстановки, это можно понять. Но что же делать? Не мог Георгий для семейного лада теперь навек завязнуть тут.

Ему самому не только не тяжело было переступить порог своей квартиры, но — тянуло туда: хоть один бы вечер за всю эту безтолковую поездку, как он любил, — тихий бы вечер, да посидеть дома, покопаться в милых ящиках письменного стола, кое-что найти, мелочи задуманные. Нет, видать не судьба. Свой же дом и не давался, как заговоренный клад.

Уехать бы в Могилёв сегодня же вечером? Никак не оставить Алину одну, никак, это видно. Ещё завтра ли отпустит? Вся надежда на телеграмму от Свечина.

Вот затеял так затеял, ног не вытащить.

Но и по косым перебегам на лице жены понял он, что дома им вечер не просидеть, что-то взорвётся. С Алиной вот *такой* — это как с гранатой на боку, ослабив предохранительное кольцо. Хоть в кондитерской «Дези» пересидеть, два шага не дойдя, а не дома.

И вдруг придумал. В тот проезд Москвы, две недели назад, он бегло встретил на Остоженке подполковника Смысловского, артиллериста, который был с ним под Уздау, а теперь жил раненный в Москве и звал к себе в гости — неподалеку, на Большой Афанасьевский, там целое гнездо их, Смысловских. Так сегодняшний тягостный вечер и можно бы провести у них, а домой только заскочить переодеться.



И снова Алина посветлела, благодаря мужа за это продление. Снова была послушной, сильно похудевшей девочкой, как в минувшие зачарованные дни.

Всеволод Смысловский подтвердил по телефону, что — дома и рад, и даже ещё один брат его, Алексей, приехал с фронта и тоже будет сейчас. И сегодня как раз удобно, воскресенье.

Да, ведь воскресенье! Там, в пустоте пансиона, Воротынцевы и потеряли, какие дни недели.

Надела Алина шёлковые, шёлк по коже, туфли, алое с белым платье и современную, подходящую к обществу, брошку: маленькое эмалевое изображение офицерского погона.

Смысловские жили близ Сивцева Вражка, прямо против церквушки Афанасия и Кирилла — с нерусским портиком, колоннами, всё это маленькое, а алтарём уже в другой переулок, Филипповский. Занимали в приподнятом первом этаже старого дома восемь просторных комнат, окнами и в уютный Большой Афанасьевский и во двор. Здесь давно скончался их отец, тихо во сне отошла мать, выросли все семеро детей, четверо холостых жили и посейчас, а остальные приезживали гостить со внуками. Мебель тут наслонилась от жизни нескольких поколений и уважалась не по единству стиля, как у теперешних скоробогатов да адвокатов, и даже не по пользе для сегодняшних жильцов, а за одну лишь память — что и раньше стояла на этом точно месте.

Это было — как часто в старых московских переулках. А здесь удивлял только состав семьи: тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребёнка, а — незамужняя сестра и, младше её, трое холостых, совсем не молодых, братьев. И как отец их, директор дворянского института для юношей, был математик, — так избрали математику и все пятеро сыновей, но, исправляя ли отход отца от военной традиции (точно, как и Воротынцев), все пятеро кончали 1-й кадетский корпус в Москве, Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, и только Павел один не стал прямым артиллеристом, но преподавал математику же в Александровском училище, родном Воротынцеву. Все четверо остальных были хорошо известны в русской армии, Евгений — даже генерал-лейтенант и изобретатель новой пушки.

Встречал Воротынцевых самый младший Всеволод, охромевший от ранения (рана бы — полбеда, да второй раз открывалась сама, и не могли залечить), и самая старшая Елизавета, лет уже за пятьдесят. А у неё сидела — студентка университета, однако очень

равно держалась со старой учительницей, оказалось — она не бывшая её ученица, но вместе они преподавали в бесплатной рабочей школе. Елизавета Константиновна всю жизнь всегда и всюду преподавала: детям бедных, детям соседей, племянникам, внукам, ломовым извозчикам, вот теперь рабочим. Наверняка не то интересное общество, которого хотелось бы сейчас Алине, — но лишь бы больше новых людей и текли бы вечерние часы благополучно.

Когда Воротынцевы пришли, студентка с горячностью рассказывала о борьбе против профессора Модестова, помощника проректора, а в его лице — против полицейских порядков, насаждаемых в университете. За неделю перед тем был уволен студент Маноцков, что-то не в порядке у него с воинской повинностью, и придрались. Но он и уволенный пробирался в университет на митинги. И когда в химическом институте, в аудитории, служитель Благов, унтер из пришибеевых, у троих выступавших нагло отобрал входные билеты — Маноцков геройски кинулся на него, взял за грудки, тряс и билеты отнял! С тех пор за Маноцковым устроили настоящую охоту, искали всякого повода для провокации. И проректор Модестов, нисколько не считаясь с конституционными законами, университетской вольностью и просто общечеловеческой этикой, счёл возможным саморучно снять с вешалки пальто Маноцкова для установления по карманам, чьё оно!

Елизавета Константиновна так и головой закрутила, глаза закрывала, верить не хотела: *снять чужое пальто?! Вот до чего доводят безконтрольные самодержавные порядки!*

А Воротынцева поразила, как при рассказе инженера Дмитриева о мятеже на Выборгской стороне, не сама суть событий, а — неохватность, неисчерпаемость России: куда ни поезжай, за тысячу вёрст, везде свои и свои толпы, свои новые непохожие заботы и забунтовки.

Сидели за обеденным дубовым столом, предлагалась ваза с большими яблоками, и Воротынцев с радостью увидел, что Алина взяла яблоко, обрабатывала его ножичком, отрезала ломтики. Слава Богу, ведь сегодня с утра так и не ела ничего, одним дыханием жива. Ну как-нибудь, понемножку, рассосётся, отвлеётся.

После этого студенты так были на Модестова злы, что поклялись его сместить. И когда он совершил новый акт произвола —

в аудиторию в перерыве зашёл в пальто и в галошах, — разразился стихийный общий протест. Медики старших курсов приняли решение об общей забастовке — до полного смещения Модестова! Они бросились по аудиториям снимать студентов с лекций. Большею частью был успех, студенты проявляли сознательность и солидарность. Однако в помещение юридического факультета проваться не удалось: служители заперли все двери. Но самое возмутительное произошло на историческом факультете: профессор Сперанский отказался прервать свою лекцию и ворвавшуюся толпу студентов просто в ы г н а л! А с лекции профессора Челпанова, ещё позорней, агитаторов прогнали сами слушатели с криками вроде: «Не хотим дураками расти!» И это — на историческом факультете, кого бы социальные проблемы должны, кажется, захватывать ближе всего! Вялая масса поддалась влиянию белоподкладочников.

Воротынцев — расхохотался. (Оглянулся на Алину — сдержался, чтоб её не оскорбить.) Он — представил, увидел, как разгневанный тот профессор шагнул на край кафедры, поднял десницу — и пересиленные его духом бунтовщики пятятся, пятятся, отдавливая друг другу ноги, и закрывают дверь. Вполне военный момент. Всё это басни — о силе толпы: толпа всегда тем слаба, что дух её не слит, рассогласован, и никто не хочет жертвовать первый. Ничего на свете нет сильнее одиночного человеческого духа, ибо он, обрека себя на жертву, может держаться без трещины. Да тут и не о военной смелости шло, но перед левыми крикунами образованные люди трусят пуще, чем перед пулемётами.

Да это что, есть новости хуже: назначена жеребьёвка студентов 1-го курса, кто достиг двадцати одного, и на кого выпадет — заберут. А недавно накрыли нелегальное студенческое собрание, отобрали гектографированные речи Керенского, Чхеидзе, портреты Желябова, Герценштейна, листовки «Война и задачи социал-демократии». И двух самых замешанных — выслали!

— В Сибирь?! — ахнула Елизавета Константиновна.

— За пределы Московской губернии! Лишили *alma mater*!

— Простите, — поинтересовался Воротынцев, — а какие это задачи социал-демократии по отношению к войне? — Он и правда не знал.

Студентка посмотрела с презрением:

— Слишком общеизвестно. А кто до сих пор не...

Этот чужой полковник разбил всё настроение. Ещё рассказала, как недавно в актовом зале в грандиозной потасовке избили нескольких монархически настроенных студентов. И ушла.

С каждой минутой отлегалось это сжатие вокруг пансиона и пруда, когда всё вдвоём, вдвоём и весь мир на этом стиснут. Алина вполне нормально сидела среди всех, без жутковатой отречённости на лице. Вот — с естественным женским интересом спросила, как же ведётся хозяйство при такой необычной семье.

(Ну, вытягивай, Линочка, вытягивай.)

Ответ был удивителен: хотя есть и кухарка, и горничная, и время от времени — денщики кого-нибудь из братьев, семья Смысловских отличается тем, что с ранних лет и девочки и мальчики умеют стряпать, и даже братья изошрённое сестёр. И когда в ресторане понравится фирменное блюдо, то не выкупают у повара секрет, как это принято, но всматриваются, въедаются, и дома кто-нибудь из братьев готовит не хуже, значит — угадал.

Улыбки гостей.

— А Алексей ещё сверх того и пекарь.

Полковник? Как это может быть?

А он от Филиппова брал пекаря к себе в бригаду, обучить своего солдата чёрный хлеб печь, заодно и сам выучился. Алексей удивительно способный, сто ремёсел подхватит.

Всеволод, хромая, принёс графин и закуску. Они с Воротынцевым с первых слов признали подлинность друг друга и принадлежность к тому миру, после которого не очень-то ловко и рассиживаться в московской квартире. Между такими лёгкость — не с давна начинать, а сразу о последнем, что верхним слоем написано по памяти, и даже фразы можно не кончать. Выпьем, ладно.

Лишь не спадала забота об Алине, и косился Георгий, как она с хозяйкой уходила, как вернулась. Хрупко, неинтересно ей.

Вышел в столовую Павел. У него было здоровье слабое (грудь).

За чаем опять что-то поползли *общественные вопросы*, да пересыт был ими Воротынцев с Петрограда, только там говорили, от кого дело зависело, а здесь лишь сочувствие-сочувствие-сочувствие всему передовому и порицание-порицание-порицание правительству.

Старое дворянство, семья из одних офицеров, — а вот...

Алексея Смысловского Воротынцев не знал, но жену его, красавицу Елену Николаевну, дочь покойного командующего Москов-

ским округом Малахова, он видывал, любовался, — на японочку похожая, любила это подчёркивать, то вышивкой на платье, то рукавами кимоно, а на маскараде так и просто японкой. И сейчас ожидал удовольствия увидеть её.

Но Алексей пришёл — ворвался! — без жены. Просто — вбежал, как после каникул домой вбегает мальчик, а не лысый полковник под пятьдесят, вбежал всех обнимать подряд, и Воротынцева, знакомясь, обнял («слышал, слышал, как же!») и, кажется, только едва удержался обнять Алину. Роста ниже среднего, с сероватой удлинённой бородой волшебника, с радостно-радостно горящими глазами, он жадно осматривал всех, и комнату, на месте ли предметы, и что-то у сестры спрашивал, на месте ли...

— Даже крысиные трапеции вон, в кладовке, — не сдержала сестра улыбки, очень смягчившей её сухо-строгое лицо.

Оказывается, увлечения налетали и слетали с Алексея как порывы бури. Было увлечение когда-то — заниматься белыми крысами, и он в своей комнате завёл им клетки, переходы, и на трапециях они качались. Потом слетело увлечение, крыс забыл, и они передохли все. Да только ли? И переплетал, и фотографировал, и даже шил-вышивал, и не смущался, когда смеялись:

— Ремесло за плечами не тянет. А вдруг — в тюрьму попаду?

— Что за дикая мысль, почему — в тюрьму?..

Столярного инструмента полный набор (и по стенам и у стен — жердиньерки, полочки, шкафчики его работы); женясь, не забрал с Большого Афанасьевского, как бы признавая, что коренной непереездный дом — всё-таки здесь. Уже у самого было пятеро детей, меняла семья города и квартиры, а родное гнездо — здесь.

От его радостного врыва, горячего приветствия, от его самостоятельной жизненности — наконец и Алина повеселела. (Как хорошо, что привёл её сюда! Вот это и надо: жизнь течёт — не застыть же и нам.)

Вспомнили мельком и Уздау и Ротфлис — далёкое-далёкое событие, почти как Японская война. И как Алексей Константинович там стоял, стоял с Нечволодовым. А теперь о нём:

— Вояка — замечательный. Но монархи-и-ист! Нацио-налист!

Впрочем, оказалось, и старший сын Алексея, Борис, уже офицер и год на фронте, тоже был и монархист, и националист, и недоволен отцом.

Вот так вот.

Тесть Алексея — генерал-от-инфантерии Малахов, был мужественный человек. В 1905 году, командуя Московским округом, это он и восстановил в Москве разваленную жизнь, и на него дважды покушались террористы. А на зятя — никаких следов? Вот и Нечволодова припечатал.

Но делу время, потехе час, фронтовых разговоров Алексей не поддержал, а вот:

— Помузицировать бы?

Как, он ещё и музицировал?.. Да даже музыку писал и романсы.

Алина засияла, захотела послушать. К ней возвращались и непринуждённость, и осанка головы, и даже румянец.

— Да уж нет, лучше — Чайковского. Вот Михаила жалко нет.

Так это сказал — «нет Михаила», будто не шла Великая война и Михаил не командовал сейчас Гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился. Так сказал, будто первична и вечна — их семья, а остальной мир — как придётся. А дело в том, что расстраивалось трио: Михаил играл на виолончели, Всеволод вот уже скрипку нёс, хромая, а Алексей прискочил к роялю и вот открыл крышку.

Чайковского — тоже разные романсы есть, и упаси боже он бы затеял какой-нибудь из трагических, там «Снова, как прежде, один», — вполне способна была Алина тут же при всех и разрыдаться (и укори её, — «После в с е г о? удержаться не было сил!»). Но, следуя ли своему весёлому нраву или радости возвращения, или почувствовав, что гостье нужно, Алексей затеял клавишами безпечно-игривое, и сам же пел сочным баритоном, ещё подчёркивая интонациями шутку:

Если сторож нас окликнет —  
Назовись солдатом!  
Если спросят, с кем была ты,  
Отвечай, что — с братом!

И Алина — заливалась, смеялась. И Воротынцев поблагодарил случай: и хорошо, что красавица-японочка не пришла: Алине нет соревнования, и она не видит других пар, не наблюдает чужой счастливой жизни, а — каждый сам по себе, очень подходящий дом, и ей весело, и вот уж она пересела переворачивать Алексею Константиновичу ноты.

Второй романс — опять игривый, Алексей успевал и петь и ещё всем этим романсом как бы обращаться к Алине, густыми выразительными бровями под лысо-зеркальным теменем:

Я тебе ничего не скажу,  
Я тебя не встревожу ничуть...

Так-то так, славная семья, и какие разнообразные в науках, ремёслах и искусствах, — но почему, чуть коснётся государства, — повторяют так несамостоятельно кадетов да земгусаров?

Пятеро братьев — генерал, полковники, подполковники, и не ординарные, все учёные. Пятеро братьев! — кому бы и взяться? А вот — на кого из них положиться?

Целый день спят ночные цветы,  
Но лишь солнце за рощу зайдёт...

А может быть — так и надо? Жизнь — они все отдают. А — что ещё больше?

Теперь дуэт — рояль да скрипка. (*Ансамбль!* — вспомнил Георгий. Как раз то, что нужно.)

Попросили сыграть и Алину. Она села — прямая, торжественная, и сыграла бравурных три вещи подряд, с отбросами головы.

Её шумно хвалили, Алексей аплодировал, и вид у Алины стал такой, будто счастливей её и на земле нет.

Ну, всё наладится, всё наладится. На Воротынцева и самого этот подвижный, смешливый лысый бородач подействовал встряхом: за эти пансионные дни мир несколько не сузился, не зажался, и нельзя дать зажать себя. Тяжести, час назад безысходные, оказываются отчасти и придуманными. Что, собственно, случилось? Никто не умер, не заболел, не охромел, не окривел, как минуту каждую происходит на передовой, даже вот открытой раны на ноге нет.

Он смотрел, как у рояля Алексей читал Алине собственное стихотворение, Алина же подчёркнуто-внимательно слушала, приклонясь к пюпитру. От хозяйки принимал ещё чашку чая. Расположился и к молчаливому Павлу (молчит-молчит, а с Пржевальским вместе учебник написал).

Только бы безо всяких новых объяснений, без затяжки, без скандала завтра бы выскользнуть — и в Ставку.

Вот он и проехал столицы — и кого же он? и что же он нашёл?..

От Смысловских к себе домой им было недалеко: Царицынским переулком на Пречистенку, Всеволожским мимо своего Штаба Округа на Остоженку — и уже недалеко до дома. Один бы Георгий и за пять минут отшагал, но вдвоём, и в их новой непростоте, когда Алина нарочно замедляла шаг (а Георгий умерял свой шаг к её, как она любила), — это было небыстро и негладко.

Молчанье — тоже бы нагнетало, значит, надо говорить. А говорить — не знаешь что.

Ну, о вечере конечно. Как что было. Отдельными фразами. С перерывами. Удивительная семья. Какой разносторонний Алексей Константинович.

Алина слушала. Молчала. Шла.

Вышли в Царицынский — что-то светлое прямо впереди увидел Воротынцев. Поднял голову: небо было в тёмных тучах, а узнавалось это потому, что образовался в них прорыв, глубокая скважина — с краями черно-махровыми, а стенками высветленными, — и виднелась через скважину ещё не сама луна, но заблещенный свет, как бы загадочный фонарь или глубокое окошко в тёмном замке.

Остановился, рукой задержав Алину:

— Посмотри как!

Всегда бы Алина стала восхищаться, даже и с умилением в голосе — «ой, ой!», и стояла бы долго. А тут посмотрела холодно, ничего не сказала и сделала движение идти.

Пошли. Худо дело.

Ладно, вот уже Пречистенка. К ночной чайной стягивались извозчики, выстраивались вдоль Остоженки. Подсыпали коням в торбы, а сами, кнут в сапог, шли погреться чайком да перемолвиться.

В покое воскресного вечера раздался грохот — сперва дальний, вот нарастающий, тревожный. Это был военный грузовик и, конечно, пустой, с двумя солдатами в кузове. Он появился с площади, на повороте завернул с визгом, перед Штабом Округа раз-



дирающе затрубил неспешным пешеходам и извозчику и с тем же грохотом погнал в сторону Интендантства.

Эту теперешнюю московскую и петроградскую манеру гонять порожние грузовики (груженные шли медленно), лихо гонять, как если б успех войны зависел от их пустого подсакивания, уже несколько раз замечал Воротынцев там и тут. Гоняли тыловые солдаты просто по радости — во какие мы, во какая у нас теперь сила, р-расступись! Но начальство почему-то не сдерживало их. А у столичных жителей вызывала эта манера тревогу и раздражение, как будто опасное что-то готовилось.

Алина и головы не повернула, не заметила грузовика. Но головы — не опущенной, а с твёрдой посадкой на нерасслабленной шее.

Вошли во Всеволожский, и как не заметить опять, что впереди стало совсем светло: весь небесный замок как сдуло, ничего не осталось — и сама открытая луна, уже менее, чем полная, уже стала с правого боку ущербляться, — привольно плыла в лёгких светлых облачках.

Эту самую луну молодым месяцем ему показала Ольда...

— Ну посмотри! — не удержался он, хотя похоже было, как будто он заговаривает погодой.

Но Алина еле глянула, в этот раз и не остановясь.

Да к концу же Всеволожского напозла когтистая чёрная лапа — и захватила луну.

— И дуёт у них какой милый. Подумай, даже трио.

— А — как я сегодня играла?

Ну да, промахнулся, с этого и надо было начать. Отвык, забыл Георгий, что всегда надо замечать, что она играла и как.

Да ещё б ему не нравилась её игра! От первого знакомства что и полюбил он в ней первое! Всегда — безусловно нравилась. А вот сегодня — что-то, что-то царапнуло. Ну, можно сказать «замечательно», можно сказать «как никогда», но давит притворство в мелком, неужели не честней говорить всё, как думаешь. Вот поддержать этот стиль отношений, эту чистую полную откровенность, так внезапно возникшую в пустынном пансионе? Ощущение — как разогнуться. Что-то царапнуло — о том теперь как можно дружественней, девочка моя, ведь обоим будет душевно проще.

— В игре братьев, знаешь, что особенно приятно? Их манера держаться. Они ведь очень недурно играют. Но вместе с тем отда-

ют себе отчёт, что и не гении. И держатся с этакой полушутливой домашностью. Как бы сами над собой посмеиваются и просят извинить их за несовершенство.

Проходили под фонарём, и видно было, что Алина прихмурилась.

Не продолжать? Но к чему тогда начато? Только как можно мягче:

— А ты... У тебя вот этой шутливости нет. Ты садишься уже всем видом как мастер, целиком отданный игре, и предполагая, что все погружаются в слушанье.

— Да! — вскинула голову Алина. — Потому что я очень *серьёзно* отношусь к музыке. Потому что это *жизнь* моя!

Сейчас, от дальнего фонаря, было хуже видно, но голос Алины стал глухо отрывист.

Ещё мягче:

— Всё верно, Линочка. Но требование вкуса заставляет и в серьёзные минуты выказывать свою неприятельность.

Алина сбилась с ноги, заволновалась:

— Это новость! Ты находишь, что у меня не такой *вкус*? До сих пор наши вкусы, кажется, во всём совпадали, на этом мы и жили согласно. — Голос Алины метализировался. — А теперь у меня уже не такой вкус? Это — после Петербурга?

— Да ни при чём тут Петербург, это бывало и раньше. Ты за собой, Линочка, не всегда замечаешь, а у тебя бывают иногда такие суждения... уверенные... При гостях иногда так неснисходительно что-нибудь...

Ах, сорвался! Языком не закончишь, никак не вытянешь... И зачем затеял, всякие мелочи вспоминать? Оставалось додержаться несколько часов, до телеграммы Свечина.

— Нет, это после Петербурга! — как бы ласково уговаривала Алина, положив ему руку на шинельный отворот. — Сознайся, это *теперь* ты видишь, раньше такого не было.

Они совсем сбились с ходьбы, он подвигал её за руку вперёд.

— Да ни при чём тут Петербург... Ну, сейчас — после Петербурга... А вообще после...

Алина и сама пошла быстро, невлекомая. Заговорила с лёгкой отрывистостью, как бы сеча наискось:

— Слушай, неужели это такая замечательная женщина, художница, что в несколько дней переменяла тебе все взгляды? Открыла тебе новый вкус?

Георгий не принял ответно тона раздражения, но и смолчать не сумел, как же молчать, если в лоб спрашивают:

— Ну, вообще... от всех людей, с которыми мы в жизни встречаемся... Не именно от неё... Но в чём-то и от неё... — (А внутри ток заливал его при всяком воспоминании об Ольде, даже не упоминании.)

— У неё — одни достоинства? Она — высокообразованна, гениальна? Кроме истории она легко разбирается и во всём остальном? Но на рояле она всё-таки не играет!

Они уже переходили Остоженку у своего дома. Небо — тёмное. Темнела церковка, задвинутая меж домов. Но газовый фонарь бросал достаточно света и на середину улицы. И видно было, как Алину передёрнуло страданием от подбородка до виска. Боже, что он опять наделал, дурак, олух!

Перед ними перед самыми, обрезая, прокатил с запрокинутой лошадиной головой, с колокольцем, лихач на дутиках, веза важную барыню в огромной шляпе.

— А я — ничтожество, да? — с допытом, срываясь на крик, спрашивала Алина посреди улицы, как будто хотела и требовала подтверждения.

Он уводил её, уводил на тротуар и молчал, теперь уж молчал, а получилось опять хуже. Но не подслуживаться: нет, ты сверкающе талантлива.

Они уже и были у своего парадного. Поднимались по лестнице. Молча. В свой дом, но сами не свои. На второй этаж. Молча. На третий.

Ах, совсем не нужный, глупый разговор.

— Ты прости меня, Линочка. Я этого не хотел. Я, конечно, и близко того не думаю, ты же знаешь. Я только... О-о, телеграмма... Мне. Из Ставки. Неотложный вызов. Непромедлительно прибыть... Вот так так... Придётся ехать. Вот неожиданно. Ты прости меня, Алочка...

Телеграмму она как и не поняла, как не видела.

Помогал ей снять пальто — вырвалась из него, как если б оно горело.

Через маленькую их столовую кинулась в свою комнату. Но тут же вернулась, зажгла в столовой большой свет, в прихожей подошла к мужу, едва отстегнувшему шашку, ещё с нею в руках. И напрядённо:

— Дай я на тебя посмотрю! Дай я на тебя посмотрю!

Необычайное, неизрасходованное пламя рвалось из её глаз. Где была та замороженная покорность, будто не в полном сознании? Где была та ипостась горько достигнутого духовного свечения?

Зачем — «дай посмотрю»? Он не успевал понять. Она хочет особенное что-то выкинуть, непонятно что.

Смотрела она — смотрел и он. И кроме явленного раскала, пожесточавшего выражения — он видел и горький перекал на её тонкой незащитной шее. Она была совсем непохожа на саму себя — но он-то знал её саму! и жалость острая этого беспомощного перекалота уколола его. И хотя уже просил прощения — за что он её обидел, ни с того ни с сего? — снова протянул руки, взял за локти — повторить уговорчивей, распространённой...

А её лицо — удлинилось, как-то угордилось. И она усмехнулась с презрением:

— Сравнивай, сравнивай! Если она действительно большая личность — не будет она подругой серого офицера, неудачника!

Взяла свои локти назад, повернулась на каблуке, ушла к себе. И слышно заперла дверь.

Задумался, как был, ещё в шинели. Это сказано правдоподобно, да.

Снял, повесил. Задумался: подругой? А что из его взглядов когда-нибудь разделяла или не разделяла вообще Алина?..

Ну, что? Стучать вослед, лебезить? Просил прощения, хватит. Потушил свет в столовой. Все света.

Ладно, выспаться хоть последнюю ночь, не прислушиваться ко всхлипам, шёпотам, не уговаривать.

В кабинете на диване растянулся. Выкурил папиросу.

Утро вечера мудреней.

И так глубоко спалось, без видений. Так безпробудно, даже при перевёртах.

Проснулся — не рано. Не подскочил сразу, ещё долежал в полной тишине.

Даже удивляясь тишине.

Но уж сегодня — ни за что не оставаться. Какой бы поворот ни придумала. Хоть бы на пороге схватила и кричала. А может, пока она спит, — тихо, не завтракав, выскользнуть, да на первый поезд?

Встал на цыпочках. И — в чувяки, сапогами лишнего не скрипеть.

Но из столовой в спальню Алины дверь была нараспашку. А в столовой — всё как вечером, ничего не сервировалось.

На середине стола к наклонной фотографической рамке, где Алина снята в широкой шляпе, был прислонён белый лист.

И почерком фигурным, с прихотливыми выбросами, как кометными хвостами, а теперь урезанным:

«Я презираю себя, что унижалась, терпела и хотела твоей ласки в этом убогом пансионе. Это подобно — кровосмешению!..»

Выходы вверх и вниз — как твёрдые стебли, а на них посажены буквы. Но стебли совсем не тверды, Георгий-то знает, хотят казаться, хотят быть твёрдыми ещё пять минут, а сами еле держат лепестки слов:

«Четыре дня назад, уезжая из нашей квартирки на озеро, я воображала себя единственной и несравненной. И вот — возвратилась худшей из двух!.. И ты смеешь нас *сравнивать*?! И будешь теперь на каждом шагу?»

И как же тихо ушла. Первая. Перехитрила.

Пошло между ними на хитрость.

Да не вечером ли она уехала, когда он только заснул? Не всё:

«Еду в Петербург посмотреть на твою красавицу-интриганку, ещё стоит ли из-за неё кончать с собой? Не догоняй меня и дома не жди — хочу, вернувшись, тебя не видеть!»

Ого! А как же она найдёт?.. А хотя, а хотя... закружился по комнате, не в себе вокруг стола, всей спиной поводя: история... высокообразованная... о, сколько ж он лишнего проговорился... Ещё и найдёт?..

На телеграф? Телеграмму Ольде? Предупредить?

О чём? Что — нарушил, назвал? в первый же день предал имя? и теперь — жди обвала на голову?

Да не найдёт! Да не сразу! Остынет, не пойдёт.

Вереньке? Чтобы перехватила безумную, если сможет?

Но она к Вере и не явится. И что поделает Вера с такой?

Забегал по квартире. Жгло.

У неё в спальне — ящики выдвинуты, переворочены, два платья свалены на нестеленную кровать.

И скомканная крупная бумажка на полу.

Тем же почерком, размашисто набирающим ярость:

«Ты думал, нашёл покорную дурочку, да? Но у меня е с т ь в ы х о д ! Ты увидишь меня ещё в таком бле...»

Зачёркнуто. Брошено.

А вот и вторая, скомканная, откинута к окну:

«А из-за кого у меня сорвалась музыкальная карьера?»

О-о-о... Водя Алину вокруг пруда и шейку ей закутывая от ветра, рано же он рассудил, что всё обойдётся...

Гнать опять в Петербург, самому? А Ставка? а полк? Уже сроки перепущены, засюсюкался!

Но: вчера она вряд ли успела уехать, уже не оставалось поездов. А сейчас ещё рано.

Вот что! Вот что: Сусанна Иосифовна сама назвала ему свой телефон, зачем-то.

И, шинель на сорочку, едва ключ не забыв и дверь не захлопнув, он кинулся к лестничному телефону вниз.

Она. Как женские голоса нежнеют по телефону.

— Сусанна Иосифовна! Не удивитесь, пожалуйста, и снисходительно простите мою безцеремонность. Может случиться так, что Алина Владимировна появится у вас в эти часы... — Догадался: — Или, может быть, уже у вас?..

Там заминка.

Очевидно — там, да.

— ...Тогда я вас очень, очень прошу, хотя безо всякого права... Вы имеете на неё доброе влияние. Если она намеревается ехать в Петербург — помешайте ей, отговорите... Из этого не вышло бы беды... И для неё самой...

На той стороне пауза. Потом — сдержанно, но дружелюбно:

— Хорошо, Георгий Михалыч. Я попытаюсь.

Ну, умница! Ну, прелестная женщина! Хорошо и надо, чтоб она — с Алиной рядом.

Хватит, обабился!

На фронт!

\*\*\*\*\*

*НЕ ВСЯКУ ПРАВДУ ЖЕНЕ СКАЗЫВАЙ*

\*\*\*\*\*

## ДОКУМЕНТЫ — 4

Кн. Г. Е. ЛЬВОВ — М. В. РОДЗЯНКЕ

29 октября 1916

Председатели губернских земских управ, собравшиеся в Москве 25 октября для обсуждения продовольственного дела... Правительственная политика дала свои роковые плоды... Все распоряжения высшей власти как бы направлены ещё больше запутать тяжёлое положение страны... Созрело сознание, что стоящее у власти правительство не в силах закончить войну с соблюдением истинных интересов России. Мучительные, страшные подозрения о предательстве и изменах перешли ныне в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление наших государственных дел... С негодованием отвергая всякую мысль о безславном мире... Председатели губернских земских управ пришли к единодушному убеждению, что стоящее у власти правительство, открыто подозреваемое в зависимости от тёмных и враждебных России влияний, не может управлять страной и ведёт её по пути гибели и позора...

## 60

Когда в газетах напечатали указ об очередном призыве ратников 2-го разряда, с 25 октября, Роман Томчак ослаб в своей качалке, и ноги, как подрезанные, потеряли силу толкать её или подняться. Уж его-то теперь, тем более, должны были забрать неминуемо.

Ослабла в нём всякая воля к защите. Сгорбясь и с головой, сваленной вперёд, он замер в последнем своём убежище, в качалке.

Так и застала его Ирина: маленького, чёрного, скорченного, плешью вперёд и с газетою на коленях. И не от него, но из газеты — поняла.

Все эти годы Ирина густо стыдилась, что муж её не на войне. Хотя были и другие экономисты такого ж возраста, от тридцати до сорока, — младший Мордоренко, Никанор, или младший молоканин, но те оба были при деле, сами вели большое хозяйство (а молокане освобождались и по убеждениям). Роман же в 38 лет при своём неутомимом, крутом отце ни на касание не был допущен к хозяйству — да и не тянулся, высиживал войну в экономии, с редкими поездками в города.

А прошлым летом, в самое тяжёлое время русского отступления, когда изнывало орino сердце от русских потерь и от страха, что́ будет с Россией, ещё и попалоcь ей в газетах о смертном подвиге медицинской сестры Риммы Ивановой — ставрополки же, что особенно поразило Орю: кончала та Ольгинскую гимназию в Ставрополе, рядом с их пансионом, и даже годами моложе Ори, а вот... Перебиты были все офицеры её 10-й роты, и тогда Римма Иванова сама повела в контратаку нижних чинов, захватила вражеский окоп, убита, — и посмертно награждена Георгием 4-й степени.

Хотя и до этого потрагивала Оря свой винчестер и проверяла неубывшую меткость своей стрельбы, и до этого рисовала в воображении, как бы безстрашно вела себя на войне, но тут потянуло её вдесятеро. Оря так почитала ту Первую Отечественную, в подробностях по картинкам знала её, никогда и не предполагала сама угодить в такое героическое время, — и вот распростёрлась, грозно тянулась Вторая Отечественная, а не находилось места Ореньке у армейских костров, или с партизанами, или со старостихой Василисой. Все заботы её с цинерариями, цикламенами, японскими хризантемами, с перебором восьми десятков висящих, никому не нужных нарядов, — отбросила б она радостно для неиспытанной бодрой, героической жизни на войне! «Ромаша! — говорила, — пойдём на войну!» — «Ты что, хочешь моей смерти?» — «Ну,пусти меня одну». — «А что ты там будешь делать?» Ирина ясно представляла: стрелять. Живо и нестеснённо видела себя в военной неприхотливости, даже в шароварах, лёжа на земле или сидя на дереве, как её любимый Натаниель Бумпо, — и в ту жизнь без сожаления вырвалась бы из своего надоевшего безделья, даже если бы Россия и не была так угрожаема. (А если бы не угрожаема, так и никогда б ей не вырваться.) Но ужаснуть мужа предполагаемым видом своим она не смела: «Я буду сестрой милосердия». — «Чтоб ты с офицерами мне изменяла?»

Этого-то он не думал, конечно. Он знал, как прочно она воспитана, из-под руки отца под руку мужа, до того лишена всякой отдельности, что даже билета железнодорожного никогда не брала, не знала где и как; не отлучится в город без казака или горничной; не наденет платья безрукавного; тотчас покинет компанию за столом, если кто покажется мужу слишком пристален; Анну Каренину ненавидит как самую гадкую из женщин. Подозрения он не имел, наверно, но как снести двойной позор: жену отпустить без себя, а самому сидеть дома?



Вступила она было в Общество Четырнадцатого Года — тоже звучало трубами и напоминало Двенадцатый. Присылали ей разные билетки и брошюрки, приглашали в Екатеринодар на заседания (Роман ни разу не пустил). Потом определилось, что Общество будет бороться с немецким засилием в России. Доброе дело! Ирина давно страдала от этого немецкого засилия, ещё прежде войны изумлялась она, до каких же пор немцы будут править Россией? Но теперь, как Общество ни боролось с засилием, — всё по-прежнему в иллюстрированных изданиях каждый пятый генерал, офицер, сенатор или член Государственного Совета носил немецкую фамилию, а с этой весны и во главе России откровенно стал Штюмер — позор какой! победил-таки Вильгельм с помощью царицы!..

Тогда стало бороться Общество с немецким землевладением. Но никто, разумеется, и пикнуть не смел против их могучего соседа по экономии, богатейшего на всём Северном Кавказе барона фон Штенгеля. А принялись теснить и цель имели разорить и выселить рядовых немецких колонистов — аккуратных, умелых колонистов, тоже их соседей, у кого так много перенимали Томчаки от устройства бычьего хлева и до прачечной: обручные лохани на колесиках подкатывались под краны, на бортах лоханей крепились валики-выжималки, и бельё сушили никогда не на дворе, а на ровном сквозняке крытого этажа.

За колонистов Ирина заступилась, и из Общества её исключили. Смеялся Роман. Сам он ни в какие такие игрушки не играл. По всей России кипел городской Союз и земский (впрочем, на Кавказе земства не было), — он над этими деятелями тоже посмеивался, сидя в качалке с газетами. Деятельность серьёзную, а не мелко гавкать о Земгоре, предполагал Роман возбудить лишь после войны.

А теперь, подрезанный ещё новым указом о призыве, понял, что просчитался: такой нескончаемой войны не пересидеть, надо было предохраниться в Земгоре. 27 месяцев её уже прошло, но от того она не мягче заглатывала, и даже одного ещё полного месяца не нужно было, чтобы там погибнуть.

Теперь Ирина целовала мужа в лысину и подбодряла: ещё — возьмут ли? а возьмут — не так быстро, можно что-то быстрее сделать, кинуться. Конечно, самое бы прямое и простое — войти в хозяйствование экономией. И всё. Будет Ирина просить, умолять, — но отец... отец и для жизни сына не согласится! А несправедливо

как, ведь у Романа к хозяйствованию большие способности, просто он не развивает их. Как он метко предсказывал иногда, что в этом году будут покупать на отхват, что надо сеять, — и сбывалось. А какой-то сезон он у Федоса Мордоренки арендовал на Гулькевичах пять тысяч десятин, засеял лён, почти не виданный в здешних краях, и всё угадал: урожай и спрос по осени, ездили экономисты смотреть-удивляться. И ещё повторил год, опять с успехом, — и тут же бросил, и бросил опять-таки вовремя: подражатели уже не продали хорошо. Он — всё может, если бы взялся!

Напоминание об его же успехе со льном влило Роману сил. И правда, он же талантливый человек, что ж он падает духом? (Всегда у него так: от неприятности — полоса чёрного упадка.) Обстоятельства душат — надо изобретать и действовать!

Ирина же подала и мысль: выступить на *совещании*. В воскресенье 30-го октября собиралось в их доме невиданное совещание всех соседей-экономистов. Раньше собирались только на именины да в карты играть, а теперь и тут придумали, как везде по России, — «совещание». Очень смеялся Роман над той затеей — «как у умытых!», говорил, что даже на первый этаж не спустится к ним. Но теперь — схватился. В самом деле, чем глубже хозяйства увязали в военной обстановке, тем больше проблем. Он не хотел в них путаться, его деньги в банке, но сейчас, с его способностями, развитием, языком, да ещё ж по постоянной трезвости среди этих распущенных свиней, были шансы выделиться на первый план. Получить от совещания полномочия на переговоры с другими такими же группами экономистов, с Екатеринодаром, Ростовом, — начнётся бурная деятельность, разъезды, всем нужен, и уже ни о какой мобилизации... Верно, Ирочка, верно, моя золотая, дай я тебя в губки...

С того часа Роман как обновился: тут же побрился, посветлел, вместо халата сюртук, уже вскоре спустился в контору, где давно его не видели, требовал книги, задавал вопросы приказчику, конторщику, это была суббота, и в воскресенье из конторы не вылезал, а в понедельник с мухортеньким управляющим проехался по полям и к соседу их Третьяку, во вторник сидел у себя на верхней веранде, писал и считал.

Такой необыкновенной деятельности не мог не заметить старый Томчак. И — не поперечил, не гаркнул, не запретил из конторских книг выписывать, да даже не спросил — зачем? Сам сын объяснил: не в хозяйство вмешивается, готовит доклад.

Сроду такого слова Захар Фёдорович языком не вымеливал, разве что доклад портному дают на пошив. Но читал в газетах, что министры царю доклады делают. И ещё — учёные господа на учёных сборах. И вот, не в своей привычке, не вмешиваясь и не указывая, сел в конторе за пустой стол, о палку опёрся и молча следил, как сын его готовит доклад, о чём у служащих допытывается. Но — в какую сторону доклад пойдёт, не спросил.

И Роман был доволен. Присутствие отца ему не мешало, а пусть видит, что такому сыну всё можно доверить, *у этого не вырвется.*

Именно в эти дни, когда Роман стал такой подвижный и деятельный, а весь двор и дом суетился, готовясь к парадному приёму, старый шумливый Томчак стал тихий совсем. Ни на кого не цыкал, не кричал, распоряжался тихо, коротко, никуда не ездил, а с палкой своей любимой суковатой медленно ходил. Старуха беззаботно лежала, не заболел ли. Служащие притихли, боясь особого вида гнева. Но нет, старик — задумался. О задумьи том никому не высказываясь.

Так и в конторе сидел он, из-под мохнатых бровей поглядывая, как сын на удивленье работает. Такого бы сына да с такой работой — ему бы десять лет назад, да десять лет подряд, и тогда б он ему спокойно дело передавал. А — не зaráз. Подлащивалась Ирина, понял Томчак что к чему, и знал про ратников. Да только дело, разогнанное аж ещё с Кумы, с Маслова Куга, а на Кубани уже двенадцатый год, на две тысячи десятин, с торговлей до Харькова и до французов, дело было громадней самого Томчака и не могло соломою разостлаться, чтоб сыну не хряпнуться больно. Дело это имело свой отдельный ход, катилось уже не по родству и не по семейности, в него были втянуты многие люди, и выходил большой товар для России, оно уже как будто и не было томчаково личное, и отдать его в неверные руки Томчак был просто не волен, скорей удушиться бы. Имея бы сына путёвого, Захару Фёдоровичу в 58 лет отчего б и не польготиться, не поволить с отдыхом? Так, понемногу бы наглядывал, а больше бы читал Жития Святых, може и в Лавру Киево-Печерскую съездил бы помолиться, а то и в Палестину. Но с *этим* сыном твёрд был Томчак держаться и не разомкнуть аж ещё хоть двадцать лет. Уступил он невестке Ксенью, алэ на тот год кончит и Ксенья, тут её и замуж скрутить. Да за двадцать лет вырастить внука, якого трэба. О тогда и Жития Святых читать. А цей сын —

нехай хоть и с германом идэ воюе. Усэ ему в руки давалось, крутил поросячий нос.

(Только в самом сокрытьи сердца: а может — пошлёт Бог и ещё поправится сын?..)

Роман горячо готовил свой доклад. А в канун, когда уже все цифры имел, а в доме пыхал самый утар приборки и готовки, никуда уже больше со своего верха не сходил, старому же лакею Илье велел обед принести к себе на веранду, как больше всего любил: бумаги с ломберного стола пока собрать, вот лакей с важностью трепыхнул крахмальной скатертью, вот несёт стекло, серебро, — нигде и ни с кем так хорошо не пообедаешь, как с собой наедине. Никем не подгоняемый, ни на какие беседы не отрываемый, весь во вкусе еды, есть время и повод припомнить подобные же вкусовые сочетания: в ресторане «Европейской», в Баден-Бадене... Наедине можно и выпить рюмочку-две, даже с рюмкой перейти в спальню к большому зеркалу: «Ваше здоровье, господин депутат!» Русские потому гибнут, что пьют с горя, а надо пить — только с радости, и понемногу.

По спальне есть где пройти под приятным шумком, она же — и зимний кабинет, она же — и библиотека. Половина — книги Ирины, половина — Романа. У неё — в переплётках каких придётся; а все свои, несколько сот, Роман велел переплести в одинаковые чёрные, там Пушкин или Гоголь — стоят все как одно собрание сочинений, и золотом вытиснено на всех одинаково: на корешке — Р. Т., а спереди полностью: Р. Томчак. Сильное впечатление, штук шестьсот стоят книги одна в одну.

Да, в Пятой Государственной Думе его радикальная программа ошеломила бы всех. Самодержавие урезать — до игрушки почти. Во-вторых, административными методами довершить философскую работу гиганта Толстого: разгромить Церковь! Отнять у неё все капиталы, все земли, это имущество только дремлет и задерживает общий ход, — обратить церковь в придаток, там крестины, панихиды для желающих, и всё. В-третьих... Да ведь один всего не перевернёшь, надо создавать партию деловых людей, какой в России нет. Вот такая наша дремучая азиатская нерасчленённость, что главной деловой партии — и нет, а колотятся какие-то кадеты, чуть в сторону — уже социалисты.

Вошла Ирина в высоком фартуке, раскраснелая и счастливая: — Ну, как у тебя дела? Ничего не надо?

— Дела прекрасно. Ты знаешь, я даже говорю: и хорошо, что грянула гроза, я проснулся! Я даже думаю, от этого совещания начать некоторое движение, сперва чисто хозяйственное и только на Кубани, но потом оно... Поставить властям некоторые жёсткие условия. А поскольку мы их кормим — им придётся принять. Да ты-то обедала?

— Где там! Если в кухне в жаре стоишь, всё пробуешь... Завтра у нас будет, знаешь, не считая закусок, но со сладкими — десять блюд!

— Ну-у-у!

— Нельзя же опозориться. Такое событие. Да и твой дебют.

— А ещё что я думаю — насчёт автомобиля.

Знала она, горело у него, что в прошлом году ни за так, по автомобильной повинности, отобрали у него роллс-ройс, стоявший 18 тысяч, — и попал он к великому князю Николаю Николаевичу, переведенному на Кавказский фронт, а может быть и для генерала просто, не проверишь. Да эти годы Ирина умоляла Романа не заводить автомобиля, не дразнить людей.

— А теперь я думаю, если начнётся деятельность... Не поверить ли торговому дому Борей: продают только английские автомобили и будто с удостоверениями, освобождающими от реквизиции?

— Как хочешь, — улыбалась Ирина — тому, что он энергичен, каким она любила его, и хорош с нею. — Я, ты знаешь, всегда предпочту рысаков. Но тебе, если пойдёт, как ты думаешь, конечно скоро понадобится автомобиль.

— Ты прелесть, — поцеловал её в розовую, горячую щеку.

— Я ещё приду с тобой посоветоваться, что надеть завтра.

— Приходи-приходи.

И умна Ирина. И преданна. И молода. И красива. Для представительства, для показа, для путешествий — лучшей жены не придумать, — все любят, все завидуют. Но до чего обманчива бывает эта показная красота — а чего-то, чего-то нет нутряного, живого, задевающего, какое бывает и в дурнушке в затрёпанной юбке. И если б этим одним владела ты, голубушка, — не надо бы ни всех твоих мудростей, ни винчестера, ни Общества Четырнадцатого Года.

А вот общественная деятельность естественно потребует теперь многих отдельных от жены поездок.

Ирина же, после свидания с ласковым мужем ещё счастливее, спешила в ледник — как там поставили пирожные, и в погреб к соленьям, и снова на кухню. Давно она не была так полна обязательной, не самопридуманной деятельностью. В пансионе их всех учили готовить, ибо без этого нет хорошей жены. Но в экономии Томчаков делать что-то по кухне выглядело бы унижительно для её положения, и обидой для свекрови, и недоверием к прислуге: часто присутствуя, нельзя было не видеть, как все откладывают впрок себе и своим, а те поварихи замечали, что Ирина заметила. Так богатство лишало Ирину простой кухонной женской радости.

Не то — последние дни. Сейчас она готовила весь церемониал, и как будет убрана столовая, где что расставлено, что за чем подаваться, и сама решала и опробовала весь состав меню со всеми подливками и гарнирами. За военные годы несколько поскудели их возможности, много чего уже не было в запасе и достать нельзя, — но ещё избыток и преизбыток! Была нехватка и в подсобных женских руках — часть женской obsługi заменяла постоянных рабочих, теперь взятых на войну, и экономка оставалась только одна — и по дому, и по двору, и без буфетной девки, — тем напряжённее доставалось сегодня всем, и тем нужней ощущала себя Ирина, особенно при фаршировке птицы.

От обычных сборищ экономистов завтрашнее совещание отличалось тем, что ожидалось лишь сами хозяева, без жён, без дочерей, и Ирина со свекровью будут единственными женщинами за столом. Но вдруг возникло у них: а не вздумает ли приехать старуха Дарья? От этого многое изменилось бы, начиная с рассадки.

Хотя старуха Дарья, вдова Фомы Мордоренки, всё хозяйство уже разделила между тремя сыновьями, да и сыновья уже имели взрослых детей, однако власть её так была велика, что сыновья и по сегодня перед ней отчитывались, и могла она захотеть приехать послушать и даже выразиться. Ещё крепче держала она прислугу: вся та жила без своих комнат, спать ложилась вповалку в мраморном вестибюле, а личная прислуга — у хозяйских порогов, на полу. Старуха Дарья была непреклонной силы, и даже армавирские власти перед ней заискивали. Как-то пропало у неё в конторе 500 рублей, вызвали из Армавира пристава и двух полицейских с ищейкой. Дворню выставили в круг, вывели ищейку из конторы, все стояли и дрожали. Порыскав, собака подошла к кон-

торщику Аврааму и стала лапами ему на плечи (да ведь чей же запах и мог быть в конторе?). Высокий хилый конторщик побледнел, пристав тут же несколько раз ударил его. Потом нагрузили на него мешок кирпичей и за 18 вёрст послали в Армавир. Там били и допрашивали, а пристав сидел у старухи угощаясь и по телефону справлялся, как идёт допрос. Сперва дал показание конторщик, что спрятал в амбаре, потом — около сортира, и Дарья гоняла всю прислугу копать. А тем временем конторщик от побоев умер. (Прошло несколько лет, и одна дарьяна невестка, рано умирая от чахотки, призналась: «Это мне — за Авраама. Деньги тогда — я взяла».)

Но где-то и обрывалась дарьяна власть. Овдовевший сын привёз себе вместо жены — шансонетку, с тех пор к нему в гости семейные не ездили, а та принимала гостей в кружевах шантиль, под которыми одно трико.

Была ли она именно шансонетка, пела ли когда где песенки, Ирина не знала точно, но этим собирательным отвратительным словом «шансонетка» она обозначала и припечатывала всю категорию непорядочных женщин, разбивавших семейные устои. Припечатывала, уничтожала, знать не хотела и даже помнить бы не хотела — но кем-то однажды рассказанная эта сцена, как та встречала гостей, так и въелась, так и держалась в памяти, всё возвращалась и тревожила: одно трико под кружевами шантиль! Мороз...

Ещё надо было решить, что надеть завтра. Женщин не будет, значит строго. Жакет по талии с отделкой из каракульчи.

Ещё надо было в прачечную, где на особом гладильном столе, сбитом под необъятные иринины пододеяльники, сейчас старшая прачка гладила тюлевые занавеси для парадного зала.

Только уже при конце заката Ирина, усталая, вышла на свою обычную вечернюю прогулку — через парк.

Стояла для позднего октября задержавшаяся тёплая, ласковая погода, как бывает южной осенью — безветренная. Если б не осыпь листьев да не ранний вечер, её даже осенью назвать бы нельзя, почти как лето, шла Ирина в шерстяной блузе, и было даже жарко. И росы не было.

От гледичии стлались по первой кривой аллее широкие крупные фиолетовые стручки.

Ещё не спущенный овальный водоём рябил кругами от упавшей веточки, а потом эти круги, отражённые от бетонной стен-

ки, причудливо накладывались, и верхи деревьев покачивались в них: кое-где ещё не опавшие чрезмерные платановые листья и свешенные длинные жёлто-зелёные, как будто странные чьи-то уши.

При начале сумерок быстро меняют окраску серебристые гималайские ели. Мрачнеют. И вдруг мелькает в них крупная какая-то птица.

А если через ели оглядеться на дом — в обоих этажах уже зажигаются огни, разных оттенков от абажуров и занавесей. И вот так, гуляя, можно вообразить, что это — не твой дом, не ваш, такой комфортабельный, но уже и надоевший, где известно о каждом предмете, лежит он или висит, о каждом человеке, что он сейчас делает и скажет, — нет, завлекательный дом неких неизвестных рыцарственных людей высокой души, где течёт жизнь благородная, светлая, достойная, о которой и в редкой книге можно прочесть.

На крайней каштановой аллее было светлей. Крупные каштаны в ёжистых оболочках лежали несобранные под ногами.

Каштановая аллея переходила в сводчатый коридор китайских акаций с цепочками ядовито-зелёных плодов, и там опять было темней.

Здесь, на закатном краю парка, постоянно гуляла Ирина вечерами, переходя из света в сумерки, из сумерок в свет. Она фантазировала о йогах, о теософах, о переселении душ. Она очень даже допускала переселение душ — и из восточных понятий что-то красиво прилегалo к христианской истине, и всё вместе воспринимается лишь как разные ипостаси красоты. Оря любила по мечтать, кем она была раньше, кем будет потом. И — дотронется ли до звёзд, прежде чем перевоплотится. Она любила думать о красоте вздрагивающей, несбываемой, суженной не тебе, а душам свободным.

Небо чистое, нигде не порозовлённое ни облачком, переходило в тихую ночь, готовое к проступу звёзд, Млечного Пути, и скорому восходу полной луны, уже на убые, каждый день забирающей влево.

Убывало света — и заметней пробивали костровые огни из разных мест. То сжигали по всей степи бодылья подсолнуха на поташ. Рук не хватало, и сдвигалась недоделанная работа в осень и в ночь. Благодатная Божья скатерть — степь, и в эту войну нескончаемую, сюда не слышную и не видную, всё так же отдавала



неуменьшенные дары человеку и только просила не забывать её руками.

Если сейчас посмотреть с балкона второго этажа — степь увидится в разбросанных этих кострах. И вдруг — так тревожно придется: будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь.

## 61

Молодость проживя в низких, нищих мазаных землянках, в дверях сгибаясь чуть не в пояс, а и в середине распрямляясь не во весь свой здоровенный рост, полюбил Захар Томчак высокие потолки. Да высоких потолков он, может быть, просто вообразить бы себе не мог, если бы к постройке нового дома не побывал в отметных зданиях Ростова, начиная с банка и биржи. И вот в новой экономии оба этажа он поставил семи аршин высоты, как не строили здесь, а нижнюю парадную залу возвысил и до восьми аршин, для того поднявши над ней пол в домашней верхней зале, куда стягивали старую мебель.

Парадная зала окрашена была золотисто-розово, маслом, но под вид обоев. А потолок был не просто гладкого цвета, но плавали белые пухлые облачка, а меж них летали херувимчики, только не церковные, а хитроватые, и поглядывали вниз на гостей. С потолка спускалась электрическая люстра на двадцать ламп, и из каждого оконного простенка тоже торчала кривая с тремя лампами. В одном углу залы, уступая дочке и невестке, мол, так у всех порядочных людей, поставили красную рояль, да две пальмы по бокам. Зато другой угол убрали иконами по-христиански. А ещё в третьем углу такая стояла здоровая пальма, что вынести её могли только все четыре казака вместе. Одна длинная стена убрана была и зеркалом, три раза перебрать разбросанными руками, рама резная, позолоченная, только не блестящая, а матовая (тоже, мол, так лучше), а само зеркало отлито на собственном Его Императорского Величества заводе зеркал, фарфора и хрусталя. По другой длинной стене между двумя распашными входными дверями и дверями в столовую размахнута была печь в розовых изразцах. Одна короткая стена была как бы стеклянная — на зимнюю веранду с заморскими тёплыми цветами, а другой короткой стены и не

было совсем: вся она была вынута аж до самой арки, и могли гости, хоть по четыре в ряд, переходить в гостиную. А гостиная была крашена в голубой цвет, а мебель в ней — полированного розового дерева, хочешь в креслах таких сиди, хочешь — на стульях таких, а то хоть и на диване, — такой же. И по полу гостиной постоянно простелен был французский ковёр. А по зале осенью, вот как раз сейчас, к съезду, раскатывали текинский.

До того хороша и размашиста была эта зала, что даже нечего было в ней делать: обедали не в ней, танцевать экономисты особенно не танцевали, разве что в карты играть, так чересчур просторно, на карты шли в домашнюю залу. И за всё шестилетнее стояние экономии, кажется, лучшего случая не было, чем сегодня, первый случай — собрать всех окрестных экономистов, хоть друзей, хоть чужаков, с кем и не выпивали никогда за одним столом, — и размовляться о деле. Из-за этой-то самой размахнутой залы и сговорились собраться у Томчака.

К двенадцати часам такого же погожего солнечного дня с паутиною, разворачиваясь по парадному двору и ещё на дуговой проезд к самому крыльцу, подъезжали и подъезжали экономисты — на автомобилях, фаэтонах, в дорожных каретах, на рессорных бричках, на линейках, а штундист — без кучера, на двухколёсном шарабане, — ещё б на гарбе воловьей приехал, что значит чужая вера!

Захар Фёдорович в шевиотовом сиреневом костюме и в галстук (собачья завязь, шею душит) стоял на крыльце и только руки успевал пожимать, к одним сшагивая до самого экипажа, перед другими опять запячиваясь на приступки. Приехало по отдельности трое здоровых чубатых Мордоренок — два Фомича и один Акимыч. А Дарьи не было, оно и всем легче. И осторожно спустился с высокого сиденья, как паук по паутине, круглотелый маленький Третьяк — потихонечку, оглядываясь, не укусят ли. Был он, как всегда, и летом, в старом чёрном пальто — нараспашку, а полы гребут по земле. И Чепурных прикатил на дикой тройке — гологоловый, так брит, что голова аж сверкает (носил оселедец, да в Ростове засмеяли, сбрил недавно), зато усы как казачьи пики, в стороны. И приехали Мяснянкины, дружные дядя с племянником, оба пунцово-лиловые, небось уж с утра набрались. И двое молокан приехали, с дальних хуторов. И вот штундист.

А барон Владимир Рудольфович фон Штенгель не только сам не пожаловал, но и управляющего своего не прислал. С мужиками не хочет.

Все они проходили в переднюю, а там стоял лакей Илья с седыми бакенбардами (так ему велено было, иметь бакенбарды) и в своей парадной ливрее. Он принимал шляпы, палки, пальто и с поясным приклоном показывал каждому на зал.

Где же было стать Роману? Не только о сути доклада своего он так ничего и не сказал отцу, из гордости, а тот не спросил, из гордости, но и как гостей встречать — тоже между ними не было обговорено. Стать теперь на крыльце рядом с отцом? — терялось отдельное значение Романа. Стать в передней? — при лакее невозможно. Так принимал Роман гостей уже в самом зале — строгий, деловой, в чёрной тройке и безо всякой улыбки (знал он от зеркала и от Ирины, что никакая улыбка ему никогда не идёт, она как будто угрожающе выглядит). Принимал, рассаживал по залу и по гостиной и сразу деловыми замечаниями настраивал экономистов, что приехали — напрягаться головами, а не гоготать и обжираться.

Но и хозяев и гостей более всего удивил — кор-рес-пон-дент! Да, самый настоящий корреспондент екатеринодарской газеты! Никто его не ждал, никто его звать не догадался, а просто был он в Армавире, от кого-то пронюхал про совещание (верней — что покушать можно будет по-экономически) и приехал — поездом, со станции пешком. Был он беленький, каких на Кубани не бывает, и худой, как с глистами.

Роман сразу его оценил: вот то, что и нужно, как же сам не догадался? Очень был с ним любезен, внимателен. И за большим столом совещания, по которому раскатано было синее сукно, наметил ему место рядом с собой.

А экономисты — аж ёжились: как держать себя при таком человеке? ведь пропишет. Хоть и рта не раскрывай вовсе.

Ну, всё же разговаривали, от него подальше, а как подходил — смолкали. Разговаривали — про ростовские мельницы. Всегда они работали на кубанском зерне, а теперь — запретили туда везти, и мельницы какие остановились, а какие — грубые сорта дерут. А тут — зерно томится. Это что, отвечали, вот с Питербурха чоловик прыйихав, там зовсим йисты нэма чого. — Да колы б хлиб и вэзты у Ростов — так хйба ж то цину дають? Задарма скоту скормыть, и то барышу бильш. — А бичёвка завжды була четыре с полтиной пуд, а з́араз — пýтнадцять карбованцив. — Та шо бичёвка? А пидóшва? — Та вы кажить, робитныкы́ почём? Раніше парубок на усём хозяйском за пýтдэсять карбованцив на лито най-

мався, а тэпэр йому двисти дай! — Та шо парубок? Баба в страду от зари до зари радэшенька була за симдэсят копийок, а тэпэр йий як бы нэ тры карбованця? — Та хоч бы робылы за совисть, а то тильки гроши хватают, а робыть нэ роблят. — И заплатышь, а шо ж, як робитныкив пидчыстылы? Тильки инвалиды и остались, учётных вже нэма. А у том Ростови, дэ яка пукалка працуюе, так биля нэй — учётный... Полонэных бы дали досыть, так и полонэных не прыжинут. А кого прысылають? — парыкмахэри в та бухгалтэри в, у полонэных, бачишь ты, *спеціальность*! — Та хоч бы ци булы, кого заслалы. А то у саму страду — цап тоби, кудысь йих загрэблы, увэзлы.

Всё это верно говорили отчасти, но такими безцельными безформенными балаканьями сбивали романов доклад, портили ему. И, проворно ходя по залу, чёрный, подтянутый, поворотливый, с холодной любезностью, он предлагал отцу и другим старейшим — начинать.

А как его делают — *совещание*, никто не знал. Шли к большому столу под синим сукном, и даже братья Мордоренки, даже Яков с платиновыми зубами, не лезли занимать первые места. С непривычной уступчивостью отнекивались, не вылезать бы вперёд, препирались не чтоб себя выставить, как обычно, а чтоб себя загородить.

И покашивались на Корреспондента.

Отец как хозяин вроде и начал — вот, мол, собрались, побалакаем, кто як розумие... Но председателя — не предложил избрать. Ждал Роман, может скажет: вот у сына — доклад. Не сказал.

Что ж, оставалось действовать самому. Два десятка несуразных, мордатых, бронзовых и красных сидели в развалистых креслах вокруг просторного стола и без стаканов, без игральных карт не знали, чем руки занять, даже угребали их с синего сукна. По виду раззявились, а ощущали себя неловко. И на обширном синем овале не было ни единой бумажки. Ни единой, кроме большого бухгалтерского тома перед Романом и маленькой книжечки перед корреспондентом. И уже две этих записных книги всех заставили насторожиться и поглядывать на Романа. И теперь, не ожидая больше, он поднялся, строго оглядел собравшихся и сказал:

— Господа. Для того, чтобы наше совещание было плодотворно, не покажется ли вам удобным, если я сделаю доклад, дам анализ главным хозяйственным проблемам, стоящим перед нами,

и предложу практические действия, после чего вам будет удобно высказываться?

Да — захолонули все! Не ожидал никто: ведь вот, оказывается среди нас какой говорун вырос! Да такие слова — тут, может быть, и знал только один штундист, на дальнем углу, с маленькой чёрной бородкой.

И этим молчанием, этим согласным растерянным бормотом расчистился без председателя путь докладу. Роман распахнул толстую книгу и, поглядывая туда, а то уже и не поглядывая, свободно, твёрдо выговаривал, то поворачиваясь вправо, то влево:

— Первая группа проблем — это цены на нашу продукцию, в первую очередь, конечно, на хлеб.

И иногда перешуршивая листами книги и там карандашом что-то отмечая и выделяя, рассказал экономистам и про хлеба, и про кукурузу, и про шерсть, что они сами знали хорошо, но сложить так бойко и быстро ни за что б не сумели. (Да у кого б это терпения хватило всё выписывать!) Возмутился Роман низкими твёрдыми ценами, но напомнил, что и на реквизируемый скот первоначально были поставлены слишком низкие цены, а когда настояли хозяева, то подняли их, и за пару быков стало платить государство 400 и 500 рублей.

Корреспондент стал записывать.

А Ирина чуть выглядывала из притворенной двери столовой.

— Вторая группа проблем — это цены на промышленные товары.

И вычитывал эти нынешние цены: на плуги, на молотилки, на лопаты. И так от этих цен все разжигались, что Чепурных прогаркнулся громовым басом:

— А город усэ хоче надармачка! Нэхай бы робылы, як мы робым.

И поддали ему:

— Нэхай бы мэньш на заводах бастувалы, о тоди б и цины булы.

Но — слушали. Кто голову задерёт, а там примирительные летают птички не птички, люди не люди. Сам удивлялся Роман, как хорошо его слушали и как удаётся его первый общественный опыт. И от удачи ещё ровней держался и ещё высокомернее говорил:

— Третья группа — это рабочие руки. Положение и без того уже было катастрофическое, вы знаете, но вот начинают забирать

и ратников 2-го разряда до 40 лет. Через какие-нибудь месяц-два у нас всё производство остановится.

Широскулые молоконе похлопали, похлопали веками: верно.

Крикнул Федос Мордоренко:

— Та розируют хозяйство дотла!

— А ещё добавим и разврат труда: рабочие знают, что на них спрос, и работают хуже довоенного. Знают, что могут всегда уйти и найдут себе оплату выше.

Корреспондент записывал. (А ещё, когда приоткрывалась дверь в столовую, прислушивался туда. Тощий он был просто на редкость, тут среди экономистов похожего не было.)

Слушали, не разбредаясь голосами и толками. Перед этими туземцами всегда свои преимущества зная, всё же удивлялся Роман, как сильно звучит его речь. Не давая вниманию рассыпаться, он приводил цифры, примеры, но не слишком много, и переходил к следующим проблемам: землевладельцам не дают государственного кредита, и потому, чтоб не останавливать производства, они вынуждены принимать любые условия рынка, любые цены, хоть в полное разорение себя, не имея возможности выждать лучших.

Тут многие закричали одобрительно. И всё увереннее видя себя их признанным ходатаем, Роман заключил так:

— Государству выгодно только среднее и крупное землевладение: бóльшая отдача капитала и большее приложение труду. У крестьян нет средств, и они не могут поднять культуру хозяйства. Но и дворянское землевладение ведётся не лучшим образом: сами дворяне — белоручки, они коммерсанты плохие, а управляющие обкрадывают их и ведут хозяйство как чужое. Поэтому только экономисты представляют собой высший тип современного сельского хозяйства. И это должно понимать государство — и не должны забывать мы. Поэтому пришло время нам сменить язык с властями. Не ждать, как свалится, и не просить, а — потребовать. Напомнить, что такое мы для государства, сколько мы даём продуктов, — и потребовать!

Передались, передались совещанию — гордость его и обещательность, что именно он — сумеет потребовать. Осанились экономисты (а кто и губу отвесил), заважничали степняки, впервые услышав, что *они* от властей — и вдруг потребуют! Как от своих конторщиков?

А Роман дальше всё точнее предлагал: вынести постановление, выбрать уполномоченного, чтоб он снёсся с другими группа-

ми экономистов, а тогда от общего лица ехать на переговоры с властями и ставить условия. Рабочие руки? Если нет достаточно военнопленных, можно привезти рабочую силу с Востока или с Севера, у государства есть такая возможность, а нет — пусть сумеют. И пусть государство предложит экономистам кредит — не так, как нас грабит Волжско-Камский банк, под 8%. А хлебные цены если не будут установлены достаточно выгодные — экономисты имеют возможность вот с этой осени, сейчас, вообще хлеба не сеять или сократить посевы, а перевести силы и средства на то, что даёт барыш. И уж конечно отказаться от белотурки, от гирки, раз государственными ценами они не выделяются.

С несомненным успехом он кончил. Обезпечено было ему избраться таким уполномоченным. И будет публикация в газете. Скромно сел. Из ириного золотого портсигара закурил. Посмотрел ещё в лица кой-какие.

Так уже пристроились слушать Романа, что когда он кончил свою резкую речь, закрыл тяжёлую книгу и сел — то как будто ждали, может он ещё что скажет, чтоб остальным полегче.

Поклацал Яков Мордоренко платиновыми зубами.

Кто-то вздохнул. Кто-то крикнул.

Мяснянкины очень важно бровями повели, друг на друга посмотрели, ничего не сказали.

Кому-то ещё говорить надо, что ли? Как его делать, это советание? Вперёд не лезли, никто.

Ещё кресла были такие — для сидения слишком удобные, вглубь-вглубь принимали, утопляли пяти-шести-семипудовое тело. А уж крышка стола подымалась чуть не к подбородку, много не поговоришь. А встать — так ещё трудней.

Хмурый маленький Третьяк положил было ладони на стол, упёрся, локти вывернул кверху, как надо бы при разговоре стоять-упираться, — нет, не осилил, остался сидеть.

Роман был так доволен собой, что упустил посмотреть лишь — на отца. Да и сидел отец по той же стороне, человек через двух, на него неудобно и шею крутить.

Да и никто от старшего Томчака не ждал: уж с сыном-то у них наверно сговорено, вместе думали.

Всю речь Романа Захар Фёдорович просидел молча, голоса не подавая. И когда теперь в два подлокотника упёрся, встал — тоже не поняли: может, он по хозяйству распорядиться, обед проверить?

Нет. Так и остался стоять — дуж, не стар, не сгорблен, однако косточками кулаков упершись в надёжную, там под синим сукном, твердь дубового стола.

И было от совещания — только вот это положение тела, что он догадался стоять, когда все другие, хоть его не выше, сидят. А заговорил не громко, не звонко, на доклад Романа не похоже, а даже тише обыкновенного:

— Так-то так, хозяйв́а... На шерсть, та на скот, та на люцерну с пидсонухом мы пэрэкынуться можемо и два года пэрэбьемось. Выручка — будэ. А там, мабуть, и ця вийна набрыдлая закинчыця, нэ до Другого ж вона Прышестя... А тильки: як же вона кинчыця, хто б мэни насампэрэд сказав? Нэ прыйдэ ли Герман до Армави-ра?.. Як мы ось зараз сговорюемось та хлиба нэ посиемо — то шо наша армия будэ на той год у рот пхаты?

Даже не тих, а именно задумчив стоял Захар Фёдорыч, как был последние дни, как будто гаркать не умел, палкой замахиваться не умел и сроду по степи не носился, стегая коней. Замолчал и стоял, как бы мог и кончить, дальше не говорить. Однако стоял. И все ждали. И опять — тихо, даже ласковым голосом, какой и в семье-то своей от него редко слышали:

— Да, дило йдэ в шкоду. О цей, остатний, год мы розиряемось. И так же будэ у наступном. Но кого б там до властэй нэ посылать и шо б воны там нэ удумалы, а хоч бы уси були головы дурьи — по-вынни и мы тут думать, для того зибралысь.

И перед самым трудным ещё постоял, не торопясь голову совать.

— А може б мы года на два, на тры та забулы б зовсим цэ скаженнэе слово — б а р ы ш ? Як бы зроду мы нэ были учены, шо такэ барыш е? И нэхай у наступный год бильш будэ от нас уतिकать ниж прытыкать — абы работа йшла, хлопци! Абы хлиб взростава и люды його йили. И ньякый банк крэдытив нам на то нэ дасть. А мы и просыть не будэмо. Ось, як я м́ожу кожный дэнь сала такый шматок зйидать и хлибыну цилу — а можу весь Вэлыкий пост майже и нэ йисты ничого. Живит провалытьс́я, а жив буду. А от Паскы до Троицы знову нарощу, та й з лышком. Вот так и мы года два поробым — и уси останэмось на мисци. И зэмля нас выручэ знов. Бо: нэ гроши нас нажи́лы, а мы — йих. И як трохы спустым йих — так писля вийны наживэмо, здобудэмо.

В ужасе был Роман: что отец нагородил? Что наделал? Да если б знать — надо было говорить с ним раньше! Но — ожидать было нельзя такого от старика!



Вот Дарьи нет! — вот она бы сейчас клюкой ответила Захару! Да как все Мордоренки муку рабочим не с мельницы своей берут на 42 постава, а в экономии паровичок поставят и гонят дерть, — так неужели они стерпят захарово — без барыша? Да Третьяк! — барашков, правда, рабочим не считает, а коробку сардинок после гостей — «приберите, шоб цела була», — как же это: чтоб утекало, а не притекало?

Но всё не перебивали безумного, и успел Захар так ещё сказать:

— И робитныкив ныхто нам нэ прывэзэ. А шукать трэба самым. А для того — трэба платыць. Як и двисти за сезон, так и двисти. Пры тóму, шо хлиб продавать у збыток — ще и робитныкам бильш платыць, соби у шкоду. Тому що йим цю вйну пэрэжить — нияк нэ лэгше ніж нам з вамы. Або ніж моим симдэсят двум быкам упряжным, за кымы ходыць ось нэма кому...

Ласково сказал. К быкам.

Но уже видел Роман, что будет сейчас отцу — грозный ответ! Оскалилась почти вся та сторона стола, кроме штундиста, да штундист робкий встрять не посмеет. Лошадник Евстигней Мордоренко аж челюсть отвалил, Яков — всю платину оскалил. Мяснянкины стали совсем лиловые. А Третьяк слабыми руками опять в стол упёрся, упёрся, как будто сейчас и ноги сюда вытянет и дальше по столу на четвереньках.

## 62'

### (Прогрессивный блок)

Изо всех воевавших стран только Россия разрешила себе не думать о продовольствовании заблаговременно и даже с начала войны. Средний годовой российский урожай был — 4 миллиарда пудов зерна, а в 1913 — 5 миллиардов, и в самом 1914 на 200 миллионов больше среднего. Годовой российский вывоз — 600—700 миллионов пудов, был высшим хлебным экспортом в мире. С начала войны вывоз прекратился, полумиллиардному избытку предстояло накапливаться ежегодно, так тем более не угрожали хлебные заботы. Из того избытка в 1914 военное ведомство не заказало себе даже и половины. Страна была переполненной чашей. И по многим другим продуктам, например по сахару, потребление никак не достигало производительности. Даже

и к 1916 не убавилось в России ни крупного рогатого скота, ни овец, ни свиней, а жеребят по военно-конской переписи обнаружилось чуть не вдвое больше, чем в 1912 до всех мобилизаций. Посевная площадь, считая неиспользуемую, превосходила потребности страны в полтора раза.

В Германии с октября 1914 ввели обязательный процентный раз-мол и примесь картофеля к хлебу, с февраля 1915 — карточную систе-му, летом 15-го весь урожай, отделённый от почвы, тут же и прини-мало государство; во всех европейских странах хлеб выпекался с при-месями, союзников снабжала зерном Америка, — лишь Россия одна не знала и не предполагала хлебного горя, — ни тёмные правители её, ни просвещённые думские экономисты. Запасы страны даже считать бы-ло лень.

Первое странное и удивительное было то, что с начала 1915 вдруг не стало овса. Скакали или топтались сотни кавалерийских полков, вся артиллерия перетягивалась на лошадях, все обозы и транспорты были лошажди, — а овса почему-то внезапно не стало. В том году для армии ещё хватило его, но уже Петроград и Москва ни по какой цене его не получали.

И как до сих пор все были к тому безпечны, так теперь спохватились все, кто дело с тем имел или не имел, — кто по службе, кто по выгоде, кто по гражданскому сознанию. Уже ни один питательный продукт не оставили теперь без рьяного внимания общества и без ретивых прави-тельственных мер. Тем более, что именно в том году осталась русская армия без снарядов, и общественные наблюдатели склонны стали пред-положить, что это правительство доведёт её и до голода. Действитель-но, экспорта не стало, продуктов увеличилось — а цены на них почему-то стали расти.

И появилось новое в России выражение: *продовольственные заго-товки*. И так это возникло поспешно и грозно, что не осталось времени разобраться, а как дело идёт само по себе? Десятилетиями закупал же кто-то деревенские продукты — посредники, скупщики, торговцы, зем-ства, кооперативы — всех теперь отстраняя, грянули поверх них *упол-номоченные*. Министерству земледелия, всегда прежде занятому лишь землеиспользованием и землеулучшением, теперь поручили, не изме-няя чинов и штатов, заготовлять продовольствие, и оно поспешно посы-лало на закупки несведущих людей, а военные власти и даже отдельные воинские части спешили слать своих заготовщиков и комиссионеров. При соревнующемся усердии властей и общества, создавались и начи-нали действовать многие безсистемные комитеты и надстройки *особо-уполномоченных*.

Так это возникло грозно, что уже 17 февраля 1915 был издан закон, разрешающий запреты местного вывоза и даже реквизиции. Полновла-стные губернаторы не прошли мимо тех разрешений, опоясали свои гу-бернии заставами и запретами, и так другие местности оказались без притока хлеба и иных продуктов. (И если проворные шуйские коопера-

тивы извернулись купить себе хлеб заранее и свезли его в Кинешму на перемол, то теперь запрещён был вывоз из Кинешмы и своего собственного хлеба Шуя получить не могла.) Запретными законами в несколько месяцев были разорваны многолетние естественные связи между производителями и потребителями, разрушена работа и сеть сотни тысяч крупных и мелких хлеботорговцев, приобретавших опытность и умение с молодых лет и часто стоявших на своём деле наследственно. Уполномоченные получили право выслеживать хлеботорговцев, угрожать реквизицией, снижать цену — и попросту отобрать торговлю. Добросовестная торговля была контужена, с рынка ушла, и взамен выступила спекуляция, бравшаяся нарушать запреты и везти через заставы, хотя бы по взяткам.

И цены на продукты — росли. К началу 1916 они повсеместно удвоились.

Тогда и правительство бросилось бороться с дороговизной, и тем более общество (городское, как известно), наиболее страдавшее от неё. Общество собирало съезды по борьбе с дороговизной, правительство — комитеты по борьбе с нею. Отдельно боролись с дороговизной губернаторы и градоначальники, как умели в областях своего владения. Многодеятельный министр внутренних дел Хвостов-племянник изобрёл такую меру, слишком популярную в последующие годы, как «разгрузка железнодорожных узлов» через облавы на «спекулянтов».

Так это высоко выросло перед Россией, что власть не взялась оседлать проблему сама, обходя недоверчивое общество, но — дальновиднейших и образованнейших его представителей, тех же думцев, летом 1915 пригласила в Особое Совещание по продовольствию, во главе которого стал министр земледелия. Новое учреждение натурально пополнилось своею собственной Комиссией по дороговизне, и своими губернскими и уездными комитетами, и своими собственными, уже *главно-уполномоченными* по отдельным продуктам: по сахару, по маслу, по коже... И во всех крупных городах — Киеве, Харькове, Самаре, Саратове, Нижнем, продовольственное дело состояло в руках прогрессистов.

Но ещё могли быть разные направления внимания и усилий Особого Совещания по продовольствию. Можно было обратить их на то, что в иных губерниях — Саратовской, Воронежской, пустовали многие земли Крестьянского поземельного банка, — и передать их бездомным, бездельным беженцам, обращая тех ко временной оседлости. Можно было обратить усилия на земли, отобранные у немцев внутрироссийских и сразу выпавшие из всякой производительности, — те земли передавать опять-таки Крестьянскому банку, или местным земствам, или пострадавшим воинам, и так возвращать их в дело.

Но нет, эти линии медленного труда не оказались привлекательными для Особого Совещания, где ни единое решение не было принято министром без одобрения общественных представителей. Представители вольнолюбивого русского общества получили внушительную

возможность защитить интересы патриотического городского населения от тёмных корыстных сил *агров* — термин, хотя и пришедший с Запада, но хорошо усвоенный русскою интеллигенцией: аграрии — это те, кто владеет землёй, то есть прежде всего и главным образом помещики, к ним же приходится отнести, больше некуда, и крестьян (четыре пятых возделываемой земли). Обуздать же агров и спасти Россию можно было единственно только *твёрдыми ценами*. Чтобы не дать помещикам выиграть от хлебных цен — готовы были задушить крестьян.

Кто первый предложил твёрдые цены — оспаривали ту честь правительство и общественность. Да впрочем, носился же пред всеми и образец Германии, где твёрдые цены начали устанавливать на год раньше нас. Казалось бы, что в стране с изобилием продуктов твёрдые цены не нужны: производители сами снизят их, наперебой предлагая свой товар. Но Особое Совещание по продовольствию, и активная общественность, и ленивые правительственные уполномоченные громко стали требовать твёрдых цен — и в 1915 их вынужден был ввести, хотя сопротивляясь, тогдашний министр земледелия Кривошеин, — сперва на овёс, затем и на другие хлеба. Однако установлены были твёрдые цены лишь для казённых сделок, на закупки для армии, установлены несколько выше существующих рыночных, с «походом», и установлены как раз вовремя, к концу урожая, когда хлеб уже везли, по привычке, сложившейся веками. Частная торговля могла приобретать хлеб ниже твёрдых цен, и уполномоченные не сбивали, они тоже пользовались ценами ниже твёрдых. Благополучно снабжена была и армия, успела и вольная торговля заготовить все запасы, подвезти к своим мельницам, смолотить и обезпечить все местности северной России и центры её. Зимой с 1915 на 1916 год обошлась Россия без голода.

Но в 1916 всё в России продолжало дорожать (к августу от января рубль упал вдвое), общественность встрепелась и решила: твёрдые цены на хлеб должны остаться во что бы то ни стало умеренными, нельзя допустить обогащения агров и обеднения городов! Так, ещё с весны 1916, возгорелся в Думе, в печати, повсюду, многогласный спор о твёрдых ценах на хлеб: какими они должны быть в наступающем году, как помешать им вырасти. Земские статистики опрашивали производителей, исследовали составление хлебной себестоимости, в уездах и в губерниях собирались съезды землевладельцев и земледельцев и подсчитывали ту же себестоимость. Собирались совещания городских деятелей, чиновников и обывателей, и тоже подсчитывали стоимость хлебного производства — и у них получалось гораздо ниже, чем в деревне, что и разносили газеты, все либеральные и все биржевые: голос *независимой* печати восстал против неслыханных аграрных аппетитов! Жадность агров! эгоизм земельных собственников! — обвиняла левая (она вся была левая) общественность, — им только бы урвать и нажиться на народном горе, они неспособны и не хотят подчинить владельческий интерес — государственному.

Главные ораторы и мыслители Прогрессивного блока в Особом Соповещании по продовольствию были Воронков и Громан. Воронков, в соответствии с классовым пониманием, выдвинул такое рассуждение, что *крестьянам выгоднее продавать дешевле* и только помещики хотят продавать дороже; и если повысить твёрдые цены, то как же обойдутся крестьяне безхлебных губерний, которые хлеб покупают? Именно забота о *крестьянах* и диктовала ему требовать для всей России наинижайших хлебных цен, на уровне Полтавской губернии. А единомышленник его Громан, либеральный учёный-экономист, впрочем сильно попортивший земское дело в Пензенской губернии, давал другое теоретическое обоснование тому же выводу: поскольку деньги подешевели, то высокою ценой на хлеб крестьянина не соблазнишь: продав 2—3 пуда, он уже удовлетворит свои нужды (так как не стало на Руси кабака, продажею зерна не добыть водки) — и больше на рынок не повезёт, а то, смотри, и сеять перестанет. А вот если установить низкие цены, то это создаст *нужду на селе*, и тогда город получит достаточно хлеба. (У Громана большое будущее: он ещё будет и «продовольственный диктатор» при Зиновьеве, и первую пятилетку будет большевикам сочинять, но не так удачно для себя, посадят.)

К тому же присоединялись и торгово-промышленные деятели (которые тоже хлеб ели, а не растили), и весь согласный общественный хор.

В этом хоре тонули и глохли слабые оправдательные голоса помещиков и крестьян, одиозные для общественного слуха и сиротливые в Думе: что твёрдые цены есть мера принудительного отчуждения хлеба, а став однажды на путь принуждения, с этого пути потом не сойдёшь; что при падении рубля вдвое зерновые подорожали лишь на четверть — на треть, то есть по сути хлеб не подорожал, а подешевел (но мы-то, горожане, из кармана платим больше!); что низкие твёрдые цены скажутся на крестьянах никак не меньше, чем на помещиках, они несправедливы и для тех и для других; что если дуб обезпечает жёлуди — не следует требовать с него и корни; что погоня за дешевизною, низкий уровень твёрдых цен, даже ниже себестоимости (равнение всероссийских цен по полтавским), приведёт к разрушению сельскохозяйственного производства или к тому, что хлеб с рынка уйдёт. (Это — угроза, что он *уйдёт*? вы — *не дадите!* так и говорите! а крестьяне — охотно отдадут свой хлеб дешево, он просто хлынет на рынок!)

Уровень твёрдых цен должен быть таков, чтобы хлеб охотно везли, ибо измыслить средства, чтобы его искусственно, а тем более насильственно извлечь из 18 миллионов хозяйств, где он находится, задача слишком трудная, быть может и непосильная.

И ещё доводы: что должны быть рассчитаны цены с условием вздорожания гужа; что нельзя с городским неразумием лепить неосмысленные цены, кладя их и на семенной материал, какой получается лишь полпуда из пуда; что местный неурожай, как в Курской губернии, сра-

зу удваивает себестоимость, — и как же её оправдать ценою? Дескать, не только запретительные меры должны быть против деревни, но и какие-то укрепляющие, чтобы могла устоять производительность; ведь из сельской России взяли в армию 11 миллионов работников, вернули ей только 600 тысяч военнопленными, а требуют того же урожая и по неизменным ценам. Говорили защитники деревни, то есть правые:

Силу России создаёт крестьянство не в нужде, а богатое и хозяйственное. Как бояться переплатить крестьянину! Как бояться влить в тот бассейн, откуда вычерпают всегда!

Конечно, в образованной России уже полвека было так, что нельзя защищать деревню иначе, как защищая только и исключительно крестьян. Так и сейчас звучали в Думе и в Особых Совещаниях речи депутатов-помещиков. А кроме произносимых речей ещё было, конечно, сопротивление скрытое, действие тайных встреч, кабинетных разговоров. Весь 1916 год звенел разговорами о твёрдых ценах на хлеб, а цены эти никак не могли уложиться. Склонный к ним, поддержанный Блоком, министр земледелия Наумов был в июне снят, а заступивший не сразу граф Бобринский был противник их и вовсе не торопился.

Спор шёл не только о принципе твёрдых цен, не только об уровне их, но и о том, как широко их распространить. Ведь они родились в 1915 лишь для армейских закупок, долгое время не касались остальных сделок, и сохранялся старый непоощрительный порядок, что те, кому удавалось скрыть свой хлеб от уполномоченных, от нарядов, от губернских застав и не продать по твёрдым ценам, — те, перетаясь, могли потом вполне законно продавать свой хлеб по возвышенным вольным ценам.

Несносные аграрии расширяли ещё дальше: почему только о хлебе идёт спор? твёрдые цены — почему только на один хлеб? Вон в Германии твёрдые хлебные цены низки, так там — и низкие твёрдые цены на все изделия промышленности, и деревня, дёшево отдавая, дёшево и получает. В Америке хлеб ещё дороже нашего, а промышленные товары, напротив, дешевле. А у нас керосин, железо, сельскохозяйственные орудия за время войны вздорожали в 10 и в 15 раз. Оттого наша деревня и чувствует себя так, словно город рвёт у неё пропитание изо рта. Осмеливались указывать аграрии, что их предпринимательская прибыль никогда не превышает 3%, тогда как за военные годы вахханалически увеличились доходы промышленников (например, Коновалова, виднейшего деятеля Прогрессивного блока) — на 200—300% в год от основного капитала. Казалось бы: откуда же эти барыши, если повысились цены и на материал и на труд? Только от ограбления потребителей, другого источника не придумать. Нефтяные промышленники, ожидая повышения цен на нефть, у нас имеют возможность остановить нефть — не стесняясь остановкою мельниц. А склады банков, ломбардов и акционерных компаний у нас имеют возможность, не как в Германии, скрыть запасы любого товара до выгодного повышения цен. Устанавливать твёрдые

цены — так надо же и для промышленности! Ограничивать прибыль — так надо же и для банков!

О нет! Именно в эту сторону, на промышленность, на банки, на акционерные общества, не взглядывали, тупили глаза первейшие ораторы Прогрессивного блока. Промышленников хлестали социал-демократы, попрекали правые, но либеральный центр, но его лучшие экономисты — никогда.

Так распухал вопрос, захватывая уже не хлеб один, а всю жизнь тыла. Трудно и страшно было русскому сознанию представить Россию зашнурованной как Германия — однако само дело начинало поворачивать к этому, уже страдая как будто не от зашнуровки, а от недотянутости. Вкрадывалось небывалое для России понятие: *диктатура*. Опережая нас, её вводили парламентские Англия и Франция, у нас же и правые возражали, что

тщетны попытки регламентировать такую страну, как Россия,

а Прогрессивный блок воспротивлялся внеправовому насилию над свободным обществом. И когда в июле 1916 начальник штаба Верховного генерал Алексеев представил Государю учредить «гражданскую диктатуру», которой подчинялись бы все министерства и вся оборона, для чего милитаризовать оборонные заводы, тем самым устранив забастовки на них, одновременно обеспечив рабочие семьи дешёвым питанием, солдатским пайком, освободив их от добывания пищи, — свободолюбивые русские фабриканты, поддержанные кадетской и социалистической общественностью, возмущённо отвергли вмешательство военного произвола в заводские дела. Впрочем, и Государь, неспособный принять волевого, цельного решения, поколебался и образовал несколько бездельных промежуточных комитетов.

За этими всеми спорами, за течением месяцев 1916 года твёрдые цены на хлеб, именно на хлеб, сами собою врезались в русскую тыловую жизнь. И военные власти, и государство, и общество сошлись на их неизбежности. От месяца к месяцу расширялся их охват: закупать по ним уже могли и уполномоченные оборонных заводов, и уполномоченные столиц и главных городов, и вот уже невыносимой становилась двойственная система хлебных цен, и съезды уполномоченных и земские, и думские деятели требовали полного запрещения нелепой вольной торговли, да и правые депутаты уже не видели иного выхода, ибо свободная торговля всё равно была сотрясена и убита.

А вводились твёрдые цены в 1916 так. Вся Россия, грамотная и неграмотная, ведала, что будут твёрдые цены, но спор идёт об их высоте. Уровень цен следовало объявить в начале лета, на юге закупка начинается с конца июня и постепенно передвигается на север. Но целое лето прошло в спорах. Наконец в сентябре цены объявили, но никто не поверил им, ибо тут же против них с двух сторон началась кампания: с городской — что полтора рубля за пуд ржи это непомерно много, с помещицей — что это несправедливо мало. Мелькнуло в газетах, что

три министра считают цены преуменьшенными. И так у сельской России не было уверенности, что вот и окончен спор, что не дожидаться цены повыше. Ещё хлеб помещиков шёл, ибо им нельзя остановить оборота, крестьянский же хлеб как заколодило. До твёрдых цен шла торговля ещё по вольным, и мельники на местных базарах ещё могли делать запасы и кормить население. А как только твёрдые цены были назначены, так крестьяне с ругательствами повернули с базаров свои возы домой.

Был упущен тот многолетний психологический момент, когда хлеб вывозится на рынок. А упустив, уже ничего нельзя было исправить — теперь не вызвать было хлеб, даже увеличивая твёрдые цены: не слишком нуждаясь в бумажных деньгах, производители ждали бы, что повысят ещё.

Армейские уполномоченные заготавливали хлеб реквизициями, но большая торговля не повезла хлеба ни по летним, ни по осенним рекам. В 1916 упущена была вся навигация — главный питающий канал русской хлебной торговли. Нижегородский караван, традиционно забиравший 10 миллионов пудов нового урожая с нижней Волги, сходил в низовье зря и воротился на зимовку порожним. Первокласные мельницы среднего и верхнего Поволжья, молевшие для всего Севера по сто тысяч пудов в сутки, осенью 16-го года остановились и распустили рабочих. И на станциях железных дорог немало товарных вагонов простояли пустыми, тщетно ожидая зерна. Новгородская, Псковская, Архангельская губернии всё непоправимее теряли возможность купить хлеб. А тут началась осенняя распутица, размывло русские грунтовые дороги, — и хотя был ещё месяц навигации в запасе, но до пристани и до станции уже и при всей охоте было не донести зерна.

Урожай 1916 был собран — солдатками, стариками и подростками — полноценный. Но оказался не там, где был он нужен: по всей российской глуши он остался томиться в амбарах и в зародах, недоступный для мельниц, пекарен и городских булочных. Был хлеб в России — и как бы не оказалось его. Не было в России голода — и вот он нависал к весне 1917. Уже с осени ощущали хлебные перебои даже южные Харьков или Ростов-на-Дону. Москва же и Петроград не сделали запасов, а питались ежедневным правительственным подвозом.

Прогрессивная общественность могла бы торжествовать: ей удалось навредить ненавистному помещику, добиться низких твёрдых цен. Но вопреки предсказаниям кадетских экономистов, к изумлению Громана, тяжёлое положение создалось не в деревне, гоня бы зерно на рынок, а — в городах, отягощённых ещё и беженцами с запада. «Аграриям» — нажиться не дали. Но дали — городским спекулянтам.

Перед громким, самоуверенным голосом образованного общества лишь редкое стойкое правительство смеет упереться, подумать, решить самостоятельно. А русское правительство под укорами и настояниями общественности то уступало, то колебалось, то забирало уступки назад.



Его воля была размыта, текла такой же жижей, как русские осенние грунтовые дороги.

Как во многих крупных общественных процессах, разновременные и разнонаправленные усилия отдельных групп постепенно складывались в единое движение Истории. Концы какой-то непонятной верёвки, не различаемой на близком расстоянии, попали — один в руки общест-венности, один — в руки правительства, и те и другие то уверенно, то с колебаниями выбирали, тянули её к себе, сколько могли. И не осмот-релись, что верёвка та закладывается сама в петлю, а та петля оказыва-ется не где-нибудь, а на питающем горле России.

---

После роспуска Думы в сентябре 1915 кадетское разочарование было очень глубоко. Говорилось, конечно, что теперь события пойдут мимо монарха, что он сам себя поставил в положение *расплаты* и только придётся отложить её до поражения Германии. Даже сдер-жанный М а к л а к о в прозрачно выразил это в «Русских Ведомо-стях»:

Если по горной узкой дороге вас и вашу родную мать везёт шофёр, который не умеет править, или устал, ослеп, не по-нимает, что делает, но ухватился за руль и не хочет его пе-редать, — разве решитесь вы силою выхватить руль? Нет! Вы даже будете помогать ему советом и *отложите счёты с шофёром до того вожденного времени*, когда на рав-нине...

Оттого что правая часть Блока не видела беды в происшедшем:

Мы отнеслись трагически к смене Верховного — а Государь видел дальше, перемена оказалась к лучшему. Мы настаи-вали сменить министров — остался самый нежелательный из них, Горемыкин, и война пошла лучше. Прекратился по-ток беженцев, не будет взята Москва! — это безконечно важнее, чем кто там будет министром и когда созовут Ду-му. Итак, если будем махать руками против правительст-ва — уроним свой авторитет, —

тем горше чувствовали себя кадеты: не зря ли в этот Блок вступили? Длинный фланг левых партий всё время перетягивал левое кадетское крыло, ведь партия уважалась интеллигенцией тем больше, чем она ле-вей, и в их благородном веере кадеты были сборищем министриабель-ных оппортунистов. И в самой кадетской партии было своё левое кры-ло, его лидеры Некрасов, Маргулис, Мандельштам обвиняли Милюкова, что он завёл партию в болото, требовали равнения налево, допустил нелегальные приёмы в тактике, соединяться с социалистами и уж ко-нечно выйти из Блока.

Крушение надежд признавал и центр Блока.

Ефремов: Общество удручено, что Блок себя никак не проявляет. Закрыли сессию Думы — Блок промолчал, не приняла депутацию — Блок промолчал.

Князь Г. Львов: Блок хотел принести жертву, разделить тяжёлую ответственность, тупые же люди объяснили стремлением к какому-то захвату власти. Блок ни в чём не ошибся. А вот Россия висит в воздухе.

С 1915 на 1916 нужна была Милюкову богатая способность аргументировать, большая устойчивость в ногах над тем обрывом неопределённости, где замялся Блок. Рядовому взгляду так не проникнуть, но выдающийся лидер предвидел и открывал ближайшим: Блок — своего часа дожждётся. Едва кончится война — Франция и Англия уже ни копейки не дадут правительству, безответственному перед Думой. Чем ближе будет победа — тем сговорчивее станет наше тупое правительство к Государственной Думе: в ссоре с ней ему нельзя явиться на мирный конгресс. Тупей его самого тот тупик, в который оно себя загнало, начав войну с Германией. Только не дать ему помириться с Вильгельмом, а гнать его на войну до победного конца! — и победа отдаст русское правительство в руки либералов. Отсюда стратегия: ждать и терпеть.

С другой стороны, конечно, нарастает революция, и в этом-то и сложность, и тут должно проявиться всё умение кадетской партии: сдерживать своё справедливое негодование, помнить: расплата с правительством *после* войны. Переносить от правительства унижения, притеснения, презрение — но не дать произойти общественному взрыву во время войны, чтобы не победил Вильгельм и не отдал бы нас в полную власть Николая. Когда же русское общество всё равно неминуемо взорвётся — это будет уже на другой день *после* войны, и трусливое правительство капитулирует так мгновенно, что русские либеральные образованные круги успеют безкровно перехватить власть, особенно с поддержкой Англии и Франции.

Так что мы всё равно скоро будем у власти.

Все месяцы они собирались по частным петербургским квартирам, и у Милюкова хватало методичности, не дремля, записывать для истории томительные, колебательные прения. (Потом он покинул их в России, не взяв в эмиграцию, где вероятно уничтожил бы. Читать те записи теперь свежее, чем хитро отглаженные мемуары или вышедшие в печать речи.)

Астров: Слои внизу испытывают к нам ненависть и раздражение. Гнев населения обрушивается не на правительство, а на общественные организации.

Маклаков: Левые ведут отвратительную атаку против цензовых. Боюсь коренного разногласия с левыми.

Милюков: Надо подготавливать материал для самооправдания от левых.

Маклаков: Но с момента, когда мы начнём конфликт с короной, — я не боюсь левых. На чём можем возбудить общественность? На эффектном лозунге. Поднять забастовки? Этого пути мы боимся. Я надеюсь на 11 марта. (День убийства Павла I.)

Князь Г. Львов: Если упираться в конфликт с короной — может быть провал. Ведь мы соединяем людей деньгами и шкурными интересами.

Челноков: Боюсь, что «подъём» будет неврастенический. Сколько раз повторять резолюции?

Как-то забрёл и

Гучков: Я готов бы ждать конца войны, если б он был обезпечен благоприятный. Но нас ведут к полному поражению и краху. Ваше и наше молчание будет истолковано как примирение с властью. Надо — разорвать мирные отношения с ней.

Меллер: Мы страшны теперь тем, что молчим. Наша позиция очень сильная.

Вл. Гурко: Если будем молчать — сам Гришка станет премьером. Действует только страх. Напугать их до белой горячки. Обращение к улице? Может быть, в крайнем случае.

Стемпковский: Снабжение армии теперь наладилось. Так будем валить на правительство — дороговизну, железнодорожную разруху.

Ефремов: Надо прессу подговаривать.

Шидловский: Включить в будущую думскую резолюцию фразы и мысли патриотические, которые страховали бы Думу. Не поднимать рогатых вопросов, чтобы сохранить Блок.

Милюков представил проект резолюции ещё не собранной Думы. Было в ней, кажется, именно то, без чего невозможна победа над Германией: прежде всего — амнистия революционерам; потом — права евреям, умиротворение народностей; наконец, *правительство из лиц, сильных доверием страны*. И опять упёрлись в это заклётое:

— Как выснить власти этих лиц? Где признаки того, что лицо «обладает доверием страны»? Завтра скажет Государь «согласен» — а где они?

— Указывать имена не деликатно.

Дмитрюков: Никакое «доверие» не значит ни в каком государственном праве.

(А между тем, почему бы ему не быть?)

Ефремов: Опасно придавать чрезмерное значение смене лиц. Необходимо менять систему. Формула «министерства доверия» — ошибка, министерство долж-

но быть *ответственным*, министры — не выгоняться сверху, а — уходить, когда им будет отказано в доверии Думы.

М и л ю к о в: Это — смена самого государственного строя. Так не делают во время войны. Не перепрыгают лошадей при переезде через реку.

Но одну несомненную ближайшую главную задачу Блока приняли все:

— Сделать козлом отпущения Горемыкина. Всё валить на него.

— То мы говорили: Думу нельзя собрать с Горемыкиным, а теперь соглашаемся?

— Серьёзный разговор с Горемыкиным наступит только после войны. Набраться терпения и ждать.

— Нет, нельзя допустить, чтоб Горемыкин заключал мир.

— Если состоится полная победа над Германией — тогда уже не воскресим злобу против Горемыкина.

— Бить в набат: Совет министров — единственная в стране непатриотическая группа!

Ш у л ь г и н: Всю пьесу так и располагать: пока не разгонят — побольше сказать!

Но — ни к чему не годная неповоротливая власть опять сманеврировала быстрее Блока. В середине января 1916, за три недели до Думы, был снят, уведен от удара закланный, древний Горемыкин. И — кто же вместо? Николай II как будто нарочно сочинял фарс. При высшем напряжении всемирной войны и клочкотании русского общества — кого же из одарённого своего народа, кого же из 170-миллионной России, по какому клоунскому признаку избрал он премьер-министром? Старательного службиста из департамента общих дел, прирождённого заведующего церемониальной частью, гофмейстера Высочайшего Двора, ещё и с немецкой фамилией, — Штюмера. (Вполне он был честный, да даже и деловой, только со слишком средними способностями, — а главное, уши императора не различали издевательского звучания.) Две горемыкинских далеко разведённых бороды сменились на одну гладкую длинную швабру, будто приклеенную, как у рождественского деда. И если прежний гадкий Горемыкин всё хотел править сам, без Думы, то новый всероссийский церемониймейстер не только не возражал против длительных её сессий, но он с Прогрессивным блоком ладить хотел, он пригласил Думу — на раут!

Ошеломлённое бюро совещалось тайно:

Ш и д л о в с к и й: Отчего бы на раут не пойти?

М и л ю к о в: Ни в коем случае, продешевим.

Е ф р е м о в: Выжидательной позиции занять нельзя: правительство почувствует себя уверенней. Сразу же сказать: правительству не верим!

Маклаков: Как же это: в первый день — и уже правительство не верим? Это будет предвзято.

А тут ещё воинственные земгоровцы привезли в Петроград свою записку думцам: не то что победы не будет, но ни дня дальше нельзя воевать при этом правительстве!

Н. Кишкин: Пути сообщения, продовольствие, беженцев — всё отнять у правительства, всё передать общественным организациям! А иначе — полный разрыв с ним!

Н. Щепкин: Сохранять ли видимость Государственной Думы — просто для свободной кафедры? Или, при безславном существовании, она уже потеряла своё значение, и полезнее для страны даже полный роспуск Думы?

Астров: В Записке мы хотели изложить наши впечатления. Исправлять — не надо: объективное изложение — не наше дело. Ждём от Блока уверенного грозного тона. Сердцевина общественных организаций утомляется.

Дума собралась 9 февраля 1916. Первоначально власть хотела оттянуть ещё на две недели и собрать её в прощёный день — последний день масляны, дорогой всякому русскому человеку, когда православные земно друг другу кланяются и просят прощения. Но кадеты были уже слишком не православные, и прощёный день мало обещал умягчить их. Однако чувствовал трон какую-то неловкость или ошибку свою, и, самый представительный толстяк России, Родзянко имел успех: уговорил Государя на необычный шаг — посетить Думу при её открытии, вообще первый раз в жизни посетить её. В Екатерининском зале собравшиеся депутаты крамольной Думы долго кричали Государю «ура». Прошёл торжественный молебен — и члены Думы, кроме самых левых, пели «Спаси, Господи, люди Твоя». Государь был очень бледен вначале, войдя в эту клетку тигров, но постепенно успокаивался.

Если бы этот человек не был вечно скован заклатою непростотой от неуверенности в себе — ещё и в этот день ему доступно было изменить историю России: вдруг бы глянув открыто, улыбнувшись широко, руки депутатам пожимая по-мужски, да даже взойдя быстро на думскую трибуну под свой же холодный длинный портрет и оттуда с широкой душой открывшись российским подданным, что — трудно ему, трудно и тоскливо, но заодно с представительством (уж там народным или псевдонародным) надеется он дружно одолеть Вильгельма, а мира сепаратного не будет никогда! и такой мысли в нём истинно нет, и такого движения никогда не делал, ибо для того надо быть предателем России, а он, царь её, первый должник её, уж там худо ли, хорошо, но по способностям своим радеет ей служить. И это чтобы не только словами, но самым голосом звучало твёрдо и громко! Да ещё смелить бы свой выбор министра-председателя, да вместо церемониймейстера и поставить какого способного человека, — ведь хуже вряд ли бы получилось.

Но ещё со смертью Александра III умерла энергия династии и её способность говорить открытым полным голосом.

Увы, и в этот день выраженья лица, слова, жесты и действия монарха были самые скованные, самые уклончивые. Сказал незначащие слова кольцу окружавших его депутатов; впервые за 10 думских лет заглянул сбоку в зал заседаний, спросил — на каких скамьях какая партия сидит; расписался в золотой книге; приветливо поговорил с более понятными ему чинами канцелярии — и уехал. (Брат Михаил хоть остался поскучать на думском заседании.)

И на трибуну Думы взошёл вялый, старый гофмейстер с долго-щёточной бородой и слабым голосом читал по тетрадке декларацию правительства.

Отвечал

М и л ю к о в : С некоторого момента незнание специальности стало как бы патентом на министерское назначение. Это — *министерство недоверия* к русскому народу. Схожу с кафедры без ответа и без надежды получить его от нынешнего правительства.

Но прекрасно владел он этой мерой: как будто и рвать — а не напроць. Край пропасти всегда ощущал он осторожным копытом.

Это главное усилие — удерживание, и выпало на Милюкова почти во весь 1916: удерживать Прогрессивный блок; и удерживать бешенящий ЗемГорСоюз; и особенно удерживать левых в своей партии. В конце февраля на съезде кадетов левые уничтожающе крушили Милюкова — резче всех кадеты Киева и Одессы и московский присяжный поверенный

М а н д е л ь ш т а м : Милюков уверен, что спасает партию от гибели, а между тем губит её. Пока не поздно, нам надо перейти на другой берег пропасти, блокироваться не направо, а налево. В политических расчётах нужно исходить из того, что после войны должна быть расплата, строгий народный суд. Будем откровенны: в нашей среде есть много таких, кто в революции видит одну только пугачёвщину. Но если мы не хотим бессмысленного бунта, мы и должны стремиться играть в народном движении руководящую роль.

Отчасти склонялся к ним и

Ш и н г а р ё в : Вся наша задача — не дать взрыву народного отчаяния похоронить победу над Германией. Но мы должны страшиться и того, чтобы после войны, когда начнётся строгий суд над преступным правительством...

(правительство — уже на скамье, это дело решённое)

...нам не был бы послан упрёк, что мы оказывали ему поддержку. Нужно раз навсегда установить: Штюрмер для нас во сто крат хуже Горемыкина!

(Вот тебе так! Недавно — хуже Горемыкина придумать было нельзя, только бы Горемыкина сшибить, всех собак на него вешая, теперь — ещё *во сто* раз хуже!)

...В лице Горемыкина мы имели по крайней мере прямолинейную честную власть.

(Этого никогда не молвили раньше.)

...Там была безумная ставка реакции — погибнуть или победить. Штюрмер — это воплощённая провокация, лисья тактика. Его задача — обмануть и выиграть время. Не будем же помогать Штюрмеру исправлять страшные ошибки власти: пусть она тонет! такой власти мы не можем бросить и обрывка верёвки! Никаких переговоров с ними!

Но — прочно, уверенно упирался

М и л ю к о в: Само существование Блока загнало власть в угол. Широкой оглаской в печати, энергичной критикой в Думе мы эту власть заставим подчиниться контролю общественных организаций!

А если ещё вспомнить стратегический расчёт кадетов: чем ближе к мирному конгрессу, тем вернее отдастся им в руки царское правительство... Блок своего часа дожждётся...

И — выстоял. И большинство собрал. И надолго, почти на весь 1916, Прогрессивный блок как будто засел в окопы, лишь ожидая грозного конфликта, а пока занимаясь рядовыми думскими делами. Не разгонял их и Штюрмер, воплощённая провокация, — и Дума спокойно проработала два месяца до Пасхи, а летом — ещё месяц. Даже сонностью повеяло от её заседаний. В этом году на фронте не было великого отступления, а были успехи против Турции, дела казались намного лучше, и правительство не падало, а как будто даже укреплялось.

Но через хладнокровный Прогрессивный блок всё более перехлёстывали сатанеющие Союзы. Едва кончился съезд гучковских военно-промышленных комитетов,

...нынешний преступный режим, готовящий полный разгром страны... Государственной Думе решительно стать на путь борьбы за власть, —

и вот уже съезжались в Москву делегаты Земского и Городского союзов. Этих съездов бурно требовала провинция, а особенно — Киев, Одесса и Кавказ. Осмотрительный Ч е л н о к о в как мог оттягивал городской съезд, но вот пришлось открывать его:

Ничего не подготовив к войне, правительство на каждом шагу проявляет свою вредную деятельность. Когда мы увидели, что правительство ведёт страну к гибели и готовит армии разгром, мы принуждены были взять дела в свои руки. Мы не хотели заниматься политикой, но нас заставили. Как и в сентябре, мы требуем: прощения политических преступлений! уравнивания наций! ответственного...

Но неукротимый

А с т р о в: Правительство — в руках шутов, проходимцев и предателей!.. Опомнитесь! Уйдите! Скоро мы разобьём *вашего союзника Германию!*

Примчавшийся их уговаривать

М и л ю к о в: Резолюции съезда, как искра, могут вызвать большой пожар. Не нужно идти на полный разрыв с правительством...

Но круче всех восходила звезда князя Георгия Евгеньевича Львова. Он по кадетскому списку проходил в две первые Думы, ездил и в Выборг, но Воззвания не подписал, утёк. (Милюков: «Мы почувствовали его не нашим».) А уж в 1915—1916 и каждый образованный русский, не стоящий прямо у власти, прекрасно видел, как именно можно и нужно Россию спасти. Заразило, захватило и возносило князя Львова, председателя Земского союза. И возглавлял он пышный объединённый банкет в ресторане «Прага», где сошлись после съездов наиважнейшие их участники.

Над сверканием скатертей, хрусталя и серебра опять взмывали лучшие традиции 1904 года. Демонстративно, бурно чествовали представителей Польши, Финляндии, а особенно Кавказа, а особенно — тифлисского голову Х а т и с о в а, который и на съезде, и на банкете, и в кулуарах повторял и повторял:

Знайте, что на Кавказе — нет правых! На Кавказе есть лишь: умеренно-левые и крайне-левые! И весь Кавказ не просит, а требует! И чем громче, и чем решительнее...

Да что ж резолюции, что ж декларации, во всех этих общениях вырастал новый грандиозный план: *пора вообще игнорировать правительство* — и все российские дела, и всю Россию брать общественности в свои руки! Конечно, нас пока мало — но вокруг наших ячеек можно сплотить всё русское общество!

Дородный фабрикант, мануфактур-советник европейского лоска, большой либерал и пианист-любитель, а речью скудный

К о н о в а л о в: Под флагом военно-промышленных комитетов возрождаются рабочие организации. На предстоящем рабочем съезде родится Всероссийский Союз Рабочих. Эта стройная организация увенчается как бы Советом Рабочих Депутатов.

Очень ему желалось Совета рабочих депутатов! А вместе с Гучковым и Рябушинским он спешил создать и Торгово-Промышленный Союз. И уже сейчас создать Центральный продовольственный комитет, который совершенно изымет из рук правительства продовольственное дело.

Сложнее обстояло с созданием Всероссийского Крестьянского Союза, но и его готовили под видом Всероссийского Кооперативного.

Повторялись, повторялись золотые гордые звучания, набегали святые тени того первого решительного Союза Освобождения, который породил все прочие союзы и слил их в грозный Союз Союзов!



Некрасов: И когда они все возникнут, то выделяют высший орган — и это будет штаб общественных сил России.

К нему примкнут и все национальные организации. И, с опорой на мобилизованный народ и мобилизованную армию (нет разницы между казармой и улицей, благоприятная конъюнктура!), — вся Россия в наших руках!

Так это дивно звучало на банкетах, так это стройно разогналось, и оставалось ждать плодов. Не выпуская в газеты, тихо подрабатывали и состав правительства доверия. В премьеры теперь намечался уже не Родзянко, который своею бычьей фигурой недостаточно противостоял короне, и даже подозревался в низком консерватизме, и даже принял царский орден в декабре 1915, а — духовный гигант князь Георгий Львов, по всем данным — великий человек и прирожденный вожь свободной России. Дела иностранные бесспорно доставались первейшему их знатоку Миллюкову; торговля и промышленность — конечно, усидчивому Коновалову; военные дела — пожалуй, Гучкову.

Увы, весна и лето 1916 не оказались благоприятны для российского Освободительного Движения. Правительство доверия было сговорено, однако к управлению не звали его. Союзы были кликнуты — но что-то не создавались. Корыстные торговцы не захотели, чтобы движение товаров и цены на них определялись бы кадетами, а приказчики, покинув прилавки, выступали бы с речами. Крестьяне по темноте не валили в Кооперативный Союз. Продовольственному комитету никто не подчинился. Тем временем *преступный режим проходимцев и предателей* начал наступление (брусиловское) против своего союзника *Германии* — и армия дала себя увлечь, пошла в наступление и имела успех, и даже стало так казаться, что эту войну Россия необязательно и проиграет, — чем чёрт не шутит, ещё и выиграет. В марте казалось: уж так всё натянуто до предела, вот лопнет! — но правительство Штюрмера, во сто раз худшего, чем Горемыкин, необъяснимо сидело на том же месте — и, опаснее того: в обществе как будто ослаблялась враждебность к правительству, появлялась готовность сотрудничать с ним.

Более того, правительство решилось на беззастенчивый натиск: в апреле было издано небывалое, почти террористическое распоряжение о запрете самовольных съездов! Но Земгор не мог помогать армии лишь в форме повседневной работы — он нуждался в частых губернских и всероссийских съездах! Тогда власти решили присылать на каждый съезд вице-губернатора, который имел бы право прекратить собрание, если б оно вышло за рамки деловой программы. То есть у общественности отнималось последнее право: собраться за казённый счёт и вволю обнести и понести правительство! Задохнуться можно было от такого террора!

А тут ещё департамент полиции выпустил из рук свой тайный обзор деятельности общественных организаций. Обзор выглянул и в печать, ходил по рукам, — и многие деятели с неприятностью узнали, что их

планы и высказывания на весьма как будто конспиративных встречах отлично известны в департаменте полиции. А так как свободолюбивые гражданские речи их...

А д ж е м о в: ...содержат все юридические признаки статьи о ниспровержении существующего строя, и правительство лишь по непонятной простоте так ни к кому до сих пор и не применило этой статьи, — то многие деятели стали держаться поосторожнее.

И — глубокое разочарование овладело самой передовой общественностью.

Тоже и Государственная Дума на своей скучной июньской сессии никак не добивалась власти, и депутаты даже плохо посещали заседания. Попросту дремал (в ожидании своего часа) Прогрессивный блок, а его лучшие лидеры и вовсе отсутствовали: на несколько недель поехали в Европу в парламентской делегации.

Правда, эта поездка была удобный способ для того единственного, что русской общественности осталось: пожаловаться союзникам на императорское правительство, самой же наглядно представиться парламентским кругам демократических стран, просить их помощи себе и отговорить от займов России после войны. (Коновалов, по-фабрикантски неутомимый, а для политики не жалеющий ни времени, ни денег, предложил передовой русской общественности даже готовить особый журнал на английском и французском языках, издаваемый на Западе, где пояснялись бы западному обществу суть и ход борьбы либеральных русских сил против своего реакционного правительства, давались бы личные характеристики как негодных министров, так и — крупных фигур левого лагеря, готовых принять власть. Такое издание, рассылаемое на Западе бесплатно, очень бы способствовало завоеванию сердец европейской и американской общественности.)

Милюков своей заграничной поездкой был не то что доволен, но просто упоён. Да после безвыходных партийных русских склок — как было не расцвести в европейском воздухе! Он вернулся в Россию, чтоб ещё успеть выступить перед закрытием думской сессии, и тут же, узнав этот вкус, снова уехал на лето — почитать лекции в Христиании, в Оксфорде, затем и просто отдохнуть на Женевском озере от этой ужасной войны. Он воротился в Россию лишь в сентябре — но тут его ожидали политические удары.

В безбоевом течении этого года — от драматических дней создания Прогрессивного блока, что-то было Блоком упущено или пересижено, так ощущалось в российском сентябрьском воздухе: Блок своего не дождался. Начало ощущаться, что за сидением его оттесняют другие. Уже такое немыслимое понесли по обществу, что Дума есть буржуазное сборище прихвостней Штурмера!

Надо было спешить оправдаться перед демократическими кругами! Хоть и нехотя, а начинать какой-то натиск. В конце концов, и сам Павел Николаевич мог так потерять своё лидерство...

Что ещё уязвляло его лично — что, уволив Сазонова, человека почти блоковского, драгоценное министерство иностранных дел вручили той же швабре Штюрмеру.

А тут ещё сильно намутил, навредил Прогрессивному блоку Протопопов. Это был предводитель симбирского дворянства, ещё — владелец суконной фабрики, теперь по моде и член военно-промышленного комитета, уже всем бы тем представитель общественности, но более того — давний и нерядовой член Государственной Думы, и хорошего направления — ещё в 3-й Думе вёл запрос о незаконной деятельности Союза Русского Народа, а в 1914 был избран подавляющим большинством в товарищи Председателя Думы, — и никто не усматривал в нём каких-либо пороков. По положению своему он и возглавил заграничную делегацию Думы, так что формально стоял выше Милюкова, а возвратясь — был принят Государем, а из свидания истекло событие почти громовое: член Прогрессивного блока и один из лидеров Думы в сентябре был назначен на должность министра внутренних дел!

Что случилось? Блок победил на внезапном направлении и во внезапный момент! Колоссальная победа общественности (и капитуляция власти), о которой нельзя было и мечтать? Это и был первый шаг в создании министерства доверия: вот стал министром человек, облечённый доверием Думы, то есть всего народа! — теперь надо ожидать и последующих приглашений: после министра-октябриста вполне возможен и министр-кадет. Вся печать приветствовала назначение Протопопова, а биржа ответила повышением бумаг.

Увы, и власть и сам Протопопов тут же разбили надежды общества. Протопопов стал говорить, что он обворожен Государем, готов положить силы на укрепление самодержавия, а в одном разговоре даже признался, что основа его программы — борьба с общественными организациями! Всё назначение оказалось не началом новой эры, но мелким подлым перебежничеством! Оказалось, что думцы недостаточно приглядывались к своим товарищам, которых возносили на кафедру. Зато теперь они с удивлением разглядели его: он не имел никакого образования, ни в чём не был знаток, был чужд всем слоям общества, захудалый дворянин, хилый промышленник, да и в Думе не имел серьёзного влияния, прошёл под модным флагом левого октябризма. Сам по себе был человек избыточно нервный, юркий, истеричный, легко поддающийся впечатлениям, даже нервнобольной, так что одно время уходил от семьи и лечился у тибетского врача, и даже сходил по лестнице задом. У него не было никаких талантов, ни привычки к систематической работе, ни определённых взглядов на государственные вопросы, даже устойчивой ориентации в действительности — то, что называется «без царя в голове». Вспоминали, не был ли он приятель Сухомлинова, а уж к Распутину конечно вошёл в милость. И назначение этого ненормального человека и нечестного изменника никак не была та желанная угадка некоего лица, по скромности не названного, но — хитрый манёвр на раскол Блока.

За какой-нибудь месяц Протопопов сосредоточил на себе презрение и ненависть общественной России — и сам же этого не выдержал, заметался, делал смешные шаги: то в Думе, где ему не давали ответить на обвинения, пересаживался с министерского места на депутатское и просил слова оттуда; то на днях, в октябре, на частную встречу с лидерами Думы пришёл в жандармском мундире — и уж вовсе погубил себя в их глазах. Двумизбранник — Думы и престола — заметался и в своих министерских действиях и проектах: то укреплял расслабленную в губерниях полицию, требовал телеграфных докладов о политических речах в земских собраниях, готовил проект предварительной цензуры (без которой Россия так и прошла всю войну), тайно выслеживал сношения главарей Блока с английским послом Бьюкененом, — то собирался докончить разрушение еврейских ограничений, нето начинал готовить закон о принудительном отчуждении помещичьих земель (чем очень напугал Думу, потому что обезоруживал её революционно). В министерстве своём он создал хаос нерассмотрением бумаг, в помощь себе пригласил старую опытную полицейскую собаку Курлова, — но, трепеща Думы, опасался открыто провести его назначение, и это вызвало новый скандал. В конце октября 1916 колебался он: не запретить ли предстоящую сессию Думы.

Активность Протопопова не миновала и хлебного вопроса. Он присоединился к точке зрения (компрометируя её) свободной торговли и отмены твёрдых цен. Опротестовал циркуляр министерства земледелия о всеобщей системе закупки и распределения хлеба с привлечением местной общественности, комитетов и кооперативов (довольно справедливо подозревая, что комитетская помощь будет направлена к возбуждению населения, как это и делали съезды по дороговизне), запретил комитеты в волостях, а в газетах просквознуло, что он добивается передачи всего продовольственного дела к себе в министерство внутренних дел, сам же он опровергал. А хлебное дело так и зависло между двумя министерствами, в ещё худшей недвижности.

Да не так хлебный вопрос волновал кадетских лидеров, как вся позорность этой истории с Протопоповым, кладущая пятно на Прогрессивный блок, как раз когда Блок высмеивался даже левым крылом кадетского ЦК.

К о н о в а л о в, отзывчивый на подпор общественного возмущения и достаточно свободный в средствах, завёл новый тип коноваловских совещаний в своём московском доме — с целью «оживить пульс московской жизни», заложить мост между к-д и с-д.

На другой день после мира у нас начнётся кровопролитная внутренняя война. В России уже сейчас нет никакого правительства, —

говорилось там. И правда, напуганное правительство всё меньше давало себя знать как реальность.

Предстоящая сессия Государственной Думы должна быть решительным натиском на власть. Более благоприятный момент для *штурма власти* едва ли повторится.

Да, это уже кадеты понимали:

Мы дошли до момента, когда терпение окончательно истощено и доверие до конца использовано.

Больше года терпеливая либеральная общественность предлагала перенять управление и спасти страну — но нельзя было убедить корыстных, слепых безумцев, вцепившихся в руль! Отложить выступление ещё? — дождёмся, что и Думу обзовут черносотенной. Хотя нежеланно, хоть через силу, а надо действовать.

23 октября собралась, закрыто от прессы, всероссийская конференция кадетов. И тут снова решительные провинциалы захлестнули столичных соглашателей левым негодованием: осторожность Милюкова убивает партию в глазах всё левеющего общества; разъезжая по заграницам, он не знает настроения; а ведь в 1917 году будут выборы в 5-ю Думу; если в последнюю сессию 4-й не набрать авторитета, не показать народу своей решительности, не хуже левых партий... И так уже прохлопали польскую автономию, не добились, — и вот Вильгельм объявил польскую независимость! Разве кадетам надо объединяться с умеренными? Нет, с Земгором! с кооперативами! с рабочими! профсоюзами! Бороться — в не Думы! И лучшая платформа — продовольственный вопрос!

Да, это правильно, продовольственный вопрос очень был выгоден для возбуждения и для ударов по правительству, но дело в том, что сами кадеты не знали, как его решать. В этом продовольственном вопросе и в этой дороговизне таилась грозная загадка: тёмный обыватель был живее захвачен ими, чем даже войной, победой и проливами. Но интеллектуальная партия кадетов не могла опускаться так низменно и утеривать историческую перспективу государственного величия.

Однако всё более косный, всё более упрямый, всё более оглядчивый Милюков и тут устоял: ограничиться только думской борьбой и — никакой нелегалщины, никакой подпольщины!

Охваченное ужасом правительство в последний момент, конечно, ухватится за нас, и тогда нашей задачей будет не добивать его, а обосновать конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством необходимо чувство меры. Народная мысль и без того имеет опасный уклон в сторону анархии, в тёмных углах подорвана государственная идея.

Устоял и собрал голоса, но уж в Думе в этот раз было не миновать атаковать.

Закрытый клин: или военная победа без нас (если будем слишком сдержанны), или революция поверх нас (если будем слишком буйны). Свалить правительство — возможно ли без массового движе-

ния? А массовое движение перекинется в революцию?.. Легко провинциалам съехаться, пошуметь и разъехаться. Но каково парламентариям, у которых нет никакой силы, даже силы голосования. И только может быть в том единственная сила Думы, что её нельзя разогнать: если разгонят, то такое начнётся, такое! вся Россия долготерпеливая подымется!

А вдруг — и не подымется?..

Изо всего выход был ясен: сбить Штюмерера. Продолжение войны третий год было не опасно, всем своим красноречием Прогрессивный блок гнал русское государство глубже и дальше в эту войну. И недовольства хлеба, дороговизна его и возможный голод тоже не были так опасны. Главная опасность была — Штюмерер. Если бы Штюмерера снять и заменить кем-нибудь из Прогрессивного блока — перед Россией открывался путь спасения.

Чем ближе к ноябрю, тем меньше дневного света в Петрограде. И собирается ли бюро Блока на частных квартирах в долгие вечера или в 11-й комнате Таврического дворца нерассветающими утрами, — всё при электрических лампах текут их тягучие, трудные совещания, под кругами настольных ламп на зелёных бархатных скатертях лежат белые листы, и Милюков, успевая то гнуть, то держать свою трудную линию, успевает и записывать для нас те беседы.

М и л ю к о в: Сосредоточить удар на Штюмерере.

Ш у л ь г и н: Нет сильнее средства против Штюмерера, чем *борьба с немецким засилием*. Я — за ломку шеи правительству, но рядом должны быть меры органического характера.

К а п н и с т: Согласен: для успокоения страны — ломать шею правительству! Но немецкое засилие не дать обсуждать — это оружие в руках правых.

Ш и н г а р ё в: С немецким засилием — надо найти формулировку такую, чтоб ударить по правым. ...Надо показать, что мы умеем и работать. Ставить большие вопросы, волостное земство...

Е ф р е м о в: Да, ломать шею правительству! Первую неделю — никакой мирной работы, а только валим кабинет! Разрабатывать советы для *этой* власти — трата времени, они всё равно ничего сделать не могут. Да и вообще, предлагать конкретные планы, вносить проекты самим — не дело законодательной власти, это рискованно, нести лишнюю ответственность. Выгоднее роль критика.

Ш у л ь г и н: А вам скажут: пожалуйте к власти. А вы и не готовы — чем заменить.

М а к л а к о в: Как же вы верите в ответственное министерство и не хотите давать советов в исполнительной сфере? Боюсь, скомпрометируем мы парламентаризм.

Ростовцев: Страна не поймёт: ругаются, а ничего не предлагают.

Родзянко (он не допускал вольности зачислить себя в Блок, но заседания иногда посещал тайно): Правительство никуда не годится, с этого и придётся начать предложения Блока. Конечно, ряд вещей говорить нельзя: о ведении войны, о дефектах дипломатии. Революционизировать страну нельзя. Но и совершенно молчать невозможно.

Вот и задачка Милокову: ни о чём говорить нельзя — и молчать нельзя. Советов давать нельзя — и без советов нельзя.

Шидловский: Чего хотим — не скажем, иначе наши поправки примут — и исправят законопроекты.

Как уже и случилось с твёрдыми ценами: Блок бросил эту мысль от щедрости своих идей, а правительство подхватило и тем укрепило. Теперь изменник Протопопов перехватит продовольственный вопрос — облавами, заставами, обязательными поставками, — и опять неплохо получится, вот в чём трагедия.

Стемпковский: Одних твёрдых цен недостаточно. Надо идти до реквизиции с развёрсткой.

В. Львов: Мы уже пошли по пути государственного социализма. И нужна общественная *диктатура продовольствия*.

Шингарёв: Надо решить — будем ли отстаивать или херить путь государственного социализма? Тут можем рассориться.

Стемпковский: Если мы просто перейдём к деловой работе по продовольствию — армия нас не поймёт.

Да нет, какая деловая работа! — надо готовить грозную сокрушающую Декларацию!

Милков: Красная нить должна быть — наш патриотизм: они не могут довести войну до победы.

Трудность ещё и в том, что военная катастрофа отступила, она не грозит больше, как в прошлом году. Даже: Россия сейчас сильнее, чем была при начале войны. Но так — говорить нельзя, не это должно звучать в думских речах, иначе вся политика Блока развалится.

Ефремов: Положение очень тревожно. Замечается упадок энергии в обществе. Наше положение трагично, потому что наш долг произвести переворот, чтобы добиться победы в войне. Но производить переворот во время войны — предательство, при любви к отечеству — невозможно. Я не говорю: братцы, свергайте правительство! Будем строить речи так, чтобы призыв к революции не вытекал. Наметить пределы, за которые не выходить.

С т е м п к о в с к и й: Без резкого поворота мы всё равно проиграли дело. Будем менее агрессивны, излишне спокойны, — страна опередит нас. Вдали от столиц говорят: измена, царица чуть не с Вильгельмом в дружбе. Если не сделаем решительного шага и дадим распустить Думу — будем сами виноваты. Для меня несомненно: ещё несколько месяцев этого режима — и Россия погибнет.

К а п н и с т: В случае роспуска Думы волна захлестнёт нас. Надо идти путём Павла Николаевича — булавочные уколы. Только в случае сепаратного мира можно идти революционным путём.

Ш и н г а р ё в: Не верю, что сепаратный мир вызовет революцию. Масса усталых людей скажет: дайте выпастись, вымыться и поест. Конечно, удар по национальному самолюбию не пройдёт бесследно. Но если есть злая воля, которая готовит сепаратный мир, — надо по ней и ударить. Надо назвать это действие изменой — и Государственная Дума создаст себе недостижимую позицию! Это вызовет удовлетворение и в армии, где об этом говорят на каждом шагу. Мы попадём в самое больное место.

В. Л ь в о в: Высокопатриотический лозунг: спасти страну от правительства!

Да, эта позиция — очень сильная: объявить себя патриотами, а правительство — пораженцами и изменниками. Главная опасность — правительство Штюрмера! В октябре день ото дня Милюков писал и переписывал новые и новые проекты Декларации Блока. Иногда, наслушавшись коллег, — очень резко. Потом — одумывался или его отговаривали, и начинал смягчать. При каждой переписке одни ядовитые колкие выражения обидно терялись, другие приходили.

Предательское поведение власти... Глубокое падение нравов в руководящих кругах... Привилегированное хищничество... Всеми ненавидимая и презираемая власть... Это всё — не тайна для врагов... Государственная Дума слагает с себя ответственность за национальную растрату крови и мук армии и указывает на истинных виновников...

И день за днём обсуждали проекты (Шульгин тоже представил).

К р у п е н с к и й: Не надо этих терминов — «измена», «предательство». Трон окружён чёрной шайкой, да, но этого не следует говорить вслух. Слишком суровой критикой понизим дух страны. Не надо выставлять правду, чтоб не уронить подъёма. И не «злая воля», а — полная неспособность. Главное — уничтожить Штюрмера. На него и направить обвинение в измене и неспособности. И не надо раздувать заслуг Англии, как у Милюкова.

Ш у л ь г и н: Валить на отдельных министров, расписывать, что они злодеи, — мелкий масштаб. Я понимаю,



политика требует, чтобы мы говорили только чёрные вещи. Но надо сделать выбор: если виновата система, при чём тут злодеи? И надо говорить правду о Верховной власти — а мы не можем.

**Капнист:** Цель декларации должна быть — что Русь велика и обильна. А дальше — громить беспорядки.

**Родзянко:** Помягче, помягче, а то как бы Думу не распустили.

**Ефремов:** Но ведь и в обществе: нажива, стремление урвать. А если упрекнём общество, то нападки на правительство умалим, тоже нельзя.

**Шингарёв:** Правительство всё понимает и сознаёт. Им на Россию наплевать, а только бы удержаться. Деятельность правительства по результатам равносильна преступлению. Если Дума не будет резка, страна скажет: ну, и последняя надежда пропала. Сгустить краски гуще того, что в жизни, — невозможно. Вот-вот не будет хлеба в городах, рабочие вырвутся на улицу. Страна уже порывается к самосуду. Ждать, пока улица заговорит? Или публично объявить: *измена*!!

Кое-как соединили текст, утвердили. Отпечатали шесть экземпляров и раздали по одному на фракцию — утвердить их там. И вдруг — предательство! утечка! Напуганный старец Крупенский (центр) показал Протопопову, а тот Штюмеру, — и из правительства передали: распустият Думу! За такую декларацию — сейчас и разгонят!!

Такой провал! — за три дня до сессии! когда и менять уже поздно! Да — и опасность какова!

30 октября, несмотря на воскресенье, собрали чрезвычайное совещание — думского бюро (разумеется, исключив предателя) и ведущих из Государственного Совета.

**Шидловский:** Наиболее сильное впечатление — от слова «измена». Произнесенное с кафедры будет иметь характер удостоверения для народа. И поведёт к торжеству в Германии. Угрозе — не уступать, но об измене — второстепенное место. Снизу требуют «кричи», а иногда нужно и промолчать. Мы ведь не делаем революцию, а предупреждаем её.

**М. Стахович:** Конечно, это повредит правительству, но это поможет стране. Не говорить прямо «измена», но: такая система управления приводит к *толкам об измене*. Если же из-за угрозы совсем исключить «измену», члены Думы будут грызть себе руки, что пропустили момент сказать. Не спасовать бы нам на компромиссе. А Думу не распустият.

**Милюков:** Ничего невозможного в роспуске нет.

Да, вляпались с этой «изменой», — и оставить нельзя, и убрать нельзя. Разумнее было бы отказаться, но общественность раскалена и скажет, что Дума испугалась, покрыла измену.

Б. Г о л и ц ы н: Будет роспуск — не считаться с ним! И — не разъезжаться по домам! Иначе наступят репрессии и страна погрузится во тьму. Но лучше — до роспуска не доводить. Изложить осторожнее: *либо* круглые идиоты, *либо* изменники, выбирайте сами.

Эта мысль Милюкову западёт, неплохо.

Ш и н г а р ё в: Об угрозе правительства слух распространится, и если декларация не будет прочитана, скажут: Дума сдрейфила. Хотя бы ценой роспуска, но сохранить моральное значение народного представительства!

Пятится

С т е м п к о в с к и й: Конечно, угроза не должна влиять, Дума должна быть безукоризненна. Но видеть и другое: мы торопимся. А вдруг за нашим актом не последует ничего бурного, а — петроградская погода,

серо-чёрная неподвижная пасмурная слякоть?

Вдруг общественность перенесёт все издевательства, и война кончится благополучно? И скажут: «а мы победили и без Думы»? Не отложить ли нам резкое осуждение, пока не станет ясно, что уже всё проиграно?

Пятится и

Ш у л ь г и н: Дума, которая может считаться с угрозой, — вообще не нужна! Но если бы можно было добиться не роспуска, а перерыва, — было бы важно!

(Многие члены Думы оценят эту разницу: при перерыве — платят депутатское жалованье и в армию не берут, при роспуске — кой-кому придётся зашагать и простым солдатом.)

Если место с «изменой» — ненужная опасность, можно и уступить.

(Они не представляют, что корона напугается ещё больше.)

В л. Г у р к о: Пускать мысль об измене — и есть увеличение смуты в стране. Масса схватывает общий тон, впечатление получится: во главе России предатели, а потому будем их гнать. А измены правительства как таковой — нет, это представление ложное. Но можно усилить: правительство столь глупо, что приводит к ложным слухам об измене.

(Так, так, усваивает Милюков.)

Опять разошлись — советоваться со своими фракциями. 31 октября, уже в самый канун думского открытия, сошлись опять, вот безпокойство, вот подкатило.

Ш у л ь г и н: Бороться надо, правительство — дрянь. Но так как мы не собираемся идти на баррикады, то не

можем подзуживать и других. Исходная программа Блока была, на чём мы сошлись, — поддерживать власть, а не свергать её. Дума должна быть клапаном, выпускающим пары, а не создающим их. Поэтому: абзац об измене должен быть удалён.

Стемпковский: Мы не желаем никого звать на баррикады и сами не пойдём. Нельзя говорить так, чтоб ещё более возбуждать толпу. Отделить правительство от Верховной власти и последнюю — не обвинять.

Капнист: Но как же теперь — разрушить думское большинство? Не выступить с декларацией — показать признаки разложения. И переделывать уже поздно.

Шидловский: А без Блока что? Подпольная работа? Грош ей цена. Да нет ничего коренного, разъединяющего нас. Просто непривычка к коалиционной работе.

Миллюков: Трещина в Блоке была и с самого начала, но теперь она меньше.

Ефремов: Трещина — коренная. Декларация — слишком слаба и мягка. Измена, если она будет доказана, — уголовное преступление. Настаивать на учреждении следственной комиссии! Только суд и кара могут успокоить народную совесть, предотвратить народную месть!

(после перерыва): Фракция прогрессистов выходит из Блока.

Так, от самого создания не совершив решительного шага, — перед первым решительным шагом треснул Прогрессивный блок.

\* \* \*

Вместо Штурмеров — Миллюковы? Замена одних убийц другими? Долой чёрно-жёлтое знамя прогрессивного блока! Долой смрадный маразм убудочной конституции! Будем ковать подлинный молот революции!

РСДРП

\* \* \*

## 63

Кому что прирождено. Тебе — глаза на затылке, уши на шапке, чутьё — не по запаху, даже не по пригляду, по неизвестно чему, спиной одной: шпик! Идёшь, будто и не оглядываешься, а всегда знаешь, уверен — следят за тобой или не следят. Вон тот отерхán облезлый на мосту — просто в воду плюёт или отмечает проходящих. На трамвайной остановке — все ли своего номера ждут или кто-то уже переждал больше.

Ну, и ноги, конечно. У кого ноги слабые, от такой жизни быстро свалишься. У кого ноги слабые — за подпольную работу, да ещё в таком городе, как Питер, лучше и не берись. Как говорит мамаша Хиония Николаевна, волка ноги кормят. Так и подпольщика, ноги одни и выносят.

И как назло, всегда же складывается понеудобнее, наизмот: встречи сговариваешь задолго, а ночёвку выбираешь в последний момент — по обстоятельствам, по слежке. И вчера вечером уже знал, конечно, что сегодня утром встречаться с Лутовиновым в Лесном, и есть тут запасная ночёвка, а недалеко и сама штаб-квартира у Павловых на Сердобольской, — но не только её, укывушку, нельзя своим приходом выдать, а никакую, ничью, ни одного человека нельзя завалить своей неосторожностью. И когда вечером надели на пятки двое и пошли, и погнали неотрывно — пришлось чертить по всему городу и, чтоб не остаться на огородах ночевать (а оставался прошлой зимой и в морозы, и бродил-коченел до утренней зари), надо было махать или в Гражданку, где ход через глухую рошу, отстанут филёры, побоятся ножа, или в Галерную Гавань.

В Галерной Гавани и оторвался на тёмном пустыре.

Зато сегодня доставалось тащиться через весь Васильевский, через всю Петербургскую сторону, через Аптекарский, Каменный, Новую Деревню и Ланскую. И по дороге близко будет квартира Горького, но к нему только послезавтра, и совсем рядом Сердобольская — но туда только вечером сегодня, а пока и глаз не скоси. И всё это — для утренних встреч, а потом от Сердобольской, где тебя уже вот поджидают, — опять через весь город, за Невскую заста-

ву, в Стекланный. И только оттуда, если всё обойдётся чисто, — опять сюда назад, на Сердобольскую.

Да это всё — в тюрьму перекрошилось бы да схлебалось, эти б нам беды все нипочём, — если б только не локаут, собачий.

Локаут... Не ожидал.

Не ожидал — смелости от них такой. Привыкнуто, что они — виляют, отступают.

Неуж — ошибся?

Вот это грызло — что сам дал маху. Зарвался.

А ведь настаивал Ленин: отказаться от всяких массовых действий! Только небольшие подпольные ячейки! Только улучшать технику конспирации!

И спал плохо. Голова тяжёлая. Муть. А день впереди долгий, трудный.

Кому Питер нравится, кому не нравится, — дело вкуса, а потягаешься вот так по нему между камнем, и камнем, и камнем, иногда уж и мостовая к глазам приближается, взвыл бы: ой, мамаша, зачем я из Мурома зелёного уехал, зачем я в большой свет подался?

В шутку, конечно.

На трамваях всё это короче, хотя и трамваи вот так день за день вытрясут душу, голову раздребезжат. Да на трамвай не всегда и есть эти пятаки да гривенники. А то подумаешь: если филёр твой успеет вскочить, так и прогорели деньги, слезай хоть тут же. Пешком — повольней, есть манёвр.

Теперь старые заветы конспирации пошатнулись. Теперь уже многие этих строгостей не соблюдают: не стерегутся не то что с ночёвками, но даже с типографиями. Говорят: провалы всё равно не от слезки, а от «внутреннего осведомления», все провалы от предателей, а их не узнаешь. А на улицах — не берут, а возьмут — сошлют не надолго. Мол, конспирацией больше сам себя замучишь.

На улицах редко берут, верно. А всё ж, на уличный случай, паспорт с собой таскаешь финский (не подвержен мобилизации). А русский — в запасе лежит. А в прописку — никакой не дан. Человека — нет, нигде не живёт, птица.

И действительно, многим обходится. Нельзя вам, дуракам, провала пожелать, — вы провалитесь, так и мы не вылезем, а всё-таки проучили бы вас, дурандашников. Сошлют не надолго! Тебя — не надолго, а дело ремонтируй.

Тебе — не надолго, а мне — всё надолго. А я — ни дня свободы зря не отдам. Готов — на смерть, готов — на каторгу, но знать, что нельзя иначе. А просто так даже на месяц в Кресты? — ищите ослопа, не я им буду. На лишнюю конспирацию себя не жалеть, лишняя — всегда оправдается.

Твоя выдержка — твоя свобода, твоя свобода — твоя партийная работа.

С моё бы вы походили. Всю прошлую зиму в Питере продержался — ни одной царапинки. Провинцию объездил — сам цел и не завалил никого. Ушёл в Скандинавию — цел. *Литературу* тюками гнал, даже северней Норд-Капа — дошла. И вот вернулся — цел. И опять по питерским улицам, а? На подмётках ещё, может, осталось по пылинке от нью-йоркского тротуара и от копенгагенского, и крошек гранитный с финского севера. А до февраля цел дохожу — и опять туда.

А тут — кто б маху не дал? В какое время приехал! Над Выборгской — тучи, вот молнией слепанёт! В трамвае, на улице, в лавке, на каждом шагу — поносят власти вслух, не стесняясь, с матушкой царицей и с Распутиным. И шпики ушами уже не ведут, прислушались. Фараонам в лицо — хохот и мат. И — запасный полк взбунтовался! Тронулась армия — это уже всегда к концу. И после эмигрантского тошного безделья, ничтожной мелкости, презренных свар, да после недели в заполярной тьме, водопадного рёва, — и всё это видишь, и — принимай решение! Один.

Можно было ошибиться.

Может быть, и ошибся.

Ошибся или нет? Как будто душу твою зажали в центры и на валу обтачивают.

Так что правила твои — ясные, неизменные. Все рабочие районы знать до последнего закоулка. Знать все тропки на задах Выборгской, и Невской, и Нарвской стороны. Само собой — все проходные дворы. По одной дороге никогда не проходить больше одного раза. На одной квартире никогда не ночевать две ночи подряд. Или наоборот — когда слежка сгустится — нырнуть и двое-трое суток с одной квартиры не выходить. Рассеется — выйти рано-прерано, в темноте. Или так ещё: перед вечером зайти, будто уже на ночёвку, а поздно вечером ещё раз перейти на другую квартиру. (Это хорошо на Стеклянном, где две сестры рядом живут.) И никому ночлегов не называть, даже самым верным товарищам по партии. Лишнее знатьё.

А ещё верное дело: менять шапки и пальто, всегда сбиваешь. Как прошлой зимой, на Стеклянном как раз, насели — не оторваться. Среди дня. Куда денешься? В баню! Взял номер. Позвал посыльного: слушай, сходи вот по такому адресу, там девчёнка живёт, Тоня. Ты ей, конечно, не при матери, тихо скажи: мол, дядя Саша номер взял, тебя зовёт! Пришла: дядя Саша, вы же меня опозорили — к мужику в баню вызывают! Да если улица узнает — чего ж будет? кто ж меня замуж...? — Ничего, ничего, Тонечка, революция требует. Я тебе та-кого жениха ещё сосватаю!.. Нà вот мои пальто и шапку, вяжи в простыню. А мне тащи сюда баткины, на днях разменяемся... И ушёл чисто.

Фабричный столичный проведёт да выведет.

Эти же племянницы, вообще подростки, хорошо идут на контрнаблюдение: из квартиры высылать их наружу, следить за шпиками.

У сестры просидеть два дня подряд — отдых: и согреешься, и отоспишься, и отъешься. А вообще на конспиративных ночлегах нет мучительней, как каждый раз и только на одну ночь новое устройство и эта вежливость хозяев: не ожидали тебя до последней минуты, стеснены твоим приходом и не хотят показать. Три комнатки на шестерых и не хватает кроватей; добрые люди, спасибо, я и так благодарен вам, мне бы самую последнюю подстилку, вон туда под стол, и я засну, а вы тут живите! Так нет, отдавши лучшую кровать, считают долгом развлечь, хозяин настаивает показать, какой он развитой политически, заводит разговоры до глубокой ночи о программах партий. А ты уже не способен принять ни угощения, ни разговора, ни даже партийных программ, только явили бы милость, оставили бы тебя в покое: гудит голова, и дорожке нет помолчать. Помолчать, вытянуться без простынь, не раздеваясь, у рукомойного ведра, — только бы голова отдохнула, только бы языку не работать...

Ведь голова подпольщика нагружена втрое по сравнению с простыми людьми: кроме обычной для всех жизни — передвижений, поступков, работы, разговоров, ещё постоянно плющат мозг эти заботы: как одеться безопасней; что взять в карманы, чего не брать; в каком порядке посещать дома и встречаться, чтоб от предыдущего не повести к следующему; где что оставить; кого лучше попросить о сохране, о передаче, о скрытности.

Вот при такой голове после дурного ночлега и подскоки адвокатишка этот, Соколов: на днях, мол, судят революционных матро-

сов, *грозит смертная казнь!* Всё сошлось! Тут — бурлѣж, порох, полк восстал, братание солдат с рабочими! Сколько-то солдат арестовали, будут судить — а тут матросам смертная казнь?! Что должна делать партия пролетариата? Да — трахнуть всеобщей стачкой! В три минуты решение принято цельным размахом, без колебаний. Когда суд? 26-го. На 26-е — *всеобщую!*

---

И спасибо рабочим людям, чем скудней и темней живѣт, тем поделчивей на приют, теснится, лишь бы ты не побрезговал. А квартир интеллигентских, барских — для конспирации совсем не стало во время войны. Да и до войны. Как начался отлив.

А большевиками себя называть очень любят. На днях пошѣл Митя Павлов к одному. На общепартийные темы — самый приятельский разговор. Но только Павлов о нужде: «приехал из-за границы представитель ЦК, нужна ночѣвка», — тот сразу откинулся: «никак нельзя, за мной слежка!». Мол, не о себе — о представителе беспокоюсь. Ещѣ за ним слежка, подслепыш, кому он нужен... Хорошо не растерялся Павлов: «Разговаривают — все. А вот литературу выкупить нечем». — «Ка-ак? И денег нет?» — Изумился. Предположить не мог. — «И сколько же нужно?» — Павлов: «Много». (Надо бы сказать: триста.) Тот сообразил и откупился сразу: могу сто.

Это вообще нам урок хороший. Да даже с 908-го года все они схлынули, говоруны, показали, какие они революционеры. Перед войной профессионалы остались одни рабочие. Интеллигенции едва хватало обслуживать думскую фракцию да газету. Теперь и этих нет. Дошло до того, что при Петербургском комитете не осталось ни журналиста, листовки некому написать. Стали вырывать боевые студенты, новенькие.

С ликвидаторов ладно, какой спрос. А правдисты бывшие где? Уж куда были своѣй! — увильнули из правдистской колеи. «Узрели своѣ отечество», ушли в патриотизм, а верней, худого слова не сказать, в какую-нибудь норку заткнуться, лишь бы учѣтным, на фронт не идти. В статотделы, в земгоры, в промышленные комитеты, вместе с гучковцами, гвоздѣвцами, от нелегальной публики двумя руками отмахиваются, от нелегальной работы на версту. Красиков? Шарый? — какие они теперь большевики? Ну, Подвойский ещѣ поддерживает связь, осторожно. Все на «важ-



ных постах», никому с нами не по пути. Хитрый Бонч упрятал морду: я, мол, исследователь сект и вообще этнограф. Стеклов-Нахамкис — секретарь в Союзе городов. У Козловского на Сергиевской улице своя адвокатская контора, зашибает деньги.

А больше всего обида — на Красина. Уж правдист из правдистов — па-ашёл, взметнул! Дельцом, чуть не директором фирмы, это тысячи рублей, в богатстве плавает, а старым товарищам — шиш. И пооткровенничать — не жди, не снизойдёт. Правильно Горький говорит: они скорее на выпивку дадут у Кюба, чем на подпольную работу.

Они общую такую себе кличку придумали: «внефракционные» социал-демократы. Чтоб не подчиняться партийной подпольной дисциплине и не отчитываться. Мы, мол, сами знаем, что делаем, а вы не суйтесь.

Даже мысль была: старым правдистам послать ультиматум: или сейчас же переходите к нам, или потом никогда вас не признаём.

Так что адвокатик Соколов ещё не из самых худших. Услужливый. И деньгами иной раз поможет. И все сведения носит из судебного мира, из журналистского, откуда знает. И квартиру свою предоставлял не раз, встречаться с этими думскими дергунками — Чхеидзе, Керенским, надо ж где-то пополосовать их, как Ленин требует: русские каутскианцы пусть держат отчёт перед рабочим подпольем! И верно, выются, оправдываются...

Рабочее подполье, есть ли оно? Отлив-то глубже гораздо прошёл, в том и горе. Утомляет людей такая жизнь, да тюрьмы, да ссылки. В прошлом году, когда по родным местам съездил, насмотрелся, польнью обдаёт, зажмурь глаза, Санька! Геолог Рябинин, свой муромлянин. Свой, свой, улыбается, а на революцию больше не зови, отбил. Или Громов, сормович. Уже в девятистом был эсдек. Сколько раз сажали, ссылали — и вот, устал. Поседел, постарел, окунулся в свой домишко, в семейный круг... Самое большее — сочувствующий... Или Гришка, нижегородский. Вместе сидели в 904-м и вместе во Владимирском центре в 905-м. А — задавила жизнь, нужда, безработица, семья. Какой пропагандист был, какой организатор! — всё пропало. Мучается, томится, а... увольте, ребята, ищите молодых.

Ребята-ребята! Да если мы все кяду сдадим, кто ж эти новые силы воспитает? Кто их в партию вольёт?

Рабочим можно простить. Нельзя простить интеллигентам.

А вообще так и должно. Что такое истинный, а не названный пролетарский политик и как он может быть? Главная трудность для него: став политиком, не перестать быть рабочим. А иначе — какой ты будешь пролетарский? Вот и будешь интеллигент, полубуржуазный. Для того и возник у нас *интеллигентный пролетарий*, и это — один верный тип для будущего. Мало их, мало нас, но только такие мы и можем вести рабочее дело. И не избежать нам все формы работы принимать на себя — и журнализм, и листовки, и конспиративную переписку, уж её-то тем более чужим рукам не доверять.

Но, конечно, это трудно. У станка отстоять десять лет, а книжки только от случая просматривать. Во все эти перекрывы, убоги, скитанья — когда читать? когда думать? Эмигранты-умники могут себе разрешить, им в дверь не постучат. И всё-таки вот они в кружках изучали по двадцать лет «теорию» рабочего дела, и всё спорили, рознили, согласиться не могли. А мы пришли и сразу им показали — практику.

Потому что нельзя проверять одной головой, надо пробовать: даёт ли в руки или только с языка на язык перескальзывает? А головастики, как себя ни принуждай, как в рабочее дело ни вгоняй, — сердцем не будешь с ним всё равно. Чужой.

Хотя... Сашенька Коллонтай... Кто и образовала Саньку Шляпникова из дикого паренька, не умевшего рубаху носить, не то что диспуты, с французским, только начатым в кружке самообразования. Сашенька, дворянка, интеллигентка, глазам не вынести света и красоты! — как одета всегда, как причёсана! А — как верно, как смело судит, режет! На приморских тёплых камнях Ларвика, у самой воды, рядом с ней лёжа, лёжа часами — и слушая, слушая, вбирая...

А — Ленин?

Не-ет, пока у них не черпнёшь — настоящего ума у тебя тоже не будет.

Но линию выдержать — можешь теперь и сам. *Центровым партработником*, как у них это называется, — стал Шляпников? Стал. И из нескольких центровых — ещё в особой позиции, так что Ленин пишет ему даже как бы с почтением: «Вы — хозяин положения. Не вмешиваюсь, как рассудит *начальство*». И — чем добился? А тем: руками, ногами — и не упуская головой работать, не упуская читать, писать, образовываться. Можно, оказалось, охватить? Оказалось, можно. И от звания «центральной» мозги не застла-

лись, и грудь не вздымлась. А главное — не отвык, по-прежнему больше всего любил собственные руки прилагать: обтачивать весомые, различимые, точных размеров, темно-сверкающие детали. Да за то ещё и денежек получить, и подкормить в эмиграции, как своих бы младших, всех этих мудрецов, этих прочих центров, кто сидит на мели без копейки, тыкаясь, где б заработать на четыре обеда, какому дальнему издателю какую статейку перевести — перегнуть строчки с одной белой бумажки на неразличимую другую.

И если уж так вспомнить честно: июлем Четырнадцатого застигнутый в Питере безо всех них один — разве Шляпников не разобрался правильно во всём сам? Разве не понял *из себя*, сразу и точно: да неужели же наша классовая солидарность уступит хулиганствующему патриотизму? да неужели мы подло-покорно принизимся перед ним, как интеллигенция? Где же логика? Почему ж презирали Японскую войну, а Германскую поддерживаете? Дарданеллов захотелось? И позванный меньшевиками в ресторан Палкина на ночной банкет в честь приехавшего Вандервельде — не сробел, что один, слишком в меньшинстве, но хромым французским языком громил их всегдашнее банкетное большинство, заносное не подчиниться истинному заводскому большинству. И что это за ложные рассуждения — *кто начал*? Разве в том дело, кто первый напал? Виновник войны — мировая буржуазия, и бельгийская ничуть не меньше, чем германская, и нет никакой «бедной Бельгии» или «бедной Сербии», а — долой войну!! да здравствует революция! амнистия политзаключённым, мученикам свободы!! (Сам листовку написал.)

Конечно, не простой орех Мировая война, к такому не было готово ни человечество, ни рабочий класс, как не потеряться! Круговоротные месяцы, все перепутанные мозги, зашатало, отняло разум у скольких! Треснул не только всемирный рабочий Интернационал — распадались в безумии самые близкие дружбы. И добравшись в Швецию в том октябре, первом военном, — как же они радовались с Сашенькой своему соединению и верности! Застиглись войною порознь — а поняли всё одинаково! Как он принимал и понимал её захлёбные рассказы о первых днях войны в Берлине: *соци* голосовали за военные кредиты!! они, всю жизнь душившие нашу партию своей социал-демократической образцовостью, теперь бездарно упёрлись в тупик! Но и — пропасть с немецкими работниками, проверенными партийками: какая-то бур-

жуазная помощь раненым, забота о сиротах, не понимают, что благородней, смелей и даже дешевле — восстать! и потерять на улицах тысячи, чем на фронтах миллионы! Но и — вспышки шовинизма среди русских социалистов, застигнутых пленниками там: злорадное ожиданье, как из Пруссии дорвутся до Берлина и а ш и, — кто наши?! русские генералы? казаки? Вообще: что такое Россия? Россия — как что-то своё?? «Защита» — «несчастного» — «отечества»? Вот уж что меня не трогает, это «судьба России», меня сжигает судьба революции! — горела Сашенька. — Вот уж чего не хочу — это победы России! А по ту сторону огня — кто будет гибнуть? не такие же пролетарии? небось не буржуазные сынки. Нет, нет для нас ни Россий, ни Германий, не надо нам ни ваших поражений, ни ваших побед, всё это одинаково. Пролетариату нужен — мир!

Так довольны были собой, а ведь не дотянули и вдвоём. Последним и главным, как всегда, удивил, убедил, ослепил прорезающий Ленин: то есть как — одинаково?? *Даже не сравнивать!* царизм — во сто раз хуже кайзеризма!! Мы — не безразличны к патриотизму, мы — а н т и п а т р и о т ы! Лозунг мира? — неправильный! обывательский! поповский! Пролетариату нужна — г р а ж д а н с к а я в о й н а !!!

Про себя очунал Санька: да уж гражданская-то зачем? ещё хуже разор? Но Сашенька перехватила сверкающими глазами: да, да! Гражданская! — и зацеловала.

А — сейчас бы? Как бы Ленин решил сейчас? Как бы решил он в Петербурге 26 октября?

Почему-то кажется, да уверен: вот т а к же бы! *Трахнуть всеобщей стачкой!* И даже не в три минуты — в пятнадцать секунд! Это невероятное свойство у Ленина: видеть всё сразу, как при молнии! И не колебаться в этот момент, и не раскаиваться потом.

А — на локаут?..

Эх, всё висит на твоей голове, хоть и крепкой, все судьбы рабочих, сто двадцать тысяч на шее твоей. Такого размаха, такого решения ещё не бывало в жизни. Сообразить — может и пять секунд всего. Но пока ещё номер Центрального Органа с сегодняшним событием доберётся до Питера (если вообще он выйдет в свет, если заграничная редакция не передерётся окончательно) и укажет тебе, как надо было поступить, — пройдёт четыре месяца. И тюк с этим номером не сам сюда доползёт, но —

твоими же и усилиями, когда ты туда проберёшься и оттуда его толкнёшь.

Да что и вспоминать теперь 26-е, когда уже 31-е? Кидать ли бы доску через речку, нет ли, — но уж кинул, уже пошёл, уже под тобой посредине ломится, и решать тебе надо не прежнее то, а — куда прыгать? Назад или дальше вперёд? Вот это только: куда прыгать? (А на плечах — 120 тысяч рабочих.)

И — не с кем советоваться. Ни — с *центровыми* из Швейцарии. Ни — в Питере здесь. Все — на тебе. Всё — на одном.

И — только до конца дня сегодня. Не спавши, не евши и не присевши: куда прыгать? Вперёд? Назад?

...А между тем два потраченных пятка и верные ноги донесли уже Шляпникова на Ланскую, до просёлочной местности и огородов, минут на десять опоздав. И сапоги его прыгали через канавы и по вязкой грязи, где в сырой туманный день, ещё пока до первого мороза, по тропкам вдоль межей или древесных посадок иногда проходили рабочие хозяева огородов добрать, докопать невзятое. А уж филёра за Шляпниковым не было, пришёл к назначенной тесовой будке чистым.

И внутри будки хлопнулись крепкими ладонями с Лутовиновым:

— Я-то чистый. А ты? Не прямо от Шурканова?

— Нет.

— Ну спасибо.

В конспирации быть одному строгим среди всех — не многого стоит. Столько предусмотрительностей, а вот приди Лутовинов прямо от Шурканова и, гляди, привёл бы за собой. Квартира Шурканова — «фонарь для охраны», сказал Шляпникову ещё в прошлый приезд один хороший парень с Айваза, но не успел объяснить: подошли другие, а там его вскоре арестовали. Так и остался Шурканов загадкой. Правда, своих подозрений Шляпников не имел, а это первое дело: ведь чутьём всегда предателя слышишь, только чутьём их и открывают. Был Шурканов даже депутатом 3-й Думы, хотя так себе, средний металлист. Бывали у него обыски, открытое наружное наблюдение, а провалов не было. Выпить не дурак, соберёт «стариков» вспоминать революционные дни — и из тех же стариков, тоже бывший депутат, шепчет Шляпникову: «не по средствам живёт, странно». Змей подозрения так и ползает между рабочими сердцами, вот до чего нас довели. Дом у Шурканова очень удобно расположен, многие поль-

зуются как явкой, а Лутовинов вот просто и живёт. И Шляпникову предлагал Шурканов комнату — нет, спасибо, не надо. И русский паспорт раздобыл для Шляпникова — «надёжный». Ладно, пускай полежит.

Твоя выдержка — твоя свобода, твоя свобода — твоя работа. Взялся быть во главе всероссийского центра партии, так не попадайся. Единственный в России полномочный и свободный член ЦК? — так топай по Питеру аккуратнее.

На Лутовинове кепки козырёк — кверху, из-под него жёлтый кудерь и лбина раскатистая, крупно сляпано лицо, без мелких хитростей, большеухий. Челюсть — не всяким кулаком свернёшь, но от такого лбины как узкая. Росту парень взносчивого, но на рост и сила ушла, не молотобоец.

Говорит: гектограф старый с фабрики списали, украли и в Юзовку отправили.

— Молодцы! И что ж они там печатают?

— А эту... Коллонтай, «Кому нужна война».

— Хорошо!

— И старые революционные песни.

— Ну, это уж слишком жирно.

— Так не знают их, Гаврилыч. Революционные песни — очень мало знают. Как на демонстрацию выходить — так и петь нечего.

— Н-ну может быть... Но ты — листовки им посылай. Задачи дня, сегодняшние.

Лутовинов, сам из Луганска, — по связи с провинцией. Когда в феврале Шляпников уходил за границу, оставил им тут связи со всей провинцией — и с Нижним, и с Николаевом, и с Саратовом, и с Ростовом. Вернулся — узнать нельзя: все связи потеряны, вся провинция стонет без литературы, без указаний: как события понимать, что делать? А в Москве — в Москве! — нет своего областного комитета, бояться собрать или не умеют. Смидовичи, Скворцов, Ногин, Ольминский — сидят по своим углам и что-то, говорят, *работают*. Какая ж тебе общероссийская работа, мамочки, если они в Москве наладить не могут! Всё развалено и потеряно так, будто он им не соорудил за прошлую зиму, и начинай сначала опять. Вот безрукие! И только Лутовинов — держит связь с Донецким бассейном. Питерцы — тоже хороши: какая литература где по пути застряла, на шведской границе или ближе в Финляндии, — выручать не едут, ждут, что сама приползёт или Беленин-Шляпников им съездит, пригонит. (Да смех! — в про-

шлом году на самом севере Норвегии нашёл он склад — тюки литературы 906-го года, так и не переправили, забыли про них. Кто их теперь будет читать? Там уж так устарело, что только мозги может запутать, кто против кого, кто на какой позиции.) И свою типографию в Новой Деревне питерцы сбечь не могли. А побрюзжать, что Центральный Орган с указаниями опаздывает, — это они дружно.

Вот оно и есть: там и здесь. За два с половиной года войны жизнь так разъехалась, расплзлась, что оттуда — невозможно вообразить здесь, отсюда — там. Там — удивляются, сердятся: да что они все в России — живые, не живые? почему заглохли? почему никаких сообщений? в чём их работа? и — денег не шлют, на что ж работу вести за границей, где же деньги брать, если не в России? Поезжайте, товарищ Беленин, но только наладьте связи, добудьте денег и возвращайтесь поскорей, вы не можете оставаться там долго, не губя себя и не вредя делу. Сюда приедешь, смотришь: стачки вроде всё же идут, и рабочие мал-мала просвещаются, уже того дикого патриотизма 14-го года и следа нет, а вот: литературы мало! свежих статей, свежих мыслей — почему не шлют? что ж они там замерли за границей, без слежки, без тревог, — зачем же тогда сидят? И денег — уж не могут там раздобыть, в богатой Европе, неужели только и складывать наши рабочие гроши?

И понять друг друга почти нельзя. И только тот, кто бывает и там и здесь, Шляпников единственный, и ту и эту жизнь как в двух тяжёлых плетёных муромских корзинах держа на длинном коромысле через плечо, не давая себе ни на миг позабыть ни эту, ни ту (с одной зазеваешься — всё сковырнётся), твёрдым шагом, куда б нога ни ступила, только и снуёт.

Глазеет Лутовинов, как из деревни и первый раз автомобиль увидел: неужели тот самый Беленин, вот который был, наставлял, уехал, исчез — и опять вернулся? Из-за моря, в такую войну, и целёхонький, — как же это совершается? И все на него лупят глаза, не один Лутовинов. Ну как, правда, поверить, что вот сидит с тобой в огородной будке, а две недели назад был в Христиании, а в сентябре океанским пароходом, да не третьим классом, а вторым, возвращался из Америки и под весёлую музыку духового оркестра любовался на океанские волны?

И рассказывать как — нельзя подробно, никто ничего лишнего знать не должен. А кое-что можно бы, да это если начать...

В Хапаранде по ломкому льду под мостом, и проваливаясь в речку Торнео, чтоб миновать полицейскую сторожку. Дальше — с проводниками, сам под финна, обходя лесными крюками пункты жандармских осмотров.

То — на крестьянских финских розвальнях, по сугробам, восемь ночей, днями отдыхая в избушках лесорубов. Нетронутость снегов. Молчание. Северное сияние. Сводчатые лесные дорожки. Потом леса вырождаются в карликов. Мшистые болота. На лыжах, не умея. И — долгой петлёй обошёл проверки.

Облегчает, конечно, что всё финское население сплошь враждебно к русским властям, охотно везёт нашу литературу, проводит наших революционеров, шпионит за русской армией, переправляет на родину германских военнопленных, и сами финны тысячами добровольцев уходят в германскую армию.

А Лутовинов вытянул из кармана краюшку хлеба ржаного, просто так, незавёрнутую, и помидоров полдюжинки, правда бурозелёных, недозрелых, а очень кстати, ночёвка была голодная, берёт Шляпников хозяев, не объесть.

— Это славно! А соль?

И соль. Ножи — у каждого. Бумажки простелить нет, да лавка и так чистая, раздвинулись к краям, а между собой разложили.

— Всё-таки выглянь, Юра, обсмотришься, как там?

Выглянул. Туман редеет, подальше видно. Всё в порядке. А было бы не в порядке — тут можно шпиков и на кулаки взять.

Кажется — что в этих помидорчиках? брюху голодному дна не притрусить. А вот порезали, присолили, берём поровну — и что-то сближает ближе самого дела.

А третий, последний переход был всех труднее. Уже не на терпенье, а на выдержку ног и сердца, действительно не всякий мог бы. Опять далеко-о на севере. Сани, возница, да не бесплатно: марка за километр. Полярная ночь, но по снегу далеко видно, луна ли за облаками? По речной долине, в ямы проваливаясь. Потом через реку пешком, с проводниками держась за длинную верёвку. А вот и снежная тропа вдоль берега: утоптала её пограничная стража, проходят несколько раз в день. Опять сани. В санных и заснёшь. На хуторах пересадки. И — пустыня: ни одного постороннего пешехода или воза. У Рованиеми — опять река, но уже чёрная, шумная, незамёрзшая. Крики через реку, вызов лодки.



(Рассказываешь, а у самого сердце тянет: всё не то, всё не о том. Как же решится? Что же решать?.. Да оно почти и решено: прыгать! А что будет?..)

Среди финнов — как немой: ни одного слова. Везут и ладно, не продадут. Даже и рад: на ночлегах не надо разговаривать, чистый отдых и соображение, как дальше. А вот и — задержали. Обыск. Лопочут финны по-своему, очень плохо по-русски. В далёком лесу — вроде воинской части у них, из старых бывших солдат и молодых парней. Это — *активисты*, это и есть те финны, кто уже оружием воюет против России. (По сути — за Германию, но здесь об этом думать не конкретно.) Они и своих с-д не балуют, это — чужие. Но после объяснений, что революционер, отпускают. И снова на юг. Всё меньше снега, вот уже и оттепель. Теперь стерегись. Чем смелей и развязней, тем меньше подозрений. Где — секунды решают, и пожарной лестницей — на крышу станции, так избежал патруля. А на другой захватил-таки жандарм: паспорт! Бойко лезешь по карманам и спохватываешься: нету. Да я — местный житель, мы и без них обходимся. (А на самбó — заграничное всё. Впрочем, финны одеваются лучше наших.) Нет, арестовал. Зашёл в пассажирский зал, отвернулся за подсобой — миг один! полмига! — а ты уже дунул! — в дверь! — сбил кого-то! — и в лес! И — лесом. Ушёл. Да не закружись: где полотно? И какие поезда в твою сторону, какие наоборот, как угадать? небо в облачках. Сообразил. Теперь пешком. Ночь, тепло. По полотну. Быстро! — надо к утру перебраться как бы не сорок вёрст. Пить! Снег. Есть! Нечего. У будочников лазил по сараям — не нашёл. Вдруг — железнодорожный мост, нá тебе! Там — часовые, ясно. Надо обходить. Крюк — ещё на десять вёрст. Теперь лодочника сговорить. И к утру заснул в сарае, в соломе, мыши пищали в самое ухо. А в следующую ночь — до Улеаборга, уже по лесу, дорогой. Избегая, однако, встречных. За две ночи — семьдесят вёрст! В редакцию соц-дем газеты как пришёл, сел — уже встать не мог. Ноги — свинцовые, пальцы — в кровавых мозолях. Дальше товарищи спят и фальшивый документ, и фотографию, и проводят до Гельсингфорса, но вот — встать? Как на ноги стать и пойти отдыхать на хутор? (Те мозоли и сегодня ещё не прошли, ходить мешают.)

— Хороши помидорчики, хороши.

Вот почему заграничные члены ЦК — Владимир Ильич да Зиновьев — на такие путешествия, прямо скажем, не охотники.

А Шляпников всё равно непоседа. И потом здесь, в России, многих рабочих знает лично, что и удобно для связей. Так и пошёл, и пошёл с коромыслом, там — тех понимаешь, тут — этих. Товарищ Беленин, дорогой друг, требуйте денег с Питера, должны собрать! Из «Летописи», от Горького, от Бонча, хоть из «Волны», лишь бы деньги! Сюда приезжаешь — «Волна» совсем неподходящее издание, против нас, не возьму ни копейки. Жмётся и Бонч с каждым рублём, жмётся вся бывшая с-д публика. Горький, правда, всегда даёт, кормилец наш. А эти членские медяки по питерским заводам больно и собирать. Ещё 10 процентов на Всероссийское Бюро ЦК возьмёшь у местных организаций, но чтоб эти деньги за границу своими руками? Нет.

Денег, денег, с этого и начинать. Достал, отсчитал пятнадцать красненьких и положил в растяпистую лутовиновскую ладонь:

— Вот, Юра, пока всё. Оборачивайся.

В лутовиновской горсти они ещё меньшими выглядят, сто пятьдесят, чем и есть.

— Маловато, Гаврилыч. Что ж на них?

Что на них? На поездки, на устройство, на технику столько ли нужно? И на самого себя?

Вздохнул, подумал. Двадцатку добавить? А — Нижний? А Ивано-Вознесенск? А Тула? А может, кто на Урал ещё соберётся?

— Нет.

В прошлом году бюджет был побольше. Придумали с зятем-фотографом: распечатать открытки с портретами арестованных депутатов в арестантских халатах. И здорово пошло по заводам. А ещё привёз тогда Шляпников много «Социал-Демократов» да два номера «Коммуниста», и давали читать за плату. А сейчас...

(А сейчас — тянет сердце: что же решать?)

— Не поверишь, Юра, гонял в Америку заработать — еле дорогу оплатил.

Лутовинов зенки распахнул:

— Да ты — разве зарабатывать... ?

Дело не такое секретное, можно и рассказать.

— Когда я уходил, один человек тут...

(Горький. Но об этом не надо.)

— ...передал мне материалы о преследовании евреев. Уже в военные годы. Чтоб их на Западе опубликовать. Да не так отдать, а — продать, евреи должны много заплатить! Да на Западе всё

за монету. Например, в Копенгагене сейчас спекулянтов, мародёров — полгорода. И социал-демократы тоже не отстают.

— Наши?!

— Там все портятся. Спекулируют военными консервами, немецкими карандашами, лекарствами... Их из Дании вышлют — они на новом месте спекулируют. А есть такой Парвус — уже несколько миллионов нагнал. Теперь — благотворитель, пройда!

О Парвусе мутном, социал-демократе-толстосуме, только сказал — всё сердце чернотой затмилось. Отмахнулся, не стал. Да на него Ленин есть, с гребешочком железным.

— Или, например, в Америке сейчас. Нужен паспорт был для обратного выезда. Даёт его русское консульство. Но нельзя ж открыть, кто я. Надо — будто я в Америке и жил. Посоветовали взять удостоверение в церковном приходе, что я — ихний. Пошёл к попу. И за два доллара он мне — удостоверение. Вот так у них.

У нас бы, у старообрядцев, — ни-и-и!

— Вообще в Америке — все о наживе. Или сегодня уже наживаются или на завтра мечтают. А жизнь — дешёвая, лёгкая. Меня наши товарищи здорово уговаривали остаться — мол, и тут рабочий класс, и тут можно помогать Интернационалу. А я — не, не поддался. Правда, две газеты у них там на русском. Несколько — на еврейском. «Новый мир», а во главе — меньшевик. Поставил я им доклад о положении в России и уже этого меньшевика валил, хотел большевиком заменять, — так не нашлось ни одного порядочного, вот ни одного, поверишь?

Засмеялся.

— А туда по какому документу?

Правильно мысли направлены, конспиративная голова у Юрки.

— Туда — ещё трудней. В нью-йоркском порту — кордон, проверяют здоровье, больных не допускают, не нужно им. Проверяют деньги, доходы, виды на имущество, или хоть знакомых состоятельных. А голодранцев — назад.

— И что ж у тебя нашлось? — распялил Лутовинов голубые, но и заранее успеху радовался.

— А у меня... — гордость в горле. Всякий такой раз — гордость. — Удостоверение токаря. *First turner*, по-английски, высший разряд. Я в Англии испытание сдавал.

И, как сидели, приобнял Лутовинова по пальтишку серо-бурорыжему, потерявшему единый цвет, и с петлями разлохмаченными, уже больше похожими на дыры. Шляпников своё европейское в Питере тоже сменил на такое примерно, нитки оттёрты чуть не добела. Только сапоги хорошие оставил.

— Прошлым летом отпросился я у ЦК из Норвегии в Англию, сперва не пускали. И как стал к станку — так и на партию заработал и на себя, и ещё им в Швейцарию послал. Рабочий класс, браток, везде основа. Рабочий человек нигде не пропадёт. И знаешь, тебе скажу, ты вот за партийными делами только от станка не отбивайся, не отвыкай. Ты — мастеровой настоящий. А ещё становись — интеллигентный пролетарий. Нам без таких партию не построить. Или — не та партия будет.

Доверчиво слушал Юрка под рукою. Как брат младшой, хоть и крупней. Да три года меж ними всего, но Юрка столько не видел.

— А то это быстро — нос задирают и чёрт-те в кого превращаются, балаболки. Вот с Гвоздевым боремся — а люблю его всё равно. Стать с ним рядом на станках — любо-дорого! Ничего не скажешь, руки!

Дверца из будки распахнута, чтобы подходы видать. Серенький день с туманцем, уже ключьями к земле. Борозды выкопанной картошки. Ботва рыжая намоклая.

А там где-то заграницы, заграницы...

— И что ж, пропустили?

— Кого?

— В Америку.

— А! Токарь! Без звука.

— А пока допрос, пока что, — еврейские материалы где же? — опять по правильному направлению соображал Лутовинов.

— В машинном отделении, у товарища, — успокоил Шляпников.

— Ну а продал?

— Смехота одна, опозорился. Ещё стокгольмские евреи брали охотно и цену давали. А я побоялся: ведь это прямо в германский штаб пойдёт, и для их целей? В Швеции, в Дании — тут, знаешь, на каждом шагу немецкие шпионы. Революционный борец то и дело может замараться об немецкую разведку. По виду европейская жизнь не строгая, а ухо держи. Так тебе деньги и суют, липнут. И предложил я шведским евреям так: вы нам дайте деньги на изда-

тельство, мы первым делом ваше издадим, а потом — своё будем. Так нет, отдай им в собственность. Я и заподозрил. Оттого и махнул в Америку — думаю, уж тамошние евреи денег не пожалеют, миллионеры! Ещё — на что ехать? денег партийных на дорогу надо, на самый дешёвый класс. Ну и что? Приехал в июле, время самое неудачное: все богатые евреи на лето из города уехали, а эти торгуются. И продал за 500 долларов, сказать стыдно. А дорога туда-сюда и прожил — 250. Вот так рабочему человеку коммерция...

На таком обороте приругнуться по матери бывает хорошо. Но Шляпников такой привычки не имел. С детства, от веры.

— Нью-Йорк — это камень, железо и дым, не знаю, как там люди живут. У нас в Питере вот и рощи, и огороды, а там так не посидишь.

Да и у нас не посидишь. Обманчив этот слякотный тихий денёк. Тут рядом, за спинами их, вдоль Большого Сампсоньевского, вдоль Выборгского шоссе, Выборгской и Полюстровской набережной — закрыты были, кто нашею стачкой, а кто прихлопнутый встречным локаутом, — уже третий или четвёртый, или пятый день — Эриксон, Старый и Новый Лесснеры, Старый и Новый Парвайнены, Айваз, Рено, Феникс, Нобель, Экваль, Промет, Барановского, а всего по Петербургу и ещё, ещё, там 120 ли тысяч или меньше, а судьбу их решать — Шляпникову. То есть — БЦК и ПК, но как собраться вместе нельзя, и не с занудой же Молотовым советоваться, то придёт вечером на квартиру Павлова кто-нибудь от ПК и решим окончательно. Решим, а листовки уже небось отпечатаны. Решим — а уже решено.

— Слушай, Юра, — не спустил ещё с его плеча потяжелевшую руку Шляпников. — Ты знаешь, что мы делать хотим? Чтоб локаут сорвать — с завтрашнего дня объявить по Питеру самую всеобщую стачку — до последней малой мастерской, до последнего рабочего, в с е!

Ещё тяжелела рука. И вид Шляпникова из-под картузика — тёмный, как закопченный, глаза больные и усы книзу.

— Как думаешь? Поддержит нас пролетариат? Возьмётся?

Молчал Лутовинов.

— Или нет?

Соображал Юрий.

— Как тебе сказать, Гаврилыч. По мелким, по всем, где организовать твёрдой рукой нельзя, — это дело всегда гаданное... Может взяться, может нет... Отсыревает...

Ещё темней и больной осунулся Шляпников.

Это — знал он. Он и сам с того начинал: подручным слесаря, с другими мальчишками, в ту Обуховскую стачку в 901-м, набрав карманы гайками, обрезками железа, камнями, бежали с Семянниковского на Обуховский отгонять от станков несознательных, какие бастовать не хотели.

— Но не всё ж кулаком по шее, должна же быть солидарность. Одни попали в беду, другие выручай. А без солидарности какой мы пролетариат? Ничего мы никогда не...

— Отсыревает, — вздохнул Лутовинов. — Подсушивать надо. Как сойдётся. Не знаю. Если б кто денег забастовщикам подбросили.

Ну, как сойдётся...

— Ну ладно. Вечером решится, ночью пришлём связного.

А — дельный парень Лутовинов. А — свой.

— Слушай, а не взять тебе в руки весь Юг, а? Давай прихватывай Воронеж, Харьков, Северный Кавказ, а? Давай вот думать, кто у нас из тех городов, или связан, и сколько человек надо? Давай, может, через неделю соберёмся, обсудим? Приведи с собой кого?

Уговорились до мелочей: где, когда, как узнают, как войдут, пароль...

Ну, расходиться. По отдельности.

Хлопнули ладонями со звоном. Пошёл-пошагал Шляпников по картофельным бороздам, набирая грязного оката на сапоги.

Туман осел, и мокрее стало, чем с утра.

Была бы с ЦК связь как телеграфная — отстукали, ответили, посоветовались бы. А тут и письменной-то нет — ни химии, ни шифра, ни в переплётах никто ничего не возит. Раньше всю конспирацию гнали через думскую фракцию, с арестом их — развалилось. Через ленинскую сестру сочилось — и её вот на три месяца арестовывали. Теперь если в Астрахань не сошлют (муж хлопочет для лечения оставить, а он директор компании, оставят) — уж под наблюдением тоже замрёт.

Никакой связи! Пока сам не поедешь. Чуешь плечом коромысло — вот и смеряйся.

Было б тут действительно Бюро ЦК; а это что за Бюро? — когда стемнеет, втроем ходим по Лесному, так на ходу и решаем. Называется БЦК, а связь с заграницей и связь с провинцией и вся ра-

бота настоящая — на Шляпникове. А Залуцкий — связь с ПК, по сути он — ПК. А на зануде этом, Молотове, — литературные дела. Называется. А листовку его до конца не дочитаешь, заснёшь, для овец и коров такие листовки писать. Листовки огневые всё равно студентам-мальчишкам заказываешь. Взяли Молотова потому, что некого больше. Потому что подошёл под ленинское определение: сплачивать для руководства только тех, кто понял главное в тактике: размежевание с Чхеидзе! только не единство с Чхеидзе! Иначе по меньшевицкой цепочке до лакейства и т. д. Молотов — и понял.

А уши сзади: никого. Чисто. Да и не должно быть никого, приехал только что, ещё не ждут и не привыкли. Вчера гнались не из-за него, из-за встречника.

Сейчас хоть с ПК более-менее дружно. А прошлую зиму провоевали пекисты против чекистов. Приехал Шляпников, только что кооптированный в ЦК, его и признавать не хотели. И по-своему правильно. Но сразу склока, как у интеллигентов. Из кого собрать БЦК? Те хотят — набрать из ПК, Шляпников — своё отдельное: Россия — не один же Питер. Да он — не из головы, он из-за границы готовые кандидатуры привёз, но здесь оказалось: или в Питере их нет, или под боком сидят, в Мустамяках, как Стеклов, затаились в безопасности, не притянешь. Или — *стоят не на нашей позиции*. А ПК ещё большего хотел: на стол им положи связи с заграницей и связи с провинцией, на случай шляпниковского провала. Многого хотите! Провалимся мы ещё когда, а вы — нас раньше. А те нажигают: Шляпников строит диктатора, Шляпников хочет командовать один. Да не хочу я, а — вынужден!.. Так и всегда склока затевается, на других видел, а сам не остерёгся: начинается с личностей, а вырастает в *теорию*. Опрокинулась склока на «Вопросы страхования», будто в этом дохлом журнале вся будущность русской революции. ПК — резолюцию против страховиков. Страховики отлаиваются. Шляпников требует резолюцию взять обратно. ПК — новую резолюцию, против Шляпникова. БЦК — против ПК. ПК собирает новых страховиков, обвиняет Шляпникова, что Шляпников сносится с членами организации, минуя ПК (а что же мне руки сложить, сидеть?), Шляпников ничего не сделал для общероссийской партконференции (а то вы много сделали!), транспорты литературы распространяет без ПК (да я их на собственной спине ещё в Норвегии таскал!)... Все-

го не перемелешь. На той склоке и проскочила прошлая зима. Всего-то деятелей два десятка, и все из рабочих, а помириться невозможно.

Оттого отчасти он и угнал в феврале за границу. Да и слежка надела: выходил только в сумерках, встречался только ночью. Да и ноги его нигде никогда не застаивались, всегда тянуло, что в другом месте он нужней.

Когда идёшь, идёшь пешком — вообще легче, ото всего. Всё, что внутри мутит, — в ходьбу уходит. И легче.

Сейчас оставался времени запас до следующей встречи — и попёр, попёр Шляпников по Большому Сампсоньевскому, многовёрстному, прямому.

И говорили уши сзади: никого.

Большой Сампсоньевский сегодня многолюдней обычного: рабочие не на работе. Кто — по улице шатается, кто — вместо баб в очередях у мясных, у молочных.

Отмахивали ноги, и подходил он ближе к заветным местам, где и сам проработал много. В 14-м году — так под видом «француза».

Это — весело было придумано! Французский паспорт, французский токарь, приехавший деньгу подшибить в Петербурге. Пять копеек в час не доплачивают — увольнялся, знайте западные законы! И своим рабочим — мало кому открылся, но сбивались вокруг него послушать, как он, подавляя володимерский выговор и изумляя всех быстрыми успехами в русском языке, рассказывал на Леснере и Эриксоне про Ленина, про Мартова, для них легендарных почти. Пользуясь своим иностранным положением, под жандармские заботливые предупреждения с честью к козырьку, легко проходил кордоны в черноту Выборгской стороны, бушующей революционными песнями под гармошки, — куда жандармам казалось страшно. Чтó был за июль Четырнадцатого! Какие надежды!.. И через несколько дней, тем же «французом» с нафабранными усами и в котелке, врезав ногти в ладони, со смесью гордости и боли смотрел, как рабочие шли на призывные пункты с красными знамёнами — увы, так же и царские рядом неся, увы — сдавая пролетарские знамёна мировому шовинизму. И весь реванш был для «француза» — не снять котелка перед хоругвенным «Боже, царя»...

И снова, и снова меряют ноги питерские мостовые. Сейчас его тут не ждут, фотографий не сверяют, чисто. Да и усы не те, и одёжка не та. И свой на проспекте столкнётся — не узнает.



Вот и «Русский Рено» по левую. А по правую, за Флюговым переулком, — низенький забор мятежного 181-го полка. Подправили забор, подбили укосины.

И опять маршируют запасные на плацу, как ни в чём не бывало.

Чуть-чуть — а не началось. Правильно, Юрка: это дело — всегда гаданное.

И солдат этих никто судить не собирался, оказывается. И матросам, оказывается, никакая смертная казнь не грозила, 102-я статья, никакой там казни. Из двадцати шестнадцать вот уже и оправданы начисто. А просто, объяснили теперь другие: Соколов — он этих матросов защитник, ему надо было оправдание вытянуть, процесс выиграть, помощь себе получить. Вот он и надул Шляпникова.

А ты...

Ах, Санёк, Санёк, говаривает Саша, и похлопывает-гладит по щекам, простодушие тебя погубит, сковырнёшься ты на простодушии. Не смеет революционер быть таким простым.

(И Ленин: вы, Александр, слишком доверчивый оптимист!)

Встретились с Соколовым совсем случайно. И придумал он, значит, уже во время разговора. А ты — в три минуты! На полный размах!!

Эх, погорячился...

А питерский пролетариат, отзываясь партии, — тр-рах забастовкой по главным заводам! Партия решила — пролетариат забастовал! Это — верно! Так — надо! Пролетариат — по первой листовке встал. Силища!

А матросов — из двадцати шестнадцать вот уже и на воле. А заводы — закрыты теперь.

И закрыл их — ты, представитель ЦК! И вслух — вслух нельзя об ошибке признаться: тут все полезут улюлюкать, тут — гвоздёвцам будет раздолье, гвоздёвцы спятили на обороне отечества.

Думали — только военный суд попутать. День-два — и вернуться.

А — локаут. И возвращаться — некуда. На какие заводы рабочие сами являлись — их полиция разгоняла: заперто!

И даже хуже. На закрытых воротах Рено, и на закрытых Нового Лесснера вон, на всех висят расклеенные желтоватые листы, на плохой бумаге третьего военного года.

Люди подходят, постаивают, почитывают. Не обратишь ничьего внимания и ты, если подойдёшь.

Хотя уже знаешь там каждое слово:

«Начальник штаба Петроградского Военного Округа  
28 октября 1916 г.

Директору ..... завода

Начальник Округа приказал лишить отсрочки призыва и немедленно призвать на действительную военную службу рабочих вашего завода, военнообязанных рождения 1896 и 1897 годов. Списки означенных рабочих немедленно представьте воинскому начальнику и в полицейский участок, а с военнообязанными произведите расчёт».

И тому сегодня — третий день.

И хотя не видно проводов, белых узелков, бабьего воя. И расчёт производят вряд ли — какой дурак за ним пойдёт при закрытом заводе? И списки воинскому начальнику если и отосланы — этим ещё не решено, у воинских начальников служба своя, они и призванным дают отсрочки поступить на другой завод (тут поможет и гвоздёвская группа, использовать их). Да тот же самый завод своих новобранцев, уже в шинелях, гляди, к своим же станкам и вернёт.

И хотя призываются только два самых юных возраста, кто и рабочим-то стать не успел.

Но если э т о спустить, уступить военному сапогу — кончилось рабочее движение в России.

А не уступили — и вон бродят хмурые-хмурые по Большому Сампсоньевскому, без дела.

Локаут. *Lock-out!* Наружу вас!

Укрепились гнилая власть. Решилась-таки.

Самое удивительное: как они решились? У них давно уже смелости нет.

Вот на этом и просчитался.

Побрёл налитыми ногами, как перед самым Улеаборгом.

И гордость: во́ сила! Не точно считано, и меняется каждый день, есть такие фабрики и такие забастовки, что и в ста саженьях о них никто не знает, только фабричная инспекция, ну пусть не 120 тысяч, а 60, — о-го! В Копенгагене, кто карандашами приторговывает, представить такое в России — можно?

Сейчас бы отступить пролетариату, как победителю, в благо-разумном порядке. А нет, схвачено: локаут. И — воинский призыв.

И — страх: *такого* испытания ещё не бывало. Можно всё сорвать в один раз. Сам указанья давал: сражаться рано, не готовы. И вдруг — дал сражение.

Резьбу нарезать — тщательная медленная работа. Расчёт диаметра. Расчёт шага. Обратные повороты — стружку выкидывать. Смазка.

А сорвать — дурак сорвёт: лишнее крутани один раз.

И какой же выход? Просить милости? У фабрикантов? У властей? Жертвовать призывниками? уволенными?

В том и дело, что это не выход. Правильно срублено было, неправильно, — а теперь только вперёд!

В борьбе выход — только вперёд!

Но точит шашень виновную грудь, про себя только знающую вину: ах, Санька-Санька, погорячился!

---

Тяжёлые-тяжёлые ноги. И мокрые.

И недоспано, и в брюхе пустовато. Поесть бы уже.

Литовская... Гельсингфорсский... Казармы Московского полка. Мимо Эриксона побыстрей, тут всё-таки могут узнать... И на Эриксоне объявление то же... Каждый переулочек тут знаешь, не читая. Каждый двор, не заглянув в подворотню.

А вот почему ещё тяжко так. Не потому, что ты, председатель Всероссийского Бюро ЦК, может быть, ошибся, и какие это будет иметь последствия для партии и даже для всей России, а: просто закрытые заводские ворота. Для рабочих — закрытые. И закрытые — тобой. Рабочим.

Ещё не знал никаких социалистов, ещё не прочёл ни одной брошюры, а уже грезил: эх, кабы Бог послал мне стать вольным мастеровым! к станку бы приобчиться! тогда б нигде не пропал. И с этой надеждой — в Вачу, и в Сормово, и на Невский судостроительный (набавляя года себе в паспорте), и на Семянниковский, — да сбили: послали гайки уметь в лоб старикам, сознательность им передавать. И уволен по чёрному списку. И покатился, покатился в революцию, в тюрьмы, как будто вниз и легче, а мечта всё равно тянет наверх: стать металлистом первого класса! рабочим быть — и до гробовой доски!

И вот есть уши, глаза настороже. И ноги ходучие. И голова варкая. А руки — руки всего главней. И лучшие дни твои — не в стачках, не в комитетах, не на демонстрациях, не в эмиграциях, — а когдаходишь во всё это шумно-весёлое зубчатое, шестеренчатое, червячное, коленчатое, и каждое движение понимаешь, и его приспособляешь, и от стариков слушаешь себе простые похвалы, а потом и от мастеров, — вот когда ты на своём истинном месте! И по субботам ссыпашь в карман весомые, какие бывают только честно заработанные, денежки.

Потом — среди токарей немецких, французских, английских. Не тот Интернационал, какой собирается в манишках на конгрессы, а вот этот — коренной и основной, в цеховых проходах — в блузах, куртках, гетрах, в пятнах масла, ботинками по стружкам, что ухом не схвачено, то досмотрено глазами, и с гордостью идёшь по Вемблейскому заводу, *first turner*, рабочий-механик, в общем — славный мастеровой всемирного отечества.

А другим — ворота закрыл.

Это — как?

Ну, наконец Бабурин переулоч. Где тут чайная эта? Волк выедает, так жрать приспело!

Тёплые запахи чайной — капустой, мясом, луком жареным, хлебом ещё тёплым — ух, хорошо! Пальто тут не снимают, шапку — на колени. Тут уже, нет? Где? Вон, у стенки подальше, юркоглазый, лицо довольно дураковатое, Каюров. К нему. А пока глаза сами — на подносы, по столам, — что тут едят? Котлеты с картошкой. Макароны с мясом. Солянку. Гуляш. Взять побольше, не скупиться. В такой день да голодный — всё дело прогροхаешь.

— Здорóво.

— Здорóво.

Каюров — так себе мужичишко, некоренённый, росту среднего и модельщик не выше: не ремесловит. Но — резок, на горло кинется. Горлан — ничего.

О том о сём — громко. За столами — свои разговоры, еда, расчёты. Не слушают. Такие ж двое своих, как все.

— Ты чистый пришёл?

— Чистый.

— Уверен?

— Нашёл проверить!

Каюров — как весь с кондачка, так и в этом: по самоуверенности может и прохлопать. И суетун. Хотя он и старше на восемь лет, а ни в чём оно. Лицо у него всё бритое, а то ли и не растёт.

К тарелкам полусклонясь — Каюров уже ест, Шляпников ждёт, — полуголосом о деле:

— Так вот, выхода нет. Назначаем на завтра всеобщую по всему Питеру. Требуем: снять локаут и отменить воинский призыв.

— Да уж знают, потекло.

— Ну и как? Возьмутся? Вытянем?

— Эриксон — конечно! Оба Лесснеры!

Языком молоть, они сами в локауте, им выхода нет.

— Нет, кто работает. Соседи. Кого знаешь?

— Гергард. Морган. Розенкранц.

— Да это всё — по гривеннику.

— Хотя и по пятаку, а сколько! Лютш и Чешер. Электротехника. Кмядта красильная. Григорьева колбасная.

— Да все ли пойдут?

— Пойду-ут!

Другой бы кто так сказал, Шляпников поверил бы. А этот — сильно на подхвасте.

— А Арсенал?

Не взялся Каюров:

— Не знаю.

— То-то. А мануфактуры? Сампсоньевская? Невская?

— Вот ждём.

Ждём. Так и размажется. А за всё ответишь единолично. Ты. И в эти оставшиеся полдня надо решать. Каждый раз хочется на одну сознательность перейти. И который раз по важности случая: нет, вот ещё последний, толкнуть...

И — твёрдо, командирски:

— Надо вытянуть, во что бы ни... Не пойдут — выгоняйте хоть гайками. Сегодня к вечеру листовки будут готовы, присылайте человека к Павловым после восьми. За ночь распределите. И утреннюю смену везде надо остановить! Хотя на улице, хоть перед воротами, хоть уже на лестницах. Но — остановить. Иначе всё проиграем.

— Сде-еаем!!

Это Каюров уверенно, э-это он может. Где забияки нужны, там он первый. Э-это он столкнёт. В чём другом напугает, а это!

— Слышал: забастовщикам кой-где пособие платят.

— Ну? Кто?? Из каких средств?

— А чёрт их знает. То ль межрайонщики, то ль инициативники...

Интернационалисты?.. Внефракционники?.. Во дела! Загадка. Но нашему козлу на подмогу, это нам идёт.

Васька Каюров любит поговорить, но с ним не обо всём. Что вот, гнетёт сердце, что вот, не ошиблись ли? — этого ему не выразишь. Ему — только готовое решение.

Так и всегда. Для каждого разговора должен быть подходящий свой особый человек. Через пять минут разговариваешь с другим — и слова другие, и сам ты как будто в чём-то другой.

С Каюровым что́ вместе хорошо — если ругать кого-нибудь, душу отводить. У Каюрова весь вид востренький, от востреньких бегающих глазок, а слово хлёсткое. Того же Чхеидзе: врёт насчёт Циммервальда, что сочувствует; пристегнуть нас хочет к буржуазному министерству; вместо Штюмера будет Милюков — что мы выиграем? А ещё разбористей — Гвоздева ругать, по Эриксону и сам его знает, зубами бы ему на горло: *стачколомы!* примирительные камеры суят нам, гвоздёвские молодцы! Спасение самодержавия приняли за спасение отечества, маленькая ошибочка! А у нас Минины и Пожарские такие, что не свои кошель на алтарь отечества кладут, а норовят себе с алтаря стащить!

Это верно.

Для постороннего вида, для безопасности разговора надо бы еду растягивать и растягивать, а ложка просто рвёт с тарелки — мясо духовое, мясо тушёное, капусту, картошку.

Продовольственный вопрос сам с тарелок кричит, а Каюрову много повода не надо. Хорош он для действия, а очень любит рассуждать. В чём и разумно:

— Твёрдые цены на все продукты — конечно. Но монополии хлебной торговли — правительству не давать! Не допустить! Нельзя, чтобы правительство хлебом владело, а то они нас на колени поставят. Вообще, мы ещё мало агитируем вокруг продовольствия: надо хозяек подбивать лавки разносить. Бабы повалят — на них казаков не выпустят!

У Каюрова — отдельная группа бывших сормовичей, и среди них он считается даже голова. Они всё сами хотят: и обдумать, и сделать, чуть и не всю вторую российскую революцию. Долго вообще не хотели признавать Петербургского комитета: вы, мол, по

себе, а мы — по себе. Отчасти из недоверия, что в ПК — осведомители и всех провалят. Но и меру ж надо знать, подозрениями нас тоже охранка заражает, чтоб разъединять. Когда Черномаз из ПК пачкал *заграничников*, что засели мол там, отсиживаются, только святые указания шлют, — тут каюровцы и к Черномазу охотно прислушивались. А когда прошлой осенью Шляпников приехал сам из-за границы, живой член ЦК, вот он, не отсиживается! — каюровская группа завопила: не может быть! такого не выбирали! провокатор!

Не может быть!.. Раз никому другому такое не под силу — значит, и ты сделать не мог. Значит, тебя охранка через границу перевезла. Правильно, не выбирали. Правильно, такие тяжёлые условия. А — кого другого из вас бы назначить?

И всё это выяснялось и обсуждалось через Горького: как земляка-нижегородца, его одного сормовичи признавали, ему только и верили. У него одного и собирались — языками поболтать да на груди порыдаты: как не состоялась первая революция, да какие славные были *красные годы*, до 907-го, да как упал рабочий класс после них. (Горький и сам любит слезу пролить.)

Теперь, когда ноги согрелись, особенно размокнули. Чувствуешь, как набралась вода внутрь. Переобуться да подсушиться как приятно бы! Так бродячему всегда негде.

Квартира Горького на Кронверкском — такое место, куда все валят, и он сам охотно широко принимает — и рабочую публику, и соц-дем, и вообще рев-дем, и угощает всегда хорошо, всегда там поешь, и веселье общее такое, будто за окном никакого царизма нет или уже падает. Квартира на виду, снаружи частенько дежурят филёры, но законная открытость хозяина и то, что сыпят туда многие, иногда человек до сорока, как будто и конспирации не нарушает, и Шляпников разрешает себе туда ходить.

— Ты когда у Алексей Максимыча будешь? Скажи: я после-завтра зайду.

Новости думские собрать. Завтра Дума открывается, к после-завтрему у Горького все кулуарные новости будут. Да все новости из буржуазной среды и даже правящей верхушки, и все материалы, какие по рукам ходят, где ж и получить? Секретное совещание заводчиков у градоначальника? — вот тебе стенограмма. Тайная встреча Протопопова с думцами? — вот тебе запись, а ты её хоть за границу пулай.

— Алексей Максимыч в Москву уехал.

— Да ну? когда?

К Горькому и от Ленина поручений много. Деньги выколачивать — это вполне понятная задача. А бывает помудреней, например: вышибать окистов через блок с махистами. Вот этого Шляпников совсем не умеет. Всех бы гнать одной метлой, проще и понятней. А Ленин всегда из них что-то комбинирует. А Горький — с теми и с другими, как и всякими третьими, — в обнимку. Хотя в общем — на нашей позиции стоит.

О том и Каюров:

— Спорили мы у Алексей Максимыча: какой ориентации дальше держаться, при развороте событий? Начнётся революция, конечно, с фронта, это ясно. Но от этого фронт сразу ослабится, и Россия проиграет эту чёртову «вторую отечественную». И это — хорошо. Ленин пишет: для пролетариата выгодно поражение своей страны. Значит, какая-то из группировок империалистов получит временную гегемонию над Россией. Так вот: какая группировка предпочтительней? Алексей Максимыч всегда уверяет, что англо-французы лучше. А я ему: всех наций капиталисты имеют в Питере заводы, хоть и шведы, хоть и финны, и нами правят. Так что имеем случаи сравнить. Англичанин — всегда зловредней и злопамятней. На Невской бумагопрядильне впускают полон двор баб, кто работу ищет, а он выйдет на крыльцо с трубкой в зубах и смотрит — ну нагло, как на скотину. А немцы не такие нахальные. Человечней, что ли, ближе к нашим. Сколько вон мастеров-немцев, с ним и поругаешься, с ним и помиришься потом. А ты как думаешь?

Шляпников так думал, что противно ему это слышать. Что здесь он этого услышать не думал, там наслушался. Но — объяснить, но — отвечать? но спор заводить сейчас?.. Нагрузил брюхо, и теперь тяжёлая теплота по всему телу. Разомлел, хорошо бы подлечь-посидеть, даже в стуле заснул бы. Но ни засидки, ни залежки не может себе разрешить подпольщик, разве что при крайней опасности. Чаёк допит, время гонит дальше. Волка ноги кормят.

— И потом, — распелся Каюров, — ведь — соседи. Через них — как прыгнешь?

— Знаешь что, Васька? — Манил Шляпников полового рассчитывать. — Ты вот этой глупости нигде не сей больше, даже у Горького. В том и линия наша: чтобы под самой немецкой пастью пройти, а на плечо б они нам не блянули.



Разговор вместе, а денежки врозь. Денежки рабочие — считанные, каждый за себя.

И ушёл расстроенный.

Однако не забылся: по переулку — в другую сторону, чем пришёл, на Межевую. Кажется, *без прищипа*.

А там на трамвай вскочил — на ходу. А трамвай — в разгон. Ну уж точно чист. Сегодня — нельзя ошибаться.

И сообразил билет пересадочный взять: чтоб и по Невскому ни квартала не идти, на Невском становишься заметен, и чтобы — пятак сэкономить.

Если уж питерские кадровые думают так, как Каюров, — как же нам не замараться? А германский генеральный штаб — тот и с первого дня войны понимает, что русские социалисты-интернационалисты ему как бы союзники. *Как бы!* А вот выкуси!

Да Ленин — уследит, не допустит!

Это Сашенька, молодчина, раскусила, когда им из Берлина в 14-м году, из интернированных, прямо бархатцем выстилая, предлагали в Россию — неизвестно кто, неизвестно почему, неизвестно на какие деньги. И все эти Чхенкели, Нахамкисы, Лурье, Гордоны схватились, её уполномочили, а она — пошла и за всех за них отказалась!! Уж как её грызли!

А потом подъезжал этот Кескула, змей, якобы революционный эстонец. Приехал — из Швейцарии в Скандинавию, и деньги, деньги суёт, — вам же деньги нужны? на издание брошюр? на транспортировку литературы? вообще на партийные цели? — «по-зялюста, фседа достанем!» Типографии, оружие? — всё достанем, лишь бы бороться против царизма. От Ленина — лучшие рекомендации, меня знают, знаком... Замялась Коллонтай, а Шляпников — подозрительней, у него глаз — на прорез. Конечно, по рекомендациям поработали с мерзавцем, кое-что и лишнее ему сказал, но потом отряхнулся: бездомный эмигрант с чековой книжкой? И друзья у него в русских банках? — пошёл-ка ты подальше по-хорошему!..

И разъяснил про Кескулу Ленину, написал, чтоб тот не верил. Люди головные, погружённые в газеты-книги, этих происков не замечают. Это под ноги надо смотреть, а то вступишь.

У конца Нижегородской слез и ждал кругового, шестого, с синей-зелёной марками. Стоял в нескольких шагах от городского, но в тесной серой толпишке. Стоял перед самым взгорбком на Литейный мост, на этом узком горле Выборгской стороны, куда столько

раз уже подступала рабочая масса — идти в город. И задерживали её все виды полиции.

И — ещё ведь *подступит*?

Не может не подступить.

Нет, сколько ни мотайся по Стокгольмам, а вот это ощущение — своей питерской мостовой под ногами, своего Литейного моста, обречённого и открыться когда-то нашему шествию — ... !

Хоть и городской рядом.

Треснула Европа багровыми швами границ — и как путаются самые умные люди! Вполне честные немецкие соци удивляются нашим: ведь вы же против царизма! и страшной царизма нет опасности в Европе! — отчего ж вы германской помощи не хотите? Поражение царизма — нужно вам или нет?

А оттого что: не помогайте нам через Вильгельма, вот что! Не *помогайте* нам шестидюймовыми по нашему брату! Спасибо вам за такую пролетарскую солидарность!

Кажется, ясно? Нет, опять не ясно. И никому не ясно. Вот финские *активисты*, оружие из Германии. Почему пропустили Шляпникова сюда, не забили там, в полярной темноте? А потому что вроде — союзник. И — согласился Шляпников, не стал им руками показывать: мол, стреляйте меня, не приму вашей помощи.

А и Кескула, между прочим, финским активистам тоже оружие гнал.

Дребезжал, громыхал трамвай по Литейному мосту над чёрно-серой холодной Невой. Останавливался подле Окружного Суда, где ах мечтали бы зацапать того, кто всеми забастовками ворочал.

Набил брюхо — теперь клонило спать за недоспанные ночи. В голове было мутно, гудко, и даже в толчках трамвая задремал бы.

Отогнали Кескулу от одной двери, он — в другую: Шляпников денег его не взял, так взял Богровский, секретарь стокгольмской группы РСДРП. И давал расписки на бланках, присланных от Ленина, а печать на них — Шляпникова! Каково!

И кинулись Бухарин с Пятаковым следствие вести.

Отбили Кескулу за границей — ничего, протянулись руки сюда. Уже Шляпников был в Петербурге, тут к нему тёмный датчанин какой-то Крузе, конечно «с-д», но от торговой фирмы, и больше всего удивляется: почему же русские с-д не готовят вооружённого восстания? Да не прислать ли оружия из-за границы? Это

совсем не трудно. И шрифты можно для типографии, в любом количестве.

И — заманчиво. И — как разобраться? (Может и взяли бы, да Крузе поспешил — мотнулся в Москву, к жене Бухарина: как? и в Москве восстания не готовят? а нельзя ли вот таких и таких эстонцев разыскать, тут записка от их товарища Кескулы?)

А тем временем Бухарин и Пятаков гнали по кескулову хвосту. И так удачно у них получилось, открыли все нити: и что Кескула — агент германского генштаба, и что целая сеть уже сплетена вокруг русских революционеров в Швеции.

И кажется, что б от того нейтральной Швеции, что эмигранты вокруг себя раскрыли? Нет, до той поры терпели, а тут арестовали добровольных следователей и — выслать! И Бошиху с ними. И — Сашеньку Коллонтай. Вот так нейтральная страна! — немецких шпионов не тронь! (Выручил всех Шляпников: он вернулся из Петербурга, на Западе считался как бы единственный реальный представитель социал-демократической России, и Брантинг ему помог.)

Прогромыхал трамвай по Кировой и заворачивал на Знаменскую, не так уж вдали и от Таврического, где празднично и празднично соберутся завтра разряженные думские болтуны. И даже будут рабочих поминать всуе, рабочего-то движения на сам-деле и боясь.

Вот этого самого взмаха боясь: стачка — локаут — контрстачка, — от которого что ещё выйдет? Устоит ли сам Петербург? Они там будут рассуждать, закрывшись в коробке Таврического, а в эти часы устоит ли ещё Петербург?

Со сломанной доски прыжок был сделан — вперёд! (И — когда сделан? сам не заметил. Ни в какой отдельный момент, а вот уже сделан.) И ногами ли на тот берег? головой ли в поток? — решалось в ближайшие полсутки, и надо было соображение собирать, что-то ещё подправить, что-то ещё... А голова гудела, и ничего путного не соображала.

Ничего путного, а вздор — продавливался. «Японцы» эти (Пятаков с его Бошьей и с Бухариным)... Вот это следствие о немецких агентах одно только и удалось им, из всех дел — одно. А в остальном и всегда были они — головастики, ни к чему не приспособленные смешные существа. Над книгами, бумагами и в диспутах — гремел Бухарин, глаза горели, не уступал ни пункта. Но в любом жизненном деле, а особенно в дороге, на лондонском вокзале или в датском порту, да ещё со своим поддельным паспор-

том Мойши Долголевского, а по виду полный русак, да не зная ни одного языка, да не умея с чиновниками разговаривать уверенно и смело, терялся Бухарин до смешного, превращался в куль безформенный, и как куль перетаскивал его Шляпников на пароходы то из Англии в Норвегию, то из Дании в Норвегию, то выручал из шведской тюрьмы, то, сочувствуя его тоске, отправлял прокатиться в Америку «для партийной работы». Приспособить же «японцев», живущих в Швеции, рядом с Россией, для самого реального дела — переправки литературы и связи, — оказалось совсем безнадёжным, такие безрукие, это все признали, и они сами признали. Да они ж в «Россию» и ехали, а то куда ж? — через Швейцарию-Францию-Англию-Норвегию-Швецию второй год ехали, а при конце не хватило сил. Тут ведь, дальше, надо по льду пешком. А мастера — статьи катать: нате, напечатайте! нате, отправьте! А мастера — разжигать разногласия по теории.

Слез. Пошёл по 3-й Рождественской да по Херсонской — задами, к Архангелогородскому мосту.

Эмигрантская жизнь такая, что только спичку кинь. Теоретические разногласия — значит, сейчас же и личная вражда. С Лениным «японцы» разошлись: самоопределение нациям — обещать непременно всегда всем или нет? (Ленин раньше говорил: никому! теперь: обещать! японцы, как и раньше: нет!), — и тут же развалили редакцию «Коммуниста». Если в одном пункте рассорились — всё пропади и всё провались, и рабочее дело туда же!

Ни понять, ни принять этого Шляпников не мог: как так? при несогласии почему обязательно сразу и вражда? Вот это наша интеллигенция, узнаешь сразу: из-за *принципа* провались и самое дело. Да рабочее дело почему должно страдать? Чтобы в России дело шло — надо же помириться?

Только Шляпникову и занятий: последний раз приехал из России, начал мирить «японцев» со «швейцарцами». Два месяца потратил — буфером служил. Объяснял тем и другим, что такое «Коммунист» для русского рабочего: тянутся! нарасхват! деньги платят за прочтение! Без-по-лезно! Так и уехал Бухарин в Америку непримирённый.

Ну а по Шлиссельбургскому — тут своя рабочая публика ходит, тут не выделяешься нисколько. И уже паровичок не нужен, близко, а время есть.

Да только ли там мирить! Приказал Ленин Шляпникову, сюда воротясь, в этот кипящий, стачечный, военный, осенний Пе-

тербург, — как самое первое важное дело собрать БЦК обсудить разногласия в редакции «Коммуниста» (сообщение товарища Беленина) и чтоб непременно выразить солидарность БЦК с *основной* (ленинской) линией ЦК. И *письменное* решение немедленно выслать в Швейцарию.

Неизвестно с кем. Других забот в Петербурге нет.

Всё же уравнил Шляпников так и сяк: расхождение сотрудников ЦО по отдельным вопросам программы не может служить препятствием к участию их в изданиях ЦК; следует принимать их сотрудничество по вопросам, стоящим вне разногласий... (Так тебе сразу и схватятся!..)

Поручение выполнил, осудил «японцев», но так, по сердцу, если глянешь отсюда туда, на все эти колонии русских эсдеков, переполненные теоретическими и перьевыми силами, — американскую, английскую (кого там нет! — Литвинов, Чичерин, Петерс, Керженцев, покойно себе живут), французскую, швейцарскую, шведскую, датскую — всякие Чудновские, Урицкие, Троцкие, Володарские, Сурицы, Зурабовы, Лурье-Ларины, Левины-Далины, Гордоны, Дерманы, — сколько их там в ожидании конца войны или мировой революции, а тебя *кооптировали*, и гоняй туда-сюда, и гнишь под коромыслом. Отвези-привези, чтоб колебались устои царизма. Отвези-привези, сделаешь доклад, мы обсуждать будем.

А туда приедешь — ещё разрешения у Ленина спрашивай, в какой стране жить? Можно ли в Англию съездить токарем поработать? Можно ли с Брантингом встретиться, или это утешает Литвинова?

Туда приедешь, и правда болташество охватывает. Так и тянет, отчего бы нет, на камнях у моря полежать, окунуться.

Не обижался Шляпников на коромысло: оно было ему и по плечу, и по духу неуёмному, и по ногам бегливым. Что ему одному всё это подгрузили — не обижался он, только подсмеивался. Но в такой тошный день, как сегодня, потребно было посоветоваться с центровыми — как же решать? что делать?

И вот тут — никого не было.

Стеклянный городок он уже отмахивал. Пересек Фаянсовую улицу, и вот уже была площадушка перед церковью Всех Скорбящих. Тут, у церкви и при лавках, всегда толкучка, легко затеряться, и вход в «фотографию Коваленки» — открытый всем, неподозрительный.

Коваленко, муж Мани Шляпниковой, был фотограф непридворный, незначенитый, золотых медалей на выставках не хватал и на карточках не выпечатывал, но для рабочего дела самый нужный фотограф, на помощь партийной кассе (хоть и позабористей: «Распутин и царица», «Распутин и Вырубова», шло хорошо по Питеру).

Кого ж к конспирации и привлекать, как не близких родственников? Самые безотказные помощники. И в задней тёмной комнате, без окна, отдохнуть и отлежаться у них, как загнанному зверю в норе, — покойней всего.

Иосиф Иванович снимал кого-то при лампах. В ожидальне сидела мещанка с детьми, две девицы. Шляпников скромно прошёл за занавеску, тихо ступая. Во внутренней комнате сестра Маня:

— Есть будешь?

— Да нет пока.

— Ночевать останешься?

— Никак. А до темноты посижу. Час который? Успел. Сейчас студент должен прийти. Такой крупнолицый, с оттопыренными ушами, не в форме. Ты спроси его: «Вы что будете заказывать?» Он скажет: «Хотел бы в кавказской одежде». Тогда веди его сюда.

Разделся. За ситцевую занавеску в сиреневых цветочках прошёл в заднюю комнату, где не было своего света, а падал ослабленный из столовой, а и в столовой — серый, краденый петербургский. Сел на кровать. И голова сама на руки свалилась.

Сейчас правда бы залечь — и до завтрашнего утра. Почему-то часто сходится, что к самому нужному дню — и не выспался.

Кровать ямкой, ссунулся туда, оттого колени поднялись, и голову на них, ниже, ниже... Заснул, что ли? Маня за плечо:

— Пришёл.

Сухими руками, без воды, растёр, растёр лицо небритое. Вроде посвежей. Вышел.

За обеденным столом сидел Матвей Рысс, сняв кепи на голубую вышитую скатерть, но остался в пальто нарядном и буро-красном шарфе. Волосы его светло-серые шерстились пышно, и сам он был свежий, светло-розовый — ушами, щеками, губами.

Молодость на подсобу. Вот их студенческая группа, Аня Коган, Женя Гут, Рошаль, вот эта молодёжь пришедшая и есть перелом в интеллигенции. Новый кадр. А без тех задремавших справимся.

— Ну? — бодрости голосу подбавляя, руку пожал студенту. — Как дела?

— Хорошо, товарищ Беленин!

— А что да что хорошо? Обуховцы почему стачку не поддержали?

— По продовольственному нашу резолюцию уже приняли. И против локаута всеобщую я вам гарантирую — поддержат.

— Уверен?

— Обезпечим.

— Это — очень важно, парень. Обуховский — это вес.

— Некуда деться им. Против солидарности.

— Хорошо, радуешь. Ещё что?

— В университете волнения.

— Да что ты? Вот замечательно!

Вяжется! Делается всё-таки!

— Позавчера собирались на главной лестнице, был митинг о дороговизне и что войска отказались стрелять в рабочих Трубочного. Не знаю, было такое на Трубочном?

— Не было.

— Ну, на митинге говорили. Потом по коридорам пели революционные песни и врывались на лекции.

— Здорово, молодцы!

— Университет, Бестужевка и наши Психонервы — готовы к забастовке. Всеобщую — поддержим и мы.

— Молодцы! Вот молодцы, ребята! — сидя против него через небольшой обеденный стол, радовался Шляпников.

Идёт поддержка, откуда меньше ждёшь. А рабочие — как бараны за этими оборонцами.

С одобрением смотрел на Рысса:

— Сейчас стачка против локаута — главный бой!

— Понимаю.

— И готовим — твою листовку. Не как в древности подпольной, знаешь, писали от руки, раскатывали на гектографе. А в самой настоящей типографии.

Рысс головой покачал, как не веря.

— Увидишь! Не стану называть, а делается так: в ночную смену подбираются все верные люди, и вместо ихней газеты — наша листовка. А там только пачками выноси.

— А у межрайонцев ещё проще.

— А как? — ревниво Шляпников. «Межрайонцы» была группа между большевиками и меньшевиками, которая считала, что она одна только...

— Да прямо в легальной типографии за деньги печатают. Хозяин берёт за 1000 листовок 50 рублей со своей бумагой.

— Ну-у-у... — даже недоволен Шляпников.

— И где типография! — на Гороховой, рядом с градоначальством.

— Здорово, — нахмурился. — То-то я смотрю — у них бумага хорошая, шрифт. Ну, ладно: сегодня вечером будем листовки раздавать. Я постараюсь к ночи сюда прислать, для Невского района. А вы утром как можно раньше забирайте — и раздавайте. Этот бой надо выиграть. Такого боя ещё не давали.

— Понятно, — светло-рыжими бровями отозвался Рысс. — Приложим.

Твёрдый парень. Без них бы вот разорваться. Когда это всё сочинять да...

— Ну, а та?

— Готова и та, — тряхнул головой Рысс. Волосы его, хоть и вздыбленные, нисколько на этом отдельно не колебались. И достал из кармана, развернул на скатерти бумагу с новым текстом.

Новые дела и старые годовщины наступали на пятки, гнали. Ещё о локауте и не знали, а эта листовка уже была заказана к 4 ноября, ко второй годовщине ареста думской фракции большевиков. Хотя на суде они себя вели не как надо, особенно Каменев, но уже принято было в эту годовщину сгущать рабочую злость.

Почерк у Матвея крупный, неровный, с хвостами. Читать можно. Но захотелось Шляпникову ухом принять.

— Только негромко, чтоб в фотографии не слышали.

И Рысс тоже с удовольствием стал читать, громкость сдерживая, а выразительность всю подавая:

— ...на скамье подсудимых в лице пяти депутатов сидел весь российский пролетариат... В то время война ещё только запускала свои когти в тела европейских народов. В громе барабанов буржуазной лакейской печати у многих ещё были закрыты глаза...

Звонкий голос, просто рвётся на митинги. Хорош из него будет оратор. Кто сам сочинял, тот и знает, где выражение выразить.

— Замечательный слог у тебя!

Ленин верно написал, что листовки — самый ответственный и самый трудный вид литературы. В эмиграции мало кто таким слогом пишет. Бухарин — скучней. И сам Шляпников, как ни натаскивала его Коллонтай, — неважно совсем, нехлёсто.



— ...День похищения нашего рабочего представительства ознаменуем усилением агитации за лозунги... Под визг приводных ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки! Сомкнутыми рядами, возродившись в 3-м Интернационале, мы усилим борьбу за прекращение войны путём гражданской войны...

— Здорово. Здорово. Только вот что: ты — межрайонцам не пиши.

— Я межрайонцам не писал! — возрился Рысс.

— Ну да, говори! Слог твой узнаю.

— Да это не я, товарищ Беленин! Да они там сами все письменные.

— Ну ладно. А то — нечестно.

Забирал бумагу. Остались влажные тени от пальцев, где держал Матвей.

— Скажи, а Соломон Рысс, максималист, тебе не брат был?

— Двоюродный.

— Ничего у вас семейка, боевая.

Простились со студентом — вошёл зять, кончив свою работу, но ещё в халате. Вошёл, посмотрел на деверя странно, улыбнулся:

— Алексан Гаврилыч, сколько у меня бываешь, а никогда не снимешься. Ни в ту осень, ни в эту. Потом хватишься по этим годам. Давай сейчас, а? У меня на пластинке место осталось.

Шляпников посмотрел с удивлением, даже не понял сразу. С какой стороны привыкнешь смотреть — с другой и не взглянешь. Привык он, что на площади толпится народ, что в фотографию всякому зайти неподозрительно, да каждый раз и при нём кто-то снимался, видел, — а в голову не стучало, что и самому ж можно.

Из головы ушло, что это можно и ему.

Что это нужно ему.

Или Сашеньке.

Плечи пошли в пожим. Губы тоже. И рукой, мужское оправдательное движение, к щекам, протёр:

— Да я ж небрит, Иосиф Иванович.

— Ну, побройся. Сейчас Маня кипяточку.

Да разве в том, что небрит? Всё настроение не то, придавило, несёт куда-то, какая фотография!

Однако к зеркалу подошёл — к наклонному, в межоконнике над столом, неудобно и висит, изогнуться надо, чтобы посмотреть. Да и тусклеет уже, края в облезлых пятнах.

Своих тридцати двух лет никак не меньше, можно и под сорок. Лицо — и русское, и не то чтоб выпирало русским: чуть иначе усы подстригал, волосы разбирал на пробор, и на снимке с французскими рабочими в цеху не сразу его и отберёшь, который русский тут. А в хорошем костюме — так и коммивояжёр, что ли.

Самому-то ему хотелось бы вид погероичней, больше бы чего-нибудь революционного. Хотя нет, тогда б и полиция цапала хватче. А так — средний тихий мастеровой, любит заработать, если плёт — то немного. Скромные усы, скромные волосы коротко стриженные. Да не от этого, а: взгляд, весь вид какой-то странный, самому себе всегда непонятный. Такой вид, что ли, будто он знает больше, чем делает. (На самом деле — что знал, что умел, то и делал честно всё.) Такой вид, что ли, будто он знает, что делает всё зря. Какие-то глаза не такие, не боевые, какая-то улыбка не такая, печальная, и на всех фотографиях так всегда, как ни приосанивайся, — почему такой странный вид? Не похож на настоящего революционера. Рысс, мальчишка, и тот гораздо больше похож.

А сегодня ещё и глаза безо сна и покоя, и усы опущенные, и вид такой недовольный — совсем не тот *Милунечка*, которого Саша звала, рвала в Хольменколлен на прогулки по косому угорю, встречать поезда на обрыве. А молодость, а сила, а ноги резвые! — неужели тому двух лет не прошло?

— Нет, Иосиф Иванович, спасибо. Другой раз как-нибудь. Не до того.

— Ну, смотри. Тогда обедаем. — Пошёл Коваленко руки мыть.

А что за вид был у Саньки в 17 лет, ещё до первой одиночки, до гласного надзора, до Владимирского централа, ещё когда совсем не был революционер: в косоворотке провинциальной самой дешёвой, а руки беспокойно просятся в дело, еле держишь их на груди, как живых, чтоб не вырвались. И глаза — к подвигу, к вере.

А вера та была — древлеправославная. Она ещё гналась тогда, и за неё стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был — умереть. Но гонения отменили, пострадать за веру не стало возможно, и кто потороватей — приспособлялся к начальству, а сила молодёжи потекла по другим дорогам. Александр пошёл в социал-демократию. Как будто всё другое, а гонители, а враги — те же самые, разве с другого боку.

И не намного старше того возраста, хоть уже после нескольких арестов, а такой же ещё провинциальный неумелый паренёк, не умеющий руки держать, ни сам держаться, строгий, застенчивый,

малословный, он уехал за границу — и вдруг оборотилось неожиданным, в мечтах не представимым: красавица *барыня*, как ещё недавно он назвал бы её у себя на Руси, красавица писаная, хоть и ростом мала, старшая его на двенадцать лет, и опытом искусительная, захватила его цветным крылом — и даже от земли отрывало иногда, так ноги немели, в груди кружилось от небывальщины. Как говорится: рад госпоже, что мёду на ноже.

Что мёду. На ноже. А со временем — оборачивалось. И выравнивался он с ней. И вот со своими лишними годами, со своим немецким, французским, английским, манерами, письменностью, всему этому его образуя, меняя, — признала она себя перед ним *чухной*: твоя чухна, Милунечка! приезжай скорей!

И Ленин требовал — скорей (сюда скорей, и назад скорей с докладом). И если туда сейчас уехать, будет опять пансион одинокий, заваленный сугробами, и свечи острых северных елей в снегу. Но вся Скандинавия — чистый вымысел, морок. А правда — темнеющий петербургский день, постукивание настенных часов в тихой столовой и о тарелки звяканье ложек, добирающих суп.

Он — и сам разве с ними ел?..

Сестра и зять о чём-то толковали и к нему обращались, он не отвечал, не понял ничего.

— Маня, я второго не буду. Я бы сейчас поспал. — Соображал дурной головой, сколько можно себе позволить. — Да два часа... с половиной даже... Там раньше будут не готовы. Разбудишь — и поеду. А к ночи ближе пришлю листовки на ваш район, а вы раздавайте, кто придёт. Вот этому молодому человеку тоже штук... ну, четвёртую часть чего пришлю.

И оставляя хозяев доедать, и чай пить, и сахар им сохраняя, отшагнул туда, под занавеску с цветочками, до кровати, и свалился.

Полдня эту голову литую носишь, носишь, — давит без отступа: правильно? неправильно? что из этого выйдет? А — кувырнуться, грудью вниз, и все тревоги подушке, а тебе полежать два часа бревном — сладко!

И тут же проснулся, досада! Ещё от стола не поднялись, чашками звякали. Значит, так ходуном внутри расходилось, что назад изо сна вызывает, не отдаёт сну: нет, живи! нет, заботься! лок-аут! заварил кашу — расхлёбывай! Ах ты, мамочка моя!..

Матушка моя, Хиония Николаевна, дай сынку поспать, дай полежать, как утёрлся хорошо! Не поднимай, ещё на завод мне рано.

Ещё на завод мне рано, я же мал, и все четверо мы малы, ещё на-работаемся, спину погнём от зари до зари за грошики. Утонул батя, только мной и виданный, а те не помнят, а нам всё равно на работу рано, мы пока в лес да на пруд. Мы пока все в рядок становимся при тебе и двуперстно крестимся перед верными иконами древнего письма, и «Пророки пророчили за тысячу лет» уже подпеваем голосочками и псалмы иные наизусть. И за нашу веру истинную в школе меня законоучитель после каждого праздника ставит на два часа на колени и без обеда до вечера — почему в нечистую церковь ихнюю не хожу? А Божья правда — у нас, и другой правды на свете нет. И как мученики многие в Житиях принимали мучения за неё, и как прадедов твоих Белениных, истинно православных, жгли огнём, замораживали водой, заточали в подвалы, ломали рёбра клещами, — так и мы, твои детки, все мучения за веру примем подрастая, и проповедывать будем её и на костре, и на кресте, по воле Божьей. А пока утрелся, если дозволишь, — дай, мамушка, часок потянуть, поспать.

Нет, спать нельзя. Что-то начато было и покинуто... Взялся — не кончил...

Спать — нельзя и не время, товарищ Беленин. Пролетариат не имеет права поддаться сну, это было бы архинеосмотрительно и даже преступно.

Да. Да. Если загублено, то конечно преступно... И откуда он взялся, чёртов адвокатишка, да в первый же день?

В свою первую поездку вы, товарищ Беленин, не установили необходимых нам реальных связей. Именно числом связей будем измерять успех второй поездки. Вы, товарищ Беленин, не устроили и правильной конспиративной переписки, это просто обидно. И не собрали в Питере денег для нужд ЦК.

Под визг ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки...

И вам нельзя всё время отлучаться — в Данию, в Норвегию, в Англию, в Америку. Вы больше всего нужны в Стокгольме. Пока наладите транспорт... переписку с Россией... конспирацию... явки... А товарищ Коллонтай может приехать к вам и в деревушку под Стокгольм.

Смотри, Юрка, за партийными делами никогда не бросай станка. А то партия будет у нас....

Объехать два-три рабочих центра, завязать связи и немедленно вернуться в Швецию для передачи всех связей нам и об-

суждения дальнейшего положения. Съездить ненадолго и привезти все связи, вот цель! После этого можно ехать в Россию опять.

А язык скован, а голова — как болванка свинцовая, и как же пошевелиться, объяснить: это не так просто... приходится бегать до кровавых мозолей... там, на границе, лёд про...

Конечно, конечно, для перехода нужны надёжные документы. Есть ли они у вас? Надо запастись. Не сомневаюсь, что в России сохранился надёжный слой рабочих-правдивистов, и есть БЦК, и даже можно восстановить ЦК. И даже одного-двух влиятельных товарищей привезти в Швецию, чтобы прочнее связать с нами. Чтобы хорошо спеться.

Но, товарищ Ленин!.. Но там, на границе, лёд проваливается... И даже идя по верёвке... А если развезло, то на челноке...

Товарищ Беленин, не гипертрофируйте трудностей. И не пренебрегайте теоретической спевкой, за вами это водится, не обижайтесь: вы всегда пренебрегаете теоретической спевкой! А она, ей-ей, поверьте, совершенно необходима для работы в такое трудное время.

А лёд — трещит, и хватаешься руками за устои моста... (Хорошо хоть руки свободны. Голова свалена, прикована, но руки свободны.) А ногами скользишь по трещинам дальше, дальше...

Конечно, вы должны беречь себя. Опасность в России очень велика, и для дела было бы полезнее после краткосрочного объезда нескольких русских центров возвращаться в Швецию — для закрепления связей с нами. И мы обменивались бы письмами. Вообще интересно бы узнать: какие вопросы сейчас всплывают в России? Кто их ставит? В какой плоскости?

Товарищ Ленин! У меня давно идея, я вам писал: отчего бы вам и Григорию не переехать в Швецию? Насколько было бы ближе к России и всё быстрее... Здесь я вам всё устрою и обеспечу через Брантинга...

Брантинг? Но он — социал-патриот. Не вступайте с ним... Однако используйте его — как официальное лицо с адресом... и для защиты наших интересов... и для денежных займов...

Я говорю... (ничего не договоришь — и язык не подчиняется, и голова свалилась)... я говорю неразборчиво, простите... я говорю: третий год вы так далеко, отчего бы вам не переехать самим сюда поближе?.. я вам всё, всё здесь устрою... и сразу бы все связи...

Нет-нет, товарищ Беленин! Это было бы архинеблагоразумно... И дорогая дорога туда, и дорогая жизнь там... И, главное, полицейская сомнительность, в Швеции могут побезпокоить. А вдруг они ещё и в войну вступят? Нет, такой переезд был бы преждевременен.

Но, товарищ Ленин!

Нет, товарищ Беленин!!

Хотя верно... а если обманет возница? Вот завтра проснусь, а лошади нет... снег, лес, полярное сияние... лупись на сияние... Да может, они меня и убили?.. Наверно убили, по голове топором трахнули, — почему я головы поднять не могу?

Вы, Александр, не будьте беспочвенным оптимистом! А главное: бойтесь интриг ликвидаторов! бойтесь социал-шовинистов! Не доверяйте и революционер-шовинистам, вроде Керенского, нам и с ними не по пути! Вы слишком доверчивы.

Так Владимир Ильич, лицо у него было честное, я не мог и подумать... И финны же все против царизма, как я мог предположить?.. Наверно, они меня просто в постели зарубили... просто во сне...

Вы что-то очень изнервничались. Материалы Кинталя я вам давно послал. И три письма, — а никакого ответа. Вы очень скупитесь на письма. Александра Михайловна, скажите Александру: он очень скупится на письма, так нельзя! Мы так не проведём спевки!

Что ж теперь делать? Как теперь будет с локаутом? Какая неудача, убили бы чуть позже, выиграть бы эту стачку... А то на дороге, не доехал, не там и не здесь...

Александр, вы что — обиделись?.. Большущий вам привет! Я вам послал толстущее письмо! Никакого ответа. Пожалуйста, критикуйте мой проект манифеста.

Владимир Ильич! Поскольку меня убили... я бы хотел вам передать... Вот эта история с локаутом... Я не знаю, правильно ли я поступил, посоветоваться было не с кем... А такого случая ещё не бывало... Но оставить революционных моряков под возможной казнью, как мне сказали... А с другой стороны, нельзя растрачивать силы пролетариата раньше времени... Теперь-то я вижу, что ошибся...

Александр, если вы обиделись на меня, то я готов принести всяческое извинение. Дорогой друг!.. Дорогой друг!.. Дорогой

друг!.. Вот уже не сердитесь, не так ли? Я очень вас благодарю, тысячи лучших пожеланий!

Да, ошибся... Была у меня в жизни такая слабость — верить в успех, рисковать не по силам... Но исправить не могу... понимаете, так неожиданно, — видимо обухом топора... А может, из пистолета... в затылок сзади...

Пожалуйста, посылаю вам свои тезисы и с интересом жду вашего отзыва. В этом вопросе о самоопределении, где Радек и Пятаков так пошло, глупо, мерзко, слюняво напутали, — надеюсь, вы на моей стороне? Очень важно: есть ли у нас расхождения с Белелиным в этом вопросе? и какие? и как их устранить, пока это не стало достоянием любителей склок, этих пакостных каутскианцев, всех сволочей оппортунистов? Надеюсь, в расспросах Бухарина вы проявите полный такт?

Так что, Владимир Ильич, срочно присылайте кого-нибудь другого... Потому что тут — кто же?.. Молотов никак не... да вы его знаете... Остальные сидят по норам. Кого же вы пришлёте?.. Там ведь тоже никто ничего... Тут приходится и подраться с филёрами, и побегать, иногда целую ночь на морозе, по огородам...

В самом деле, очень интересно: какие там сейчас вопросы всплывают в России? Кто их ставит? В каких конкретных условиях? При какой обстановке?

А если попробовать всё-таки голову поднять? Кто ж за тебя поднимет? Ну-ка... ну-ка...

А с этим расследованием по Кескуле, знаете, японцы пересердствовали, только напугали левые социалистические круги. Не надо было так безтактно!..

Валун финляндский, не голова. И сил нет. Как ящерица, тело бьётся... как ящерица на камне... на камнях тёплых в Ларвике... Сашенька! Сашенька!! Разве ты — чухна? Тебя красивей женщины я не видел! Это — я чухна... Это я напутал... Сашенька, я к тебе вернусь! Я возвращаюсь, дай руку, ну-ка, ну-ка!

У-у-у-у-ф!

Жи-и-и-и-в?

Затекла голова... Сползла, затекла...

За занавеской в столовой свет выключен, а из третьей комнаты слабый. И иногда жужжит приятно. Шелестит.

Это Маня на машине шьёт. И материю поправляет.

Ни звука больше.

И не будит. Рано ещё.

Голову из затёка вырвал, а тело всё как избито. И голова не освежилась, ещё тяжелей. Спал бы сейчас — двадцать часов.

Но — никто за тебя не подымет этот валун.

Надо идти подымать.

Весь Петербург.

Сперва только — с кровати как-нибудь слезть. И чтоб не сникнуть, а до умывальника. Холодной водой умоешься — всегда легче. А там как-нибудь... Паровичком подъехать. Там трамваями двумя. Пешком ещё протащить. Шпики пока не присмотрелись. Но крюки, проверки обязательны: штаб-квартира БЦК, у Марьи Георгиевны и печать, и кой-какие бумаги. Помотать лишних полчаса по Выборгской.

А вот разбит, нет сил часы из кармана вытянуть, посмотреть.

Да раз не будит, значит ещё можно полежать.

Ох, надо держаться. Вот так, действительно, сейчас умри или сядь за решётку — и всё развалится. Коромысло треснуло, одна корзина здесь, одна там, связи никакой, конспиративной почты никакой, заграничный ЦК сам по себе, у него — с Интернационалом спор, а Россия — сама по себе, и даже город каждый — по себе. И что в листовках пишем и чем угрожаем — ведь это всё хвастаем, ведь ничего этого нет.

Подыматься. Подыметься ли? — полмиллиона рабочих за полусотней разрозненных большевиков?

А не подыметься — кончено всё, надолго.

Вдруг! — без внешнего стука слышались шаги в сенцах из фотографии — мужские, быстрые, твёрдые шаги! и наверняка не хозяина! но — одного! о д н о г о!

Шать! — на ноги! Сапоги? — некогда. Оружие? — уют! схватил! Одного? — бить! Трое? — в окно прыгать! Отдаваться — ни за что! В такую минуту!

— Где он, Маня?

Знакомый голос, а кто? — голова отупела. Да Митька же Павлов! Сам приехал!? Провал?? Схватили??

Отдёрнул занавеску, а тот — холодный, притрушенный снежком, весёлый:

— Гаврилыч! Победа!!

И — обнимать! и — целовать!

А свёрток в руке мешает.

И уют. На табуретку опустил.



— Что? Какая? — без сапог, в носках (портянок по-европейскому не нося).

— Сдались заводчики! Сдалось начальство!! — кричит Митюга не по помещению густо. — Локаут — снят!! Воинский набор — отменён!!

— Что ты? что ты? — даже отступая от слабости, назад к косяку, в занавеске путаясь спиной. — Когда известно, как??

А Павлов своё:

— И я не стал листовки раздавать пока, верно? Пока ребятам до утра кинул: наверно отменяем всеобщую, так?

А Митя-то Павлов страх не любит бастовать: очень уж любит свою работу, модельщиком на Русско-Балтийском, и своего инженера Сикорского, строят они «Ильи Муромцы». И свёрток суёт, суёт в руки прямо.

— Ну конечно... Ну что ты, — теперь слабо смеялся Шляпников. — Мог бы и сам решить, зачем же ребят два раза гонять?

Суёт, так надо брать.

— Это что?

— Пирожки!

Правда, пахло уже, заметил.

— Зачем пирожки?

— Тёплые, Маша тебе послала.

— За-чем?

— Послала!

— А — с чем?..

— Кусай, увидишь.

Да тут два свёртка. А этот — с чем?

— Да листовки же! Листовок тебе привёз пачку, показать. У «Вечернего времени» отпечатали. Эх, красота! Такая работа и пропадёт — жалко!

— Маня! Зови Осипа, пирожки ещё тёплые! С луком, что ли? Как ты их довёз?

Зажгли лампочку. Стоял в носках на рядновой дорожке. Ел. А на скатерти — листовка, бумаги грубой, жёлтой военной, а печать — превосходная, чёткая, без мазни, без кривизны. Любовался и даже поглаживал тыльной стороной кисти (пальцы уже в масле), любовался, почитывал:

— ...по тому, как разлилась ваша стачка, около 130 тысяч человек, все с надеждой ожидающие целительного переворота видели, как связана революционная армия и революционный народ.

И за это — вон с заводов? Из-за угла правительство подписало... Безпокойных и молодых — на позиции? Завод — в казарму? Под пятой насилия покорно отдавать жизни для процветания кучки ту-неядцев?..

— Здорово написано, Гаврилыч. Кто эт писал?

— Есть такой у меня парень золотой. Хорошие пирожки, как ты их донёс?.. Что ж, правительствующие классы лишь облегчают задачу их свержения! В ответ на закрытие заводов мы призываем... Пока все до одного, выброшенные на улицу...

Жалко, да, хорошая листовка. Но — ещё напишем и напечатаем не раз.

— Да-а... Уакались. Уакалась ихняя шайка! Честно признаться, ребята: и мы, конечно, гнём, — но падает оно уже с а м о!

Как на углу пивной стойки: утверждают локти, сцепятся ладонями — гнуть друг друга, чья рука упадёт, и вдруг — борьбы никакой: та вторая рука упала сама — бессильная? пьяная? сломалась?..

От-сту-пал перед рабочей силой тот царишка Николай Второй!!!

## 64

В этот четверг старшей дочери Ольге исполнится двадцать один год. Немало! Не будь она царской дочерью — уже могла бы выйти и замуж. Но, обречённая на дворцовый и династический плен, она может иметь только тайную, воображаемую привязанность, не открытую даже матери. Тем более, что Ольга очень несочувственно относится к каждому наставлению, дуется на строгость, изо всех четырёх дочерей она наиболее упряма и с переменчивым, неуловимым настроением. Ей особенно кажется скучным слушать, как воспитывали прежде, она может вспылить и резко ответить, глядя при этом в глаза. Но и — осанка у неё какова, при росте, золотокудых волосах, голубых глазах, — с 16 лет она стала шефом одного из гусарских полков, очень этим гордилась, особенно — выехать верхом в гусарской форме. Ученье давалось ей легко, но оттого она и ленилась, и не была слишком образованна.

Долго государыня не допускала мысли, что дочери — взрослые, но вот уже спорить нельзя, старшие две — взрослые.

Когда освобождалась она от терзательных государственных забот, от поспешности написать, передать, принять, распорядиться, — она постоянно, помногу и даже с мучительным страхом думала о будущем своих дочерей. Какая судьба их ждёт? Кто их суженые? В какие страны придётся им уехать навсегда? Жизнь — загадка, и будущее скрыто завесой. А главное: дано ли им будет найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытывала с ангелом Ники уже 22 года? Увы, такая любовь всё большей редкостью становится в наши дни.

И — в каком мире им придётся жить? После нынешней войны — будут ли существовать идеалы или люди останутся теперешними сухими материалистами? Что за эпоха! Людские впечатления чередуются чрезвычайно быстро, машины и деньги уничтожают искусство. Ни в одной стране не осталось ни крупных писателей, ни музыкантов, ни художников, а у тех, кого считают одарёнными, — испорченное направление умов.

В их ближайшей узкой семье была и другая Ольга — сестра Государя. И после длительных её настояний согласились теперь разрешить ей развод с Петей Ольденбургским, и она выходит замуж за его адъютанта, ротмистра кирасиров, — как раз в эти дни, в эту пятницу, произойдёт их скромное венчание в маленькой киевской церкви над Днепром, поставленной на том месте, где прежде был идол Перуна. Большие сомнения у государыни были относительно этого брака; ещё одно морганатическое пятно на династию, где три-четыре уже стоит крупных. Но и — кому не жаднется личного счастья? И с каким сердцем отказать?

Девочки были воспитаны самою Александрой Фёдоровной (оттого она много лет не могла успеть на помощь Государю в его делах). Сама воспитанная при небольшом, небогатом гессенском дворе в знании цены деньгам, в бережливости, в приложении рук, — она упорно проводила это и с дочерьми: платье и обувь переходили от старших княжён к младшим, и ограничивались игрушки, — такая система нужна была самой матери для душевного равновесия. (Она и сама-то не была увлечена роскошью и могла носить платья годами, ей напоминали, что надо шить новые.) Александра Фёдоровна оберегала своих дочерей от дружбы с пустыми барышнями знати, также и от других великих княжён, двоюродных и троюродных сестёр, чьё воспитание казалось ей несносным (и так прорезались новые борозды обиды в династии). Са-

ма зная много ручной работы, хорошо владея машинным шитьём и вышиваньем, мать старалась передать навыки дочерям, не разрешала им сидеть сложа руки. Правда, по-настоящему всё перенимала, владела талантом рукодельницы, имела ловкие руки одна Татьяна. Она шила блузы себе и сестрам, вышивала, вязала, и она же часто причёсывала мать, что было нелёгкой работой. И всегда была за делом. Она и во многом напоминала мать: редко шалила, была сдержанна, горда, скрытна, но и лучше всех понимала внушения и сама напоминала сестрам волю матери, за что те дразнили её «гувернанткой». Любящая, терпеливая девочка, она будет утешением родителей в старости.

В России государыня удивлялась, как барышни высшего света ничем, кроме офицеров, не интересуются. Стала она создавать общества рукоделия — для дам и барышень, работать вещи для бедных, — но им эти общества быстро надоели и рассыпались. Зато устраивала государыня — то в Царском Селе школу нянь, то в царскосельском парке — дом для инвалидов Японской войны, где учились ремёслам, то в Петербурге — школу народного искусства, где девушки со всей России обучались кустарному делу. (Тут было и убеждение её, что сила трона — в народе, а через развитие народных искусств удастся ближе узнать страну, крестьян, губернии и быть в действительном единении со всеми.) В Крыму она строила на свои деньги санатории для туберкулёзных, устраивала базары в их пользу, сама для них вышивала с дочерьми и сама на них продавала, выстаивая по много часов кряду на своих слабых больных ногах.

Когда грянула эта ужасная война — государыня сразу деятельно принялась за систему лазаретов, госпиталей и санитарных поездов, многие из них сооружая на собственные средства, в том числе — ближайший к себе лазарет в Большом дворце Царского Села, названный «Собственным Ея Величества лазаретом». Ольга возглавила комитет помощи солдатским семьям, Татьяна — беженский комитет. Тогда же вместе с двумя старшими дочерьми и Аней Вырубовой прошли курсы сестёр милосердия военного времени, учились у хирурга, проходили практику рядовыми сестрами в своём лазарете, снимали с раненых кровавые бинты, обмывали, участвовали в перевязках, помогали при операциях, — Александра Фёдоровна подавала и инструмент, не боялась крови, гноя, рвоты, и не смущалась при этом утратить царственный ореол. Она научилась и быстро менять застилку постели, не беспокоя боль-

ных, и делать перевязки посложнее (и перевязывала сама себя) — и была высоко горда, заработав диплом сестры и нашивку красного креста.

Из них четырёх капризной, самолюбивой Ане госпитальная работа быстро надоела, она стала отнекиваться, да через полгода сама попала в катастрофу и в госпиталь. У обеих девочек пошла настоящая регулярная работа уже третий год, особенно успешная у Тани (на этих днях назначена впервые давать сама хлороформ). Александру же Фёдоровну истинно тянуло к перевязочной и хирургической, она радовалась, когда могла там поработать, это её успокаивало. Но изрядно она поработала только в первый, 1914 год да немного этим летом: предел поставило собственное здоровье. То не выстаивали её ноги длинных операций, то она лежала прикованная болезнями, прошлую зиму даже четыре месяца подряд, лазарет Большого дворца не могла ни разу и посетить. А ведь ещё должна была она объездить с инспекцией и множество других госпиталей (где их только не устраивали — в банках, в театральных залах), и по другим городам, и санитарных поездов.

А сын — сын единственный протяжно болел. От младенчества проступила жуткая болезнь Алексея, великая радость рождения наследника сразу была огружена постоянным трепетным страхом. Не только малый порез был страшен ему, но ударился ли он рукой, ногой о мебель — появлялась огромная синяя опухоль как знак внутреннего кровоизлияния, и мальчик должен был долгие дни лежать. Мать сама его купала, не выходила из детской, забывая, что она ещё и царица. Все детские игры и шалости были ему от начала запрещены: никакого велосипеда, тенниса, ни даже беготни. Как у всякой матери болит детское за своё — так болел у Александры каждый ушиб и каждая неудача сына. А мучительней всего было постоянное сознание своей перед ним вины: все эти страдания — она невольно принесла ему сама! Знала она об этом пороке своего рода: её родные — дядя, сын королевы Виктории, и маленький брат, умерли от этой болезни, и несколько племянников страдали ею же. Знала, но всегда человек надеется, и надеялась Александра, что — пронесёт. И была за что-то наказана, — нет, мальчик наказан был.

Страшные с ним бывали случаи, и в них самое страшное, что порой терялись, отказывались лучшие, привычные доктора. И вот тут-то появился Святой Человек — и довольно было его прикосновения, а иногда только взгляда или слова, — и мальчик начи-

нал выздоравливать. И уже было твёрдо известно матери: если только Он посетит сына — сын поправится. А четыре года назад Алексей неудачно прыгнул в лодку в Скерневицах — и три недели был между жизнью и смертью, три недели кричал от боли, лёжа с поднятою ногой, которую нельзя было выпрямить. Лицо его стало восковое, крошечное, с заострённым носиком, и доктора Фёдоров и Деревенко склонялись, что состояние его безнадежно. И сам мальчик, в 8 лет, уже понимал, просил: «Когда я умру — поставьте мне памятник в парке, в Царском Селе». Это всё случилось в Польше, а Друг — в Сибири был в это время, и как последний крик послали ему телеграмму, — и он ответил телеграммой: «Болезнь не опасна как кажется пущай доктора его не мучат». И — всё! И сразу за телеграммой наследник стал поправляться! Разве не Чудо?

А прошлой осенью Алексей поехал с отцом в Ставку (с ужасом она отпускала сына, но и нельзя было обречь Государя в Ставке на жуткое одиночество), — а там вдруг началось кровотечение из носа, настолько непрерывное, что доктора не могли остановить. Пришлось Государю тотчас покинуть Ставку и гнать царский поезд домой. Привезли, перенесли, мать на коленях стояла у кровати — кровотечение неотвратимо продолжалось, вот так и должен был он изойти до конца теперь! Но тут вызвали Григория Ефимовича, он вошёл в комнату, широко перекрестил наследника — «Не беспокойтесь, ничего боле не надо!» — и уехал. И кровотечение прекратилось на этом. (И большого — не было с того дня.)

Так и знали теперь, Друг и сам говорил: «Если меня близ вас не будет — не выживет наследник».

Будь это всё в Европе — искали бы докторов, сверхдокторов (хотя — знаменитых не любила Александра, и скромного Евгения Боткина предпочитала его прославленному брату Сергею). Но в каждой местности на земле лечатся люди тем, что есть в местном обиходе, — где полярным мхом, где полевой травой, где водорослями. В обиходе же России всегда были ещё — странники, Божьи люди. Именно в России есть такие люди, не непременно священники, но называемые старцы, которые обладают благодатью Божьей и чью молитву Господь особенно слышит. Именно такого — странника, старца, Божьего человека, и послала православная Россия, простой народ — для спасения их сына, а может быть и трона. Для чего ж и быть православному царю, если не общаться и не слушать вот таких людей из глубины народа! И обрела его им-

ператорская чета почти тотчас после потери своего первого Друга, мсьё Филиппа: те же сёстры-черногорки, великие княгини, позвали государыню познакомиться у них дома с этим Божьим человеком. Государыня взглянула — и поверила в Него, в этот вид, который нельзя придумать, в котором нет ничего деланого: высокий рост, и немного пригорблен, в русской рубахе и сапогах, исхудалое, даже измождённое, бледное лицо, пронизывающие, испытующие и властные серо-голубые глаза, косматые пучки бровей, косо уложенные волосы, иконная строгость и уверенная сила. Особенно поражала уверенность Его высказываний как имущего власть. Он был — как ожившая народная картинка: святой человек из народа, не символический, не собирательный, а живой, до которого можно было дотронуться рукой и слушать, — а говорил Он, полуграмотный, ещё от того ярче, говорил так необычайно, как императрице не приходилось слышать, рассказывал интересно и рассуждал духовно. Он знал много из Священного Писания, а своими ногами исходил Россию, многие лавры и монастыри. Он воспитался в молитве, постах — а мяса и молочного вообще уже не ел.

Со встречами и с годами государыня всё более убеждалась, что это и есть тот избранник Божий, который спасёт их династию, ставшую под угрозу. Сила Его молитвы была обширна, она помогала не только здоровью наследника. И не только оберегала многих на войне — каждого, за кого Он молился. И не только оберегала Его молитва самого Государя на всех его путях (в эту войну государыня сообщала Другу заблаговременно тайны передвижений Государя, секреты маршрутов — чтобы направленной и достигшей была молитва, она старалась получить Его благословение на каждую поездку Государя. Когда же ездила чета во враждебную Одессу — Друг так усердно молился, что еле спал). Но обширней того: Его благословение и Его неустанная дневная и ночная молитва возносилась — за всё православное воинство, чтобы небесная сила была с ним, чтобы ангелы были в рядах наших воинов. И когда на фронте складывалось особенно серьёзно или предполагалось большое наступление, как на Юго-Западном, — государыня открывала Ему новые приказания Ставки, чтоб Он особенно обдумывал их и молился. Прошлой зимой Он очень досадовал, что начали наступление, не спросив Его: Он советовал бы подождать: Он всё время молится и соображает, когда придёт удобный момент, чтоб не терять людей без пользы, как Брусилов. Он всегда советует не так упорно наступать: при большей терпеливости

прольётся меньше крови. Мешали нашим войскам затяжные туманы — Аня телеграфировала Другу с просьбой о солнечной погоде (и Он, в телеграмме из Сибири, обещал её). Всей императорской семье и самому Государю Он дарил образки и иконы, а этим летом, когда государыня ехала в Ставку, послал икону и генералу Алексееву. (И если Алексеев принял её искренно, с подобающим настроением, то Бог несомненно благословит его военные труды.) И даже вот когда обдумывали, дать ли согласие на развод государственной сестре Ольге, — то и здесь за первым советом обращалась государыня к Другу.

Тревожней было, когда Он уезжал в Сибирь, много спокойней, когда в Петрограде, и можно встретиться или передать, спросить через Аню. А когда что-либо совершалось против Его желания — сердце Александры обливалось кровью, в тоске и страхе.

А как он выражался! А какие прелестные телеграммы он слал — и как много мужества и мудрости они придавали!

«Чем бы дерево нечестивое ни срубили — всё-таки падает. Ни кола с вами дивным явлением всегда творит чудеса».

«Колодец глубок, а у них верёвки коротки».

«Злой язык грош, похвальба копейка, радость у престола».

«Никогда не надо слишком заботиться, Бог поможет и так».

«Будьте святы, как я свят».

Трудно передать, что Он говорит, слова безсильны, нужно воспринимать сопровождающее их душевное настроение, так разлитое в его воспоминаниях о Палестине. А сколько Он раздаёт бедным! каждая получаемая им копейка идёт на них. Он великодушен и добр ко всем, каким был Христос. На Него даже многие епископы смотрят снизу вверх. (Государыне ужасно не нравилось, когда некоторые зовут Его «Распутин», она отучала близких от этой привычки.)

И какое это счастье, когда советами и многоопытностью Человека, посланного Богом, можно пользоваться также и в управлении государством, благодарно получать плоды Его духовного зренья и на каждый важный шаг испрашивать Его благословение. И в одной французской книге тоже прочла Александра: «Государство не может погибнуть, если его повелитель направляется Божьим человеком».

Друг ночей не спит, готовя Государю советы. Он умеет всматриваться в глубокое будущее, и поэтому можно положиться на Его суждения. Он говорит, что всегда надо делать то, что Он гово-



рит, — этого хочет и Господь Бог. И сколько же трезвых, верных советов Он давал за эти годы! Отговаривал от вмешательства в боснийско-герцеговинский конфликт: нужно дома дела приводить в порядок. На колени опустился перед Государем — удержать от вступления в Балканскую войну: враги только и ждут, чтобы Россия там завязла. И от этой теперешней, ужасной, удерживал: из-за Балкан не стоит миру воевать, и Сербия окажется неблагодарной, — и может быть удержал бы, если б не лежал раненый в Сибири. (И присылал удерживающие телеграммы, а Государь рассердился и откинул.) И не идти через Румынию к Сербии, и не призывать ратников 2-го разряда, и не призывать старше 40 лет, зато кроме русских призывать и татар, хорошо им, однако, всё объяснивши. И Государю не посещать Львова и Перемышля, — рано (и действительно пришлось, посетив, вскоре снести позор отдачи их). Сколькое бы текло в войне лучше, если бы слушались всех советов Друга! И Он же предложил устроить в один день по всей стране крестный ход и моление — и вскоре откат войск остановился. И Он же, не доверяя Николаше, велел Государю брать Верховное Главнокомандование и никогда не уступать другим, которые знают меньше его. И несколько раз был против созыва Думы — и никогда она не приносила ничего доброго. А когда открывали её в прошлом феврале — это Он придумал: чтоб Государь внезапно появился там и этим бы их обезоружил. Он всегда предупреждал, что ответственное министерство будет гибелью всего. И это Он догадался: что надо опубликовать сведения о растрате казённых денег Земгором (сердце болело у государыни, сколько можно было лучшего сделать самому государству на одну четверть этой суммы), — Бог вдохновлял Его на все эти здравые идеи. А оставаясь близок к простонародью, Григорий видел многое глазами простого человека и тоже давал важные советы: не повышать трамвайную плату с пятака на гривенник; не запрещать раненым солдатам ездить в трамваях; в хлебных лавках велеть развешивать хлеб заранее, чтобы не было хвостов; и дрова в столицы до заморозков везти водою.

Уверенно предвещал Друг, что наступает слава царствования. Что близятся лучшие времена и скоро война переломится к лучшему. И саму царицу радостно убеждал, что появление её, как и наследника, на фронте приносит счастье войскам, — и потому велел ей чаще ездить в Ставку, и видеть сами войска на смотрах, и больше ездить по городам и госпиталям.

И стыдно было государыне, что за всё это благословение, свет и радость, доставляемые Другом, не могла она выполнить Его малой просьбы: не брать в армию Его сына, ратника 2-го разряда, а уж если неизбежно брать — то принять его в Сводный гвардейский полк, на охрану царскосельского дворца.

Но для приятия всей мудрости Друга, Его советов и указаний, надо было постоянно общаться с Ним — письмами, телеграммами (или новейшим средством телефона), и часто видаться. Однако это было совсем не просто для императорской четы. Великосветская среда и образованное общество воспринимали бы такое общение с насмешками и зложелательством. И стесняясь гласности, как будут чесать все эти языки, встречи с Другом приходилось делать полуприкрытыми, даже тайными. Цари живут совсем не свободно — гораздо связанней своих подданных: они не имеют права на интимность! Всякий приём идет через цепь придворных, а те могут разносить. И когда, несколько раз в году, царская чета принимала Григория Ефимовича у себя во дворце — то проводили Его не в большую официальную приёмную, а боковым входом, в кабинет государыни. (Но через прислугу это разносилось ещё хуже, чем принимали бы Его в самом парадном зале.) Трижды целовались по русскому обычаю — и садились беседовать. Всегда это бывало — по вечерам, и приходил Алексей в голубом халатике, тоже посидеть до своего сна. Много говорили о его здоровье и о всех заботах императорской четы, и беседовали о Божественном, и Друг наполнял их упованиями и надеждой, и развлекал рассказами о Сибири. (На самом деле Он обижался: Он желал открытого приёма у царя и гордился, когда телеграммы Ему посылала не Аня, но не боялись послать прямо от государевой четы.) В отсутствие Государя государыня не приглашала Друга во дворец из-за крайнего злоязычия людей. (Например, родили такую сплетню, какой здравый ум может поверить! — будто Григорий Ефимович получил назначение от Фёдоровского собора зажигать лампадки во всех комнатах дворца.) А видаться и спрашивать надо было часто! — в грозное лето прошлого года едва не через день, — и выхода не было, как встречаться у Ани в «маленьком домике», стоящем отдельно, но в Царском же Селе, — иногда по своей просьбе, иногда по Его вызову, ездить незаметно туда, а с ним бывала иногда жена, а то и дочери, если приезжали из Сибири. Приходилось туда же иногда ездить и Государю, когда Друг хотел непременно видеть его, изредка и без Ани государыня встречалась с Ним там,

и там же иногда принимали кандидатов в министры, познакомиться, или Друг приводил кого-нибудь из епископов, — и всегда бывал возвышенный, умиротворяющий разговор. Иногда для встречи Друг приходил и в лазарет к государыне — вот так приходилось и в царском положении обманывать злые, подозрительные глаза! Иногда Он давал сведение в газеты, что уезжает в Сибирь, а сам оставался. Каждый раз перед поездкою в Ставку государыня должна была получить благословение Друга, без этого она даже не решалась ехать. А в этом году на Великом посту вся императорская семья и Друг вместе подошли к причастию в одном храме.

Но злословие — воздух этого мира. И об этом Святом человеке распространяли сплетен и лжи как о самом большом злодее, и даже родная сестра государыни верила этим сплетням — и на том сестры навсегда расстались: враги нашего Друга — наши собственные враги. (Даже бывшего царского духовника епископа Феофана государыня отлучила за это.) Неизбежно было Ему стать жертвой зависти тех, кто хотел бы, но не удалось приблизиться к трону. Как всякий святой, Он должен был пострадать за правду, прежде всего от клеветы. Его возненавидели и обливали потоками лжи. То клеветали, что будто бы Он пьянствует! — это Он, не пьющий даже молока! Святого старца объявили развратником, похотником и связали этот разврат с царскою семьёй до таких мерзостей, будто он имеет вход в спальни великих княжён! Сочинили ложный протокол о якобы скандале в ресторане, за что пришлось уволить шефа корпуса жандармов: если б это было всё так, почему ж не позвали тотчас полицию, чтобы застигнуть на месте? Да, наш Друг, как делали в старину, одинаково целует всех, и мужчин и женщин. Почитайте апостолов — и они целовали в виде приветствия. (Только над письмами разжалованного обозлённого Илиодора государыня дрогнула один раз — они показались ей правдоподобными. Но она отогнала, возмутясь сама собою.) И ещё нагородили на Божьего человека, что Он связан с немцами! — не имеет пределов злословие и глупость, но они очень выгодны революционерам.

Всё же для проверки государыня посылала Аню в родное село Григория — Покровское, за Тюменью. И подтвердилось всё лучшее: неводами ловят рыбу, как апостолы, притом распевая псалмы и молитвы, и огромные иконы развешаны по двухэтажной избе. Впрочем, местный священник, конечно, не любит Григория, и среди односельчан Его не считают выдающимся.

Государыня много размышляла о Друге. Что ж, пророк не бывает признан в своём отечестве. Где есть слуга Господа — лукавый всегда старается вкропить зло. Друг живёт для своего Государя и для России и выносит все поношения ради нас. И сколько уже Его молитв было услышано! Над Россией не будет благословения, если её повелитель допустит, чтобы человек, посланный Богом на помощь нам и непрестанно молящийся за нас, — подвергался бы в нашей стране преследованиям. Бог не простил бы нам нашей слабости. И как только на него начинают больше нападать — так все дела в государстве идут хуже. Григорий! Если и все на Тебя восстанут — я никогда от Тебя не отступлюсь.

За последний год, с тех пор как Государь был чаще в Ставке, а ей досталось управляться в Петербурге одной, — Друг и прямо помогал в выборе министров и в руководстве ими. Распознать сразу человека — составляет остроту, тяготу, а иногда и проклятье царского ремесла. Но Друг владеет этим качеством в совершенстве. Он имел длительные, хорошие, приятные беседы со Штюмером (и велел ему каждую неделю приходить к государыне с докладом), обедал то с министром финансов, то с министром торговли и промышленности. (Всё более они приучались, что по главным вопросам надо посоветоваться с Григорием.) Один раз, например, когда решали, достоин ли Хвостов-дядя заменить Горемыкина, — как было узнать? как его повидать? — Друг придумал пойти к нему на приём в качестве простого просителя, и так оценить. И оценил, что — не достоин.

По выбору новых министров государыня до такой степени привыкла советоваться с Другом, что спрашивала у Него и о выборе градоначальников. Московского градоначальника Он одобрил. А с петроградским Оболенским вышла заминка, показывающая доброе сердце Григория Ефимовича и Его духовную отзывчивость. Он же первый и предложил убрать этого градоначальника, так как причиняет много вреда населению, совсем не справляется с продовольствованием, допускает хлебные хвосты. Правда, Оболенский никогда ни в чём не выступал против Григория и поэтому тяжело было просить его отставки, но так требовало благополучие Петрограда. Перевести его куда-нибудь провинциальным губернатором? Но потом Оболенский зазвал Григория к себе на обед, доказал по списку, что выполняет всегда Его просьбы, и плакал навзрыд, — и Григорий Ефимович ушёл глубоко растроганный: в духовном смысле это очень много значит, что человек с такой душой,

как Оболенский, совсем перешёл к нам. Не надо его понижать, а взять или генерал-губернатором Финляндии, как он мечтает, или товарищем министра внутренних дел.

Защита Друга, понимаемая как высший долг, и вела соображения государыни — иногда относительно Думы (засидятся без дела — начнут разговаривать о Друге или назначенном по просьбе Друга тобольском архиепископе Варнаве) и всегда о составе Совета министров. (Состав прошлого года, навязанный Николашей, были презренные трусы, и все враги.) Мечта государыни была — так объединить кабинет, чтобы все министры едино стояли за нашего Друга и прислушивались бы к Нему. Необходимость обезопасить Друга от преследований, нападок и неприятностей особенно сказывалась при выборе обер-прокурора Синода: наиболее и ожидалось (и опасны были) духовные преследования — и самого Друга, и Его сторонников-епископов. У государыни уже голова болела от поиска кандидатур в обер-прокуроры! Самарин был невыносим, но долго искали, кем же его заменить? Нет людей! Сперва выбрали Волжина (и Друг ведь одобрил), но едва назначили, — Волжин мгновенно оказался трусом перед Думою, боялся общественного мнения, боялся помогать митрополиту Питириму и даже — сослать подальше скотину архиепископа Никона Вологодского. Пока оставался Волжин — дела Церкви не могли идти хорошо, оказалось, что он совершенно не разбирается в них. Питирим писал, что нужно делать, передавал государыне, а она — Государю, чтоб он приказал Волжину. Тут к счастью нашли Раева — прекрасного человека и знающего дела Церкви с самого детства. Его очень хвалил Штюмер, государыня его приняла — и он произвёл прекрасное впечатление. Ещё дали ему в помощь Жевахова — и вместе они будут истинным даром для Церкви. Теперь больше не было сопротивления тому, что надо Церкви делать. Прежде всего — свои люди должны быть митрополиты: как Питирима назначили из Грузии — петроградским, так теперь Макария из Томска — московским, а Владимира, вредившего всем нашим, переместили в Киев, там ему место. Всё, как хотел Друг. Чтоб укрепить Питирима — государыня добилась ему отдельной поездки в Ставку на приём. Священника Мельхиседека произвели в епископы, и Друг намечал в нём будущего митрополита. Конечно, в Синоде ещё оставались против Варнавы — животные, нельзя их назвать иначе. Синод всё ещё был неуправляемый, мог внезапно разразиться постановлением об учреждении в России се-

ми митрополий вместо трёх существующих, и даже успели его опубликовать! — но Друг возразил: не соглашаться на семь митрополий, мы и трёх-то приличных митрополитов едва можем найти. И государыня успела аннулировать постановление.

А сколько мучительных поисков было — найти для России достойного премьер-министра! — ведь нет, ведь нет людей! Часто восклицала государыня: о, Боже, где же у нас в России люди? Никогда она не могла понять, как в такой великой стране не находится подходящих людей на каждое место. Горько разочаровывалась в русском народе. Государь уехал в Ставку, занятый военными делами, а тут всё более выяснялось, что Горемыкин — слабеет, ему уже не вытянуть, и слишком одиозен для Думы, боялись, что Дума его ошikaет. И государыня мучительно обдумывала своими бессонными ночами всякие возможные кандидатуры — и обсуждала их с Другом. И так — нашли Штюмерера, он — верный человек (и к Другу!), и голова его ещё вполне свежа, — стоило рискнуть немецкой фамилией? Он высоко ставит Григория, что очень важно. Во всяком случае, он годится на время, а дальше, если Государю понадобится моложе, — можно будет сменить. И Государь согласился — но тут Штюмерер сам испугался своей фамилии и ходатайствовал сменить её на «Панин», по матери. Но и Друг и государыня сильно воспротивились: не менять фамилии ни за что! Пусть возмущаются, кому угодно, возмущения неизбежны при любом назначении. Во вздорной борьбе с немецкими фамилиями уже уволили от должностей десятки, сотни верных слуг трона — и ещё где найти таких, взамен? Штюмерер начал своё правление с заявления, что Россия не положит оружия до полной победы совместно с союзниками. И, как ни надрывалась всякая либеральная и революционная дрянь, — вот уже девять месяцев, как благополучно стоит во главе кабинета.

Трагичней обошёлся выбор министра внутренних дел. Например, Макаров, уже и бывший министром внутренних дел после Столыпина, и с хорошим опытом, — никак не мог быть снова назначен из-за того, что он неправильно себя вёл в истории с Илиодором, и кроме того, не только не вступался за государыню, но даже относился к ней враждебно. (К сожалению, этим летом его всё же назначили министром юстиции — но это не принесёт добра.) Нововступающему министру внутренних дел Государь должен был объяснить с самого начала, что если он будет преследовать Друга сам или даже позволит о Нём гадко писать

и говорить — то он будет действовать как бы прямо против императорской четы.

А Хвостов-племянник так поначалу обаял — и назначили его на внутренние дела, — и какая жестокая ошибка, ах, как можно обманываться в людях! Нужен был решительный характер, кто-нибудь такой, кто совсем не боится левых. Сперва видались с ним Друг и Аня и очень хвалили, затем он вымолил аудиенцию у царицы. Государыня жаждала увидеть человека — и наконец увидела и услышала такого! Это был — мужчина, не юбка, и такой, который не позволит, чтобы что-нибудь коснулось. Для Государя он готов дать себя на части разрезать. И — верит в разум государыни. И постоит за Друга, никогда не позволит о Нём упоминать. И — русское имя. И — член Думы, так что знает их всех, и как с ними говорить, и как защищать правительство. С ловкостью и умом берётся всё поправить. И не пропустит неправильных статей в прессе. Работать с ним будет сплошное удовольствие! И удивительно умён. И говорит хорошо. И государыня рекомендовала супругу брать этого молодого министра без всякого сомнения. А Государь оказался вдруг против, но по её настоянию всё же взял. Лишь потом, потом — в отчаянии вспоминала государыня, что у неё были какие-то сомнения: что, пожалуй, кандидат слишком самоуверен и быть может не совсем верный человек в некоторых отношениях. А тем временем случилось ужасное: Хвостовым в короткое время овладел дьявол, он круто переменялся, и не только стал против Друга, но обвинял Его окружение в шпионстве и предлагал Государю выслать Друга в Сибирь. Эти страшные пять месяцев, пока Хвостов имел в руках власть, полицию, деньги, — государыня серьёзно беспокоилась за жизнь Друга и Ани. А когда его сняли, то государыня и Друг находили, что — слабо, надо было снять расшитый мундир и отдать под суд. (Страшно было видеть, как гневался Григорий, — никогда она не видела Его таким!)

После этой грустной неудачи государыня пришла в апатию, и в начале 1916 года мало вмешивалась в государственные дела: в ней пошатнулась уверенность в себе. Потом, однако, вернулась: как не вмешиваться? Надо быть совсем без ума, без души, без сердца, чтобы не печалиться над тем, что совершается в России. Дела не стояли, а требовали — и всё невольно ложилось на неё, пока Государь в Ставке. И многие, лучшие министры просились к ней на приём, а худших — надо было отставлять. Как, как на каждое место найти людей, которые исполняли бы приказания? Очень мно-

го хлопот было с поиском военного министра. Язвительный Поливанов, друг Гучкова и предатель, и к тому же избранник старой Ставки, не мог оставаться! (Вот уж кто был изменник, а не Сухомлинов!) При смене Поливанова сразу подрезались крылья революционной партии, надо было спешить — ради трона, ради сына, ради России! Но много месяцев всё не могли и не могли найти ему замены — и замену Шуваевым, издуманную при Государе в Ставке, государыня не могла одобрить, сомневалась, чтобы он справился с обязанностями или, например, с выступлением в Думе. И Друг и сама государыня очень предлагали в военные министры почтенного старика генерала Иванова — вот уж у кого опыт, авторитет, — нет сомнений, что сердца всей Думы устремились бы к «дедушке». Но Государь по-прежнему держал Иванова при Ставке безо всякого дела — и не хотел ставить его министром. Тогда с новой горячностью государыня стала настаивать на своём излюбленном выборе ещё во время Поливанова: аккуратный, исполнительный Беляев! (Она знала его по одному из своих попечительских комитетов — он никогда не чинил затруднений.) Это был бы разумный выбор! Если от штабной работы ему дать министерскую самостоятельность — он будет очень хорош. И какой трудоспособный, и какой абсолютный джентльмен, как умело в делегации отвечал английскому королю и лорду Китченеру! И она знала его старую мать... И у него никогда не будет выпада против Друга. Увы, вместо повышения, Государь почему-то сместил его с начальника Главного штаба и теперь услад куда-то в Румынию. Но государыня продолжала надеяться, что настит, и этот благородный генерал в ближайшее время станет нашим военным министром.

Поразительно, что даже при указаниях Друга министры всё никак не подбирались лучшим образом — настолько это была трудная задача. (Да ведь министры должны быть не просто министрами, но друзьями!) То просила Государя назначить Наумова на земледелие — и сама же потом просила уволить его, он себя не оправдал. То сомнение о Барке на финансах (многие здравомыслящие были против), и предлагала вместо него графа Татищева и потом отступила, может быть и правильно. То сама же настояла уволить Рухлова с путей сообщения как слишком старого, но опять вышла неудача: Александр Трепов был назначен без совета с Другом, а оказался враг Его. (Теперь вспоминала: да ведь ей и самой казалось, что он — несимпатичный человек!) И граф



Игнатъев, просвещение, как будто приличный человек, а слишком бил на популярность, либеральными речами в Думе. И тоже по сути не подошёл, надо снимать. Но дольше всего изживали Сазонова с иностранных дел — ещё с прошлого года, с бунта министров, невозможно было его терпеть — длинноносого, назойливого, чужого, вредного, — но всё не находилось дипломата, знающего всю границу. Наконец терпение лопнуло, и в июле, в одну из поездок государыни в Ставку, уволили Сазонова, а министерство иностранных дел просто передали Штюмеру: куда теперь ездить во время войны?

Александра не могла делать что-либо наполовину. Она принимала всё слишком близко к сердцу. Бог дал ей такое большое сердце, которое съедало всё её существо. И чисто военных вопросов она тоже теперь не могла обойти — не могла не разделить военной судьбы своего мужа. Началось — с Алексева, который тревожил её, подойдёт ли он Государю, — он казался неэнергичным, в нём развинчены нервы, мало души и отзывчивости, бумажный человек. К тому же тайные связи с Гучковым, а если настроен против Друга — то и вообще не сможет успешно работать. Алексеев открыто не считался со Штюмером и давал почувствовать это другим министрам, уже полное безобразие. Явно чувствовала государыня, что Алексеев и её саму не любит. Стала вникать и в действия флота — и морской министр Григорович по распоряжению Государя посылал ей оперативные бумаги, которые она жадно читала, а потом возвращала запечатанными.

Но начав пристально следить за военными действиями, Александра сердцем не могла принять бесполезных кровопролитий, какими были многие наши неудачные наступления, умоляла Государя остановить их: зачем же лезть на стену и жертвовать жизнями, словно мухами? Это второй Верден! Наши генералы жертвуют жизнями, не считают — из чистого упрямства, без веры в успех, генералы закалены и привыкли к потерям. Пощади воинов, останови! Необходимо дождаться более благоприятного момента, а не слепо напирать, — это чувствуют все, но никто не решается тебе сказать. Мои штаны нужны и в Ставке, идиоты!

Стала она присматриваться к генералам — да чёрт возьми этих генералов, почему они так слабы и никуда не годятся? Будь строг с ними! Да вот что: во время войны надо выбирать генералов по их способностям, а не по возрасту и чинам! Разве, например, Каледин — настоящий человек на настоящем месте, когда так

трудно?.. И она задумалась: как же Ники знать всю правду о своих войсках? И придумала: пусть берёт к себе в Ставку командиров полков на двухнедельные дежурства — они смогут рассказать Государю много правды, которой и генералы не знают, — и это будет живое звено с армией, а генералы будут бояться, что о них расскажут командиры полков. Но почему-то не сделалось.

Многих военных государыня видела по госпиталям, и представлялись из шефских полков всегда после лечения, — потому многих командиров полков она и сама предлагала к назначению, один раз советовала знакомого капитана в начальники штаба Черноморского флота. Захотела Академия Генерального штаба отобрать помещение у госпиталя — просила она Государя, нельзя ли не отдавать, уж так ли нужны академисты во время войны?

А четыре дня назад к ней сам попросился на приём генерал — Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба Северного фронта, несправедливо смещённый, а вместо него Данилов-чёрный, недобросовестный, канцелярист и действительно враждебный нам человек. Обходительного Бонч-Бруевича государыня охотно приняла, со вниманием беседовала — и свои глубокие, приятные впечатления описала Государю, что надо бы на Северном фронте исправить, только не говорить Алексееву, от кого узнал. Старый Рузский — болезненный, кокаинист и тяжёлый на подъём, но мог бы оставаться, однако, при энергичном начальнике штаба, а хороших людей отстраняют. В результате на Северном фронте даже нет глубокой разведки противника. А ещё бы лучше Государь сам повидался с Бонч-Бруевичем: он очень умен, и честен, и многое расскажет. А самому ему ничего не надо, он действует только для общего блага.

И на фоне всех этих неудачных генералов всё более видела теперь государыня ту жестокую несправедливость, которую допустили они вдвоём с императором по отношению к несчастному Сухомлинову. Сейчас она очень сожалела, что в прошлом году так легко согласилась на его отставку и снять аксельбанты, — а ведь этого требовали кто? враги! — и ликовали потом. Сухомлинову всё напортила его молодая жена-разведёнка, вульгарная, авантюристка и взяточница, это она разрушила его репутацию. Но вот с тех пор шло годичное следствие — и ведь никакого реального преступления не открылось, никто ничего не доказал, не только никакой не шпион, но ни в каком умысле не виноват. Мало тратил денег на армию? — так ему не давал Коковцов, — а мы держим не-

счастливого уже шесть месяцев в тюрьме — старого, разрушенного, уже этими месяцами достаточно наказанного. Правда, Государь и увольнял его с тяжёлым сердцем, написал ему ласковое увольнительное письмо, — а Сухомлинов безчестно его показывал, и даже копии давал снимать, чтобы смягчить себе падение, не думая, как это используют враги Государя. Но государыня простила ему эту слабость, и уже при начале следствия заступалась — сменить сенатора, пристрастного к нему, а дневник Сухомлинова и письма к жене — чтобы первый, до следствия, прочёл сам Государь и рассудил о виновности. Но сенатор, руководимый местью, посадил Сухомлинова в Петропавловскую крепость, хотя следствие того не требовало. А сейчас всё более становилось жаль Сухомлинова: он умрёт в темнице, он сойдёт с ума, и мы никогда себе этого не простим. И отчасти он сидит для того, чтобы прикрыть артиллерийские взятки Кшесинской и её любовника Сергея Михайловича, из-за которых и не смеют открытый суд. Но никогда не надо бояться выпустить узника, возродить грешника к праведной жизни: как говорит Друг, узники через их страдания выше нас становятся перед лицом Божиим. Друг — очень просит взять Сухомлинова на поруки. Это можно сделать без большого шума, почти секретно.

И какой-то же рок наказывал министрами внутренних дел! И можно было бы совсем прийти в отчаяние, если бы в этом сентябре не догадался Григорий предложить одарённого Протопопова, с которым он был знаком уже четыре года, — и так горячо о нём говорил, что государыня уже была согласна, ещё и не повидав Протопопова. От такого должна была онеметь и замолчать Дума! Воистину, в его лице послал Бог настоящего человека.

Протопопов как бы завершил собой стройный, дружный кабинет (теперь не хватало только Беляева, и ещё маленькие поправки). С этой осени, кажется, всё пошло хорошо и не ожидалось никакого кризиса. Штюрмер и весь год регулярно приезжал к государыне на доклады, прося аудиенцию через Аню, — и был рад, когда царица ездила в Ставку вместо него, его доверие просто трогательно. Постепенно государыня приучала и других министров — Хвостова-дядю, графа Бобринского, князя Шаховского, Барка, даже и морского Григоровича, приезжать к ней на аудиенции, — а некоторые просили и государевых аудиенций через неё. Государыня ставила своей задачей заставить их работать дружно. И она достаточно упряма, чтобы добиться своего.

Это особенно требовалось из-за продовольственного вопроса. Всё запутал когда-то хитрец Кривошеин, забрав продовольственное дело на себя, в министерство земледелия, тогда как там и штатов особых нет (только много сторонников левых партий), — а у министерства внутренних дел во всех губерниях штаты, и Друг давно настаивал отдать хлебное дело им. Он давно тревожился: если будет недостаток продуктов в Петрограде — будут в городе неприятные столкновения и истории. Да и стыдно так мучить бедный народ! Да и унижительно перед союзниками! У нас всего много, только не желают привозить, дошли до недоступных цен, всё запутали, а больше всего: запретом вывоза и ввоза между губерниями и насильственным отбиранием хлеба. Месяц назад, понуждаемые государыней, Протопопов вместе с Бобринским, земледелие, разослали губернаторам совместный циркуляр: о том, чтобы соблюдать крайнюю осторожность в применении принудительных мер. Протопопов говорил воодушевлённо: «Когда дурные люди хотят иметь успех, они всегда обращаются к народу, и тот к ним прислушивается. Так надо и нам: разослать людей по крестьянам, чтоб объяснили им, что не надо задерживать хлеб. И крестьяне их послушают!» Протопопов уже вполне соглашался перенять всё дело в министерство внутренних дел — вдруг последние дни стал что-то оттягивать.

На него произвела страшный шок встреча с главными думцами на частной квартире дней десять назад. Эти мерзавцы теперь не только не хотели сотрудничать со своим прежним товарищем, раз он стал служить трону, — но дерзко потребовали, чтоб он ушёл в отставку. Крайне взволнованный, он после этого свидания кинулся к Другу. Государь как раз в эти дни впервые за пять месяцев был в Царском Селе, и Григорий, тоже взволнованный, не ожидая посредничества Ани, дал ему прямую телеграмму: «Сердечно беседуем с Калининым ему заявляют подать в отставку он не в себе твёрдость это стопа Божья Григорий Новый». (Вся переписка шла через чужие руки, императорской чете не было укрытия, такое было вокруг сомкнутое сторожащее внимание, что приходилось, как подпольщикам-революционерам, называть своих верных кличками, чтобы не было понятно чужим. Так, для писем и телеграмм Друг назвал Протопопова «Калинин». А сам Григорий по высочайшему дозволению давно уже сменил свою непереносимую фамилию на «Новый».)

Ну конечно же никто не отдаст им Протопопова — но какова банда! Эта банда выпирает в разных местах, но больше всего в Союзе земств и городов, — наглецы, содержатся на государственные деньги, а действуют только против правительства! У Александры хоть не молодая голова, но в страдательных бессонницах появились кое-какие идеи: на фронте устроить контрпропаганду против Земгора. И — устроить за ними наблюдение, и которые заполняют уши солдат всякой вредностью, особенно доктора, фельдшера, сестры, — чтоб тех тотчас выгонять. Протопопов должен найти хороших честных людей для наблюдения.

Не меньше зла заваривается и в военно-промышленных комитетах Гучкова, таких же политически опасных: под видом военного снабжения они ставят в заседаниях прямо антидинастические вопросы. И в каких-нибудь комитетах по дороговизне, только и разжигающих страсти против правительства. Гучков, Родзянко и все думские мерзавцы интригуют, чтобы побольше вопросов вырвать из рук министров, изобразить, будто никто, кроме них, не умеет работать. Ах, серьезно же болел Гучков прошлой зимой. Нисколько не греховно, ибо ради трона и блага всей России, — желала ему императрица отправиться на тот свет. Увы, поправился. А теперь — разжигал начальника штаба Верховного, напивал всякими гнусностями, пытаясь перетянуть на свою сторону, и доверчивый Алексеев может попасться в сети этого умного негодяя.

Они — все сейчас пошли в атаку! Что они готовили к открытию Думы? — мерзейшую декларацию, предупреждённую благодаря помощи Крупенского, — он с ними там заседал, а потом принёс эту мерзкую бумагу Протопопову и был принят государыней тоже, она благодарила его. Отвратительная бумага оказалась прямо революционного характера, с чудовищными безстыдными заявлениями: вроде того, что *они* не могут работать с министрами (позаботились бы — могут ли министры с ними?)! Штюмер очень обезпокоился, он боялся предстоящих думских заседаний, государыня, напротив, в таких случаях-то и перебарывала свои болезни и собирала волю: с Думой идёт настоящая война, и мы должны быть тверды. Чем мы можем ответить? Обсудили. Если Дума будет вести себя слишком плохо — не прервать занятия, но полностью распустить в ожидании новых выборов 1917 года. Пусть подумают.

Только пять дней прошло с отъезда Государя из Царского Села — а сколько уже событий и сколько набралось дел!

Всего три дня, как виделась с Протопоповым, и он ничего другого больше не сказал. А вчера — срочно просил приёма и пришёлся крайне возбуждённый. Фигура его была, как обычно, стройна, легка, крылата, а подвижные глаза и лицо — ещё подвижнее. Они выражали раскаяние и даже отчаяние: он только что виделся с Другом, и Друг разъяснил ему, что он абсолютно неправ, оттягивая взять продовольствие в свои руки. И теперь — он убеждён и готов взять. Но осталось всего два дня до открытия Думы, объявить надо успеть раньше! — но как успеть получить подпись Государя из Могилёва?

Волнение передалось и государыне. Она и сама давно думала так, она и сама удивлялась откладываниям Протопопова, а теперь, когда Друг так твёрдо сказал, — кто мог ещё сомневаться? И государыня стала действовать огненно: была середина дня 30 октября, ещё хватало последних часов, чтобы Штюрмер оформил бумагу, передающую всё продовольственное дело министру внутренних дел немедленно. А сама государыня торопливо гнала супругу письмо, разъясняя. Если успеть отправить с курьером к вечеру — утром 31-го он будет в Могилёве. Если просить Государя не откладывая подписать и возвратить с поездом, идущим оттуда в 4 с половиной часа, — эта бумага вернётся сюда утром 1-го ноября, за два-три часа до заседания Думы! Успеваем! Даст Бог, так и будет, успеваем.

Сама государыня очень взбодрилась от этой операции — она любила решительные действия. И хотя стояла унылая пасмурная погода с дождиком — она сейчас пересилила уныние совершённым действием. Вот так энергично, быстро надо всегда, и опередишь врагов! С симпатией смотрела она на чрезмерно живое лицо Протопопова, постепенно обретавшее успокоение (она находила его лицо честным, правильным, чистым). Он был — новичок в Совете министров и, травимый Думой, нуждался в крепкой поддержке. Государыня уже просила Государя не принимать в Могилёве других министров, кроме Протопопова, а всем передавать через него, — это очень возвысит его и укрепит, и пусть он делится с Государем своими планами и пусть просит совета.

— Да, — вспомнила, — говорят, в городе на заводах какие-то волнения?

— Ничего особенного, Ваше Величество! — как всегда обворожительно улыбнулся Протопопов, а сам выражал непреклонность. — У нас руки твёрдые, удержим.

Так-то так, но правильно предлагал Штюрмер ещё в марте, едва вступив на пост: что военные заводы разумно милитаризовать, считать рабочих как бы призванными в армию, и не будет вообще никаких забастовок. (Но промышленники и кадеты помешали: что так будет поправа свобода.)

Протопопов ушёл — однако приобретенное радостное волнение действия не покидало вчера государыню и до позднего вечера. Даст Бог, всё будет в одних твёрдых руках, — и Протопопов вообще покончит с Союзами городским и земским. Друг — поможет ему, направит. А Дума, конечно, будет в ярости: она хотела бы разорвать продовольствие на десятеро рук и запутать.

Тут ещё испортил настроение министр промышленности Шаховской: приняла его, рассчитывая на его верность, а он выказал неуважение к Штюрмеру, неодобрение Протопопову и пророчил, что им придётся уйти. И это в самом кабинете такое разногласие! Государыня слушала с большим несочувствием и немилостиво отпустила министра.

Была в своём лазарете на концерте, а когда вернулась — знала свою обычную обречённость на бессонницу. Праздник для неё был, когда ей удавалось проспять пять часов подряд — с Ники всегда лучше, без него бессонница особенно терзала. Часты были ночи, когда она забывалась лишь на два часа, уже перед утром. А бывали ночи, вот три дня назад, — спала всего полчаса. От таких ночей добавлялись разбитость и отупение ко всем многочисленным болезням Александры Фёдоровны, список их за жизнь составил бы несколько десятков, — все боли мигреневые (адские головные боли периодами), невралгические, кардиальные, поясничные, головокружения, задышка, сердцебиения, расширение сердца, сдвиги сердца, синеющие руки, камни в почках, опуханье лица от перемены погоды, воспаление тройничного нерва, ослабление зрения (как она горько шутила — от непролитых слез), боль в глазу, как от воткнутого карандаша, боли в челюсти, воспаления надкостницы, одеревянение всего тела, боли в спине, простуды, кашли, ушибы от падений, — прошлый год, 1915, она начала с трёхмесячного лежания, этот, 1916, со сплошных болезней, а во всякий отдельный момент у неё всегда насчитывалось их четыре-пять. И регулярно,

три-четыре раза в год, полный упадок всех сил. После бессонной ночи, разбитая и домучиваемая недугами, она по полдня не могла встать, сперва лежала с закрытыми глазами, потом долёживала на диване и, надев очки, на боку — всё писала и писала автоматическими ручками безконечные ежедневные письма Государю, навёрстывая всё общение, теряемое в расстоянии. Она никогда не умела сказать в трёх словах, ей нужна была стопа страниц. Со середины дня, после завтрака в кровати, поднималась, потому что уже были назначены приёмы или надо было ехать в свой госпиталь или в другие (там по лестницам её вносили в кресле, ибо ноги её не брали лестниц), а от быстрой езды в карете развивалось сердцебиение, и всегда накачиваться сердечными каплями и многими другими лекарствами, получать массажи, мази, электризацию лица и, когда одна, обматывать голову толстой шалью, и избегать прямого солнца, так любя его.

И вчера она легла разбитая, раздёрганная — и эту ночь почти не спала. А все эти бессонные ночи — они наполнены крылатыми мыслями: несутся, несутся мысли и волокут за собой больное, не по сорока пяти годам старое тело, — иногда гордо взмывают, иногда — безжалостно когтят грудь. В эти бессонные ночи пришло ей много государственных мыслей. Но к утру ещё более истомляется голова, и в бессонной безысходности всё рисуется в дурном свете.

Но — не поддаваться никогда! Почему бы верить, что злые захватят землю? Почему, если дурные люди активно борются за своё дело, — хорошие только жалуются, сидят со сложенными руками и ждут событий? Нет! Хотя государыня была кругом и вечно больна и с негодным сердцем — но она не могла спокойно сидеть и смотреть на происходящее, и у неё ещё найдётся больше энергии, чем у всей этой компании вместе взятой!

Лето Пятнадцатого года был самый страшный момент: шла борьба, по сути, за сам трон — это открыл им Друг, а толковать Государю стоило очень большого труда. В Думе держали пари, что помешают Государю принять Верховное, потом — что не дадут распустить Думу. В то лето государыня вmeshалась настойчивее всего и до изнеможения, так уставала душой, что хотелось заснуть и забыть о ежедневном кошмаре. Но и успешнее всего. Были против — все, все вокруг гудели, что если Государь примет Ставку — то будет революция. Только Друг и государыня настаивали: брать! И оказались правы. Но именно как результат той победы Государь уехал в Ставку — и уже нельзя было оставаться постоянно с ним



рядом и помогать ему держаться твёрдо. А в Ставке, один, он непременно всегда что-нибудь упустит: он окружён там чужими и уступает им. Чаще ему приезжать сюда? — не пускает военное положение. Чаще государыне ездить туда (она охотно и вовсе бы переселилась в Ставку!) — опять-таки мешает положение, да и есть досадная явность для публики, что главные решения, назначения, смещения Государь производит именно в те дни, когда гостит у него жена. И оставалось — в ежедневных длинных письмах, всё повторяя и меняя выражения, — достигать убедительности. Иногда советы её были успешны, иногда опаздывали, а иногда оказывались и бессильны: тихое, мягкое, ласковое, а было у Ники и упорство. Но Ники — очень доверял ей, и многие важные обсуждения и приём министров поручал.

Безпрекословно она повторяла Государю все советы Друга, многие и своим умом хорошо понимая. Но ум её при взглядывании в дело расширялся — и у неё были своерожденные идеи, которые она роняла в письмах: так, очень беспокоили её отдельные латышские полки — неконтролируемая сила, она считала безопасней расформировать их, рассеять по другим полкам. Она считала, что надо создать в резерве дружину на случай петроградских беспорядков: полиция была не подготовлена к ним и даже не вооружена. Она предлагала посылать людей из государевой свиты на заводы для наблюдения за ходом дел, и чтобы чувствовали повсюду внимание Государя, а не одних гучковских молодцов, — но зажирила свита, и никто никуда ни разу не поехал. И с Государственным Советом она обнаружила неосторожность: что назначают туда всякого, от кого хотят избавиться, — и трон лишает себя опоры. А другая опора была бы — повысить жалованье по всей стране бедным чиновникам.

И она просила Государя позаботиться, чтобы все истории с еврейской эвакуацией были выяснены без лишних скандалов. Всегда следует делать различия между хорошими и дурными евреями и не быть одинаково строгими ко всем. Она удерживала Государя не давать толкать себя с поспешными уступками по польскому вопросу, когда Польша была отдана Германии: можно такого наобещать и надарить, что Бэби потом трудно придётся. А по всякому вопросу касательно немецких у нас военнопленных императрица была горестно и стыдливо стеснена распространёнными подозрениями, что она сочувствует врагу, тогда как она всего лишь хотела человеческого их содержания, чтоб Россия оказалась в этом выше

Германии, и после войны хорошо бы отзывались о нашем обращении с пленными. И стыдливо, как бы на ухо, просила она Государя послать комиссию в сибирские немецкие лагеря или позволить пленным праздновать день рождения Вильгельма. Здесь — её некоторые называли немкой, в Германии — её теперь тоже ненавидели. Да, конечно, кого не соединяют нежные связи с местом рождения, с кровными родными, — каждая весточка оттуда, через шведскую или английскую родню, или вдруг письмо из Дармштадта через сестёр милосердия тревожили её, наполняли неповторимыми волнами поэзии и юности. Да, конечно, когда она слышала, что у немцев большие потери, — содрогалось сердце при мысли о брате и его войсках. Но и кипела кровь, когда в Германии злорадствовали. Она бесконечно горевала об этой многокровной, бессмысленной войне. Как должен страдать Христос, видя всё это кровопролитие! — испорченность мира всё возрастает, не человечество, а Содом и Гоморра. Какая-то огромно-непоместимая всеобщая беда началась с этой войны, разорвавшей и её сердце. Нет, не из германских симпатий государыня умоляла укротить разжигание ненависти «Новым Временем», запретить безжалостное преследование у нас баронов — а по нелепости для самой России, ибо это ослабляло трон и армию. «Немецкое засилие» мы сами на себя навлекли: наши собственные ленивые славянские натуры должны были раньше держать банки в руках — но раньше никто не обращал внимания. Наш народ талантлив, даровит — только ленив и без инициативы. Александра искренно полюбила эту страну, ставшую её страной, и её огорчало, когда она видела, что такая огромная Россия зависит от других, а Германия радуется нашей дурной организации. Люди у нас, когда не на глазах, — редко исполняют свои обязанности хорошо. Нашей бедной стране не хватает порядка, потому что он чужд славянской натуре.

Сегодняшняя ночь — тянулась изматываяще, бесконечно. Ни в два, ни в три, ни даже в четыре часа ночи государыня не спала — и всё проволочились мысли и заботы. И вот ей стало ясно, что дальше никак нельзя откладывать с Сухомлиновым. Государь всё промалчивал или откладывал просьбы о его освобождении, как и было в характере Ники — не решаться. Но Друг — настойчиво просил, и государыня решила наступающим днём в письме к мужу прямо требовать от него спешной телеграммы Штюмеру: что, ознакомься с данными следствия, Государь не находит никаких оснований для обвинения и распоряжается дело Сухомлинова пре-

кратить. И так будут предупреждены возможные гнусные заявления Гучкова или думские. Убедясь, что вины нет, — недопустимо держать человека в тюрьме лишь из трусости перед врагами, как они закричат.

И ещё был один узник, о котором настойчиво просил Друг, — это Рубинштейн, богач и делец. Помогал в благотворительности, произведен в действительного статского советника. У него были, правда, некрасивые денежные дела — но ведь не только у него одного. Он схвачен был контрразведочной комиссией генерала Батюшина, подчинённой прямо Алексееву, — и тут нельзя было не заподозрить, что это Гучков подстрекнул военные власти в надежде найти доказательства против нашего Друга (из-за близости Рубинштейна к Другу). Эта комиссия Батюшина раньше подчинялась Бонч-Бруевичу и была хорошая, но с подчинением Алексееву вышла из-под разумного контроля, действует некрасиво и несправедливо, они мешаются не в свои дела, и этому надо положить конец. А Рубинштейна — очень жалко, у него слабое здоровье, и он может не выдержать заключения. И Друг, и Аня очень просят. Главное, сейчас забрать его из псковской фронтальной тюрьмы в Петроград, в ведение министерства внутренних дел, — и об этом сам Государь или через Алексеева должен срочно телеграфировать, — а здесь Протопопов тотчас его освободит, а если здесь открыто будет неудобно — ушлёт его хоть и в Сибирь, а там тихо освободит.

И то и другое надо немедленно сделать, нельзя пренебрегать указаниями нашего Друга. Божий человек благополучно проведёт чёлн Государя через рифы — а старое Солнышко, твёрдая и непоколебимая, с решимостью, верностью и любовью всегда готова к борьбе за своих любимых и за нашу страну.

Только приняв решение о срочном исполнении этих двух милосердных дел, государыня успокаивалась, успокоилась — и уже под самое утро забылась.

Спала ли она сегодня хоть два часа? Проснулась измученная — и теперь, как обычно, нуждалась в нескольких часах медленного возврата к жизни. Пока что она, на боку, спешила написать письмо Государю, изложить всё выношенное. Глаза ей отказывали в таком положении, и она не всегда видела подробности своих строчек.

Но и долго залёживаться было нельзя: у неё и на сегодня, как все предыдущие дни, был назначен приём по делам о раненых, о поездках-складах, и ещё несколько дам, и один министр, —

и вдруг передали ей телефонный звонок Протопопова, что он умоляет крайне срочно принять его по очень нужному делу.

О Боже, только вчера обо всём уговорились — что ещё новое могло случиться? Приходилось принять Протопопова ранее всего остального приёма, но перед этим хоть полчаса прокатиться на автомобиле, чтоб освежить голову.

А погода стояла — такая же унылая, давящая, безпросветно пасмурная, как и вчера. И срывался дождь.

В этом году были очень ранние заморозки, даже со снегом, 19 сентября, и листья осыпались, и теперь из своих окон государыня видела церковь Большого дворца.

Но и с прогулки вернулась государыня с такой же тяжёлой головой.

Вид вошедшего Протопопова был ужасен: глаза его как бы дрожали или даже блуждали, подрагивали усы, — так странно было видеть выражение растерянности на его всегда уверенном, победном лице.

Что же? что же??

Его красивый голос переливался в большом волнении, и речь как всегда неслась потоком. Оказывается, банки мнут, поддержки нет, а все министры нервничают, все министры тревожатся, узнав, что Протопопов берёт в свои руки продовольственное дело: Дума очень чувствительна к этому вопросу, и если только завтра будет опубликовано назначение Протопопова, — это вызовет в Думе бурю и скандал, размеры которых невозможно предвидеть.

Государыня восприняла довольно хладнокровно: ну что ж, мы и готовы к самой жестокой борьбе, мы на это и идём!

О нет, о нет! — в мучении выгнулся Протопопов. Борьба — не страшит его нисколько, но скандал может принять такие размеры, что Штюрмеру придётся тотчас же распустить Думу, в первый же день и распустить! — а это очень неудобно.

Но что же делать?..

А — отложить. Несколько отложить назначение по продовольствию. Хотя бы недельки на две. Пусть Дума пока разрядится. А позже — будет её удобнее распустить. Это — не от себя только просит Протопопов, он готов к решительной борьбе (хотя хорошо знает губительные думские ураганы), — но так просит большинство министров, это в интересах всего кабинета!

Государыня впала в недоумение, такое ж тяжёлое, как и всё состояние её. Она не могла уразуметь: почему надо отказаться от ре-

шения, принятого вчера с таким энтузиазмом? Почему можно испугаться скандала в Думе, когда он всё равно будет — не по тому, так по другому?

Но глубокое убеждение светилось в одухотворённом, даже художественном лице Протопопова, с таким живым выражением густых бровей, искристых глаз, и крупных губ под слитыми тёмными усами, и каждой чёрточки, — убеждение ещё более глубокое, чем вчера.

Может быть, чего-то она не понимала.

Но, во-первых — таково было желание Друга: Протопопову принять продовольствие на одного себя. Во-вторых, даже если решить снова менять: ведь Государь как раз вот в эти часы получил вчерашнее наше письмо — и подписывает, и завтра к утру оно придёт сюда? И это будет последний момент перед открытием Думы, а мы же не можем отменить сами?

(Хотя по крайности обстоятельств — а напряжение этого октября походило на напряжение прошлого лета — конечно, государыня могла бы взять отмену и на себя, её бесконечно-терпеливый супруг простит ей.)

— Телеграфировать Государю! — вырвалось из груди Протопопова.

Но о таком тонком предмете — как же телеграфировать? Ведь читают десятки людей, все колебания разнесутся сразу.

— Зашифровать! — исторглось из Протопопова.

Но и правительственная шифровка проходит через несколько чужих рук. Ах, ах! — государыня совсем забыла, теперь вспомнила: что долго-долго они горевали с супругом, что нужно же иметь возможность иногда что-то важное друг другу сообщить, и всё никак не могли собраться, а всё же заказали приготовить шифровку, хотя так ни разу её и не применили.

— Я сам и зашифрую! — воскликнул Протопопов.

Да, он слишком страстно был задет — почти невозможно ему отказать: как же он будет выполнять дело против собственной воли?

В конце концов — не отменять, только отложить на две недели?..

Но — и никак нельзя пойти против указания Друга.

— Вот что, Александр Дмитрич, — решила она. — Поезжайте как можно скорей в Петроград, на Гороховую, к Григорию. И если он откажет — значит, так всё и останется, как вчера. А если разре-

шит переменить — скорей езжайте назад, и ещё успеем зашифровать, телеграфировать, — и завтра к утру, за те же два часа до Думы Государь успеет отменить.

Протопопов взвился и помчался.

Милый, симпатичный человек, она пожалела его, хотелось снять с него слишком невыносимое беспокойство.

Такова была она и в любви и во всех привязанностях: если решалась раз, то уже навсегда. Этому человеку — она доверила охрану трона. А свои — должны выручать своих.

## 65'

(Государственная Дума, 1 ноября)

В Таврическом дворце, в Белом зале, заполненном восходящими полукругами кожаных кресел с пюпитрами, под стеклянным потолком, собрались на открытие сессии четыре с половиной сотни депутатов Государственной Думы. В глубине на балкончиках меж коринфскими полуколоннами важно расселись дипломаты союзных стран, левые и правые хоры были забиты публикой, сострастной к *своим*, в двух передних углах переполнены невысокие ложи прессы, а в ложе министров по правую руку от кафедры сидел с несколькими коллегами и сам Штюрмер, с длинной, как прикладной, бородой. О нём знали, впрочем, что он тотчас же после открытия уедет под предлогом молебна в Государственный Совет.

На центральный двувысокий помост президиума в сопровождении своих двух Товарищей взошёл Председатель — дородный, дюжий, из-бывающее земляное здоровье своё обративший не к земле же, не волов воротить, но паж, кавалергард, камергер, раздобив и разрыхлив тело во многих председательствах, предводительствах, попечительствах, а вот и глава всенародного представительства. На самый почётный помост России, ещё своим ростом заметно увышая его, он взошёл, видя каждое своё движение со стороны и сознавая его значительность для отечества. Крупный звонок взял крупную лапой.

И утихали перед ним секторы фракций — узкий левый, многолюдный кадетский, прогрессисты, поредевший октябристский с недосаженными верхними креслами, националисты русские, националисты окраин и правые.

Знал за собою Родзянко редкий по зычности голос, свободно заливающий этот зал, а хоть бы и вчетверо больший. Ещё кроме голоса в речи открытия должна звучать историчность — и её он тоже выразит легко.

Но сегодня был даже не просто день открытия годичной сессии: внизу под председателем тигрино напрягся Прогрессивный блок, до прыжка оставался час или два, а тайна прыжка уже расплзлась, уже знали журналисты, тоже напрягшиеся, и публика, и испуганная стайка министров с расчётом вовремя улизнуть через непритворенную дверь (из ложи министров есть и тайный звонок тревоги к страже). И даже знала царица в Царском Селе. И земский и городской Союзы уже выпустили свои обращения, что наступил решительный час. И уж не менее всех знал тайну сам Председатель, достаточно посвящённый в планы Блока. Сейчас, на высоте, стоял он монументом, выше него, за его головой — лишь портрет Государя (ещё в два родзянковских роста, вытянутый, со снятою фуражкой), но одно неверное слово — и Председатель может сверзиться под когти набегающих. А иное неверное слово — и его настигнут тут, наверху, и раздерут, и стащат вниз.

За последнее время Родзянко уже предупреждал лидеров Блока:

идёт глухая травля на Думу в лице её Председателя. Чтобы упал общий дух. Я могу жестоко оборваться в предстоящей речи на открытии сессии. Но и стесняться тоже не намерен. Могу быть жестоко оборван благодаря влиянию известных лиц, и моё дальнейшее пребывание станет невозможным. Тогда я буду апеллировать к Думе.

Обещали поддержать. Однако поддержка Блока — это не всё. Ведь положение Председателя Государственной Думы — несравненно, оно даже уникальнее, чем пост председателя Совета министров, ибо тех часто сменяют. Если смотреть в суть вопроса, Председатель Государственной Думы — второе лицо в России после Государя. Он есть — посредник между царём и представителями народа, опора равновесия между монархом и Думой. Чтобы сохранить это выдающееся положение, надо ему же заботиться сохранять: и монархию в её величии, и Думу в её страстности. Он вынужден делать личные предупреждения также и Государю. В его частых докладах у Государя — необыкновенная смелость, он очень влияет на монарха — но всё же так, чтоб и своя великая миссия не пострадала. (А Государь на днях имел безтактность отказать Председателю в аудиенции.) И как ни сердится иногда на Государя — но сдерживает себя, щадя обоих. А впрочем, если завтра всё-таки настанет чудо, и будет создаваться *министерство доверия*... По последним планам Блока Родзянко даже не входит в тот кабинет! — Милюков ему специально это разъяснял. Но Родзянко несколько тому не покорился, ибо сознавал себя фигурой зримо крупнейшей Милюкова, главным представителем всех народных представителей, как бы персонифицированной Россией, — и ничья другая фигура так не подходила тоже и к премьерскому посту, как Родзянко. Да об этом и слухи ходят (как и намечали в 15-м году). Об этом и великие князья говорят... А для того опять-таки надо — всеми силами укреплять

свою независимость от Блока. Своё особое положение — между Блоком и Троном.

Родзянко: Господа члены Государственной Думы! Мы приступаем к нашим занятиям после большого, скажу — слишком длительного их перерыва.

(Укол правительству. Рукоплескания. «Браво! Верно!»)

Первейшая обязанность Государственной Думы — немедленное устранение того (слева: «Не—того, а кого!»), что мешает стране достигнуть единой намеченной цели.

Уже в одну сторону поддал достаточно. Теперь — в другую, нечто прочное, чтобы Дума не развалилась, не отпала от государственной власти. И — заливающим, безпрекословным басом:

Тяжёлым гнѐтом налегла на нашу родину эта кошмарная война. Она должна быть выиграна, чего бы это стране ни стоило! (Бурные продолжительные рукоплескания, кроме крайних левых.) Этого требует народная честь и народная совесть; этого повелительно требует благо грядущих поколений. (Бурные рукоплескания. «Верно! Браво!») Мы удивили мир своим единодушием и силою сопротивления. Какие же пути ведут нас к цели? Спокойствие внутри страны, твёрдость духа в испытаниях и *твёрдо сказанная правда* здесь, в этих стенах. (Бурные рукоплескания.) Правительство должно узнать от вас, что нужно для страны. (Голос слева: «Уйти ему!»)

Ступать уверенно, а балансировать осторожно.

В часы борьбы и напряжения народных сил нельзя гасить народный дух ненужными стеснениями. (Рукоплескания в центре и слева.) Правительство не может идти путём, отдельным от народа, но, *сильное доверием страны...*

Очень тонкое место. Родзянко не сказал, что это правительство идёт путём, отдельным от народа, или не имеет доверия Думы, но слился с Думою в жажде правительства, которое

...должно возглавить общественные силы, идти в согласии с народными стремлениями, стезёю победы над врагом. (Голоса слева: «Долой их! Пусть уйдёт правительство!»)

Осторожно! Теперь обратный наклон:

Внутри себя страна не будет смутой помогать врагу.

Торжественная фраза, так и тянет на стих. И — силою баса, как двигая полк в наступление:

Святая Русь! Никто тебя не сломит!

Ты устоишь пред бурей как грозная скала.

Ну и, собственно, все бездны пройдены. А теперь уже, по прочному ритуальному мосту — вверх перед собою, через зал, шлёт Родзянко приветствия дипломатам



семьи народов, воюющих вместе с нами во имя высоких принципов... И примкнувшему союзнику, доблестному румынскому народу!

А вся Дума и так уже встаёт, оборачивается, и кадеты кричат:

Да здравствует Англия, ура!

Особенно Англию принято чествовать у кадетов и особенно приветствуют сэра Джорджа Бьюкенена — в пику немцу Штюрмеру, который, по их мнению, недостаточно почитителен с Англией и недостаточно ей благодарен. На это намекает и Родзянко:

Нет ухищрений, которых враг не пускал бы с коварной целью расшатать и опрокинуть наш союз. Но напрасны вражеские козни. Россия не предаст своих друзей (общие рукоплескания) и с презрением отвергнет всякую мысль о сепаратном мире!

Это — особенно выигрышное место: и — верноподданно, и на вкус Думы, как будто против Штюрмера.

Мы узнаём тебя, наш храбрый серый воин, в душевной простоте не ожидающего ни выгод, ни награды... С вами, неустрашимые борцы, наши молитвы!

Всё пройдено благополучно, вступительная речь окончена. Теперь ещё такой жест: послать приветствие Государю Императору, заверить его, что Дума... А чтоб не вспыхнули протесты — мол, не хотим царю! — такая извилинка:

Послать привет доблестным армии и флоту в лице их Верховного Вождя — Государя Императора!

Никто не поспорит. Единодушно. (Только голоса слева: «Штюрмера — вон! Стыдно присутствовать!»)

Действительно, под такие крики премьер-министру тут не засидеться. Да он и сам уже уходит, эти крики лишь мешают правительству выйти из зала достойно и прилично.

Теперь, до всех дел, деликатно выдвинуть внеочередным оратором — поляка. Ведь ещё летом 1914 русский Верховный Главнокомандующий в неточных выражениях обещал полякам заветную мечту отцов и дедов, час воскресения польского народа и воссоединения, хоть и под скипетром русского Царя. Потом разочли, что с тем торопиться нечего. В прошлом году Польшу отдали Вильгельму, и упущено было объявить. Ныне, ещё год спустя, независимость Польши провозгласили немцы — да скорей-то всего, чтобы поляков мобилизовать в свою армию. И вот депутат от польского коло заявляет, что

польский народ не согласится на немецкое решение, которое противоречит его стремлениям.

Мол, из немецких рук, без польского моря и без Галиции, Польша независимой стать не хочет.

Далее естественно выпустить на кафедру и декларацию Прогрессивного блока. (Марков 2-й: «Прогрессивный блок без прогресси-

стов!» Смех.) Да, решительные прогрессисты откололись, увы. И сама декларация в безконечных согласованиях как полиняла! где тот первый грозный воинственный проект Милюкова? Декларацию скучно ровно читает

Ш и д л о в с к и й: Ещё год назад... о бессилии правительства, не опирающегося... Единодушное желание всей Думы о суде над Сухомлиновым до сих пор не исполнено. (Бурные рукоплескания, кроме крайних правых. «Изменники покрывают изменников! Не позволяет Распутин!»)

Недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодованию. Население готово верить самым чудовищным слухам. Правительство всячески отстраняло общественность... Ничем не заслуженная обида... Цензура занимается охраной несуществующего престижа власти... Растрачивается драгоценное доверие союзников... Горячее сочувствие великому английскому народу (рукоплескания). Правительство в нынешнем составе не способно справиться с опасностью. Лица, дальнейшее пребывание которых во главе... уступить место лицам, которые... Опирается на большинство Государственной Думы и проводить в жизнь его программу.

Умеренным тоном прочтена декларация, стены Таврического не сотряслись. Но кто же следом за декларацией, чтоб сбить её и превзойти? кого невидимыми иглами вечно колет снизу депутатское кресло? кто полагает в говореньи с трибуны весь смысл деятельности своей? кто посылает самую первую записку, и урывает очередь, и вот уже вызван, и вот уже мимо стенографисток семенит, неряшлив, немолод, а как подвижен? Достиг высоты —

Ч х е и д з е (с-д): Конечно, мне придётся повторяться, но, господа, кто ж не повторяется по вопросу о войне. Воспроизведу и я несколько мыслей, которые мы высказывали и раньше. Всемирная война вызвана материалистическим соперничеством великих держав. Объективные интересы... Противоречия капиталистического строя...

Для Чхеидзе России вообще сроду не было, у Чхеидзе — порхающая лёгкость мелкой фракции, ни на что не влияющей, ни за что не ответственной, но имеющей законный ораторский час. А для чего ж ещё Дума? — вот именно для того, чтобы по часу и по часу заставлять выслушивать себя. В комиссиях работать не надо, сидеть изучать думские материалы не надо, а говорить — пожалуйста, нисколько не отвечая за выводы, никуда не ведя собрания.

Не разрешение старых национальных проблем, а их осложнение, не оставление гнёта милитаризма и диктатуры реакционных классов, а их укрепление... Подчинение капиталистической олигархии... Депутат Милюков говорил,

что всё лежит на совести Германии, но от фактов не уйдёшь. А какое освобождение, господа, вы принесли Галиции, когда были победителями? Господа, положив руку на сердце, мог ли бы я на каком-либо основании утешать грузин относительно тех благ, которые эта нация может ожидать от войны? А что сказать, господа, об украинском вопросе? А отношение к униатскому митрополиту?.. А в Финляндии?.. А Польша?..

Дикция у Чхеидзе неясная, гортанный клёкот, но ему самому это не мешает, не сдерживает разлёта речи. В отведенный ему час он — самый первый и сильный в Думе человек и безстрашно размолачивает всех этих помещиков, капиталистов и финансистов, от монархистов до прогрессистов, не упуская огрызаться и на кадетов. И все тратят по часу свежей головы, выслушивая:

Вы повторяете, что война создаёт условия для сплочения, для объединения, — но к чему это единение свелось? И как обстоит единение у вас в Блоке? (Милюков: «Штюрмер вас поблагодарит».) Единение между помещиками и крестьянами? Единение между трудом и капиталом? к милитаризации труда? А как обстоит с лозунгом всеобщего разоружения? (Смех.) Мы требуем, господа, ликвидации этой ужасной войны, мы требуем м и р а! Но — не мира, заключённого безответственными дипломатами, никогда! От имени российской социал-демократии, от имени всероссийского пролетариата мы требуем мира, который... координацией сил европейской демократии... без насильственных присоединений!

(И напрасно ведь тянется! Ленин скажет: революционер-шовинист, революции хочет не для развала России. А Шляпников: боровшиеся пролетарии России не нашли в речи Чхеидзе ничего руководящего, не нашли революционного напряжения, которым дышал рабочий класс.)

Регламент держит Чхеидзе, как воздух птицу. Вся Дума, лишённая социал-демократического образования, вынуждена внимать поучениям крайнего оратора. И нет стеснения полёту крыл. Но тактика заставляет Чхеидзе всё же снизиться и вдруг сомкнуться с Блоком:

Конечно, для такой борьбы нужна большая осмотрительность и предусмотрительность. (Справа: «Ума побольше!») Но есть препятствие, которое мы должны устранить в первую голову, — это, господа, правительство, в руках которого судьба нашей страны.

Однако соединяясь с большинством Думы, пламенный публицист, недоученик кутаисской гимназии, харьковского ветеринарного, годичный вольнослушатель одесского университета, тут же и жалеет презирающе эту трусливо-классовую Думу, и в учительном тоне объясняет ей и выговаривает:

В этом отношении вы, господа, долго себя обманывали или сознательно делали вид, что не понимаете. Можете ли вы сказать, что и у вас эта мысль созрела? Как будто выходит, что эту мысль разделяете и вы, но способны ли вы, господа, на какие-нибудь решительные шаги, чтобы совместно с нами выполнить эту первую очередную задачу?.. Мы знаем ваш темперамент и темп действий и не зовём на большее, чем законные средства борьбы. Но у вас не хватило смелости, это ваша обыкновенная черта: собраться синицу в море жечь, но это кончается плачевным финалом.

Голова оратора и среднего-то ростом приходится лишь чуть выше председательской кафедры. А Чхеидзе и вовсе утоплен где-то ниже. Очень крикливо, но не этого выступления опасается величественный Председатель, кто ж обращает внимание на Чхеидзе? И когда выскочит Керенский с обязательным спектаклем — это тоже будет не самый главный скандал. Но видит Родзянко, что по списку ораторов неуклонно приближается Милюков, а его речь уже известна тесному кругу думцев, и Председатель сам вчера отговаривал Милюкова от этих мест, затрагивающих лиц августейших. Однако тщетно. Однако и председательствовать во время такой речи двояко-гибельно: прервать или возразить — значит погубить себя в глазах всей левой части Думы и неизбежно потерпеть поражение на выборах Председателя, имеющих быть послезавтра; остаться безучастным — окончательно погубить себя в глазах царской семьи.

Но как же расстаться с должностью, столь приращённой к человеку, что никто уже и в воображении не может их разорвать? Если на председательском месте будет не Родзянко, то и Дума — уже как будто не Дума, и Россия — не та Россия. Также и сам он, не выбранный, — кто он и что? Отделённый от России уже не столп, но пасынок её. (Да что там, «это звание есть священный культ — честь, доступная лишь немногим счастливым смертным в нашей земной жизни».) А вот — простая уловка: пошептавшись со своим заместителем Варун-Секретом, на почётном месте выставив его вместо себя, тучный Родзянко, беззвучно ступая, всем видом показывая, что это — не надолго, но уж приходится, увы, в такой торжественный день, — покидает зал. («Накануне заседания я простудился, чувствовал себя неважно, с трудом закончил свою речь — и тотчас передал председательство». — Но, вот неожиданность! — «Этот маловажный факт оказался чреват последствиями!»)

Теперь профессор Л е в а ш о в — заявление фракции правых, скучно написано, серо читается. Зал не хвалит и не возражает.

Наше отечество переполняют выходцы из Германии, завладевшие лучшими землями, всей нашей торговлей и промышленностью... Имеют полную возможность сообщать нашим лютым врагам сведения о... Портить мосты, взрывать склады, вызывать искусственно народные смуты.

Большинство Государственной Думы систематически уклоняется обсудить вопрос о борьбе с немецким засилием.

Хищническая спекуляция появившихся повсюду мародёров тыла, банков и акционерных обществ. Мы, правые, более года назад... Государственная Дума ограничилась... Также и правительство не проявило...

Лишь под конец — касаясь нерва:

Мы осуждаем тех, кто промахи правительства стремится использовать для захвата власти в свои руки при громких словах о служении родине. Мы отвергаем обвинение, что правительство подавляет так называемую общественность. Ошибки правительства совсем в другом: в отсутствии твёрдой власти, боязни крутых мер. Правительство повинно скорее в желании всем угодить.

(В 1916 это никак не кажется очевидным, ещё долго надо пожить, чтобы сравнить.)

Если на нужды Земского и Городского союзов отпущены сотни миллионов казённых денег, ради этой работы десятки тысяч людей освобождены от воинской повинности — можно ли говорить, что правительство препятствует деятельности этих организаций?

(Сколько отпущено — 550 миллионов казённых при 10 миллионах собранных — никто и не знает, потому что вся свободная либеральная многочиситаемая печать единодушно отказалась эти невыгодные сведения печатать.)

Мы призываем прекратить пагубную борьбу за власть или по крайней мере отложить её до конца войны.

Но Дума не хочет такого слышать — и не слышит.

А вот — подошло и Керенскому, еле дотомился. Всё, что было в заседании до сих пор, — это скука, вот только теперь начнётся! Измученный своею неистовостью, своею особой сладкодрожной ответственностью перед русским обществом и перед Думой, — 4-й Государственной, а своею первой, зная за собой соединение и крайней политической смелости и высочайшего красноречия, Керенский не упускает ни единой возможности выступить — в прениях, по запросам, по мотивам голосования, для объяснения своего поведения при выгоне из зала, — кажется, едва сбежавши с кафедры, он тут же записывается вновь, и вот дождался, и снова взбегает, взлетает туда же, легконогий, затянутый в талии, нарядный на щипок. (Справа кричат: «Шафер! Пусть расскажет, как он был шафером!») Ах, до этого ли, ах, не об этом, когда выются, выются выражения, одно красивее другого, и никакого нет затруднения в языке, изо рта их выпускать вдвое быстрее, чем любой оратор в этом зале:

К е р е н с к и й: Кровавый вихрь, в который по почину командующих классов вовлечена демократия Европы, должен быть окончен! Но, господа, как мы можем подготовле-

ние мира, которого жаждет демократия, предоставить тем людям, которые планомерно разрушают организм государства? Разве прошлогодний страшный гром на Сане и у Варшавы заставил их...

и с малым поворотом натянутого стана картинно откинул изящную руку направо назад, на опустевшую ложу министров,

...опомниться и уйти с этих мест? Они быстро очнулись, и долгий год производились новые издевательства над русским народом. Было сделано всё, чтоб уничтожить энтузиазм и бодрость.

Вот это слово — энтузиазм! изиазм! — особенно эффектно прокрикивает он даже в самом безудержном риторическом потоке. Да и с гектографических отпечатков будет очень эффектно читаться через несколько дней. Фракция Керенского, как и Чхеидзе, малочисленна, не влияет на думское голосование, зато вдвоём они проговаривают едва ли не четверть думского времени.

Господа! Правительство *издевается* над охватившим всю страну требованием амнистии! За последний год создан режим настоящего белого террора! Все тюрьмы переполнены представителями трудящихся масс!

(Даже по Чхеидзе — политических 7 тысяч, и то большей частью в ссылке, откуда только ленивый не бежит да кто не хочет в армию попасть.)

И разве это не символ, что наши товарищи, члены Государственной Думы, социал-демократы, остаются на поселении в Туруханском крае, а Сухомлинов разгуливает по Петрограду? (Слева: «Позор!»)

Кто создал в России, житнице государств, разруху и дезорганизацию, когда городские массы принуждены выступать с криком «хлеба!», а им отвечают свинцовыми пулями?!

Случай такой ни у кого не на памяти, но с трибуны всё идёт.

...Кто повинен, господа, что в стране всё больше и больше возникает настроение уныния и ужаса? Правительство в своей деятельности руководствуется нащёптываниями и указаниями безответственных кругов, руководимых презренным Гришкой Распутиным!

Это имя называть запрещено, но Керенского — кто удержит? Эмоцио-нальный удар по нервам слушателей. Нарядный стройный шафер — на кулачки, беленькие мягкие кулачки — с тёмным, сопатым, бороватым мужиком!

Неужели, господа, всё, что мы переживаем, не заставит нас единодушно сказать: главный и величайший враг страны — не на ф р о н т е! он находится между нами! и нет спасения стране прежде, чем мы не заставим *уйти* тех, кто губит, презирает и издевается над страной?!!

А вот когда... а вот если бы когда-нибудь сам Александр Керенский... о, насколько иначе! о, какой яблоно-цветный вихрь! о, как иначе бы всё сразу пошло!

Скажите мне, господа! Если бы Россией в настоящее время управляли бы —

эта мысль, правда, не его, а Гучкова, она давно ходит, но отчего не повторить, если так легко слетает с уст? —

...агенты вражеских держав, — смогли ли бы они предложить своим слугам какую-нибудь иную программу создать анархию в России?

Министры не решаются прийти сюда и с глазу на глаз объясниться с нами, потому что они сознают, что они делают! потому что они знают, какая буря негодования ожидает их! (Рукоплескания слева.) Связав великий народ по рукам и ногам и завязав ему глаза, они бросили его под ноги сильного врага, а сами, закрывшись аппаратом цензур и ссылок, предпочитают исподтишка, как наёмные убийцы, наносить удар стране!!! (Слева бурные рукоплескания.)

Растерянный В а р у н - С е к р е т, степняк из-под Херсона, хотя и прочный либерал, но:

— Член Думы Керенский, призываю вас...

К е р е н с к и й: Где они, эти люди, —

всё пронзительнее указывая на пустые места правительства, он знает, что Милюков готовит сильный выпад, а надо — сильнее и опередить:

*в предательстве подозреваемые братоубийцы и трусы??* (Слева — бурные рукоплескания, центр молчит, справа: «Что он говорит? Это недопустимо позволять! Позор!»)

В а р у н: Член Думы Керенский, я вынужден вас предупредить, что за повторение...

А Керенскому и не надо повторения, он главное своё уже вывалил, но огонь и дым ещё выпыхивают:

Я не могу отсюда не сказать, что все попытки спасти страну бесплодны, пока власть в руках... Я утверждаю, что в настоящий момент нет большего врага, чем те, кто на высоте власти ведёт страну к гибели! Я утверждаю, что именно это должно быть сказано тем, кто платит податью крови и обнищанием... и которые правды знать не могут! Мы должны сказать массе: прежде, чем заключить мир, достойный международной демократии, вы должны уничтожить тех, кто не сознаёт своего долга!!! Они...

третий раз тем же драматическим поворотом, пронзая ложу правительства адвокатскою дланью,

...должны уйти! Они являются предателями интересов...

Ай, беда: Родзянки всё нет и нет, а ведь выходил на минуточку! А до законного полного часа ещё долго Керенскому, ещё натолкает ниспро-

вержений царя земного и Царя Небесного. И напуганный, неопытный Варун-Секрет звонит над змеиною головой оратора:

— Член Государственной Думы Керенский, я вас лишаю слова. Прошу оставить кафедру.

А тот — вдруг и не спорит, вдруг легко покорился. Как пузырь проколотый, вмиг падает карающий оратор. Только что удержу не было его гневу, а вот, изящно отряхнувшись, и изогнувшись, с платочком из нагрудного кармана, под любование балконных дам, одобрение левых и ярость правых он прогулочно сходит по ступенькам. Милюкова он обскакал, а больше ему ничего и не надо. Он исчерпал свои жесты и обвинения, а предложений и не было с ним, он так и рассчитывал, что его прервут, и даже бы лучше — раньше.

Ну, кто же теперь с другой стороны? Кто же, равный, от правых, кинется в схватку? Э-э-э, таких у вас нет. Опять нудно, ровно, монотонно выходит читать с готовой бумаги заявление фракции русских националистов сухопарый камергер, отставной гвардейский гусар

Б а л а ш о в: В сознании своей ответственности перед Россией и Престолом... Восторженно приветствует могучих и доблестных... К прискорбию, правительство не имеет плана действий... Постоянная смена лиц, издание непродуманных, несвязанных мер... Благоприятное положение для мародёрства... Но и законодательные учреждения, принявшие на себя ответственность по снабжению и продовольствию... Создание великой Румынии, дружественной славянской... Наивны и легкомысленны те, кто думают, что близок конец мировой войны. Доколе не будет достигнуто объединение всех древних русских земель и обладание проливами...

Мы призываем все классы к терпению, самопожертвованию и борьбе с роскошью. Мы верим, что результатом мировой борьбы... нравственное возрождение народа... торжество русской культуры...

Скучно, скучно. Но и должна же быть передышка перед взрывом. И досадно, что дергунчик Керенский самое звонкое уже выкрал и вызвонил. Но это — право и привычка левых. Да не так важно, что сказано, важно — кем. Лидер парламентского большинства скажет и осторожней, но это умножится на его большинство, на весь Прогрессивный блок. Лидер парламентского большинства (по западным меркам — непременный глава правительства!) и в прения записан не наудачу, а так, чтобы своим выступлением оглушительно закончить думский день. Уже приглашённый на кафедру, он полукругло обходит стенографисток совсем не так, как депутат средней известности. Ещё не оглянувшись на зал, он знает, что нет рассеянных глаз, отведённых в сторону, а все следят за его основательным затылком, широкой шеей, плотной спиной и ждут, что не с пустым он идёт, что каждый его восход на эту кафедру есть эпоха думской работы, есть шаг русской истории. (Так и пишет



французская печать: великий лидер, кто в ближайшем будущем сыграет выдающуюся роль в своём отечестве.) Когда же он обернется к залу седоватым хохолком, строгими простыми очками, не предвещая мирных речей сильно распушёнными усами, а между тирадами, читаемыми с бумаги, подарит залу кое-что из лучших манер, с которыми не стыдно фигурировать и в европейской среде, — он видит, как думское большинство соединено и захвачено, а реакционный правый сектор дёргается от ярости.

Так — всегда. Но сегодня с особой задачей всходит на кафедру лидер партии Народной Свободы и лидер Прогрессивного блока. Он — с марта по-настоящему не выступал, он целую думскую сессию пропустил в европейской поездке. Да уже две сессии кряду прошли слишком мирно, в диссонанс со смелыми съездами Союзов; уже есть впечатление, что Дума теряет авторитет оттого, что конфликт её с правительством остановлен. Сколько мог, сам же Павел Николаевич благоразумно и тормозил действия Блока — но возросли долг и вина перед левыми, уже нельзя отстать от революционной общественности, пришёл момент дерзко, эффектно взорвать там, где не удалось высидеть и сдвинуть. Без честного союза с левыми, без подпора слева либералы не могут существовать. И чем обиднее тянут левые на раскол, лишая кадетов живительного соединения с народом, тем сотрясательнее должна быть сегодняшняя речь, чтоб и с левых скамей исторгнуть возгласы удовлетворения и устыдить отколовшихся прогрессистов. — («Дума отставала, общий барометр поднялся. Ждали *нового слова* с возраставшим нетерпением. Его надо было сказать 1 ноября. Было ясно, что удар по Штюмеру уже недостаточен, надо идти выше, не щадить источника, к которому слухи восходят. Я сознавал тот риск, которому подвергался, но считал необходимым с ним не считаться».)

И, поднимаясь на кафедру, он возносит с собой невидимую пудовую бомбу, ставит её пока у ног.

М и л ю к о в: С тяжёлым чувством я всхожу сегодня на эту трибуну.

С очень приятным, напротив. В двух Думах прочёл он уже полсотни речей по часу каждая — и с наслаждением. Той профессорской кафедры, которой лишили его в молодости, насколько же почтённое думская. Там ещё студенты будут ли твою лекцию записывать, а тут — вырвут у стенографисток, и через день в тысячах экземпляров в десятках поездов — по всей России. Умственным взором уже читаются завтрашние газеты: «Потрясающее впечатление произвела блестящая речь Милюкова — одна из лучших его парламентских речей. С огромной силой он бросал в слушателей острые вопросы. Чувствовалось, что мы переживаем один из тех моментов, когда слово становится делом». Потрясёт эта речь и тех, кто никаких речей никогда не читает. А когда-нибудь цитатами войдёт и в учебники русской истории. Итак:

Вы помните те обстоятельства, больше года назад... Страна требовала министерства из лиц с доверием... Под впе-

чтением наших военных неудач власть пошла тогда на уступки. Ненавистные обществу министры были удалены, и было положено начало отдачи под суд бывшего военного министра. Какая, господа, разница теперь, на 27-м месяце войны! Скажу открыто: мы потеряли веру, что эта власть может нас привести к победе. Все союзные государства призвали в ряды власти самых лучших людей из всех партий.

(Такие же есть и у нас!..)

...А наша власть опустилась даже ниже того уровня, на котором она стояла в нормальное время русской жизни. Не обращаясь к уму и знаниям власти, мы обращались к её патриотизму и добросовестности.

Такого, впрочем, никогда не было, но это — фигура.

...А можем ли мы это сделать теперь? Господа, если бы германцы захотели употребить свои средства влияния и подкупа, чтоб дезорганизовать нашу страну...

да опять же гучковская мысль, уже и перехваченная Керенским, но можно и Милюкову, уж очень ярко, —

...то ничего лучшего они не могли бы сделать, чем как поступало русское правительство. 13 июня...

(на неделю позже, но профессор истории — не математик, вечно путает проклятые даты)

...с этой кафедры я уже предупреждал, что «из края в край земли русской расползаются тёмные слухи о предательстве и измене». А три дня назад заявили и председатели губернских земских управ: «Мучительное подозрение перешло в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на ход государственных дел».

Друг на друга ссылаться — это ещё, конечно, не полное доказательство, однако — кровь леденит: вражеская рука тайно влияет!.. Ведь зря люди не скажут! Тёмные силы — грозны, сплочены, многолики, таинственны, нависли над Россией, а мы-то одурочены и отдались им!

Милюков говорит, как всегда, многолетне усвоенным докторальным тоном, и такая отчётливость в его голосе, что даже не смеешь усумниться.

Господа, я не хотел бы идти навстречу болезненной подозрительности, но как вы будете опровергать возможность подобных подозрений, когда кучка тёмных личностей руководит в личных низменных интересах важнейшими государственными делами?

И теперь уже председатели губернских управ могут смело ссылаться на Милюкова!..

Составляя эту речь, искал Милюков, как использовать свой гражданский опыт минувших месяцев и покрыть недостаток отечественного опыта за то же время. Нашёл он удобным, сильно действующим и так-

тически неуязвимым — цитировать иностранные газеты, которые в поездках прилежно читал, и передавать тамошние слухи.

У меня в руках — номер «Berliner Tageblatt». Сведения этой статьи отчасти запоздали, отчасти неверны... Вы можете спросить, кто такой Манасевич-Мануйлов? Недавно — личный секретарь министра иностранных дел Штюмерера!

Захватывающе! В России, говорите, с хлебом плохо? Сейчас лидер Блока раскрывает нам самый стержень русских страданий:

Не скажу ничего нового, повторю то, что вы знаете: он был арестован за то, что взял взятку. А почему отпущен? Тоже не секрет: он заявил следствию, что поделился взяткой с председателем Совета министров Штюмерером! — и освобождён! (Рукоплескания, шум.)

В Думе иногда вызывали на дуэль за оскорбления, но — не Штюмерер же, Милюкову опасаться не приходится.

Вот когда затмены и Чхеидзе и Керенский, не читающие иностранных газет!.. Правда, потом выяснится, что взятка была подстроенная, а сколько, от кого именно, по какому поводу — Павел Николаевич никогда не добьётся, и не делился Манасевич ни с кем, а тем более с председателем Совета министров, ибо тут же арестован. (Ну что ж, это были всё

не прямые сведения, догадки: приходилось клеить мозаично, из отдельных фактов, часто мелких; юридически трудно формулировать обвинение, но в порядке бытовом оно очень вероятно.)

Однако, и кафедра ж эта — не университетская, где нужно описывать историю ровно такой, как она была. Перейдя из описателей истории в делателей её, отсюда надо крикнуть громче, чем позволяют факты, — чтобы стало зримо для общества и чтобы криком напугать врагов. Штюмерер должен быть убран, он всем ненавистен, а Милюкову ещё тем особенно, что безтактно, бездарно занял несвойственный себе пост министра иностранных дел.

Итак: чем же спасти Россию??

Итак, разрешите мне остановиться на назначении Штюмерера министром иностранных дел. Оно у меня слетается с впечатлениями моей заграничной поездки. Я просто вам расскажу по порядку, что я узнавал по дороге туда и обратно.

Так и самому проще, по порядку, по дороге. И на государственном уровне. Да ведь и депутатам интересно: за границу они не ездят, конфиденциально не беседуют в кабинетах наших послов в Париже и Лондоне.

...Berliner Tageblatt: «Штюмерер принадлежит к кругам, которые смотрят на войну без особого воодушевления». Kölnische Zeitung: «Штюмерер не будет препятствовать возникающему в России желанию мира». Neue Freie Presse:

«Как бы ни обрусел старик Штюрмер, всё же довольно странно, что иностранной политикой, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец. Он не обещал, — господа, заметьте! — что без Константинополя и проливов никогда не заключит мира».

Откуда же берут германские газеты уверенность, что Штюрмер, исполняя желание правых, будет действовать против Англии? Из сведений русской печати. В московских газетах была напечатана в те же дни записка крайних правых...

голос оратора ожесточается, это — те самые тёмные силы, кто мешает свободе, победе и Англии, —

...опять, господа, записка крайних правых, всякий раз записка крайних правых (Замысловский: «И всякий раз это оказывается ложью!»), доставленная в Ставку в июле. В этой записке заявляется, что хотя и нужно бороться до окончательной победы, но нужно кончить войну своевременно, а иначе плоды победы будут потеряны вследствие революции. (Замысловский: «Подписи! Подписи!»)

Да не знает Милюков никаких подписей, он такой газеты не видел, но тут приходится правдоподобно клеить из мозаики, ибо —

это старая для наших германофилов тема.

З а м ы с л о в с к и й: Подписи! Пусть скажет подписи!

А несчастный В а р у н ещё и не понял, где ему опасность, он себе позвякивает:

— Член Думы Замысловский, прошу не говорить с места.

М и л ю к о в: Я цитирую московские газеты.

Какие газеты? за какое число? Отчего бы не сказать? Да ведь газет много, календарных чисел ещё больше, всего не пересмотришь, а Павел Николаевич был за границей, потом недосуг, вот «Neue Freie Presse» — пожалуйста, от 25 июля.

З а м ы с л о в с к и й: Клеветник, скажите подписи, не клеветите!

В а р у н: Член Думы Замысловский, покорнейше прошу...

З а м ы с л о в с к и й: Дайте подписи, клеветник!

В а р у н: Член Думы... призываю вас...

В и ш н е в с к и й 1-й: Мы требуем подписи, пусть не клеветает!

В а р у н: Член Думы Вишневецкий-первый...

Вот прицепились с этими подписями! Ведь сидит же спокойно Прогрессивный блок, сидят спокойно левые, никаких подписей не требуют, всё объективно. Большинство зала — против тёмных сил, и отступленья уже нет, теперь вся уверенность — в твёрдости голоса. И, продувая топырчатые усы,

М и л ю к о в: Я сказал вам свой источник — это московские газеты, из которых есть перепечатки в иностранных газетах...

Не сказать прямо — в газетах другой воюющей стороны, неудобно, но немцы-то, аккуратные люди, неужели же будут неправильно цитировать? Наверно, промелькнуло где-нибудь. Ну, может быть, не именно точно так. А в археологии как? необразованность! по каким-нибудь там безымянным черепкам восстанавливают, складывают...

Я передаю те впечатления, которые за границей... Я говорю, что мнение иностранного общества такое, что в Ставку доставлена записка крайних правых...

(и, как все документы Ставки, опубликована в московских газетах)

...что нужно поскорее кончить войну, иначе будет революция.

З а м ы с л о в с к и й: Клеветник, вот вы кто!

М а р к о в 2-й: Он только сообщил заведомую неправду.

Г о л о с с л е в а: Допустимо ли это выражение с мест, господин председательствующий?

В а р у н: Я повторяю, член Государственной Думы Замы...

М и л ю к о в: Я нечувствителен к выражениям господина Замысловского. (Голос слева: «Браво!») А кто делает революцию? Оказывается, её делают городской и земский Союзы? Военно-промышленный комитет? съезды либеральных...

Ведь вот же напраслина! вот придумают!.. От этой записки правых поскорее уйти:

Господа, вы знаете, что кроме приведенной записки существует целый ряд отдельных записок... *Idée fixe*: революция, грядущая со стороны левых!

Ну, действительно, чего не придумают: революция — и вдруг со стороны левых! Да где это видано?

...Идея фикс, помешательство на которой обязательно для всякого члена кабинета. И этой идее фикс приносится в жертву высокий национальный порыв и зачатки русской свободы!.. Продолжая своё путешествие... Доехав до Лондона и Парижа... Прочность доверия с союзниками... Соглашение о Константинополе и проливах... Когда министерством управлял Сазонов...

а на него влиял Милюков... И вдруг пост занимает — кто же?.. Не Милюков, а Штюмер.

Какая может быть вера русским послам, когда за ними становится Штюмер? В деликатном деле дипломатии есть кружевное шитьё и есть топорная работа... Господа, я видел разрушение деликатнейших фибр... Вот что сделал гос-

подин Штюмер — и может быть недаром он не обещал нам Константинополя и проливов!

С этими проливами хорошо хоть не напоминают: до войны объезжал Милюков страну с пацифистскими лекциями. Но это вздор, молодцу не укор.

Потом я поехал дальше, в Швейцарию, отдохнуть, а не заниматься политикой.

Читая думские отчёты, ведь как приятно будет узнать тем же русским солдатам-окопникам, что не остался без летних вакаций лидер партии Народной Свободы и даже заглянул погулять на швейцарские курорты. (А в рождественские вакации собирается на свою милую дачку в Крым.) А в Швейцарии-то — наших революционных эмигрантов!.. Кое с кем и встречался.

Но и тут за мной тянулись те же тёмные тени. На берегах Женевского озера я не мог уйти от департамента полиции. Знаете, *поручения особого рода*, которые вызывают к себе наше особое внимание.

Так тайные сыщики ходили за Милюковым по пятам? Нет, они развлекались:

Чиновники департамента полиции оказываются посетителями салонов русских дам, известных своим германophilством,

а уже Милюков ходил по их пятам, жертвуя отдыхом.

Господа, я не буду называть вам *имени той дамы...*

Интригующе звучит, и даже роковой гораздо, чем если имя назвать. Одновременно и тонкий флёр — знать, он допущен к дамам... Однако для конкретности:

...той дамы, перешедшей от симпатии к австрийскому князю к симпатии к германскому барону...

Неизбежные личные подробности, женщины всегда притягивают их в политику... Когда сейчас в кулуарах обступят и будут чествовать оратора, жать руки и восторженно благодарить, конечно будут и жадно спрашивать...

Салон на Виа-Курва, а потом в Монтрё был известен открытым германophilством хозяйки. Теперь эта дама переселилась в Петроград. Газеты упоминают её имя. Проездом через Париж я застал... Парижане были скандализованы, и я должен с сокрушением прибавить, что это — та самая дама, которая начала делать карьеру господина Штюмера...

Такой тонкий дамский материал, что уже и правые не рычат, не кричат. А между тем как раз тут небольшие простительные ошибки, (Летом 1917 благодушно и честно признается Милюков:

Для меня впоследствии выяснилась невинность этой дамы, Е. К. Нарышкиной.

Тем более, что эта Нарышкина, Лили, совсем и не возвращалась в Петроград, а в Петрограде газеты упоминали совсем другую Нарышкину, Зизи, старушку-гофмейстерину, у которой чуть сердце не разорвалось от милюковской речи. Впоследствии Павел Николаевич разобрался. Но тогда, с думской трибуны, только тревожное подозрение, только жгучий слух мог толкнуть Историю — а какую политическую выгоду принесло бы добросовестное сомнение? Народные массы, вся Россия, весь мир ждали от Думы чего-нибудь такого-такого-этогого...)

Что я хочу сказать этими указаниями? Господа, я не утверждаю, что я непременно напал на один из каналов общения. Но это — одно из звеньев... Чтобы открыть пути и способы... Тут нужно судебное следствие...

Шутки шутками, а как напряжён зал! — никакую детективную пьесу не смотрят с таким захватывающим волнением. Кажется, вот уже, вот уже приоткрывается завеса над страшными тайнами! Да какой же проницательный этот Милюков! Да ведь он намного больше знает, чем высказывает! И вот уже он называет не даму, но зловещее имя:

Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели данных. Мы имели то, что и теперь: инстинктивный голос *всей страны* и её *субъективную уверенность*! (Рукоплекания.)

Боже мой! Мы тут сидим, или там гниём в окопах, — а мы преданы! Россия — предана! Куда нас ведут?

(И о Сухомлинове скоро выяснится, и скажет Павел Николаевич в доверительной обстановке, когда его слова уже не будут делать политики:

Несоответствие с серьёзностью момента; не столько предательства, сколько полного рамолисмента, неспособности стать на высоту положения... Лично я был далёк от предположения, что тут что-нибудь другое, кроме простой глупости; предательство и измена — мне и в голову не приходило.)

...Господа, я может быть не решился бы говорить о каждом отдельно из моих впечатлений, если бы не было совокупности... Переехав из Парижа в Лондон... Что с некоторых пор наши враги узнаёт наши сокровеннейшие секреты, и что этого не было во времена Сазонова. (Возгласы слева: «Ага!») Прошу извинения, что, сообщая о столь важном факте, я не могу назвать его источника

(один союзный дипломат побоялся показать одному нашему послу одну бумажку).

Но тем страшней, что не называется: значит, самое сердце наших секретов передано Вильгельму!

Из декларации Блока «измену» вычеркнули, — но ту же измену заталкивает Милюков сбежавшему из зала правительству — да как лов-

ко! И вот подходит самое взрывное место речи. Но на всякий случай себя обезопасить:

Господа, не питая никакого личного подозрения, я не могу сказать, какую именно роль эта история сыграла в уже известной нам *прихожей*, через которую прошёл и Протопопов к министерскому креслу. (Слева шум: «Великолепно! Это — Распутин!»)

Да, это выразилось тонко и изящно. Но тут, друзья, не Распутным пахнет! — ещё не представляли кричавшие всей силы милюковского взрыва. Вот приём: прочесть по-немецки! — бегло, с лёгкостью, лишь бы прочесть, хотя б и не поняли, лишь бы не прервали:

Это — та придворная партия, которая назначила и Штюмера. Как пишет Neue Freie Presse: «Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich um die junge Zarin gruppiert!»

Прошло-о! Остолбенелый Варун и не пошевелинулся. Да и в зале мало кто понял, — неважно, лишь бы сказано, а переведётся в списках. Будут захлёбываться, передавая изустно:

придворная партия, сгруппированная *вокруг молодой царицы!!!*

А прошло — так можно ещё ударить! И, как ни в чём не бывало, снова по-русски:

Во всяком случае, я имею *некоторые основания* думать, что предложения, сделанные в Стокгольме германским советником Протопопову, были повторены *более прямым путём и из более высокого источника*.

Думцы лбы потирают, ещё не поняли. Вот преимущество профессора перед полуграмотным Чхеидзе или банальным Керенским: какие гладкие фразы, ни за что не уцепишься, а всё сказано! Из более высокого источника — значит, не ниже германского министерства иностранных дел, и более прямым путём — значит, прямо русскому правительству или даже царю!

И когда из уст британского посла... тяжеловесное обвинение против того же круга лиц...

переводите сами — круг молодой царицы,

...подготовить путь к сепаратному миру...

Вот она, сила парламентского слова! — как там ни стянуто, ни сплетено, но едва произнесено — и уже стынет гранитным утёсом: *ц а р и ц а г о т о в и т с е п а р а т н ы й м и р !!!*

Никто не успевает ни сообразить, ни крикнуть, ни пикнуть: а — какие же, собственно, эти «некоторые основания»? Откуда вы, Павел Николаевич и сэр Джордж Бьюкенен, заключаете, что... ?

(Ну, когда-нибудь, когда-нибудь Павел Николаевич объяснит добродушно:

Одно загадочное обстоятельство, которое мне так и не удалось выяснить. Мне как-то прислали американский



журнал, в котором была статья «Мирные предложения, сделанные России». Портрет фон Ягова, портрет Штюмера, а в тексте излагалось содержание статьи швейцарского журнала *Berner Tagwacht*. Довольно правдоподобные пункты мирных переговоров, предложенных России. Как они попали в *Berner Tagwacht*, какие сведения у них есть, я так и не добрался. Официальных следов в русском министерстве иностранных дел не нашлось. Однако намёки были постоянные, *так что может быть тут кое-что и было*.

Да, было, конечно было: статья в *Berner Tagwacht*, подписанная К.Р.: Карлу Радеку не на что угля было купить, да и забавно.)

Ну, а раз намёки были — значит, лидер думской оппозиции имеет право обвинить русское правительство в *измене*!

Вот она, бомба, у ног приготовлена! Теперь её понемногу приподнимая :

Да, господа, теперь вопрос о нашем законодательстве отодвинут на второй план. С *этим* правительством мы не можем вести Россию к победе! (Слева: «Вер-рно!») Прежде мы пробовали доказывать, что нельзя вести войну внутри страны, если вы ведёте её на фронте. Теперь, кажется, все убедились, что обращаться к *ним* с доказательствами бесполезно: страх перед народом спит им глаза, и основной задачей становится поскорее кончить войну, хотя бы вничью, чтоб только отделаться от необходимости искать народную поддержку.

Но в кого бросать бомбу? — правительство сбежало, Родзянко сбежал, царь высоко и не придёт оправдываться. Слушай же, вся Россия!

Мы говорим этому правительству: мы будем бороться с вами...

— впрочем, осторожность не мешает —

...всеми законными средствами, пока вы не уйдёте!

(Слева: «Пра-авильно! Вер-рно!»)

Прямо об *измене* Блок не разрешил, но на предварительных заседаниях Миллюков подхватил фразу: «либо круглые идиоты, либо изменники, выбирайте». И теперь, от плеча разнося:

И не всё ли равно для практического результата, швырнул! полетела!!!

имеем ли мы дело с глупостью или изменой? Когда власть сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию —

взорвалась!!!

— что это: ГЛУПОСТЬ или ИЗМЕНА? (Справа — гневный шум, крики, ломают пюпитры. В центре и слева — ликование.)

Ведь это кинул — не социалист, который за слова не отвечает, но лидер образованных цензовых ответственных людей! Он — зря не скажет!

Когда на почве общего раздражения власти *намеренно вызывают народные вспышки* — потому что участие департамента полиции в заводских волнениях доказано — и там разбирайся, столько же доказано, как предыдущее всё: германцы под Ригой, а петроградская полиция по оборонным заводам распускает листовки на бунт — лишь бы «спровоцировать мир»?

— что это: глупость или измена?? (Ликование и гнев.)

(А если через 40 лет и установят архивами, как и сейчас на глаз понятно простаку, что эти бунты всего нужнее немцам, а деньги у них есть, и агенты есть, и методы такие приняты, — ну ладно, пусть тогда и понизят профессора в ранге, не сегодня.)

Вы спрашиваете: как же мы начинаем бороться во время войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Поэтому во время войны и во имя войны мы с ними теперь и боремся! («Браво!» Рукоплескания.) *Победа над злонамеренным правительством будет равносильна выигрышу всей кампании!!* (Бурные продолжительные рукоплескания, кроме крайних правых.)

Да-да, аплодируйте, а я тихо сойду на место. Аплодируйте, но вы сами ещё не понимаете, какую речь вы слышали сегодня. За ней установится

репутация штормового сигнала к революции!

Газетам запретят её, но страна чутьём угадает смысл белых мест. Страна вострепелась, пролетит

электрическая искра по ней от ваших речей в этой белой зале. До сих пор Россия бродила ощупью во тьме. Она теряла цель. Она начинала уставать. Страну окутывали призраки. И вот Государственная Дума дала стране луч света! И уже затеплилась надежда! И стала возрождаться воля.

Это из скромности говорится: «от ваших речей». Но не от речей же правых. И не от пляски Чхеидзе и Керенского. А за вычетом — одна только речь.

Действительно, господа, моменты, подобные 1 ноября, не повторяются. Запомните дату: 1 ноября — это эра!

И если я скажу:

Страна готова признать в вас своих вождей,

то, за вычетом, понимайте: признать вождем — меня.

А с правительством, после *измены*, больше не о чем говорить.

Итак, с парламентской трибуны открыто объявлено, что монарх этой страны — изменник и состоит в сговоре с воюющим врагом. Какая же карающая десница завтра упадет на голову клеветника?

А никакая.

Какой гром разразится над ней?

А никакой. Ведь давно уже привыкли, что общество недовольно, что общество нападает, — и сочтено хорошим тоном не унижаться до ответов.

Но если под основание трона внесли глину *измены*, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл.

## 66

Могилёв напоминал огромную офицерскую гостиницу: всё время прибывали, убывали. Полковники и генералы, приехавшие с фронта, могли рассчитывать быть приглашёнными и к высочайшему завтраку или обеду — но для этого надо было заявиться, а потом ждать. Такой цели, однако, и такого желания у Воротынцева не было.

Издали видел он, как Государь перед своим домом делал смотр терской конвойной сотне, воротившейся с фронта, довольно и этого погляденья.

В офицерской столовой при Ставке многие не успевали узнать друг друга, приезжали накоротко по служебным предписаниям, уезжали, состав обновлялся от завтрака к обеду и к ужину, и за столиками сочетались всё понову. А между тем наблюдатель, сторонний духу этих людей, даже не догадался бы, что они вовсе не сознакомлены хорошо, что они не служат вместе годами. И всегда свойственная кадровым офицерам (а прапорщики не попадали сюда) взаимообязанность, так выраженная в общности формы, поведения, отдачи чести, сильно углубилась войной, уже о третьем годе, смягчились прежние мелочные разногласия между гвардией и армией, родами войск, училищами, полками; напротив: между любыми двумя офицерами-фронтовиками, оказавшимися рядом, проявлялись дружелюбие, сочувствие, даже забота, как между старыми однополчанами, — особая дружественность, когда нет обязательных служебных отношений. Одно общее все отведали, одно общее всех ждало, сегодня полковник, а завтра покойник. И если кто-то мог другому посоветовать, объяснить, помочь, облегчить, — каждый спешил это сделать по некоему высше-семейственному чувству. Их, таких, за годы войны поредело втрое и вчет-

веро, а долг и задача разлагались по плечам, по погонным прямоугольникам оставшихся.

Так и усевшиеся за стол с Воротынцевым завтракать капитан, подполковник и пожилой сапёрный полковник с тяжеловесной головой друг друга не знали — и знали хорошо. Ни фамилий, ни частей своих ещё не назвали, а, едва усевшись, держались знакомо, приязненно.

И Воротынцев с удовольствием принял этот тон, после короткой поездки и небывалых встреч опять переводивший его через свой порог — в армию, в полк, в невылазное и привычное фронтовое бытё. Принял и перебегающий разговор: подполковник и капитан поругивали столовую и порядки в Ставке, и само расположение её, и офицерскую гостиницу, но всё это в шутку, взамен выдвигая преимущества жизни в землянках. У подполковника с золотым зубом из-под дерзких губ особенно легко, забавно получалось. Он уверял, что если уцелеет, то в городе уже всё равно не сможет жить, а построит на окраине блиндаж с хорошим обзором и ещё на дерево будет лазить смотреть. А вот и анекдот. Пленный немецкий офицер: «Вы, русские, утверждаете, что не готовились к войне. Но как же бы вы в такое короткое время могли сделать свои дороги столь непригодными? Ясно, что испортили их заранее».

Воротынцев подумал: как странно, что за всё путешествие по столицам нигде не пришлось ему посмеяться легко. И какое ж это спасительное людское свойство, что чем хуже живётся, тем легче открывается человек смеху: совсем не смешное, а разбирает. Коснулось могилёвских дам, местных и беженок, и золотозубый подполковник с жёлто-белыми усами балагурил:

— Был я когда-то молодым в гусарах, и то успехом таким не пользовался, как сейчас эти *земгусары*. Дамы расчётливые стали: этих не убьют, и оклады высокие, и форма защитная почти военная, ремни и портупеи навешаны гуще нашего. А как только Милюкова поставят военным министром, так нас уволят всех, а их — вместо нас, и будет армия вигов.

Сапёр, не принимая смешливого тона младших, качал головой мрачно:

— Вакханалия дармоедства на государственный счёт. Приезжают с тысячами командировок, втираются в доверие фронта и везде разъясняют, что правительство никуда не годится, это во время войны! Почти поголовно левые и много евреев. А — в уез-

дах, в губерниях как распоряжаются! Делают власть ненужной, и всё.

— Ловчат от мобилизации, — оценил капитан. — Ферты самой здоровой комплекции, если так любят Россию и победу, лучше б уплатили налог крови.

— А ещё — Красный Крест, нейтральная держава. Развели этих частных госпиталей только для разложения солдат. Нячнутся с ними, одевают в полотняное бельё, кормят изысканной пищей, нежат их там разные барыньки, а кто-то и брошюрки подсовывает. А потом — лезь в окоп, воюй, — не хочу!

— В Москве чуть не на каждом четвёртом доме флаг Красного Креста, — вспомнил Воротынцев. — Тысячи частных маленьких лазаретов, а врачи штатские, и никакого там армейского контроля.

Чего ни коснись, наворочено к третьему году войны, как теперь из этого выходить? Искусство надо.

— А ещё беженские комитеты по всей России! — вспоминали. — И тоже там призывной возраст сидит. А хорошее бы место для женского равноправия.

— Это и с беженцами, — заявил золотой зуб. — Взялось бы заведывать ими правительство, и умерла бы одна девочка, — все газеты подняли бы вопль, и портреты этой девочки перед смертью и раньше, с мамой и с братьями, в пол-листа и в целый лист, переполнили бы прессу. А заведуют беженцами общественные комитеты, и умрёт две тысячи человек — будут писать и говорить: как мало! это — при миллионах беженцев!

Тут разговор расширился. Со столика через один послышалось громкое, и все стали оборачиваться туда. Там и не скрывались. Интендантский подполковник в пенсне, немного гундосый, со смачным удовольствием объявлял, что час назад разговаривал по телефону с Петроградом и ему сообщили: газеты вышли с белыми пятнами, во всех думских речах пропуски, о смысле можно догадываться только по оборванной связи. Но кто вчера был на хорах в Думе — потрясены речами, особенно милюковской.

— Такой исторической речи ещё не слышали четыре Государственных Думы! Он сказал что-то небывалое, сорвал все завесы!

Какие завесы? Не представить. Но тяжело ложилось на сознание: сорвал все завесы!

Батюшки, мы пока тут что — а там события шагают!

— Ничего, Земгор постарается, теперь заработают пишущие машинки и ротаторы, все запрещённые речи будут и у нас, в армии, даже литографскими листками.

Кто дальше сидел — переспрашивали, и быстро передалось от столика к столику, уже гулом разноречивым. Кто-то воскликнул, нарочито громко, для многих:

— Отрадно, что есть в России трибуна, где за тебя скажут!

Чем меньше ясности, тем больше предположений. Угадывали: что б такое мог Милюков сказать?

— А Шингарёв не выступал, не знаете? — не удержался Воротынцев спросить противного интенданта. Стал ему Шингарёв совсем как свой.

— Что теперь будет? — спрашивали. — Разгонят Думу?

— Да никто никого не разгонит. Правительство утрётся и так же останется на месте.

Сапёрный же полковник мало голову крутил на всё это оживление. Тут, над столиком, бурчал по-домашнему:

— Я не знаю, господа, как можно значение придавать, кто там с трибуны пузыри пускает, Милюков или Родичев? Вы спросите, они хоть одно дело настоящее знают? Я не говорю — сапёрное или артиллерийское, но вообще — заводское? горное? земледельческое? И куда ж они тогда лезут в ответственное министерство?

За соседним столом услышали, возмутились:

— Они куда не лезут! Они выражают свободное мнение России!

Гудели многие, по-разному, но больше раздавалось в пользу Думы, как бы громче. Сапёр махнул безнадёжно:

— Нынешние министры хоть дерьмо, так служить умеют, приучены. А эти думские — только болтать. Поставьте завтра их Россию вести — они из клозета не будут вылезать.

Отзавтракали, расходились. Звенела столовая шпорами.

Снаружи стоял пасмурный, но тёплый день.

На крыше генерал-квартирмейстерской части торчал пулемёт в чехле, против аэропланов. Близ него — часовой.

Воротынцев пошёл в оперативное отделение, на второй этаж, к Свечину. По приезде он видел его лишь бегло.

У Свечина был отдельный кабинет, обвешанный картами, обставленный папками, с тремя телефонами на столе.

— Да-а-а, — огляделся Воротынцев. — В Барановичах мы не так сидели: по три стола в халупной комнатёнке, и на всех один полевой телефон.

— Дело растёт, важнеет, — развалился Свечин в полумягком скруглённом кресле. У себя на служебном месте не был он лихим башибузуком, как в петербургском ресторане в те несколько часов. — Впрочем, в Барановичах всю эту игру в вагоны и халупы ввёл Данилов. Можно было нам спокойно и в палатах жить.

Тоже и посетителю стояло кресло удобное, Воротынцев уселся.

— И кто ж это всё возглавит? Как с Головиным?

— Уже-е, пролетел наш Головин, не котируется.

— Так Рузский?

— До сих пор надеется. Но не выйдет.

— Так кто ж?

Улыбался Свечин, нечастой своей улыбкой, обнажая зубы непомерные, здоровые:

— Вообще-то, честно говоря, хотел бы его величество обойтись Пустовойтенкой. Чем не полководец? — почтительный, исполнительный, поперёк не скажет ни слова и об себе не возомнит. А инструкции? — ему Алексеев перед уходом на три месяца вперёд выпишет. Но так как его величество должен часто ездить в Царское Село — тогда что ж? Пустовойтенко уже и за Верховного останется? Это уж как-то не то.

Наружного пасмурного света не хватало, светилась настольная под зелёным матовым стеклом. Помягчевший Свечин набивал трубку и Воротынцеву другую протянул:

— Набей, хорошо.

— Так — кто же? — взял Воротынцев.

— Никогда не догадаешься, — черно поблескивал идол. — Отгадывай до трёх раз. Ищи из тех, на кого совсем, ну совсем подумывать нельзя.

— Ты! — выпалил Воротынцев.

— Ты!! — перехватил Свечин. — Сказал Государь: «Эх, вот был у меня полковник Воротынцев, чуть самсоновского сражения не выиграл, вот бы я его назначил». — «Так Ваше Величество, жив ведь!» — «Да ну? Где?» — «Вот, под Москвой где-то, штамп неразборчив». А думаешь, я так легко мог бы тебе вызов послать?

В прошлый раз даже вспышка рассерженности была между ними, а сейчас — всё по-старому, устойчиво.

— Только на Николая Николаича не подумай. Хотя едет.

— Сю-да?? Это — первый раз со снятия?

— У-гм. Исторический момент. Хотел приехать к шестому — его день рождения и праздник царскосельских гусар, дядя ими командовал, племянник тоже служил, оба любят мундиры надевать. В общем, хотел дядя мириться или вдвоём без Алисы поговорить. Но — не разрешено. Велено ему приехать — после праздника, на другой день.

— Да в общем, да в общем, — покрутил головой Воротынцев. — Что ж — дядя? Пустомеля тот дядя. Один парад.

А Свечин это раньше него говорил. Теперь требовал:

— Ну, что-нибудь невозможное придумай! Ну, глупость скажи, но отгадай!

И смотрел со значением. Воротынцева как толкнуло, брякнул:

— Крымов?!

Свечин оскалился, широкозубый. Погрозил крупным пальцем:

— Ещё не забыл, не выкинул? Мне под конец показалось — ты образумился, не спутаешься.

Воротынцев даже и сейчас побурел, перечувствуя тот стыд:

— Да у меня действительно в тот раз сложилось... Но были и другие соображения, не думай... Да собственно, я и не полностью отказался от мысли...

— Ну и дурак, если так, — вывернул крупную губу Свечин. — А я за тебя порадовался, думал — ты хорошую семейную отговорку нашёл.

— Какая же хорошая? Срам. Но не только...

Свечин надвинулся через стол:

— А что в их перевороте хорошего, Егор? И посыпется, и посыпется... Им, гучковистам и этому Жёлтому блоку, сейчас самое трудное кажется — как сшибить. Нет, вы мне покажите, кем и чем вы замените. Если худшими или неизвестно какими, так лучше не сшибать, крутится — и крутится. Из дома Романовых — ну скажи, кому заменять? Мальчик? Игрушка будет у регентского совета. Да и слабый, неразвитый, ну что это — в двенадцать лет обливает генералов водой? Портят его общими усилиями. Михаил Алексаньч? Полковник ниже среднего, куда ниже нас с тобой. Николай Николаич? Уже сказали. Владимировичи? Тот пыжится, тот кутила. Константиновичи? Пускай стихи пишут. И выходит — республика? кадетское правительство? Да надо себя не уважать, чтобы под ними остаться. Чтобы под них Россию отдать.



Это всё было верно. Но не Воротынцева была и задача это всё наперёд решать.

— А Гучков — регентом? — жёг чернотой Свечин. — Или премьер-министром?

— Он — не стремится. Помнишь, сказал насчёт провиденциального...

— Сказа-ал! Ещё как ли искренно? Не допускаю, чтоб совсем не... Такую штуку затевать — и не прозревать себе долю власти? Уж коли с таким делом спутаешься — так непременно и стремишься. А ты бы — не стремился? Сразу в сторону отошёл бы?

Воротынцев мимолётно улыбнулся. Он нисколько не стремился, честно — нет! Он только хотел действовать для спасения России. Но прийдись до дела — сразу пришлось бы как-то и устраивать. Верно.

Свечин засёк улыбку:

— Ага!

— Да нет...

— А скажи, они все хором обвиняют правительство в неуважении к идее права, что права их будто попирают, — а сами лезут на государственный переворот — так что ж остаётся от прав? А? А ещё есть, ты знаешь, такая сволочь Бонч-Бруевич.

— Ну как же!

— Задница. В Академии три раза диссертацию защищал, три раза проваливался, поставили его на администрацию. Так вот, он подтолкнул Рузского на третье вторжение в Восточную Пруссию. И Бонч после этого стал начальником штаба армии, потом и Северного фронта. А что там вообще за публика, вокруг Гучкова дальше? — наседали Свечин. — Может похуже его намного?

— Да, перекосили его кадеты. Теперешний Гучков — не прежний.

— А конспирация? — Свечин обдымливался из крупной трубки. Сизо колебалось. — Конспирация — смех один! Встречным поперечным в любом кабаке всё открывает.

— Ну, на нас он мог рассчитывать.

— И это который раз уже наверно? И что ж ты думаешь, про их заговор не знают? Да весь Петербург говорит, что Гучков готовит заговор. Да уж в департаменте полиции, наверно, сто донесений. Какой он заговорщик? Любое дело погубит. Просто власть у нас робкая, не знает, с какой стороны каждый столб обойти.

— Да на деле — Гучков ни к чему ещё, видимо... Всё на словах. А сложностей может оказаться... хо-о!.. — Воротынцев отложил погасшую трубку. — Да и программа его странная какая-то. Со всем этим можно завести Россию и похуже, да.

— И что придумали — откуда революцию? Откуда она у них выперла, я не вижу. Эти общественные деятели сами накричали, сами себя и запугали. Россия у них всегда пропала, уже пропала, от самого Рюрика, вопрос решённый. Конечно, августейший больше всех и виноват, он их и распустил. Всё мечется, не приткнётся, никогда у него не хватало смелости потеснить их. Не дай бы Бог ему одной дивизией непосредственно командовать — так бы и замыкался и на пулемёты навёл. Как его лучшие любимчики и делают. Но это — и не его задача. А восседает на троне давно, и уже это хорошо. И слава Богу.

— Он — не дивизию, он — всю армию так и навёл, — повесно настаивал Воротынцев.

— Да это тебя Румыния довела, тебе и мерещится. Ты просто пересидел на передовых.

— А пойдёшь, там повоюешь.

— Чего ради я пойду, ты — сюда иди! Вздор какой! Разваливают, скотины, военную власть во время войны во имя якобы победы.

Воротынцев — на локти и ближе к нему через стол:

— Да не победы, Андреич. Деятели, может, и пугают, не видя. Но кто знает — пугаться есть чего. Поди да посмотри, из этого кабинета не видно.

Никуда Свечин не собирался, прочно утвердился:

— Просто — мятеж у тебя в крови вечно бродит. Ты — изродный мятежник. Ну, а у тебя какая программа? *Задремать*? Как это реально можно сделать при сближенных боевых линиях?

Да нет, если честно — так дрёмой одной не спасёшься, конечно. Что у Куба сразу не выговаривалось — здесь теперь, после всего уж сказанного... Очень тихо:

— Надо — выйти из этой войны совсем. Влипли не по разуму.

Сколько он проехал с этой мыслью, и уже бывала на кончике языка — а ведь так нигде и не выговорил, совсем это не просто произнести офицеру. А вот — уже как будто и поздно, и не место?

Растарачился Свечин, вот заорёт. Но тоже тихо, головы близко:

— Значит, всё-таки — се-па-ратный?

— А что остаётся?? Если грыжа через весь живот — как тянуть? Я тебе говорю: наш к о р е н ь выбит. Упустили мы в Четырнадцатом уйти в нейтралитет — так хоть теперь.

— И чтоб у нас кусище оттяпали?

— Ни-ка-кого. Да немцы будут радёшеньки сдыхаться. Нашей земли у них почти нет, очистят. А Польшу? Так Польшу всё равно освобождать, пусть немцы и разбираются. А от мамалыжников мы сами уйдём.

Не зарычал Свечин ни о присяге, ни об измене, а:

— Да ты же военный человек, подумай! Садись сюда — и отлично увидишь. Да кроме вашей говённой Румынии мы уже второй год нигде не отступаем, что ты, не знаешь? Это Земгор внушает, что война проиграна, но не тебе...

— Да не войну! Я тебе говорил: мы свой н а р о д проиграли.

— Ригу — держим, плацдармы за Двиной! Двинск, Минск, и по самый Пинск — всё наше! Снабжение, снаряжение? Лучше, чем в любой месяц с Четырнадцатого года. Вот, для тебя одного: по трёхдюймовым сколько выстрелов мы израсходовали за всю войну — столько же имеем сейчас в запасе! Пулемётов Тульский завод выпускал семьсот в год — а сейчас тысячу в месяц! Трубок артиллерийских раньше — пятьдесят тысяч в месяц, сейчас — семьдесят тысяч в д е н ь! ТАОН — слышал?

— Нет. Да счёт единиц ещё ничего не...

— Тяжёлая Артиллерия Особого Назначения. Такую теперь громоздим до купы. И для неё — уже резерв боеприпасов. УпАрт готовит на весенний прорыв. Такой силы мы ещё не проявляли, немцы ахнут. Тайна! Весеннее наступление будет грандиозное! На Балтийском флоте — Непенин, боевой. Как он и Колчак — таких молодых адмиралов во всей Европе нет. Весной 17-го Колчак хочет десант в Босфоре!

Движеньем руки сбок себя по настенной размашистой карте скользнул и по Чёрному морю.

Ну, этим Воротынцева как раз и не захватишь: Босфор отдайте сумасшедшим.

— А хоть бы и ничего у нас не было. Хоть бы и правда мы сейчас сложили лапки и задремали — и то бы войну выиграли. Вот на днях в Америке президента выберут, у него руки освободятся — смотри, как бы и он в войну не вступил, да ведь не за Германию же! Какой же дурак пойдёт на сепаратный мир, когда Германия уже носом хлюпает?

Отмахнулся, отмахнулся Воротынцев:

— Американская победа — не наша победа. Они вон нам денег на войну не давали. Нам — какая победа? Земли нам больше не нужно, нам народ надо выручать.

Да, разумеется, из штаба Верховного всё выглядит пободрей, даже и убедительно. Сидя тут, можно и поддаться этим аргументам. А спустись в окоп — а там плечи не прежние.

За эти три недели наговорено, наговорено было вокруг Воротынцева и им самим — а ясней не стало. Все мы вразнокос раскладываем сегодняшние события, предсказываем завтрашние, а истинный путь, как дело перейдёт, — один, да никто его не может разглядеть.

— Егорий, Егорий! Сколько раз я тебе говорил: чтобы делать историю — не надо взбрыкивать, не надо из упряжки выбиваться. Норов у тебя несчастный. А где поставлен — там и тяни. И так идёт история.

Воротынцев смотрел на глыбно-уверенного приятеля. На блестящий металл телефонных рычагов. На свою погасшую недокуренную трубку. Постукивал по кресельному подлокотнику.

Вздохнул.

Зрело у него — и в окопе, и пешком, и на коне.

А за эти три недели как-то растеребилось.

Вспомнил:

— Да! Так кого ж назначат?

— Сдаёшься? — заухмылялся Свечин. — Не догадался? — И, смакуя, перебивал крупными руками: — Этого и нельзя догадаться. Это тоже клонится, брат, к тому, что мы войну никак не проигрываем. — И почти крикнул: — Гурку!

Так назвал изменённо-шутливо, забыто — Воротынцев не понял. Обомлел. Переспросил:

— Гур-ко? Василь Осича? Гурочку? Быть не может!?

И уже не усидишь. Вскочил! Стал бить себя, бить себя по груди той ладонью и этой, и по кабинету бегать:

— Да как же это могло стрястись? Да как же... ?

— Вот так, — сиял Свечин. — Михал Васильич настоял, представь. Половину того, что я против старика говорил, — беру назад. Государю, конечно, очень невместно принимать такого дикаря и грубияна, — чужой, не такой, будет правду лепить. Но уступает старику: лежит, 38 градусов. Ещё не подписан приказ, но всё к тому.

Уж это-то, правда, нарушало весь стиль анемичного императорского руководства. Не был назначен никакой гвардейский остолоп, никакой великий князь, обойдены все ласкатели, искатели, воспитатели собачек, рассказчики анекдотов, фавориты Царского, все дутые генерал-адъютанты, все самонадеянные седокудрые старцы, и в обход Главнокомандующих фронтами, и в обход всех старшинств между Командующими армиями! — в руководство русской армией назначался настоящий боевой, отчаянный, умный, неутомимый, непримиримый генерал, во цвете решительности и сил, да к т о? — исконный вождь младотурок!!

— Э! э! Ты — не забирай! не забирай! — заметив и поняв, одёргивал Свечин. — Ты — опять своё думаешь? Если эту детскую игру в младотурки — так ты её кончай, забывай, выкинь! А какую он сейчас храбрую демонстрацию под Владимиром Волынским сделал, ты ещё не знаешь. Он — в отличной форме. С таким генералом мы... ! И ты — теперь будешь здесь опять!

Такой начальник штаба при таком Верховном — да! это будет властный Верховный Главнокомандующий! Такие звёздные взлёты не могут оставить спокойным сердце истинного офицера. Только так и взлетают настоящие полководцы! Только так и появится новый Суворов, которого жаждет Россия всю войну. Он и не смеет медленней, тогда он не Суворов!

И может быть, повернётся ход войны? Вот так и повернётся?

Или — уже поворачивается?

Но тогда... Если сам Гурко становится на это место — так переворот, по сути, уже и совершён? Лучшего кандидата — не избрать ни при каких обстоятельствах.

Так власть уже почти у н а с?..

\*\*\*\*\*

*ЕХАЛ БЫ ДАЛЕ, ДА КОНИ ТЕ СТАЛИ*

\*\*\*\*\*

## 67

А пока что надо было отработать свой вызов в Ставку — пойти в разведывательный отдел и там несколько часов позаниматься, дать сведения, заполнить некоторые ведомости.

Занимался, а захвачен был новостью, то и дело думал о Гурко, Неужели назначат? в обход стольких? Да если б только назначили! Как могло бы всё измениться, сколько — исправиться!

В первый момент взлетело неожиданностью: как его могут назначить? А если вспомнить, подумать — то может быть и не так неожиданно? Когда-то, в лучшие столыпинские годы, Василий Гурко поставлял военных советчиков для гучковской думской военной комиссии, да на его квартире и собирались с думскими деятелями, готовили мнения по законопроектам, — и среди тех первых советчиков был и Алексеев! Но потом, очень осторожный, Алексеев отбился и не попал под ругательную кличку «младотурки». И вот — не приходится ли подумать о нём лучше, чем говорили со Свечиным? — памятный, добросовестный и беззавистный, он не упускает заслуг и талантов? После того, что в Восточной Пруссии Гурко своей одной кавалерийской дивизией совершил рейд к Алленштейну и назад — для Самсонова поздний, для Ренненкампа разоблачительный, что можно было всем успеть, а сам по себе дерзкий рейд и безупречный, — Гурко был возвышен до командира корпуса. Но так на том и засох. Однако последний год Алексеев назначил его, ещё генерал-лейтенанта, на армию, где под него подпадали полные генералы, и временно давал ему Северный фронт, затем гвардейскую армию — и вот теперь притягивал сюда, единственным себе на замену. Благородно.

Захвачен был Воротынцев этой новостью, и всё теперь — его собственная завтрашняя судьба, где быть ему, и судьба расплывшегося за поездку и уже самому себе непонятного тайного замысла — всё начинало зависеть от Гурко. Замысел был сильно пошатан Свечиным, а в чём-то и Ольдой, — но ещё искал себе какую-то неизвестную форму.

От Ольды — письмо бы получить! Как давно он не видел Ольды, как соскучился! Столько уже прошло после неё! Да — есть ли

она у него вообще? Так это отгорожено было теперь и пансионными объяснениями. Грудью, телом Георгий не забывал Ольду ни на миг, носил в себе, при себе. А головой — даже и забывал.

За эти часы средний пасмурный тёплый день переходил в пасмурную бурю. Разыгрался ветер и по серому гонял чёрные тучи, хотя дождя из них не было. Разыгрался, кидался, толкал крупными сильными порывами, срывал шляпы, надувал одежды, отмётывал конские гривы и хвосты, посреди широкой Губернаторской площади даже останавливал в грудь пешеходов. Но что необычно для этого времени года и при таком мрачном небе: этот ветер нанёс тепла, избыточного, чуть не летнего, которое не могло удержаться долго, но вот к концу дня перед темнотою вносило сумбур в дыхание, в настроение. И когда Воротынцев после занятий собрался на почтампт, ему жарко, тяжело оказалось в шинели, в папахе, пожалел, что нет с ним плаща и фуражки.

Справа слышно обсвистывал ветер белую пожарную каланчу с золотистым верхом, как каской пожарного. Даже с удовольствием напрягаясь и наклоняясь против ветра, Воротынцев по плотно выложенному камню пересек Губернаторскую площадь, держа направление к старой ратуше — с башнею, видно не без польского влияния, до высоты шестого этажа. И вышел на Большую Садовую улицу позади ратуши, где вдоль каменной монастырской стены приставлены были мелкие еврейские лавочки и даже сейчас торговали для малышни «перепечками», «смажёной редькой» и другими забавами.

За монастырём с голубой колокольной дальше тянулась эта длинная торговая улица, и на ней все лучшие могилёвские аптеки, фотографии и магазины — на вывесках красные перчатки, золотые сапоги, гирлянды малороссийской колбасы. И два конкурирующих кинематографа — «Чары» и «Модерн». Было к сумеркам — и по ней же начиналось гимназическое гуляние, по две и по четыре гуляли гимназисточки в шапочках пирожками, а над ухом отвевался бант, по форме гимназии — то коричневая лента с золотистой кокардой, то синяя с серебристой, то малиновая с золотой. И попадались прехорошенькие и почти взрослые. А за ними, также по несколько, вышагивали гимназисты в тёмно-синих с белыми кантами фуражках «мятого фасона», как у кавалерийских офицеров, и реалисты в зелёных с жёлтыми кантами.

Тоже теперь своего рода столица, своя жизнь, своё оживление. И бурный тёплый ветер не мешал, а только подбодрял их всех.

Воротынцев шёл на почтамт в надежде получить «до востребования» письмо от Ольды. И чем ближе к почтамту, тем густилось в груди и колотилось только: Ольда!! Сколько с тех пор ненужных лишних дней, объяснений, переломов! И в невыносимое ж положение он поставил её, да и Вереньку в глупое, если Алина нагрязнула туда объясняться. Зачем? Зачем поторопился? Как он мог? Дурак. Чуть и само ольдино имя Алина не выманила у него, как у простофили. Наказала за откровенность.

О самой Алине третьи сутки он ничего не знал, но именно тем был даже облегчён: не видишь, не слышишь, не ноет. Только бы не в Петроград поехала, не с Ольдой разбираться. Помогла ли милая Сусанна? Удержала ли?

Алине — больно, да (а может — уже и меньше), ещё предстоит с ней встречаться, жить, быть, — но сейчас лишь усилием ума могло это вспоминаться. Сейчас хотелось — не думать о ней совсем.

Сперва подошёл к окошку телеграмм. Спросил. Сразу подали. Петроградская. Чуть не разорвал, разворачивая. От Веры. Всё в порядке, Алины не было.

Хватило рассудка, слава Богу.

А что Веренька пережила? Что она там думает? Неприятно ужасно.

И уже с отправшим грузом, уже с другим чувством ожидаемой сладости, Воротынцев пошёл спросить письмо. За дубовым неполированным старым барьером чиновник точными пальцами стал перебирать пачку на «В» и нисколько же не торопился найти (и ни за что же не пропустил бы). Воротынцев глазами вытягивал из его пальцев ожидаемый конверт, ещё не зная, как будет он выглядеть, ещё не получав никогда, ещё к почерку Ольды не привыкнув, чтоб узнать его издали и в повороте, но заранее желая и любя тот конверт и тот почерк, и всё, что будет им написано, от чего горячим польёт по жилам, уже сейчас лило!

И милый чиновник — нашёл! Нашёл такой конверт — уменьшенного размера, но не дамский, а чуть удлинённый, из плотной, слабо рифлёной бумаги, белой, но с сероватым отливом, в перемиинании уже издававший шелест нежной тонкой подкладки. А почерк был — не склонёнными, не сбитыми ни книзу, ни кверху строчками, из маленьких собранных замкнутых букв, как Ольда сама — с руками, замкнутыми вокруг себя, и ногами, подобранными на диван.



Вгоряче, а не хотелось небрежно рвать драгоценный конверт. А чиновник-душа, заметив стеснение полковника, протянул ему и ножницы. И всё это — не улыбаясь нисколько. Воротынцев ещё не резал, уставился в марки. Марки были из серии «в пользу воинов и семейств», знакомые, видывал, но сейчас сочетание их — не случайное? — ещё пригорячило: одна — Георгий Победоносец, копьём разящий с коня, другая — женщина в боярской шапочке, обнявшая ребятишек-сироток. Эта боярышня, видная со спины, была рослая, никак не похожая на Ольду, но своей высшей нежной королевской сущностью — конечно она!

Безопасно обрезав лишь реберко конверта, не захватив никакой полоски, Воротынцев отошёл читать к дубовой конторке, где боковые косые четвертные перегородки заслоняли его от возможных соседей.

Как соскучился он взять крохотные руки Ольды в свои! Слушать её голос пониженный, с напеванием!.. А сейчас — это всё наступило сразу: он не письмо держал, а — руки её, и слушал голос. Он не слова читал — он слушал Ольду. Он читал беспорядочно, неосмысленно, счастливо, перескакивая, возвращаясь, а то одну фразу трижды подряд, и никак не осваивая. Закрытый перегородками и наклоном конторки от соседей, углубился в Ольду, лицом окунался в неё, болтал с ней, и весь тон их счастливой болтовни был важнее незапомненных, недояснённых, пронесшихся фраз, — на то ещё будет время.

Только постепенно разбиралось, что вот так же беспорядочно писала письмо и она: долго ходила, ходила, полная им, как будто он не уехал прошлой ночью, но всё ещё здесь, ходила и разговаривала с ним. И, уже уставши, без пяти минут полночь села записать хоть остаток, хоть несколько фраз из говоренного. Села? — или опять ходит? — по своей исхоженной комнате, как по новой, и руки раскрывши: ты — здесь? С какой стороны? Подхвати меня! Подними меня!

Воротынцев глаза прикрывал — лучше видеть, как она идёт с распахнутыми руками, будто в жмурках. Возьми меня на руки! Беру, моя сладость! Беру, моё перышко!

Ходьба? письмо? разговор? поцелуй? — всё перепуталось, где это всё? Кто — кому? Стоял и перечитывал над конторкой, изомлевая, о конторку локтями держась. Никак не понять: когда кончится война — куда-то пойдём... босиком по лугу... — ступни её

босенькие он ясно видел — сверху целованные, с исподу целованные, и каждый крохотный палец отдельно.

И, спрятав письмо-сокровище, Воротынцев пошёл, пьяно ощущая ногами гладкий плитчатый пол почтамта. Уже в дверях подумал: а что-то было там и серьёзное? Читал, но в голову совсем не вложилось. Прочсть потом? Нет, сейчас.

Вернуться — только до стены под лампой.

Нет, опять назад — к нагретой четвертушке своей конторки.

Вытащил снова письмо из конверта, а при этом выпала ещё маленькая бумажка, приписка — как же он её не заметил раньше? Могла и потеряться, ай.

«А это — утром. Просто так. Жаль отсылать — станет одиноко. Слушай ветер! — это буду я. И слушай шорохи ветвей! — это буду я».

Клочок, две строки — а сердце опять вскинулось, взмолодилось, вырывалось навстречу: Ольда! дар мой! награда моя!

Да, но что же — серьёзное в письме? А вот что, нашёл:

«Раз ты там сейчас — прошу тебя: оглядись, присмотришься, разговорись: с кем можно делать то, что я так хотела в тебя вдохнуть. Ищи верных! Ведь это одно — наша общая, всех нас жизнь, не дадим ей оборваться!»

Всё так же плохо чувствуя пол, пошёл к широким, тяжёлым, самозакрывающимся дверям.

Вышел наружу — а со ступенек кинулся в грудь ему шалый ветер, — сильный, но по необычной своей теплоте — игривый.

Слушай! — это буду я!

За то время, что Воротынцев пробыл на почтамте, уже устоялся ранний, но тёмный вечер, засветили фонари, по Большой Садовой нередкие. Кажется, прошёл и небольшой дождь: свежие лужицы, к фонарям поблескивали мостовая и тротуар, украшая городской вечер. Но и от дождика только ещё теплее стало и ещё охватистей неровный буревого ветер. Что за погода! — весна в ноябре!

Воротынцеву хотелось идти, идти, и радостен был этот ветер. Шинель и папаха уже не тяготили его, таким он себя чувствовал невесомым, лёгким, и с лёгкостью отдавал встречную честь. Гулянье было уже в разгаре, и не только гимназическое, но появились и парочки, кто и с военными, кто уединяясь потемней, где углубление от уличной черты. И Воротынцев чувствовал себя ровесником этим юным влюблённым, но не млея шагом, а быстро, как по делу, прищёлкивал по плитам и призывенывал, несла и подымала его радость.

Он только что, на почтамте, держал за руки свою Ольду, он за пазухой нёс её, маленькую!

Как легко: всё твоё, твоею грудью схвачено, и несётся здесь, с тобою!

И сам несёшься, как воздушный шар, наполненный горячим воздухом.

Ещё проезжали и конные, и военные автомобили, и повозки, прошла солдатская команда — а как будто не были признаками войны. Этот город, обременённый постоем и заботами множества военных, оттого ли, что незнакомый, впервые видимый, или от налётов этого безумного тёплого ветра, или от фонарно-лужных отблесков — казался красивым местом безпечного молодого счастья. И только.

Не хотелось заворачивать в свою скучную гостиницу — тянуло быть с этой молодостью. Дошёл до Губернаторской площади — и, с удовольствием толкаясь о ветер, борясь и перешагивая его, — стал опять пересекать площадь, но не полевей, к квартирмейстерской части, а поправей — к скверику с солнечными часами, где был проход в городской небольшой парк, называемый Вал за то, что возвышался над крутым откосом к Днепру, может и насыпным когда-то. Шёл — и не надыхивался жарким влажным радостным воздухом!

Вторая жизнь?.. Могла начаться... Ольга — как новая галактика: с бесконечным числом ещё не исследованных, ещё подлежащих открытию миров.

Нисколько не замедлился, а так и нёсся по аллее Вала, не считывая его краткости, что сейчас оборвётся деревянным заплотом и откосом. Фонари тут были редкие, увеселительных заведений не было, хотя темнела сбоку эстрада — да ведь не сезон. По сторонам тут ещё больше было приволья для гуляющих пар, откровенно целовались — ещё паруся ликование Воротынцева.

Слушай шорохи ветвей — это буду я!

Так он быстро простегнул весь Вал насквозь — сперва по одной аллее, потом по другой, свернул вбок.

В свету фонаря увидел одинокую высокую фигуру генерала, шедшего навстречу. Генерал как раз вступал под свет, но печально-медленно, с опущенною головой, держа руки за спиною, — а Воротынцев был далеко, но очень быстро его выносило, и встретились они под самым фонарём.

Ещё издали что-то немного знакомое привиделось в этой узкой фигуре. Когда же, на подступе, Воротынцев с непринуждённой чуть-чуть изменил свой свободный шаг к строевому и вскинулся, приобернувшись, а генерал тоже вытянул руку из-за спины и тоже приобернулся, — как раз под фонарём Воротынцев не мог не узнать:

— Добрый вечер, ваше превосходительство!

И — остановился, как же иначе?

И генерал остановился, ещё не узнавая.

— Добрый вечер, полковник... О-о, Воротынцев?..

Протянул руку. Вид и голос его были староватые, а пожатие — цепкое, крепкое.

— Да вы разве в Ставке опять?

— Я-а? Нисколько, Александр Дмитрич, — весело отвечал Воротынцев. — Дня на два, случайно. А вы?

— А я-а-а... — тоже протянул Нечволодов, но совсем иначе, безрадостно и слова подыскивая. — Закисаю тут в генеральском резерве. Второй месяц. Должности не найдут.

Так разогнан был Воротынцев, и так ему, счастливому, этот тон сейчас противоречил — тянуло его сорваться и нестись бы дальше, хотя ни к чему была вся его прогонка.

Нечволодов заметил его наклон:

— Вы торопитесь?

— Да... нет, — отрёкся Воротынцев. — Не тороплюсь. Гуляю просто.

— А тогда — не откажетесь, пройдёмте вместе?

— Да что ж. Пройдёмтесь.

И — повернул, потерял свой полёт, пошёл нечволодовским шагом, размеренным до похоронности.

Тут, на гравии Вала, сапогами, шинелью повернул, а нагретый воздушный шар его груди — и дальше понёсся, понёсся в шальном ветре, в темноте, куда попало.

Ногами повернул и шаг почти оборвал, но от счастья Ольду нести с собою походкой мчательной и вдруг отпустить её одну в жаркую темноту, а самому побрести с генералом в его, кажется, тяжё-

лом настроении, — не сразу очнулся. Отвечал и даже спрашивал, а ещё не с полным смыслом.

(Подхвати меня! Подними меня!)

Однако история Нечволодова стоила внимания. Месяц тому он был устранён от должности Брусиловым за крупные неприятности с Земгором, с которым Брусилов не хочет ссориться. Устранён — и, как генерал-майор, вызван в резерв Ставки за новым назначением. А тут уже немало накопилось отставленных генералов — и виновных, и ждущих прощения, и нового высокого назначения. И второй месяц Нечволодову дивизии не дают, бригады же теперь упраздняют, а полк ему брать обидно. И второй месяц дело его как будто потерялось в дебрях Ставки, и стал он как бы никому не нужен. Идёт такая война, а он в русской армии как бы лишний.

Этого Брусилова, лису, Воротынцев и сам терпеть не мог. К тому же зная, что полководец он — никакой, всё думо.

О Нечволодове же когда-то и прежде была у Воротынцева мысль, что они похожи своими молодостями: тем же выбросом способностей, тем же несмеренным ощущением своей силы, тем же порывом едва ли не самому, одному, всё улучшить в российской армии. Только угодил Нечволодов в худшую пору, когда и действительно остался один. Да разницы между ними было всего 12 лет, не поколение. Но — царствование. А ещё: взлетал Нечволодов ярче и быстрее и офицером стал моложе, и в Академию поступил на целых 20 лет раньше Воротынцева. Так что по товарищам, по памяти, по службе пролегло как бы и поколение.

(Когда кончится война, пойдём босиком по лугу...)

Лишь недалеко за пятьдесят Нечволодов, а выглядел под фонарём если не старым, то сильно измученным, щёки вваленные, сразу видные на его, редком среди офицеров, вовсе бритом лице. Вот уже можно было и присудить, что не удалось ему в жизни ничего. И холодило Воротынцева продолжить сравнение. Летом Четырнадцатого, начиная эту войну, Воротынцев ещё гордо был уверен, что блистательно приложится. За два же года войны надежда затмилась и покинула. А в минуты проблескивающие начинало опять вериться, что призван многое сделать: ведь не изранен, не ослаб, не состарился, и способности не притупились. Только душа упадает. (Может, из-за этого он и рвался найти себе применение шире, чем строевой офицер.)

Нет, даже и сегодня не допускал Воротынцев поверить, что и он вот так же, к старости, окажется ненужный, неприменённый, так же будет безславно угасать.

Медленно-траурно шли, и горько говорил генерал:

— Зато — полное раздолье левым. Чуть завозятся — им уступают. Открытая дорога всем, кто расшатывает власть. Когда Ганнибал угрожал Риму, властный римский сенат вышел навстречу плебею Варрону, уже виновнику позора и бедствий, — чтобы только укрепить военную власть. А наша Государственная Дума во время войны открыто призывает не подчиняться министрам — и воюющая армия читает поносные отчёты газет.

При их скорости, как они шли, от фонаря до фонаря надолго входили они в чёрный тоннель деревьев и друг друга совсем не видели. А тоннель колебался над ними, деревья ахали, барахтались, хлестались и сыпали последними листьями.

(Слушай ветви, это буду я!)

— А на самом деле только торжество своей партии их заботит. Все эти кадеты не того боятся, что правительство проиграет войну, а наоборот — что выиграет, да без них. Оттого они так и добиваются кадетского министерства — именно сейчас. Они всё рассчитывали, что без них не выиграют. А теперь — снаряды есть, фронт крепок, обойдутся без них — и всё у них пропадает. После войны на чём им выскочить?

Побывал среди кадетов Воротынцев, а так не подумал. Не Шингарёв, конечно. Но — Фёдор Измайлович, отчего бы нет? Но — Павел Николаевич?

Жгли генерала неурядицы не своей застоявшейся судьбы:

— «Реакционная внутренняя политика»! А — какая сейчас политика? Победить, вот и вся политика. Дошло до того, что городские самоуправления — в оппозиции к высшей власти, где это видно? А печать? Вся — левая, вся — разрушительная. Поносит Церковь, поносит патриотов, только что прямо трона не называют, усвоили лаяться — «режим». Любой прохожий журналист выражается от имени России. Обливают нас помоями, но нашего опровержения никогда не поместят, это их «свобода». А если кто за правительство, тех — «рептильная» печать или «казённо-бутербродная». А большой русской национальной газеты так и не сумели создать. И даже правительственной не догадались, наверно в одной России. А почему мы годами должны слушать только брань против правительства?

— Но видите, — с превосходством счастливого человека над несчастным, мягко уговаривал Воротынцев, — гласность быть должна. Называться — всё должно открыто, злоупотребления — оглашаться всенародно. Чтобы проходимцы в закоулках трепетали.

— Так дорогой вы мой! Конечно! Да разве они огласят злоупотребления своих земгоров? или промышленников? или банков? или спекулянтов, которые продукты прячут? Этих — они всех покрывают, главные проходимцы у них и не трепещут. Они единственно поносят только власть.

Тоже верно.

— И народ узнаёт о жизни своей страны в освещении её злопыхателей. Слава Богу, большинство народа этой заразой не тронуто. Но просто газет не читает.

— Если б только большинство народа, Александр Дмитрич. Но и большинство офицеров тоже ни во что не вникает. Нам — чины, продвижения, ордена, темляки, традиции части, традиции училища, да как прошли парады, — а в общественных вопросах мы ведь невежды косные, круглые. Мы думаем — оно само, и без нас вот так будет держаться.

— Вот! вот! — оживился голос генерала.

— Впрочем, — развивал Воротынцев так, без цели, — большинство никогда ничего и не решает. Всегда меньшинство. Которое действует.

— Или которое кричит.

— Но всё же, Алексан Дмитрич, — в той же лёгкой манере умягчал Воротынцев, — свобода выражения мнений должна быть. И какая-то форма для неё, Дума, газеты...

— Да чья это свобода? — по голосу судя в темноте, остановился, ужаснулся Нечволодов. Остановился и Воротынцев. — Какая-нибудь «лига образования» кишит по Руси — сотнями, тысячами учителей. А какое у них образование? Для них в России ни святынь, ни исторических прав, ни национальных устоев. Они ненавидят всё русское, всё православное, всё уходящее в глубь веков. «Образование» их — революция. Только для смягчения называется «свободой». Какая «свобода»? Из десяти наших соотечественников — восьмеро крестьян да один мещанин. И никого их эти партии не выражают. Ни — духовенства. Разве отчасти — дворян. Все эти партии только самих себя выражают, это банда. Они говорят «народоправство», а это значит — их власть. И сколько бы вы

парламентов ни открывали — засядут всё юристы, а сколько бы газет — всё журналисты. И все вместе будут дружно гавкать на Россию. А Россия — молчать. Страна состоит из мужиков, а Дума забита столичными адвокатами.

— Так что ж у нас тогда за избирательный закон, я не пойму. Ну, изменить избирательный закон.

— Ничего не поможет, всё равно юристы да журналисты пролезут. Парламент — это специально для них форма такая. А если они ещё «ответственного министерства» добьются, так совсем перебесятся. Да нельзя же отдавать Россию в бешеные руки! Неужели вы предполагаете, от нашей Думы можно дожидаться добра?! Чего они требуют? Министров, которые бы отчитывались только им, — то есть нарушить основные законы государства. Амнистии террористам и революционерам — то есть распустить на свободу врагов государства, чтоб могли заново приниматься. Да ещё: чтобы в обход Думы не установили ни малейшего закона. А они — любой закон в болтовне утопят.

— Н-ну... а... что же тогда? Какой же выход вы... ?

— Да немедленно распустить! — скомандовал генерал.

Ну вот! Застеснялся Воротынцев.

А голос Нечволодова налился торжественностью:

— Роспуск Думы — единым манием царя!! Слушай, моя страна! Мы возвращаем себе Россию!

Вот эти повышенные чрезмерности, не подверженные улыбке и сомнению, всегда стесняли Воротынцева. Такие вещания проплывают над снованием сегодняшнего общества, а не могут его увлечь.

По смыслу — совсем бы тихо, но из-за ветра громче:

— Думу распустить — не будет ли хуже волнений?

Нечволодов из темноты положил руку точно на плечо Воротынцеву, не проминул:

— Соображение трусости. Как раз наоборот. Это первый верный шаг *выйти* из революции. Что за слабоумие — бороться с революцией уступками? Если власть составляет сделку с общественными болтунами — то она только ослабляется. Революция — у ж е п р и ш л а, неужели вы не видите? Она охватила нас уже который год. Она нас — уже кидает и разносит. Она — почти победила! А мы всё боимся её разбудить и вызвать. И не действуем.

Ого! Не только — грозит, но — уже пришла? Воротынцев же — никак революции не видел. Спорил и с Гучковым. И сегодня в уст-



роенном кабинете, в душистом трубочном дыму, смеялся Свечин, что революцию выдумали. Но сейчас тут, в продувной темноте, с наложенной на плечо крепкой рукой генерала, вдруг поразило совпадение Гучкова — и Нечволодова, с разных полюсов. И понеслось, понеслось всё безнадёжное, чего он наслушался в этой поездке, — и вправду: не подошла ли?

Застоялись они. Нечволодов взял Воротынцева под локоть, при разнице ростов их — сверху вниз, и, так придерживая, повёл дальше по Валу. Жаркий, больной ветер промётывался между деревьями, выворачивался на них, толкал, обнимал, обгонял, заворачивал и шумно мёл листвою по земле. На что-то твёрдое наступала нога иногда, вроде камешка или каштана, раздавливая.

Да ту же самую, воротынцевскую, тревогу о России, только совсем с другой стороны продувал Нечволодов:

— Неужели не видно вам, полковник, до чего доведена Россия? Не от войны мы в катастрофе! Не от потерь и не от дурного снабжения. Мы в катастрофе оттого, что уже завоёваны левым духом! Прежде всякой этой войны страна уже была расшатана языками и бомбами. Давно стало опасно мешать революции и без-опасно ей помогать. Отрицатели всех русских начал, орда революционная, саранча из бездны! — ругательствуют, богохульствуют — и никто не смеет им возражать. Левая газета напечатает самую возмутительную статью, левый оратор произнесёт самую зажигательную речь, — но попробуйте указать на опасность этих выступлений — и весь левый лагерь вопит: «Донос!» И этого слова панически боятся все честные люди — и так проходят молча мимо любого подстрекательства. Патенты на честность раздают левые. Вся печать, вся профессура, вся интеллигенция, — все над властью насмеваются. И дворяне — туда же. И мы — тоже немеем перед левыми, русоненавистническими фразами, так они признаны естественно современными. И даже вымолвить слово в защиту православия — освищут, позор. Собирается пироговский съезд — кажется, врачи! — и о чём же они, идёт война, — о раненых? как лечить? Нет, всё о том: изменить государственный строй!

Из тёмной невидимости шёл к Воротынцеву неотклоняемый голос:

— Вся русская жизнь — в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми — черносотенство, спорить с молодёжью — охранительство, спорить с евреями — антисемитизм. И так вынуждают не только без борьбы, но даже без

спора, без возражений отдать Россию. И тогда восторжествует *прогресс*! Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже — левая саранча.

Ну уж, хватит! Ещё пока левые не управляют. Но, конечно, царю — не надо быть ничтожеством. Вот и надо уметь управлять.

(Это, впрочем, — не вслух, как-то неловко обидеть монархическое почитание.)

А Нечволодов — крепче за локоть, крепче шагом по Валу, в обезумную темноту, в непристойное ветряное кружение:

— Это — смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений на Дальнем Востоке? Это уже были — не мы, нас подменили, какое-то наслание злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился, ещё от нашего освобождения крестьян, — и закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть. Появилась кучка пляшущих, рожистых бесов — и взбаламутила всю Россию. Тут есть какой-то мировой процесс. Это — не просто политический поворот, это — космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинается с России, а наслана — на весь мир? Достоевскому довелось быть у первых лет этого наслания — и он сразу его понял, нас предупредил. Но мы не вняли. А теперь — уже почву рвут у нас из-под ног. И у самых надёжных защитников падает сердце, падают руки.

Проходка, начатая из чистого сочувствия, сбив Воротынцеву настроенье любви, однако начинала сбивать его и больше. Наслание злого воздуха? Это — передавалось. Ещё с новой точки увиденная Россия, уж так дурно и крайне, как Воротынцев не видел. Но — тоже это касалось наших корней, треск вытаскивания которых он ощущал на фронте. Три недели назад он ехал в центры русской жизни — с цельным, как ему казалось, нерасщеплённым представлением. Но от каждой встречи он изменялся, сомневался, поворачивался, спотыкался. Только одно он усвоил: что всё — куда сложнее. А вот — как именно??..

Спотыкался. Но выводил:

— Однако и столетия были у нас всё это предупредить. Не допустить, чтобы в каком-нибудь Ново-Животинном не хватало бы кислой капусты на зиму. Где же раньше были наши глаза? Сердце? И высочайшие пальцы, на всяком смелом проекте пишущие — «отказать»? Отчего же не на сто лет раньше «наслания» мы освободили крестьян? А уж освобождать — так надо было пощедрей,

не держать в земельной тесноте. Из какой же низкой дворянской корысти, что удорожатся наёмные цены в поместьях, десятками лет не отпускать на вольное переселение в Сибирь, а уехавших возвращать силком? Свою же пустую Сибирь имея, не давать туда переселяться, это — как?..

Над чем ни задумайся — над всеми путями нависал убитый, остановленный Столыпин.

— Был человек, могуче вытаскивал Россию, — кто ж его и травил, прежде правых? Да не они ли его и убили? Он — умел двигать, так ему руки связывали.

Всем этим правым, как бы право они ни смотрели — не хватает крестьянского мироощущения, счастливо зачерпнутого Воротынцевым в Застружьи. Плавают — не на той глубине.

— Эта левая профессура — действительно, не крестьянам сочувственна. Но — какой же им дали разгон для фраз?

При медленном их шаге так же медленно подходили они под фонарь, так же медленно расставались со светом его, и доставало времени запечатлеть спутника, а потом в неосвещённости соединять с голосом образ его: шинель не франтовскую, но плотно схваченную по высокому твёрдому туловищу, фигуру удручённую, но нескорбленную, и сильно исхудалое лицо, но из одних энергичных черт. И по хватке на локте и по боковым толканиям угадывалось тело мускулистое и ещё гибкое. А если было впечатление старости, то — от горечи речи.

— Да. Профессорам — России не жаль, революционерам — тем более. Но — мы?! — где же мы? Отчего же мы костенеем перед саранчой? Отчего ж в летаргии — мы? И все рассеяны. И все поодиночке.

В это «мы» он уверенно объединял себя с Воротынцевым — с несомненностью, откуда взятой? Для того, видимо, и весь разговор потёк, чтобы соединиться и действовать?

— Мы даже пера не можем найти в защиту, не то что меча. У нас и писать некому. Косноязычны.

А правда: почему и пера даже нет? Почему такие хилые правые газеты, и ещё друг с другом грызутся, и ни у кого высоты?

Говорят — *правые*. Да разве у нас есть какие-то «правые»? Ни такой партии, ни прочного строения. Ни ораторов. Ни вождей. Ни средств. Это и суть загадочного наслания: защитники все обезсилены. (Или оглулены? Почему все — такие неумелые, неуклюжие, грубые, нетерпеливые, почему всегда обречены на

провал?) Нет этой зоркости, что неизбежна борьба, что выиграть её можно только крепостью и чистотою духа. (И где ж ваше высокое лицо? И отчего само слово «правые» вы допустили сделать бранью?)

— А поведём себя так, чтобы не было стыдно. Вот я — несколько не стыжусь. Я где угодно вслух скажу, что горжусь быть причисленным к чёрной сотне. Если хотите, выражение происходит от чёрной сотни монахов, отстоявших от поляков Троице-Сергиеву лавру, — и так они спасли взбудораженную Россию. А в Пятом году называли «чёрной сотней» те растерянные чёрные миллионы, которые вышли на защиту власти, когда она сама себя не могла защитить. Но сегодня — сегодня найдите мне хоть сотню! Хоть сотню, готовую к действию, где она есть?

Между тем по крайней аллее они подошли к тому месту, где Вал обрывался вниз к пешеходной тропе на набережную — а по ту сторону ущельица, сразу рядом, поднимался на таком же откосе губернаторский сад. Здесь, подле них, фонаря не было — а за забором в саду светимые электричеством окна во втором этаже царского дома мелькали, как будто качались, от резкого ветра в голых деревьях сада.

Там, в царском доме, тёк, вероятно, беззаботный вечер, свободный от государственных размышлений, — долго обедали, или распивали поздний чай, или в карты играли, или рассказывали разные случаи военной жизни?

А тут, в ста саженях, стоял непозванный, ненужный, забытый слуга престола. В слабых дальних отсветах не было достаточно видно его лицо, но можно было развидеть напряжёнными глазами рослую, прямую фигуру, а при руке опущенной — пенёк или парковый столбик.

И похоже было, что Нечволодов опирается на меч.

Бездействующий. Не веленный к бою. Воткнутый в землю.

У ж е п р и ш л а ! — и охватила! И стоял против неё готовный рыцарь. Но — не звали его на помощь. Да и сам меч его был в земле врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его.

А если б и вытащить — так сгнил он остриём.

Там, в светящемся запертом доме, откуда любое решение через четверть часа было бы подхвачено телеграфными лентами, — мучились ли и там государственными размышлениями?

Но мучились ими здесь, на тёмном Валу, толкаемые тёплым ветром. От кого решений не ждали и помощи не спрашивали. За за-

бором царского сада нашёл своё место неласкаемый генерал. (Да может, весь месяц каждый вечер он и ходил сюда стоять? — вот и сегодня привёл уверенно.)

— Надо объединяться! Надо действовать! — чеканил Нечволодов, как бы не сомневаясь, что говорит с единомышленником, или просто не в силах дольше один. — Надо восставить народ в национальную личность! И это — коренней и первей, чем наступление на внешнего врага.

Вот эта последняя мысль — замечательно совпадала! Прямо прилегалась к тому, что Воротынцев эти недели нёс и не мог нигде никого убедить.

Написала ему Ольга: «ищи верных!». Это так, надо же искать.

Нечволодов понимал так: в начале войны вступились как бы за Сербию. Но это развеялось, а оказались: против держав такого же образа правления, как мы, и в союзе с державами правления противоположного.

Что ж, за союзников — не Воротынцев заступится.

Сходное перед собой увидев, Воротынцев увидел, однако, и возражение: а Центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчётливо кричали десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня?

Но — и Нечволодов уже не о славянах. Он тоже: как бы только Россию вытащить:

— Надо создать освежённую новую правую силу. От источников нашей народной истории. И себя — как опору предложить ослабшей власти. Наступили решающие дни! Наше дружное мужество под твёрдой рукой может спасти Россию в последний момент. Выступить и отважно сказать — а это ещё трудней, чем выступить, — что Россия без монархии существовать не может, это — природа её.

Всего-то? Опять наводили Воротынцева на то же, и опять декламация, беззащитными боками о землю. Во всех монархических преувеличениях всегда поражало Воротынцева, как могут самостоятельные, стойкие и развитые люди так слепо-покорно относиться ко всем действиям непогрешимого царя? Сила их чувствования могла вызвать восхищение — но программа действий?

— Под чьей же это твёрдой рукой? — не пощадил Воротынцев своего собеседника. — Если венценосец невиданно слаб — то под чьёю? Если помутился национальный дух — то не на самом ли

и верху? А возиться трону с Распутиным — это не помутнение? Разве может Государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью? Где же ореол?

— Что Распутин! — возмутился Нечволодов. — Вся распутинская легенда раздута врагами монархии. Чем подорвать трон? На «проклятое самодержавие» мало откликаются. Но если государыня — любовница распутного мужика и ещё немецкая шпионка, — так это как раз то, что нужно. Распутин так прикинулся, что можно бороться против трона — и якобы за Россию.

— Но если твёрдой руки наверху — именно и нет? Если Государь всё направляет не туда или даёт разваливаться?

Первый раз нечволодовский голос, как можно было угадать через ветряные сносы, дрогнул. Но — не от колебания преданности, а от изумления, что вот и офицер высокого ранга, отважной службы, никак не могущий не быть верным слугою престола, — он... ?

— Да, Государь наш бывает избыточно мягкосердечен. Но монархист не может считать себя слепым исполнителем государственной воли, — ибо тогда все ошибки и промахи власти окажутся — чьи? Монархист должен сказать: царь всегда прав, а я — отвечаю за всё, и если виноват, то — я. Государю нужны верные люди, а не холопы. Монархическая сила — выше монарха! Усумниться в одном монархе — значит усумниться во всякой монархии. Царь — воплощение народных надежд.

— Но — не этот, — жёстко отрезал Воротынцев.

— Да кто бы ни стоял на этом месте! — ужаснулся Нечволодов. — Царь и Россия — понятия нераздельные.

— Нет! Только — достойный своей страны. Можно укреплять, когда есть личность в центре. Но невозможно укреплять вокруг пустоты, которая и сама стыдится слишком верных сторонников. Вот так уродливо принято у нас, да судите по себе: что люди, верные престолу, мало что осмеяны обществом, но у самой власти в пренебрежении. Как будто совсем не нужны ей. Или она их стыдится.

— Об этом может Бог судить. А не дано человеку, — прогудел Нечволодов.

— Нет, отчего же, практический вопрос. Я бы даже сказал: стала власть сама до того неверна, что слишком честно служить ей — уже и опасно: предаст, ответно не защитит. Вероятно от этого и служат ей многие только вполкорпуса. Лишь бы казаться

в строю. И так обвисает, обстоит трон — превосходительный сброд, без совести, без разума, с одними шкурными интересами, — и разве он собран не по манию царя? Мошенники, а не монархисты.

Первый раз Нечволодов не нашёлся. Молчал, ровный, лицом к царскому дому, держась за врытый сгнивший меч. Вот так. И Гучков — чтоб избежать революции. И Нечволодов в другую сторону — чтоб избежать революции.

Все думают врозь. Все тянут врозь. А Россия — ползёт по откосу.

— Как хотите, Алексан Дмитрич, но вокруг одного символа я объединяться не могу. Должна быть и голова достойная. И не должно быть тления возле неё.

— О-о-о! — гулко дохнул Нечволодов. — Когда-нибудь, когда-нибудь мы оценим, что он — очень достоин! Его чистое сердце. Его любовь к русским святыням. Его простодушие небесное.

О да, простодушие — можно растрогаться. Послать за ружья, за золото, или из одной имперской чести? — 60 тысяч русских душ на французский фронт?

Нет, Воротынцев не вступал в предлагаемое. Но всё ж: это дружное мужество под твёрдой рукой — что оно?

Пошли обратно по аллее. И Нечволодов, голову ниже, уже не колокольно, но заговорно — тайным заговором в пользу власти! — изложил существующий план. Не собственный свой, но выработанный в столице монархической группой Римского-Корсакова.

Простейшие самонапросные действия, всего только последовательные. Пересмотреть всех министров, начальников военных округов и генерал-губернаторов, не оставить ни одного случайно-го, равнодушного или труса, а только — преданных трону, смелых и решительных людей. От каждого принять клятву о готовности пасть в предстоящей борьбе. И на случай смерти каждый назначает достойного заместителя, подобного себе.

Усумнился Воротынцев: вот это самое трудное — найти в верхних слоях столько людей такого качества. Вот таких-то безкорыстных, жертвенных и отчаянных монархистов именно в том-то слое и не хватает.

— Ну, а если трёхсот верных и твёрдых людей в ведущем сословии не осталось — значит, трона не спасти, — мрачно согласился генерал.

Да вот он был уже здесь, один из трёхсот, губернатор или командующий военным округом, завидный воин, каждый вечер по Валу охраняющий царский дом избыточным часовым.

И полагал, что нашёл второго?..

Думу, как уже сказано, распустить манифестом — и безсрочно. В крупных городах ввести осадное положение. В Петербург вернуть часть гвардии, в Москву ввести кавалерийские части.

— Александр Дмитрич, вы должны отлично знать, что гвардию — перемололи. И не масоны, а Брусилов, Раух и Безобразов, лучший и старый друг Государя.

Заводы, работающие на оборону, перевести на военное положение и тем устранить стачки. Во все земгородские и гучковские комитеты назначить правительственных комиссаров, поставить деятельность комитетов под государственный контроль и пресечь там революционную пропаганду.

Да как будто и вполне разумно. Но обуздай их теперь!

И — быть готовыми к борьбе и к личной гибели, а не ждать государственной катастрофы, положась на милость Божию. Главное: не отступать. Не колебаться. Полумеры только напрягают озлобление. Не дать запугать себя к уступкам. Действовать осмотрительно, но и решительно, как у одра тяжёлого больного. И никакой революции не будет.

— Так ведь — у ж е п р и ш л а ?

— Отступит! Пришёл — кризис, но его можно решить в благополучную сторону. Только не закрывать глаза на край катастрофы!

А ветер измученный не утихал, так и кидался — то сверху, то из-под ног, то в грудь толкая, останавливая, то падая сам.

То ли уговаривал, то ли отговаривал.

Проекту нельзя было отказать в энергии, а в простоте — даже и крайней. И был он проще и ясней гучковского. И все требования естественны. (Только не спасал народ ни от войны, ни от союзников.) Но зиял изъян, разъедающий весь замысел:

— Кто же будет этих губернаторов — проверять, переставлять, назначать? Брать клятву? Разве он — может?

Молчал Нечволодов.

— На такую решительность он не способен, вы же знаете. И чтобы к смерти готовить своих приближённых — надо быть в каком величии характера самому? В какой решимости?

Молчал Нечволодов.

Но Воротынцев добивался:



— И что ж Государь сказал на этот проект?

Ещё прошли.

— Проект передали Штюрмеру. А тот... пока побоялся его подать в высочайшие руки.

— Побоялся?? Вот! вот! — оживился, как будто обрадовался Воротынцев — уж очень хорошо, уж очень плохо, проверка сходилась. — Во-от! Побоялся ведь — чего? Что самому придётся клятву смерти давать. Вот! Ничтожество на ничтожестве облепило трон — и как вы это расчистите? И — где ваши триста верных?

Нет, даже Гучков рассуждал реальней.

— Так — сами подайте кто-нибудь!

Генерал закинул голову, там, на своей высоте:

— Как это сделать? Глаза Государя застланы. И входы к нему закрыты.

Вот то-то. Стоял царский дом — рядом. И за каким-то из близких его светящихся окон невыразительный венценосец дослушивал скучные гусарские истории, раскладывал пасьянс?

А прочесть проект своих монархистов не было у него времени.

И даже вернейшим безстрашным генералам своим не мог найти он места и дела.

Огорчил, сбил одинокого генерала одинокий полковник. Но и сам же, как в том начальном повороте на 180 градусов, от полёта к похоронному маршу, — сам потерял, терял, терял, неделю не первую, свой катапультный вылет из Кымполунга в Петербург. Во всех этих перечислениях Воротынцев как бы совершил полный круг и вернулся почти в прежнюю точку. Да лицом — не назад ли?..

Невозможно укрепить трон, даже легши трупом на его ступеньках!

Но допустимо ли — раскачивать?..

Ну, вот приедет ещё Гурко. Посмотрим.

В этом году так засиделся Государь в Ставке — пять месяцев, не отрываясь даже в Царское Село, не пускали военные действия, что, съездив туда вокруг годовщины смерти отца 20 октября — и отстояв ежегодную панихиду в Петропавловском соборе, — он

ощутил тяготение теперь поехать повидаться с матерью, в Киев. И, воротясь из Царского в Могилёв, даже не переселялся полностью в губернаторский дом, а повлѣк его поезд дальше на юг.

Ах, Киев! Сохранялось что-то неизбежаемо, неотъемлемо святое в этом городе: каждый раз при въезде в него — высокое, строгое, древнее чувство охватывало сердце. И первой надобностью казалось: поехать поклониться в Софийский собор. В этот раз с Алексеем так и сделали — прямо с вокзала, лишь потом во дворец к Мамá.

По этому времени года здесь можно было ждать разливистой золотой осени. Но нет, стоял туман, хотя тёплый. И в этой задумчивой безветренности, безглядности тихого дня — как-то особенно строго и ответственно стояли шпалеры военных школ и войск, выстроенные вдоль улиц проезжания. Ещё предстояло Государю в тот же день после завтрака произвести во дворцовом дворе в офицеры выпускников школы прапорщиков, и на другой день ещё посетить четыре военных училища, и многими улицами ещё прокатиться средь народа с Мамá и наследником, — но самое сильное впечатление произвели вот эти войсковые вереницы по киевским улицам под надвинутым задумчивым туманом.

Государь даже не понял сперва — почему. И проезжая мимо театра — не понял, не вспомнил, всё так переменялось во времени, в людях, другое. А вот когда понял: войдя в знакомые комнаты дворца, где прожили несколько таких счастливых сентябрьских дней 1911 года, — вдруг ярко вспомнил всё ликующее на строение того киевского торжества, при флагах, гирляндах, царских вензелях, оркестрах, и такие же улицы, застроенные рядами, рядами войск, и такие же разголосы «ура», — но и в этих комнатах, воротясь вечером к Аликс, рассказывал о ранении в театре несчастного Столыпина. И ещё потом после Чернигова возвращался в эти комнаты, тут узнали и о смерти его.

И вдруг, сейчас, через пять осеней, так близко и сильно проступил Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти. Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства, какое бы решение был — Столыпин!

И за что Государь тогда был им недоволен? за что думал увольнять? Ничтожные причины, которых уже не вспомнить, задвинутые отрогами войны.

И так остались овеваны грустью оба дня, проведенных в Киеве, оба уютных вечера, когда сидели втроем, с Мамá помогали Бэби складывать составные картинки, а сестре Ольге давали разрешение венчаться со своим кирасиром.

А в дополнение к этой задумчивой поездке — на обратном пути встретили четыре воинских поезда, следующих из Риги на юг (войска на укрепление Румынского фронта). Видели в окнах множество молодых весёлых лиц, слышали пение, — так радостно! Не оскудевает Россия солдатской силой.

В Ставку вернулись в ужасающий дождь — но, впрочем, это считается хорошим признаком.

А позавчера получил от Аликс бумагу на передачу всего продовольственного дела Протопопову. (То-то ещё и в Киев была телеграмма от Григория, но как всегда такая трудноречивая, что Государь её не понял.) И охотно подписал: он давно и сам считал так правильно. Он ещё и при отъезде из Царского так хотел — но Протопопов уклонился. Теперь только помоги Бог! Трудных месяца два, а там всё наладится. Будем тверды.

Едва отправил с курьером — и тут же пришла от Аликс шифрованная телеграмма, — исключительная редкость, они не пользовались: разрешить остановить, не объявлять решение о Протопопове.

Эта телеграмма сильно покорибила Государя. Она всего лишь возвращала дело в канунешнее положение, не требовалось никакого нового решения, и Государю здесь, в Могилёве, не могли быть известны все острые петроградские перипетии. Однако — и слишком уж поворотливо, и слишком уж мгновенно. Можно было и накануне чуть лучше подумать.

Это наваяло уже не первые сомнения о Протопопове: действительно ли он в полном равновесии или есть правда в том, что злословит Дума? — хотя сперва сам Родзянко предлагал его министром торговли-промышленности. Государю приятно было, что Протопопова он отличил своим глазом сам, непредвзято, с первой встречи тот ему понравился как бывший офицер конно-гвардейского полка. Нет, ему не навязали Протопопова, совет Аликс (и Григория) попал уже на готовую почву: Николай и сам всегда мечтал о таком министре внутренних дел, который будет хорошо работать с Думой. Такая надежда была с Хвостовым-племянником, но трагически провалилась. Однако Протопопов был — первейший избранник Думы, и глава её парламентской делегации,

и его же хвалила и выдвигала вся печать союзников, — так что теперь, остервёнясь против Протопопова, Дума только разоблачала сама себя.

Однако... Однако всё-таки в глубине и с досадой Государь понимал, что выбор Протопопова совершён — не им. Как и несчастный выбор Хвостова-племянника, которому он так сопротивлялся в своё время, да не сумел сопротивиться до конца. Как и выбор Шуваева военным министром, Волжина прокурором Синода, как многие другие выборы, которые потом пришлось с трудом переменять. Сколько раз Николай говорил Аликс: я не могу менять свои мнения каждые два месяца, это просто невыносимо!

А с другой стороны: кто умеет эти выборы делать безошибочно? Разве не проклятия эти топливо, руда, транспорт, продовольствие? — вечная забота, а уже перестаёшь соображать, где правда, и голова кру́гом идёт ото всего, что наслышишься от разных министров. Ты никогда не бывал купцом, а цены растут, а надо думать о снабжении.

Зашевелилось, заточило в груди мучительно сейчас потому, что в эту киевскую поездку Мама́ говорила с ним строго: что нельзя до такой степени слушаться жену! Что всё общество — слишком накалено, и зачем делать только наперекор ему, зачем углублять конфликт?

Это правда, он очень слушался советов жены.

Но ведь и советы её в большинстве — поразительно верны! До чего она почти всегда права!

И — любил её за это. И — немного утнетался, что именно она всегда права, соображая раньше и решительнее его.

Её постоянная уверенность, однако, не могла же быть всегда безошибочной.

Оба чувства жили одновременно и прорастая друг друга. Уезжал в Ставку или провожал её из Ставки — и испытывал муку от разлуки и одновременно — облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорял сроки, чем ближе приезд — тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк, — и волновался, и с её приездом действительно наступало спокойствие на душе, и хотелось гнать прочь все заботы и неприятности. Но она сама же приступала с ними, и вместе легко выносились решения. А потом — Николай ощущал неловкость, что все главные решения приняты, когда они вместе. И снова был

порыв у него — определиться в военной мужской свободе и принять ещё какие-то другие решения, уже одному. (И так он назначил в прошлом году Самарина — а потом две недели лишних перебивал в Ставке, чтобы спал гнев жены.) С новыми собеседниками или по новым докладам вскрывались новые стороны вещей, уже не в тех линиях, как видела Аликс. Но Государь принимал решение — а оно оказывалось потом неверно. И снова падала бодрость Николая, и он томился по новой встрече.

Существенной окраской многих советов Аликс было то, что они одобрены Григорием или им придуманы. В этом было и правильное — желанье всегда слышать трезвый голос народа, человека из народа. И милое — мила и понятна была Николаю жажда Аликс не останавливаться на наглядной поверхности вещей, но проникать в их мистический смысл и узнавать действия тайных сил. Вероятно, только таким и должно быть познание человека. Но по страстности Аликс в этой жажде проявилась такая чрезмерность, которая ощущалась Николаем как стеснительность, уже неловкость. То Григорий пересылал Государю цветы с горячим приветом, то отдельный цветок, то вина со своих именин, выпить как лекарство, — и каждый раз требовала Аликс, чтоб Государь благодарил (а на Пасху — телеграфно поздравлял в Покровское). Сперва Григорий подарил ему образ святого Николая, но затем дарил и другие иконы и образки (которые надо было держать в руках в решительный момент), и даже икону для передачи Алексею (и ужасно неловко было вдруг передавать, но Аликс настаивала), а то ещё — гребешок, которым надо было причёсываться перед всяким трудным разговором и решением. Может быть, в таком гребешке и могла заключаться какая-то тайная сила. (Уж верней, чем когда-то в образе с колокольчиком, подаренным мсьё Филиппом, и будто бы колокольчик должен был зазвенеть при каждом злом посетителе.) Но больше: настаивала Аликс, чтоб и перед всякой поездкой, отъездом в Ставку Николай получал бы личное благословение от Григория, как от священного лица, и даже, при долгом отсутствии, — специально приезжал бы в Царское, чтоб обновить такое благословение: прикосновение к груди Григория утишило бы горести и даровало бы мудрость свыше. Этого Николай не ощущал и поверить не мог. «Ты всё же — человек!» — напоминала Аликс. И настояла, что в письмах писала о Григории «Он» с большой буквы и «Друг» с большой, иначе грех. Внушала: думай больше о Григории, перед всякой трудной мину-

той проси Его заступничества у Бога, мы должны прислушиваться к Его советам, они не легкомысленно высказываются, Бог Ему всё открывает, для чего-то Бог послал Его нам. Его молитвы нужны для Бэби, для нас, для царствования, для России. Аликс часто упрекала Николая, что он недостаточно обращает внимания на Его слова, уклоняется выполнять Его советы, она молилась, чтоб Государь лучше мог почувствовать: если б Его не было — всё могло бы случиться. Она очень настаивала, чтобы Государь пригласил Григория приехать в Ставку, — это должно было сразу дать решительный успех нашим войскам. В такое действие Николай тоже не верил, а из неловкости перед людским мнением и генеральско-офицерским составом никак пригласить Григория не мог, но не мог запретить его прямых телеграмм в Ставку — то на имя гостящей государыни, то Вырубовой; то Воейкова, то прямо: «Ставка. Вручить старшему».

В этих оригинальных телеграммах была смесь крутизны народного языка, загадочной святости, но и непрояснённого смысла. Был в этих фразах какой-то терпкий народный запах, как от ржаного хлеба или квашеных яблок, что-то было, а не всегда поймёшь: «Ваша победа и ваш корабль». «Все страхи ничто время крепости воля человека должна быть камнем». (Это — специально Государю в назидание.) «Вы сказали моих никто не обидит а для чего это всё». «Люблю вас удержите моего даже на Гороховой». «Что нам в пользу, то дайте как волки овец ой не нужно твердыня это Бог». «Напиши всем чтобы чаще беседовали всё-таки дай власть одному чтобы работал разумом». (Это — о министрах, и правильно.)

Чувство стеснительности было одним из самых развитых чувств Николая: он очень чётко ощущал всякую возникающую неловкость. Но и был всегда этой неловкостью так скован, что не умел прорвать. Он видел, что с Распутиным возникает какая-то заклинённость, и что иногда выглядит не вполне хорошо (а что-то — и вполне хорошо), — но уже нельзя выправиться. И деликатность и бережность к жене мешали высказать это ей вполне откровенно. Не то его смущало, что в понимании супруги главным авторитетом был сперва Григорий, затем она сама, лишь затем Государь, но то, что авторитет Григория непрерывно проявлялся в его велениях, а эти веления частенько заходили за край. Его молитвы, прозрения, угадывания, а то и просто сны указывали вдруг на то, что надо немедленно наступать возле Риги,

то — не подниматься на Карпаты, то — подняться до зимы, — и всегда это были вещие видения, потому что, писала Аликс, «Бог дал Ему больше проницательности и разума, чем всем военным вместе взятым». Григорий всегда знал лучше и нужные места наступлений (выговаривал, почему крупное зимнее наступление начали, не спросясь его), и нужные государственные назначения. То сочинял и передавал Государю 5 срочных важных государственных вопросов. То слал, в своих выражениях, проект телеграммы, которую нужно послать сербскому королю. То просил быть твёрже с министрами. То был против поездки Государя в Ставку, то упрекал, что он долго в отсутствии из Царского Села и надо приехать хоть на два дня для встречи. Как бы сердечный присматриватель, претендовал, почему в этот приезд царь мало с ним говорил, не сообщил, какие перемены готовит и о чём думает говорить с министрами. Как-то (ещё при жизни Столыпина) настаивал на открытом приёме у царя, чтобы подавить сплетни вокруг себя. (Но Государь никогда такого приёма ему не дал.) А Аликс внушала, чтобы Государь принял за правило: кто против Друга — тот против царя. Она требовала, чтобы Государь не только внутренне уважал и любил Его — но давал бы и почувствовать министрам и государственным людям, что нисколько не брезгует Им и хочет, чтобы те тоже к Нему прислушивались. Всякие неисполнившиеся предсказания Григория о сроках (например, о сроках конца войны) Аликс тут же забывала — и, чтоб не причинять ей острой боли, Государь не решался напоминать. Неудачные рекомендации Григория, как с Хвостовым-племянником, объясняла она тем, что Хвостов был хорош, но изменился впоследствии, и за это Друг не может отвечать.

Ещё передавал или при встречах всучивал Григорий много чьих-то ходатайств, прошений — о льготах или снятии наказаний, и чаще всего — в обход законов, чего Государь делать не мог, и эти пачки просьб тяготили его. Ещё же более тяготили передаваемые через Аликс желания Григория то прислать новую икону точно ко дню наступления, то особо истово молиться в день наступления — и поэтому заранее этот день знать. Такие просьбы — прямо от Аликс и настойчивые, доставляли Государю страдания. Как человек природно-военный он понимал всю невозможность сообщать кому-либо вперёд наши военные намерения, места и сроки. Но боялся своим скептицизмом разрушить душевное равновесие жены, к тому ж фантастично было предположить, чтобы мало-

грамотный сибирский мужик и искренний доброжелатель царской четы как-то злоупотребил бы этими сведениями в пользу врага, — он несомненно хотел молиться (и молитва могла помочь!). И Николай, через скрепу, через неохоту иногда в письмах к Аликс давал такие сведения, то — дату, когда нарушится затишье, или будет около Пинска диверсия, или время ввода гвардии в дело, или решение отменить всякое наступление на севере, чтобы беречь силы, — но чаще всего сопровождал горячей просьбой к Аликс хранить это про себя, чтоб не знала ни одна душа, ни даже Друг. И всё равно ощущал неприятное щекотанье от утекшего секрета.

Вот это не покидающее Николая сомнение, неуверенность, что отношения установлены все правильно (и безвыходность изменить их), — и растревожила снова Мамá своим последним разговором.

А вслед за тем, как Государь вернулся в Ставку и перенёс это дёрганье с протопоповским назначением, — приехал уже давно просившийся на приём великий князь Николай Михайлович, двоюродный дядя царя. Во вторник, вчера вечером, Государь его принял.

Династия разрослась велика, немало в ней числилось и живых ещё дядей Государя, и двоюродных и троюродных братьев его, и, хотя по возрасту моложе многих, по положению своему и по ошибкам многих великих князей, Государь уже давно уверенно привык себя чувствовать отягчённым и ответственным главою династии.

И о самом Николае Михайловиче Государь не мог быть высокого мнения. Николай Михайлович отличался едва ли не дамской суетливостью и притом — кипливим честолюбием. Он делал порой шаги на государственной стезе, но неудачные, последний год прожужжал Государю уши, что надо создавать комиссию для выработки условий мира, которые Россия продиктует Германии (разделить ли только Австрию или Германию тоже?), — а сам он будет председатель этой комиссии. Не находя государственного исхода своим задаткам, дядя Николай с апломбом заявил себя историком незаурядным, чего Государь не находил: сам глубоко любя русскую историю и даже не имея лучшего предмета для чтения и размышления, Государь никак не черпал оттуда этой суеты и критики, как дядя Николай. А ещё Николай Михайлович ревновал к военной славе Николаши, своего двоюродного брата, и о нём наговаривал



Государю дурное. В общем, Государь относился к Николаю Михайловичу скорее юмористически.

И ошибся. Визит 1 ноября оказался горький. Николай Михайлович, круглолысый, с посадистой головой, короткой шеей и чрезвычайной тщательностью линий усов и бороды, уже к обеду явился важный и хмурый, а когда уединились, — то очень напряжён, с подрагивающими руками. Он не дал установиться лёгкому родственному тону, но сразу стал декламировать возвышенно.

Уверен ли его племянник, что выполнит свою историческую задачу и доведёт войну до победного конца? Знает ли он об истинном положении в Империи — и докладывают ли ему правду? И знает ли он, где кроется корень зла? Нет, его все обманывают.

По виду и тону значилось, что Николай-то Михайлович знает и истинное положение в Империи, и всю правду, и корень зла.

Сразу оба занервничали и закурили — дядя папиросу, а Государь — через свой коленчатый мундштучок.

Сердце Государя скалось тоскливым предчувствием: что Николай Михайлович сейчас ударит в ту же болевую точку, в которую уже нажала Мамá. Да, так и случилось. И дядя даже сослался, что к этому разговору он вдохновлён и поддержан — Мамá и двумя сестрами Государя. (И — сестрами? Они-то зачем?..) Он осмелился заговорить прямо о государыне и прямо о Распутине. По его мнению, они и были корнем зла. Корнем зла было то, что обществу стал известен прежде скрытый метод назначения министров, а именно — через Распутина. Чтобы стать русским министром — надо понравиться мужику Распутину.

Николай Михайлович так нервничал, что у него всё время гасла папироса. Он не успевал найти теряемые спички, как Государь приближался и услужливо подавал ему прикурить от зажигалки. По внешнему виду Государя не было заметно никакого движения чувства.

А чувство было — и очень сжато-больное, чувство уже наболевшего места. Даже отделяя все преувеличения, которые резко нагромождал Николай Михайлович, — нельзя было отделаться, что тут много правды, стеснительно-унизительно.

Но к чему был безукоризненно воспитан и привычен Государь, как к части своего царского ремесла, — это никогда не показывать своих чувств. И он сохранял обезоруживающую любовь.

Николай Михайлович использовал такие выражения как «систематические нащёптывания твоей любимой супруги», «что исходит из её уст — есть результат ловкой подтасовки», — но что изменилось бы к лучшему, если бы Государь стал ему возражать? — бесполезно при его предубеждённости и непонимании всех тонкостей человеческих отношений. А властно оборвать? — и вовсе не служит убеждению старшего родственника. Да Николай и стеснялся бы проявить власть.

Итак, Государь всё выслушивал, не возражая, и подавал зажималку в нужные минуты.

— Ты всегда сказывал, что тебя все кругом обманывают. А почему ты думаешь, что тебя не обманывает супруга, которую в свою очередь обманывают окружающие? Твои самостоятельные первые порывы и решения всегда замечательно верны, — скорее дипломатически льстил, чем так и думал Николай Михайлович. — Но как только появляются другие влияния — ты начинаешь колебаться, и решения уже не те. Если бы тебе удалось устранить это вторгательство тёмных сил — сразу бы началось возрождение России.

Вот в этом Государю позволительно было усумниться. Тёмных, противорусских сил он больше видел на стороне Думы и Союзов.

Но вслух не возразил. Да он и не умел вести дискуссий. Он хорошо умел разговаривать только с теми, с кем был согласен. А с остальными немел.

А под возрождением России Николай Михайлович, оказываясь, и понимал: сделать министров ответственными перед Думой.

Не встречая возражений, он возвышал напорность тона. Странно выразился:

— Знай! Ты находишься накануне эры новых волнений! И, скажу больше: накануне эры новых покушений!

От кого-то он этого набрался? слышал? знал?

И, ещё более возбуждась:

— Здесь у тебя есть казаки, и много места в саду. Можешь приказать меня убить и закопать, никто не узнает. Но я должен был тебе это всё сказать.

Тирада была, видимо, у него приготовлена заранее — он её и произнёс торжественно. Но сам заметил, что в любезной обстановке она прозвучала неуместно. Ещё потянул несколько папиросу, вздохнул и, всё не слыша возражений, упрекнул:

— Знаешь, ты великий шармёр. Ты напоминаешь мне Александра Первого.

Долго, долго, упречливо выговорясь и так и не дожидаясь ничего существенного в ответ, Николай Михайлович оставил заранее написанное письмо — всё о том же, но хотел вручить его непременно лично.

И только когда уже простились и проводил — по-настоящему стало расходиться и болеть в Государе.

Письмо — ему было даже гадко раскрыть и прочесть.

В ежедневном своём письме к Аликс надо было писать об этом визите — но невыносимо, хотелось избежать.

Пришла пора спать — а сна не было. Всегда он крепко спал, но тут обещалась полубезсонная ночь: на самом деле всё взбудоражилось и забилося внутри.

Ведь — и Мама́ была заодно, даже полномочила его говорить. И сестра Ольга (а ничего не сказала, прося о своём разводе и браке). И сестра Ксения с мужем Сандро, таким близким другом когда-то. И ещё можно было угадать, с кем в династии они выстраивались во враждебное полукольцо.

«Эра покушений»! И это говорит великий князь!..

Да, против Распутина приходило много обвинительных писем в Ставку — но анонимные, и это не укрепляло их авторов. В инсинуациях цеплялась и царская семья — но никто из благородных людей не может верить подобной клевете, она обернётся против своих распространителей. А когда-то Джунковский докладывал о ресторанной попойке Распутина — но если по этому принципу карать, то многие ли уцелеют среди знати?

Что ж, Распутин мог иметь пороки, как и всякий человек. Но он не претендовал ни на какой официальный пост, ни на какой доход (а все великие князья получали). Частное дело царской четы, она имеет право на личные привязанности, даже пусть слабости, и кому это мешает? почему все придают такое большое значение? Ни с чем не сравнимая, вулканическая ненависть к Григорию, восплававшая в высшем свете и в образованном обществе, могла объясняться только их собственной злостью, силы этой ненависти нечем было объяснить иначе. Встречно — Государь не мог ни перед кем унизиться в оправданиях, как много этот человек значил для укрепления духа императрицы. Николай сам не слишком был уверен, насколько именно Григорий излечивал наследника, но Аликс верила страстно, и это поддерживало её. (Да

вот не так давно: не велел Григорий брать наследника в поездку на Юго-Западный, а отец взял. На одной станции Алексей прислонился лицом к вагонному стеклу, а переводили стрелки — и от сотрясения началось кровотечение из носа. Пришлось возвращаться в Царское, и сразу же позвали Григория — а он ведь *наказал*, не приехал в тот вечер, только утром.) Да ведь сама болезнь наследника никому не называлась, скрывалась тщательно — так что этой причины нельзя было и выставить.

А от бесед с Григорием Государь выносил твёрдое ощущение, что этот мужик кореннее смотрит на вещи, чем многие-многие государственные люди, царедворцы или великие князья. Это был безхитростный правдивый представитель подлинного народа и знающий, что нужно народу. И очень бывало полезно и свежо прислушаться. Сколько раз он призывал остерегаться лишних потерь, не биться лбом — чего не понимали многие генералы, изукрашенные звёздами. И брусиловское наступление Григорий предлагал очень вовремя остановить, с тех пор действительно были только потери под Ковелем, а не продвижение. (Генералы у нас порой такие забывчивые, безразумные, даже идиоты, не научившиеся азбуке военного искусства, что Государь приходил в полное отчаяние, — но что с ними было поделать? Уж какие есть.)

И очень возвышенно и даже красиво говорил Григорий на темы веры.

Но вот на днях неизбежно предстояла Государю ещё одна встреча с великим князем, на этот раз с Николашей: тот непременно хотел приехать в Ставку — и невозможно было запретить такой приезд Главнокомандующему Кавказским фронтом после 15-месячного отсутствия. (Аликс очень предупреждала против этого приезда, учила встретить холодно, твёрдо, не дать вырвать никакого обещания.) Они не виделись даже дольше: сменяя Николашу в Ставке, Государь заменил встречу письмом, что он прощает Николашу за все ошибки, жертвы, неудачи и несчастия на фронте — и что не изменились любовь и доверие Государя к нему. На самом деле на жгучем рубеже лета 1915 года чувства обоих прошли через большое напряжение и пламень; и тот рубец ещё и сегодня не мог сгладиться и у Николаши, как и у Государя.

И хотя решение Государя возглавить армию было собственным, внутренним, давно затаённым, но в колебаниях того августа, при всеобщем сопротивлении, его воля могла и сломиться. И сегодня стеснительно было вспомнить слишком большую роль Григо-

рия в поддержке (Аликс всё напоминала, что именно Григорий спас тогда Россию). И Николаша тоже хорошо всё помнит, и, один из ярейших ненавистников Григория, очень может припомнить при встрече.

Теснилось сердце. Так приезд следующего великого князя обещал второе такое же неприятное объяснение, когда ни ответить, ни выразить ничего нельзя. Из таких разговоров, приёмов, докладов, дел и состояла стеснённая, зажатая жизнь монарха. Как будто всевластный, не мог он выбирать ни — с кем говорить, ни — о чём.

Простор у него оставался очень малый. Снимать негодных генералов он тоже не мог — некем заменять и нельзя создавать хаоса. Направить военные действия вопреки мнению Алексеева и Главнокомандующих — он тоже не мог. И из Могилёва он не мог уезжать свободно, особенно при неудачах, как сейчас в Румынии. Как приятно не чувствовать себя привязанным к одному месту! — но Государь не был так волен. В самом Могилёве распорядок его был разгорожен общими со свитой и союзными представителями завтраками, обедами, чаями, а ещё чередой приёма приезжающих, а ещё — совсем тесным садиком, где недоставало прогулки его сильному, молодому, отменно здоровому телу. (Доктор Боткин недавно нашёл, что его здоровье ещё лучше, чем два года назад.) И, вынужденный жить постоянно в этой каменной городской клетке, Государь имел в Могилёве только одно настоящее утешение и раздолье, это — дневные прогулки: три времени года — автомобильные за город, а там на просторе нахаживаться вволю пешком, во время же большой воды в Днепре — любимая гребля. Хотя скоро уже пятьдесят лет, но впервые в Могилёве минувшею весною Николай был поражён таким зрелищем: после трёхдневного тумана над речною поймой — величественным днепровским ледоходом. Это зрелище — на всю жизнь. А затем — как было удержаться от гребли против быстрого течения?.. Спортивный задор! — Николай был первоклассный гребец. Собрали две двойки из моряков и всю весну гонялись! — а после гребли такая гибкость во всех членах. Затем — и на быстроходной моторной лодке. Старался больше быть на солнце, чтоб загореть и не походить на бледных штабных офицеров.

А сегодня стоял такой день: необычно тёплый, совсем не по ноябрю, безветренный, но и безсолнечный, даже тёмно-пасмурный, однако и дождь не накрапывал. Такая погода, очень мрачная, когда сидишь в городском помещении, — раскрывается за городом

мягко-поэтично: почти всё уже осыпалось и от желтизны перешло в оловянное, а что-то ещё и держится на последних невидимых скрепах, до первого удара ветра. Всё поднебное, подтучное пространство полей, не слишком далеко видимое, выглядит как единый большой ласковый Божий дом. Тишина, безлюдье, все работы закончены, летние птицы тоже улетели, поля взрыхлены на зиму, — тепло и нежно прикоснуться к этой земле. Наткнулись на недокопанную картошку, отрыли даже без лопаты, развели костёр из сухого стебеля и пекли картошку. И костёр горел не большой, не ярый, тихая часть этого тихого дня. Хорошо сиделось вокруг и молчалось.

В такие минуты проклятую политику — совсем забывал Николай. Войны — не забыл, хорошо ощущал — и те далёкие отсюда окопы, вот в такой же земле, и неслышные сюда снарядные разрывы. Но Боже, как охотно он отдал бы и свой трон, если бы было кому, и Верховное Главнокомандование опять Николаше, — и стал бы простым солдатом одного из своих славных полков! — за право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы зольною картошкой, ни над чем не измучиваться головой и грудью, но ждать на всё ясного приказа, а пока вести простые человеческие разговоры.

Николай не только не испытывал никакой сласти от власти и пышности, но любил жизнь тем больше, чем она проще обставлена и состоит.

Потянул ветерок, раздувая горячие золинки. Доели картошку, засыпали золу землёй, отряхнули руки и поехали в город.

По дороге ветер усиливался, к перемене. Такая задумчивая погода и не могла устоять.

Сын не ездил с отцом за город, потому что приболела нога. Но у него была сегодня своя забава: опробовалась прямая телефонная линия в Царское Село, и он пытался говорить с мамой. Ничего путём не вышло. Сам Государь ненавидел телефоны и предпочитал ими никогда не пользоваться.

А с ногой у Алексея было неважно: растяжение жилы и, как всегда у него от всякой неполадки, — сразу внутренняя опухоль, нарушение кровообращения. Доктор велел ему лечь. (А пять дней назад у него начиналось опасное кровотечение из носа, но, к счастью, удалось прижечь.)

И тут же узнал Государь, что разбаливается генерал Алексеев. Государь пошёл его проведать — но Алексеева предупредили, и он

успел из постели встать. Государь бранил его, требовал тотчас лечь при нём, старик упирался. Это было затянувшееся недолеченное заболевание почек, теперь и с сильным жаром, и уже ясно было, что Алексееву нельзя продолжать работать, а надо ехать лечиться, уже несколько дней стоял вопрос о замене — и Алексеев неожиданно предложил Командующего гвардейской армией генерала Гурко. Да Главнокомандующего фронтом и отрывать было нельзя.

Но с Алексеевым — жалко было Государю расставаться. За 15 месяцев он очень к нему привык, так ладно и без споров шли у них ежедневные доклады, и всё руководство. Привык и к его мирному виду как бы гимназического захудалого учителя, да, пожалуй, даже чуть ли не чеховского Беликова, к его козырьку, наплюснутому на очки, простоватым нехолёным усам, ворчливому говорку. Никогда не бывало гневной вспышки меж ними, резкого несогласия, как-то всё убедительно Алексеев обосновывал, а привязанности ко всем министрам, которых Государь постепенно выбирал, он и не мог требовать от начальника штаба. Правда, Алексеев непрерывно должен был иметь дело то с продовольствием, то с транспортом, то с металлом — и этим летом не выдержал, предложил создать пост «верховного министра государственной обороны», который распоряжался бы всем тылом, как Ставка фронтом, и Ставке бы иметь дело с одним таким министром. И много дельного было в этом проекте — но во что тогда превращался Совет министров? и четыре Особых Совещания с общественностью? Это грозило новой ссорой с Думой, а зачем их зря дразнить? Так Государь помялся над проектом и отложил его. Но это не испортило его отношений с Алексеевым.

— Да лягте же, Михал Васильевич, вот так, в сапогах, иначе я не буду с вами разговаривать.

— Уже сижу, трудней подняться, Ваше Величество.

Кресло у Алексеева было потёртое, простенькое, жёсткое, но на сиденьи всегда лежала вязаная подстилка.

Отношения их могли испортить, в эти же последние месяцы, письма Гучкова к Алексееву. Даже не допуская, что Алексеев на них как-то отвечал (а может быть?), обидно было Государю само сокрытие таких гадких, лживых писем: ведь получив — не показал, а спрятал в ящик (уверял, что — и не получал). И уже в столицах письмо Гучкова ходило по рукам, пока наконец его смогла достать Аликс и переслать мужу, только так он и узнал.

Это положило обиду между ними. И всё-таки не испортило отношений. Государь любил этого старика-генерала. (Впрочем, и не старика, всего на 11 лет старше. Как раз завтра был день его рождения — и Государь помнил и приготовил подарок.)

Огорчён был Государь и тем, что с болезнью и отъездом Алексеева ему самому тем более уже никак никуда не удастся поездить. Значит, пусть Аликс на будущей неделе приедет сюда.

Ещё поговорили немного, и Алексеев, читавший сегодняшние газеты, сказал, что Дума вчера при открытии дурно себя вела.

Он не сказал о подробностях, а Государю было даже противно расспрашивать — и не менее противно идти брать в руки эти гадкие газеты и искать в строках милости или немилости Думы. Но он сразу рассеялся, расстроился, перестал улавливать тему их разговора. Ушёл.

Что же смотрит безобразный Родзянко, камергер, удостоенный орденами и почестями, — почему он не держит их в руках?

А ведь уговаривал Штюмер: вообще не созывать Думу этой осенью, продлить её перерыв ещё на год, или совсем распустить, а следующей осенью ей переизбираться.

Но Государь считал такую меру недопустимой и неблагородной. Он всё же надеялся, что у думцев хватит национального сознания — не разжигать грызни и помех сейчас, дать спокойно окончить войну.

Расстроился. И обезпокоился. И не читая всех их тамошних речей — он уже заранее их представлял. И теперь искал тревожно: как же против них устоять? Что делать с правительством? С этим составом — можно ли устоять? Или кого-то придётся уступить, чтоб успокоить Думу?

В самом правительстве не было дружности и взаимного доверия. Поодиночке, разными способами, в разное время подысканные министры не одобряли друг друга. Старый Трепов, Александр, с которым Государь разговаривал на днях в обратном поезде из Царского, — может быть, мог бы стать новым премьером. Он был готов заменить Штюмера, но непременно снять и Протопопова. Да наверно и Бобринского с земледелия. (С тех пор Николай ещё не виделся с Аликс и в письмах ей ещё ничего не написал, побаивался, он обдумывал пока в одиночку.)

Как он надеялся в своё время на Штюмера! Он надеялся, что его назначение грянет как гром. Как строго показывал он всем министрам, что Штюмера надо уважать! И старик старался. И —



честный, хороший, и неглупый старик. Но — кто может понравиться думской банде? Кто может против неё устоять?

Может быть, Трепов, он жёсткий человек.

Но это вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить. Протопопова она ни за что не отдаст. (И Григорий...)

Протопопова и самому жаль уступить: с ним удивительно легко разговаривать и работать, нет в нём назойливой резкости слов и поступков (как бывало со Столыпиным: каждый разговор — напряжение до муки), а Протопопов умеет оставить простор и догадке, случайности, вероятности, недоговору, — славный, лёгкий человек.

Да разве — эти уступки укрепят правительство и трон? А не покажут новую слабость?

Вереница министров, которыми Государь пожертвовал, пытаясь насытить Думу, протягивалась в его печальной памяти — и любимый Николай Маклаков, и умница Щегловитов, и честный Рухлов, и жизнерадостный Сухомлинов, — но даже своего военного министра — во время войны! — он разрешил отдать под суд! — всё равно как самого бы себя. (И до последнего дня не решался выпустить Сухомлинова на поруки.)

И всё равно не угодил нисколько. И только жарче и разъярённее наседали. Так для чего и уступал?

И положение стало казаться ему таким же нагромождённо-безвыходным, как летом Пятнадцатого года.

Погружённый в это мрачное размышление и во всей Ставке не имея, с кем бы поделиться, Государь между тем со сдержанным лицом отбывал распорядок дня и кого-то принимал, — эти процедурные приёмы изводили его, отбирая всё время и внимание. А на поздний вечер оставались — бумаги, бумаги.

Между тем у Бэби нога опухла хуже, поворачивал с болью, и смотрел привычно-печальными большими отцовскими глазами, не по возрасту привыкнув к своей горькой судьбе.

Когда Алексею подошло время спать, Николай помолился, став близ его постели, а Алексей повторял лёжа.

Они спали на походных кроватях в общей маленькой комнате, увешанной образками и крестиками, — и всю ночь отцу были слышны, под вой ветра снаружи, стоны мальчика здесь.

От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь.

Сильный, толкающий ветер перешёл в ливень, и как будто со снежинками.

## 70

Не поверить, как всё изменилось за ночь: тот вчерашний тепло-безумный ураган успел похолодать, вылить ливень, засыпать Могилёв снегом — и успокоиться к утру в пятиградусном морозце. Да столько снегу сразу навалило, что по Губернаторской площади пробивали люди тропки наискосок, а дворники ещё не справились. Кой-где промелькивали первые поспешные сани с бубенчиками, а и колёсные ещё торили свою колею, и автомобили недовольно фырчали, размётывая снежную пыль и заноса задом.

Но чем неожиданней, тем сильнее действовал на душу этот вывал зимы — обеляющий, очищающий, зовущий к какой-то новой строгости. Уже таким смятенным, да и растерянным, да и счастливым, как вчера, Воротынцеву не быть, не мог оставаться. Да и пора было ему очнуться от своей круговертной стыдной поездки. Ничего не решил, ничего не сделал, и никак иначе не очнуться, как возвращаться в полк.

Проснулся бодрый, сильный и, при всей полноте Ольдой, — сразу вспомнил о Гурко: и времени нет оставаться дальше дожидаться — и как бы его увидеть, поговорить?

И если б не ждал, то не узнал, а так во дворе штабного собрания сразу выделил знакомую спину совсем невысокого генерала с решительным, настигающим шагом и несколько увеличенным размахом рук. Это был он! — всегда много дела, заботы серьёзные, расслабляться и мешкать не приходится.

Хотел на глаза ему тут же попасться — не сноровил. Пошёл к столу.

Всё как Свечин предсказывал! Неужели ж?..

А в офицерской столовой гудела сенсация снова, уже не по телефону полученная, но лично кем-то привезенная из Петрограда: позавчера в Думе Милюков, *имея документы на руках, доказал предательство царицы!!* А уж Милюков зря не скажет! Учёный, историк, он-то знает цену доказательствам!

Со стола на стол передавали газеты. В них этого не было ничего, конечно, но зловеще и беспомощно зияли в колонках «белые места» — как прострельные раны в боках власти.

Гудела столовая, и самые законопослушные и самые равнодушные были потрясены. Если царица прямо передаёт немцам секреты Верховного Главнокомандования — то как же нам всем воевать?..

Некоторые злорадствовали. Царицу — не любили.

Вспоминали и Николая Николаевича, как он давно говорил: в монастырь её!

А Воротынцев вспомнил тёмные солдатские разговоры — всего лишь по слухам ползущим и искажённым беззащитным представлением. Что же взбаламутится теперь, когда дойдёт открыто, когда и офицер должен подтвердить, что в Думе, да, названо: царица — изменница? Офицеры могут съезжаться в штабы, советовать, хвататься за шашки — а солдату со дна окопа не вынуться, не отойти, — и каково это всё ему? Да ведь он винтовку выронит. Да зачем же ему теперь под пулемёты?

Очень свободно, даже мятежно разговаривали. Знает ли Государь? Что он будет делать теперь? Ясно, что правительство будет меняться. Милоков должен быть очень уверен в своей позиции, если выступил с такой резкостью. Двор — должен сдаться. И наступят перемены!

А что делать — нам? Никто ни к чему не склонялся, ничего прямого не предлагал, а — рассуждали, рассуждали...

Воротынцев возвысил голос на несколько соседних столов:

— А — где измена? В чём? Кто из нас, господа, где видел случаи измены? Когда?

Никто не взялся ответить. Выслушали — и гудели, каждый себе.

Будь Воротынцев нисколько не подготовлен к мыслям о перевороте — он сейчас бы мог закипеть первее всех. Но уже отдумавши о том несколько недель, отдавая на зуб крепость ответных аргументов, он пребывал вне решительности или гораздо дальше от неё, чем отъезжая из Румынии.

Неподатливый сапёрный полковник слушал-слушал:

— Да суду его предать за такую речь, мерзавца! У нас — всё безнаказанно. Бабы сплетники, а не народные представители.

Один подполковник сказал, с видом будто знал: что Думу через несколько дней и разгонят. Что Штюрмер уже едет в Ставку получить подпись Государя на разгон.

Также и тут никто не осведомился: откуда сведения?.. Наступило время такое: кто что слышал. И большей частью передавали верно.

Так же и у Воротынцева был свой тайный источник. Сразу после завтрака пошёл к Свечину:

— Так приехал Гурочка! Я видел сам!

— Поздно вечером, да. И ночью сидел у старика. — Свечин качал неровным булыжником головы. — Старик плох, температура высокая. Но и хуже новость: Живой Труп в Ставку приехал. Вчера же.

Воротынцева взяло гадливостью, как проглотил скользкое:

— Откуда?? Он же во Франции!

— Наверно в Петрограде был. С каким-то докладом придуманным. Как мадмузелям ордена прикалывал.

— На Алексеева летит? На свободное место?! — взревел Воротынцев.

— Безусловно. Эти вороны чуют далеко.

— Нахальство какое! Безсовестность какая! — расходился по малому кабинету. — Жилинский! Сейчас? Во главу всей армии?! Но ведь это же — конец!! Тогда — жить нельзя!! Тогда — ни минуты терпеть нельзя! А ты говоришь! Вот и нужно меры принимать! Самим! А то — так и будут назначать!

Сшибало надежды, обрезало по макушкам.

— Ну, не горячись. Репутация Жилинского всё же подмочена, не добавлять ещё к Штюмеру и к Распутину. Мы теперь к репутациям чувствительней стали. Да и Михал Васильич, я думаю, ни за что не допустит, заманивтрирует. Скорее сам лечиться не поедет, тут и умрёт, за столом.

Пошли в другое здание, в дом дежурства, искать Гурко.

В одной из малозначительных комнат нашли. Он! — остроусый, остроглазый, с подвижной, быстрой головой.

Сидел за столом, однако не вовсе письменным, и не своим, и даже на проходе, как случайный гость. На нём были кавалерийские погоны и два георгиевских креста, на груди и на шее, а прочих всех знаков не носил, как и академических аксельбантов, лишней путаницы, хотя и генштабист уже четверть века. И ещё несколько старших офицеров, не отнесенных к этой комнате, собрались тут с ним — не по службе, а по симпатии. Не было папок, подшитых приказов, ни даже карт, всех обязательных принадлежностей штабной работы, а — случайная стопка чистых листов, на которых и писали, черкали и считали, кому придётся и с какой придётся стороны. Гурко, с первыми-первыми серебринками на откиде густых прямых тёмных волос, взглянул, приподнялся, быст-

ро приветливо пожал руку Свечину и Воротынцеву, нисколько им не удивясь, ни о чём не спрашивая, а своим голосиной звонким, сдерживаемым — не по росту генерала и не по этой комнате, а в ином бы месте развернуть его в иерихонское трубенье, — продолжал увлечённый разговор с офицерами, тон которого вошедшие быстро поняли и приняли. Совершенно не касаясь, почему именно здесь, сегодня, и именно с генералом Гурко это обсуждается, тут взвешивали соображения и цифры по такой идее генерала: в короткое время зимнего затишья, за несколько месяцев, возможно ли (уже до их прихода было решено, что — возможно), и — какими лучшими приёмами, и используя какие резервы, перестроить все полки русской армии от Балтийского до Чёрного моря из четырёхбатальонного состава в трёхбатальонный — и притом не дав противнику почувствовать ослабления военных действий? Выгоды замысла были очевидны: трёхбатальонные полки с самого начала были у немцев; так избегалось лишнее наполнение окопов поражаемой пассивной живой силой. Так можно было выиграть 48 новых дивизий или освободить только из первой линии больше миллиона человек.

Любимая мысль Воротынцева! — армию сократить? Схватил-ся он, приник!

Выгоды были очевидны, но решиться делать так в третью зиму многогромажденной войны мог только генерал отчаянный, покоя не ищущий, да возвышением своим не дорожа, от должности не тая, — и только через то могущий получить полную свободу рук, независимость от Государя и ото всех, кто толкунцом мошкары вокруг него обращается.

Но именно таков и был 52-летний младший сын знаменитого Иосифа Гурко, фельдмаршала последней турецкой войны, штурмовавшего горы. Признаком подлинного полководца в Василии Гурко было то, что он никогда не останавливал свою деятельность на исполнении приказов и на границах своих обязанностей, но из каждого боевого случая, но из опыта своих частей и своих боёв не упускал извлекать опыт всеобщий и предлагать его всем. Так, уже седьмым изданием выходила его брошюра-инструкция о ведении позиционной войны на русском фронте — и шла нарасхват. И вот теперь, ещё и не назначенный начальником штаба Верховного, и всего-то на несколько недель, он не видел другого смысла своего взлёта, как произвести перестройку всей армии на полном ходу! — и именно сейчас, немедленно, чтобы снизить потери сего-

дня, чтобы выиграть войну завтра, а не ожидать благосонных послевоенных канцелярий и комитетов.

Такой замысел не мог не захватить! Свечин побыл и должен был уйти, а Воротынцев уже через пять минут добыл себе табуретку, придвинул к тому же столу и на тех же листах, вместе со всеми, писал, считал, чертил и спорил, как будто для того и шёл, для того был зван. Курили, говорили, доказывали, никакого внимания не обращая на чины, будто одинаковы с полным генералом и его адъютантом-ротмистром. Примерялись строгие, быстрые глаза Гурко, сдержанный звонко-прерывистый голос называл, выбирал варианты, а Воротынцеву — жарко было, он просто пылал от счастья, давно-давно не прикасавшись к такой настоящей штабной работе!

Радость работы с талантливым человеком! Чем Гурко был замечателен: он поразительно быстро схватывал суть всякого дела, давал себя и переубедить, не упорствовал, — затем принимал ясное определённое решение, а уже в пределах задачи не вмешивался в мелочи.

Проблема быстро расширялась, не так легко её ограничить. Оставить ли тогда дивизию из четырёх полков? А корпус из двух дивизий? Или единообразно всё по три? До конца упразднить ненужные пехотные бригады? А артиллерию? Давно пора и батареи из шестиорудийных сделать по четыре: тоже простой ствол, тоже избыточный расход снарядов. Но осилить ли две переформировки сразу? И на пехотную дивизию нельзя оставить ослабленную до 24 пушек артиллерийскую бригаду. А удвоить число бригад? — надо пушки просить у союзников, не дадут. А бинокли, стереотрубы, буссоли, телефоны?..

Всю жизнь Воротынцев влёкся к решительным людям и отворачивался от мямль. Решительнее же Гурко нельзя было даже вообразить. По его худому подвижному занятому лицу, по его оценкам в полслова можно было оценить и его самого. И как свободен от изумления, потупленности, потерянности перед внезапным резким расширением обязанностей, как естественно прирастает к новому назначению, ещё даже не назначенный! — как растение молча и просто растёт, не умея не расти. Только бы не удались козни Жилинского, только бы не передумал вечно переклончивый, неверный Государь! Вот наконец своевременный человек, приходящий на своё прирождённое место! С такой быстротой и дерзостью ему подействовать бы год. Как ни уменьшились возможности полководца, а необходимость в нём не уменьшилась. Этому генералу

год посидеть в Ставке — и русская армия победоносно кончит всемирную войну. Отсюда кажется, да: не проиграли мы ничего! Прав Свечин.

И что, в самом деле, дал так опуститься своим рукам?

Сам из того же материала, Воротынцев несоревновательно оценивал генерала Гурко через потресканный, крашеный, неписменный стол бывшего окружного суда, оценивал — только с желанием въединиться в деятельный хвост его кометы.

Идя сюда, Воротынцев ещё удерживал затаённый смысл, даже построил вход: в Петрограде он встретился с Гучковым, вспоминали всех, и Гучков с особенным расположением и вниманием расспрашивал о Гурко. (И то не ложь, то — угаданная правда: говорили о кандидатах на алексеевское место, а если б Свечин уже в тот день мог назвать Гурко — разве меньше заволновался, заходил бы по кабинету Гучков? разве не в ту же связь поставил бы он назначение? не с теми же мыслями искал бы увидеться? Домыслить так — даже долг перед Гучковым, неразгруженная обязанность перед ним.) Выразить это со значением — и вглядываться, высматривать в генерале встречную склонность?..

А сейчас тут показалось: зачем? Так сразу захватили расчёты по перестройке дивизий, что тот гучковский задний план, тускневший, тускневший с тех пор, вот сам опрокинулся и окончательно погас. Реальная работа лежала на столе. Она — вмиг возвращала вечно-деятельное состояние с вечно-бодрым настроением. И конечно так же, десятикратно так же, должен был чувствовать Гурко. Даже заикнуться ему о том было бы стыдно, неловко, невозможно. Служить надо, лямку тянуть, а не под ногами мешаться.

Сжатый, решительный рот генерала, природное естественное состояние суровости грозно исключали даже касание раз навсегда данной присяги.

После Свечина ушёл ещё один офицер, потом другой, а ещё один пришёл, — Воротынцев же как сел, так и не уходил: весь день у него был свободен, и ничего лучшего он себе не желал.

Всю реорганизацию они додумали, и на многих листах расписали по родам работ, по принадлежности исполнения, по числам, составам. Можно было и подробней, и дальше, но затрагивался, подымался уже миллионный счёт: где людская неисчерпаемость России? Куда провалились наши миллионы? Полевой интендант кормит на фронте 6 миллионов, а бойцов насчитываем только 2. Значит, 4 миллиона обслуживают, а не воюют? Как это вычерпать?

Или: тыл считает, что дал армии 14 миллионов, во всех видах потерь убыло 6. Так должно остаться 8, а их 6. Где же 2?

Потом — с кавалерийским генералом! — о судьбе кавалерии, всё меньше нужной на войне, всё больше сглатывающей зерна, когда нет его, и самих лошадей миллионы, пригодились бы в тылу. И об армейском провианте: круп, сахара и мяса — ещё вдосталь, а муку плохо везут.

Наконец, и о Румынии, — румынские заботы совсем не чужды оказались Гурко, даже очень давили на него, да его Особая армия (называлась так гвардейская, чтобы не быть 13-й) стояла ведь на Юго-Западном. Проблемы румынские он отлично понимал: при перемешанных по фронту русских и нестойких румынских частях — как держать фронт? Сколько можно ещё удержать? Очень понимал Гурко эту беду и проклятье, свалившиеся на нас: союз с доблестной Румынией.

Подходило время царского обеда — Гурко по какой-то ошибке не оказался приглашён к императорскому столу. И Воротынцев испугался: неужели это интриги Жилинского? неужели оттеснил уже?

Но не хотелось верить. Нет, наверно просто кто-то не знал, не распорядился.

А вообще — ох, наберётся с ним император хлопот! Его не пригнёшь, не изогнёшь и приглашением к высочайшему столу не посадишь, — а всегда услышит Государь правду-матку. И каждый свой временный день этот неслух будет вести себя как назначенный пожизненно. Ещё от его голоса заложит уши его величеству. Однако — назначайте, назначайте же скорей!

Ротмистр пока добыл в двух тарелках чего-то сухомятного, и они, вчетвером, жевали между делом. И теперь уже не подразумевая, а открыто поминая своё возможное назначение, Гурко пожалел, что придётся работать всё с новыми, а в каждом месте за этот год, что его стремительно протягивали через корпус, Пятую армию, Северный фронт, Особую армию, — везде он находил и привлекал неоценимых офицеров, и многие просились за ним при каждом переходе, и многих он охотно перетянул бы сюда, того же генерала Миллера из Пятой, а — нельзя, неприлично, суетно.

И тем самым Воротынцев понял, что сюда, в Ставку, его не зовут, что вот этим увлечённым, счастливым днём всё и кончится.

А впрочем, тут же это повернулось и с разумной необходимостью: теперь, уже зная весь смысл и приёмы реорганизации, Воро-



тынцеву и надо оставаться именно у себя, там, на краю, и там работать по этой программе, только уже в штабе своей Девятой, которую будут скоро увеличивать из-за негодности румын, слать туда корпуса. Гурко пришлёт распоряжение, как только заступит.

Если заступит.

Ну что ж, как часть единой реформы освещался и дальний румынский угол...

Э т о т — будет жалеть русскую кровь.

Да Воротынцев разве собирался в Ставку, это Свечин сбивал, уговаривал. Ещё недавно ему казалось, что до конца войны он так и не уйдёт с позиций, и не хочет даже. А от этой поездки — расслабел, и теперь вдруг обрадовался льготе. Правда: переустал он от полка.

Уж когда выходили вместе, Гурко надевал свою шинель на общеофицерской серой, а не генеральской красной подкладке, Воротынцев, повинувшись всё-таки неотданному долгу, петроградской своей вине перед Гучковым, неожиданно высказал версию о встрече с ним и привете, — и всё-таки посмотрел, посмотрел на строгого генерала, испытывая в том смысле.

Но Гурко — не выразил большого тепла, даже почти никакого. Поджал губу под усами.

— Александр Иванович... Александр Иванович... Очень смел... Очень настойчив. При всех своих, — что-то качкое показал кистью, — убеждениях. Но... Из-за того, что много ездил волонтером и просто по фронтам, сильно преувеличил своё понимание войны и армейских проблем. Масса знакомых у него в армии, не всегда лучшие, вроде этого фельетониста Новицкого. Все ему что-то рассказывают, обо всём наслышано... И вот он...

И подумал Воротынцев: а для Гурко на его новом посту Гучков — разве не груз? Можно не дорожить должностью, можно дерзить царю — но по делу, но для дела, а Гучков если уж на Алексеева тенью пал, так на Гурко — тем более, сколько связано в прошлом. Приедь сейчас Гучков в Ставку — как станет выглядеть всё это назначение, вся эта подстановка со стороны Алексеева?

И Воротынцев устыдился: что за вздор, правда? И до каких пор носиться с этим отозревшим младотурецеством?

А какая-то вмятинка от Гучкова — всё же на совести осталась. Крымова — повидать? не повидать?

## 71'

(Государственная Дума, 3 и 4 ноября)

Думские первоноябрьские речи вышли в газетах с белыми местами, с пропусками даже у Левашова и Балашова. Пошли по рукам апокрифические, несхожие тексты, и ловкачи продавали их по несколько рублей. Истинного текста милюковской речи даже правительство не могло получить от Думы, зато по стране распространялся именно он, и даже с добавлениями. Всё общество говорило, что Думу надо беречь. (Бурцев, искатель и дегустатор тайн, затем обратился к Милюкову: откуда он взял свои факты, больше похожие на неправду. Ответил ему Милюков, что взял их из *Neue Freie Presse*; что, может быть, они нуждались ещё в проверке, но он должен был употребить их раньше социалистов.)

А Родзянко, отлучаясь с председательского места, предвидел правильно: ночью на 2 ноября он получил записку от Штюмерера — тот ждёт решений Председателя Думы об оскорблении царской фамилии в заседании; и тут же — письмо от министра Двора: напоминает, что Родзянко — камергер, и просит уведомить, какие шаги...

Какие ж... Изъять это место из стенограммы. И — пожертвовать Варун-Секретом, хотя и жаль Варуна. И тут же оправдаться перед обществом: дать заявление в газеты, что пропуски в речах — не по его вине, он передаёт в бюро печати все речи полностью. Родзянко нисколько не интриган, напротив — он очень склонен к прямоте. Но сознавая себя живою Думой на двух ногах, он вынужден, для России, оберегать себя от риска. Когда в 3-й Думе Гучков готовил запрос о Распутине, Родзянко, уже тогда Председатель, тайно предупредил царя. Теперь — не пошёл предупреждать, а побережись — надо было.

И вот, благодаря своему предвидению и осторожности, «самый большой и толстый человек России» (по выражению Государя), *Самовар*, *Барабан* (по думской кличке), сегодня опять уверенно всходит на председательскую башню. Зал успокаивается. Правительство, как завелось, отсутствует, не ищет столкновения, это не столыпинские времена. В ложе министров сидят только помощники их. Хоры публики переполнены гуще позавчерашнего, говорят — даже Шаляпин тут. Ждут нового скандала, особенно набитая ложа прессы.

Всё же — открыть заседание предстоит повинному, оплошному Варуну. Почитали разные скучные бумаги о принятых законопроектах, перечли нерадивых членов Думы, пропускавших заседания, а дальше — не отвертеться, не оттянуть:

**Варун-Секрет:** Господа члены Государственной Думы! В заседании 1 ноября депутат Милюков допустил цитату из немецких газет, касающуюся лиц, упоминание которых здесь не принято, а суждение недопустимо. Не владея немецким, я не применил цензуру председателя, предусмотренную наказом. Теперь эта часть стенограммы устроена, тем не менее не могу не признать себя виновным в упущении и приношу Думе своё извинение. Считаю своим долгом сложить полномочия Товарища Председателя.

**Керенский (с места):** Ходить в Каноссу унизительно!

Невредимый, полнотелый Родзянко, купаясь в общей любви и радости Думы, заступает председательствовать, сдерживая свой колокольный бас.

Прения — о чём? Не уйти ли правительству? Хорошо ли оно? Такого вопроса не может быть в повестке дня. Прения — по сообщению бюджетной комиссии.

Тонкий, остренький, пикоусый, не без франтовства, но милого, благовоспитанный, обдуманый (как сплёл думский стихотворец Пуришкевич:

Твой голос тих и вид твой робок,  
Но чёрт сидит в тебе, Шульгин),

когда-то очень правый, а вот уже «прогрессивный националист», — выходит, волнуясь, понимая особенность дня, и чувствуя это напряжённое, театральное внимание публики, ещё и сегодня ждущее взрывов, —

**Шульгин:** Не с лёгким чувством я начинаю сегодня свою беседу с вами. Я не принадлежу к тем рядам, для кого борьба с властью есть дело привычное, давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении даже дурная власть лучше безвластия. Особенно осторожно надо относиться к власти во время войны. Поэтому мы терпели бы до последнего предела...

Однако ораторы раскачивают ораторов, дух соревнования разожжён, и почти непереносимо смолчать человеку, чьи чувства очень склонны к романтике.

...И если мы сейчас поднимаем против этой власти зная борьбы, то потому, что действительно мы дошли до предела, дальше переносить невозможно. (Слева: «Браво!») Люди, которые безтрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюмером? (Смех, рукоплескания, кроме крайних правых.) В этих условиях молчать — было бы самым опасным. О, если бы эта власть шла туда же, куда и мы, хотя бы по-русски, то есть кое-как! — мы бы старались объяснить населению, что она добредёт до желанного конца. Но осталось у нас одно средство: бороть-

ся с этой властью, пока она не уйдёт! (Слева: «Браво!» Рукоплещет весь зал, кроме крайних правых.)

Это даже сильнее и страшнее выглядит, чем Милуков, потому что выступает известный монархист. Если уж так сдвинулось — больше нет терпенья, и что-то произойдёт! — сейчас в зале или вообще что-то. Электричество в публике. («Яркий нервующий свет... ах, эти речи... страшно говорить... слушает вся Россия...»)

И такая борьба — единственный способ предотвратить, чего больше всего следует бояться, — анархию и безвластие. Тогда и офицеры на фронте более уверенно поведут свои роты в атаку, ибо будут знать, что Государственная Дума борется со зловещей тенью. И уполномоченный и земство увереннее закупают и повезут хлеб, зная, что он не просыплется в щель между министерством земледелия и министерством внутренних дел. И рабочие, в руках которых наполовину судьба России, будут усерднее стоять у своих станков. И даже когда в их мастерские будут врывать банды: «Забастуйте для борьбы с правительством!», рабочие ответят: «Прочь, провокаторы! С правительством борется за Россию Государственная Дума, а если будем бороться мы забастовками, то это будет борьба за Германию». (Рукоплескания.) Господа, а как же можем мы бороться? Только одним пока: говорить правду, как она есть!

Здесь были произнесены тяжкие обвинения. Но ужас не в них, а — как их встретили. Ужас в том, что председатель Совета министров не придёт сюда дать объяснения, опровергнуть обвинения,

что правительство даже не находит силы защищаться, даже не приходит в зал, когда его обвиняют в измене.

(А почему, правда? Почему Штюмер не пришёл оправдаться? Та заклятая степень отчуждённости, когда уже и разговаривать лицом к лицу упущено, — и тем резче думские речи. — «Если бы я был там, я бы сказал, что никаких взяток не брал, не делил. Но, к сожалению, я не мог этого сделать. Озлобление было настолько сильное, что я не мог и думать выходить на кафедру, не подвергаясь нежелательным выходкам». — Та степень отчуждённости, когда «подавитель» ещё больше перепуган, чем «давимый», когда власть крадётся по задворкам. Ни в измене, ни во взятках не виновный, ничего от Манасевича не бравший, Штюмер только и осмелился попытаться подать на Милукова в суд.)

...А вместо этого устраивает судебную кляузу с депутатом Милуковым. Господа! Штюмер — это продовольственная разруха, безнаказанность Сухомлинова, и боимся, что это — только заглавие к той сатанинской грамоте, в которой изложится программа позора и гибели России! (Продолжительные бурные рукоплескания всего зала, кроме крайних правых. «Браво!»)

(В эмиграции, в 1924, вспомнит Ш у л ь г и н: «Мы были слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верили, что правительство никуда не годно».)

В Думе — четыреста сорок депутатов, но иные из них все четыре года так и промалчивают: сидят крестьяне, протоиереи, земские врачи, казаки, профессора и предводители дворянства, усы да бороды поглаживают, только слушают. Зато по понятному всем церемониалу лидеры фракций и отколовшихся групп — так и идут, идут через трибуну, повторной чередой.

Вот — буйный раскольник Блока, лидер прогрессистов, почётный мировой судья и попечитель гимназий, взъерошенный дончак

Е ф р е м о в: Пагубность существующей политической системы, бездарность и бессилие носителей власти... Правительство, которому страна не верит... Быть может, за всё время своего исторического существования власть никогда не представляла собой картину такого ужасающего развала, такого безпросветного убожества, полного непонимания национальных задач.

(Он говорит честно, уверенно, он так видит. Но пройдёт полвека — и так же уверенно не увидит исследователь ужасающего развала: современники были в самогипнозе.)

В такое критическое время знать, молчать, бездействовать в невежестве и всё же оставаться у власти есть преступное забвение долга перед родиной, *граничащее с предательством*! Слухи о возможности сепаратного мира грозят изолировать Россию в семье культурных народов. Самая мысль о сепаратном мире есть уже измена России. Кто дерзнёт стремиться к его заключению, навлечёт на себя народную месть как предатель отечества!

(Поживём — проверим.)

...Народ должен глубоко задуматься. Закулисные интриги, тайные влияния проходимцев, старцев, сомнительных дельцов, явных и тайных друзей Германии. (Рукоплескания в центре и слева.) Невозможно ограничиться сменой лиц,

на чём и разошлись с Блоком, —

необходимо коренное изменение *всей нашей политической системы*! Правительство, ответственное перед Думой! Снять путы с русского народа! (Рукоплескания.)

Дальше — круче, оратор раскачивает оратора, это — качели, и они взлетают даже повыше, чем хотел лидер большинства, чем хочет монументальный Председатель, опять встревоженный. Вот вымётывается на трибуну — в черкеске с газырями, в погонах подъесаула (ах, оселедец первых дней войны! — сострижен, сросся с волосами), только что с фронта (а ещё более — показать, что с фронта), терский лихой и левый казак, спокошный, безтолковый, отчасти и любимый думский шут

К а р а у л о в: Господа Государственная Дума! Настоящее правительство при его безответственности не только никогда не создаст великой России, но погубит и существующую. Я не предполагал, что угроза гибели так близка. Мы должны вмешаться и разбить роковую цепь событий!

Вполне как скачка на коне, как сабельная рубка: дух захватывает, земли не чуешь — несёт! несёт! — и машет сама рука.

Во вторник было брошено с этой трибуны ужасное обвинение правительству, — а что вы делали в среду? В тех же Особых Совещаниях с представителями того же правительства обсуждали те же вопросы, что и до вторника. Не нами ли проведен нелепейший мясопустный закон, когда все вопросы о свободах лежат в забвении? Господа, неужели вы не видите, что нынешнее правительство — призрак, тень скользящая, что в нашей робости источник его храбрости, и оно тем крепче, чем больше мы упускаем времени? Правительство вполне уверено, что вы дальше горьких слов не пойдёте, а на деле ни в чём ему не откажете. Всё ваше негодование — только истерические вопли, вы отдали управление государственной колесницей, перелезли с облучка в кузов и просыпаетесь только от толчков на ухабах. А страна ждёт от нас дела, дела и дела! Что же нам делать, спросите вы? (Слева: «Поучите!» Справа смех.) Сейчас научим. Я всегда утверждал, что при спокойном рассудительном отношении не бывает безвыходного положения; я всегда утверждал, что из всякого положения может быть найдено по крайней мере три выхода. (Смех.) А из нынешнего я вижу даже четыре. («Ого!» Смех.) Я не говорю уже о пятом и шестом, которые сами собой напрашиваются: или нас разогнать или Штюрмера уволить. *Первый* выход: раз для нас стало ясно, что правительство ведёт государство к позорной гибели, то просить нашего Председателя испросить у Его Величества аудиенцию и представить на благовозрение... Скажут: неконституционно! Дело ваше, господа. *Второй* выход вполне конституционный: прекратить всякие отношения с правительством! Объявить бойкот министрам, не приглашать их в Думу.

Р о д з я н к о: Член Государственной Думы Караулов, не приглашать министров нельзя, это их право.

К а р а у л о в: Их право являться, но не наша обязанность приглашать их.

Р о д з я н к о: Прошу вас с замечаниями Председателя не спорить.

К а р а у л о в: Слушаю-с. Итак, господа, оставим пока министров в покое. (Смех.) Но в нашей власти — отверг-

нуть в целом весь бюджет на 1917 год! И все законопроекты, которые представлены комиссиями, — к отвержению! (Замысловский: «И уехать домой».) Вы, может быть, домой, а я — на фронт, и буду там полезнее, чем здесь, попусту терять слова.

Родзянко: Я буду вынужден лишить вас слова.

Караулов спешит с главным:

Третий исход, я боюсь вы этим третьим путём и пойдёте: испугавшись разгона Думы, выдадите боярина Милюкова головой боярину Штюмеру, будете ловить слухи в кулуарах, считать копейки в бюджетной комиссии и охать, что десятки миллиардов проходят вне вашего контроля.

Четвёртый же путь, господа депутаты... Нет, о четвёртом пути я скажу не вам и не здесь. Этим путём пойдёт сама страна, когда потеряет свою последнюю надежду — на вас! (Рукоплескания слева.)

Это — с таким значением обещано, что: Караулов, очевидно, с кем-то связан, что-то знает, да и — какие-то нити у него в руках?

А ещё такой в Думе церемониал — отдавать трибуну представителям национальностей в черёд. И сейчас (отчасти — чтоб и охладить немного Думу) Родзянко пропускает: одного — от мусульман, одного — от Курляндии, одного — от ковенских евреев. (Да на еврейском вопросе Думе не охолодиться, а пожалуй, наоборот.) Однако тот недостаток имеет это равномерное чередование ораторов, что раз в зале сидят и правые, то приходится Думе слушать и их тёмный бред, и по такому же наказному часу. Впрочем, какие уж правые — их всё меньше, они дробятся, расползаются, как будто вырождаются, боясь собственного существования, не в смелости отстаивать его. Вот идёт на трибуну — рослый, тяжёлый, большеголовый, в хомуте крахмального воротника, со вскрученными усами, обильными тёмными кудрями, — да где мы видели его? позвольте? что за рисунок? А-а, в Думе так и зовут его — «Медный Всадник», и тут, видимо, неслучайное сходство: Марков — из рода Нарышкиных, и в каком-то седьмом или десятом колене вынырнул тот же образ! Только похода у него не императора, а как будто попружинивая, без уверенности.

Всеми ненавидимый председатель Союза Русского Народа держится — подчёркнуто надменно, закоснело твёрдо, с лицом запечатанным, ибо в привычку ему, что он — всегда против течения, что он — всегда среди врагов, во всяком обществе образованных русских людей. Так и держится — ещё более вызывает желание противоречить себе. Тут какое-то противообаяние: как Шингарёв располагает к себе даже противников, так Марков отталкивает даже единомышленников. Своим грубым напором он умеет оттолкнуть, даже когда говорит правильное. Если бы сейчас надо было Думе голосовать, кого одного исключить из своих членов, — дружным большинством исключили бы его.

Марков 2-й: У господина Шульгина осталось одно средство: бороться с русской государственной властью, пока она не свалится в пропасть. Мы в Думе будем бить словом по ненавистному правительству — и это патриотизм. А когда фабричные рабочие, поверив вашему слову, забастуют — это будет государственная измена. Но они не болтуны, и если вы говорите — будем бороться с государственной властью во время ужасной войны, то знайте, что ваши слова ведут к бунту, к народному возмущению в ту минуту, когда государство дрожит от ударов врага. Ведь от ваших слов не разбегутся ненавистные вам министры, это можно сделать только тем *четвёртым путём*, которого не осмелился здесь определить депутат Караулов. Четвёртый путь, на который звал нас этот господин с царским орденом на груди, действительно способен разогнать государственную власть, но он способен и погубить Россию. (Слева шум и смех. Справа: «Не смешно, Россия плачет!») Господа Шульгины, вы — пораженцы, ибо повели народ и армию к потере веры. Если перестанут верить, что сзади управляет благожелательная власть, то воевать никто не будет. (Шингарёв: «Воюют за Россию, а не за правительство!»)

Трудное положение у нас, правых. (Слева смех. «Верно!»)

И верно. Он почти знает, что дело его проиграно и у этой аудитории и у всей России.

Вот поставлено с этой кафедры тяжкое уголовное обвинение председателю Совета министров. Мы — молчали, и господин Шульгин оперирует: значит, вы согласны. А мы молчали потому, что криками и негодованием нельзя спорить против обвинений, столь прямо поставленных. Я слышал, это дело будет предметом суда: виноват ли председатель Совета министров или клеветник тот депутат, кто его обвинил. А господин Шульгин недоволен: вы отделяетесь судебной кляззой. По-вашему, председатель Совета министров должен был бы выйти на эту кафедру и сказать: неправда, я взятку не брал, неправда, я не изменял. Да если б он с этим явился — вы б закричали: долой, пошёл вон! (Слева: «Верно!») Вам хотелось, чтоб это было замазано роспуском Думы, чтобы вы могли обратиться к народу и в окопы, где за вас теряют жизни: мы обвинили его во взяточничестве, а нас распустили. Это сорвалось, вас тянут в суд, и вы вилаете хвостом: судебная кляуза.

(1-й департамент Сената предложил Милюкову дать объяснения по существу, но Милюков, не имея их, уклонился: он представит «все дока-



зательства», когда будет наряжена следственная комиссия над действиями министра. «Русские Ведомости» одобрили такой ответ: если бы Милюков стал давать объяснения, это создало бы прецедент, ограничивающий свободу депутатского слова.

Депутат же должен иметь полную свободу клеветы...)

Вы слышали молодецкое слово казачьего депутата Караулова. Он обещал низвергнуть всё сущее четвёртым путём, о котором будет говорить где-то там. Но и речи Милюкова, Керенского, Чхеидзе и ласковое изречение господина Шульгина разнятся только в технике, а ведут они все к одному: к *революции*! (Караулов: «К ней ведёт правительство!») Вы не понимаете, что вы хотите сделать: вы хотите, чтобы революция разрушила всё худо или хорошо сложенное русское государство!

К неприятности для большинства, не так уж много в связи и ясности уступает Марков ораторам Блока, есть кой-какое и образование у него, институт гражданских инженеров. Хотя за его затылком нависает настороженная, враждебная ему туша Родзянки, — Марков знает свой наказный час, независимый от председателя, и уверенно владался, упёрся в трибуну всё с той же отверделостью от многолетнего действия во враждебной среде.

...В этом мы, правые, будем посильно препятствовать вам. Мы — не придворные в белых штанах и страусовых перьях. Но мы — подданные, верные своей присяге.

Речь Милюкова была построена, как обычно свойственно этому депутату, с обдуманностью: он её почти всю прочёл. Это не была неистовая речь Керенского, 44 слова в секунду. Милюков говорил чрезвычайно увлекательно, и малокультурные слушатели не успели вникнуть в это блестящее по форме и дурное по существу изложение. Вся постройка базировалась на вырезках из иностранных газет. Одна московская газета, название неизвестно, напечатала, что в Ставку послана от крайних правых, имена не указаны, записка о необходимости сепаратного мира, это перепечатано в Европе, и *значит* крайние правые — изменники своему отечеству. Для примитивно мыслящих — приём простительный, но для профессора, для историка, для государственного деятеля? И после спрашивается: что это — глупость или измена! И хор из Анды отвечает: измена! (Смех.) Это очень красочно, для театра эффект чрезвычайно сильный, но представьте картину наоборот: в Англии один из депутатов огласит вырезку из «Русского Знамени» о депутате Милюкове и спросит английский парламент: что это — глупость или измена? Только чистая глупость считать это доказательством. (Справа рукоплескания, смех. «Браво!») Если он имел доказательства, в чём

я очень сомневаюсь, надо вносить запрос, снабжённый документами и свидетельскими показаниями. (Шум слева.)

Так и о министрах — решительно ничего не доказано, никто не обличён. Что привело вас в такое негодование против правительства? Неумелая организация продовольственного дела. В этой части ваших обвинений мы вполне соглашаемся с вами, но эту ерунду измыслили вы, имейте же смелость признаться, а не валить на государственную власть. Правительство теперь почти отстранено от дела продовольствия, уполномоченными вы всюду насаждали ваших прогрессивно мыслящих деятелей. Если вы ищете правду, то и сознайтесь: вместо помощи правительству вы запутали то плохое, что правительство раньше делало. И давайте вместе думать, как выйти из тупика, а не вносить смуту в страну.

Харьковский вице-губернатор Кошура-Масальский получил благодарственный адрес от рабочих: он боролся с дороговизной, но средствами, не вполне вам приятными. Всё бедное население Харькова видело в нём своего заступника, который борется с богатеями, спекулянтами, мародёрами. И что же вы сделали? Вы этого человека немедленно выгнали со службы. И теперь все остальные губернаторы поостерегутся прогрессивной Государственной Думы. Вы, господа, бороться с дороговизной на самом деле не хотите, вы — сами откажитесь от корыстолюбия! Слишком много спекулянтов и мародёров в прогрессивных кругах — в этом и несчастье. Не хватает у вас духа бить по собственным дельцам.

Мы, правые, видим выход один: экономическая диктатура правительства.

Что представляется прогрессивной Думе чёрным исчадием.

...Без этого будут хвосты, спекулянты и мародёры, которые выбрали многих вас.

Господа, я с наслаждением читал так называемые прогрессивные, левые, то есть еврейские газеты. Я просто радовался, как люди впадают в полное противоречие со своими основными убеждениями. Чем газеты левее, тем больше они требовали о б у з д а н и я к р е с т ь я н, заставить крестьян насильно продавать хлеб. Я глубоко не согласен с этим, но радостно, что эти газеты, эти партии обличают своё нутро, показывают, какие они действительно народолюбцы. На бедного крестьянина обрушились: а, мародёры! не хотят твёрдой цены, хотят дороже! Это характерно: как только город, который всегда жил за счёт деревни, всегда объедал, всегда обижал деревню, как только чуточку ему стало плохо, то городские крикуны сейчас же получили за-

щиту от всего *прогрессивного лагеря*, и прогрессивный лагерь не затруднился напасть на вечно обижаемую русскую крестьянскую деревню.

Когда говорят о высоком патриотизме общественных деятелей, я прошу немножко внимания и хладнокровия. Вот главное артиллерийское управление сообщает, что обошлись непатриотические казённые снаряды и во что патриотические частные: сорокадвухлинейная шрапнель на казённых заводах в 15 рублей, на частных — 35; шестидюймовые бомбы — на казённом заводе 48 р., на частном 75 р. Составитель записки делает вывод, что если бы в России было поменьше общественного патриотизма да побольше казённых заводов, то Россия уже сберегла бы больше миллиарда рублей. Конечно, не будь у нас частных заводов, мы не могли бы дать снарядов, сколько надо. Однако общественные деятели обирают народ уже на второй миллиард, они работают *не даром*, они наживаются чрезмерно. Но когда правительство, выдавшее 500 миллионов казённых, народных рублей общественным организациям, просит: позвольте, господа, в ваши комитеты ввести по одному скромному члену государственного контроля, что раздаётся от прогрессивных деятелей? — «это полицейский надзор, вы нас оскорбляете!» Какое же недоверие — государственный контроль, где 500 миллионов государственных денег? (Слева шум: «Это — полиция!») В прошлом году, когда рассматривалась смета Святейшего Синода и вам стало известно, что там собираются пяточки с верующих, несущих свои жёлтенькие свечки, — вы потребовали над архиереями православной церкви государственного контроля — как бы они ненароком эти деньги верующих не истратили иначе, чем вам, ревнителям православия, желательно. А миллиарды казённых денег, текущих через ваши общественные учреждения, — контролировать нельзя?..

Ещё рассказывает, как промышленники перепродают на рынке военные разрешения на вагоны. Долог наказный час, но кончился. А Марков просит ещё.

Родзянко: Я не могу поставить на голосование...

(Справа: «Неоднократно ставилось! Сколько раз разрешалось!»)

Речи Маркова угрожают Родзянке не перед Государем, как милюковские, но зато перед Думой, которая именно сегодня вечером либо выберет, либо не выберет его на следующий год. Однако эту спокойную речь, сорвавшую темп атаки на правительство, все слушают (голоса не только справа, но и слева: «Просим!»), и Родзянко решает:

...Угодно Думе продлить? Ставлю на голосование.

Марков рассказывает о злоупотреблениях общественных организаций, как Земсоюз прикрывает дезертиров.

Вспомните известный процесс Парамонова в Ростове, как спекулировал, мародёрствовал этот архипрогрессивный деятель и местная правительственная власть помогала ему. Вспомните, как были арестованы киевские сахарные короли, которые прикрывались общественным флагом, что они спасают отечество. Когда вы обличаете правительство — не забывайте обо всех этих людях. Много гадостей и гнусностей совершается под флагом общественности.

Если мы действительно увидим, что есть министры, изменяющие русскому государству, мы будем безжалостнее, чем вы! Но мы не поверим голословным обвинениям, простым выдержкам из иностранных газет. На заводах — забастовки, и вы обвиняете полицию. Но зачем полицию, когда есть члены Думы, которые посылают на это дело и говорят, что забастовками надо добиться мира. Бороться за мир, когда германцы давят Россию смертным давлением, есть измена. Эти члены Думы — изменники, а вы не извлекаете их из вашей среды. Так вот, с изменой бороться будемте, это нам по пути, но сперва потрудитесь изгнать из своей среды настоящих изменников, а до тех пор вы не имеете морального права обвинять других. (Рукоплескания справа.)

Вскоре затем — думский златоуст, адвокат, более знаменитый своим красноречием и мало оцененный по глубине и точности мысли (не без следа — математическое отделение), всходит на кафедру тихоукоризненный, обращённый взглядом как бы даже не в зал, а — внутрь себя,

В. М а к л а к о в: Господа, я не буду никого обличать. (Это — шпилька Милюкову, как всегда.)

Хотя на фронте сейчас благополучно и военная усталость Германии становится для всех очевидной...

как и усталость самого оратора — так проста и грустна его манера держаться, тих (но явственный) голос, никакой внешней «римской» элоквенции, он как будто беседует (не угадаешь, что выступление подготовлено тщательно) —

...мы стоим перед новой и грозной опасностью, и она совсем не в продовольственном кризисе, а: что-то случилось с Россией, в чём-то переменился её дух. Одни уже осмеливаются говорить о мире, другие — в виду неприятеля — «чем хуже, тем лучше», пусть будет катастрофа, она куда-то нас приведёт. А третьи запирают амбары...

(всё-таки и он — не о промышленных, не банковских складах)

...наживаются, спекулируют и веселятся. А малодушные и маловерные падают духом: Россия долго не выдержит. И этот упадок духа переходит на фронт. Вот где опасность.

И это — та самая Россия, которая два года назад обманула германские надежды на наши внутренние распри; которая в прошлом году, в минуту неожиданной беды, имела мужество духа не растеряться; та Россия, которая не тешилась презренным красноречием, а стала к чёрной работе! Что же случилось с долготерпеливой, многострадальной нашей Россией?

Впрочем, Маклаков, среди немногих, ещё и весной 14-го года, до войны — предсказывал России поражение. Предсказывал — однако не противился войне, даже хотел её.

На всём протяжении России с отчаянием спрашивают: где же наше правительство? кто управляет Россией? куда нас ведут? И эти вопросы ставим не мы, Государственная Дума, и не революция, к которой мы будто бы призываем, — та революция остановилась. Но сама власть на глазах у нас и у Европы упорно топит всякое доверие к себе: министерский калейдоскоп, когда мы не успеваем даже рассмотреть лица падающих министров. Непонятные возвышения, непонятные опалы, политический ребус. И в результате — правительство Штюрмера? Они привыкли лгать около трона, они могут обмануть своего Государя, но России они не обманут! («Браво!» Рукоплескания всего зала, кроме крайних правых.)

Нам советуют: щадите престиж власти, всё исправится. Так было с Ковенской крепостью. До нас доходили отчаянные крики ковенских офицеров: комендант Григорьев крепости не защитит. И мы кричали — но вполголоса, мы молчали на этой трибуне, не тревожа настроения армии и опасаясь, не дошло бы до немцев. И за наше молчание Россия заплатила позором, падением первоклассной крепости. Григорьев — это эмблема: один комендант парализовал силу целой армии. Так и наше правительство парализует силу целой России.

Россия с тревогой спрашивает: за что ей навязывают правительство, которое погубит её? Элементарное требование, чтобы страна верила тем, кто имеет претензию ею руководить.

Нет, не случайность, но *режим* — проклятый, старый, отживший, но ещё живучий! Пусть каждый министр теперь выбирает — служить ли России или режиму, а служить им обоим — невозможно, как Богу и маммоне. (Продолжительные рукоплескания. «Браво!») Будем ли уди-

вляться, что по стране разошлась эта смута в умах, которую не рассеют всё красноречие Маркова, ни все репрессии Штюрмера, ни вся та новая ложь, которая будет комьями грязи брошена в большинство Государственной Думы? Нет, господа, долготерпение России велико, как велика Россия сама, но эта война показала предел и ему. Есть предел и нашей покорности!

Это — второй максимум, меньший, — и снова снижение в грусть, в печальное задушевное откровение, как Россия поручила оратору поведать.

Пусть не думает Марков 2-й, что мы зовём к революции. Грозная опасность иная: Россию против воли никто воевать не заставит. Она не захочет приносить никаких жертв во славу этих людей, для чести и удовольствия иметь их во главе государства. (Продолжительные рукоплескания, кроме крайних правых.) Не восстанем вам ответит Россия, но упадком духа, унынием...

это и в голосе,

...равнодушием. И если это случится, и нас приведут к миру вничью, —

где эта милость и кротость, секунду назад? — вспышка!! взлёт до негодующего звона!!! —

о, тогда я говорю смело: тогда берегитесь! потому что позорного мира вничью Россия не простит никому! (Рукоплескания. «Браво!») Тогда Россия позовёт всех к ответу, и она пощады не даст никому, я повторяю — никому!!! (Продолжительные рукоплескания. «Браво!»)

(Как и все лидеры кадетов, Маклаков достоверно знает мнение страны. Но это ещё — если *вничью*, Василий Алексеевич. А если — полная брест-литовская сдача, какой вы себе оставили эмоциональный запас?)

Россия сейчас — как воинская часть перед паникой: по инерции ещё стреляют ружья, по привычке ещё повинуются солдаты, но раздаётся крик «спасайся, кто может!» — и все побегут. Однако время ещё не ушло. Если к власти назначат не слуг режима, а слуг России, —

то есть Павла Николаевича, Василия Алексеевича, Фёдора Измайловича, Николая Виссарионовича, Моисея Сергеевича, —

Россия ухватится за эту власть, она встрепенётся — и тогда горе Германии!!

Пришло время выбора: или мы, или правительство, вместе наша жизнь невозможна! (Продолжительные бурные рукоплескания.) И если будет распущена Дума — как будто можно распустить всю страну! — если будет зажжён пожар, на котором спялят национальную будущность роди-

ны, то, господа... Дума ещё может стать единственным оплотом порядка!!

На этом сильно пророчестве и должны были кончить заседание, но составлены, подписаны, поданы и вот оглашаются

Запрос 33 членов: Стrepетным напряжением Россия ожидала правдивого, свободного слова своих представителей. Однако 2 ноября в газетах произнесенные речи не нашли полного отражения. Декларация Прогрессивного блока в большей части запрещена. Ни в одном периодическом издании не напечатаны речи Керенского, Чхеидзе, Милукова. Белые места в речах членов Государственного Совета...

А между тем: «действию военной цензуры не подлежат публичные речи, произносимые во исполнение долга службы». Какие приняты меры к соблюдению указанных... ?

Запрос 31 члена: Издано распоряжение Командующего Московским военным округом — об установлении предварительной цензуры «материалов, могущих повредить военным интересам». Приняты ли меры к отмене незаконного... ?

(Нигде в России нет предварительной цензуры, за что же в Москве?)

Съездили пообедать — и вечером стали переизбирать Председателя Думы.

Председатель: По мотивам голосования — Чхеидзе.

Вырвался, нашёл щёлочку! Пять минут, но — за пять минут можно-о... !

Чхеидзе: После акта Третьего июня мы всегда были уверены, что большинство этой Думы будет идти по указке правительства. Барьер, через который народ не может пройти, чтобы продолжать *работу 1905 года*... Конечно, за последние две Думы стены этого белого зала не слышали таких речей, и это можно приветствовать. Но, господа, не обольщайтесь, я вас прошу, Не думайте, что вы сказали что-нибудь новое. То, что вы говорили, есть повторение из многого того, что говорилось, и речи более внушительные и содержательные раздавались с этой трибуны в Первой и Второй Государственной Думе.

Но, господа, несмотря на все ваши очень горячие речи, я не знаю, долго ли это будет продолжаться?.. Я вас, господа, боже избави меня призывать к революции, ничуть не бывало. Но одно скажу, господа: что ни одна революция не

губила ни одного народа, ни одного царства!! Она не погубила Англию, которую вы теперь хвалите. Не погубила Францию — припомните Коммуну 1871 года. И мощь Германии начинается именно с 1848 года. Она не губила и Китай.

Так вот я и говорю: та схватка, которая происходит между вами и правительством, меня очень интересует. Долго ли эта схватка будет продолжаться?

Председатель: Член Думы Чхеидзе, ваш срок истёк.

Да к тому ж он исчерпывающе объяснил мотивы голосования. А всё ещё две-три фразы всунуть!

Чхеидзе: Не далее, как сегодня, коленопреклонённо извинились... с этого места... и вам предложили... (Рукоплескания слева.)

Облегчённый Чхеидзе убежал.

Считают записки, баллотируют шарами — и Родзянко, к своему восторгу, избран, — но всего лишь половиною Думы.

---

К полудню 4 ноября он открывает следующее заседание. Но что за вызов или что за странность? — правительственная ложа в этот раз не пуста! В ней сидят два министра, оба в военной форме: морской министр Григорович (единственный, кому симпатизирует общественность) и военный министр Шуваев (никому не надсадный интендант). Министры сами по себе — безобидные, свистеть пока не будем, но как понять, что они появились тут после громового обвинения правительства в измене? Неужели же посмеют защищаться? Посмотрим. А у нас пока текут прения.

Аджемов (к-д): Вы станьте на минуту в положение русского обывателя, который утром с жадностью обращается к газетам — узнать, что за него сказали его избранники. Говорит правый депутат — и много точек, даже его мы видим в маленьких размерах. Вы, господа, закрыты в этом зале, в этом старом дворце Потёмкина, кричите, негодуйте, ни одного слова Россия не узнает всё равно! Слов — нет, есть белые места в газетах, — вот где революция, и вот кто делает революцию!

Скобелев (с-д): Вам здесь говорили, что из всякого положения есть несколько выходов. Но вы идёте по линии наименьшего сопротивления: вы обрушиваете своё негодование на Штюрмера, хотя в нём лишь отражается природа нашей власти. Господа, провокация — неотъемлемый фактор величия нашей власти и её благополучного существования.



И ловок же! — опять выскочил и трибуну захватил

К е р е н с к и й: Разве мы не живём в состоянии оккупации, как Бельгия или Сербия? Когда государство захвачено враждебной властью, отрезана всякая возможность национальной политической деятельности... Разве, господа, из бесконечной перемены отдельных министров на этих скамьях у вас не возникает вопрос: а где же *те*, кто ставят этот театр марионеток, кто выводит и сводит на сцену иногда мерзавцев, иногда...

Р о д з я н к о: Член Государственной Думы Керенский, покорнейше прошу вас выбирать выражения.

Да что ж выбирать, уже и сказал.

К е р е н с к и й: Я говорю о запросе. Я доказываю, что военных тайн никогда русская власть скрывать от враждующих держав не умела и не хотела.

Р о д з я н к о: Покорнейше прошу вернуться к запросу. В случае неисполнения...

Прерывает он из обязанности, ненастойчиво, ибо Дума левеет, кружится влево у него под ногами. И замерла пресса, и замерли хоры, наслаждаясь пулемётностью любимого оратора.

К е р е н с к и й: Вчера здесь один из тех, чьё имя я не называю, но который неустанно защищает тех, которые... Заявил мне с этой трибуны, что я являюсь изменником государству. (Марков: «И повторяю».) Господа, я и раньше говорил, что «измена свила себе гнездо» на верхах русского правительства.

Р о д з я н к о: Член Думы Керенский, прошу вас воздержаться...

К е р е н с к и й: Я был бы рад, если бы вопрос о положении государства можно было бы свести к предательству отдельных лиц, если б можно было найти доказательства против отдельных министров... Но старая власть столетиями воспитала себе сотни холопов...

Наконец Родзянко решается лишить его слова.

Выступают другие, читаются скучные документы — и на полминуты высказывает снова лихой

К а р а у л о в: Я, господа, взял слово, чтобы сказать вам очень немного:

Речей не тратьте по-пустому,  
Где нужно власть употребить!

Но в дополнение к этому — моё крайнее негодование: разве допустимо, чтобы депутатское слово, которое не разносится по стране, слышала бы в изобилии наполняющая хоры публика и не слушали бы сами депутаты, которые ушли в буфет. (Смех, шум.) И снова

Марков 2-й: Да, Александр Фёдорович Керенский, я вас считаю государственным изменником на основании тех заявлений, которые вы сделали с этой кафедры. Если министры совершают такие ужасные преступления, почему же вы, законодатели, не вносите запроса? Потому что запрос надо обосновать, для него недостаточно ссылаться на германскую печать, надо давать доказательства, и вы боитесь запроса, — вот это стыдно! История рассудит, кто был прав, и не удастся вам её фальсифицировать. Да, господа, пустые места в газетах волнуют, раздражают, это верно. Но места, наполненные вашими речами 1 ноября и сегодняшними, во время этой войны произведут гораздо более опасные последствия, они защитников наших лишат веры в нужность самопожертвования. Вы отнимете у русского солдата всякое желание сопротивляться врагу. Зачем сопротивляться, если верно всё, что говорили с этой кафедры? Вы — первые пособники германцев, вы хотите перевернуть всю Россию вверх дном. (Слева шум. «Ой-ой!») Во время войны мудрый народ, республиканский Рим, выбрасывал все свободы, выбирал диктатора. Когда всё мужское население идёт в окопы, когда все свободы нарушены существом военных действий, — не толкуйте нам о свободе слова, печати, толкуйте — как победить германцев. Вы не склонны ещё понять, какие опасности грозят России, и *первые вы, маленькие люди, погибнете!* (Рукоплескания справа.)

Ага, вот на кафедру выходит военный министр. Прогрессивный блок напрягся и сплотился: не сдадим! не уступим! Жалких ваших аргументов и слушать не будем! Правительство изменило, и трон изменил, об этом громко объявлено, и никому не дадим опровергнуть!

Шувалов: ...поделиться кой-какими мыслями из переживаемого времени. Каждый день мы приближаемся к победе! (Продолжительные рукоплескания во всем зале.) А потому что война ведётся не одною армией, но всем государством. Всё, что может, взялось за снабжение армии.

(То есть общество. Хорошо!)

И вот цифры: за полтора года: трёхдюймовых орудий у нас увеличилось в 8 раз («Браво!»), гаубиц — в 4 раза, снарядов тяжёлых — в 7, в 9, а трёхдюймовых — в 19 раз, взрывателей — в 19, фугасных бомб в 16, кое-чего из взрывчатых — даже в 40 раз («Браво!»), а удушающих средств — в 70 раз! («Браво!»)

Вот что дала дружная совместная работа — и позвольте надеяться и просить вас помочь и в будущем для снабжения нашей доблестной армии. (По всему залу: «Браво!»)

Враг надломлен, он не справится. Каждый день приближает нас к победе. Во что бы то ни стало победить — это повелительные указания Державного Верховного нашего Главнокомандующего. Этого требует благо нашей родины, перед которым всё должно отойти в сторону. (Бурные продолжительные рукоплескания всего зала.)

Ну что ж! Кроме встрявшего дежурного «Державного» — это не только не плохо, это просто великолепно. Правда, мало похоже на военное поражение, но зато признано, что всё военное снабжение держится на обществе! И никакой солидарности со Штюмером, с Протопоповым, со всем гнездом измены и сепаратного мира!

Григорович: Я считал своим священным долгом выступить также и открыто сказать, что ваша многолетняя и постоянная поддержка в государственной обороне... (Бурные продолжительные рукоплескания всего зала. «Браво!»)

То есть что получилось? Что армия и флот отделились от гнусного сгнившего предательского правительства — и соединяются с думской оппозицией!

(Они и посланы были струсившим правительством сыграть на патриотических чувствах Думы — и так создать примирение. Но выйдя перед девятьсот напряжённых глаз — не собрали мужества упомянуть клятое правительство и не избежали соблазна сорвать аплодисменты — самим себе.)

Однако всё-таки тут надо пошушукаться, посоветоваться вокруг Милюкова. Двадцать минут перерыв! (В перерыве Шуваев благодарит Милюкова за его предшествующую патриотическую речь.)

Родичев: Редко случается, чтоб так веско сказано было бы нужное слово. Сражаться до конца — ведь только этого мы и хотим, ведь только для этого здесь и сидим. (Рукоплескания слева и в центре.) За нами — всеобщий порыв страны и более чем двухлетний подвиг жертв, которыми Россия не считалась. Но чтобы не считаться с жертвами — нам надо верить в вождей. Россия нуждается в вере во власть. Это старая её потребность — честная добросовестная власть. И когда во все щели рвётся тлетворный воздух, мы говорим: очистите атмосферу! Одна вера осталась в России незыблемая, это вера в Государственную Думу. (Слева: «Браво!») Это единственная среда в России, где раздаётся свободное слово, мощь которого безгранична! (Рукоплескания слева и в центре. «Браво!»)

И мы ещё эту Думу слушаем.

Петроград, 3 ноября

ЦИРКУЛЯРНАЯ ТЕЛЕГРАММА РУССКИМ ПОСЛАМ  
министра иностранных дел Штормера

Распространённые за последнее время печатью некоторых стран слухи о секретных переговорах, которые будто бы ведутся между Россией и Германией о заключении сепаратного мира... играют лишь в руку враждебным государствам... Россия будет биться рука об руку с доблестными союзниками против общего врага без малейшего колебания до часа конечной победы...

72

Соединяла государыню с её собственным лазаретом и более глубокая связь, чем работа в нём: она ездила туда посидеть у постелей, иному тяжёлому молча держать руку или положить ладонь на голову, говорить слова успокоения, заменить близких. Бывали излюбленные раненые, близ которых она сживала каждый день — до смерти или до выздоровления, и умерших потом вспоминала как своих родных. Близ более лёгких сидела с вышиваньем, слушала их рассказы, носила им цветы, раненый мальчик говорил: я так счастлив, что мне больше ничего не надо. То обнаруживались офицеры, которые 10 или 15 лет назад видели её на смотре, издали, а другие становились знакомыми теперь, и уже навсегда. Благодарность раненых целительно укрепляла государыню. Её тянуло туда — когда так томительно было без мужа и без сына, и там она забывала своё одиночество. Её тянуло туда, когда она чувствовала себя особенно подавленной и несчастной. И даже когда она сидеть не могла — она ехала в свой лазарет полежать на диване, — и всё же испытать уют и успокоение, лившиеся к ней от госпитальной обстановки.

Но ещё особенно соединяла её с ранеными — молитва вместе. Это — одна из женских обязанностей: стараться больше людей приводить к Богу. А солдатские — не офицерские — души бывают

совсем детские. С выздоравливающими государыня бывала на богослужениях. С уходящими в смерть — молилась. Молитва всегда помогает отлетающей душе. Вот — ещё одна храбрая душа покидает этот мир, чтобы соединиться с сияющими звёздами. И сколько она видела умирающих — это только позволяло ей понять величие происходящего.

Вера помогала ещё более, чем работа. Церковь — такая несравненная помощь, когда на сердце печально. И плакать там облегчает. В прежние годы, поподвижней, государыня любила поехать с Аней в одиночных санях, неузнанными, в какой-нибудь тёмный безлюдный храм и молиться там на каменном полу, на коленях. Ещё ведь сколько лет она отмаливала здоровье сына. Всякий день, поставив свечу у Знаменья и помолясь за Государя, трон и наследника, Александра чувствовала себя спокойней. И особенно укреплялась душа от причастия, несколько раз в году. А когда-то ещё мсьё Филипп убедил её, что она находится под покровительством Богородицы и особенным образом связана с ней. Особенно она верила в день Покрова, который должен принести выдающуюся милость. Поразило её, когда и Друг сказал, что день Рождества Богородицы — её особый день. С Другом тоже не все разговоры были одинаковы, но когда возникал *чудный* разговор — о чудесах и необъяснимом, душа государыни трепетала: эти разговоры давали подняться выше земных тревог или посмотреть на них свысока. Ещё читала она книги о религиях индийской, персидской.

Можно понять, что всё, кипящее сейчас на Земле, и эта чудовищная европейская война, и всё происходящее в России, и борьба русского трона со своими заклятыми врагами, — гораздо глубже, чем кажется на взгляд. И мы, которые приучены смотреть на вещи также и с *другой* стороны, — видим, что это за борьба и что на самом деле она означает.

И можно ожидать ужасного конца.

Прошлым летом, в самые страдные дни русского отступления, вдруг телеграфировал Варнава из Тобольска, что люди видели днём на небе крест.

А сегодня, с четверга на пятницу, государыня видела такой странный сон: будто её оперировали. Она лежала на операционном столе и всё сознавала. Будто ей отрезали правую руку и ей было не больно, но остро жаль: ведь во всякой борьбе за правое дело так нужна правая рука. И как же теперь креститься? И как письма писать Ники?

Она проснулась с содроганием.

Она боялась, не допускала себя отдаваться угнетающему чувству.

Но к несчастью помнила, когда это угнетение овладело ею первый раз в жизни, ещё совсем молодой: при свадьбе. Ей досталось въехать на царствование в Россию — вместе с гробом умершего царя, сопровождая его от Крыма до Петербурга. И сперва были — похороны, цепь панихид, — и свадьба как продолжение этих панихид, только невесту одели в белое платье.

А уж теперь-то! — такой старой и подавленной она чувствовала себя — ото всех болей и всех беспокойств. А с тех пор, как началась эта злосчастная война, — беспокойство не уходило из сердца ни на день.

Эта война началась — рядом с Александрой, в соседних комнатах, — но Государь ничего не сказал ей в тот день, ни разу не посоветовался, она ничего не знала о всеобщей мобилизации и как рыдала потом! Она чувствовала, что совершилось в мире что-то необратимое.

Началась война — и что же верно Государю? Они решили, что место его — как можно больше ездить по войскам, да он это и любил. Для него большое утешение видеть эти массы преданных, счастливых подданных — но для них?! какая награда! Каковы их чувства, когда они видят так близко и запросто своего Государя — да если ещё и с Бэби? Какую отвагу придаст им это драгоценное появление, какие солнечные воспоминания на всю жизнь останутся у всех! Они увидят, за кого они бьются и умирают (не за Ставку, не за Николашу, — и кстати, Николаша много проиграл, что никогда не ездил по войскам). Побольше войск обозревать Государю, и важно, чтобы в газетах печатали об этом. Государыня считала себя и дочерью солдата, и женой солдата — и хотела бы вместе с мужем тоже ехать ближе к фронту, чтобы воины мужались, и хотела бы сама видеть лица этих храбрецов, когда они увидят, за кого идут на бой.

За то, что Ники взял на себя пост Верховного Главнокомандующего, — теперь жестокою разлукой пришлось платить супругам: 21 год до того не разлучались их любящие сердца — теперь одна неделя разлуки кажется вечностью, а приходится — и на многие недели.

О, какое отчаяние — не быть с тобою вместе! О, как бы я хотела никогда с тобою не расставаться, разделять с тобою всё и ви-

деть всё! Выплакала все глаза. Но твоя жена всегда с тобой и в тебе! Мне невыносимо сознание, что ты постоянно отягощён заботами и находишься так далеко от меня. Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания и тревоги. Ужасная вещь — сидеть в Ставке, в городских условиях, столько месяцев подряд. Ты постоянно за чтением докладов, мой бедный малютка. Как тебя изводят ещё министры, и тебе приходится принимать их даже в ужасную жару. Как много тебе приходится работать, какую ужасную жизнь ты ведёшь.

Эти постоянные разлуки изнашивают сердце. Никогда нельзя привыкнуть к минуте провожания. Твои большие грустные глаза, полные любви, так и стоят потом, и преследуют. И никогда не ослабляется ужасное ощущение твоего отсутствия. Мы с тобой — всегда одно целое. На какую ещё любовь способно моё старое сердце! Люблю тебя всё больше и больше, с каждым днём. Люблю тебя, как редко кто был любим. И за гробом буду твоя жена и друг. Мой бедный большой Агунюшка! Мой храбрый мальчик! Голубой мальчик с великим сердцем! Мой сладкий! Мой солнечный Свет! Солнце моей больной души! Кладу в конверт маленькие розовые цветочки — знай, что я их поцеловала. Завидую им, что они понесутся к тебе. И ты тоже их поцелуй. Вот это место, обведенное на листе, — здесь стоит мой крепкий поцелуй. Я надушила это письмо, чтобы не было противного запаха чернил. А вот посылаю тебе цветы, которые стояли у нас в комнате, и ими дышала твоя старая Солнышко. А как я люблю получать цветы от тебя! — они залог нежной любви. С твоим дорогим письмом уединяюсь и наслаждаюсь. Перечитываю несколько раз и, безумная старая женщина, целую твой дорогой почерк. В воображении кладу голову тебе на плечо — и лежу тихо на твоём сердце. А на ночь всякий раз благословляю и целую твою подушку. В темноте перебираю твои слова — и они наполняют меня тихим счастьем, и я чувствую себя моложе. Желаю тебе увидеть свою жёнушку во сне. Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, — вечно вместе, всегда неразлучны. От этих разлук огонь разгорается только жарче. А телеграммы — не могут быть горячими, через столько чужих рук они проходят. Чувствуй меня возле себя, я тебя грею и нежу. Жажду почувствовать, что ты — мой собственный, целую всего тебя — ведь я одна имею на это полное право, ведь так?

Я не хвальнось, но никто не любит тебя так, как старое Солнышко. Она дерзает называть тебя своим, жалуется, что получает мало

ласки, — она думает, что она одна скучает без тебя. Она — глубоко разбита, она ведь ничего не испытала в жизни. Ты — её жизнь, у неё всё сосредоточено в собственной личности и в тебе, но ты — мой, а не её, как она осмеливается тебя называть. Ведь ты сжигаешь её письма, чтоб они никогда не попали в чужие руки? Я буду охотно передавать их сама, хотя Аня не понимает, что её письма представляют для тебя так мало интереса. Но лучше пусть пишет через меня, чем через свою прислугу. Вот — она целует твою руку. Вот — она нежно целует тебя. Вот тебе её объёмистое любовное письмо. Шлёт тебе множество любящих поцелуев. Вот она с ума сходит от радости, что ты возвращаешься в Царское. Пошли ей привет, ей грустно не получать ничего. Передай ей поцелуй, она будет счастлива. (Терпеть не могу выпрашивать поцелуи, подобно Ане.) Однако не позволяй твоей даме сердца писать слишком часто. Надо выдрессировать её умеренностью, потому что чем больше имеешь, тем больше желаешь. Её всегда нужно обливаться холодной водой. Конечно, если тебе самому нужны беседы с ней — другое дело. Но если мы теперь не будем тверды — у нас будут истории, и любовные сцены и скандалы, как в Крыму.

Аня Танеева стала фрейлиной, получила шифр с бриллиантами ещё в 1903 году, 19-летней девушкой. Но быстро она превзошла своё положение, и уже через два года настолько все при дворе ревновали её к Ея Величеству, что для отвода зависти остальных фрейлин иногда проводили её в кабинет государыни через комнату для прислуги, возбуждая, впрочем, новые кривотолки. Их сблизил и музыка — они играли в четыре руки, брали уроки пения у профессора консерватории, пели дуэты (у Ани было высокое сопрано, у государыни — хорошее контральто, но Государь не любил, когда она пела, и это заглохло). Более того, Аня была единочувственна государыне — в религии, в общем ощущении мира и его наполненности таинственными предзнаменованиями и страхами.

Государыня тем более нуждалась в близкой женской понимающей душе, что с первых же шагов молодой императрицы в России обозначился разлад её с петербургской знатью и развивался неотвратимо. С первых же дней в России она почувствовала, что её почему-то здесь не любят и не полюбят. Это ещё можно было спешить исправить — но Александре мучительно трудно было: она и без того была замкнута, болезненно застенчива, а ощутив к себе предубеждение общества — ещё более отчуждалась. У неё было



несчастное свойство казаться на людях натянутой и не нравиться. Она была совсем неспособна к притворству, не умела неискренно улыбаться, чем очаровывается толпа. Она не умела искусственно расположить к себе общество, мучительней всего было ей сближаться с теми, с кем не хотелось, на публике она казалась холодной, застывшей, скучающей — да и действительно скучала, — и всё это ещё в контрасте с улыбчивой, приветливой старшей императрицей, с которой она не могла соревноваться. (И та — любила приёмы, и всегда выступала на первом месте, об руку с Государем.) А вскоре пошла черед детей и черед болезней, и потребность подолгу лежать, не то что стоять, — и тем более стало не до балов, не до приёмов, даже и частных, это всё отменилось. Многие добивались быть принятыми лично, и каждый, кому уделялась ласка, уже завербовывался в друзья. За приём ей готовы были бы всё простить, но и на эти приёмы не было сил, всем кряду отказывали, — а при отказах невозможно было сослаться на серьёзность нездоровья, его тоже надо было скрывать, — и так всё объяснялось гордостью, холодностью, отстранённостью императрицы. Как пышно праздновали 300-летие дома Романовых — но какой холод и неприязнь к императорской чете веяли от блистательной великосветской толпы!

Так Аня Танеева стала не придворной дамой, но первым другом. На 12 лет моложе государыни и на столько же старше дочери Ольги, как бы младшая сестра или старшая дочь, Аня разделяла с царской семьёй их любимые интимные прогулки на яхте в финляндские шхеры, где они гуляли без всякой опасности от террористов и совсем как простые люди, без оглядки, — по тропинкам, по ягоды и грибы. И там когда-то государыня обняла её и сказала: «Бог послал мне вас, и я больше никогда не буду одинока». В 1907 Аня вышла замуж за морского офицера Вырубова, сохранившего себя при взрыве «Петропавловска», Их Величества благословляли молодых иконой в дворцовой церкви — но супруги быстро разошлись, развелись, Аня ничего не видела от мужа, кроме безпомощной ярости, она убежала от него и только сохранила навсегда его фамилию. Теперь при дворе она уже не возвратилась в состояние фрейлины, но так и была — единственной интимной подружкой императрицы.

Однако постепенно она стала уже не только подругой, но постоянным третьим при императорской чете: не давала супругам полного уединения и принадлежности. Где не ждёт нас людская

неблагодарность? Ей дали сердца, домашний очаг, частную жизнь, — и как не испытать горечи, когда её поведение в Крыму осенью 13-го года, зимой и весной 14-го было недостойно — да оно и перед тем было приготовлено её притяжением к Государю и отдалением от императрицы, и даже странной грубостью с нею, снизу вверх, холодностью, потерей всякой прежней близости. И государыня отправила её из Крыма прочь.

Разлука не длилась слишком долго — государыня простила Аню, вернула, — однако что-то пропало, появилась тягость в отношениях, не могло быть прежней близости и лёгкости, анины капризы расстраивали покойные вечера, открылось, как она избалована, дурно воспитана, думает только о себе, ей всегда нужно что-то новое, — и государыня даже страшилась новых поворотов аниного настроения.

Затем в январе прошлого года Аню постиг страшный удар: она попала в железнодорожную катастрофу, были сломаны обе ноги, повреждена голова, спина, рвало кровью, она шесть месяцев пролежала на спине и перенесла несколько операций. И теперь стала калекою, навсегда с костылём. Это могло бы дать полное обновление прежней дружбы, государыня сидела при ней многими часами, — но, Боже, как далеко Аня ушла душой. Болезнь её не исправила, её капризность и требовательность только повысились, она язвила скрытыми намёками, теперь, по своей беспомощности, она надеялась получить больше внимания, посещений и ласки Государя, надеясь на возврат прежнего. Она не хотела считаться, что у государыни слишком много других обязанностей, ревновала её к раненым, слала по пять записок в день с призывом прийти, и два сидения в день по часу считала недостаточным, — хотя и говорить было не о чем. Чтоб этот несчастный случай имел в результате мир, чтоб Аня думала не только о себе, — государыня читала ей Жития Святых, но долго не размягчались её жёсткие глаза, она всё хотела, чтоб Государь навещал её часто: «У вас есть дети, а у меня — только он!» А стала ездить в коляске — хотела жить в их дворце и чтобы в саду встречаться с ним без государыни. Только последовательной твёрдостью и осторожностью отношений наконец излечили её.

Но шли и шли месяцы страшной войны, и вокруг всё увеличивалось врагов, — а Аня оставалась всё же верной душой и доверенной, и единственной преданной без оглядки. Она разделяла преклонение перед Другом, и была в курсе всех сношений,

скрываемых от мира. Только в её домике и можно было незаметно встречаться с Другом, только через неё — поддерживать с Ним быструю короткую связь. Уже на костылях, она поднималась к Нему на Гороховой на третий этаж и, страдая заедино, получала анонимные угрожающие письма с отметкою чисел, которых ей надо опасаться, и даже санитар её получал угрозы, что погибнет насильственной смертью, так что одно время давали ей дворцовую охрану. Друг неизменно её хвалил, называл «отроковицей небес», и не желал никого другого для связи, и велел брать её в Ставку, когда государыня ездит туда. Да что ж, агрессивность её уменьшилась, и снова возвращалась хорошая девушка, добрая верная помощница. *Нас* вместе так мало — будет больше мира и силы.

Так мало нас — и ещё в разлуке. Многострадальный мой голубчик, солнечный большеглазый душка! Ты делаешь великое и мудрое дело, но когда же ты будешь освобождён от волнений и тревог, и будут честно выполнять твои приказания, служи тебе ради тебя самого? Как я хотела бы помочь тебе нести твой неудобноносимый крест! Это ужасно — давать делать тебе одному всю тяжёлую работу. О, как успокоить твою усталую голову! Иногда женщина может помочь, если мужчины к ней прислушиваются. Ты так всегда занят, ты можешь забыть, что я твоя записная книжка. Вот я посылаю тебе бумажку для памяти — держи её перед собой во время приёма министра. Ах, зачем мы не вместе, чтобы обо всём переговорить! Моё перо летает как безумное по бумаге, не поспевая за мыслями, но я не могу писать обо всём, о чём хочется. Устроить бы прямой телефон — но так, чтоб его не подслушивали.

Из сознания долга и окрылённая любовью, и из сострадания к изнемогающему супругу государыня находила в себе и мужество, и мужскую волю, и мужской разум, — особенно в последние годы, когда, по-видимому, все мужчины стали носить юбки. За последние годы, когда Александра Фёдоровна выбилась из малолетства пятерых детей, — не было такого случая, чтоб она не имела определённого государственного мнения и мнение это было бы неправильно. Да слишком близко она стояла, чтоб разрешить себе не вмешиваться! Сперва с робостью она вступала в помощь царственному супругу, оговариваясь и извиняясь перед ним, ничего ли он не имеет против, что она является со своими идеями. Она ежедневно молила Бога, чтоб оказаться верной помощницей и правильно советовать.

Я чувствую, что я поступаю жестоко, терзая тебя, мой нежный, терпеливый ангел. Мои письма, наверно, часто тебя раздражают. Но если я когда-нибудь тебя огорчила — то никогда не умышленно. Ты знаешь, между нами за всю жизнь никогда не было ни раздражения, ни громкого слова. Но я всегда была твоим колокольчиком и предостерегала тебя от дурных людей. Я знаю, что могу тебе сделать больно и грустно, но ты, Бэби и Россия мне слишком дороги. Хотя бы из любви ко мне и к Бэби — не давай никаким разговорам или письмам обезкураживать тебя. Иногда я дохожу до бешенства, зная, что тебя обманывают и предлагают тебе самые дурные вещи. Не предпринимай крупных шагов, не предупредив меня и не переговорив обо всём спокойно. Разве бы я так писала, если б не знала, что ты легко колеблешься и меняешь образ мыслей — и чего стоит заставить тебя держаться твоего собственного мнения. Я так боюсь за твою мягкую доброту, всегда готовую сдаться. Мне кажется жестоким, что я это пишу, но я страдаю за тебя как за нежного мягкосердечного ребёнка, который слушается дурных советчиков и нуждается в руководстве. В такое время быть в разлуке — совершенно невыносимо и может свести с ума. Насколько было бы легче разделить всё друг с другом! (Хочешь, я приеду на один день, чтобы дать тебе храбрость и твёрдость?..) Мы должны передать Бэби крепкое государство и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет ещё более трудное царствование, так как придётся исправлять наши ошибки и крепко натягивать возжи, которые ты распустил. Мы — Богом возведены на престол и должны твёрдо охранять его и передать неприкосновенным сыну. Мой долг как матери России — сказать тебе всё это.

Поначалу государыня чувствовала, что министры её не любят (как не любит и весь петербургский свет и царская фамилия), но дальше — помогала всё уверенней. И вот уже Ники благодарил, что она нашла себе настоящее дело — поддерживать согласие среди министров и беседовать с ними. Теперь она совсем уже не стеснялась министров и говорила с ними по-русски как водопад, и они из любезности не смеялись над её ошибками. Министры видели, что государыня энергична и передаёт Государю всё, что видит, слышит, что делается, — что она государев глаз, ухо и крепкая стена в тылу. Бобринский сказал: «Левая клика ненавидит вас, Ваше Величество, потому что чувствует, что вы стоите за Россию и за трон!»

Да! И она — более русская, чем иные другие в этой стране, и она не останется равнодушна к левым мерзостям!

Мне труднее заставить тебя быть твёрдым, чем самой переносить ненависть других, которая меня оставляет холодной. О, как бы мне хотелось влить в твои жилы мою волю! Не слушайся людей, которые не от Бога, но трусы. Ты их испортил добротой и всепрощением, они не знают значения слова «послушание». Не сгибайся перед ними! Покажи им свою властную руку и дух! Если они будут знать, что тебя всегда можно понудить к уступкам, — никогда не будет мира.

Сам повелитель — с вечно застенчивой улыбкой. Зато Александра понимала и всё величие его царствования и все опасности его. У Ники не хватает умения быстро разбираться в людях, а в себе Александра это умение нашла. Он переживает много трудных минут, не зная, кто говорит правду, кто пристрастен. Вот слабость Государя: когда на него слишком давят — он в конце концов уступает, считая, что так будет лучше. А уступать на самом деле — нельзя: за каждой уступкой потребуют новых. Если менять министров по каждой прихоти Думы — Дума вообразит, что это она выгоняет. Советчики и окружающие подводят его, вынуждают быть иногда несправедливым. Он всегда медлит с каждым решением, и нужна жёнушка, которая подталкивала бы его. Ах, эти его колебания! Ах, эта его безпредельная мягкость. Возвышенна эта мягкость и кротость, но для Неба, не для земли! Конечно, такая мягкость — идеал для христианина, но всё-таки — не на троне! На троне — нужны и тугие поводья, нужно и железо.

Сколько терзаний испытывала она от его непростительной мягкости! Передавать ему мужество, решимость, энергию — и была главная цель жены. Как я хотела бы дать тебе веру в себя самого! Несказанны твоё терпение и всепрощение. Говори мне открыто, даже плачь, — от этого физически становится легче. Возможно, я недостаточно умна, но у меня сильное чувство, я прислушиваюсь к своей душе — и хотела бы, чтоб и ты прислушивался, моя птичка. Мой дух бодр — и я готова ко всему, что тебе может понадобится. У меня довольно энергии, даже когда я себя чувствую больной. Мне хочется всюду вникать, чтобы будить людей, наводить порядок и объединять все силы. Пусть все работают рука в руку ради единого великого дела, а не ради личного успеха. Мелкие личности часто портят великое дело. Я неудобна для таких типов. Я тебе надоедаю этими разговорами? Я ненавижу тебе докучать. Как

я хотела бы, чтоб настало такое время, когда я могла бы писать тебе только милые забавные письма, про нашу любовь, нежность, ласки. О, если бы мы могли уехать на несколько дней на юг! Но дела — неотступны, строги к нам, — и будь же строгим! О, дай им почувствовать твою мощь! О, заставь замолчать противоречащих, ведь ты их повелитель! Кто делает ошибки — тех наказывай. А когда накажешь — не прощай тут же сразу, как ты склонен, не давай смещённым тут же хороших мест. Тебя недостаточно бояться. Будь твёрдым и внушай страх, ведь ты мужчина! Будь как железо. Дай почувствовать им всем твою волю и решительность! Хвати кулаком об стол! Будь хозяином! Правит царь, а не Дума! Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом — и раздави их всех под собой! Будь львом против малой кучки негодяев республиканцев! Идёт война — и в это время внутренняя война есть государственная измена, почему ты на это так не смотришь?

(По окончании войны надо будет произвести расправу с врагами: почему должны оставаться на свободе те, кто готовили низложение своего Государя?)

Почему меня так ненавидят? Потому что я твоя скала и опора, и это для них невыносимо. Неправедные и дурные ненавидят влияние на тебя нашего Друга и моё — а только оно благо. Я всецело полагаюсь на нашего Друга. Благодаря Его руководству мы перенесём эти тяжёлые времена. Молитва Друга даёт тебе силу, в которой ты так нуждаешься. Не имей мы Его — всё давно было бы кончено.

Дома — здоровая атмосфера, тут — Ники видел все вещи правильно. Но когда он в Ставке — государыня постоянно боялась, не замышляют ли чего. За эти месяцы она несколько раз ездила туда собственным поездом и в нём жила, со всеми дочерьми, а моторами ездили то в губернаторский дом к завтраку, там переодевались, ехали на прогулку, ещё переодевались, к чаю, — и снова в свой поезд, а затем Государь с наследником приезжали обедать к ним. Яркие незабываемые поездки, и снова общение, хоть не совсем как дома. Эти последние дни государыня жила близким сроком поездки в Ставку, уже назначенной.

Но даже короткие оставшиеся дни было невыносимо прожить: что-то копилось грозное в воздухе, подобно лету Пятнадцатого года. Так, не досмотрясь, можно докатиться и до революции. Как жила сейчас Александра! — почти не спала, ночь за

ночью по два часа, душа горит, голова устала, вся истомлена уже с утра, — и только дух бодр, бороться за трон Государя и за Бэби. А тут ещё — две недели непробиваемого пасмурного свода, сырость, тяжесть, ни луча. В такой погоде и открылась злостная Дума.

А на другой день, в среду, радость: ясное-преясное солнышко! Какое наслаждение, какая надежда: Бог поможет нам выйти и из этого положения! Быть может, с этой перемены погоды всё и станет лучше, знак! И ещё одна радость, знак: установили наконец прямую телефонную связь со Ставкой, и с той стороны подошёл к телефону Бэби, — но так плохо, так издалека, неясно, ничего не разобрать.

Всё — в солнце, и дурные вести от заседания Думы во вторник, какая-то грязная речь Милюкова — как бы растаяли, показались совсем несерьёзны.

А Штюмер этим заседанием был очень расстроен: Дума и не хочет слышать ни о какой законодательной работе, а вся обратилась к борьбе с правительством; и не указывает, что же именно плохо, а — «мы или они», свалить правительство и заменить своими! Это во время такой войны, безумцы! Дать им самим ставить и снимать министров — это будет гибелью России. Все на этом помешались — но этого не давать!

И отчего ещё приуныл Штюмер, что на этом думском заседании ему самому досталось, бедному: Милюков объявил его взяточником, изменником — и прямо сослался на Бьюкенена, а Бьюкенен промолчал! какая подлость от союзного дипломата. Хотя не такой болтун и глупец, как французский посол, но тоже неумный, а главное — надменный, и очень дерзко стал разговаривать с Государем, выставляет требования.

И вот, не имея возможности затронуть престол, напали на беззащитного старика — и Штюмер терзается, что он стал причиной всех этих неприятностей для Государя. Он хотел протеста ото всего правительства — министры уклонились, пусть старик выпутывается сам. Штюмер считает, что Родзянку следовало бы лишить придворного мундира за то, что он не остановил, когда в Думе инсинуировали. Он поручил Фредериксу, как министру Двора, сделать выговор Родзянке, но Фредерикс по глубокой старости ничего не понял и не то написал. Итак, получилось безвыходное положение: министру-председателю нет защиты от клеветника. И остаётся подавать в суд как частному гражданину.

Правда, от правительства пошли выступать в Думу Шуваев с Григоровичем — но всё смазали, взяли неверную ноту: как бы отгораживались от остального правительства, заискивали перед Думой. А Шуваев сделал и гораздо хуже: в кулуарах пожал руку Милюкову, который только что выступал против нас.

Нет, Шуваев — мешок, не годится. Ах, как нужен на место военного министра — истинный джентльмен Беляев!

Пусть! Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук: они видят, что создаётся наконец твёрдое правительство — и им тогда ничего не взять. Пускай кричат, а мы покажем, что не боимся и тверды. Думцы отвратительны из-за своего отношения к России: как они вредят ей и совсем не думают о ней.

Грустно убеждаться, что у злонамеренных людей бывает больше храбрости и подвижности, и они больше успевают, чем мы.

Но нужно предвидеть, а не спать, как в России это обыкновенно делается. На самом деле всё идёт к лучшему. Хотя и медленно, но верно всё улучшается.

Тут получилась беда с этой продовольственной переменной у Протопопова. Штюмер находит Протопопова суетливым, а особенно теперь, после этой резкой переменчивости. О нет, Протопопов — не суетлив, это Штюмер мешкает, не умеет ответить врагам быстро и своих министров не держит крепко в руках. Нет, Протопопов — спокоен, хладнокровен, а главное — предан, честно за нас и благоговеет перед Другом. Но, конечно, эта быстрая, путаная перемена с продовольствием измучила и государыню; обезкуражился и Государь, а он, отдалённый расстоянием, одинокий, хрупкий, таких колебаний ему не надо испытывать. Но не огорчайся! — слала она ему вдогонку, — первое решение было правильно, и оно скоро осуществится.

При таких напряжённых событиях особенно поддерживали государыню встречи с Другом, часто — и по два раза в неделю. В эту среду вечером в маленький анин домик Друг пришёл с епископом, был настроен возвышенно и великолепно, говорил спокойно. Только очень огорчался, что едет в Ставку Николаша — впервые после своего смещения. Николаша — это злой дух. И раздражён был Друг — на Протопопова: прямо назвал, что он отказался по трусости и откладка с продовольствием на две недели — просто глупая, никакого смысла не имеет. Из-за Думы же Друг не слишком волновался: она всегда кричит, что бы там ни было и как ни поступи. Сухомлинова — освобождаем, это хорошо. А вот с Рубин-



штейном? Государь всё не слал освободительной телеграммы. Он опять там засомневался? Ему наговорили в Ставке что-нибудь другое? Почему он медлит? (Со многих сторон обращались к государыне о спасении Рубинштейна.)

Во всём происшедшем отчасти и сам виноват Штюмер: он чего-то испугался, целый месяц не видел Друга, вот и потерял точку опоры. А правильно Друг говорил и раньше: довольно со Штюмера, что он председатель, не надо ему было брать министерства иностранных дел, с этого и пошла главная травля. Сейчас Друг думал так: иностранные дела Штюмер пусть уступит. А самому — заболеть недели на две, пока Дума искричится, пойти как бы в короткий отпуск, — в отпуск, но ни в коем случае не в отставку! — он преданный, честный, верный человек, и тихо вернётся, как только в Думе будет перерыв. А пока его заменит по закону старший из министров — Трепов. (И Штюмер научит его, что надо оберегать Друга.)

Если б не было над государыней мудрости Друга — всякое могло бы случиться. Он — скала веры и помощи.

Конечно, к Трепову ей невозможно будет иметь такого чувства, как к Горемыкину или Штюмеру. Те — из прежнего, хорошего сорта людей, и любили государыню, и приходили к ней по всякому тревожному вопросу. А Трепов — жестокий человек, не любит её и не верит Другу, работать с ним будет трудно.

Но ведь только на время! И Штюмер, и Протопопов, конечно, останутся на местах. Так мало честных людей! — найдя наконец преданных, — за них уже надо держаться всеми силами. От нас хотят отобрать всех преданных и добросовестных — и заменить сомнительными личностями Думы, не годными ни к чему. Нет, дело не в смене отдельных людей — спор идёт о престиже монархии. Они не остановятся ни на ком отдельном, они будут заставлять уходить одного за другим, — а потом и саму царствующую чету!

Оставались уже считанные дни до следующей поездки государыни в Ставку — но бурные дни, и при таком думском нажиме государыня очень опасалась, чтоб именно за эти дни Государя не совлекли, не заставили уступить. И каждый день с новой изобретательностью и новой убедительностью она исписывала страницы писем, ещё по-новому помогая укрепиться супругу, ещё от новых опасностей оберегая его.

Отправила лучшие из своих убеждений, дотягивая, может быть, роковую неделю, — а взамен получила сегодня в пятницу

письмо со вложением: великий князь Николай Михайлович, который зачем-то приезжал к Государю во вторник (зачем? так и сжималось сердце, что здесь — новое зло!), не только брался внушать Государю, но ещё оставил мерзкое письмо, — и Ники, в среду подозрительно обминув всё событие, в четверг вложил это письмо прочесть государыне самой, — и теперь оно обжигало ей руки.

Старый ничтожный болтун! мерзкий, гадкий человек! Что он нёс — против жены своего императора, да ещё во время войны, — это гнусная мерзость, предательство! Он и все двадцать два года ненавидел государыню и дурно отзывался о ней в клубе, его речами возмущаются даже посторонние люди, он — воплощение всего низкого, ему невыносимо, что с мнением государыни начинают считаться. Как легко учить со стороны, не неся бремени и ответственности!

Закурила, хотя от этого расширялось сердце.

Не к этому ли был сон с отрезанною рукою?

Два дня постоявшая погода в пятницу опять помрачнела и угнетала страшно.

Ранило её больше всего — что за Николаем Михайловичем безусловно стояли государева мамаша и сестры, которые тоже наслушались сплетен, — они несомненно одобряли его! Ранило её то, что Ники во время разговора — не остановил этого оскорбительного болтуна (а даже, может быть, в чём-то был им и поколеблен?).

Почему ты ему не сказал, что если он ещё раз коснётся меня, — ты сошлёшь его в Сибирь, ибо это уже граничит с государственной изменой? Мой дорогой, ты слишком добр. Я — твоя жена, и они не смеют. Как он смеет говорить тебе против твоего Солнышка? Даже частный человек ни одного часа не стал бы переносить таких нападков на свою жену! Для меня это трын-трава, меня не трогают эти мирские вещи и мелкие гадости, — но мой мужёнок должен был бы за меня заступиться. Многие думают, что тебе всё равно.

Гадкие люди повсюду трепали имя государыни. Она получала самые отвратительные анонимные письма. Столбами поднимались миазмы и микробы из Петрограда и Москвы. Далеко не все подробности злословия докатывались до августейшей четы, но воспламениться можно было и от того, что доводилось слышать. Императрицу, англичанку по воспитанию, какие-то скоты звали «немкой» (как когда-то «австриячкой» несчастную Марию Антуанетту, или как будто хоть одна царица в России за последние два столетия была русская!). А теперь, в разгар войны, связывали это

едва ль не с изменой России! Божьего человека сделали символом ненависти образованного русского общества, которое само не понимало четвертой части того, что читало. В гнилых столицах об императорской чете говорили с полной распущенностью. Сперва Государыня и Государь надо всеми этими слухами просто смеялись: кто против нас? петроградская кучка аристократов, играющая в бридж и ничего не понимающая в России. Да ещё пока идёт великая война — обращать ли внимание на ничтожную клевету? Всё это злословие (уже перекинувшееся и к иностранным послам!) побуждало только ещё тесней замкнуться в своей семье, никого не видеть и не слышать.

Но стали прорываться и прямые обращения дерзких лиц, да носящих придворные мундиры, осмелевших указывать, что должен делать монарх, пишут докладные на десяти страницах. (А у нас Фредерикс — рамольная тряпка, давно не годен к должности министра Двора, не способен наложить наказание за клевету на оберъегермейстера, но Ники держит старика, чтоб он не обиделся увольнением. Ну хорошо, они поплатятся в мирное время, и многие будут вычеркнуты из придворных списков.) И протопресвитер Ставки тоже полез указывать.

Миазмы клевет дымились, все имели свободу лгать, намекать, обливать грязью, — но никто в целой России не поднимался на защиту императрицы.

Неся на голове российскую корону и имея целые полки её имени — разве имела царица хоть какую-нибудь силу защиты от этих клевет? Только царственный Супруг, в грозе и гнев, мог защитить её.

Но он не защищал её даже тогда, когда, в старой Ставке, Николаша с императорскими офицерами и великими князьями обсуждали, как живую, царствующую, нераскоронованную императрицу — запереть под замок, как вещь, как зверя.

Варсонофьев привык считать сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами — с живыми или умершими, только зашифрованными всегда, иногда слишком для нас трудно, а иногда мы не хотим потратить

время разгадать. Из *той* жизни никто не может выразить живущим здесь свою мысль адекватно — и наша случайная с ними связь всегда обречена на неточность, на догадку, на истолкование. А характер и настроение — так почти нескрываемо выражаются во снах всегда.

В пожилом возрасте сердце становится ощутимо-тяжёлым, и носишь его как груз. Все проблемы пройденной жизни, такие даже лёгкие в свои десятилетия, как будто проскоченные нами благополучно, как будто спавшие с нас давно, — вдруг оказываются все здесь, все наслоились плитами на нашей груди — и давливают.

Состоянье твоего греха по отношению к живому постоянно меняется: какие-то если не поступки, то пробежавшие мысли минувшего дня или узнанное что-либо меняют окраску твоего долга, твоей вины и соотношение тебя с тем человеком. А по отношению к умершему грех застывает уже навсегда: иногда чёрен и жожёт безщадно. А иногда — приосветлён, как безысходный манок, привет между двумя мирами.

После каждого такого сна пробуждался с заболевшей душой.

С не переставшей болеть никогда.

Уже рассвело.

С годами Павел Иванович стал высоко подмащивать подушки, а то за ночь затекала голова и целый день потом болела. И, проснясь, сперва долго лежал с закрытыми глазами: поднять веки требовало большого усилия. И только раскрывши их — вступал в следующую степень трезвости. А давно уже не вскакивал, не поднимался бодро к действию, но медленно-медленно перемещался к дневному состоянию, по мере этого и подсовываясь выше и выше, пока уже полусидел.

И всё это время он видел — с тех пор, как кровать была переставлена так, значит уже девять лет, — один и тот же привычный рисунок, первый утренний вид: переплёт небольшого оконца старого деревянного особнячка (одинарные рамы летом и двойные зимой, с ватой внизу и стаканчиками соли). В нижней части справа — конёк крыши флигеля, часть одного ската и не полностью — кирпичная труба (и все виды дыма из неё, прозрачного или густого, востекая прямо вверх или ветром гонимые, разрываемые вбок). Выше и слева — сильную ветку вяза (в листьях, и нагую, и со снежным нападом, неподвижную, или в лёгкой раскачке, и отдельно движение паветвей, в пасмури или в косых лучах). А за ней — это уже за соседним домом — плечо церквушки Власия,

одно верхнее ребро кладки её, не купол. И ещё дальше там — деревянная стена, кусок другой крыши.

Поставленный против кровати этот вид был девять лет, а вообще-то — сколько Варсонофьев помнил себя, потому что в этом доме он и родился, 61 год назад. Раньше — только знал, что есть такой, а вот теперь, при этих медленных вставаниях, в оттенках погоды и внутреннего настроения, этот вид определял собою начинающийся день — иногда жестокий.

Подыматься — становилось с годами задачей. А сейчас — ещё вовсе рано, только проступало серое ноябрьское утро с мокрыми голыми ветками и мокрой железной крышей. Сейчас — хоть и ещё бы поспать, такая была нерешительная в теле слабость.

Ах, стало тяжело Варсонофьеву просыпаться, начинать день. Как будто ещё же не так стар, — но как оязано пробуждение этой неспособностью — молодо вскочить, действовать. Неспособностью не только тела, а ещё больше — сознания. Сознание, наиболее тяжело погружённое в ночное состояние, наиболее медленно из него возникает, осторожно и недоверчиво возвращаясь к этому миру.

Но даже и привязался Варсонофьев к этим своим трудным, медленным, одиноким вставаниям. Так полчаса, иногда и целый час он мог лежать совсем неподвижно, не имея ни сил, ни нужды дотянуться отщёлкнуть, посмотреть часы со столика. Не имея потребности истолковывать суетливые звуки жизни, если они достигали. Лежал — и думал, как мысли сами потекут, не задавая их. Смотрел на тёмный резной небелёный потолок — и из его резьбы вычитывал.

Сознание постепенно возвращалось и в высшую область головы — и Варсонофьев подтягивался по подушке вверх, вверх. И ждал ещё минут, когда сознание, уже обратным током, распространится волею по телу — через грудь в туловище, и по рукам, и по ногам, — и готово будет тело покорно встать и понести бремя.

Вздохнул — и спустил ноги, уже без труда. В комнате показалось холодновато. Привычно взял халат со спинки кресла, заложённого книгами вечернего чтения, надел, пошёл, постепенно и разгорбливаясь.

Не годы его гнули, а мысли.

По пути потрогал белый кафель голландской печи. Еле-еле была тепла. Надо, чтобы сегодня покрепче протопили: сыро, пасмурно, мерзко за оконцами, кажется и морось.

Прошёл ещё две комнатки с низкими потолками — мимо сундуков, книжных шкафов, японской ширмы, журнальных стоп, какие от пола, какие от стула, опять шкафов, комода, гардероба, всё прошлого века и всё не передвигалось пятнадцать, двадцать, тридцать лет, волчьей шкуры, опять книжной полки, до отказа забитой книгами на всю высоту, стоймя и лежа, в старых кожаных переплётах и свежих совсем. Мимо груды высохших дров, уже на антресолях, над сенями. Большого самовара на 20 человек, не употребляемого. И стал спускаться по скрипучей лестнице.

В конце просторных сеней за большим ларём была и двойная выходная дверь с синестеклянной ручкой. Павел Иванович сбил туговатый крючок и, припахиваясь от сырого холода, высунулся наружу, залез рукой в деревянный почтовый ящичек. Все три газеты были здесь — две московских, одна петербургская, с опозданием на сутки.

И, уже не запирая крючка, чтобы ход был прислуге, теми же ступеньками всходил.

Хотя достигнутое наконец утро тянуло Варсонофьева к самому счастливому — одинокому размышлению и работе над бумагой, чем и строится душа; хотя уже лет более пяти назад Варсонофьев окончательно осознал, что ни одна газета не может принести ни ему и никому никакого прояснения мысли, а лишь исплосить её, уповерхностить или заострить в направлении партийном, — но, как курильщик или пьяница, не мог отказаться от этой страсти: совсем изгнать газеты из своей жизни он уже не мог, был отравлен. Чаще он пытался не брать их в руки с утра — тогда сохранялось несколько лучших утренних часов мысли; после обеда газеты, как и курение, не так отравны. Но иногда, хоть и запретив себе, а всё же механически шёл и брал, — и так губил день, если не изгаживал душу. А сегодня он пошёл даже и сознательно, не дотерпывая прочесть о думских заседаниях или хотя бы увидеть, как много или немного белой полосы выкатала цензура.

И не дойдя до кабинета, на столике рядом с бездействующим самоваром он развернул и, полунагнувшись, полуопираясь рукой, стал смотреть. Да, белых цензурных пятен было изрядно, и они-то больше всего кричали и выражали — гораздо богаче мыслью, чем эти ораторы на самом деле могли произнести.

И прежде всего, конечно, прочёл речь Милюкова.

И был поражён её ничтожностью. Даже не в сравнении с высотами человеческого ума — но с холмиками милюковского. Не речь

государственного человека, а какой-то перебор сплетен. Силы речи, силы обращения к собранию у него и никогда не было — ни хватки, ни образов, ни блеска, — а только улавливал он среднюю мысль аудитории и средней же мерою её выражал. В Милюкове отсутствует созерцательная глубина, в нём нет сознания выше позитивистского, и вот эта ограниченность даёт ему напор быть политическим вождём. Выше минутного политического лозунга он и не может дать ничего ни своей партии, ни своему парламенту, ни своей стране.

Не только знаком был с ним Варсонофьев, но и два раза держал с ним публичный диспут — о «Вехах». Даже это — самая резкая чёрточка в Милюкове: как разъярился он на «Вехи» и понёсся во всероссийское турне — опровергать эту книгу, раздражавшую, дразнившую его своей глубиной.

Удивительна и его научная бесплодность: неаккуратность с источниками, назойливые *выводы* вместо фактической истории и честолубивое сторожение своего престижа. При всём том он оценивает эту страну до себя не доросшей: недавно в Христиании жаловался на недостаточность «восьми культурных поколений в России» (считая их, конечно, от Петра). Сам собою он постоянно любителю и — проговаривался — меряет себя под Герцена. А между тем — лишён дара счастливой лёгкости, да даже кругом неталантлив.

Да и сам Варсонофьев тоже ведь начинал вместе с ними со всеми — с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. В 1902 году уже назначали его — ехать за границу, выпускать там «Освобождение», — это представлялось тогда как обречённость эмиграции навечно, маячил и тут образ Герцена. Но взялся выпускать молодой Пётр Струве.

Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой, мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренно был горячим депутатом Второй Думы — и ещё не усумнялся в жаре борьбы. И ему, как другим, третьиюньский разгон Думы казался насилием, не имеющим себе равных в истории!..

А ведь он был и тогда не мальчик, уже пятьдесят.

Останься тем же — он и сегодня был бы вот на этих газетных страницах. Даже дико.

Всего удивительнее в нас, как мы бываем искренни на разных поворотах нашей жизни — и как почти нацело это потом всё в нас

меняется. Поражает несомненность и предшествующего убеждения, и сменяющего.

Так всё повернулось в Варсонофьеве, да и не вовсе медленно: зачем он тогда так страстно бился? Всё было не то. Суетливый, самодовольный Союз Освобождения — как стая крупных глупых птиц, дружно хлопающих крыльями.

Нетерпеливая тщета: хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности. А ход — непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые, на малые тяги. Без рывков.

Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем.

Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность — только плёнка на времени.

## 74

После Гурко — оставалось уезжать. Но нужный поезд шёл только утром. Воротынцев выписал в отделе железнодорожных сообщений билет — и остался ему ещё один свободный вечер в Могилёве. Соображая, как бы лучше провести его, с кем бы ещё повидаться, пока здесь, Воротынцев придумал ещё раз зайти на почту: а вдруг от Ольды да второе письмо? Жалко будет его не захватить! Да вот и самое лучшее: вечером сесть да написать ей большое, вчера невозможное во взбитых чувствах. Теперь, когда решилась опять Румыния, и неизвестно, когда доведётся встретиться, — провести вечер как бы с Ольдой.

Только площади и Большой Садовой улицы было не узнать: снег, сугробы от расчистки, холодно, поужеввшие тротуары, никакого гулянья, и закрылись лавочки у монастырской стены, только магазины и аптеки сверкали по-прежнему. Неузнаваемо другое какое-то место, не то, где было так романтично вчера.

Но у того же полированного почтамтского барьера тот же строгий чиновник, так же недреманно и нескучливо перебирая конверты, протянул Воротынцеву ещё один!

Жадно принял сверхожиданную награду — и сразу шагнул. На ходу глянул на адрес — не понял.



Не сразу понял.

Остановился.

Как странно: не сразу вместилось ему, что — от Алины!

Не ожидал...

Уж её-то почерка ему не узнать! — размётанного, с вычурными вскидами и овальными петлями вверх и вниз.

Но: крупней. Ещё разбросанней. И почему-то страшной.

Не ожидал. Думал — до полка, ещё когда там напишет. Думал — какое-то время можно эти дрызги не вспоминать.

Откуда ж она догадалась?.. Да, он же сам показывал ей телеграмму Свечина. Как будто не заметила? Но он её нарочно и на столе оставил.

И письмо было — вот.

Что-то отчаянное в этих разбросах почерка. Как и в последнее московское утро.

А может — «не получил»? Ведь это случайность, что он зашёл на почту, мог и не зайти больше. Оставить всё это тяжёлое — до полка? До штаба армии?..

Жалко было разрушать вчерашнее счастье — небывалую тёплую ноябрьскую ночь, под снег. Ещё после Нечволодова ходил, ходил по тёмному Валу, уже в холодающем ветре, всё не мог уходить. Клубился Ольде ответ, а, ни строки не написав, свалился спать.

Но Алина — существовала, вот. И забыть её было нечестно.

Подошёл к стоячей конторке, уже другой четвертушке, взорвал конверт пальцем, оставляя рваную рану.

Обращения — не было, и от этого сразу — как раздиранье одежд:

«З а ч е м мне муж, для которого я — не лучшая из женщин? Зачем мне муж — не лучший из мужчин?»

И вслед за этим её дёргом Георгий потерял ритм ровного чтения, не мог заставить себя читать строчки подряд и вникать, а нервно перебегал, ища дальше чего-то страшного и непоправимого.

«Мириться с тем, что есть о н а, — я не могу ни одной недели! Ты думаешь, в таком аду можно жить? Знать, что может быть сейчас ты поехал к т о й? Да мне во много раз легче расстаться с жизнью!»

О, Боже.

«Но кончить с собой ты мне не разрешил».

Ну, обойдётся.

Но, сразу перескочив на полстраницы вниз, — как находя? как будто притягиваемый самыми жуткими строчками? —

«Я могу пройти этот путь только ценой самоубийства!»

Он вспомнил её вздрагивающее горло. И обморок в пансионе, обмирание рук от сердца — ведь это всё десятки раз могло с ней повториться за эти дни и без самоубийства, — а он её бросил и так легко ехал, и так освобождённо было ему!

Она же — вытягивала из слабеющих сил:

«Чтобы остаться жить, у меня выход только один: *оставить тебя!*»

Пол — ушёл из-под ног Воротынцева. Ноги стали невесомы, и всё тело: после угрозы — он взлетал в радость, радость полоса-нула по сердцу: с в о б о д е н??

Да он, оказывается, этого и хотел! Этого и хотел, не смея меч-тать, не смея заикаться, сам себе признаваться.

Опять, как вчера, на мгновение он почувствовал себя летя-щим, кричащим воздушным шаром. Но только — на миг, и вот уже снова тянули его долу тяжёлые строчки:

«А чем — *ты* для меня пожертвовал когда-нибудь? Чем посту-пился?»

Правда. Он жил, служил — не для неё.

«Выбирай одну из нас, только не в Петербурге. Да хоть езжай и к ней! Я не прошу снисхождения! Я переросла снисхождение! Я вышла из обморока».

Свобода! Свобода! — ликовало в нём вопреки разуму, как же он этого ждал!

А строчки — криком раздирающим, будто наступили на жи-вое:

«Ты — свободен. Но и я — снова *свободна!* Я, может быть, паду! Я, может быть, стану гейшей, но я — свободна! Жалкой — ты больше меня не увидишь!»

И подписи тоже не было.

Георгий зажмурил глаза. Горячей болью сжигало их. Плавило. Он с детства забыл это ощущение.

Мешало ему во сне как будто жжение, и всё более сильное, чем прореженной становился сон.

Не переносное жжение, а настоящее: как будто йодной палоч-кой касались стенки сердца. Не переносного сердца, а — подлин-

ного, левее средней оси груди, того, что кровь гонит, а вот — перебивается, с переборами гонит. От жжения.

И всё больше прожигая сон, это нестерпимое йодное жжение выкололо его из сна — и ещё наяву продолжало жечь.

Нет, не вышло ему спрятаться во сне.

И ночь, по чувству, ещё далека до конца.

И раздвинутая тьма, с непроблещённым окном, тем верней забирала его этой мукой.

А ведь с мукой такой же, неделю назад, и несколько ночей подряд, вот так же металась Алина, и так же жгло её в стенку сердца, — нет, хуже, наверно! — в десять йодных палочек. А он воспринимал снаружи почти как красивое: похорошела, смягчилась. И казалось, что как-то можно мирно, доброжелательностью не обыкновенной...

А — вот оно, догоняющим проколом теперь: слабенькая моя, что ж я на тебя обрушил? Объяснился, уехал, — а тебя оставил сжигаться!

Он сам был поражён жестокой силой, как стало ему жалко Алину. Он в пансионе — не испытывал такой силы жалости.

Беззащитностью своих милых серых ослезнённых глаз выставилась ему Алина, и в темноте явная, как освещённая, из раненого своего далека.

Что ж он наделал? Беда какая. Что ж он наделал с ней?!

Она только и живёт — любовью к нему. До чего ж ей нужно было дойти, чтобы кинуть себя жертвой. Освободить его!

Но о таком — он не думал! Он ничего такого ей не говорил. Он говорил, напротив: я тебя ни за что не покину!

Делить — она не может. Сразу порыв — разойтись! Готова — разойтись! Сама не представляет, что предлагает, не видит, как скоро сама сокрушится.

Вспоминалась эта «гейша», этот крик её надорванный, кажется уху слышный сорванный голосок. Неумелая моя, да разве ты смогла бы?... А — срыв голоса, когда берут не по силе, как девочке захотелось бы петь взрослую арию. Это в ней есть! — в крайность, в пропасть порыв, не соображая, только что-то бы кому-то доказать!

Освобождение? — ещё не испрошенное, ещё даже в мыслях не развернувшее крыл? — и вдруг свалилось на голову. Освобождение — как кирпич.

Жертва Алины — отняла у Георгия всю лёгкость. Нельзя представить, что когда? — вчера? — ну да, тем вечером — он нёсся

с почтамта на Вал весёлый, легконогий, молодой, — и впереди не ждал, чтобы что-нибудь омрачило, отняло добытую его радость.

А — вот.

То, что в Петербурге он принял за ослепительную удачу своей жизни. Что в Москве ещё виделось как новая бойная струя, влившаяся в жизнь. Вдруг теперь откинуло его навзничь во тьме — как безысходное несчастье. С которым соключиться и жить постоянно — невозможно.

За клубами этого несчастья заглушились вчера звеневшие ольдины слова — и он не расслышивал их сейчас. И затмилось её тонкое, умное лицо, стояло как позади протягивающих дымов — и всё сразу не давалось охвату зрения, а где реже дымка — то печальный глаз, то напряжённая складка несогласия на лбу, то порезанная верхняя губа. А всё вместе — не давалось. И не доносилось ничто.

А алинин надорванный крик так и прорезал уши, стоял иглою.

Это — её характер! Из безсилия — вдруг взлёт! тройные силы! гордость с закусом губ: она сама должна решать! не кто-нибудь за неё! И только так решать, как первый толчок её повёл! Я — не лучшая из женщин? Расстаёмся!

А через несколько часов или даже минут — сорвётся и сникнет.

«Ты увидишь меня в таком бле...»

Да разве она представляет, на что решается? Да разве она сумеет без него жить? Выздоровеет?

Да ты ж надорвёшься, бедняженька! Да разве я это допущу?

Не сердце у него болело — а вся грудь, как изломанная.

Но — Ольда? Но — Ольда! Но — Ольда, какая не снилась ему никогда? Покажись же, покажись за этими дымами! Дай тебя увидеть и услышать! Помоги же! Ты же умница, всё знаешь!

Нет, не давалась.

Только клочками.

Клочками воспоминаний.

И вспомнились вдруг её — её же — слова: всё человеческое умение — иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы замнить.

Она — о другом сказала, а вот...

Что ж, в этом — рок. В этом — долг? В этом — время возраста. Сорок лет — это не двадцать, надо было все глаза открывать в двадцать.

Сбил, попутал генерал Левачёв.

Да-алеко откатился сон, безнадёжно.

Навзничь под этой глыбой темноты — от этой темноты он был особенно беспомощен: всё должно было прожечься, провинтиться через него.

Да ведь — разве они друг друга не любят? разве не сжились? Как же — расстаться?

Сколько хорошего! Да почти только хорошее, трогательное, даже умильное, вспоминалось сейчас из их восьмилетнего прежнего быта. И как терпеливо она делила годами нищую офицерскую жизнь, так и не поживши всласть. И зная, что развитые офицеры из армии обычно бегут, — никогда не понуждала его. Да и Шопена с Шуманом за стеной — он правда любил...

Тем беспомощней он был застигнут, что никак не ждал. Никак. Ничего подобного.

Да и почему это всё так страшно раскрутилось? Разве оно должно было непременно вот так раскрутиться?

И всё ему — за то, что он сказал правду?

Значит, надо было, как все: скрывать, молчать?

И с чего всё началось? Из трансильванской дыры — всем уплотнённым зарядом — через все пространства пролетев бездельно, ненужно, позорно, — неразорванным снарядом шлёпнулся в болото.

В какой-то паралитической схваченности лежал.

Вот это и болело сейчас: за всю жизнь чего он никогда не терял — уверенности в своих действиях. Спасительное всегда было в нём: уверенность в хорошем исходе. Не уверенность знания или размышления, а такое прирождённое внутреннее чувство, как часть существования: как ни плохо — а всё-таки хорошо! выше плохого всегда стелется хорошее, а за дурным всё равно прорвёмся к доброму. Это был постоянный мир с самим собой. И как бы мрачно ни виделись ему события, а в душе сохранялся добрый свет, он просто не жила иначе. И если это чувство на короткое время подавлялось — он всегда ощущал как болезнь.

А сейчас — он потерял это чувство, и испуг был — что навсегда.

Все эти недели он поступал, не усумнясь, — и вот оказалось всё плохо, всё потеряно.

Горло сжимало, как щипцами наискось.

Да! — кольнуло: там что-то же опять и про самоубийство? (И это — не первый раз, это настойчиво!!)

Спихватился: да он не прочёл как следует, он не помнит письма! Он его и перечитывал несколько раз, а головой непонятной, и так, чугуней, ушёл спасаться в сон. Надо перечитать сейчас же!

Забыл, где выключатель. Стал — спички искать. (Вот что: не спал, горел в темноте, — а не закурил ни разу, забыл!)

Со спичкой включил верхнюю лампу.

Оказался — одет полностью. Только без шашки и сапог.

Пошёл к столу читать.

Но как же она любит! — «во много легче расстаться с жизнью»!

И: «вот как ты отплатил за всю мою верность, за все мои жертвы. За то, что я никогда тебе не изменила. Что я отдала тебе свою молодость. Приняла роль скромненькой жёнушки, устраивающей уют для твоих занятий. И за всё это теперь — предательство?...»

Вот когда закурил, закурил! Вслед за первой и вторую.

В носках ходил по номеру.

И ещё дочитывал:

«Очнись! Почему должна бороться с собой я, а не ты?»

Это — верно. Он — сильнее. Ему и бороться.

И если даже любовь уже не прежняя, то — отвечает за Алину он, не она за него.

Только бы сейчас эту встряску пережить, а там как-нибудь это смягчится, примирится.

А — как Ольга предполагала? Что она — говорила, думала?

Не вспоминал. Не мог вспомнить. Тогда, там, не задумывался.

А сейчас, при зажжённом свете Ольга была ещё меньше видна, чем в темноте.

«Чтобы остаться жить...»!

*Чтобы остаться жить...*

О, как попал! Как разворотню-мерзко на душе!

Выхода — нет.

Чувствовал себя убийцей.

Да — времени нет! Надо — скорей, сейчас, вот сейчас. Ещё новая вспышка — и она...

За то время, что шло письмо, — и то уже может быть...

«Пройти этот путь только ценой самоубийства»...

Возьмёт — и...

Почему должна бороться с собой — она?

Это верно.

В отчаянии — чего не сделает?

Вот что, надо телеграмму дать! Смягчительную, ласковую телеграмму. Чтoб сегодня же утром получила.

Было очень-очень рано ещё, но на телеграфе всегда дежурный. Быстро натянул сапоги.

Одеваясь, увидел себя в зеркале, на внутренней стенке шкафа. Какой-то старый, помятый, потерянный, с воспалёнными глазами.

Сразу ссунулся в старость, и чувство такое. Ушли его сорок.

Пошёл по гостиничному коридору, смягчая шаги. Все спали ещё.

И на улице — тьма, и холодная снежная сырость, напродрог. Злая какая-то сырость.

Небо без звёзд, без луны. Кое-где фонари на углах. Все окна тёмные. И прохожих нет.

Шёл — пригнутый, не военный. Как собака побитая. И поверить было нельзя, что вообще когда-нибудь в жизни ещё вернётся весёлая лёгкость, позавчерашняя.

Алина — просто слишком трагично всё воспринимает. Всегда так, и теперь так. Ведь он повторял ей, повторял: я никогда тебя не оставляю, этого и в мыслях у меня нет. И вдруг первое, что она предлагает, — перерубить?

Нет, он ей в этом не соучастник.

Алина-Алина, я ведь тебя люблю! Помни об этом.

От ходьбы, от движения к действию — уже не так жгло. Смягчалось. Возвращалось в привычные размеры, в привычный ход.

(А та лёгкость, нет, — всё ж залегла уголочком в груди, держалась.)

Он шёл мимо тёмной каменной высокой монастырской стены, облепленной заснеженными лавочками.

И вдруг миновал широкую калитку, полотнище её было распахнуто. Мелькнуло тёплым светом — и он шагнул назад, задержался против проёма.

Полотнище было распахнуто — и дальше были распахнуты церковные двери — и виделись внутренние остеклённые: там, дальше, было немало огня, различались столпы подсвечников со свечами, служба уже началась или готовилась.

Но ни звука не было слышно сюда и даже не видно фигур внутри — священника, или монастырских, или прихожан.

Если служба шла — то как будто сама, без людей, ночная.

Поколебался — не зайти ли?

Но нет, телеграмма не ждала, надо было спешить.

Зашагал к телеграфу.

Единою задачей влачимый через всю жизнь, и всегда спеша, — так он и прошагивал всегда.

## 75

Темнота.

Тишина.

Но — не могила, ты — в жизни ещё. А полмига, четверть мига, пока не вернулась память никакая, ни о чём, — лежишь как не знавшая горя: проснулась.

Только — полмига. И тут же — укол! — самое последнее, вчерашнее! Но не последнее одно, а — уколами — уколами сразу и вся цепь. И всё это — в голову больную, в грудь больную, нет сил!..

Что бы вот так — ничего не вспомнить, просто полежать? Просто отдохнуть, послушать, как тихо, тихо, тихо по всей Араповской, во всём Тамбове. Нет! передачей молоточков — Письмо вчерашнее — Могилка детская — Женькина смерть, Типуленьки — Последние дни его — Из Тамбова опоздала — Пустынная горечь от свидания — Двое суток блаженных, не знающих о беде, — в этой самой комнате?

Могилка сельская, в осени сырой.

А у него — *другая?*..

И так прожигая, по одному месту, повторно, и одни и те же борозды прожигая в мозгу, как электричеством выжигают, — отпустите!! отпустите, выключите!!

Зачем же он теперь такое пишет?!

Выбилась, разорвала. Лежала как в обмороке, спасительном забытии, отключаясь от этой всей колющей цепи.

Но — боковым прожогом, по другой дорожке, как будто не о себе, а из другой жизни: мама умирала — скрылась беременной, легче ей не увидеть дочь никакой, чем такой, — не донеслась глаза закрыть.

И — уже из третьей жизни, совсем посильное, так жегшее раньше, а теперь уже не жгущее, теперь такое дальнее: женькин отец.



Тогда казалось — сложнее нет: как это всё разрешится? Как убедить его, что надо сказать жене? как ему храбрости придать, ведь не осмелится? А почему это было так надо? Тогда было так, сейчас и не вспомнить. Ведь не думала же его отнять, слабого такого, неспособного на прыжок. А — унижение душило: начинать какой-то тайной прикладкой, не личностью, воровкой скрытой? — нет, пусть будет ясность.

Какой слабый мужчина. А много ли их сильных? Там, где нервы натянуты, они не сильны. А разве Фёдор не слаб?

Слаб! И слеп! Запутался! Плывёт обрубком дерева, куда течение приткнёт! Когда с ним — прощаешь за его простодушие, глаза изумрудные, берёшься верить, берёшься тянуть его вверх, — а расстанешься — что было? Пустота. И — ещё пишет, что... ?

Отпустите! Выключите!

Женькиного отца вспоминать — сейчас спокойно, одно облегчение, вот и стараться. Она узнавала его по Чехову, — верно списано, такие они и бродят: милые, приятные, мухи не раздавят, и дела никакого не совершат. Тоска или мечта? — вечный поиск, но и не настоящий: что найдётся — и ладно, как сложилась жизнь, так пусть и будет. (Да и Фёдор же такой!) И с самого начала предвиделось, как это кончится: останется он в своей скорлупе, всё такой же умеренно-ищущий, а разобьётся только сама Зинаида. Уже провожая её в деревню рожать, обещал непременно скоро приехать, вот тотчас же! А там дальше и жизнь перестраивать — для сына! И не лгал, ведь верил.

Но даже не приехал сына посмотреть.

Мужчинам живётся шире, легче, они и не пытаются себя понять, не нуждаются прорабатывать себя в глубину. А женщина живёт тесно — и всё в глубину, в глубину.

И *та* — тоже ведь? И *той* — тоже? И — в глубину? Допустить — полужизненная она, полуженщина, а всё равно: проживает?

Но Типуленька-то — умер!!! Мальчик! Женечка! Так на земле ещё ничего и не поняв, не различив ни мест, ни лиц, ни частей своего даже тела, — одну только мать, и то размыто. Ещё не вырвался из небытия, три четверти времени во сне — и туда же опять. Только-только снялось это старческое выражение, с каким младенцы узнают негостеприимный мир, — и назад... Еле-еле волосики пробивались, голова только-только подправилась ближе к человеческой, подобрался затылочек, — и посинели губы. Н е т у.

Проклятое «скажут». Для себя — никогда совсем не боялась Зина «скажут», но — чтобы мать не убивать. А не приехав к больной — её подтолкнула туда же? Так — на похороны? Снова «скажут», зябко.

Может и *та* — не так за мужа держалась, как «скажут»? Невыносимо ведь.

А для Фёдора — приехала, примчалась, не постыдилась сестры с мужем, не побоялась никого, ничего: к нам! И в гостиной, где всё их детство, куда и он приходил когда-то знакомиться с семьёй, и гимназистка замирала от смиренного восхищения перед бывшим членом Государственной Думы! пострадавшим! и писателем! с изумрудными попыхивающими глазами! — теперь в той самой гостиной по воле его прохаживалась нагая, а он лежал на диване и теми же зелёными глазами скользил.

Три недели назад, всего три недели! — вот тут бродили, безпутные, а сын в Коровайнове уже заболел!

Но хотя подтвердилось её предчувствие, шесть лет дразнившее, манившее девочку в отдалении, что с Фёдором откроется ей. И хотя эти два дня встречи она не успела очнуться, — но уже нарастали в ней пустота, обманутость, — и всю её залили, едва расстались, едва только села в кирсановский поезд, и низменны показались собственные восторги, всё обман, муть, — даже до отвращения, зачем приезжала? Скорее к сыну назад! И тревога колющая: что с сыном брошенным? здоров ли?

О своём таком же, покойненьком, крохотном, там, на коровайновском кладбище рядом сказала крестьянка: «чрева моего урывочек».

Чрева.

Моего.

Урывочек.

Нету.

И — самой бы тоже...

А что?

Так никогда никто и не увидел её затаёныша. Ни отец. Ни... отчим. Некогда всем. Жил как не жил, только в памяти матери. Ни фотографии. Никогда никому не покажешь.

Как она и хотела? — скрыть...

«Отчим»! Он своих-то детей без любви разбросал, небось не знает даже. Одного только отличил, взял в приёмышы. Что за бездарность мужская — не уметь любить своих даже собственных детей?

А если бы у нас был — неужели бы не приклонила? не притянула?..

Уже в кирсановском поезде ехала в отчаянии: едва началось — и все кончено! Этого нельзя продолжать! вот только что началось — и кончено, и нечего вспомнить. Он — безнадежно груб душой, не развит, он ничего не понимает выше! Науку жестокою принимала она годами из его писем, он сам писал про женщин, отталкивал, пальцы сбивал — не держись, но она понимала это как грубоватую игру, что не дорожит, в любую минуту вычеркнет, она поверить не могла, что всё именно так: женщины не по выбору, не по поиску, а где меньше затрат на ухаживание, никого не добивался, никого не пропускал, — она же помнила его светлую улыбку и даже милую стеснительность на уроках словесности, она всегда верила в его душу, душа залегала — и только нуждалась очиститься, душа просила помощи от женской руки! — и это всё могла его ученица с первой парты! И шесть лет она держалась стрелкой компаса сквозь его грязноватые откровения, верила, что всё это поза, что там, под поверхностью, заложено никем не открытое, не добытое, ему самому не известное. Он потому и откровенничает, что не знал любви никогда.

И ещё как вознадеялась, ещё как воспряла, когда он смог не взрывать к чужому ребёнку!

И вот — они были вдвоём, в объятиях, — и что же? И — нет ничего того?..

То-то всегда она боялась узнать его ближе! Рвалась — и боялась.

Ещё не доехав до сына, ещё не узнав о его болезни — она была уже в отчаянии, в отвращении, — не встречаться больше, да может и не писать.

Пу — сто — та!

Пустота! На целую бы жизнь вперёд протянулась бы женькина жизнь, а теперь — пустота! Другим человеком, другим ребёнком не заполнится, не пройдёт никем! — *этого* существа никогда уже на земле не будет. Вся несостоявшаяся жизнь так и промерещится — ни с кем не связанная, не пересеченная.

Ещё до того не захотелось ему писать. А когда закатился Типуленька — всё прочернело до немоты. Что писать ему? — чуда не будет.

Предательство: кинуть мальчика безпомощного, чтобы только самой...

Но — второе предательство, хуже: под тою же крышей, сейчас, в том же доме пустом, под тот же бой часов — и думать, и жечься опять о нём? не о Женьке одном?

Смерть сына так неожиданно и просто ввела в церковь, куда никогда не долежали пути всей юности. И так, будто всю жизнь и ходила. Так просто стояли у гробика и крестьянки-соседки. Несли его.

Но от той панихиды и до панихиды девятого дня усидеть в Коровайнове не могла — бросила могилку одинокую — теперь навсегда одинокую, теперь навсегда ему быть почему-то на коровайновском кладбище! — и помчалась к тётё в Тамбов, в монастырь Вознесенский.

Тётя — и всегда звала: будет плохо — приходи. Но всё, что могла она говорить, вело к загробному утешению, всё не касалось кипящей жизни. И прежде дерзила ей Зинаида: оставь, тётя, Бог-утешитель — абсурд: для чего было мир хлопотать создавать, чтоб его утешать потом?

А тут оказалось — и просто, и очень утешенье это надо — как будто застывающей, сладковатой смолой заплывались бездны и режущие камни. У тёти нашла Зина первое равновесие.

Она стала думать уже не так, что с сыном её никогда ничего не совершится, не произойдёт, не будет, а: г д е о н ? Где он теперь? Чтоб он нигде — этого быть не могло, это понятно! если уж пожил немощко — это не может равняться тому, что и не был зачат.

Чрева. Моего. Урывочек.

И попался священник отец Алоний в соседней Уткинской церкви — такой доброжелательный, протонародно-основательный, широкоплечий, — он служил панихиду девятого дня, а потом разговаривал с Зинаидой. Как-то просторно-светло говорил. И равновесие её ещё укрепились.

Да Зина и прежде, сама, не веруя, защищала церковь от *прогрессивных*. Наперекор течению.

Равновесие укрепились, и ровней потекли мысли, — и три дня назад Зина нашла в себе ровность и силы — написать Фёдору о смерти сына. И может быть можно было так начать выздоравливать.

Но до дважды девятого дня — до сегодня — не пришлось ей ровно дожить. Грохнул вчера, как плитой на голову, разминувшимся письмом (не писал бы, если б не разминулось!): знаешь, у меня другая есть, и это серьёзно.

Другая, или третья, или двадцатая! — но тогда приезжал *з а ч е м*? Не признался — почему? Блаженный и пустой спектакль этой встречи — зачем? Вот жжёт, вот гибель: ради кого, ради чего, зачем погубила мальчика?

Кого хотела спасти? кого хотела очищать?

Поверила! На одной ноге прыгала!..

Но — *к т о* же ты?..

Она сидела.

Зажигала лампы.

И твёрдо вставила стекло.

Ещё мрачней на неё глянул беспорядочный пустынный родной дом. Тёмными распахами в другие тёмные комнаты.

Здесь она перед ним ходила...

Вырваться! Из постели, пока рёбра не давлены. Из комнат, из дома — куда-нибудь. Только — не одной!

Одной — удавиться только! Жить нельзя больше! Жить нельзя! Особенно здесь. Уйти из этого склепа, черноты, тишины, где мама умирала, где страсть теребили — а *там* умирал малыш.

Зачем же тогда ты звал меня?! Я бы к тебе не бросилась — и он бы не заболел!!

Уже одетая.

К кому-нибудь! Куда-нибудь! На грудь броситься — не могу одной!

Самое прямое — к тётке. В монастырь ворота уже отперты, монашки встают до света.

Но к тётке — почему-то нельзя. Так просто, так спасительно было бежать к ней после смерти сына. А *сейчас* — нельзя.

Как это нагораживается? Двадцать два года, у других — только начало жизни. А у тебя нагорожено, загорожено, — жить негде, хоть удавись!

Хоть удавись. Вот на этом жёлтом шарфе. Крепкий длинный шарф.

Так чисто начать, знать себя прямой, даже благородной, — и за один год наломать, накрутить, запутаться. Ту семью — взорвала! Маму — предала! Женьку — предала!

Только *его* не предала.

Так предал он.

Уже не так рано, где-нибудь люди. Темно, потому что ноябрь. Только отсюда вырваться.

Платком покрылась. Остаться — нельзя. Одной — нельзя, это худо кончится.

Но и к тётё-монашке почему-то никак нельзя.

Руки дрожат — ключ уронила. Теперь — ключа не найти. Если в щель порога... Вовсе бы бросила, ушла, — нельзя, сестре жить.

Заплакала. Всё держалась, а вот заплакала: ну где он, железа кусочек?..

По всей Араповской — ни души. Если где засветились, то — ещё за ставнями. Медленно встают. Медленно живут. Молятся по часу.

Фонари — на углу Большой. И фонарь на углу Долевой, близко, но сюда не достаёт.

Вернулась за спичками. С тётёй — что ж? Она давно, давно в монастыре. Святой — быть легко. Но грешную понять невозможно. Женщине не испытавшей — понять испытавшую невозможно.

Чиркала, чиркала, ветер задувал. Нашла наконец, вот куда завалился.

Заперла. Положила в укрыв. И пошла.

Если бы к тётё — то по Большой, до Вознесенского за Студенеч. Не выбирала, пошла к Долевой.

Сыро. Темно. По Долевой и ветрено. Через лёгкий платок голову продувает. И хорошо.

Никого навстречу, так и шла одна. Никого у калиток. Кажется, с первым бы заговорила! — никого. Тёплыми вечерами весь Тамбов — на скамеечках, у калиток. Сейчас — никого.

И — к кому ж она? Всё закрыто. И все по домам.

Когда-то считала: чем хуже — тем интереснее жить, а как дела исправятся — всё укладывается в слишком покойные рамки, скучища. Не-е-ет, это пока не провалишься. А из проруби — руку подайте! руку подайте! вытащите меня к вам!

Шесть лет она Фёдора любила, а Женьку — шесть месяцев. Но весь мир была ему — она одна, он-то ничего в мире больше не знал.

И — преполна была. И зачем опять эти письма? К своей полноте — зачем ещё звала его? Столько лет удерживалась — не стать навязчивой, нежные слова заставляла иронией, переписывала, если получалось нежно. А тут — на одной ноге заскакала.

Как будто если та «другая» будет с ним — он станет счастлив? Да несколько. Ему и не нужно ни любви, ни счастья, ни близкого человека. Он беден душой и, наверно, неисправим.

Никогда не переступит по земле собственными ножками. Никогда не вымолвит даже «мама». Ничего не успел.

Со вчерашним письмом как же явиться к тётё, как голову поднять, — потаскуха? Уже довольно было ребёнка от женатого.

А уже она переходила Дворянскую. Тут ещё сильнее дул холодный ветер, огибая круглый лоб Благородного собрания. Два порожних извозчика один за другим, наклоняясь против ветра, гнали с вокзала.

Зинаида, в ветру, остановилась на площади.

Перед ней была Уткинская церковь.

Бледно светились вытянутые окна. И редкие фигурки шли туда с разных сторон.

У неё мысли не было такой, что — сюда. Привели ноги сами.

А — куда ей? Не возвращаться же. Только — не одной к себе.

Окна не яркие, залитые как на празднике, — но слабого света. Для больной души.

После гимназических обязательных служб она заходила в церковь разве куличи посвятить. Хотя из протеста против всеобщей моды иногда даже и хотелось. Да в Москве в лютеранском храме слушала органную мессу, и то — как концерт.

И на той мессе тоже думала — о нём. При своей ничтожности перед мирозданной музыкой вспомнила его, и так стало жаль его: ведь он только думает, что куда-то бьётся, продвигается, что-то совершит, а за сорок лет ничего и не сделал, и не пристроен, и неудачник. И так потянуло — спасти его, очищать от наносного.

Сама-то?..

В притворе миновав нищих двух-трёх, — а вышла-то без кошелька, — Зина вступила в храм. Горело много лампад — у всех икон, немного свечей, а электрическая лампа — только одна у певчих на клиросе, и больше ничего, ни люстры. Оттого и был такой сдержанный, умеренный, бледный свет.

Лампады — любила Зина. И дома, у мамы, бывало, лампадка. В светёлке, в спальне, от женщины к иконе — лампада. Интимно, лицо к лицу. Свет мал, а знает много. Бездна в этом — один на один, и что там сказано, о чём там прошено?

Служба начиналась в правом, Богородичном, приделе, где стояла небольшая, но известная по городу икона Тамбовской Божьей Матери. Туда стянулись и почти все прихожане. Священника не было там перед воротами, только со стороны псаломщик неразбор-

чивой унылой скороговоркой читал тягуче-бесконечно, и священник из правого алтаря изредка коротко откликался ему.

Зина тихо, не слыша своих шагов, прошла свободной просторной средней частью, не различая почти ничего. Стала близ опорного столпа. Закинула голову.

Она взглядом повела по арке столпа, как та плавно уходит вверх, а та уходила и растворялась в купольном своде. Сам же свод был над средним простором храма — как малое круглое небо, малое, однако выше-сосредоточенное. Сколько доносилось, доливалось туда рассеянного лампадно-свечного света, — всю полукруглость малого неба занимало распростёртое плечное изображение — Бога-Отца в облаках. Будет утро — и свет придёт туда, в подкровельные прорезные окна, туда попадёт и первое утреннее солнце, и туда достигнет последнее вечернее. А сейчас там была полутьма, но весь собранный снизу свет давал полуузнать, полуувидеть — лицо самого Саваофа, грандиозное по смыслу. В нём не было неги утешения, но — и выше кары, выше всякой грозности была напряжённость Мiroдержателя-Творца. Он сам был — небо надо всем, и все мы держались — Им, и похитительною дерзостью был замысел живописца выявить Его лицо в понятии и чертах человеческих. Это не могло удался. Но через то, что было написано, низвисало над нами — великое, невообразимое выражение Силы, содержащей Мир. И кто застигнут был этими заоблачными Очами и удостоен был зреть мгновенье одно этот Лоб — сотрясённо понимал не ничтожность свою, но удостоенное же, замышленное место в гармонии. И призванье своё — эту гармонию не разбить.

Так, сильно закинув голову, глазами в эту огромность, Зинаида стала — и стояла, и стояла, не слыша ничего в храме, и нисколько не молясь, и даже не думая ни о чём. То, что парило над нею, — не передавалось словом, и было выше мысли, — это была волна животворящей воли, с доплеском и в нашу грудь. Натягивало струны горла, затекала, заливалась горячим шея, ноги теряли опору и покачивались — но не мочь была оторваться. Продрогаемая увиденным, как поставленная на мучение, стояла, пока терпела шея, в неприращённости к полу, покачиваемая, не молясь, не прося, не спрашивая, — вбирала.

А от вливаемой воли — стало легче и крепче. Не стало этого жжения, как дома, — вырваться, куда-то бежать, кого-то видеть, говорить. Стояла — и никуда не несло её бежать. Стояла с затека-



ющей шеей, а чугунная скованность стольких дней — изникала, отпускала.

Покруживалась голова. Зинаида, не без труда, руками вернула голову, поставила, как надо. И прошла немного дальше по каменным плитам.

Там, в правом приделе, вышел священник, молча поклонился перед закрытыми воротами, — но не отец Алоний.

Опять одна, без соседей, оказалась Зинаида у большой иконы Христа, перед иконой светилась крупная розовая лампада. В поле зрения и ничего больше не стало, только эта икона, заступившая весь храм, и лампада. Там, сбоку, шла служба, но Зинаида не воспринимала из неё ни слова, не слышала. Она стояла и смотрела на коричневый лик Спасителя.

А это было — вполне человеческое лицо, хотя другого цвета кожи, другой земли. Были странности — спустились двумя косичками волосы, и нос был так длинен и тонок, как не бывает, и застыли поднятые персты для благословения. И была многозначащая загадка глаз. Знающая всё, отвеку и довеку, что нам и не снится. В лёгком состоянии души можно было этой глубины не заметить. Но сейчас отзывалось всё. Что было выразительно ясно: Христу — остро больно, но он не жалуется. Всё сожаленье Его — к тем, кто подойдёт, вот к ней сейчас. Его глаза вбирают сколько угодно ещё боли — всю её, и многократно до неё, и сколько ещё грядёт. Он — сжился с болью как с неизбежностью. И знал разрешение всех болей.

И ей стало легче.

Розовое стекло большой лампы и свет от неё были тоже особенными. Это была розовость, но что за розовость: ничего от зари, ничего от румянца, ничего от близкого тока живой крови, — розовый цвет с лиловой нездешностью, отрешённый ото всех земных цветов. И в этом свете особенно был пронизателен тёмно-коричневый, всезнающий лик.

И в этом безплотно-розовом свете особенно показалось невозможным, чтоб сын её был — нигде. Сейчас просто увиделось, что *где-то что-то есть*.

Икона, лампада — поплыли.

Как хорошо она подошла, не выбирая, наугад, она никуда и не хотела больше. И разговаривать с кем-то взахлёб, как она рвалась, — ей совсем не нужно стало. Теперь сбоку слышался и речитатив:

«Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне... Кричу от терзания сердца моего: Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя».

И — задрожала: тут всё знали ещё до её прихода! — возглашали открыто.

Она не пыталась молиться: такого навыка не было у неё. Но в груди, в голове сняло какую-то помеху, запрет — и стало опять думаться. Думаться — не толчками и вздрагиваниями, от которых болит и палит, а — созерцательно над собой, как чужой.

Она думала, что если применить церковное понятие греха, то у неё грех — тройной.

Нет, четверной.

Нет, даже пятерной. (Без сопротивления насчитывалось, как на чужую.)

Она соблазнила женатого. Она не поверхностно повредила, но своим настоящим *открыть* — во всю глубь рванула трещиной ту семью. Она покинула умирающую мать. Она покинула сына — ради возлюбленного. Она... Четыре. А где же пятый? Вилась ещё тут где-то и пятый.

«Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней».

Больше стали видеть и её глаза — и теперь наискосок впереди, на крыле среднего амвона, в уголке она увидела — и обрадовалась — стоящего к ней боком отца Алония: он исповедовал. Пока в правом приделе шла утренняя, а он тут исповедовал, будто совсем беззвучно: у аналоя приклоненною головой выслушивал склонённую голову, потом накрывал её епитрахилью, крестил и отпускал. Исповедальников ждало несколько, и они проходили не быстро.

Впрочем, это так замечалось, ни к чему. Зинаида не нуждалась в исповеди, она и без неё себя читала ясно.

Если разбирать изнутри её жизни: она не лукавила, не измышляла никого обмануть и никому повредить. Она хотела только пройти свой естественный женский путь — имеет право она на него, как всякая?.. Она и не прошла его, она всего только начала, начала, — но, Боже мой, как трудно оказывается и начать! Из юности выходишь такой свободной, лёгкой — и почему же сразу так трудно, путанно, почему все люди, судьбы — поперёк, и шагу не сделать, чтоб на ком-то не отозвалось, чтоб не толкнуть,

чтоб — не через кого-то. Как же выбраться? Как же бы — опять с начала?

Да не хотела она никому вреда! Но почему каждый шаг жизни — по другим?

Нет, не каждый, напраслина. Перед одним — она ни в чём не была виновата, вот уж! Ему — она хотела лучшего, чем знал он сам. Она хотела открыть ему дар, которого он не знал, и так бы жизнь прожил. Читая его самодовольные откровенности, затая дыхание, всё вернее видела: одна она ему нужна! одна она откроет ему жизнь и довершит до полноты, а у него — ни полноты, ни разноты, а только расхожее низкое. А вот он — виноват: что попустительствовал, что отдавал, кто бы только взял её первый. Он — на всё и толкнул, и ещё теперь вчерашнее — поди прочь с твоей привязанностью, с твоими жертвами! — но и в отталкивании ложь, потому что если любит другую (да любил бы! да значит снизошла к нему милость! да не доравнялся он любить!) — то зачем же заворачивал в Тамбов?

Ах, вот он, четвёртый, или пятый, — как с корнем дёрнули из неё изо всей! Как пожаром охватывает платье — и скинуть нельзя, и не скинуть нельзя, — пятый, вот он, прилип, прилился! Потому не пошла и к тётке: знала, как та ответит, но ответ ей нужен был не такой! Она искала получить ответ — задуманный.

И тут увидела, как отец Алоний, отпустив последнюю, обернулся сюда. Он обернулся — нет ли кого ещё, скользнул по пустой середине храма — и увидел её, и узнал, — и кивал пригласительно, так поняв, что она — к нему.

Но она не к нему!

Стоял и ждал — широколицый, прямой, такой основательный и простой, густоволнистые назад его волосы оставляли открытым крупный лоб, и под ним сияли глаза.

Поманил — и ждал.

Но она не к нему!

А он ждал и звал. Он так и понял, что она ещё борется со свежей смертью.

А, уж если пришла! Стоит — и ждёт. А — к кому ж она? А куда же?

Шаг, шаг, шаг! — пошла, незадуманно, незагаданно.

А там — ступеньки, не споткнуться, поднимаясь на клирос. И только видела — крупное, крупнолобое лицо с поощряющим взглядом, понизу обложенное тёмно-русой бородой.

И больше не успев заметить, разглядеть — уткнулась в аналой. Лбом к евангелию в тиснёном переплёте, и справа — серебряное распятие.

Евангелие и распятие — стерегли её исповедь. А аналой — сейчас поняла: крутой подъём! крутой тяжёлый изволок — и этим изволоком надо выволакивать, выволакивать свою жизнь против тяжести и против трения.

В гимназии исповедь — прыснуть, смешок. Уже с размаху — епитрахиль на голову, отпускать. Снисходительные вопросы, предполагающие ребёнка, чуть ли не конфету из буфета, — «грешна, батюшка, грешна», и отпорхнула. А с тех пор — ни разу. И сейчас — ждала вопроса, и не дождалась.

Ждал — священник, невидимо нависая над нею. И лишённая поднять голову, посмотреть ему в глаза и говорить с ним как с человеком просто, как после панихиды, — она должна была отвечать существу высшему.

И хорошо, что не в глаза.

Да она и не видела его. Ни вообще человека ни одного. А — распятие только, из-под прижатого лба.

Никто не спрашивал её — и не на что было отвечать. Но — самой продираться через тьму.

Не хотела слушать ни тётку, ни её монашек, все слишком святые и не поймут, — а теперь говорить?

Говорить — но жгущего не сказать! Мыслями быстрыми провильнув, всё охватить (а что — пропустить). Для себя ты всё уже знаешь, что наделала, перебрано уже сто двадцать раз. А теперь единственный раз — но вырвать из своей спасительной, попустительной немоты и вывести вслух наружу? Невозможно! (Всё — уже можно, но — кроме одного!)

Безвыходно. Но и безвыходно было одной в пустом доме. Безвыходно будет и куда ещё придёшь. На этот изволок близ распятия — как себя вытянуть? Человеку другому, чужому, — всё, что было, — н а з в а т ь ? И не смягчая словами, не хитря? (Сделать — легче, чем назвать!) Где же горло взять, где дыхание? Просто вот так, без объяснения, без вступления, горлом сухо-надтреснутым:

— Я — соблазнила женатого.

Уф, первый порог. Никакого порога: это всё уже прошлое. А — зачем?..

— Я... соблазнила его... собственно не любя... Любя — другого, а тут... Ну, просто... Ну, возраст пришёл... Ну, чувствам исход.

Хотя б вопрос над головою! Или — суждение, осуждение! Или звук сочувствия? Нет. Да слышат ли тебя?

— Я — заставила его открыться жене. И этим... думаю... разломала их жизнь... навсегда...

Второй порог. Свинцовая жизнь, как тебя вытягивать? Но с каждым названием как будто и спадает что-то. Но ещё не всё, доказывать себя:

— Это — без цели, так, ни к чему... Я очень раскаиваюсь.

Неправда, цель была. Но не так же ясно, точно! Была... Напёрёд знала, что расстанемся... Нет, не знала...

— С низкой целью. Оторвать его для себя... Нет, для самолюбия... Потому что другой не любил...

Как легко вдруг сказалось.

— А я — того — всю жизнь любила.

На любовь — как крыльями! А сама, по изволу, на каждом грехе как через камень перекатываясь, — и носом вниз, и носом в землю:

— Потом я... скрывала беременность от матери. Придумала уехать в деревню. А мать — заболела, умирала... Я не приехала. Предала её... ради ребёнка...

Неправда, вильнула.

— Нет, из-за позора. От самолюбия.

Нет, это — как колодезной бы кошкой, три крюка в три стойки, — и надо там, на тёмном дне души, найти горячий камень, нащупать, подцепить, а он не цепляется, а он срывается, он семьдесят раз срывается, пока ты его бережно, как лучшее своё сокровище, движениями точными, ни дрогом не ошибаясь, — поднимешь, поднимешь, дотянешь, дотянешь — хват! — и, пальцы обжигая, выкинула из души!

— Я — младенца покинула... для свидания... Как безумная... И он заболел без меня... и вот отчего умер.

Так и этот — вытягивала, вытягивала, вывалила наружу, не дыша. Труд — испотевающий, пот холодный на лбу.

Что теперь священник думает?.. Так жалел сокрушённую молодую мать...

Но заметила: каждый вываленный камень как будто уже и отделяется от неё — навсегда ли? нет ли? — и можно теперь хоть со стороны на него посмотреть, не в себе одной волока.

Взглянуть на священника — она не подняла головы, она не смела, и никто так не делал до неё. Но не слыша от него ни звука,

но вдруг с какого-то камня догадалась о незримом нависающем священнике: он — и не исповедует. Она — не е му исповедовалась! Он — только нужный свидетель.

Потому и трудно так, что: всё — сама. Потому и облегчение, что: всё — сама.

Облегчение — надолго ли? Разве сказанное слово перевесит вину, грех, зло?

Удивительно, непонятно, но: как выговоришь — так отваливается. Хоть — и пока.

А *простить* — кто ж это может всё простить такое? Кто другой человек может тебе отпустить? Сама и таскай, сама и трудись.

И в этом — движение. В живой груди всё сваленное — не может намертво остаться навсегда. Если бы всё так оставалось — мы бы тоже камни были.

Да что ж нависает он, молчит? Хотя бы помог вопросом, звуком, поощрением!

Но когда уже научаешься эти камни вытягивать крюком срывчатым — в сухом горле свободнее речь и рассказ исповедный ускоряется. И сумятно спешишь выхватывать и называть свои предательства (свои! вот только что винила его, но это ложно!) — называть уже и по второму разу (а все оказались напрасны! все впустую! все не приняты!) — второй раз по этому месту — или это новое место — или это не второй раз? — да, второй раз предала! — уже не жизнь твою, а память свежую, неостывшую — ещё могилка не уряжена, будет ждать убора до весны — а мысли мои о ком опять? — опять о нём, опять о нём! — вот почему побежала, между вспышками, безумея, уклонясь, где б не обжечься, а то и прыгая через огонь, не зная прямой, которой и нет, и по той же калёной земле, жгут подошвы, возвращаясь на то же место, — мне пальцы сбивал, отстань, оторвись, — шесть лет о нём и опять о нём, — спалила сына и, траура не доносив, — вот он, пятый, наносится как смерч, — вот когда камня не вытянуть, пылает!! Сама обуглена, а вьётся неупускаемо, огненной змейкой: ещё зародить! *от него* — зародить! он этой радости не знал — *вместе!*

И что б сейчас священник ей ни возразил, ни запретил, простил не простил, — она с ужасом видела, что обречена ему.

Но — ещё снова от кого-то отталкивать? отбирать, отнимать? Нет шагов по земле — не по людям? По траве, по земле — нет шагов, не бывает?

И — как зыбка земная кора! Везде, под каждым шагом плавится! Нигде не пробежать, не провалиться!

А пока меж огнями металась — обронила крюк, упатнулась от колодца — да не грохнулись камни все туда опять?! О, Боже, помоги! Ты видишь, я выбраться хочу! Я хочу перемениться! Но слишком много бед...

И куда докарабкалась на изволок, там и сникла, виском о распятие, исчерпав свои малые силы, однокровеческие.

Молчала.

И на голову ей легла тканая тяжесть, затемнив последнее, что ещё видела. И через ткань слышные касанья крестящей руки.

И голос — необыденный, способный вскинуться за тысячу грудей под купол, молить, страдать, каяться, — а сейчас негромкий, для неё одной, но и со всем тем подкупольным значением:

— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия...

Она — всё своё выкрикнула, как ни ужасно, она всё своё сделала, она была и прижата, виском к распятию, и бездыханна. Но — другое Дыхание, но Дух — плавал над ней и трепетанием проник в неё.

— ...да простит ти, чадо, вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властью Его, мне данною...

Он — не власть подчёркивал, но недостойность. Над её сокрушённым трудом он сокрушённо свидетельствовал о прощении.

— ...прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих...

Он так веско, глубоко выговаривал, будто знал и взвесил ещё много подробностей, ею не сказанных, и, всё оценив, — уверенно прощал однако.

Но сама Зинаида не так поняла, что всё прощено, забыто и кончено. А — что труд её был не напрасен.

Что сдвинуто с места — то не остаётся вовсе на прежнем.

Однако — был же и вопрос у неё. Или она, в прыжках от ожогов, не выразила?

Он снял епитрахиль — и она поспешно подняла освобождённую голову, взглянула на отца Алония.

Увидела взгляд его прямой, лицо прямое, лобастое, твёрдое, безлукавое, — он понял вопрос её, понял, не скрывал.

Но — разведенными твёрдыми пальцами снова наклонил её голову, не тяжко, но властно.

Не спразу поняла: к евангелию.

Поцеловала древне-бордовый переплёт с полустёртым рельефом рисунка.

Не покидая водительство пальцами — передвинул её голову к распятию.

Прильнула к его серебру.

И снова вскинула голову со своим неостывшим вопросом.

С непроливаемой влагой смотрели глаза отца Алония.

Он — сказал своё обязательное, он — не должен был говорить больше. Но она ждала, вскинутая, ещё отдельное что-то для себя.

Шевельнулись крупные губы его из тёмно-русой поросли:

— В каждого из нас заложено таинство большее, чем мы предполагаем. И в общении с Богом доступно нам его разглядеть. Научись молиться. Истинно, ты сможешь.

Но ещё пока она не умела! И это не был для неё ответ.

Со скорбным сочувствием смотрели его серые глаза. И он не уклонился продолжить:

— Нет в мире более болезненное семейных, струпья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: «вот так — делай, вот так — не делай». Как велеть тебе «не люби», если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой.

*1971–1973 — Подмосковье*

*1975 — Нагорье Цюриха*

*1979–1981 — Вермонт*



## ЗАМЕЧАНИЯ АВТОРА К УЗЛУ ВТОРОМУ

Близкая история нашей страны так неизвестна или так искажённо учена, что ради молодых моих соотечественников я вынужден был во Втором Узле превзойти ожидаемую для литературного произведения долю исторического материала. Но, передавая подлинные стенограммы заседаний, речи, письма, я не решался обременить свою книгу и читателя тем многословием, даже пустословием, повторами, побочностями, рыхлостями, невыразительностями, которыми многие из тех речей изобилуют. Поэтому я разрешил себе выиграть действенность через сжатие всего текста, иногда и отдельных фраз, — без малейшего, однако, искажения их смысла. Все цитаты истинны, но не все дословны, концентрация действительности есть требование искусства.

Для фрагментной главы «Из записных книжек Фёдора Ковынёва» использованы спрессованные отрывки из опубликованных рассказов Ф. Крюкова и личный архив — его неопубликованные письма, дневники и письма к нему его бывшей орловской гимназистки Зинаиды Румницкой.

Через Андозерскую часть изложена система взглядов на монархию профессора Ивана Александровича Ильина.

Почти все исторические лица я вывожу под их собственными именами и со всеми точными подробностями их биографий. Это относится и к малоизвестным, но реальным лицам того времени — как легендарный возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян Г. Н. Плужников, или даже казенский писарь Семён Панюшкин (ещё живой в мой туда приезд), секретари «Рабочей группы» Готовский и Пумпянский, член группы на Обуховском заводе Г. К. Комаров, семья Шингарёва, все Смысловские (обе семьи — в их действительных жилищах того времени), изобретатели Киснемский, Подольский и Ямпольский и др. К историческим лицам и в обзорных главах и в повествовательных выдержана строгая фактичность. Для А. И. Гучкова, кроме всех общественных материалов, использована его неопубликованная переписка и се-

мейные свидетельства. Но есть три лица — писатель Фёдор Дмитриевич Крюков, инженер Пётр Акимович Пальчинский, генерал Александр Андреевич Свечин (первый погиб в Гражданскую войну, последние два расстреляны большевиками), при описании которых я нуждался в большей свободе угадываемых, предполагаемых личных деталей, некотором их (небольшом) перемещении, либо собранный материал не давал достаточно данных на последующие Узлы, — и, чтоб открыть себе нужный простор я изменил двум из них фамилии, а последнему имя. Тем не менее большинство подробностей с ними исторично. (О них обо всех, как и о К. А. Гвоздеве, А. Г. Шляпникове, использованы и сохранившиеся в СССР личные воспоминания.) Без смены фамилии я допустил некоторые изменения в обстоятельствах генерала Александра Дмитриевича Нечволодова.

1983 — *Вермонт*

## КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Временной отрезок «Октября Шестнадцатого» (14 октября — 4 ноября ст. ст.) беден историческими событиями: 17 октября — волнения на Выборгской стороне, с 1 ноября — заседания Государственной Думы с прославленной речью Милюкова, ещё несколько эпизодов. Но он избран писателем в качестве последнего перед революцией Узла как сгусток тяжёлой и малоподвижной атмосферы тех месяцев. Автор долго колебался, строить ли между «Августом Четырнадцатого» и «Октябрём Шестнадцатого» ещё один Узел, промежуточный по войне, «Август Пятнадцатого», богатый событиями. От этого замысла он отказался, но бурные перипетии лета Пятнадцатого года вошли в «Октябрь Шестнадцатого», Второй Узел эпопеи, — обзорной по 1915 году главой 19' («Общество, правительство и царь») и другими ретроспективами двух лет войны, как и ретроспективой всего кадетского движения (глава 7', «Кадетские истоки»).

Непрерывная работа над «Октябрём» началась в марте 1971, конструкция выстроилась быстро, но долго шло накопление материалов, и за 1971 написано было немного, отчасти из-за тяжёлой обстановки травли, усиленной властями после присуждения А.И. Солженицыну Нобелевской премии 1970 года. Но за 1972 и 1973 весь Узел был написан (под Москвой — в Ильинском, Рождестве-на-Истье, Фирсановке) в 1-й редакции, а многие главы — во 2-й и в 3-й. Лишь ленинских главы тогда было две, дальше замысел не шёл (окончательно в «Октябре» — их семь).

При работе над обзорными главами были использованы стенографические отчёты заседаний Государственных Дум разных созывов. Материалы по Каменской волости Тамбовского уезда и другим местам Тамбовской губернии собраны А.И. Солженицыным в анонимных поездках туда летом 1965 и 1972, впоследствии дополнены по печатным источникам. Скроботовский бой восстановлен по рукописям московского Исторического музея, позже расширен по эмигрантским публикациям. Использованы печатные издания Рабочей группы при Военно-промышленном комитете, артиллерийские исследования о войне 1914—1917 гг. Гренадерская бригада — по хранениям Центрального Военно-исторического Архива в Москве (боевая и административная документация, полевые книжки офицеров, приказы, списки личного и конного состава). Место стояния бригады близ фольварка Узмошье писатель посетил в 1966 году.

Высылка на Запад прервала работу над «Красным Колесом» почти на весь 1974 год. Но Цюрих представил богатые архивные материалы и прямые наблюдения, расширившие замысел ленинских глав, кото-

рые, вместе с главами «Марта Семнадцатого», Третьего Узла, были окончены в марте 1975 и тою же осенью изданы отдельной книгой, «Ленин в Цюрихе» (Paris: YMCA-press, 1975). Предполагалось включить в это издание и главу о Шляпникове, законченную ещё в СССР, но решено было оставить в сборнике лишь заграничное действие.

В 1975—1979 найдено немало добавлений и уточнений к «Октябрю» — по материалам эмигрантских печатных изданий, зарубежных русских хранений и мемуаров участников событий, присланных автору, — и в конце 1979, в 1980 многие главы дописаны и переработаны. Добавочно написаны главы о царской семье, прежде не предполагавшиеся (64, 69, 72).

В 1978—1980 несколько глав из «Октября» были напечатаны в «Вестнике РХД» № 126—132 (главы 62', 65', 71', 7', 41', 26, 64, 69); в 1984 глава о Шляпникове (63) появилась в парижской «Русской мысли» (1 ноября 1984, № 3541).

Последняя редакция Узла выполнена в процессе набора в Вермонте в 1982—83.

Полный текст «Октября Шестнадцатого» опубликован впервые в 20-томном Собрании сочинений А.И. Солженицына, тома 13 и 14 (Вермонт—Париж: YMCA-press, 1984). На родине отдельные главы из «Октября Шестнадцатого» первым напечатал журнал «Наше наследие» (1989, № 5 и 6), полный текст Второго Узла воспроизведен в 1990 году журналом «Наш современник» (№ 1—12). В книжном издании «Октябрь Шестнадцатого» появился в 1993 году в составе репринтного воспроизведения «Красного Колеса» (Историческая эпопея в 10 т. — М.: Воениздат, 1993—1997; тома 3 и 4).

В настоящем 30-томном Собрании сочинений печатается 2-я (последняя прижизненная) редакция «Красного Колеса», предпринятая автором в 2003—2005 годах.

*Н. Солженицына*

# ЗЕМНОЙ УДЕЛ

*Заметки об «Октябре Шестнадцатого»*



Из четырех Узлов «Красного Колеса» «Октябрь Шестнадцатого» более всех близок тому литературному жанру, что обычно именуется «романом». Во избежание недоразумений оговорюсь: речь идет не о той или иной литературоведческой концепции, в рамках каждой из которых термин получает свое толкование, и не о солженицынской «поэтике жанра», согласно которой: «Повесть — это то, что чаще всего у нас гонятся назвать романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательная протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом, и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли»<sup>1</sup>. Хотя воззрения Солженицына (как и всякого большого писателя) на природу литературы вообще и собственных сочинений в особенности весьма важны, просто «отменить» бытовое словоупотребление они не могут. Меж тем в обыденном читательском сознании слово «роман» ассоциируется с «частными», в первую очередь — любовно-семейными, коллизиями, в большей или меньшей мере сопряженными с проблематикой социально-исторической и/или философской.

Сразу подчеркну: основной темой «Октября Шестнадцатого», как и всего «повествования в отмеренных сроках», остается судьба России, постигнутой и растерзанной революцией. О ее пришествии (случившемся, по разумению автора, как я старался показать в статье об «Августе Четырнадцатого», задолго до февральско-мартовского бунта в Петрограде — по сути, в тот роковой миг, когда Россия вверзилась в ненужную и бесперспективную, обрекающую народ на истребление Первую мировую войну) Солженицын не дает читателю забыть ни в одной гла-

---

<sup>1</sup> Солженицын А. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М., 1996. С. 28. Вероятно, не в последнюю очередь, писатель хотел здесь обратить внимание на жанровые (а соответственно и общепозитические, и смысловые) различия меж его крупными сочинениями — «Раковым корпусом» (повесть) и «В круге первом» (роман, если уж нет другого слова). Напомню, что «жанровый экскурс» возникает в связи с эпизодом в редакции «Нового мира»: автору предлагают «для весу назвать рассказ («Один день Ивана Денисовича»; вернее, еще «Щ-854». — А. Н.) повестью». Тогда Солженицын согласился, но задним числом счел редакторское решение и свое согласие ошибочными: «Зря я уступил. У нас смыкаются границы между жанрами и происходит обесценение форм».

ве. Глухой устрашающий гул истории, почти не слышный одним персонажам, ставший для других «привычным» и даже тешащим душу, но, по сути, незначимый, никаких реальных перемен не сулящий, всерьез тревожащий третьих и зовущий их к каким-то действиям (по большей части — опрометчивым), ощущается читателем буквально в любой точке Второго Узла. Именно что в любой, а не только в главах обзорных (7' — история полувекового нарастающего противоборства власти и общества; 19' — политическая хроника 1915 года; 62' — очерк о Прогрессивном блоке и последней причине катастрофы, продовольственной петле, стянувшейся на горле России; сравните главу 3 следующего Узла, которая так и называется — «Хлебная петля»), посвященных наиболее приметным событиям сонной осени 1916 года (беспорядки на грани погрома на Выборгской стороне — 26; снятие локаута и отмена воинского набора рабочих — 63; заседания Государственной Думы 1 и 3—4 ноября — 65', 71') или конкретным политикам, общественным деятелям и революционерам (Козьма Гвоздев и «рабочая группа» — 31; Гучков — 40—42; Ленин — 37, 43—44; Ленин и Парвус — 47—50; Шляпников — 63; царская чета — 64, 69, 72).

«Октябрь...» строится не на чередовании интимно-психологических и историко-политических эпизодов, но на постоянном взаимопроникновении двух основных то почти сливающихся, то резко контрастирующих мелодий — личностной (а суть человека всего яснее проступает в любовно-семейной сфере) и исторической, предрекающей торжество революции (и отрицание всего человеческого). Даже в обзорных главах мы не раз видим конкретные лица (так, в «Кадетских истоках» дан объемный психологический портрет Шипова — 7'); даже при описании думских прений Солженицын успевает — иногда несколькими беглыми штрихами — выявить человеческую индивидуальность сменяющихся ораторов, намекнуть на особенности их судеб, выделить ноты человеческой искренности, реальной озабоченности делом, вдруг возникающих горьких предчувствий в потоках партийной (то есть безличной) болтовни. Такого слияния «интимных» и «исторических» сюжетов в двух следующих Узлах уже не будет — лавинообразный ход событий потребует совсем другой архитектоники. Люди не перестанут любить, ревновать, мучиться и ликовать от счастья и в те катастрофические дни, но грохот истории чем дальше, тем больше будет приглушать личные мелодии персонажей, но сверхбыстрая смена картин (одна другой неожиданнее) в калейдоскопе взвихренной истории будет закрывать и оттеснять «частные» сюжеты. В «Марте...» и «Апреле Семнадцатого» лица персонажей и их индивидуальные истории то ярко (но всегда коротко) вспыхивают, то пропадают из виду в бушующем революционном океане — в «Октябре Шестнадцатого» их сложно переплетенный узор все время в поле читательского зрения.

Да, революция уже пришла (и сказалась на душевном строе многих персонажей), но еще не продемонстрировала всей своей мощи, еще не отменила вполне прежнюю, при всех ее грехах и бедах — нормальную,



жизнь. Даже те, кто угадывают скорые тектонические сдвиги и всей душой стремятся их предотвратить, одновременно «просто живут», не догадываясь или страшаясь себе отчетливо признаться в том, что жизнь их подошла к последней черте. Автор (и читатель) знают, как быстро и как страшно все кончится. Это знание придает всем интимным сюжетам «Октября...» особую — осенне-печальную — окраску, но и заставляет с особым вниманием отнестись к последним историям любви. Потому и стал «Октябрь...» самым «романным» Узлом «Красного Колеса». Потому и я позволю себе сосредоточиться на любовно-семейных мелодиях. Надеюсь, в тех случаях, где об их сплетении с мотивами национальной трагедии будет сказано недостаточно подробно, читатель, несомненно помнящий, что главная боль Солженицына — победа революции над Россией, восполнит недоговорки моего, как всегда это бывает, поневоле частичного прочтения.

Если «Август Четырнадцатого» строится автором и воспринимается читателем при свете «Войны и мира», то второй Узел «повествования в отмеренных сроках» не менее тесно и многопланово соотнесен с другой книгой Толстого — самым «романным» из трех его больших сочинений — «Анной Карениной».

Героиня Толстого прямо упомянута в «Октябре Шестнадцатого» дважды. В какой-то миг, меж упоенными объятьями и политическими наставлениями, Ольга Андозерская успевает сказать Воротынцеву, «что теперь по столицам стали очень часты разводы, во многих парах один из супругов — разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского» (29)<sup>2</sup>. Об Ирине Томчак говорится, что она «Анну Каренину ненавидит как самую гадкую из женщин» (60). Два противоположных, но в равной мере банальных, игнорирующих трагическую суть толстовского романа, суждения об Анне Карениной (и «Анне Карениной») введены не только для того, чтобы объемнее очертить характеры Ольды и Ирины. Анна бросилась под поезд не потому, что развестись с мужем в 1870-е годы было много труднее, чем в 1910-е (и не потому, что Вронский якобы вознамерился ее оставить, и не потому, что свет отвергал ее незаконное чувство, — все это, как и прочие «внешние» причины — либо болезненные домыслы героини, либо следствия ее обдуманных поступков), а потому, что в ней неуклонно растет ощущение собственной греховности, одержимости, проклятости. Этого не может и не хочет понимать самостоятельная и самодостаточная Андозерская, политический традиционализм и философский идеализм которой бесконфликтно уживаются с этической раскрепощенностью

---

<sup>2</sup> Здесь и далее цифры в скобках — номера цитируемых или упоминаемых глав Второго Узла. При отсылках к другим Узлам перед номерами глав применяются сокращения: А-14 — «Август Четырнадцатого», М-17 — «Март Семнадцатого», А-17 — «Апрель Семнадцатого». Все выделения в цитируемых фрагментах (курсив, разрядка, прописные буквы) принадлежат Солженицыну.

женщины эпохи модерна. Анна вовсе не «самая гадкая из женщин» (если, конечно, мы не руководствуемся аморальным кодексом Бетси Тверской и прочих мастериц забрасывать чепец за мельницу в надлежащей манере), но лишь одна из самых несчастных женщин. Это знает сердцем Долли, чьи любовь и сочувствие Анне формально противоречат характеру, «принципам» и всему жизненному строю этой идеальной жены неверного мужа. И этого не может и не хочет понимать Ирина Томчак, изо всех сил старающаяся жить, как Долли, далекая от любых греховных мыслей, осуждающая разврат, но, в отличие от Долли, бездетная, свободная от «материальных» забот и не чувствующая подлинной любви к мужу, а потому рвущаяся из реальной и постылой жизни в теософские либо патриотические мифы, общественную деятельность, на войну. Как ни странно, у столичного профессора и томящейся в степной глухомани «мужниной жены» есть общие черты: чуть аффектированный и стилизованный монархизм-патриотизм-консерватизм, изысканный вкус, сильная воля, желание направлять мужчину — это Ирина подсказывает Роману Томчаку мысль о докладе на *совещании* соседей-экономистов (60)... Легкое сходство (при бросающихся в глаза различиях!) Солженицын придал двум женщинам не случайно — оно коренится во времени, в эпохе, которая высвободила личность, зримо ослабив традиционные нормы и дав человеку возможность (а точнее — навязав необходимость) совершать выбор далеко не однажды. Для сколько-нибудь неординарной личности даже отказ от выбора (следование обычаю, подчинение принятому за тебя решению) теперь стал выбором. Начало этой эпохи было запечатлено Толстым в «Анне Карениной» — романе, многообразные частные интимные конфликты которого предстают следствиями грандиозного общего переворота всей русской жизни. Герои Солженицына (как женщины, так и мужчины) живут «после «Анны Карениной»» — на самом излете того исторического периода, что открылся Великими реформами Александра II и был уничтожен революцией.

Катастрофичность исторических событий, прямо или косвенно сказывающихся на существовании героев и их самоощущении (идет третий год страшной и ненужной войны, резко понизившей цену человеческой жизни, отменившей привычный уклад, раздробившей — может, на время, а может, навсегда — множество семей), не может изменить природу человека. Напротив, приглушенные личные чувства тех, кто занят «делом» (на фронте или в тылу, где законам войны подчинено все — от извечного хозяйствования на земле до высшей политики), ищут выхода, прежние болезненные сюжеты приобретают дополнительную остроту, а устойчивые (или только казавшиеся таковыми) союзы проходят проверку на прочность (не обязательно с дурным результатом).

В свой последний петроградский день Воротынецев, сорвавшийся с фронта в столицу, дабы решить задачу, которая виделась (да и видится) ему наиважнейшей, и променявший «дело» на неожиданно свалившуюся любовь, «упрекал себя разумом, а телом — был благодарен. Утека-

ли единственные месяцы или недели спасать положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц, — и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто — жизни бы так и не узнал без этих восьми дней» (38). Не нужно угадывать, в какой именно день героя переполнило это смешанное чувство, — он назван в зачине главы, размещенной в самом центре Узла (ею открывается вторая книга): «Двадцать пятого октября...», ровно за год до большевистского переворота. Читатель должен почувствовать здесь зловещую иронию истории (Воротынцеву пока невнятную — в оставшемся за пределами повествования будущем он, должно быть, не раз вспомнит 25 октября 1916 года), но столь же необходимо отступить в недавнее прошлое, всего на девять дней, когда странный рассказ случайного вагонного попутчика направил мысли полковника по непривычному руслу.

«А Воротынцев слышал из этой истории больше, чем склонен был и привык. Он невольно сманился от своего напряжённого строя мыслей — и слушал — и удивлялся.

Не — Феде, это был ещё один распространённый пример человека, напутавшего в простом вопросе женитьбы. А впрочем, уже не было к нему снисходительной жалости, но слушать его было — страшно.

(Вернувшись в Москву, Воротынцев на собственной шкуре поймет, чего стоит этот «простой вопрос», с которым ему предстоит разбираться до тех пор, пока не оборвется повествование. И сам будет нуждаться в хотя бы «снисходительной жалости». И не страшно ему будет, а по-настоящему страшно. — А. Н.)

Поразила — эта женщина. Как прыгала на одной ноге... Не приведи, конечно, Бог, с такою крученою связаться, но неужели так бывает? Такие — бывают?

(Бывают. Ольда тоже «прыгает». А решительности, готовности менять и направлять жизнь возлюбленного у нее не меньше, чем у Зины Алтанской. Впрочем, эти особенности характера Андозерской явственно обнаружатся в следующем Узле. — А. Н.).

И если ещё с ребёнком чужим — и так бы притягивала? Вот эта жгучесть под бытейской коркой — она изумляла.

И вызывала зависть.

И глухое чувство упущенного» (17).

Тогда Воротынцев и вымолил у судьбы (или накликал?) свою — не менее «жгучую» — любовь. Верно говорила «крученая» женщина своему избраннику: «Это слово — расхожее, им пользуются все и по пустякам. А бывает оно, а бывает она, Феденька, — не часто...» (17).

Случайный разговор в поезде, бегущем по Николаевской железной дороге (в таком же поезде, на том же маршруте окончательно стала явью страсть Анны и Вронского!), не только пророчит будущее Воротынцева (как соблазненный Зиной инженер, он расскажет жене о своей измене, но гораздо существовавшее иное — абсолютная захваченность чувством, которое оказывается сильнее вроде бы неколебимых привы-

чек и жизненных принципов отнюдь не юного персонажа) — разговор этот оказывается «ключом» ко всему «романному» Узлу.

В середине рассказа попутчика «полковник размял папиросу двумя пальцами, вышел покурить в коридор. (Всё-таки не могут люди без любовных историй, с чего другого поважней — а всё на это переползут.)» (17). Фрагмент организован так, что мы не можем однозначно ответить, чья беглая мысль упрятана в скобки. Возможно, Воротынцева, который еще не втянулся в сюжет и раздражен, что от серьезных тем (транспортные трудности, неразбериха со всевозможными уполномоченными, товарный голод и администрирование, рождающее спекуляцию, проклятье «твердых цен», тыловое *міродёрство*, всеобщее недовольство правительством, казачья жизнь) его странный спутник перешел к болезненной исповеди. Но может быть, и его собеседника, стесняющегося собственной откровенности и предугадывающего скептическую реакцию полковника. Это «двоение» предлагает третий — не отменяющий двух первых — ответ. Тут звучит голос автора, объясняющего свой замысел: без «любовных историй» невозможно обойтись и в тех случаях, когда речь идет о том, что видится (не без оснований) самым важным. Не взглядевшись в человеческие чувства, не осмыслив, как (очень по-разному!) любили, сходились и расходились, мучились и переживали высшее счастье люди 1910-х годов, невозможно понять, почему и как революция победила Россию.

Но прежде чем обсуждать многообразие «любовно-семейных» мотивов «Октября Шестнадцатого», следует вернуться к вагонному эпизоду и ответить на вопрос, который несколько раз задает себе (и интеллигентным обиняком — попутчику) Воротынцев, пока разговор идет об общих вопросах. Вопрос этот Солженицын выносит даже в Содержание: «Кто же он такой?» (Для читателя здесь важен и скрытый план: почему именно этому персонажу доверено рассказать историю, невольно предсказавшую крутой поворот в судьбе Воротынцева?) Идет медленный перебор версий. Не «по железнодорожной части». Не уполномоченный. «Что-то совсем не городское было в этом человеке. А — образованное мужицкое». Помянул Брянск, но не оттуда. Был гимназическим учителем. С санитарными поездами ездит. Но не из Земгора. Называет себя «выборжанином», но вовсе не из Выборга родом (Воротынцев и забыл — если знал когда-то, что подписывали депутаты распухшей Первой Думы Выборгское воззвание, о котором, впрочем, читатель уже рассказано в главе 7<sup>1</sup>). Был думским депутатом, но теперь совсем не политический деятель, да и тогда — «так, попал». И к тому же еще казак, но на Дону не живет. Сплошное недоразумение. Воротынцева спутник сперва слегка раздражает, частью потому, что думает полковник то об оставленной Алине, то о своем главном деле — войне (даже к мирному законному пейзажу, прилагая боевую меру, — «хорошо оборону держать, вон по той гряде, например»), частью своей тяготной манерой говорить. Потом возникает жалость (с легким привкусом презрения) к незадачливому штатскому. И упоминание о «политической деятельности» вызывает скрытую, но насмешку. Так что понятна реакция боевого офицера, брез-

гающего газетами-журналами и так долго выслушивавшего неприятные новости о тыловой жизни (вроде умно говорил попутчик, но ведь наверняка преувеличивал), на запинаящееся смущенное признание:

«Я теперь... в общем... так сказать... очеркист.

Ах, вот кто! Ах из тех как раз, кто и пишет все эти Слова и Богатства!...» (14).

«Очеркистом» Фёдор Ковынёв для Воротынцева и останется, но мы внимаем его «любовной истории» (17) иначе, чем полковник. Мы уже знаем, кто он такой, так как ковынёвскому рассказу предшествуют глава «Из записных книжек Фёдора Ковынёва» (15) и смятенная внутренняя речь персонажа: «Он сказал о себе "очеркист", постеснявшись как истинно думал: "писатель"» (16). Не просто литератор, но писатель, обретающий большое дыхание, приблизившийся к своей главной книге: «И вот уже в последние годы что-то, кубыть, переливается из заготовок в формы: главные лица, и эпизоды, и целые главы — так ли? хорошо ли? Границы точной нет, всё колышется, не застынет: роман не роман, а может Поэма в прозе, и с названьем, наверно, самым простым — "Тихий Дон", потому что через всё растекаются — Дон да кормящие запахи любушки-земли. Да первая часть и готова, но Федя по робости не осмеливается предложить публике: ведь ещё что из того выйдет? И сразу укажут дружно, что слишком много безцельного быта, слишком много пейзажа — а как же со свободолюбием?» (16)<sup>3</sup>.

История любви Ковынёва (Крюкова) подлинная, восстановленная по сохранившимся письмам его возлюбленной. Важна она, однако, не сама по себе, но в сопряжении с линией вымышленного героя — Воротынцева. Именно дорожный рассказ Ковынёва вводит в «Октябрь...» тему испытания любовью, что указывает на закономерность (а в какой то мере и символичность) «воротынцевского» сюжета (другим «зерка-

---

<sup>3</sup> Упомянув название «поэмы» Ковынева, Солженицын намекает на возможность ее отождествления с общеизвестным романом о трагической судьбе казачества. Но это лишь мерцающий намек, а не однозначное утверждение. Дело в том, что фольклорный по происхождению оборот «тихий Дон» постоянно использовался разными авторами начала XX века, касавшимися казачьей темы. Читателю предлагается загадка без ответа: *тот* или *иной* «Тихий Дон» пишется Ковыневым в 1916 году? Если все-таки *тот*, то сквозь предчувствия Фёдора вероятной реакции на публикацию его поэмы (упрекать будут за недостаток «свободолюбия») проступает дополнительный смысл — дискредитация «большевистских» эпизодов первой части «Тихого Дона», принадлежащих перу не подлинного автора, а советских редакторов. Если Ковынёв пишет *иной* «Тихий Дон», то существенно, что в этой — неведомой нам — книге, «революционным» мотивам места не было. Взгляды Солженицына на проблему авторства «Тихого Дона» изложены в предисловии к книге Д\* (И. Н. Медведевой) «Стремя "Тихого Дона" — «Невырванная тайна» и статье «По донскому разбору». См.: *Солженицын Александр*. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3. С. 489—495 (особенно, 492—493); 210—224 (особенно, 220—224). Одно время писатель склонялся к версии, что искаженный и вышедший с именем Шолохова «Тихий Дон» был написан Ф. Д. Крюковым (прототип Ковынёва, о чем сообщено в «Замечаниях автора к Узлу Второму»).

лом» — впрочем, зримым лишь читателю, а не персонажу, — станет экскурс в мучительную личную жизнь Гучкова (42), также основанный на строго документальных свидетельствах). Едва ли случайно смутное будущее Воротынцева невольно предсказывает (разумеется, сам того в виду не имея!) не кто-нибудь, а писатель, то есть тот, кому и положено глубже других чувствовать общечеловеческие коллизии в оркестровке своей эпохи. (Весьма соблазнительно было бы выстроить здесь систему аналогий, связав сюжет «беззаконной любви» в «Тихом Доне» с историями Ковынёва и Воротынцева, но поскольку о ковынёвском «Тихом Доне» у Солженицына говорится туманно, эту напрашивающуюся ассоциацию лучше оставить. Стоит напомнить, что в следующем Узле возникает намек на любовный сюжет «поэмы» Ковынёва: «Сколько видено и пережито казаков, и сам же казак, — а один вот выдвинулся, видится всё время, — черночубый, высокий, малодоброжелательный, — как он подъезжает к водопою и встречается с женой соседа. А казачка та — соединённая из нескольких станичных баб, которых Феде самому досталось повалать в шалашах, у плетней, под подводами, или только поласкать глазами». — М-17: 16.)

Смысловая весомость «дорожной истории» становится до конца понятной в финале «Октября...». Надолго выведя Ковынёва из поля читательского зрения (вновь он появится лишь в «Марте...»), Солженицын завершает Второй Узел главой об отчаянии Зинаиды Алтанской, о страшной цене, которую она заплатила за то самое свидание, о котором вспоминал Ковынёв, и ее исповеди. После которой отпустивший Зинаиду грехи священник отвечает на все еще kloхожащий в женской душе вопрос: «Нет в мире более-больнее семейных, струнья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: “вот так — делай, вот так — не делай”. Как велеть тебе “не люби”, если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой» (75).

Подобных (единственно нужных) слов не слышит Воротынцев, мучающийся в могилевской ночи, как Зина (в те же часы) — в ночи тамбовской. Сходство душевных состояний персонажей подчеркнуто почти тождественным рисунком городских пейзажей: «Небо без звёзд, без луны. Кое-где фонари на углах. Все окна тёмные. И прохожих нет» (74) и: «Темнота. Тишина <...> По всей Араповской — ни души. Если где засветились, то ещё за ставнями» (75). Воротынцев, потрясенный письмом жены, которая грозит самоубийством (а Зина получила письмо Ковынёва, в котором он сообщает ей — всем для него пожертвовавшей: «у меня другая есть, и это серьёзно»), спешит дать Алине «смягчительную, ласковую телеграмму» и вдруг замечает распахнутую монастырскую калитку:

«Мелькнуло тёплым светом (в полной тьме. — А. Н.) — и он шагнул назад, задержался против проёма.

Полотнище было распахнуто — и дальше были распахнуты церковные двери — и виделись внутренние остеклённые: там дальше, было не-

мало огня, различались столпы подсвечников со свечами, служба уже началась или готовилась.

Но ни звука не было слышно сюда и даже не видно фигур внутри — священника, или монастырских, или прихожан.

Если служба шла — то как будто сама, без людей, ночная» (74).

Храм, в котором служба идет «будто сама», Божьей волей, буквально зовет под свою сень Воротынцева, но он, поколебавшись, спешит на телеграф — слать депешу, которая лишь крепче затянет петлю, не поможет Алине, не успокоит сердце Георгия. (Тягостным и, в сущности, бессмысленным выяснениям отношений меж супругами посвящены главы 51—54, 57—59; этот изматывающий и никуда не ведущий сюжет, в котором важны именно предсказуемость и монотонность эмоциональных колебаний Алины — то «прощающей» мужа, то вновь его обличающей, то смиренной, то самоутверждающейся — пройдет сквозь раскаленные «Март...» и «Апрель Семнадцатого».) Воротынцев не слышит того, что отец Алоний говорит Зине, но слова священника замыкают книгу (что придает им особую значимость) и тем самым заставляют читателя вновь вспомнить все любовные (семейные) лабиринты «Октября...».

Любви (или не-любви, утраченной любви, ожидания любви) здесь мало кто миновал. По обилию и разнообразию любовно-семейных сюжетов (каждый из которых, впрочем, тесно сплетен с сюжетом неуклонно наступающей революции) «Октябрь Шестнадцатого» сопоставим только с «Анной Карениной», где едва ли не все персонажи даны при свете «мысли семейной»<sup>4</sup>. Слово скрыто корректируя общеизвестный зачин толстовского романа, Солженицын во Втором Узле убеждает нас: не только «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», но и счастливые семьи не так уж похожи друг на друга. Видимо, поэтому автор не только описывает, опираясь на мемуары и документы, действительно существовавшие семьи (Шингарёвы, Смысловские, чета Пальчинских, представленная в «Красном Колесе» с фамилией Ободовские), но и считает необходимым специально указать в «Замечаниях... к Узлу Второму» на реальность, невымысленность этих семей.

Солженицыну важно показать как многоликость любви (каждое чувство, связывающее двух людей, неповторимо; каждая семья живет

---

<sup>4</sup> Не говоря о двух главных линиях («Анна — Вронский» и «Кити — Левин») и служащей связующим звеном семье Облонских, напомним, что в романе Толстого представлены: несостоявшееся соединение «беспольх» Кознышева и Вареньки; преданность «дурной» сожительницы беспутному и несчастному Николаю Левину; духовные утешения Каренина с графиней Лидией Ивановой; законченный великосветский разврат; «женский вопрос» (обсуждается в доме Щербацких); молодая, встреченная Долли на постоялом дворе, что без печали говорит о смерти своей дочери; ревность Левина к Васеньке Весловскому; обыкновенная счастливая жизнь в замужестве за Львовым средней из сестер Щербацких (она не описана подробно, но отчетливо обозначена); семейные заботы художника Михайлова... — список может быть продолжен.

совершенно особенной жизнью), так и ее всеобщность и всевластность. В разных общественных слоях господствуют разные поведенческие правила, традиции, нормы, но они сказываются только на «формах» главного человеческого чувства, а не на его сути. Потому в «Октябре...» любовные коллизии (и испытания, которые выпадают любящим в злую военную пору) представлены на всех уровнях российской сословной вертикали (кажется, только о духовенстве в этой связи не сказано) — от избы до царского дворца. И точка отсчета здесь — именно изба. Хотя личные чувства мужика (ставшего солдатом или ждущего призыва) и крестьянки (хранящей верность ушедшему воевать мужу или жениху; путившейся во все тяжкие; оставшейся из-за войны навсегда в девках; вышедшей в конце концов без любви замуж за того, кто уберется от смерти, — как хозяйка «Матрёнина двора»), на первый взгляд, не так важны для судьбы страны, как переживания императора, крупного политика, военачальника (да хоть бы и полковника Воротынцева, который из-за вспыхнувшей любви и желания загладить вину перед обманутой женой временно уклонился от участия в гучковском заговоре и тем самым прикрыл один из альтернативных вариантов движения отечественной истории), хотя, если оглянуться на литературную традицию, описаны и исследованы «мужицкие» чувства меньше, чем чувства «господские», но по сложности, напряженности, запутанности, яркости они несколько всем прочим не уступают. Да и открывается (совсем не случайно!) солженицынская «энциклопедия любви» как раз «крестьянско-солдатской» страницей.

Первое происходящее в «Октябре...» событие (ранее — описание неизменного положения батареи, прочно завязшей в белорусских лесах, утра Сани Лаженицына, ничем не отличимого от прочих, да воспоминания героя о недавнем легком бое) — Санино ходатайство об отпуске Арсению Благодарёву, которое — вопреки секретному бездумному и бессердечному приказу — сработало (2)<sup>5</sup>. Первое серьезное чувство, о котором заходит речь, — любовь Арсения к Катёне, больше, чем что-либо, влекущая его домой<sup>6</sup>. Арсений тоскует, потому что даже выговориться в письме (этим смиряют печаль господа офицеры) ему не дано.

---

<sup>5</sup> Благодетелем Арсения стал, как явствует из реплики подполковника Бойе, заменивший командира бригады полковник Смысловский, который «может отпустить (и отпустит. — А. Н.), на свой риск» (2). Смысловский — один из братьев, семью которых посещают Воротынцев с Алиной; в этом эпизоде упомянут и командир Лаженицына и Благодарёва: «Вот, Михаила жалко нет» — ансамбля без него, виолончелиста, не составить. «Так это сказал <...> будто не шла Великая война и Михаил не командовал сейчас Гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился» (58). Перед нами пример незаметного соприкосновения судеб персонажей (Воротынцев был с Благодарёвым в дни самсоновской катастрофы и помог солдату перейти в артиллерию, Благодарёв служит под началом Лаженицына, но сами главные герои «Красного Колеса» не знакомы; Благодарёву невдомек, что полковник, с которым он выходил из окружения, приятельствует с братьями полковника, который отпустил его домой). Этот — принципиальный для «повествования в отмеренных сроках» — художественный прием подробно рассмотрен в статье, сопровождающей «Август Четырнадцатого».



«А что можешь? Мол, жёнке моей Катерине велю свёкра и свекровь слушаться и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место (в казенном письме. — А. Н.) было, а законы, по которым письма пишутся, не позволяют прямо открыто Катёне писать как главному человеку. Что завечаешь — о том не пишет никто, срам» (4). Уже здесь Катёна названа «главным человеком», и здесь же вслед за приливом любви, полнящимся чувственной энергией, возникает ревнивое подозрение: «И — шаг бы к ней! шаг!

Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково бабёнышке-ядрышку столько вылежать, высидеть, выждать?

Не-е. Не» (4).

Этот — сжато намеченный во фронтовых главах — психологический комплекс (нежная любовь; напряжение истомившейся плоти; смущенное сознание того, что ты своим чувством к жене нарушаешь исконные — отцовские-дедовские установления; память об армейской — и не только армейской — привычке видеть во всякой женщине потаскуху; ревность, переходящая в дикую ярость; доверие и любовь к своей единственной избраннице) подробно разворачивается в Каменке. Арсений — истинный сын Елисея Благодарёва, но живет и чувствует он иначе. Отец обзавелся семьей, когда было ему уже за тридцать, и считал, что не дотерпел срока (должно — в тридцать шесть), сын — много раньше, и взял почти сверстницу (мать Арсения моложе мужа на четырнадцать лет). Отец «бранил Сеньку, не пускал в двадцать четыре жениться. Бою выдержано». В первый Великий пост по свадьбе молодожены «сшептались: будем грешить, може Бог простит» (тогда был зачат Савоська, что заставило священника хмуриться над святцами, а Катёну лукавить с батюшкой: «...лишнего переносила. Чегой-то он никак не выкатывался»). Придя домой, Арсений страстно хочет увидеть жену:

«А где ж Катёна? Катёнушка — где? Сама мать не сказала, Сеньке спросить не личит <...> Да где ж Катёна моя, что ж она не вспрынет? Про Катёну-то что ж ни слова никто?

А спросить неловко, не личит».

И еще около двух страниц тормозится желанная встреча, а при появлении Катёны («влетела в избу, как бомба в землянку») вновь должно блюсти приличия — «подкинул бы тебя, как Савоську, да не при родителях же». И снова торможение (приход односельчан, хозяйственные беседы с отцом). Супруги не могут уединиться и толком перемолвиться, хотя Арсению только того и нужно:

---

<sup>6</sup> Главой раньше жизнелюб Чернега размышляет, идти или не идти ему к сударке, выдает общее суждение о женском поле («Да у баб рази — как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было» и «частное» — похабщину о царице и Распутине (3). Ниже тот же Чернега полухотливо соблазняет Благодарёва не мечтать об отпуске, а перейти в его взвод («Будем до баб вместе ходить») и посмеивается над желанием Арсения увидеть детей: «Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь» (4). Эти мотивы отзвучат в каменских эпизодах.

«Тебе дров, водицы? — Сенька сунулся помочь. Да дрова-то у батеньки неуж не заготовлены и вода из колодца с банею рядом — а поговорить с жёнкой пяток минут где-то на переходе».

Разрядка происходит в бане («Хэ-э-э! — раздался Сенька голосом, — до ночи не дожидаться!»), но ей предшествует жутковатая кульминация. После того как Катёна во второй раз, играя, спрашивает: «А веником не засечешь?» (35), раздаётся Сенькино (в первый раз он довольно протянул: «Не засеку-у-у!»): «Да ты уж ли не...?» Крикнул Арсений один раз, воспроизведен его угрожающий рёв дважды (35, 36). За время, которое нужно для произнесения пяти односложных слов, писатель переступает в новую главу и рассказывает: о мягкости Арсения к жене; их короткой довоенной жизни, «как под солнышком тёплым»; тоске Катёны по Арсению и ее внутреннем изменении («ещё и иное что-то разгоралось в ней»); реплике уже «удовольствованной» (ее немолодого, но крепкого мужа на войну не послали) Агаши Плужниковой («Ты с мужем, что ж и не жила, поди, почти. Вот поживёшь, во вкус войдёт, да пригнетёт — тогда и ты переменишься»); жажде «обновленного» Сеньки («воротился бы <...> не прежним лишь милым, но и грозным, что ль?»); давнем странном состоянии, когда Катёна, еще незамужняя, тайно грезилась почувять над собой мужскую власть, почти соглашаясь на участь опозоренных девок («а вдруг бы то — он был сразу? <...> и не для посрамища на деревню, а только власть пришёл заявить? <...> воли нет, так и рухнешь?.. Сласть дрожащая...»). Как видим, внутренний мир Катёны совсем не прост, а ее шутливый (провокационный) вопрос не случаен. Она, как грезилась, ощутила «грозного» Сеньку: «От поясницы до подколенок жгло её и рвало — за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор». Измена, которая привиделась Арсению и за которую он воздал поркой, — ход ложный. Но появление его закономерно — множество солдаток не сумели снести одинокую долю, множество семей было порушено или изломано именно так. Да, за Катёной вины нет, а Арсений, освободившись от томивших душу подозрений, жене поверил (и полюбил ее пуще прежнего), а «она доплакивая <...> улыbnулась» своему господину: «Буду волю твою знать» (36).

Катёна с Арсением действительно счастливы, что подтверждает завершающая главу пословица: «КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ». Но, во-первых, игра Катёны была своевольно рискованной, что знаменует сдвиги в традиционном укладе. Во-вторых же, ложный ход все-таки срабатывает. Тени других — искалеченных войной — судеб ощутимы и в «каменской идиллии». Разумеется, есть верные жены и хоть и «грозные» (горячие, измотанные разлукой и похабными разговорчиками, готовые вспыхнуть), но справедливые и добрые мужья. Но есть и другие. В таких же деревнях. Да и в самой Каменке.

Во втором блоке «каменских» глав благополучная и основательная Агаша Плужникова (вышла замуж за крепкого во всех смыслах немолодого мужика, «солдаткиной» доли избежала, на опасные выдумки, вроде Катёниной, едва ли пускается, справно ведет роль хозяйки, в нужный миг напуска-

ется на «городского», словно тот один в росте цен виноват, чем удачно подыгрывает мужу) изобличает четырнадцатилетнего купеческого сына Колю Бруякина — «со взрослыми бабами спознался». Для Колиного отца это не новость, а смотрит он на сыновние выходки снисходительно. И даже не без одобрения. Рановато, конечно, но «пусть скорей мужиком станет, скорей и помощником». Да и сам Бруякин-старший «близ этого возраста стал шарить по бабам». Понятно, что распутство на деревне не в 1914 году завелось, но есть какое-то неуловимое различие между прежним и новым греховодничеством. Не случайно, «шалости», которым научила Колю Маруся-смуглянка, томящаяся, «как все солдатики»<sup>7</sup>, названы «адскими», описание их любовных игр («Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без усталости теребила, и всячески наслаждалась») кажется свернутой цитатой из Федора Сологуба (эпизоды Саши Пыльникова и Людмилы в «Мелком бесе»), а демоническая энергия Маруси передается ее избраннику («как будто и девки в нём что-то почуяли»), которому захотелось «лихой, заблудной дороги»<sup>8</sup>. По этой дороге уже двинулась компания Мишки Руля, «первого дикого озорника, драчуна и героя», история о похабной проделке которого заключает главу. Не важно, действительно ли потешился Мишка с Липушкой в бане или попусту бахвалится. Важно, что брех вызывает восхищение, что парни усваивают «поучения» Руля, перекликающиеся с болтовней Чернеги: «Вот так, ребята, когда женитесь — своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится» (45).

Стародавняя дикость (забавы парней над девками, помянутые в связи с переживаниями Катёны. — 36) «обогащается» новыми «городскими» мерзостями, а война, обезмужившая деревню и сделавшая всякого парня потенциальным смертником (рекруту и в старину дозволялось и даже полагалось куражиться), тому сильно способствует. Череда праздников в Каменке (Арсений пришел домой под Казанскую) обрывается указом от 23 октября о призыве «ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва — завтра, 25 октября» (вновь роковая дата). А на днях «будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне (как раз революция объявится. — А. Н.), а распекут ноне.

<sup>7</sup> Томятся все (если не касаться патологических случаев), но ведут себя солдатики неодинаково. Тут уместно вспомнить историю няни Воротынцевых, у которой после кончины мужа (вдруг стал солдат Иван Тихонов «не жив», хотя «войны никакой не было») вся «личная жизнь» кончилась. Совсем молодой была, легко могла бы выйти замуж, родить сына, взамен Архипушке, который вскоре последовал за отцом, а провековала весь свой век в людях, при чужих детях (18).

<sup>8</sup> Впрочем, декадентский рисунок эпизода (соотносящий его с рядом петроградских сцен) заземлен другой скрытой цитатой. Сквозь «Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки» (45) отчетливо слышится чистосердечное признание «героя на все времена» Митрофанушки Простакова: «Не хочу учиться, хочу жениться».

Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?» Если мужики могут слабо утешиться тем, что загребут вместе с путными парнями Мишку Руля, то читатель с печалью догадывается, как этот прохвост «повоюет» в пору стремительного пореволюционного развала армии, каких чудес натворит в надвигающейся гражданской войне (хоть у красных окажется, хоть у белых, хоть у зеленых). Короткая счастливая побывка Арсения пройдет под бабье голошение, и он, пощаженный пулей, дважды георгиевский кавалер, изрядный хозяин, добравшийся наконец-то до своей ненаглядной Катёны, одним словом — счастливец, чувствует вместе со всеми: «Нету жизни. Не дают устояться» (46).

Не случись революции, может, вырос бы Арсений в хозяина не хуже, чем Захар Томчак. Оставаясь в мужицкой сфере, поднимемся на ступень выше — к селянам, основательно разбогатевшим (сцены в доме Плужникова и экономии Томчака взаимоориентированы и в ином плане, о чем будет сказано ниже). О неудовлетворенности Ирины жизнью уже говорилось, но и Романа тяготит его «образцовая» жена. «И умна Ирина. И преданна. И молода. И красива. Для представительства, для показа, для путешествий — лучшей жены не придумать, — все любят, все завидуют. Но до чего обманчива бывает эта показная красота — а чего-то, чего-то нет нутряного, живого, задевающего, какое бывает и в дурнушке в затрёпанной юбке. И если б этим одним владела ты, голубушка, — не надо бы ни всех твоих мудростей, ни винчестера, ни Общества Четырнадцатого Года» (60). Брак заключен правильно, о возможной неверности жены можно говорить только в шутку, мечтательные причуды Ирины должны бы вносить в размеренное существование толику пикантности, но любовь в семье и не пахнет. (Только ли потому, что Роман человек неприятный? Или в его невысказанных укорах жене есть какое-то зернышко правды? Слышится ведь тут что-то, похожее на сетования Феди Протасова, который не чувствовал в своей добродетельной жене «изюминки».) Формальное соблюдение старого порядка счастья не дарит. Да и трещит этот самый порядок. Овдовевший сын властной старухи Дарьи Мордаренки (перед которой вроде бы все трепещут) взял да «привёз себе вместо жены — шансонетку, с тех пор к нему в гости семейные не ездили, а та принимала гостей в кружевах шантиль, под которыми одно трико.

Была ли она именно шансонетка, пела ли когда где песенки, Ирина не знала точно (опять не существенно, правда или пакостный слушок; может, тут настоящее чувство к «чужачке», которая ни в чем не грешна, а просто не по обычаю одевается. — А. Н.), но этим собирательным отвлечительным словом «шансонетка» она обозначала и припечатывала всю категорию неформальных женщин, разбивавших семейные устои» (60). Было б в своем доме ладно, не занимала б Ирину «шансонетка». Но в доме, где свекор со свекровью на невестушку не надышатся, где всего в изобилии, где есть досуг читать теософские книги и фантазировать о переселении душ, где и муж формально ничего дурного жене не делает, в роскошном этом доме — не ладно. И потому (а не только из-за гдето гремящей войны, уберечься от которой изо всех сил, к стыду Ирины,

стремится ее муж) степные костры (жгут бодылья подсолнуха) оборачиваются устрашающим видением: «будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь» (60).

Плохо, когда нет семейного тепла. Но когда устоявшаяся жизнь (в которой это тепло было — и сейчас слабо дышит) сминается военным укладом, еще хуже. Самая больная точка беспешного и тоскливого разговора стариков в литейке Обуховского завода — взбесившиеся цены, искорежившие жизнь их жен. «Те денежки на прилавок выкатывать реберком — бабам, не им. Вот иде сердце отрывается <...> Выкатывать! Ещё до того до прилавка достойся. Мы вот пошли на работу, и тут в суше, в тепле, в кооперативной столовой пообедали <...> А бабе — платок обматывай потеплей да иди под морозгою стой — и два часа, и три, и ещё дождёшься ли. За свои деньги. А малые — с кем? И дом разорён.

Говорил Евдоким Иваныч с той сроднённой сочувственностью к жене, какая только к старости приходит, когда сам в её шкуру влезаешь» (32).

Впервые увидев в Москве «выстроенных в затылок друг другу людей разных возрастов, больше женщин» и получив объяснение извозчика («хвосты»), Воротынцев сокрушается: «Это и Алине так достаётся?» (13). Полковничьей жене достаётся, конечно, меньше, чем бабе Евдокима Иваныча и прочим рабочим женкам. У нее прислуга есть («Са-ма? Ещё б я стояла! Что бы мне тогда оставалось в жизни! Мне — пять часов ежедневно надо просидеть за роялем!» — знала бы она, что ждет в уже недалеком, но зато очень долгом будущем почти всех российских женщин, включая пианисток!), но на бешеный рост цен Алина жалуется (11). И ведь не только цены и очереди. Заметил в Москве Воротынцев «чего никогда не бывало: женщины — трамвайные стрелочницы. Вагоновожатые, кондукторы. И вместо дворников. И промелькнула девушка в красной шапке посыльного» (13). Нам, с детства привыкшим видеть не только кондукторш, дворничих и почтальонш, но женщин, вкалывающих — гробящих себя — на земляных или железнодорожных работах (в мирное время, не в лагерной зоне!), необходимо усилие, чтобы понять, чему изумляется Воротынцев.

Обида за мерзнущих в очередях баб, которым, может, и хлеба не достанется (да, разогретая демагогической ложью агитаторов, да, вырвавшая из треклятых хвостов далеко не всех обывателей, да, подстегнутая привычкой рабочих безнаказанно бастовать), стала толчком к разгрому хлебных и мелочных лавок на Петербургской стороне 23 и 24 февраля 1917 года. Рабочие повалили на улицу. Фабричные девки принялись заговаривать зубы солдатам. Подростки ринулись озоровать — уж если взрослые буянят, то как этим, давно без догляда живущим, стекла не бить? Именно так в Петрограде начались события, вскоре названные Февральской революцией (М-17: 7, 10).

Но и в мире пролетариев интимные чувства не сводятся к «домашним» (жалости к бабам и досаде от нарастающего бытового разлада). Когда Кеша Кокушкин срывает наметившееся взаимопонимание между рабочими и инженером Дмитриевым (рассказ о траншейной пушке, просьба работать сверхурочно), крикнув (по наводке манипулятора-большевика):

«А кто начинал — тот пусть кровь и облегчает! А нам — Рига не нужна, пускай её немцы заберут!!» (33), главной наградой за «подвиг» стали не похвалы «товарищей», а рукопожатие «товарища Марии» — «Да бережно как пожалала, или нежно как — зашлось кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться» (34). Для такой барышни и в другой раз инженера отбреешь, и бастовать с охотой будешь, и на митинг побежишь. Барышня, стесняющаяся дорогой шубки, отнюдь не «соблазняет» Кешу по партийному долгу. Напротив, она восхищена «героем». Сама бы в него втюрилась, если б не было рядом еще более героического «товарища Вадима» (Матвея Рысса), «настоящего» революционера, составляющего огненные листовки, ставшего совсем своим в рабочей массе, связанного аж с БЦК, вдохновенно рассказывающего, как двигаться в светлое завтра и каким прекрасным оно будет. «Товарищ Мария» — «в миру» Вероня Ленартович, та самая, чья «бессознательность» выводила из себя ее тетушек-радикалок в предыдущем Узле (А-14: 59). За два года девушка переменялась, вышла на «правильную дорогу» (в отличие от своей отрешенной декадентской подружки Ликони). Взяли своё наставления говорливых старушек и общая интеллигентская атмосфера. А может быть, и что-то еще. «Она касалась этих честных рабочих труженных рук почтительно-благочестиво, а ей пожали крепко, железно, больно — и радостно». Конечно, Вероня хочет быть «хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну». Конечно, она искренне мечтает о мире без войн, угнетения и казней. Но есть тут и девичье восхищение «железностью», решительностью, силой: «...замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия — не шутила, не болтала, ляды не точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор». И не разберешь, кого любит Вероня — большевистскую партию или Матвея Рысса. Партия — это Матвей, а Матвей — партия. Как Вероня стала манком для рабочего юнца (сколько же таких сюжетов было!), так Матвей — для барышни в изящной шубке (и таких историй не меньше). Когда Матвей неожиданно начинает жадно целовать Веронику, не обязательно предполагать, что студент-агитатор хочет крепче привязать уловленную курсистку «к делу» или вульгарно «попользоваться» заболтанной прежде красоткой. Его напряженность на возвратном пути может объясняться и смущением, понятной юношеской зажатостью, стремлением «выдержать марку», не расслабиться. Писатель не дает однозначных мотивировок, ибо и чувства персонажей — путанные. Существенно, однако, что Вероне «не было <...> ни холодно, ни изогнуто, ни колко.

Счастливо» (34).

Сцена напоминает не действительно страшный эпизод падения, нисхождения в «чёрный колодец» Вари (А-14: 8), а раскрытие друг другу Веротынцева и Ольды, которому тоже предшествовал долгий разговор о политике (Андозерская ведь тоже «улавливает» и настаивает полковника): «И он стал её просто целовать, в губы, которых насмотрелся в этот

вечер, ещё более запрокидывая, всё более запрокидывая на качельной доске — и шляпка её свалилась, покатилась, а тут ещё ветер» (27). Даже шляпка Ольды ведет себя, почти как сбившийся платок Верони.

Две мелко очерченные любовные (скорее — предлюбовные) истории, связанные с «классовой борьбой» на Обуховском заводе, корреспондируют с другими интимными сюжетами «Октября...». Эпизод «Вероня — Матвей» заставляет вспомнить историю жизни Нины Ободовской, урожденной Бобрицевой-Пушкиной, которая раз и навсегда решила: «Замужество — это судьба». Полюбив Петра Ободовского, Нуся порвала со своим кругом, оставила аристократические привычки, отказалась от каких-либо житейских радостей. Её не смущают ни бедность, ни ссылка, ни эмиграция, ни то, что мужа она видит мало, а «просвещать» жену Ободовский считает лишним («Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды»), ни даже отсутствие детей. Нуся бесконечно любит Петра (и он платит ей тем же: «Ты моя жена, это всё равно что я сам») и следует за ним до конца. Предчувствуя, «что ожидает их обоих на родине страшный конец» (24)<sup>9</sup>.

Другой вариант счастливого супружества (и тоже с революционным ответом) — большая (пятеро детей) семья Шингарёвых, с их подчеркну-

---

<sup>9</sup> Страшный конец — участь многих персонажей «Красного Колеса», но Солженицын далеко не всегда сообщает о нем читателю. Иногда в том нет необходимости — кто же не знает, что случилось с царской семьей. (Потому тревожные раздумья государыни о будущей участи дочерей (64) воспринимаются в двойном свете. С одной стороны, читатель, узнавая о действительно сложных — и редко обмысливаемых — матримониальных проблемах царского дома, сочувствует Александре Федоровне, а еще больше — великим княжнам, которым труднее, чем кому-либо, достичь человеческого счастья. С другой — помня о екатеринбургском убийстве, невольно воспринимает предреволюционные раздумья царицы как мелкие, недалёковидные, «барские». Об этом ли думать надо было? Но ведь и об этом тоже. Материнские чувства невозможно отменить, даже если страна катится в пропасть, а политического ума Бог не дал!) Но и о страшном конце Шингарёва, убитого пьяной матросней в больничной палате ночью с 7 на 8 января 1918 года, ничего не говорится. Меж тем, хотя дикая расправа с бывшими министрами Временного правительства (вместе с Шингаревым погиб Ф. Ф. Кокошкин) потрясла Россию, в 1970-е годы, когда шла работа над «Октябрем...», факт этот был известен немногим. (Да и сейчас так.) Правда, описывая думское заседание (23 февраля 1917), Солженицын называет выступавшего там Шингарёва «закланцем нашей истории» (М-17: 3), но намек его далеко не всем внятен. И о будущем самоубийстве генерала Крымова (в пору так называемого «корниловского мятежа») сообщено только в конспективном изложении Узла Шестого («Август Семнадцатого» — «На обрыве повествования»), но не там, где Крымов появляется (А-14: 16) или значимо упоминается (42). А вот о гибели удивительного инженера-оборонца-революционера сказано не только в «Замечаниях автора к Узлу Второму» (здесь назван прототип — Пётр Акимович Пальчинский), но и в тексте: «и расстреляли чекисты Ободовского» (31). Это (в скобках данное) сообщение введено в «гвоздевскую» главу, входящую в ту «сплотку», которая начинается на рабочем месте Ободовского (Дмитриев обсуждает с ним отказ обуховцев от сверхурочных), а завершается поцелуями Матвея и Верони.

то скромным бытом, квартирой на пятом этаже без лифта (думский депутат, один из лидеров влиятельной партии), помощью из скудных средств трем племянникам, капустой со школьного огорода («и квасили сами»), хутором, на котором вся семья (кроме Андрея Ивановича) не только грибы собирает, но и сад с огородом обрабатывает своими руками каждый год с весны до осени (20, 21). И здесь муж с женой живут душа в душу. Прямо это не декларируется, но весь уклад дома, радость, с которой Шингарёв смотрит на вышедших к столу дочек, естественность, с какой хозяйка принимает многочисленных и не слишком-то нужных гостей, свидетельствуют о подлинной любви, без которой народному заступнику было бы куда труднее тащить свой воз. Да и человеческая широта Шингарёва, обнаружившаяся в его рассказе о Столыпине (политическом враге, в котором Андрей Иванович, несмотря на свою партийность, увидел много доброго, и память эту сохранил — 21), его непоказное народолюбие, не позволяющее забыть Ново-Животинное, о бедах которого он рассказывает Воротынцеву (20), его открытость и сердечность неотделимы от общего духа задавшейся семьи, настоящего живого и теплого дома. А женские чувства и домашние заботы Ефросиньи Максимовны не противоречат ее «общественному» складу: «У Фрони — дети, у Фрони — хозяйство, у Фрони — гости пересидевшие, но Фроня — жена своего мужа и знает вместе с ним: увы, Это неизбежно, Это — будет всё равно, к Этому идёт, Это — у всех на уме. Была же и Фроня когда-то курсисткой, и помнит давнее-давнее-давнее, ещё — как ожидали Ту» (26).

«Это» — здесь не любовь (как во многих других случаях), а революция. Страшная (для нас, в какой-то мере — для Воротынцева и Андозерской, но не для остального общества, собравшегося в квартире Шингарёва) ретроспектива Той — революции 1905 года — разворачивается в томительные минуты ожидания инженера Дмитриева, сообщившего по телефону Ободовскому смутную весть. «Вы знаете, господа... Как бы не... Кажется... Началось!» (25). И не только младшая из околокадетских дам-активисток, шепотом декламирующая экзотические стихи Волошина, старшая дама, уверенная — «поезд не опоздает, билет у неё в кармане», приват-доцент, озабоченно, но оптимистично просчитывающий варианты «движения» (не поезд движется — катит Красное Колесо!), Ободовский, в котором инстинкт революционера сейчас переиграл опыт инженера, Нуся, неколебимо спокойная (вопреки прежним предчувствиям), ибо «все невзгоды уже в прошлом видены. Как Ту переплыли, переплывём и эту», взвихрённая (не столько «вестью», сколько приближением «вестника») Вера Воротынцева, но и домовитая хозяйка, горячо любящая своих детей мать, просто немолодая и неглупая женщина, не видит (не помнит, знать не хочет) того — в деталях представленного — ужаса, который и назвать можно лишь всеохватным местом — *Это*. О возвращении которого (пока — «черновом», до Февраля еще четыре месяца, до захвата власти большевиками целый год) повествует добравшийся наконец до шингарёвской квартиры инженер, чей рассказ переходит в экранный показ октябрьской «репетиции» Фев-



раля<sup>10</sup>. Погрома, остервенения, злобы, хлынувшей на улицы дикости никто не видит.

Вечер в квартире Шингарёва — вершинная «романная» точка: здесь завязывается чувство Георгия и Ольды, здесь проясняется сюжет несбыточной любви Веры и Дмитриева, а истории состоявшихся (хоть и губительно различных) семей Шингарёвых и Ободовских оттеняют те нарушающие обычный ход жизни и требующие нравственного выбора «особенные случаи», что выпали на долю и сестре, и брату Воротынцевым. Но сложно организованная система запечатленных в этой сплотке глав (20—26) любовных коллизий и семейных историй ни на миг не позволяет читателю отвлечься от войны (у Шингарёва Воротынцев, вдохновленный присутствием странной и уже влекущей «профессорши», решается выговорить — почти сполна — свою страшную правду о войне — 22) и революции, ожиданием которой захвачены хозяева и большинство гостей. И не только в описываемый вечер, но многие уже годы. Потому Шингарёв (лучший из кадетов!) не может не «нагонять параллелей» меж современностью и французской ситуацией конца XVIII века (эта вошедшая в общественную привычку игра аналогиями настраивает на единственный — вообще-то не радующий и самого Шингарёва — революционный исход). Потому Родичев упоенно пересказывает легенду о Сивилле и скудоумном царе Тарквинии, который не хотел «читать Книгу Судеб в её естественном порядке», а потому был обречен дорого платить «за страницы развязки» (20). «Дорого платить» совсем скоро придется не только «царю» (понятно, почему Родичев с таким наслаждением растягивает титул Тарквиния), но и тем, кто полагает себя и своих единомышленников сегодняшними аналогами Сивиллы. Общество (символический ступок которого и представлен гостями Шингарёва) тоже не хочет и не может читать Книгу Судеб в естественном порядке. Потому так будоражит (в общем-то — весело) собравшихся еще невнятное (но желанное!) известие о каких-то беспорядках. Призраков 1905 года, которые фактически врываются в мирную квартиру, здесь не замечают. Не могут угадать, что нахлынувшие воспоминания (в том числе смутные, те, которые спрятать от себя хочется) сигнализируют о близящемся будущем. Короткое (на сей раз) «торжество улицы» дано в «Октябре...» не самостоятельным эпизо-

---

<sup>10</sup> Эпизод ожидания революции (в октябре 1916 года не выявившейся) отзвучивает в следующем Узле. 26 февраля в квартире Шингарёва неожиданно появится Струве и скажет: «Надо идти». Ибо что-то начинается. Шингарёв двинется с ним пешком (трамваи уже не работают, извозчиков нет). Оглянет с Троицкого моста великолепную (тщательно прописанную) панораму города, празднично освещенного зимним солнцем. Выслушает монолог Струве о свободе, в которой должна звучать вся русская история — «Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру». Почувствует что-то особенное. «Однако — нигде ничего не происходило <...> Нигде ничего не происходило — и жаль. И жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее» (М-17: 44). Знал бы он, как страшно ошибается. Куда сильнее, чем его преждевременно обрадовавшиеся гости четыре месяца назад.

дом, но в «уютном» контексте неустанного интеллигентского словоговора — того самого, что год за годом раскачивало страну.

Вечеру у Шингарёва предшествует обзорная глава «Общество, правительство и царь — 1915» (19'), в которой подробнейшим образом описан один из последних эпизодов многолетнего противостояния, в итоге погубившего Россию. Сюжет 1915 года сложно отзывается в ключевом политическом эпизоде Второго Узла — рассказе о заседании Государственной Думы 1 ноября 1916 года, где Милюков произносит свою афористически провокационную сентенцию «Глупость или измена?» (65'). Осенью 1915 года Государь сумел проявить необходимую твердость, но сделал это излишне резко, вновь оттолкнув общество, что тоже отмечено Солженицыным: «Нельзя отсекал пути доверия с обществом — все до последнего» — 19'). Год с небольшим спустя высшая власть позволила себе «не заметить» милюковскую дутую инвективу, которая тут же стала предметом всеобщих толков — большей частью одобрительных, а если и раздраженных, то не на одного лишь зарвавшегося оппозиционера, а и на пришибившиеся, словно и впрямь виноватые, верха. Ужас случившегося не только в том, что Милюков опирается на большевистскую фальшивку, а все его выступление, по слову Варсонофьева, «не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен» (73). Былой союзник Милюкова, ставший его убежденным оппонентом, Варсонофьев отмечает ничтожность речи, в которой нет глубины (тут же переходя к общей — в том же ключе строящейся — оценке кадетского лидера<sup>11</sup>), но даже он — настоящий мысли-

---

<sup>11</sup> Презрительная оценка Милюкова-историка звучит и из уст Андозерской (29); есть основания полагать, что суждения эти близки автору, но все же следует учитывать, что высказывают их персонажи, наделенные определенным идеологическим кругозором и конкретными человеческими чувствами. Андозерская и Варсонофьев не могут не проецировать Милюкова-политика на Милюкова-историка (все же не случайно бывшего любимым учеником Ключевского), не могут не испытывать толики ревности «неудачников» к успешивому «карьеристу».

Укажу еще на две сходных ситуации. Когда Государь иронично оценивает исторические труды великого князя Николая Михайловича, нельзя игнорировать личные мотивы этого мнения: во-первых, император предчувствует неприятный разговор и давно дядюшкой раздражен (не без причины); во-вторых, он сам увлечен русской историей. Но не иметь «лучшего предмета для чтения и размышления» и заниматься наукой суть разные вещи. Николай Михайлович ведет разговор не лучшим образом (впрочем, видим мы его глазами Государя), но и в этой беседе обнаруживает чутье историка. Его сравнение безукоризненно умеющего себя вести и располагать к себе людей, но мнительного, склонного менять решения и откладывать важнейшие проблемы на потом Николая II с другим «великим шармёром», Александром I (69), совсем не бессмысленно. (Напомню, что «уклончивая» политика Александра Благословенного — как в отношении тайных обществ, так и в вопросе о престолонаследии — поставила Россию на грань смуты. Великий князь Николай Михайлович занимался преимущественно Александровской эпохой.)

Когда отец Северьян (высказывающий немало глубоких мыслей) утверждает, что Толстой «никогда в православии не был», — это тезис спорный, но его ссылка на

тель, яснее всех персонажей «Красного Колеса» слышащий таинственный ход истории, — не думает о том, что сам факт произнесения милюковской инвективы (при всей ее бездоказательности и мелочности) — симптом чудовищной опасности, что «если под основание трона внесли глину измены, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл» (65'). Не замечает и когда переходит от презренной «газетной» суеты к размышлениям о самом главном: «Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем» (73). В высшем смысле Варсонофьев бесспорно прав. Но правота его оказывается парадоксальным образом сопряженной со слабостью «звездочёта», а смирение перед таинственным ходом истории в октябре 1916 года свидетельствует не только об умудренности, но и о губительной усталости. Усталости от жизни общероссийской. И видимо, незадавшейся личной, на что есть приглушенные намеки в зачине главы<sup>12</sup>.

Особая значимость главы 19' для всей конструкции Второго узла не отменяет ее частной функции. Глава эта объясняет, что же происходит ок-

«Войну и мир» просто неверна: «Уж такую боль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, — и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья?» (5). Пережив «журагинскую» историю и длительную болезнь, говорит и молится Наташа — причастившись, «она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящуюся жизнью, которая предстояла ей» (т. III, ч. I, гл. XVII). Следующая глава посвящена обедне в домовых церкви Разумовских, где, слыша возглас священника «Миром Господу помолимся», Наташа думает: «Миром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться». Перед Бородинским сражением поднимают икону Смоленской Божьей Матери, на которую «однообразно жадно» смотрят солдаты и ополченцы, серьезное выражение лиц которых поглощает все внимание Пьера (т. III, ч. II, гл. XXI). Молится с детской страстностью в Воронеже Николай Ростов, пусть и «умиленный воспоминаниями о княжне Марье», — и его молитва действительно не о пустяках, он просит Бога (сам того не вполне понимая) не столько о разрешении своих отношений с Соней, сколько о счастье всей будущей жизни (т. IV, ч. II, гл. VII). Денисов, возглавив партизанскую партию, не только надевает чекмень и отпускает бороду, но и носит на груди образ Николая Чудотворца (т. IV, ч. III, гл. VIII) — и это не кажется барским маскарадом, подыгрывающим народным чувствам. Услышав об оставлении Москвы французами, Кутузов «повернулся <...> к красному углу избы, черневшему от образов. — Господи, Создатель мой! Внял Ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю Тебя, Господи! — И он заплакал» (т. IV, ч. II, гл. XVII). Не касаясь более сложных ходов (вера Платона Каратаева и ее воздействие на Пьера). Захваченный полемикой с действительно антицерковным учением Толстого, отец Северьян читает (помнит) «Войну и мир» пристрастно.

<sup>12</sup> В Четвертом Узле, разговаривая с Саней и Ксеньей, Варсонофьев печально (и верно) оценивает историческую перспективу: «Боюсь, что мы нырнем — глубоко и надолго» (А-17: 180). Но «эта жизнерадостная молодая чета» (нашедших и узнавших друг друга героев) «поддала и веры. И сочувствия. И решимости» (А-17: 185).

тябрьским вечером в квартире Шингарёва, что объединяет большинство новых случайных знакомцев Воротынцева, в чем смысл и каков генезис тех установок, которые — поверх личных особенностей совсем несхожих людей — определяют общее мировосприятие (около)кадетской интеллигенции. Сходно самое начало «воротынцевской» линии (полковник срывается с фронта, ощутив необходимость вмешаться в «большую политику») предварено обзорной главой «Кадетские истоки», повествующей о том, как «российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, — разгоняли и несли Россию в бездну» (7). Содержание этих очерков неуступчивого противоборства (общего, полувекowego, и частного, характеризующего лишь один эпизод) позволяет почувствовать символическую суть «обычного вечера» у Шингарева и понять, почему идеализированный фантом «спасительной» революции закрывает для совсем не дурных и не глупых людей ее подлинный — уже явленный в 1905 году — неистовый и безжалостный лик. Что ж, если интеллигенция и в дни собственно революции способна отрицать ее свирепость, подлость и бесчеловечность, полуоправдывая отдельные — все-таки неприятные, но что ж поделать? — «эксцессы» (все это мы многожды увидим в «Марте Семнадцатого»), то в отношении, хоть и обманчиво, «спокойном» октябре 1916 года еще легче не видеть того ужаса, который несет восстание городской массы — разозленной войной, растравленной агитацией, чутко улавливающей и тут же переиначивающей на свой салтык веяния, господствующие в «цензовых кругах». Его и не видят гости и хозяева квартиры на Большой Монетной. Не только иронично обрисованные типовые персонажи, но и наделенные человеческой неповторимостью самые лучшие на свете жены, которые смотрят на мир глазами своих супругов<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Еще одна версия семейного счастья представлена домом Смысловских, куда Воротынцевы приходят, дабы отвлечься от ворвавшегося в их жизнь разлада (узнавшая об измене мужа Алина не может провести вечер в своем «гнездышке»). Удивителен (слово то ли Воротынцева, то ли автора) состав дружного семейства, обретающегося, как положено хорошему московскому дворянству, в одном из арбатских переулков: «тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребенка, а — незамужняя сестра и, младше её, трое холостых, совсем не молодых братьев», но трое остальных (женатых) «приезживали гостить с внуками» (58). Здесь политические убеждения значат много меньше, чем профессиональная общность (артиллеристы и математики), музицирование, всякого рода увлечения (от кулинарии до фотографирования) и, разумеется, семейственная приязнь. Да, об общественных вопросах за столом говорят, явно левую курсистку принимают приветливо, но уже при первом появлении Алексея Смысловского (в Первом Уэле) сказано, что покойного тестя своего, генерала Малахова, подавившего в 1905 году московское восстание, он «очень уважал» (А-14: 21). Теперь же выясняется, что сын Алексея «и монархист, и националист (как вспомнившийся Смысловскому Нечволодов, «вояка — замечательный». — А. Н.), и недоволен отцом» (58), но почему-то это недовольство не кажется слишком горячим. Странная, обаятельно хаотичная, но счастливая семья Смысловских ненавязчиво сопоставлена с обаятельно правильной (и совершенно единой) семьей Шингарёвых.

В семейном единстве — счастье этих прекрасных (при всех заблуждениях!) женщин и их мужей. Счастье, которое скоро будет разрушено — во многом тщанием самих счастливых (что тоже сказано в «шингарёвских» главах), но пока — сущее и полновесное. Счастье, которого лишены тоже достойные, порядочные и умные люди — генерал Свечин и лидер октябристов Гучков. Свечин специально приезжает в столицу из Ставки, чтобы порвать с женой, с которой даже встречаться не стал. На разрыв «и дня много», — заявляет он Воротынцеву, который будет тянуть свои мучительные отношения (разъяснения, успокоивания, попытки перемолчать беду или спрятаться от неразрешимого), по крайней мере, полгода<sup>14</sup>. Правда, Свечин не меняет «шило на мыло» (бабу на бабу) — он запретил жене принимать Распутина, та не послушалась. Поскольку «женщина — или понимает с первого предупреждения или безнадёжна», вопрос исчерпан. «Написал записку, сложил вот этот че-

У «чужих» (кадетских интеллигентов) Воротынцев приметил живое и доброе (в самом Шингарёве, в славных девочках); у «своих» столкнулся с неожиданностями (офицеры подтрунивают над монархизмом и сочувствуют «общественности»). Следствием ознакомительно-делового визита и напряженно тревожного вечера (внутренний спор с собравшимися во время рассказа о войне, обманчивый сигнал о начале смуты) стала неодолимая и поднимающая дух любовь к Ольде; вечер, который должен был успокоить Алину (и вроде бы удался), только расправил ее душевную рану, после него она и сорвалась в Петроград — «посмотреть на твою красавицу-интриганку» (59). По-другому семейство Смысловских (круг Воротынцева) соотносено с окружением Алины. Предшествовавший отъезду Воротынцева в Петроград музыкальный вечер у Мумы лишен семейной теплоты, пропитан «политическими» сплетнями, аффектированно современен и претендует на изыск (11). Мы знаем, что Сусанна Корзнер замужем за известным адвокатом, что у них есть восемнадцатилетний сын, что у Корзнеров роскошная квартира, автомобиль, ложа в Большом театре, что здесь придерживаются левокадетских (если не еще более радикальных) взглядов, что Корзнер грозит «абсолютно безнадёжной» власти, которая ничего другого понять не может, кулаком (8), а Сусанна остро переживает «еврейский вопрос» и гордится своим народом (9), но о личных отношениях супругов не говорится ни слова — это «никакая» семья, хотя Сусанна упоена своим положением и поминает легенду о кольце Поликрата. Сопоставив дом Смысловских и близкий круг Алины, понимаешь, что расхождение Воротынцевых и до роковой встречи Георгия с Ольдой было достаточно серьезным. Более глубоко, чем казалось что-то смутно угадывающей Алине.

<sup>14</sup> Воротынцев прощается с женой на могилевском вокзале 5 мая 1917 года. Судя по некоторым намекам — навсегда. Но намеки эти сознательно затуманены автором. Нельзя понять, по воле ли Воротынцева расставание окажется окончательным, доведет ли дело до конца Алина (Георгий вспоминает ее слова: «Нам не жить» и соглашается: «она угадала») или за супругов все решит судьба, то есть бушующая вовсю революция. «Со всем, со всем нам придется расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной...

И может быть — скоро» (А-17: 173). В завершающей «Красное Колесо» главе Воротынцев, пытающийся с могилевского Вала разглядеть грядущее, Алину не вспоминает (А-17: 186).

моданчик (выше сказано: «настолько маленький, что <...> даже генерал мог нести его, не противореча уставу. — А. Н.), всё остальное — ей. <...> Сыновья — оба в кадетском. Дальше в училище пойдут» (38). Решимость, конечно, впечатляет, но какой же глубокой была пропасть меж мужем и женой, как же мало должен был ценить эту — даже по имени не названную — женщину, мать этих — тоже оставшихся безмянными — мальчиков Свечин, чтобы так резко обрубить концы? Экскурса в семейное прошлое нет, сам по себе склад характера «бешеного муллы» (как прозвали Свечина сослуживцы) ничего не объясняет (для гнева должны быть внутренние причины, тем более у человека, который отменно умеет нрав свой сдерживать). В том ли дело, что жена и прежде жила своей жизнью, а генерал ее, сжав зубы, терпел? Или, напротив, никогда не любил и рад поводу избавиться? Гадательность предыстории делает поступок Свечина еще более жутким. Персонаж, может быть, и считает, что ему теперь будет легче жить и служить царю с отечеством (хотя предстает нам мрачным и раздраженным, а не освободившимся) — читателю в это плохо верится. Какой-то надрыв произошел и со Свечиным. Возможно, его «упертость» в войну, его уверенность в том, что тыловые неурядицы — вздор, победа точно будет за нами, а тревоги Воротынцева о выдохшемся народе, корень которого подрублен (39), стоят не дороже кадетской антиправительственной истерии (да и выросли из старой обиды и закисания на румынском фронте), — обусловлены отсутствием душевного покоя и семейного тыла.

Во всяком случае, примерно так объясняется состояние Гучкова, встреча с которым Воротынцева (и читателя) прямо следует за ресторанным разговором генерала и полковника. Гучков как раз не может — прежде всего, в силу своего общественного статуса — порвать с «женщиной чужой души». «От постоянного семейного разорения — тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь». Из-за непереносимости жизни с женой под одной крышей рванул в Маньчжурию и «не оказался близ Столыпина в его последние загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она». И «в другие поры — веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное — когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим» (42). Взаимная неприязнь с женой, не отмененная даже смертью сына, давит Гучкова не меньше болезни, разогревает его ненависть к царице (что-то метафорическое тут мерцает; если у меня дурная жена, то и у царя — «ведьма»), прищипывает азарт заговорщика, у которого, в частности, из-за того же многолетнего семейного раздрая, сил больше нет. («Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость»). Потому и не осудил Гучков Воротынцева, который из-за дня рождения жены (впрочем, не только потому, но Гучков скрытых сомнений частично разагитированного Андозерской полковника не заметил) отказался задержаться в столице, хотя вообще-то обещал со-

действие в готовящемся дворцовом перевороте: «Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть — ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться». Сколько таких полудоговоренностей ни к чему не привели? В скольких случаях именно из-за «личных» обстоятельств потенциальных переворотчиков, спешащих упредить (и тем остановить) революцию? Да и самому «главному заговорщику» Воротынцев нужен прямо сейчас, потому что «до Кавказского фронта ему ещё надо было в Кисловодске — лечиться» (действительно — надо, действительно — болен). Так и сложилось: «Толк о заговоре (по всей России. — А. Н.) был — год, а заговора — не было» (42)<sup>15</sup>.

Выходит, прав резко решивший семейный вопрос Свечин? Не выходит. То есть лично Свечину, может быть, полегчает (здесь, как и во многих других случаях, Солженицын не ставит точки над *i*, заставляя читателя колебаться меж «мерцающими» версиями), но оснований для вывода о целительности бесповоротного разрыва, который, дескать, обязательно позволит человеку внутренне распрямиться, «Октябрь Шестнадцатого» не дает. Простых решений в сердечных делах нет и не может быть, хотя люди о том предпочитают не думать. Воротынцев искренне изумляется, услышав от Андозерской суждение, перекликающееся с раздумьями Варсонофьева о смысле жизни (29):

«На земле нет задачи трудней, чем задача личного чувства <...> в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно больше, чем в государственных.

— Что-о-о?..

Ну, сморозила!»

Полковник просто еще не понял, какой груз на него уже обрушился. Скоро уразумеет. Но он-то не профессиональный политик, а потому судит о делах политических вчуже. Меж тем люди, всю жизнь свою подчинившие борьбе за власть и на том загубившие душу, тоже мучаются по неподобающим «личным» причинам. Страдает без Сашеньки Коллонтай Шляпников, которого она и сделала пламенным революционером

---

<sup>15</sup> Мотивы болезни Гучкова, семейного разлада, толкающего его на резкие действия, и необдуманности заговора будут развернуты в Третьем Узле. В самый канун событий оставшийся один дома Гучков вспоминает о своей упущенной любви — к великой актрисе Вере Комиссаржевской (Гучков любил ее, но «...велеть — “иди за мной!” — никогда не мог. Не смел» — слишком уважал творческую личность, идущую своей дорогой). Она и сосватала Гучкову (понимая, что у него тоже великий путь, движению по которому решающая свои задачи женщина только помешает) любимую подругу Машу Зилоти, ставшую крестом Александра Ивановича (М-17: 39). Вымогать у царя отречение Гучков бросается еще и потому (конечно, это не единственная причина!), что нет сил переносить мрачную жену (М-17: 326). Уже в вагоне, обсуждая предстоящее нешуточное дело с Шульгиным, он спохватывается, что, год намереваясь добиться отречения, не выяснил, что говорится о том в «династических правилах», не задумался о прецедентах, не выстроил в уме самой процедуры (М-17: 326). О нездоровье Гучкова постоянно говорится и в «Марте...», и в «Апреле...».

(63). Тоска Шляпникова по все пребывающей за границей Сашеньке (а ведь революция началась — приехать можно) продолжится в «Марте Семнадцатого». Там же — к исходу Узла — возникнет въяве эта сексуал-революционерка (вовсе не намеренная длить отношения с околдованным ею партийцем из рабочих). Задним числом понимаешь, что отсвет Коллонтай уже в «Октябре...» окрасил ряд женских персонажей. Тех, что так или иначе хотят направлять, «огранять» и подчинять мужчин. Желание это присуще столь разным женщинам, как императрица, постоянно наставляющая Государя, Андозерская, не только влекущаяся к Воротынцеву, но и не без любопытства пробующая на нем свои чары (полковник для нее — «камень весомый, но не изошедший падений. Камень нерасщеплённый, но и не обработанный» — 25), Ирина Томчак (стесненно, но руководящая мужем), Инесса Арманд (как и Коллонтай, теоретик «свободной любви»), жестоко играющая с Лениным. В несколько ином плане возникают ассоциации с женщинами, ищущими «своего» пути, — будь то Ликоня (в «Августе...» и «Октябре...»), но не в «Марте...» и «Апреле...»!) и даже Алина Воротынцева с ее — уже в начале Второго Узла обнаружившимся — стремлением к самоутверждению (8, 11). Все они — при различии социальных статусов, убеждений, характеров, истинных целей, типов отношения к мужьям или любовникам, будущих судеб — существуют «после «Анны Карениной». Потому так много разъясняет в случившемся с ними (и не только с ними) выход Коллонтай на сцену. «Мартовская» глава о ней начинается словами «В мире выковалась Новая Женщина...», а заканчивается репликой арестованной издательницы «Русского знамени» Полубяриновой, посмотреть на которую (дабы ощутить свое торжество над «женщиной из враждебного класса») направляется большевичка: «Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?» (М-17: 632).

Страдает от любви даже лишенный остальных человеческих свойств сидящий в Цюрихе нестигаемый вождь крохотной, но самой радикальной российской партии. «Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь — не мог, здесь — не было высоты. Он мог только скрывать за шутками смущение. Просить». Он сумел на семь лет наладить «тройственный союз»: Надя (извращенный и несчастный вариант Нуси Ободовской) — для домашнего комфорта и сбережения нервов, Инесса — мотовка, причудница, своевольница — для иного. Идеальная партийная жена притерпелась к «жизни втроем», в письмах свекрови тактично о происходящем утаивала, с подружкой мужа сердечно сошлась (или умно притворилась). Из игры вышла Инесса — даром, что ли, развивала она теорию свободной любви, с партийной точки зрения, весьма сомнительную? «Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда». Еще бы! «В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!» (Европа охвачена настоящей войной, которую Ленин хочет превратить в гражданскую. Упоенно проектируется будущая революция в Швейцарии. Тем отратительнее и циничнее звучит стертая метафора: «бой — политический спор». Скоро Ленин при-



ступит к ее реализации.) Автор не объясняет, что же именно случилось (если случилось) в Кинтале — просто наскучила Арманд связь с Лениным, дразнит она любовника ради самого процесса или сошлась с кем-то другим. Колебание версий не отменяет смыслового ядра — Инесса жестоко мучает Ленина. И отчаяние, которое набирает силу в сознании Ленина с утра 25 октября (день, как и в «воротынцевско-свечинской» главе прямо назван, причем и будущим «советско-праздничным» именем: «Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября» — 43), отчаяние, которое мешает Ленину работать в библиотеке и заставляет «заморенно-заморенно» сказать Крупской: «Кончится война — уедем в Америку» и добавить: «Царь — с кадетами сговорится. И будет пошлое, нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет» (44), отчаяние, которое развеивает фантасмагорический соблазн Парвуса и заставляет самому себе признаться, что нет у него ничего в России, то есть нет сильной и боеспособной партии (50), — отчаяние это вырастает не только из анализа «объективной политической реальности». (Тут-то Ленин как раз промахнулся, именно потому, что «практик» этот судил обо всем «теоретически» и недооценивал как безумия ненавистных ему «верхов», так и усталости измолоченного войной народа.) Но и из уязвленности брошенного возлюбленной человека.

Другое дело, что Ленин устроен иначе, чем все прочие люди. Ни иррациональное (любовь к Инессе), ни рациональное (собственное знание о состоянии большевистских дел в России, собственный анализ политической ситуации) над ним до конца не властны. Он ждет, «чтобы какая-нибудь материальная волна перекинула бы его челночек — в уже сделанное». И дождется — революция в Россию уже пришла, хотя будущий диктатор этого не чувствует, а, собравши волю в кулак (убедив себя, что он умнее и дальновиднее Парвуса, одолев тоску по Инессе), утешается надеждой на революцию в Швейцарии. «И отсюда зажжётся — всеевропейская!» (50). Цюрихская сплотка кончается этим одновременно комическим (все будет не так), трагическим (этот близорукий, себялюбивый и озлобленный на весь мир доктринер станет хозяином России) и победительным — в плане персонажа — выкриком (пусть и про себя произнесенным). Но вовсе забыть утреннее состояние вызывающе к Инессе Ленина тоже невозможно.

Так обстоит дело с людьми зрелыми, уже вкусившими любви (и не любви). Меньше во Втором Узле говорится о молодых, о тех, кто подобно персонажам, появившимся в «обуховских» главах (Вероня, Кеша, Матвей), стоит на пороге любви, ее ждет и ищет. (Связано это с доминированием в «Октябре...» «воротынцевской» линии. Напомним сказанное уже в статье об «Августе Четырнадцатого»: именно на сорока-пятидесятилетних людей в любую эпоху ложится главная историческая ответственность; поколения Гучкова и Воротынцева не смогли остановить революцию.) Говорится о молодых меньше, но вовсе они не обойдены. Предвкусная встреча с другом, Саня Лаженицын думает: «Кажется, дороже, чем повидать бы любимую женщину. (Бы любимую, нет её

ни у тебя, ни у меня...)» (55). Нет, потому что идет война, и вчерашние студенты стали боевыми офицерами. Нет, но должна появиться. И появится — в Четвёртом узле произойдет судьбоносная встреча Сани с Ксеньей (А-17: 91). В «Октябре...» Ксенья значимо отсутствует («нет её») — появляется она только в мыслях Захара Томчака, строящего от-носительно дочери «старозаветные» и несбыточные планы: «Уступил он невестке Ксенью, алз на тот год кончит и Ксенья, тут её и замуж скру-тить. Да за двадцать лет вырастить внука, якого трэба. О тогда и Жития Святых читать» (60).

Зато возникает Ликоня, случайно увиденная Воротынцевым при входе в ресторан и словно бы немотивированно притягивающая его внимание. Воротынцеву, разумеется, не ведомо ни то, что в эту девушку влюблен Ленартович (А-14: 33), которого он выводил из окружения в Восточной Пруссии (А-14: 47, 50, 55), ни то, что Ликоня — бестужевская курсистка, знающая Андозерскую, прямо с ней сопоставленная («Андозерская — совсем невысокая, а если выше Ликони, то из-за высокого накрута волос») и по-своему очарованная женщиной-профессором: «Мне очень понравилась. Особенно голос. Как будто арию ведёт. Такую сложную, мелодию не различишь», хотя смысл высокой речи Ольды Орестовны Ликоня «пропустила» (А-14: 75). Какой тут «смысл», если есть тайное родство двух женщин. Его-то бессознательно ощутил Воротынцев (и он ведь заслушался «сирены» у Шингарёва, а на следующее утро для него «мелодичный голос» Ольды «оказался в телефоне и вовсе пением нежным» — 27). «И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? — но что-то восторженное от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оканчивается, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как частица всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый безкорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...» (38). Мысль не доведена до конца, синтаксическая конструкция изломана и оборвана. Воротынцев почти подумал о Ликоне дурно. Вся тыловая декадентско-жюльническая атмосфера ресторана («Такие барышни разве ходили сюда раньше? Куба ведь был для деловых встреч? — Вернемся — многого не узнаем, — мрачно отозвался Свечин»), где расслабляются изысканные юноши (почему они не в окопах?) и обмывают гешефты «непойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме или кокаине», где подожжённое официантами трехцветное (как национальный флаг) колесо становится (просчет пиротехников) красным и пылает, как мельница в Уздау (38; ср. А-14: 25), настраивает на эту волну. Но злое слово не произносится Воротынцевым — он почуял (и верно) «ольдин» дух. Стиль, что царит в квартире Андозерской (репродукция врубелевского Пана и не детям предназначенные «народные» игрушки — 28), в ее пристрастиях (декадентские стихи, Скрябин и экзальтированная преданность монархии),

ее поведении (внешняя строгость и свободный взгляд на отношения мужчины и женщины: «... по одному тому, как Ольга, когда он брал её на руки, всегда отыгранным ловким движением в точный момент отталкивалась от пола, можно было догадаться, что она прыгала так не с первым с ним <...> Он наслаждённо вверялся её опытности, а если кто-то помог этой опытности создаться, то и спасибо» — 29), ее жизненных приоритетах (полупрезрение к «мужниным женам», вроде Ободовской, и скромным девушкам, вроде Веры — 25; бездетность и равнодушные к детям при «детской захваченности» птенчиками и животными, вера в астрологию, гадания и приметы — 29), — стиль этот называется «модерном». Как и стиль возникающей в ресторане девушки (да и — в сниженной версии — самого преобразившегося за годы войны ресторана). И в любовной сцене «скачки» Ольды с Воротынцевым, и в ресторанном эпизоде (единственное появление Ликони в «Октябре...») слышны приглушенные, сдвинутые отзвуки модернистской поэзии, прежде всего — Блока. Но у блоковской Незнакомки, которую напоминает Ликоня (не Воротынцеву, скорее всего, Блока не читавшего, а нам), есть другая — русская и светлая — ипостась. Такой (поверившей в спасителя-жениха и напрасно его ждущей) Ликоня предстанет в череде очень коротких (похожих на стихотворения в прозе) глав, пунктир которых проходит сквозь революционную хронику Третьего и Четвертого Узлов.

Саня смутно надеется на любовь (и будет вознагражден). Ликоня сомнамбулически любовь (и саму себя) ищет (в Первом Узле она отвечает на вопросы надоедливых тётушек подруги о «задачах» и «цели» одним словом: «Жить» — А-14: 59). Вера Воротынцева от любви отказывается, ибо любовь (в которой Вера пока не хочет признаться даже себе самой) может осуществиться только в том случае, если будет обижена другая (к тому же слабая) женщина. Решится все в следующих Узлах (М-17: 35, 556; А-17: 2), но обозначено уже в «Октябре...». Вера знает, как трудно ее избраннику (сперва он назван лишь по имени-отчеству, позднее мы поймем, что это инженер Дмитриев):

«Его силы никогда не могли проявиться во всю полноту — и видно же отчего: от женитьбы (связи), как железной сетки, накинутой на него.

Смонакинутой. Такой крупный, здоровый, естественный человек — и полубезумная эфироманка. Ещё и с девочкой от кого-то. И — любит?... И любит.

Как судить, сама не перейдя порога?..

А перейдя — уже будет поздно.

Но пока видишь таких, как брат или Михаил Дмитрич, нельзя не верить, что и других же таких по земле засеяно. И как можно «лишь бы», «а, как-нибудь!» — отдать свою жизнь? В один раз — навсегда? Не настоющему? <...> «Лишь бы» — это последнее малодушие. <...> Лучшая судьба женщины — тихо работать для тех, кто ведёт. <...> И даже с братом черта: об этом — никогда вслух» (18).

Вера заставляет себя считать, что Дмитриев любит свою «эфироманку». Приравнивание Михаила Дмитрича к брату (то есть для Веры лучшему из людей) свидетельствует о том, что в душе она выбор сделала, а надежда на встречу с кем-то еще «таким же» — самообман. Как и признание «работы для других» «лучшей судьбой женщины». (Мыслям о Дмитриеве предшествует восхищение Веры семейной жизнью Шингарёвых. Значит, не только служению отвлеченным «другим» можно себя отдать. Значит, семья и дети для Веры — высокая ценность.)

Неожиданная весть о том, что Дмитриев зайдет к Шингарёвым, проявляет Верины чувства. «Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным» (23) — и это связано не только с намечающимся романом Воротынцева и Андозерской, которую Вера раздражает («А сегодня лучшее, что могла эта девица сделать, — не так тревожно мелькать бы и не так пристально всматриваться, как будто она не сестра этого полковника, а жена» — 25). Чутьем влюбленной женщины Вера распознает, что происходит с братом раньше, чем он сам. После телефонного звонка Дмитриева «ударило алым по лицу Веры. (Андозерская не видела её — а видела.)» (25) — понимая, впрочем, лишь одну грань Вериного состояния. Когда Вера, как мы знаем, не любящая Алины, считающая женитьбу брата оплошной (18), пытается без слов его предостеречь, она борется и со своей страстью (которую по мужскому эгоцентризму Воротынцев не заметил). Когда она, опередив жадных до вестей о начавшейся революции дам, успеет открыть Дмитриеву, станет ясно, что и для него библиограф из Публички важнее всех исторических катаклизмов.

«Вы??

Что он там принёс — лицо его не пылало, не кричало, не раздиралось, длинноватое крупно-упрощённое лицо. А увидел Веру — удивился: — Здесь?

И сняв кепку с гладких тёмных волос на пробор, приподнял узкую белую руку, открывшую ему.

Поцеловал.

Но дальше сразу много нахлынуло дам» (26).

Ничего напрямую не сказано, но понятно все<sup>16</sup>.

Анализируя многообразные любовно-семейные сюжеты «Октябрь...», я не всякий раз указывал на возникающие переключки ситуаций. Они, как правило, либо не замечаются героями (так Воротынцев не вспоминает историю Ковынёва и Зины и свое опрометчивое суждение о «простом вопросе» женитьбы), либо просто им неведомы (так Вера

<sup>16</sup> В связи с Верой подробно разрабатывается мотив тихого разлада Воротынцевых-родителей в старости, бегло упомянутый в Первом Узле: «...что же это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол — но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредотачиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? — вероятно, им двоим очень заметно, но не названо» (18; ср. А-14: 13). Трудно дается любовь этой семье.

Воротынцева не может соотнести домашнюю ситуацию Дмитриева с историей, которую выслушал в поезде ее брат). Иные «смысловые рифмы» ускользают даже от очень внимательного читателя, но то, что все «романные» сюжеты (и сама их сгущенность) так или иначе соотносятся с повествованием о главном любовном треугольнике (Воротынцев — Алина — Ольга), заставляют расслышать его «обертоны», открывают в «банальном случае» сложность и глубину, указывают на закономерность неожиданного (для Воротынцева) происшествия, вряд ли может быть кем-либо проигнорировано. Есть. Однако, семья, домашние коллизии которой актуальны не только для всех читателей, но и практически для всех персонажей Второго Узла. Здесь снова уместно вспомнить Толстого. Пробраз второй (памятной не хуже, чем первая — о счастливых и несчастных семьях) фразы «Анны Карениной» возник в романе о Петре I, над которым Толстой работал перед тем, как полностью отдаться истории о неверной жене (и переворотившейся России) — «Всё смешалось в царской семье». Толстой не смог бы (даже если бы того хотел) ввести в свою «семейную энциклопедию» (одновременно книгу о русском пореформенном разброде и возможных путях его преодоления) царскую линию («Анна Каренина» писалась для печати). Солженицын не мог повествовать о последней поре Российской империи, обходя домашние проблемы царской семьи.

О том, что во дворце неладно, говорят буквально все. Окопные толки (до того простодушные, что уже словно бы и не похабные) отзываются в реплике Чернеги, которому надо не столько о «высших сферах» поболтать, сколько еще раз поддеть целомудренного Лаженицына (в том и ужас, что брех автоматичен): «А думаешь, Григорий чем возвысился? Да слухала б она его иначе? Давно б уже в Сибирь шибанула. <...> Бабе чуть послабься — сразу она брыкается» (3). Слухи о Распутине смакуются на вечере у Мумы, и здесь рядом с «Целует всех женщин даже при мужьях...» и «Говорили: ему позволяют купать великих княжён» звучит: «А царь разводится с царицей из-за Распутина» (13). Много поездивший по России Ковынёв рассказывает Воротынцеву: «И честят министров и, простите, августейших особ — просто последними словами. Потом еще этот Распутин: да, мол, простой мужик у себя в доме такого похабства бы не потерпел, как терпит Сам...» (14). Сказки про царицыну измену, которая за целебные германские травы передает наши военные планы врагу через Распутника и состоящего при нем жидка Рувима Штейна (Рубинштейна), владеющего «невидимым» конем, звучат в обуховской литейке (32). Свечин рвет с женой из-за того, что она (как и другие столичные дамы) оказалась в окружении Распутина (38) — значит, и этого слугу государства до мозга костей (он и большевикам станет служить в надежде на «крепкую державу») корбит непотребство (и не считает его генерал выдумкой). Оба Благодарёвы (и, видимо, другие мужики) сердиты на Гришку: «Вот так на нашего брата надейся. Пустя мужика наверх — захленётся тут же, своих забудет, и хуже всякого барина станет. Что ж, до такой выси добраться, саму, может, и царицу покрыв, — и за мужика не заступиться?» (46).

Когда Воротынцев говорит Нечволодову почти то же, что услышал от Ковынёва («А возиться трону с Распутиным — это не помутнение? Разве может Государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью?»), генерал возмущается: «Вся распутинская легенда раздута врагами монархии» (68). Разумеется, газеты гонятся за сенсациями, в народном сознании слухи трансформируются, прирастают чертами то сказки, то анекдота, эксплуатируют «выигрышные» сюжеты в своих целях политические партии (в том числе большевики; ходко идут в Питере изготовленные зятем Шляпникова карточки «Распутин и царица», «Распутин и Вырубова», позоря власть, а заодно пополняя партийную кассу — 63), великие князья своекорыстно интригуют... Но солдаты, мужики, старые рабочие, офицеры (вроде Свечина и Воротынцева), чьи голоса мы слышим, вовсе не противники существующего порядка. И не патологически внушаемые идиоты. Бывает, что дым сплетни вьется совсем без огня, но здесь все же не тот случай. Порукой тому — голос императрицы, истово верящей «святому человеку» и столь же истово ненавидящей его противников, внимающей любым распутинским советам и почитающей врагами царя и отчества тех, кто неприязненно (или равнодушно) относится к «старцу». Ни разврата, ни измены, ни даже германофильства во дворце, конечно, нет, но встающая из внутренних монологов Александры Федоровны картина (64, 72) свидетельствуют о том, что всеобщее раздражение возникло совсем не на пустом месте. Сам Государь ощущает «чрезмерность» Распутина, слишком часто и ретиво встречающего в большую политику, слишком сильно давящего на монарха, да и действующего иногда не по установленным законам (69). Император воспринимает Григория иначе, чем жена (с уважением и приязнью, но без иступленного восторга), смутно ощущает, что недовольству Распутиным есть причины, но не хочет и не может огорчать императрицу. Он привык руководствоваться советами жены, он высоко ценит ее ум и волю, он знает, что Аликс почти всегда права — и «немного» угнетен ее всегдашней правотой. Он понимает, что большинство значимых назначений произошло не по его воле. Его раздражает необходимость постоянно отменять недавно принятые решения. Он знает, что военные планы должны оставаться в строжайшем секрете (царица настоятельно требует точных сведений, ибо Распутин в день наступления сможет молиться «особо истово»). Но, любя жену, Государь приглушает эти мысли, подчиняется ее наставлениям-просьбам, делает не совсем то, что почитает должным (а ему и без того трудно принимать окончательные решения), — и вновь чувствует раздражение от ласковой и гнетущей опеки. «Уезжал в Ставку или провожал её из Ставки — и испытывал муку от разлуки и одновременно — облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. (Чувство, присущее длинному ряду персонажей «Красного Колеса» — не обязательно военным. Едва ли не общемужское чувство. — А. Н.) Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорять сроки, чем приезду ближе — тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк...» (69).

Сходно двоится и чувство императрицы, нежно и преданно любящей мужа, всей душой желающей ему (и России) добра, но удрученной мягкостью и уклончивостью Государя (все не становится Петром Великим, Иоанном Грозным!), его недостаточной верой в «святого человека», тем, что муж не может защитить должным образом жену от враждебно настроенной «большой» семьи (вдовствующей императрицы, многих великих князей), мерзкого светского общества, думских болтунов, ставшего личным врагом царицы Гучкова. Гадая об участи дочерей, государыня задается вопросом: «дано ли им будет найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытывала с ангелом Ники уже 22 года?» (64). Императрица не лукавит. Николай и Александра — замечательная семейная пара. Они не могут долго оставаться порознь, они взаимно трогательно заботливы, они разумно воспитывают дочерей, они мужественно несут крест тяжелой болезни сына — вместе им действительно хорошо. И они, сами-то не всегда замечая, мучают друг друга. Попутно губя страну. Слишком уверена в себе и высоте своего духа «правильная» во всем Александра Федоровна, постоянно предъявляющая миру сверхстрогие требования, живущая сказочно идеальными представлениями, не желающая снизойти до пестрой и сложной реальности. Слишком мягок (и внутренне обидчив) Государь, которому порядочность достойного офицера и теплота человеческих (прежде всего, семейных) чувств заменяют широту взгляда на события, умение слышать «гул времени» и подлинную ответственность. Их недостатки (более чем извинительные, будь то просто полковник Романов с женой, а не венценосцы) не погашают, но взаимно «обогащают» друг друга. Так почти идеальная семья оказывается семьей больной, с женой — «ведьмой», мужем — «подкаблучником», друзьями дома — корыстными и нечистоплотными манипуляторами (слухи о Распутине гиперболжны, а о Вырубовой — по большей части просто лживы, но в домашнее настроение царской семьи «святой человек» и доверенная подруга внесли весомую лепту, и это не осталось закрытым домашним сюжетом). Огонек тлеет, а охотников раздувать зловонный дым (для своих надобностей или по душевной пошлости, ликующей от обнаружения любых изъянов у крупных либо облеченных властью людей) всегда хватает. В пору общественных бедствий — особенно.

Будь в царском доме порядок, не ветвились бы сплетни (а если бы все же появлялись, пресечь их было бы проще), не сплеталась бы правда с полуправдой и заведомой ложью, не плавал бы в воздухе жутковатый фантом — «немецкое засилье», «разврат», «взятки», «бездарные назначения», «мракобесие», «безволие», «сепаратный мир», «измена»... Не будь реальных двусмысленностей и оплошностей и разогретой ими общественной — близкой к сладострастию — жажды «разоблачений», не смог бы Милюков бросить с думской трибуны обвинение трону в измене. И Радек, чья «игровая» провокационная статейка была использована лидером кадетов как сокрушительное свидетельство, изобретал бы в своем швейцарском далеке какие-нибудь другие байки. Придумка

эмигранта-революционера и обличительная тирада кадетского вождя были плодами не их личных «творческих» усилий, но общественного настроения, не отделимого от настроения в царской семье. Не трон поплыл из-за того, что Милоков произнес публично то, о чем в голос толковали в избах, цехах, окопах, редакциях и салонах, а Милокова понесло, потому что трон поплыл. Уже давно.

Формально рассуждая, следует признать: громокипящее обличение Милокова и октябрьские забастовки в Петрограде (которых почти не заметили занятые любовью Ольда и Воротынцев) не стали детонаторами явной революции. Она, уже пришедшая, помедлила назваться собой и раскатиться сперва по столице, а там и по России еще четыре месяца. В «Октябре...» царит затишье. Кажется, что ничего не происходит. Очень многих персонажей можно охарактеризовать той пословицей, которая следует за двумя первыми главами, посвященными изматывающей, но привычной, словно бы всегда идущей войне: «СЖИЛСЯ С БЕДОЮ, КАК СО СВОЕЙ ГОЛОВОЮ» (2). «Сжились» те, кому, как Сане Лаженицыну, пока, в общем, везет. Те, кто пока не прошел сквозь нечто, подобное Скроботовскому бою, после которого стал совсем другим Костя. «Так и разделилась европейская всемирная война: до этого полу-дня и после этого полу-дня. После — начиналось только сейчас». Для кого-то оно началось раньше, кому-то еще предстоит. Прошедший ад Костя втолковывает другу: «Сами мы с тобой дураки. Какой леший нас добровольно тянул на войну в первые же дни? <...> Вот это и обидней всего: сами полезли». И в ответ на Санин пересказ статьи Трубецкого о возможности Царства Божьего на земле и рожденные ею соображения друга: «Бросай ты, Санька, все эти бредни, какое ещё Царствие Божье? Можно было об этом лепетать в студенчестве, пока мы были щенками и войны не видели. А теперь третий год вся Европа друг друга месит в крови и мясе, травит газами, плюёт огнём, — неужели похоже на приближение Царства Божьего? Смотри, н а с ухлопают раньше, нас с тобой!» (55). Даже минуй Россия чудом революцию, получили бы мы то, что на Западе называется «потерянным поколением». (Видимо, не случайно «лаженицынский» зачин «Октября...» подчинен той смысловой мелодии, что звучит в названии романа Ремарка — «На западном фронте ничего нового». Как не случайно и то, что открывается Узел именно военными главами. Тут и напоминание об «Августе Четырнадцатого», то есть о «начале конца», и предвестье воротынцевского броска в Петроград: перед тем, как говорить о воротынцевском понимании войны, должно показать саму «обычную» войну — и без Воротынцева, ибо все не из-за особо неприятного положения дел на румынском фронте понял умный полковник, что спасти Россию может только мир.) По ходу войны изменяется сам «состав» всего народа, что может привести к изменению всей русской жизни, — начала этим жутким метаморфозам незаметно кладутся при «старом режиме». Потому-то, а не просто из-за засилья «левых» и бездарности-безвольности «правых», революция уже пришла. Потому-то так трудно ее остановить. Но, повторюсь,



и не случись катастрофа, выкарабкиваться из-под войны, изживать ее дух, залечивать раны было бы очень трудно.

Вынужденная «сродненность» с тягучей войной сопровождается противонаправленными, но сосуществующими чувствами. С одной стороны, война кажется едва ли не нормой (и это ощущение деформирует человеческие души). С другой, набирают силу страх гибели и жажда жизни (отсюда — при общей установке на победу — скрытое желание хоть как-то да покончить с этой бедой, иногда бессознательная воля к «замирению»). С третьей, растёт недовольство происходящим (вина может возлагаться на верховную власть, дурных генералов, изменников, союзников, масонов, черносотенцев, «городских», спекулянтов и т. д.), предполагающее, что когда-нибудь виновникам воздастся, а послевоенная жизнь (которая возникнет неведомым образом) устроится совсем иначе — и тут уж «мы» своего не упустим. А раз все должно когда-нибудь измениться, то почему бы не приступить к делу сейчас? Почему бы не выправить несправедливости, не дожидаясь конца войны?

К примеру, город обдирает деревню — значит, надо ответить городу тем же. Григорий Плужников судит о сложившемся положении дел весьма здраво. И проекты его не назовешь легковесными или несправедливыми. Ну, а настоящую, не метафорическую, войну деревни и города (к которой планы Плужникова подводят вплотную) мы как-нибудь да минуем. Испугаются власти, опомнятся — все встанет по должным местам, крестьянина наконец признают главным человеком. Но, внимательно выслушав Плужникова и не вступив с ним в спор, старый Елисей Благодарёв говорит сыну: «Нужный мужик. Однако, Сенька, вот замечай: в которой посудине дёготь бывал — уже и огнём не выжжешь» (46). Какое дело Елисею до революционного прошлого Плужникова, давно отставшего от прежних товарищей, заслужившего уважение хозяйственных мужиков и обстоятельно рассуждающего о том, что волнует и его гостей (цены, торговля, вмешательство государства в крестьянскую жизнь, сословная неправда)? Елисей ведь не профессиональный моралист. Будь он согласен с Плужниковым до конца, не вспомнил бы обидную пословицу. Значит, старший Благодарёв расслышал в апологии крестьянского свободного мира какую-то неправду. И понятно какую — ту, что бросит летом 1917 года мужиков на захват чужой земли, создаст иллюзию торжества землероба и поможет укрепиться новой власти, куда более свирепой и ненасытной, чем старая. Против этой треклятой власти придется поднимать мужицкое восстание, одним из вождей которого совершенно логично окажется Плужников. Война деревни и города примет самое зверское обличье. Ну а пойдя русская история иначе, была ли бы эта война лучше? Да и успешнее для крестьянства?

В отличие от Плужникова, Роман Томчак у автора и читателей никаких симпатий не вызывает. Программа действий, изложенная в его докладе, надиктована корыстолюбием. Но ведь не им одним. Разве нет в соображениях Романа резонов? Разве должны настоящие хозяева ра-

зоряться? Разве и здесь не всплывает проклятая проблема города, который хочет все «надармачка»? Если б Роман говорил только неправду, если б не шла в других главах «Октября...» речь о бездарности продовольственной, торговой, заготовительной политики, если б нападки на аграриев не были так агрессивны и демагогичны, если б в городах поменьше бастовали, если б сочувственно слушали доклад Романа карикатурные «эксплуататоры» из советских учебников, а не люди, своим горбом достигшие богатства и много лет кормившие Россию, — тогда и толковать было бы не о чем. Но все ведь обстоит иначе: и Роман не дурак, и слушают его не дураки. А старый Захар Томчак, цену труда и деньгам знающий не хуже прочих, все же решительно отменяет экономические расчеты говорливого сына простыми вопросами: «...як же вона («вийна набрыдлая». — А. Н.) кинчыця, хто б мэні насампэрэд сказаў? Нэ прыйдзе ли Герман до Армавира?... Як мы ось зараз сговорюемся та хлеба нэ посиємо (чтоб наказать власть и город, чтоб взять на другом барыш. — А. Н.) — то шо наша армия будэ на той год у рот пхаты?» (61).

Старики Благодарёв и Томчак инстинктивно ощущают, что в российском организме все связано со всем, что утверждение одной «правды» (или обогащение одной социальной группы) происходит за счет ущемления и принижения другой, а это не может не вести к надрыву целого. Особенно в военное лихолетье, когда силы страны и так каждодневно убывают. Они готовы и дальше терпеть беду, не только потому, что помнят о Боге, но и потому что с основанием боятся накликать худшую. Но таких людей всегда мало, и не им дано влиять на ход истории. Они будут жить «по старине» (что для них значит — по совести) до тех пор, пока чудовищная «новизна» не вломится в их дома.

Порядочный человек обычно убежден, что если он честно, грамотно и с полной самоотдачей выполняет свою работу (а заодно чужую, которую на него рады навалить и которую он тут же начинает считать своей), то и общее дело так или иначе наладится. Идет война, значит, Томчак должен растить хлеб, Ободовский и Дмитриев обеспечивать производство траншейной пушки, Свечин планировать боевые операции, а Саня Лаженицын овладевать навыками боевого офицера, выполнять приказы, сберегать и обучать солдат. Что они (и подобные им люди) и делают. Таких людей в России не так уж мало (всего обиднее, когда они оказываются не на своем месте, как описанный с явной симпатией большевик-рабочий Шляпников, вся глава о котором криком кричит: он мог бы стать совсем другим человеком, не только отличным мастером — каким несмотря на партийность остался! — но и полезнейшим работником в широком смысле — 63). Они трудятся не покладая рук. Страна по-прежнему богата. Военное производство налаживается. Крестьяне собирают урожаи, которым завидуют другие воюющие державы. Кажется, стоит еще чуть-чуть потерпеть да поднапрячься, и все само собой образуется. Но почему-то результаты скуднее, чем предполагалось. Почему-то личные усилия работников оказываются недостаточными и не суммируются. Почему-то вместо победы, в которой совершенно

уверен не склонный к шапкозакидательству и хорошо знающий реальное положение дел Свечин, Россию настигает революция. Ибо военные годы ничему не научили ни власть, ни общество (потому так важны обзорные главы 19' и 62'), а изрядную часть молчаливого большинства либо выбили, либо развратили.

Умные политики из разных лагерей угадывают приближение революции и понимают, что подобный разворот событий во время войны — тот еще подарок. Даже кадеты сейчас революцию не кличут — откладывают на после войны. Гучков — с одной стороны, московские монархисты, о проекте которых Нечволодов рассказывает Воротынцеву, — с другой, намереваются предотвратить катастрофу локальными переворотами (отрешив Государя от власти или, напротив, власть царя усилив, а Думу распустив). Неудачным течением войны озабочены все. Все более или менее вменяемые политические деятели видят тыловую неразбериху, расцвет мародерства и спекуляции, тяжелое положение городских низов, оскудение крестьянства, рост недовольства в низах. Да и гибнущих солдат тоже всем жалко. Обвиняют в происходящем друг друга и власть, что давно вошло в привычку. Но — и это еще страшнее — никто не хочет признать, что губят Россию не военные неудачи (которые вообще-то не так велики, которые — по грамотным расчетам — могут смениться успехами), а сама война. Сепаратного мира боятся чуть ли не больше, чем поражения. Измену видят именно в поисках мира (которых нет). И пожалуй, только в этом единодушны власть и общество, во всем остальном по-прежнему рвущиеся друг от друга.

Единственный, кто понимает, что войну надо кончать, что, даже выиграв ее, Россия проиграет свой народ, перестанет быть Россией, — полковник Воротынцев. Он многое угадал еще в дни самсоновской катастрофы. Выйдя из окружения, Воротынцев говорил Свечину не только о том, что война ведется бездарно (это Свечин и сам знает), но и о том, что она не нужна (А-14: 81). Потерпев поражение в «высших сферах» (тикетная попытка обратить внимание великого князя на суть случившегося, на причины гибели армии Самсонова — А-14: 82), Воротынцев «обрёк себя полку» (12), то есть стал одним из работников, чьи частные усилия должны (но не могут) обеспечить общий успех. И чем дольше воевал, видя, как уничтожаются солдаты, как не идут командованиям впрок тяжелые уроки первых поражений, как во имя загадочных политических (союзнических) соображений совершаются нелепые и губительные операции, тем больше убеждался: «не та война» (12). Не карьерная неудача, а нарастающая день ото дня уверенность в том, что совершена роковая ошибка, давит душу Воротынцева, заставляет его все больше погрязать в службе (надо же делать хоть что-то), готовит его разлад с женой (Алина не умеет понять драму мужа, а ему, привыкшему жену ласкать и щадить, да и не нуждавшемуся прежде в одиночестве и сочувствии, в голову не приходит Алине открыться). В «Октябре...» он, почувствовав, что тревожно уже не ему одному, что недовольно чуть ли не все общество, бросается в Петроград. Воротынцев надеется найти

единомышленника, только более умного, того, кто знает, что теперь должно делать, и даст полковнику надлежащую команду. Но такого человека в России нет. Все, до кого Воротынцев пытается донести свою боль (Шингарёв и его «кадетствующие» гости, Свечин, Гучков), боли этой почувствовать не могут.

Воротынцев производит сильное впечатление на Ольду, но как потенциальный рыцарь трона, а не как человек, убежденный в губительности войны и необходимости кончить ее как можно скорее. Страсть, на которую ушли петроградские дни Воротынцева, помешала ему вовремя встретиться с Гучковым. Монархистские монологи возлюбленной поколебали (но не отменили вовсе) неприязнь полковника к царю, недостойному своей миссии. Необходимость поспеть на день рождения жены, перед которой Воротынцев чувствует себя виноватым, тоже работает против вхождения полковника в гучковский заговор. Но двух женщин тут было бы мало: Гучков хочет добиться царского отречения... для того, чтобы дальше вести войну — до теперь (если все пройдет по плану) уж точно скорого победного конца. Как кадеты. Как Свечин, предлагающий Воротынцеву вернуться в Ставку, то есть на позиции 1914 года. Как сам Государь, и не помышляющий о сепаратном мире. Даже в плане монархистов, недоброжелательных к демократическим союзникам России, ничего не сказано о необходимости заключить мир. Когда Воротынцев говорит Нечволодову: «Центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчётливо кричали десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня?», рыцарственный защитник самодержавия (и всякого самодержца, и этого царя, который не в силах даже услышать своих верных слуг) уходит от ответа (68).

Война — неотменяема. Вопрос только в том, как ее вести дальше: по-прежнему (Свечин), укрепив венценосца (Нечволодов), сменив его другим (Гучков), введя «ответственное министерство» (кадеты). Ни одна из «стратегий» (кроме, быть может, свечинской, основанной на доверии к естественному порядку вещей, который, впрочем, давно стал противоестественным) не додумана до конца, не просчитана в деталях, не готова к осуществлению на практике. А революция — готова.

Отречение Государя, которое Гучков примет 2 марта 1917 года, — следствие не гучковского заговора, который должен был переиграть революцию и которого, по сути, не было, а самой революции. Заговор монархистов тоже должен был одолеть революцию, которая, по слову Нечволодова, «уже пришла», но все же может быть разгромлена, коли найдется триста «верных». Не нашлось. Штюрмер (а кто вернее? на остальных приближенных императора даже не надеялись) побоялся подать царю письмо защитников трона. Побоялся, потому что, как замечает Воротынцев, «самому пришлось бы клятву смерти давать» (68). Два заговора, в которые зовут Воротынцева уважаемые им и бесспорно достойные люди, одинаково фантомны и бессмысленны. Не нашлось в России настоящего государственника, готового жертвовать собой, наде-

ленного твердой волей и широким миропониманием (вот и вспоминает Воротынцев убитого Столыпина). Не нашлось политика, который расслышал бы в речах Воротынцева единое чувство молчаливой России, — *нужен мир*. Не нашлось ни среди бюрократов, ни среди общественных деятелей, ни среди генералов человека, который бы догадался, что времена заговоров, комплотов, комбинаций, закулисных интриг уходят в прошлое, что и раньше они не слишком сильно влияли на ход истории, а в XX веке — тем паче. Мы и сейчас принимаем эту мысль с великим трудом.

Революция в России произошла не потому, что Парвус стакнулся с германскими властями. Это «прозорливые» (на шаг вперед считающие — не дальше) германские политические игроки позволили Парвусу наживаться на «русском революционном проекте» потому, что почуяли: революция уже подготовлена (войной, давним разладом власти и общества, еще более давним отпадением «господ» от народа<sup>17</sup>), и ее роды стоит простимулировать. В фантастическом цюрихском диалоге (болезненной галлюцинации Ленина, после которой он, вроде бы загнанный в угол, вновь обретает пошатнувшуюся днем уверенность) каждый из монстров сохраняет верность себе. Парвус не сатана, вдохновляющий-соблазняющий антихриста, и не ночной гость Ивана Карамазова, предъявляющий измученному совестью герою его собственные мысли, но в самом гадком и пошлом виде. У Парвуса *свои мысли*. Ленин не зря задается вопросом, социалист ли его союзник-соперник, и верно решает: нет, не социалист. Грандиозные аферы, конструирование циничных и захватывающих планов, готовность действовать заодно с кем угодно, фанфаронское хвастовство (да кто же разберется, по чьей команде шли забастовки и была взорвана «Императрица Мария» — на то и смута, чтобы каждый мог приписать успех себе), даже аффектированная ненависть к России (без которой не уловишь германский Генштаб) — все это служит одной цели: обогащению. Конечно, Парвуса веселит и сам процесс, конечно, он авантюрист высшего класса, конечно, разваливать Россию ему приятно (и наверно, мстительное чувство к «бывшей родине» свою роль играет), но все это вторично. Первичны — деньги. Деньги, которые будут служить не мировой революции, а ему, Парвусу. Потому и нечего стыдиться ни собственного неведомыми путями обретенного богатства (как бы ни вертели носами чистоплюи, в итоге и их можно купить), ни связей с германскими политиками. Революция в России уже приносит солидные дивиденды, а принесет еще большие. Вот пусть Ленин, у которого есть железная партия и не менее железная воля к власти, ее и раскошегаривает (как Троцкий в 1905 году), а не киснет в скучном Цюрихе, где никакой революции не разожжешь и, стало быть, никак не обогатиться. (Стезя обычного «буржуя» Парвусу скучна и тесна.) Парвус

---

<sup>17</sup> Потому, рассказывая о «кадетских истоках», Солженицын находит должным напомнить и о Петре, и о церковном расколе (6).

действительно не социалист, а ...мошенник. Так самоаттестуется в «Бесах» Петруша Верховенский, тоже обещавший поджечь всю Россию в твердо установленные сроки и тоже превыше всего ставивший личный комфорт. Революция и Ленин нужны Парвусу как «орудия». Он соблазняет будущего председателя Совнаркома не для того, чтобы завладеть его душой, а потому, что без Ленина гешефт получается не таким масштабным, как хотелось бы.

А Ленин не желает служить кому-либо. Он понимает, что без денег революции не сделаешь, он готов их брать (только скрытно), но подчиняться никому не намерен. Его стремление к расколам принципиально — лидерство важнее всего, а вождем может и должен быть только он. Он убежден, что идея рано или поздно станет властью. Революция делается сама собой (пусть Парвус трудится в России, а швейцарские левые социалисты раскачивают свою игрушечную республику) — тогда придет он. Ничем не замаранный. Отвергающий любые компромиссы. Вооруженный самым передовым учением. Поговорка «ПО МНЕ ХОТЬ ПЁС, ЛИШЬ БЫ ЯЙЦА НЁС» (44) в равной мере может быть девизом Парвуса и Ленина, но Парвус, верящий только в деньги, произносит ее во весь голос, а Ленин, верящий только во власть, слившуюся с идеологией, — про себя. Не только потому Ленин отвергает фантастическое предложение Парвуса, что нет у него в России настоящей организации, но и потому, что не желает валяться в «гинденбурговой грязи» (50), быть явно обязанным хоть германскому Генштабу, хоть роскошному международному аферисту. Вот почему его поражение в фантастическом споре становится победой. Яйца будут нести пес Парвус. Выгорит — хорошо, нет — не сошелся клин на России. Есть Швейцария. Да и царь может заключить сепаратный мир с Германией и тем угробить весь план Парвуса (50). Мысль о возможном заключении сепаратного мира приходит Ленину еще в библиотеке, когда он вспоминает заметку Радека в «Бернер тагвахт»:

«для царя это действительно верный выход! Именно так и надо бы ему!

И поэтому надо — ударить! Ещё ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми!

Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если бы сколько-нибудь были разумны, — а начали! а — сделали нам такой подарок! <...> Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму» (44).

Ленин, увы, прав, но сам в данном случае в правоту свою верит не до конца. Что тоже работает против Парвуса. Конечно, если сепаратный мир будет заключен, то и швейцарским планам конец. «Тогда проиграно — всё» (44). Но так думалось утром, а сейчас — после одоления Парвуса, после утверждения своей самодостаточности — эту пораженческую мыслишку можно откинуть. Какая-нибудь лазейка найдется — для того, кто использовал мошенника, но сам остался революционером.

Ленин действительно переигрывает своего визитера. Парвус строит заговор, в котором реальность мешается с химерой. Ленин, проглядевший нарастание революции в России, сумеет ее в нужный момент оседлать. Работать будут другие (включая Парвуса). Он придет на готовое — и возьмет власть. Ленин победит потому, что о мире как мощном препятствии для революции, о мире как ступени к преодолению затяжного национального кризиса, о мире, который может сберечь народ и страну, никто из вершителей российской судьбы не думает.

Думает частный человек (хоть и на государственной службе состоящий) — полковник Воротынцев. Думает — и ничего не может сделать. Он нужен всем (Свечину, Гучкову, Нечволодову, да и Шингарёву глянувшись); его прозрение — никому. Воротынцев обречен выслушивать полуправды своих собеседников, частично принимать их резоны (а они есть у всех), фиксировать слабые места (это еще проще) и оставаться в одиночестве. Разные политические силы тянут его в разные стороны — как две женщины, которых Воротынцев, как ему кажется, любит. Быть может, Ольга Андозерская преувеличивала, говоря, что «в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных» (29), но что нужна немалая — Воротынцев начинает догадываться. Только нет у него твёрдости и решительности. Нет мира с самим собой. Нет ясного плана будущих действий. Личная драма Воротынцева организует повествование, доминируя над остальными, так или иначе с ней соотнесенными любовно-семейными историями, и описывается детальнее и обстоятельнее прочих потому, что неожиданно обнаружившийся внутренний разлад Воротынцева — лучшего человека своего времени, цельного, благородного, мужественного, свободно и ясно мыслящего, не скованного партийными пристрастиями и сословными предрассудками — рифмуется с разладом всей русской жизни начала XX века.

Конечно, семейные драмы происходили всегда — вне зависимости от социальных потрясений. Конечно, и на страницах «Октября...» мы видим картины семейного счастья. Конечно, революция в России случилась совсем не из-за того, что Воротынцев пленился Ольдой, изменил Алине, признался ей в содеянном и принялся выяснять отношения. Тут не банальная аллегория, а сложная, мерцающая, сама себя оспаривающая метафора. Возлагать вину за революцию на одного запутавшегося в чувствах Воротынцева было бы попросту наивно. В том и дело, что виноваты все, в первую голову — высшая власть и общественные лидеры, в чем убеждают не только обзорные главы, но и целое Второго Узла. «Общее» и «личное» не причинно-следственными отношениями связаны, но растут из одного корня. Нельзя объяснить торжество революции отдельными ошибками отдельных исторических деятелей (но и снисходительно махнуть рукой на эти ошибки, списать все на «силу вещей», то есть признать неизбежность нашего низвержения тоже невозможно). И точно так же нельзя «вывести» личную историю Воротынцева только из войны, которая разлучила его с женой, нагрозила тяжелыми думами,

изменила прежнего — в общем довольного жизнью — человека. (Благодарёву война тоже не в радость, а Катёну он любит.) Или — из бездетности. (Детей нет и у Ободовских, а счастливы.) Или — из «семейной традиции» (печальный закат ставших друг другу чужими родителей). Или из общей «свободы нравов» интеллигенции. (Какое до нее дело живущим душа в душу Шингарёвым?) Судьбу человека выковывают не только внешние обстоятельства, но, прежде всего, он сам. Его верность свободе. Его способность любить и доверяться своему чувству. Его ответственность за совершаемые поступки. Тот строй души, который, по слову Варсонофьева, должен быть нам дороже всего на свете, — «даже блага через-будущих поколений» (А-14: 42). Судьбу страны выковывают живущие в ней люди, и не в последнюю очередь она зависит от того, как каждый из этих людей обходится со строем своей души.

Души большинства персонажей «Октября...» расстроены. Как и страна, в которой они родились, выросли, предполагали жить, — страна, которую не сумели сберечь. Не в том беда, что Воротынцев предпочел «личное» «общественному». (Да он и не предпочел. Само вышло. Не нашлось знамени, под которое можно было бы встать.) И не в том, что он увидел в Ольде суженую (женщину из сна в Уздау) и забыл (на несколько дней) о законной Алине. Беда в том, что он хочет примирить то, что примирить невозможно. В том, что день за днем утрачивает цельность. В том, что не может отдаться нахлынувшему счастью или от него навсегда отказаться. В том, что не умеет спросить себя: Кого я люблю? И люблю ли?

До этого вопроса Воротынцев додумается только в Четвертом Узле (А-17: 173). Революция разразится раньше.

Ее не сумеют предотвратить ни Государь, нежно и верно любящий жену, но не умеющий обустроить свой дом, ни истерзанный семейными неурядицами Гучков, ни одинокий Нечволодов, ни образцовый семьянин Шингарёв, ни всегда поддерживаемый своей Нусей вечный труженик Ободовский, ни уверенный в неизбежной победе, лихо решивший «личную проблему» Свечин. Никто. Включая Воротынцева, которому было дано дважды — в Уздау и в фешенебельном столичном ресторане — увидеть Красное Колесо и почти разгадать значение этого страшного символа. Он, глубже других видящий суть происходящего, тверже других готовый действовать (и в силу того особенно любимый автором и читателем), — в роковые дни оказался «одним из многих», а не «единственным» — которого, увы, не нашлось. И сходно получилось в «личной» истории Воротынцева, пока никак не разрешившейся, но уже оставившей струпья на сердце. Истории едва ли не самой обыкновенной в нашем земном уделе.

*Андрей НЕМЗЕР*



## **СОДЕРЖАНИЕ**



Глава 38.....9

Воротынцев на Невском. — Встреча со Свечиным. — Как расправляются с жёнами. — Публика в ресторане Кюба. — Ликоня в углу зренья. — На фронтах наших и союзных. — Обида на союзников. — Константинопольский мираж. — Можно ли было избежать войны. — Бенгальское колесо.

Глава 39.....21

Менять характер войны. — Проигрываем народ. — Выигрываем войну. — Можно ли, нужно ли выйти из неё? — Как работает генерал Алексеев. — Перспектива Ставки для Воротынцева. — Появление Гучкова.

Глава 40.....31

В ресторанном кабинете. — Взрывы во флоте. — Болезнь, за которой следила Россия. — Грани Гучкова. — Есть ли в России гласность? — Гучков и кадеты. — В борьбе с правительством не жалеть ударов. — Гучков о масонах. — Равноправие евреев, равноправие крестьян. — Особенности еврейского вопроса. — Для того ли использовать встречу? — Последствия гучковского письма. — Кандидаты в начальники штаба Верховного. — Гучков открывает замысел.

Глава 41' (Александр Гучков) .....47

Род Гучкова. — Убить Дизраэли. — Молодость Гучкова. — Нигде не свидетель, везде участник. — Его первые советы трону. — Как прошёл Манифест 17 октября. — «Союз 17 октября» и его программа. — Как её толковали Шипов и Гучков. — Поражение октябристов на выборах в 1-ю Думу. — Урок Шипова. — Гучков приближается к Столыпину. — Второй приём у Государя. — Гучков поддерживает военно-полевые су-

ды. — Поддерживает закон 3 июня 1907. — Кто виноват в неудачах Японской войны. — Состояние армии. — Положение офицерства. — Робость военных реформ. — Гучков содействует им. — Атакуют великих князей. — Теряет расположение Государя. — Феноменальность гучковских думских речей. — 3-я Дума и доброжелательство между обществом и властью. — Гучков в защиту Столыпина в 1909. — В обличение террора. — Вокруг взрыва Петрова-Воскресенского. — Особенности парламентского центра. — Союз правых и левых против крестьянских реформ. — Гучков — председатель Думы. — Неудача с Государем. Хлопнул думской дверью. — Отшат от Столыпина весной 1911. — Запрос об убийстве Столыпина. — Запрос о Распутине. — Враг императорской чете. — История и дуэль с Мясоедовым. — Провал октябристов и Гучкова на выборах в 4-ю Думу. — Гучков меняет линию борьбы: примирение с властью невозможно. — Гучков покинут. — Его балканские попытки. — В эту войну. — Бьёт тревогу в 1914, втуне. — Укрепляется в 1915. — Опережая кадетов в оппозиции. — Дворцовый переворот?..

#### Глава 42.....75

Как представляют перспективу революции кадеты. — Гучков: революцию предотвратить. — Дворцовый переворот — спасение России? — Разногласие Свечина и Воротынцева. — Спасти монархию, устранив монарха. — Самый узкий вариант, поездной. — Ни капли крови! — А если не отречётся? — Как трудно находить людей. — Крымов? — и тот не прежний. — Приглашение Гучкова. — Барьер позора перед Воротынцевым. — Вот и вдвоём, а не вяжется. — У Гучкова своя трудная женитьба. — Смерть сына. — Шаткость — перед гибелью? — Свыше сил.

#### Глава 43.....89

Обременительные фигуры эмиграции. — Бессилие Ленина на править континенты. — Размышления на набережной. — Воспоминание о встрече с Плехановым. — Уроки Инессы. — Преимущества союза с Крупской. — Инесса — с кем-нибудь?.. — Цюрихские колокола. — И витрины.

#### Глава 44.....102

Кантональная библиотека. — Раздражение мешает работать. — Конфликт с Бухариным, Пятаковым, Радеком. — Недостатки Шляпникова. — Сожаление о Малиновском. — Что даёт чтение газет. —

В окружении враждебных призраков. — А Россия стоит безнадёжно! — Куда годится этот народ? — Губительность сепаратного мира. — Упадок. — От побеждающего меньшинства — в изоляцию. — Колонны бумаг. — Потерянный день. — Безнадёжный Цюрих. — Прострация. — Уедем в Америку. — Скларц из Берлина.

## Глава 45.....120

Череда праздников в Каменке. — Арсений в церковном хоре. — Деревенское весельство. — Детишки Арсения. — Григорий Плужников и его история. — Евпатий Бруякин, сельский лавочник. — Закрывать торговлю? — Зяблицкий. — Цели кооперации. — Город — враг или друг? — Петербургу хлеба не дадим. — Агаша доносит на Колю Бруякина. — Предчувствия отца. — Снисходительность к сыну. — Маруся-солдатка. — Озорник Мишка Руль.

## Глава 46.....136

Отец и сын Благодарёвы в гостях у Плужникова. — Надежда ли на мужика? — Хлеб задаром отдавать? — Агаша в девках и в жёнах. — Ни с помещиками деревне не равно, ни с городом. — Где ж мужицкая правда. — Что будет после войны. — Своя крестьянская власть? — Зашаталась вера — управлением не поправишь. — Указ о ратниках. — Кого берут. — Как устроился Лыва. — Уносит война мужиков. — В какой посудине дёготь бывал. — Нету жизни!

## Глава 47.....153

Цепочки связи Ленина. — Письмо от Парвуса. — Союзник-соперник. — Его предсказания и взгляды. — Опыт 1905 года у Ленина и у Парвуса. — Встреча в Берне в 1915. — Парвус зарвался. — Сколько?..

## Глава 48.....165

Из чего и как сформировался План Парвуса. — Ключ мировой истории. — Германские социалисты ёжятся. — Ставка на Ленина. — Жить широко или сжато? — Богатство как инстинкт. — Как его брать. — Разномыслие и упреки. — Парвус открывает Ленину пути.

## Глава 49.....181

Осторожность — условие всего действия. — Как надо держать себя с Германией. — Не доверяй союзнику. — Революция в России или мировая? — Использовать ленинское подполье? — Отказ Ленина. — Для чего же двадцать лет сражений?

Глава 50.....	189
Как надо строить подполье. — Революция, пристёгнутая к коммерции. — Как передать толчки революции дальше? — Заминка Парвуса в 1916. — Варианты разгрома России. — Кто виноват в неудаче? — Тайна Ленина. — Идеи долговечнее миллионов.	
Документы — 2 .....	200
Из писем царя и царицы.	
Глава 51.....	201
Воротынцев вернулся в Москву. — Всё знает? — Тяжесть оправданий. — Алина хочет гармонии.	
Глава 52.....	207
Спасти день рождения. — Пансион. — Всё портится. — К объяснению. — Невыносимо Георгию притворяться — Сказал. — Неужели так тихо обойдётся? — Чёткое.	
Глава 53.....	215
Алина низвергнута. — Зачем сказал? — Чужость и близость. — Приди ко мне!	
Глава 54.....	218
Застигнутые согласием. — Вот женщина! — Отепляющая открытость. — И не уедешь. — И навсегда прикован.	
Глава 55.....	223
Друг юности. — Как Саня и Котя устроили фронтовые встречи. — Котя приехал не тот. — Скроботовские бои. — Кто раз вернулся из рукопашной. — Бой, разделивший европейскую войну. — Свои неудачи у гренадеров. — Разнопонимание у друзей. — Стоило ли бросать университет? — Где оно, место души? — И замученный Устимович. — Фронтовой фатализм. — Разговоры за чаем. — Ночная проходка. — Грех, жизнь. Ещё и добро воспитывать?..	
Глава 56.....	239
Отъезд Коти. — Комиссия едет. — Быт и вид батарейцев. — Суэта. — Приехали. — Коварный допрос нижних чинов. — Саня и генерал-профессор. — Хваткость Чернеги.	

Документы — 3 .....	251
Студенческая листовка	

Глава 57.....	252
---------------	-----

Ещё на день в пансионе! — Нет, не кончилось так просто. — Алина допрашивает. — Безвыходность. — Нипочём бы не начал! — Телеграм-ма Свечину. — Онемение. — Чуть я тебя не погубил.

Глава 58.....	258
---------------	-----

Алина не может домой. — Семья Смысловских. — Страсти в университете. — Георгий и Алина гостят. — Алексей Смысловский и его причуды. — Музицирование. — Алина оживает.

Глава 59.....	266
---------------	-----

С Алиной домой. — Луна в переулках. — Как я играла? — Ни при чём тут Петербург. — Дай я на тебя посмотрю! — Утро вечера мудреней. — Записка Алины. — Телефоном к Сусанне.

Документы — 4 .....	273
Князь Львов — Родзянке.	

Глава 60.....	273
---------------	-----

Опасность Роману Томчаку. — Зависть Ори к войне. — Общество Четырнадцатого Года. — Ирина находит мужу выход. — Роман готовит доклад. — Задумчивость Захара Томчака. — Роман обедает и мечтает. — Взгляд на жену. — Домовые заботы Ирины. — Дарья Мордоренко и случай с конторщиком. — Гадкие шансонетки. — Вечер в парке. — Степь в кострах.

Глава 61.....	283
---------------	-----

Парадная зала в доме Томчака. — Съезд экономистов. — Корреспондент. — Балаканья. — Речь Романа. — Как делать совещание? — А Захар видит иначе. — Гнев экономистов.

Глава 62' (Прогрессивный блок) .....	291
--------------------------------------	-----

Одна Россия избивала хлебом и скотом. — Первые странности. — Общественное рвение регулировать продукты. — Уполномоченные. — Все борются с дороговизной. — Обуздать аграриев! — Установление твёрдых цен в 1915. — Спор о них в 1916. — Теории Воронкова и Громяна. — Возражения производителей. — Трудовой смысл. — А промыш-

ленные цены? Откуда их прибыли? — Алексеевский проект диктатуры тыла. — Твёрдые хлебные цены всё более входят в жизнь. — Ошибки с ними в 1916. — Урожай оказался *не там*. — Петля на горле России.

За всё заплатит царь! — А пока Прогрессивный блок замялся. — Предвиденья Милюкова: правительство в тупике, либералы будут у власти. — Колебательные прения бюро Блока осенью 1915. — Как выявить лиц, кому доверяет страна? — Вышибить Горемыкина! — Назначен Штюмер. — Ни дня при этом правительстве! — Государь на открытии думской сессии в феврале 1916. — И чего он не сделал там. — Милюков-удерживатель. — Пусть эта власть тонет. — Сонные месяцы Думы. — Яростные съезды общественных союзов. — Игнорировать правительство, отстранить ото всех дел. — А оно укрепилось. — Ограничения общественных съездов. — Общественность в разочаровании. — Думская делегация в Европе, отнять союзников у русского правительства. — Сентябрь 1916. Блок своего не дождался. — Изменник Протопопов. — Блок обманут! — Протопопов заматался. — Хлебное дело зависло между двумя министерствами. — «Коноваловские совещания»: время для штурма власти! — Милюков удерживает кадетов от подпольщины. — Ломать шею правительству, валим кабинет! — И говорить нельзя, и молчать нельзя. — Предательство в бюро: декларация утекла. — Думу распустят?? — Исключить «измену» или оставить? — Трещина. Прогрессисты вышли из Прогрессивного блока.

## Глава 63.....318

Навыки подпольщика. — Шляпников по Питеру. — Зарвался с забастовкой? — Пошатнулись заветы конспирации. — Твоя выдержка — твоя свобода. — Как решился на эту забастовку. — Интеллигентский отлив от партии. — «Внефракционные». — И рабочий отлив. — Интеллигентный пролетарий. — Сашенька Коллонтай. — Шляпников — «центральной партработник». — Его решения и действия в июле 1914. — С Сашенькой: пролетариату нужен мир. — Поправка Ленина: нужна гражданская война! — 120 тысяч рабочих на твоих плечах. — Змей подозрения между рабочими. — Встреча с Лутовиновым. — Разрыв понимания между эмиграцией и подпольем. — Как пробирался Шляпников через границу. — Скудость в деньгах. — Из заграничных скитаний. — Токарь высшего разряда. — Еврейские материалы. — А забастовка висит! — Из кого БЦК. — Склока с ПК. — Как в 1914 выдавал себя за француза. — Как обманул Соколов с матросами. — Локаут и воинский призыв молодых. — Ах, погорячился! — Рабочая гордость. —



С Каюровым в чайной. — Удастся ли всеобщая? — Сормовичи и Горький. — Спор об ориентации: англичанин или немец? — Аппетиты германского генштаба к социалистам. — Кескула. — Не помогайте нам через Вильгельма! — Бухарин и Пятаков по следам Кескулы. — Безпомощность бухаринской группы. — Её разногласия с Лениным. — Как эмигрантские склоки тяготеют на Шляпникове. — Коромысло. — У сестры Мани. — Матвей Рысс. — Его листовки. — Шляпников видит себя. — Любовь с Сашенькой. — Сон Шляпникова. — Диалог с Лениным. — На пробудке. — Сдалось начальство!

#### Г л а в а 64.....364

Царские дочери. Что их ждёт? — Воспитание их. — Школы, санатории, лазареты государыни. — И сама — сестра милосердия. — Болезнь наследника. Спасенья ему от Божьего человека. — Его молитвы за Государя и воинство. — Его слова и мудрость. — Его помощь в управлении государством. — Прикрытость встреч, цари не живут свободно. — Злословие о Святом человеке. — Помощь Друга в выборе министров. — Как взять в руки Синод? — Выбор Штюмерера. — Ошибка с Хвостовым-младшим. — Поиски военного министра. — Неудачи с другими. — Императрица и генералы. — Бонч-Бруевич. — Бедняга Сухомлинов. — Назначение Протопопова. — Кому поручить продовольственное дело? — Все враги идут в атаку. — Спешно передать продовольствие Протопопову. — Разногласие в самом кабинете. — Бессонницы и болезни императрицы. — Не отдавать землю злым! — Письма мужу. Советы государыни. — Двойное отношение к Германии. — Спасти Рубинштейна! — Протопопов в страхе перед думским скандалом. — Спешно не взять продовольствия. — Свои должны вырывать своих.

#### Г л а в а 65' (Государственная Дума, 1 ноября) .....392

В Белом зале Таврического. — Расчёты Родзянко. — Его речь. — Польский оратор. — Ущипанная декларация Прогрессивного блока. — Чхеидзе вытягивает регламентный час. — Родзянко уходит от взрыва. — Вялые возражения правых. — Огонь и дым Керенского. — Заявление русских националистов. — И наконец — лидер Блока. — Бомба в запасе. — Ламентации о власти. — Опыт чтения заграничных газет и заграничные впечатления Милюкова. — Путаётся в дамах. — Чем неназванной тайна, тем страшней. — Взрыв на немецком языке. — По подсказке Карла Радека. — «Глупость или измена?» — «Штормовой сигнал революции». — Трон поплыл.

- Глава 66.....413  
 Офицеры в Могилёве. — Фронтовая дружелюбность. — Офицеры ворчат. — Слух о речи Милюкова. — Воротынцев у Свечина. А что хорошего в перевороте? — Гучков со стороны. — Как видна война из Ставки. — Неужели Гурко?
- Глава 67.....424  
 Путь генерала Гурко. — Предвечерний Могилёв. — Письмо от Ольды. — Весна в ноябре. — Встреча с генералом Нечволодовым.
- Глава 68.....430  
 История Нечволодова. — Какова в России гласность. — Революция уже пришла. — Наслание. — Но и столетия были у нас. — Отчего костенеет перед саранчой? — Царский дом из темноты. — Врытый меч. — Сплачиваться — вокруг кого же? — План столичных монархистов. — Штюрмер струсил.
- Глава 69.....443  
 Киевская поездка Государя. — Воспоминание о Столыпине. — Сомнения в Протопопове. — Угнетённость от постоянной правоты Аликс. — Чрезмерности Распутина. — Великий князь Николай Михайлович. — Его визит и выговор. — Право на частную привязанность. — Скованность распорядком. — На дневной прогулке у костра. — Отношения с генералом Алексеевым. Болезнь его. — Расстройство от Думы. — Что делать с министрами? — Молитва с сыном. Ненастная ночь.
- Глава 70.....460  
 Зимнее утро в Могилёве. — Сенсация: Милюков доказал предательство царицы. — Офицерское гуденье. — Слухи у Свечина. — Генерал Гурко и проект переформирования дивизий. — Воротынцев в работе. — Деловые армейские расчёты. — В Ставку Воротынцева не зовут. — Гурко о Гучкове.
- Глава 71' (Государственная Дума, 3—4 ноября) .....468  
 Самоохранительные меры Родзянко. — Варун-Секрет складывает полномочия. — Монархист Шульгин возглашает борьбу против власти. — Прогрессист Ефремов о предательстве правительства. — Шесть выходов казака Караулова. — Марков 2-й отвечает. — Как прогрессивный лагерь наживает и как он обуздывает крестьян. — В. Маклаков: правительство парализует Россию. — Жизнь вместе невоз-

можно. — Думские запросы о военной цензуре. — Чхеидзе славит революции. — Родзянко переизбран. — Белые пятна в газетах кричат. — Керенский: измена свила гнездо на верхах. — Марков 2-й: клеветой об измене свалите Россию. — Угодные выступления военного и морского министров. — Родичев: осталась одна вера — в Государственную Думу.

Документы — 5 .....486  
Циркулярная телеграмма Штюмера.

Глава 72.....486

Душевная связь государыни с ранеными. — Мистические тайны. — Её свадьба когда-то — как часть похорон. — Необратимость этой войны. — Поездки Государя к войскам. — Разлуки изнашивают сердце. — Сила любви. — Любовь Ани Вырубовой и как её сдерживать. — Как государыня не понравилась высшему свету. — Аня — интимная подруга. — Неблагодарность. Ревность. — Катастрофа с Аней. — Её новые капризы. — Доверенная поклонница Друга и связанная. — Первые шаги в помощь царственному супругу. — Страх за его безоружную доброту. — Сохранить государство для Бэби! — Освоилась с министрами. — Будь Петром Великим, Иоанном Грозным! — Почему так ненавидят императрицу. — Поездки в Ставку. — Первые дни ноября. — Как же Штюмеру отвечать? — Промах Шуваева и Григоровича. — Покажем левым, что не боимся. — Протопопов на верном пути. — Духовная беседа с Другом. — Освободить Рубинштейна. — Штюмеру — притворную болезнь? — Не уступать верных! — Письмо в. кн. Николая Михайловича. — А за его спиной мамаша и сестры. — Муж должен заступаться! — Миазмы клевет. — Никто не защищал императрицу.

Глава 73.....501

Тяжёлые сны Варсонофьева. — Сны как истинные встречи. — Трудно подыматься. — Не годы, а мысли. — Особняк на Малом Власьевском. — Газетная отравка. — Мелкость Милюкова. — И Варсонофьев с ними был. — Тщета понять.

Глава 74.....506

Ещё раз на почту. — Письмо от Алины. — Свободен?? — Ночь Воротынцева. — Это — её характер. — Всё потеряно. — Страх. — Мимо монастырской калитки.

Глава 75.....	514
Борозды прожжённые. — Проклятое «скажут». — С Фёдором. — Чрева моего урывочек. — Первое равновесие. — И сшиб. — Зачем же звал? — По чёрным улицам. — Уткинская церковь. — Под ку- польным сводом. — Перед иконой Спасителя. — Четыре греха. — По- чему так путан путь? — Пятый грех. — Исповедь. — Как велеть тебе «не люби»?..	
Замечания автора к Узлу Второму .....	531
Краткие пояснения .....	533
<i>Н. Солженицына</i>	
Земной удел .....	535
<i>А. Немзер</i>	

Литературно-художественное издание

**Александр Исаевич Солженицын**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 10

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Повествование в отмеренных сроках

Узел II. Октябрь Шестнадцатого

КНИГА 2

Редактор

*Наталья Рагозина*

Художественный редактор

*Валерий Калныньш*

Корректор

*Ирина Машковская*

Верстка

*Валерий Калныньш*

Подписано в печать 28.04.2007.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бумага для ВХИ.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 37,0.

Тираж 5000 экз.

Заказ № 305.

«Время».

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон (495) 231 1864.

<http://books.vremya.ru>

e-mail: [letter@vremya.ru](mailto:letter@vremya.ru)

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП–148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

**Солженицын А. И.**

**С60** Собрание сочинений в 30 томах. Т. 10. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках в четырех Узлах. — Узел II: Октябрь Шестнадцатого. Книга 2. — М.: Время, 2007. — 592 с.

ISBN 978-5-9691-0228-6

Во второй книге «Октября Шестнадцатого» читатель погружается в тоску окопного сидения и кровавую молотилку боя, наблюдает тамбовских мужиков и штабных офицеров, Ленина в Цюрихе и думских депутатов в Таврическом, наконец, слышит знаменитую речь Милюкова, «штормовой сигнал революции».

ISBN 978-5-9691-0228-6



9 785969 102286

